Евгений Шварц

БЕССМЫСЛЕННАЯ радость бытия





Евгений Шварц

Бессмысленная радость бытия.

Дневники.

Произведения 30-х — 40-х годов.

Письма.



Е. Л. Шварц 1947

Евгений Шварц

Произведения 30-40х годов

Бессмысленная Радость Бытия

Дневники и письма

Корона-принт. Москва. 1999.

84. Р7
Ш 33

Составители:
М.О. Крыжановская, И.Л. Шершнева
Примечания:
Дневники: К.М. Кириленко, И.Л. Шершневой
Письма: Е.М. Бинević
Художник: Е.В. Войцеховская

От составителей

"Бессмысленная радость бытия — Божественная радость бытия" — такие строки мог написать лишь человек, узнавший, что такое небытие. Поколение Евгения Шварца это знало; на его долю выпало три больших войны — Первая мировая, гражданская и Отечественная, и две маленьких — финская и японская. Шварцу не довелось быть солдатом, да и трудно себе представить сказочника с оружием в руках. Его оружием было перо. Самые мрачные годы нашего столетия — сороковые — оказались для Е.Л.Шварца самыми плодотворными. Шварц нашел для себя форму выражения — сказку. И писатель, и читатели, и зрители вновь и вновь убеждались: чем дальше от современности сюжет и герои, тем они ближе и понятнее современникам. В эту книгу включены лучшие произведения Евгения Шварца, написанные за период с 1938 по 1948 год.

Одной из первых пьес, принесших Шварцу настоящую славу, была "Снежная королева". Написанная в 1938 году, эта сказка о верности, преданности и отваге была обращена не только к детям. В "Снежной королеве" оформилась та шварцевская тема, которая будет неустанно повторяться во всех его последующих произведениях, — добро всегда побеждает зло.

Созвучной времени была и еще одна пьеса, вошедшая в эту книгу, — "Кукольный город". В 1939 году началась финская кампания, и в Ленинграде эта "маленькая война" очень чувствовалась. Кроме того, 20 — 30-е годы — это время всеобщего увлечения техникой. Навеянный "Щелкунчиком" сюжет о битве игрушек с крысами разворачивается в широкое батальное полотно с танками, пушками и самолетами. Первый и единственный раз в сказках Шварца герои оказываются

вооруженными. Даже Ланцелот, рыцарь-профессионал, бродит по свету безоружным: ведь не каждый день встречаешь дракона, в самом деле. К схватке с драконом он готов всегда и уверен в своей победе. Но вот может ли каждый из жителей города победить дракона в себе? Опасный для сталинского режима смысл сказки Шварца перевесил лежащие на поверхности ассоциации с фашизмом, и "Дракон" после нескольких полузакрытых спектаклей был на долгие годы запрещен.

Пьеса "Тень" имела более счастливую сценическую судьбу. Ее сатирический характер не был столь определенно направленным. Философский смысл пьесы скрыт за острым гротесковым сюжетом, а множество сюжетных линий, искрометный юмор, характеры персонажей создают большой диапазон для интерпретаций.

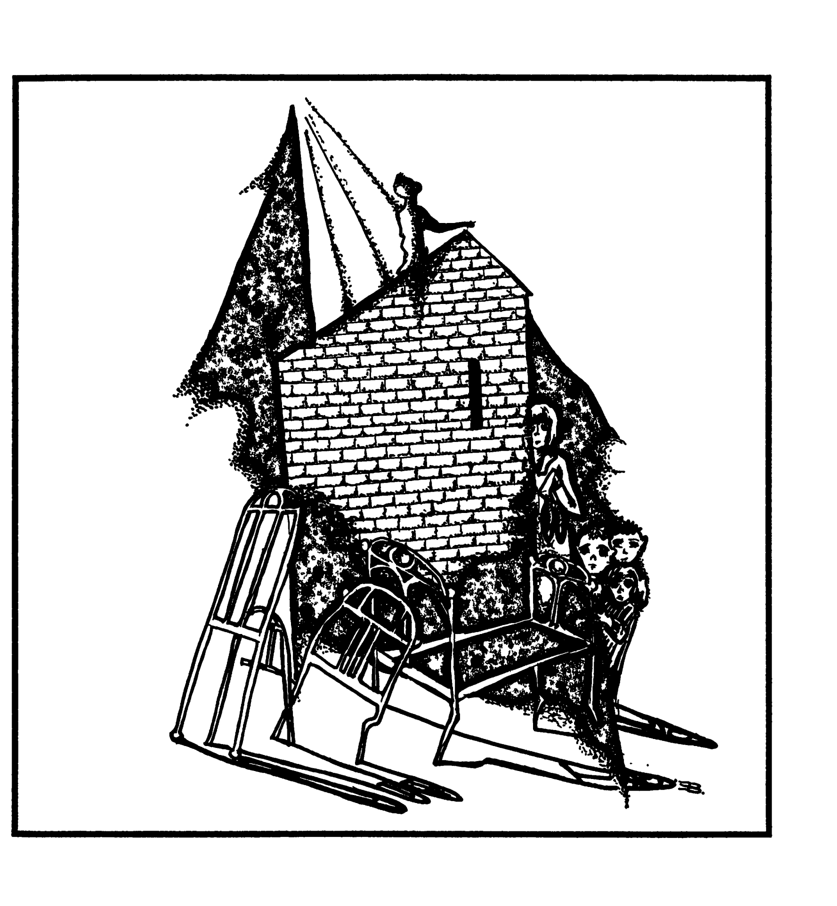
По-своему любопытна сказка "Два брата". Вечный сюжет о вызволении из плена одного брата другим является, с одной стороны, "мужским" отражением "женского" варианта "Снежной королевы" (здесь похитителем младшего брата является Прадедушка Мороз), а с другой стороны, это попытка художественного осмысления взаимоотношений самого Шварца с братом. О сложных отношениях между родителями и непростой обстановке в своей семье Е.Шварц пишет в воспоминаниях, которые вошли в книгу Е.Шварц. "... я буду писателем". — М.: Корона-принт, 1999.

Первая часть книги — "Дневники" — включает несколько "живых" дневниковых записей 40-х годов и фрагменты дневников 50-х годов с воспоминаниями о предвоенных и военных годах, блокаде, о жизни в эвакуации и возвращении домой, в Ленинград, к работе, к театру. Составители попытались объединить фрагменты из дневников разных лет в хронологической последовательности событий.

В разделе "Стихи и письма" публикуются исправленные варианты ранее опубликованных стихотворений Е.Шварца с уточненными датами, не публиковавшееся прежде стихотворение "Фотография К.Булла", а также несколько писем, относящихся к периоду 1938 — 1947 годов и дополняющих мемуары Е.Шварца.

Составители выражают искреннюю признательность К.Н.Кириленко и Е.М.Биневичу за разрешение использовать изданные ими материалы.

ДНЕВНИКИ



1953
14
мая

Евгений Шварц во всех своих измерениях знаком мне с самых ранних лет, и я знаю его так, как можно знать себя самого. Со своей уверенной и вместе с тем слишком внимательной к собеседнику повадкой, пристально взглядывая на него после каждого слова, он сразу выдает внимательному наблюдателю главное свое свойство — слабость. В личных своих отношениях, во всех без исключения, дружеских и деловых, объясняясь в любви, покупая билет на "Стрелу", прося передать деньги в трамвае, он при довольно большом весе своем и уверенном, правильном, даже наполеоновском лице, непременно попадает в зависимость от человека или от обстоятельств. У него так дрожат руки, когда он платит за билет на "Стрелу", что кассирша выглядывает в окно взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему, в сущности, безразлично, ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он, по слабости своей, уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства — не верил, что дадут ему билет, потом надеялся, потом снова впадал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы. Самые сильные стороны его существа испорчены слабостью, пропитаны основным этим его пороком, словно запахом пота. Только очень сильные люди, которые не любят пользоваться чужой слабостью, замечают его подлинное лицо. Сам узнает он себя только за работой и робко удивляется, не смея, по слабости, верить своим силам.

Трудность автопортрета в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Ну слабость, слабость — а в чем она? В том, чтобы сохранить равновесие, во что бы то ни стало сохранить спокойствие,

наслаждаться безопасностью у себя дома. Но что нужно для его спокойствия?

1953
15
мая

Я чувствую, что следует сказать точнее, что разумею я под его слабостью. Это не физическая слабость: он моложав, здоров и скорее силен. В своих взглядах — упорен, когда дойдет до необходимости поступать так, а не иначе. Слабость его можно определить в два приема. Она двухстепенна. На поверхности следующая его слабость: желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности. Воля к неделанию. Я бы назвал это свойство ленью, если бы не размеры, масштабы его. В Сталинабаде летом 43-го года Шварц получил письмо от Центрального детского театра, находящегося в эвакуации. Завлит писал, что они узнали, что материальные дела Шварца не слишком хороши, и предлагали заключить договор. Соглашение прилагалось к письму. Шварц должен был его подписать и отослать, после чего театр перевел бы ему две тысячи. Шварц был тронут письмом. Деньги нужны были до зарезу. Но его охладила мысль: пока соглашение дойдет, да пока пришлют деньги… и в первый день он не подписал соглашение, отложив до завтра. Через три дня я застал его, полного ужаса перед тем, что письмо все еще не послано. Но не ушло оно и через неделю, через десять дней, совсем не ушло. Это уже не лень, а нечто более роковое. Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожное, в сущности, напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдет уверенность, а с нею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль похуже зубной.

1953
16
мая

В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был Олейников, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: то с помощью голодания, то с помощью жевания — все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Так же, по-моему, пребывает в мучениях Пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал Маршак, мне чудилось желание оправдать малую

свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение: все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма — в почву нэпа, потом — в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменением среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался ею. При своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их? Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может — это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно.

1953
17
мая

И в этом взгляде, по каким бы причинам он не возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей как на явление, как на созданий божьих. О равнодушии здесь не может быть и речи. Жизнь его не мыслима без людей. Другой вопрос — сделает ли он для них что-нибудь? Сделает ли он что-нибудь? Среди многочисленных объяснений своей воле к неподвижности он сам предложил и такое: "У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнялись!" Иногда душа приходит в движение, и Шварц действует. Тогда он готов верить, что неподвижность его излечима. Иногда же приходит в отчаяние. Бывают дни и недели, когда он не шутя сомневается в собственном существовании. В такие времена он особенно говорлив и взгляд его, то и дело устремляемый на собеседников, особенно пытлив. В чужом внимании видит он, что как будто еще подает признаки жизни. В таком состоянии, шагая по комаровскому лесу зимой, он увидел однажды следы собственных ног, сохранившиеся со вчерашнего дня, — и умилился. Поверил в свое

существование. На этом и кончу. Автопортрет затруднен двумя обстоятельствами: я лучше знаю себя изнутри, внешний облик неясен мне. Я слишком много о себе знаю. И, наконец, как я могу говорить о своей влюбчивости и верности, о дочери, о друзьях? Кроме того, некоторые считают, что я талантлив. Если это верно, то многое в освещении автопортрета должно измениться, переместиться. Если это так — это дух божий носится над хаосом, который пытался я нарисовать.



[1939 год.] Он оказался по некоторым бедам чуть ли не страшнее 38-го... Пока жили мы в Гаграх, написал я пьесу для кукольного театра "Кукольный город"... Прошла "Снежная королева" у Зона в Новом ТЮЗе, потом в Москве. Вот привез я папу на спектакль. Он держится все так же прямо, как до болезни. Голова откинута назад. Он строен, как прежде. Но глаза глядят, не видя. Он сохранил десятую часть зрения в одном глазу. Но бокового зрения. Ему надо отвернуть чуть-чуть голову от предмета, который рассматривает, только тогда попадает он в поле его зрения. О бормотание! Проще можно сказать: ему надо взглянуть на предмет искоса, чтобы тот попал в поле его зрения. Я боюсь, что отцу станет худо в жарком тюзовском зале, но все обходится благополучно. Только он плачет, когда его трогает спектакль или шумная реакция зрителей. Через некоторое время после папиной болезни заболевает мама. Симптом Миньера. Поэтому на тюзовском спектакле ее нет. Припадки головокружения и тошноты начинаются у нее внезапно, она не решается выходить. Я бываю у них почти каждый день.



Да, я бываю у них часто, почти каждый день, но я, бывает, разговариваю с отцом не то что резко, а недостаточно любовно. Семья у нас строгая была всегда. Как будто и не в чем себя упрекнуть. Я всегда стараюсь рассказать что-нибудь, развлечь, но о своих делах говорю неохотно. О своей работе. Мне стыдно почему-то. Меня раздражают расспросы отца по этому поводу. А как раз это и важно ему. Человек больше сорока лет работал с утра до вечера, и вдруг сразу несчастье оторвало его от жизни. Теперь он

жил нашей жизнью. Однажды звонит он ночью по телефону: "Взгляни, пожалуйста, сколько градусов на улице". — "А зачем тебе?" — "У Вали на стройке не застынет, боюсь, бетон". И я, с трудом скрывая раздражение, лезу со спичкой за окно посмотреть, сколько градусов, и сообщаю результаты. Мне как будто и не в чем себя упрекнуть, но трудно держаться ровно и ласково с больными и слабыми, когда не было в семье привычного ровного и ласкового тона. Я слишком логичен, слишком прав иной раз. Впрочем, живем мы дружнее, чем когда бы то ни было. И я снимаю дачу в Луге с тем, чтобы перевезти к нам отца. Мама отказывается ехать. И вот начинается роковое лето тридцать девятого года. На даче, через пустырь от нас, живет Наташа. А за углом сняли мы дачу для Сашеньки Олейникова и его бабушки, матери Ларисы. Легенькая, сожженная горем, оскорбленная несчастьями, которые сыпались на нее, словно по злому умыслу, она недоверчиво смотрела на весь мир. Думаю, что и на нас заодно. Наши горести не были видны, вот мы и представлялись ей виноватыми в чем-то. Не думаю, что отдавала она себе отчет, но вспыхивало вдруг осуждение в ее исплаканных глазах. Сашенька казался, да нет, и в самом деле был гениальным ребенком, что нередко случается в двух-трехлетнем возрасте. Впрочем, он отличался даже и от сверстников. Когда обращался он к бабушке: "Солнышко, погляди, как похожа Фрося на дворняжку на веревочке", то поражал серьезным, рассудительным, вдумчивым выражением. Добр был на удивление. Не позволял бабушке прогонять и пугать мух. Жалел их. Кончалось договором — комнату поделили пополам. На своей бабушке вольна была гонять мух, как хочет, на Сашиной же половине и пальцем не смела тронуть. Как-то зашли мы к ним вечером.

1956
22 декабря

Сашенька уже лежал в своей кроватке, но не спал. Бабушка подошла к нему и по рассеянности, позабыв договор, согнала с одеяла муху. И мальчик расплакался. Бабушка едва успокоила его, заверив, что муха вернется. Мы продолжали разговаривать негромко, сидя у окна. Сашенька лежал тихо, мы надеялись, что он уснул. И вдруг услышали жалобный и обиженный голос: "Ну вот! Ни одной мухи!" Он обожал наших кошек — Венечку и

Пышку. Когда приходило время загонять их на ночлег, Пышка устраивала себе из этого целую игру, удирала, пряталась. Однажды я нес его домой на руках. А Пышка в это время выскочила за ворота и помчалась вдоль по улице, поросшей травой. Наша домработница Фрося — следом. Сашенька задрожал, забился у меня на руках: "Что ты делаешь! Не смей, Фрося!" Ему почудилось, что она гонит Пышку из дому. И когда Фрося поймала и понесла кошку домой, он смутился и чуть не заплакал, на этот раз уже потому, что напрасно обидел Фросю. Он прихварывал и часто бывал не в духе. И грустно, и смешно было смотреть, как встречались они утром на террасе, папа и Сашенька. Оба больны, оба не в духе. "Здравствуй!" — говорит папа. Сашенька не отвечает, угрюмо глядит в сторону. "Я тебе говорю!" — ответа нет. "Сашенька!" — "Мол-чу!" — "Как ты отвечаешь старшим?"— "Мол-чу!"— "Хорош!" — "Не буду, не буду, не буду разговаривать". И я чувствую по тому, как он мешает ложечкой чай, что папа раздражен не на шутку. Впервые в это лето начались у папы припадки сердечной недостаточности с застойными явлениями в легких, с кровохарканьем. Катя ему вспрыскивала камфору. Отец боялся, когда уезжали мы в город, а это приходилось делать иной раз. Я нашел лекпома, за которым посылали, если припадок случался в наше отсутствие. А тут вдруг расхворался Сашенька. Старший его брат погиб от такой же загадочной, затяжной, нарастающей температуры. Его повезли в город. Профессор Мочан, лечивший его, с сомнением покачивал головой. Бабушка, осуждающе глядя на нас своими темными, исплаканными глазами, повторяла, что она не верит в благополучный исход. И страшнее всего, что мать нельзя было вызвать в Ленинград.

1956 23 декабря

Так прожили они с Катей в Ленинграде, пока в болезни не произошел перелом к лучшему и профессор Мочан не поставил диагноз: паратиф. Сашенька поправлялся, и есть ему хотелось ужасно. Он жалостно просил: "Профессор Мочан, разрешите мне хоть селедку есть". Однажды бабушка сделала из манной каши, разрешенной профессором, оладьи, чтобы хоть чем-нибудь порадовать внука. И дала мне попробовать — не слишком ли грубо получилось, достаточно ли диетично. Увидев, что я взял оладью из

скудного его рациона, Сашенька возопил: “Что он делает, смотри, бабушка! Что ты делаешь, дурак?” Я подменил оладью корочкой хлеба и показал мальчику: “Видишь, что я ем”. И Сашенька глубоко смутился, и раскаянье выразили вся его фигурка и лицо, чуть скуластое, как у отца. Однажды Катюша взяла его на руки, поднесла к приемнику. И включила его. И голос сказал: “Я люблю вас, Катенька”. И это до такой степени поразило мальчика, что он всем рассказывал об этом происшествии. Когда он совсем поправился, его перевезли в Лугу... В то лето жили в Луге Чуковские, Каверины, Тыняновы и Степановы. У трех последних были собственные дачи. Коля и Марина в тот период жизни относились ко мне строго. Что-то осуждали и отрицали, далеко не скрывая этого, а напротив, показывая по мере сил. Юрия Николаевича одолевала болезнь. Он был, как всегда, умен несколько для меня далеким складом ума и очень близок всем складом своего существа. Смотреть на него было приятно. Голос, выбор выражений. Особая манера читать стихи. Уязвимость и сила чувств и вера в себя, которые ты в нем угадывал. Как он вкладывал всего себя, изобретал и находил, а не цитировал, в самом деле как будто простом и незначительном разговоре, все вместе было драгоценным. Лидочка Каверина несла на своих плечах два дома — свой и тыняновский и не жаловалась на это. Веня же — тот все говорил о слабости здоровья, а мы дразнили его. Степановых дразнили за сверхъестественную неряшливость. Колины парусиновые штаны потрясали всех знакомых.

1956
24
декабря

Все было еще как бы спокойно. Но вот поразило всех известие о заключении пакта с Германией. И это событие, как все малые и большие того лета, таило в себе зло замедленного действия. Смешил всех своей нескладностью сынишка Степановых. А кончилось тем, что он сошел с ума года три назад. Мы смеялись над вечными жалобами Каверина на какие-то недомогания, а это начиналась у него язва желудка, и в сорок третьем году сильнейшее желудочное кровотечение едва не убило его. И так далее и так далее. Я написал в Луге первый акт “Тени”. Коля Чуковский сказал мне: “Ничего у тебя не выйдет. Для Андерсена и Гофмана все эти советники — фигуры бытовые. А для нас — литера-

тура". Я и поверил этому и не поверил. К тому времени сделал я одно открытие — мы говорили друг другу и друг о друге неприятные вещи по-соседски. Трудно не осуждать соседа. И вместе с тем смерть или горе соседей задевало и огорчало куда глубже, чем гибель, скажем, Амундсена. С этими именно людьми связала меня жизнь крепко-накрепко, срастила. Приходилось терпеть. Чуковские жили рядом с дачей академика Фаворского. Хозяйка их купила корову. Прежние хозяева обращались с ней худо. И корова за две недели так привязалась к новой хозяйке, что не хотела уходить в стадо. Бегала за ней как собака. И мы обсуждали эту потребность в ласке с удивлением как проявление силы, которая тоже занимает свое место в природе. И не маленькое. Но добры и ласковы были в меру. Лето приходило к концу. Однажды, уже готовясь к переезду, поехали мы с Катюшей в город и забыли ключи. И на станции Мшинская вылезли. И здесь полтора или два часа ждали поезда. И гуляя по лесу, по проселку вдоль леса, испытал я тут, в тишине, оторванный от дурманяще ежедневной суеты, тоску, похожую на предчувствие. Второй раз в жизни застревал я тут. Однажды, за три года до этого случая, ехали мы в Лугу на "МЭ" исполкомовской — я, Катя и Олейников. Мы должны были выступать в школе и потом обедать на даче у Ларисы. Сашенька был еще грудной.

1956
25 декабря

У нас трижды лопалась камера по пути, и наконец в четвертый раз мы застряли на этой же самой Мшинской. Олейников жестко сказал шоферу, что не верит в случайность этих аварий. У того потемнело лицо. Времена подходили уже суровые. (Может быть, все это случилось весной [19]37 года?) Услышав обвинение во вредительстве, шофер потемнел. Потемнело и на душе у меня, впрочем, на одно мгновенье. За близостью иногда выступало в многообразнейшей душе Олейникова и нечто, до крайности далекое мне. Отбрасывающее и пугающее. Но я не хотел смотреть в эту сторону. Тем более что с каждым годом становился он все светлей. С тех пор особенно, как нашел он форму выражения своих сил. Стал писать стихи. Но и темная сила, глубоко мрачная, ненавистническая оставалась в нем до самого конца нашего знакомства. В [19]24 году, в период недолгой нашей настоящей дружбы, он даже как-то предупредил меня,

что близких людей нет у него. Что если ему будет нужно, то он и меня уничтожит, чему я, впрочем, не поверил. Мы вышли из очень разных кругов, встретившись. Однажды, когда ко мне привыкли в "Кочегарке", редактор Фиш во время одной выпивки сказал с удивлением: "Смотрите, а Шварц ничего парень. Поначалу я его не понимал. Вежливый!" "А разве вежливый — это плохо?" — спросил я наивно. И Олейников с непривычной мне в те дни яростью стал доказывать, что это очень, очень плохо, безобразно, ужасно. Я стал догадываться, отбрасывая, впрочем, догадку, как тревожащую, что есть в Олейникове что-то от бонапартовских натур. Это в нем уравновешивалось поэтичностью и роковой, словно наговоренной, бездеятельностью, той ленью, что мучительнее любой работы. Да, он, вероятно, мог убить, но при случае и не в свою пользу. Не для того, чтобы пробить себе дорогу к власти или славе. Полное презрение, бонапартовское презрение к людям и редкая нежность и уязвимость. И одно лицо все выглядывало из-за другого. Бонапартовские натуры сильно с его, бонапартовских, времен деформировались и упростились. И лишились декоративности.

1956
26 декабря

Но действуют. Олейников же не действовал в свою пользу. Простояв на Мшинской часа два, останавливая встречные машины, мы наконец добыли у шофера какого-то грузовика резинового клея и, наложив заплату на последнюю камеру, отправились обратно в Ленинград, потому что уж слишком опоздали на концерт. Итак, второй раз в жизни застревал я в Мшинской и в тоске бродил вдоль леска. Но вот подошло к концу и это ожидание. А потом и все лето [19]39 года. Много раз ходил я в город. То просто взглянуть на его низенькие дома, плоские улицы. То по делу. Два раза приводил к папе старенького нотариуса. Требовалось, чтобы нотариус заверил его подпись на доверенности на получение пенсии в Ленинграде. А я возил доверенность к маме. Нотариус, маленький, седобородый, по-провинциальному потрепанно одетый, заполняя многословный документ в двух экземплярах, все бранил немцев. Он утверждал, что немецкая армия [19]14 года была куда сильнее нашей. Тогда у них и флот был, и кадровые настоящие войска, а теперь — блеф! О пакте с

немцами говорили неохотно. Разве только вот нотариус был недоволен. В Луге у гостиницы, маленькой, двухэтажной, на площади встретил я вдруг Николая Никитина. Как всегда, он был невесел и сосредоточен. Когда-то, в середине двадцатых годов, хлебнул он славы, чуть ли не европейской, побывал за границей, вместе с Пильняком принят был в Пен-клуб. Потом вдруг слава его пошла на снижение. К концу тридцатых годов она и вовсе исчезла, словно ее и не было. Сам Никитин принадлежал к породе людей практичных и несдающихся. Как есть некрасивые женщины, которые держатся как хорошенькие, и многие им верят, так и Никитин держался крупным писателем. Он вечно жаловался на союзных верхах, что его обижают и добиваются чего-то. Что делалось в его путаной башке — трудно было понять. Особенно мучителен он был на заседаниях — он входил в правление Дома писателя. По каждому вопросу он брал слово, и хорошо, если укладывался в пятнадцать минут. Тяжело двигая тяжелыми губами, уставившись в одну точку своими выпуклыми белыми глазами, он молол нечто непонятное, глубокомысленное.

1956
27
декабря

Маленькая гостиница в Луге всегда была переполнена, однако Никитин получил номер, и проживал там, и трудился. Глядя своими белыми выпуклыми глазами, он объяснил над чем. Не то над биографией Дюма, не то над пьесой — я не придал значения его рассказу, разглядывая его и пытаясь понять. Что-то в нем было идиотское, а вместе детски наивное, вызывающее некоторое сочувствие. Он был один из немногих ленинградских писателей, который иной раз гулял без цели, а не только спешил по делу. Один раз встретил я его на островах. Потом в Михайловском саду. Он гулял и думал. Невесело ворочая своими жерновами, перемалывал нечто непонятное в своей тяжелой башке. И все-таки перемалывал. Он чувствовал окружающий мир, но неточно. Однажды мы были в гостях. Он потрогал ленту на цветах, сделанную из крашеных стружек, и спросил неведомо кого, глядя в пространство своими белыми выпуклыми глазами: “Это из опилок?” Он безошибочно угадал дерево. Ошибся только в его состоянии. Он все бил возле, желая соответствовать заказчику или пробуя писать всерьез, все бил мимо. И

все хлопотал. Вот выхлопотал номер в гостинице и сидел, работал. Однажды, уже к концу пребывания в Луге, позвали меня в литфондовскую детскую санаторию. Я разговаривал со взрослыми уже ребятами. И мне чудилось, точнее, я и не сомневался в том, что между нами непробиваемая перегородка. Они встретили меня дружелюбно. Пусть. Но я твердо знал, что живут они своей и, как мне почему-то казалось, далеко не безгрешной жизнью. Откуда пришла эта уверенность, сказать не могу. По двум-трем взглядам, которые я перехватил, я знал, что это так, хоть ни один человек об этом не узнает, наверное. Нет более скрытных людей, чем подростки. Мы жили по правую сторону полотна, у озера, а литфондовский лагерь расположен был за городом, по левую сторону, на реке, в местности, имеющей совсем другое выражение. Я шел между старыми большими дачами по холмам.

1956
28
декабря

Потом вышел к реке, она текла в уровень с плоскими берегами. И, наконец, оказался я во дворе, где все в таких же, какие попадались мне на пути, просторных дачах размещался литфондовский лагерь. Вышли наши подростки на встречу со мной (именно со мной. Так называлось мероприятие — встреча с детским писателем), вышли они, построившись каким-то особым, ими самими изобретенным строем — гуськом друг за другом. Словно проделывая фигуру танца, шли они то вправо, то влево, не сразу на террасу, где я их ждал. А придя, поздоровались на особый лад, слишком зычно. Но все это весело и добродушно, желая похвастаться — вот какие мы весельчаки. И разговор у нас пошел веселый. Но я не мог отказаться от ощущения: вы грешники. И по дороге домой все думал о неразрешимой задаче — полового воспитания ребят. И о себе. И о лете. И о новом выражении этой части Луги. Ничего не произошло, но эта прогулка запомнилась как событие. И песчаные холмы с дачами, просторными и редко разбросанными, и лес, и река, текущая в уровень с покрытыми травой плоскими берегами, часто снятся мне до сих пор. И вот пришло время отъезда. Я с папой поехал на вокзал на извозчике. Оба мы боялись, как бы не случилось с ним по дороге сердечного припадка, но все обошлось. И мы перебрались в город, а через несколько дней читал я первый вариант "Тени" в Театре

Комедии, и второй, и третий акты показались мне ужасными, хотя труппа приняла пьесу доброжелательно. Но мы уговорились с Акимовым, что я в “Синопе” переделаю сказку. Вчера вечером Катюша сказала мне: “Давай возьмемся за руки и уйдем. В какую-нибудь другую жизнь. Вместе”. И в самом деле — куда мы забрели с возрастом? Как далеко мы ушли от самих себя, от прежней близости, от прежней жизни. Мне все чудится, что возраст мой — недоразумение, что, если постараться, все можно наладить, исправить. И Катя это выразила, предложив взяться за руки и уйти. И я спасаюсь, уходя в те времена, когда мы были еще далеко от сегодняшних сумерек. Год был тяжелый — тридцать девятый, когда назревали новые беды. Но мы не видели этого. Весело было ехать на вокзал и знать, что впереди “Синоп”.

1956 29 декабря

В купе с нами оказалась тихая, темноглазая женщина, не слишком молодая, тихая и вместе с тем встревоженная. Застывшее выражение привычного беспокойства! Часто встречается у многодетных матерей, у педагогов. Но тут случай оказался особый — муж этой женщины был летчиком-испытателем. Он провожал жену — здоровенный человек с выражением застывшей беспечности, какая наблюдается у кутил, безнадежно запустивших свои дела. Жесты размашистые, голос громкий. Жена его рассказывала нам в пути, как нет у нее недели спокойной, дня. Не привыкнуть к специальности мужа! Как уйдет он на аэродром, она каждого телефонного звонка пугается. У нас установились было хорошие отношения, но вот, уже незадолго до приезда, спутница наша выяснила, что пропала у нее сумочка с деньгами. Она не сказала, что подозревает нас, но выражение застывшей тревоги усилилось, подчеркнулось выражением: “Ах, как трудно жить среди подобных людей”. Проводник разом обнаружил сумочку за диваном — подобные пропажи, как сообщил он, случаются каждый рейс. Так неудачно сконструированы диваны. Недоброе выражение разом исчезло, но мы уж не могли простить нашу спутницу. В Сочи выяснилось, что такси теперь в Сухуми не ходят. Шофер отвез меня к начальнику гаража, и я так горячо взмолился, что получил необходимое разрешение. Мне было стыдно, что я просил так отчаянно, а шофер одобрительно сказал: “К

нашему начальнику подход нужен. Если не захочет, то и орденоносцу откажет". Но скоро неприятный осадок в душе моей растворился — опьянение дорогой взяло. Особенно за мостом через Бзыбь. Мне чудилось, что я или жил, или буду жить на этих лесистых берегах. Во всяком случае они имели свой смысл, связанный с моей жизнью. В "Синоп" приехали мы первыми из отдыхающих.

1956 30 декабря

Несколько мгновений поколебавшись, дежурный, абхазец, отвел нам седьмой номер. Нет, этот дом никак не был похож на тот, скромный, в Гаграх. Просторный, с огромным холлом, облицованный розовым камнем, он глядел всеми своими балконами в большой парк. Чувство удобства, приличия и покоя овладело нами, когда заняли мы седьмой номер, большой, с ванной комнатой при нем. Помещался он во втором этаже, в левом углу здания, и балкон, углом огибая номер, тоже был просторен. Все было отлично, если бы [не] чувство неловкости от огромного количества людей с претензией на элегантность и даже аристократичность. Это касается женщин в роскошных пижамах. В Гаграх никто не замечал друг друга. Здесь же разглядывали. И ни одного знакомого. Соседом за столом оказался разбитной, наивный еврей, к моему огорчению, знавший, что я писатель, встретился со мною в кабинете директора в Театре Комедии с месяц назад. Я об этой встрече забыл, а он нет, к сожалению. По общительности своей сосед познакомился со многими из отдыхающих. Показывая на одного из них в углу столовой, он сказал как-то: "Взгляните. Вон сидит инженер. На вид — культурный человек. Я ему сказал, что обедаю за одним столом с вами, а он мне: "В жизни не слыхал о таком писателе". Сообщение это, к стыду своему должен признаться, сильно испортило мне — впрочем, как всегда, на день, на два — настроение. Я понимал, что слово "писатель" как бы звание и само в себе скрывает понятие "известный". И если я неизвестен, то как бы самозванец, когда называю себя писателем. Впрочем, я и не называл себя так. Это мой наивный сосед хотел похвастать, а когда не вышло, он, как человек здоровый, свалил вину на инженера, только на вид культурного. Кормили тут хорошо и разнообразно. Столовая выглядела празднично. Только сосед портил мне жизнь своей бесконечной

болтовней. Однажды он сказал громогласно: “У вас, я замечаю, руки дрожат. Врач мне говорил, что все нервные заболевания полового происхождения”. Но все эти мелкие огорчения ничего не стоили. Просыпался я с чувством радости.



С балкона видел необыкновенно пышные кроны деревьев. И одно из этих деревьев, особенно богатое, выбрал я суеверно некоторым как бы двойником или выражением того будущего, что предстоит “Тени”. Однажды пошел я посмотреть, как выглядит это дерево вблизи, и с горечью убедился, что его в сущности не существует. То, что с балкона представлялось мне невиданно пышной и богатой кроной дерева, состояло на самом деле из трех крон, три дерева росли рядом на полянке, и верхушки их сливались в одну. В беспокойном и суеверном состоянии своем я забеспокоился. Мне почудилось, что это дурная примета, что пьеса не выйдет. Окажется внешне значительной. Но, как всегда, успокоился через час-два. И выбрал другое дерево в качестве двойника новой пьесы. Я работал, и бросал, и снова начинал, и это было достаточно мучительно. Потому что, когда я бросал писать и выходил в коридор, или в парк, или на шоссе — меня грызла совесть. А когда я писал, меня мучила жажда свободы, но так или иначе, написал я “Тень” в том виде, в каком напечатана она теперь, и [она] шла у Акимова. Отдыхающих вставил во второй акт под впечатлением синопских своих соседей. О ком-то сказали при мне: “Это вторая ракетка страны”, и я написал о первом “совочке страны”. И так далее.



Вдруг началось наступление на Варшаву. Стало беспокойнее. А вот и наши войска вошли в Польшу. Жизнь “Синопа” резко изменилась. Посыпались телеграммы — вызывали офицеров запаса. Почту складывали на широком прилавке, отделяющем столик портье. И сразу стало трудно с билетами. Призываемые выбирались как кто мог. Сообщали, что из Сочи уезжают они на площадках, чуть ли не на крышах. Выйдя на наш балкон, слышал я передачи о событиях. Радио кричало с верхнего широкого балкона. Общего. И осталось новое, прочное чувство, врезавшееся в душу. Прочное впечатление. Соединение праздника и

беспокойства и запаха листьев. Года два назад ездил я на машине с Катюшей и Роу в Токсово. Ходили слухи, что там продается дача. Выяснив, что это ошибка, поднимались мы по каменистой тропинке в гору. Уже стемнело, пахло травой и листьями, и услышал я, как заговорило где-то наверху радио. И вдруг ощущение знакомое, печальное, и радостное, и тревожное, охватило меня. "Синоп", вечер, говорит радио, пьеса пишется, что-то надвигается — но лето, море, вечер, крики сверчка, теплый ветер изо всех сил помогают привычной беспечности взять верх. На пляже любовался я удивительной цельностью, аристократическим спокойствием московского опереточного артиста Гедройца. Он был занят тем, что делал в настоящее время. На пляже под тентом играл он в преферанс, устроившись удобно на топчане, и окружающее не беспокоило его. Потом спокойно шел в море, занятый только морем. В столовой спокойно сидел за столом. И я в смятении моем завидовал его цельности. Каким-то чудом я дописал пьесу.

1957 2 января

Мы достали пакет такой величины, что рукопись в нем болталась. Очень бестолковый почтовый работник, угрюмый от собственной растерянности, черный, как жук, долго возился, прикладывая сургучные печати (я посылал пьесу ценным письмом). Ничего у него не получалось, так что пот выступил на его бледном лбу. Но так или иначе, он довел работу до конца, и пьеса моя уехала в Ленинград. Мы стали чаще подниматься в общий зал, но никак не могли сойтись с кем бы то ни было из живущих в этом дорогом доме отдыха. Здесь вечно танцевали образцово-показательные пары. Они же давали уроки вступившим в соответствующий кружок и были окружены почетом. Я не осуждал, но завидовал им, как Гедройцу, как бильярдистам в длинном зале первого этажа, как четырем подругам, задававшим тон всей веселящейся части "Синопа". За их столом вечно смеялись. Они собирали играющих в лото и отправлялись куда-то на прогулки. Я презирал себя за суетность, но не мог примириться со своей отъединенностью. В Ленинграде в Доме писателя меня знали все и я знал всех. Даже слишком весело бывало там по вечерам мне. И благодаря мне. Что иной раз тоже мучило меня. Потому что часто являлось результатом

того же страха отъединенности, боязни боли. Впрочем, в “Синопе” ни одного дня не испытывал я боли. Или настоящей зависти. Только неловкость. Слухи о “Тени” прошли по театрам. Пьеса, пока она не запрещена, вызывает всеобщий интерес, и я получал множество телеграмм от множества театров. Даже от Художественного. Каплер руками развел, увидя, сколько их лежит для меня на широком прилавке у портье. Теперь, когда пьеса была кончена, мы часто бывали в городе. Спокойствие и ласковость Катюши тех дней необыкновенно утешали меня. Мы путешествовали вместе. И каждое путешествие отличалось своим выражением. Вот полное радостных предчувствий возвращение морем, на баркасе. Я сел за весло и греб с лодочником от города до “Синопа”, не испытывая усталости. А это был тяжелый баркас, полный людьми.

1957
3 января

Море было спокойное. В Лиелупе в [19]47 году, когда мы плыли в лодке по реке, я с горечью убедился, что не меняюсь, будто пешком иду. Одно из прочных чувств, следовательно, оставило меня, я обеднел. А тогда, в Сухуми, я испытывал счастье, я как в другой мир переселился. Движение воды, передающееся всему баркасу и мне, движение вперед — чувство лодки, испытанное впервые в Жиздре в [19]03 году, жило и опьяняло. Вправо над горами встала луна. И когда мы высадились у “Синопа”, лодочник поблагодарил меня, просто, как равного. Это воспоминание светлое. А вот воспоминание темное. В те дни перестали завозить в Сухуми нефть и бензин, отчего мы и шли на баркасе — моторные лодки отказали. Часто гас в “Синопе” свет. Появлялись объявления, что не ходят автобусы. И вот мы черной-черной, как только на юге бывает, ночью шли пешком по шоссе. Где-то уже за городом услыхали мы в полной тишине неторопливый топот копыт. И из темноты вышла большая белая лошадь. Одна шагала она по шоссе, никто не погонял ее. Большая белая безразличная башка проплыла мимо, и снова только стук копыт в тишине. И эта встреча показалась нам зловещей. Еще более странная встреча. Автобусы уже ходили, просто захотелось нам пройтись. Ночь уже наступила. В середине пути застал нас дождик, мелкий и теплый. И опять было тихо. Не слышно было, как шуршит дождь по листьям.

Мы поравнялись с кладбищем. Старые его деревья едва угадывались в темноте. И вдруг что-то мелькнуло над самой обочиной шоссе. “Светлячок?” — “Какой там светлячок! — ответила Катюша встревоженно. — Смотри!” Человек лежал в мокрой траве под дождем и курил, прикрывая папиросу от дождя ладонью. Вот отчего она то вспыхивала, то гасла и напоминала мне светлячка. Тут вдруг подошел встречный автобус и осветил угрюмое, испитое лицо человека в канаве. Почему он лежал тут в канаве? Судя по взгляду и общему выражению, был он трезв. Зачем улегся он под дождем у кладбища? Год был страшен несчастьями, которые начинались. Но мы не хотели их видеть. Ехать через Сочи было трудно.



Я послал телеграмму в Тбилиси Симону Чиковани с просьбой устроить нам билет в московском поезде и номер в гостинице. На другой же день пришел ответ, на грузинский лад приветливый — все будет сделано. И вот мы получили билет от Сухуми до Тбилиси в международном вагоне, и кончилась жизнь в “Синопе”, которая представляется теперь такой длинной и такой наполненной, что трудно поверить, как уложилось все пережитое в один месяц. Я еще не рассказывал, как путешествовал по шоссе влево от “Синопа” к городу в неправильном направлении. Погода в тот день угрожала дождем, прибой разыгрался до того, что купаться не позволил. Я дошел до моста. Речка разлилась от дождей в горах в настоящую реку, суровую, мутную. И волны у берега пожелтели. И там, где речка впадала в море, по ней ходили волны. Все глядело businessнично, предостерегающе, укоряюще. Вызывало чувство вины. Будто я уроки не выучил, а меня завтра вызовут. Но средства, которые напоминали о буднях, выглядели не буднично. Пышность хотя и приглушенной зелени, горизонт, потерявший от края до края над морем спокойствие и плавность линии, серое небо — все казалось наполненным силой. И чувство вины не только мучило, но и внушало уважение своей ясностью. И я вспоминаю эту лишенную каких бы то ни было происшествий прогулку как событие. Вспоминаю старых абхазок с корзинами персиков возле киоска. Киоск, в котором спросили мы спички и молодой абхазец ответил Катюше галантно:

“В продаже нет, а для вас — пожалуйста”. И дал ей две коробки спичек и решительно отказался от денег. В те дни стало на некоторое время вдруг трудно со спичками, и подарок был щедрым и даже благородным. Дело идет к вечеру, стало прохладней, дышится легче. И вдруг по шоссе проезжает на велосипеде местный житель в пальто, подняв воротник, нахлобучив кепку. Жара так избаловала их, что прохладный вечер представляется им холодным.

1957
5
января

Мы идем по рынку медленно, скорее гуляя, чем покупая. Здесь вечное оживление. В торговле, особенно на южном базаре, есть примесь азартной игры. Близость к деньгам опьяняет. Базар шумит, не переходя черты приличия. Как за столом грузины пьют, соблюдая известный ритуал, так и торгуя, они соблюдают традиции. Они шутят и смеются — как люди воспитанные. Здесь чувячник сделал мне белые сандалии, вежливо и весело разговаривая с нами и вместе с тем сохраняя чувство собственного достоинства. Преисполненные чувства собственного достоинства, бродят, не спеша, охотники по мясному ряду. Продают перепелок. У каждого охотника на руке сокол в колпачке. Против базара автобусная станция. Вот подали машину, идущую куда-то недалеко, не то к мысу Пицунда, не то до Пыленкова. И заполняются они пассажирами статными, в бурках, которым куда больше шел бы верховой конь, старухами с узлами, целыми семействами с детьми. И когда автобус отходит, выглядит он домашним, деревенским, правда, на абхазский лад. И здесь шумят — перекликаются с провожающими. И долгий путь от рынка до “Синопа” по улицам белым и полным зелени. Даже самые бедные дворики не кажутся жалкими из-за пышной растительности, которая так и рвется из почвы, на вид столь каменистой и суровой. Иной раз идем мы до “Синопа” пешком, иной раз на автобусе. А то и на извозчике пароконном и удобном, на фаэтоне, как в Майкопе в старые времена. Однажды, уже поблизости от “Синопа”, встретился нам Каплер с барышней. И увидев нас на фаэтоне, он вдруг расхохотался весело. Наверное, был у меня уж очень старорежимный вид. Он ни за что не поехал бы на извозчике, потому что сохранял приобретенные в двадцатых годах черты пижона, по-

нашему, или сноба, говоря литературно. Он тоже в "Синопе" чувствовал себя хозяином и, несмотря на пижонство или вследствие снобизма, был прост. Итак, пришла к концу жизнь в "Синопе". Уезжали мы с нового, еще недостроенного вокзала. Взобрались по крутой лестнице международного вагона — перрон еще не достиг проектной высоты. На вокзале было тревожно — тоже на южный лад. Бледные личности в кепках появлялись и ныряли в темноту. Уже плакала обкраденная женщина.

1957 *6 января*

Но вот наконец, повторяю, вскарабкались мы по крутой лестнице высоко повисшего над платформой международного вагона, мы заняли на положенный срок свою маленькую вагонную комнатку с койками, расположенными под углом друг к другу, с огромным окном, маленьким столиком и креслом у него, с зеркалом на двери в умывальную кабинку. И поезд тронулся. И пошли одна за другой маленькие, шумные, встревоженные и праздничные станции, все отдаляя и отдаляя нас от синопского времени нашей жизни. Особенно весело выглядела в ночной тьме станция Гульриши с огнями санатория на горе, с нарядной толпой на платформе. Невозможно было поверить, что собрались тут тяжелобольные и многие обречены. И снова тьма, звезды, тяжелые деревья за окнами. А проснулись мы уже в совсем новом мире. Светло-желтые скалы, горы в пятнах зелени, развалины замка над кручей. Мне все было это знакомо по лету 35-го года, а Катюша обрадовалась, только мелкий дождь и туман, скрывающий дальние вершины, огорчили ее. Но светлее и яснее становилось утро, и я еще раз пережил чувство нового, совсем не русского мира. Селение с двухэтажными домами, выбеленными, с балконами во всю ширину второго этажа. Тутовник, тополя, виноградники, ослики, буйволы, закидывающие башку. И ни единого русского слова в толпе, сдержанно и весело волнующейся на станциях. И скалы с развалинами замков. В Тбилиси и в самом деле встретили нас приветливо. В день отъезда обедали мы у Симона Чиковани в новом высоком доме, и племянник его, мальчик лет шести, все просил: "Чокайтесь, чокайтесь" — ему очень нравился этот обряд. С особой тбилисской вежливостью все писатели, собравшиеся у

Симона Чиковани, поехали с нами на вокзал, где провели в правительственные комнаты — своих писателей уважали в Грузии наравне с самым высоким начальством. И вот снова заняли мы маленькую вагонную комнатку на двоих.



Симон Чиковани перед обедом сказал: “Так как в гостях русские, мы приготовили обед не такой острый, как обычно”. Но все первые часы ночного нашего пути были полны одним чувством — жаждой. Утром, проснувшись, увидел я за окном выжженную полосу земли, а за этой пустыней Каспийское море такого же многозначительного цвета, поражающего душу, что и Черное. Я смотрел за окно час и два, и ощущение пустыни стало побеждать. До сих пор казалось мне, что эта оправа, безжизненная и мрачная, только подчеркивает прелесть живой воды моря. Со мной был третий том Пруста, толстый, в серой обложке, я попросил его у Чиковани. И вот я улегся на койке и стал читать Пруста с обычным ощущением интереса и протеста. Прежде всего протест относился к переводу. Слово “монументальный” привычно для французского уха и невозможно, когда оно употребляется для описания церкви сельской, в окрестностях Бальбера. Невозможно точно перевести рассуждения Пруста о словах, которыми пользуется такой-то или такая-то, что определяет их как людей такого-то или такого-то вида. Это непереводимо, как стихи. Но, может быть, именно вследствие этого, вследствие того, что ряд чисто словесных вещей исчезал в переводе, на первое место выступали чисто человеческие чувства, о которых рассказывал Пруст. В его порочности, как и во всякой порочности, была одна черта, внушающая уважение, — правдивость. И то, что он с полным безразличием к значительности предмета, словно власть имеющий, стоящий по ту сторону добра и зла, описывал одинаково пристально все — и гостиные, и лесбиянок, и педерастов, и свою привязанность к бабушке, и суетность, и любовь к живописи. Все это было недоступно мне. Далеко, как далеко! Я никогда не любил ни одного французского писателя, испытывая к некоторым из них чисто рассудочное уважение. А Пруст еще и, казалось, переступает границы возможного, идет по дороге, которая никуда не может привести. Дальше уж надо не читать, а самому до конца пережить описываемое.



Впрочем, в подлинниках, может быть, все это усиливалось и сохранялось в пределах мастерством исполнения. Так я думал или полудумал-получувствовал, испытывая особую дорожную независимость, оторванность от всех обязанностей и тревог. И от угрызений совести, похожих на сознание неприготовленных уроков, от вечной отравы, порожденной ленью. Баку показался мне декоративным (я говорю о вокзале), подозрительно роскошно одетым, как южнорусский франт на бульваре. Отсюда послал я телеграмму в Ленинград, родителям, что еду домой кружным путем. Об этом надо было бы сообщить давно, но та же непонятная, но враждебная сила, что не дает мне сегодня ответить на самые неотложные письма, мешала, держала за руки и тогда, как и всю мою жизнь, сколько я себя помню взрослым. В одном вагоне с нами оказались Гедройц и молоденькая девушка, которая в "Синопе" примыкала к компании спокойных, а тут оказалась, при ближайшем знакомстве, простой и ласковой, и еще несколько отдыхающих, которые представлялись для вида, а тут обернулись вполне доброжелательными людьми, вовсе не странными. И это еще усиливало чувство отдыха. В Дербенте вокзал шумел, как рынок. В киосках продавали уже упакованный виноград. Мы выбрали решето, старательно зашитое и увязанное. И радость совсем уж незнакомой тебе жизни, задевающей мимоходом, легкой, вычурной, играющей стороной, осталась в воспоминаниях, как пережитое событие. Поезд пришел в Москву поздно, до "Стрелы" оставалось меньше часа. Олег и Лида Эрберги встретили нас на вокзале, мы телеграфировали им, что, может быть, придется у них переночевать. Но молоденькая балерина подошла к нам, робко и ласково предложила довезти нас от Курского до Ленинградского вокзала. Ее муж встретил на машине. И вежливый, хоть и несколько строгий, совсем седой муж молодой балерины отвез нас на Комсомольскую площадь, подвез к самому вокзалу. И я после всего пережитого словно заново увидел его башню и часы. Он, казалось, стал повыше и занял место подальше.



Мы легко достали билеты. Приехав домой, я огорчился. Наша домработница писала в "Синоп", что радиоприемник перегорел. Я не принял этого к сердцу — эту нашу безголосую, первобытную машинку давно пора было

выбросить. Но войдя в кабинет, увидел я, что радиоприемник не перегорел, а попросту сгорел до половины. И это бы еще ничего. Он опалил стену и сжег календарь — вот это уже принял я близко к сердцу. У меня много лет календарь укреплялся на — как ее назвать — на подставке что ли картонной, выпускаемой для календарей, с [репродукцией] Левитана. Вещь безобразная, но заветная, исколотая и подрезанная, но верно служившая нам с самых первых лет нашей с Катюшей жизни. Я считал, что она приносит нам счастье, — и вдруг она сгорела! И я подумал, что этот год грозит нам какими-то бедами. Приведя себя в порядок, преследуемый запахом гари, которым пропитался в кабинете, отправился я в Театр Комедии. Акимов встретил меня со странным и недовольным выражением. Что такое? Мой ценный пакет не пришел по адресу. Я немедленно отправился на почту и обнаружил, что он лежит там, в новом конверте, подписанный чужою рукою и заново запечатанный сургучными печатями. До сих пор не понимаю, почему мне его сразу выдали на руки, зачем так долго держали на почте, какие приключения он перенес. Я с торжеством вручил пакет Акимову. И пьесу приняли. И скоро начали репетировать. А события все развивались. Латвия, Эстония, Литва. Наши ездили в Польшу, точнее, в Западную Украину, и привозили неслыханно дешевые пишущие машинки, костюмы, отрезы и прочее и прочее, что приводило меня в смущение и казалось тоже не вполне чистым и зловещим. А тут подоспели еще финские события. Я был у Германа, когда приехал туда Вирта. Его незначительная мордочка с мелкими чертами выражала тревогу, даже страх. Он сообщил: началось. Ему предстояло ехать на фронт.

1957
10
января

Он был в военной форме, в щегольском тулупчике, но не радовался. И у всех ощущение было смутное — мы успели отвыкнуть от войн. Вскоре в Ленинграде ввели затемнение. Морозы ударили небывалые, будто финские колдуны постарались. Трамваи по темным улицам тащились еле-еле. Тихо надвигаются из мрака, вырисовываясь уже у самой остановки, два синих фонаря, таких тусклых, что и номера не различить. Толпа, сгрудившаяся на остановке, кричит, спрашивает, какой номер. Висящие

на подножке отвечают нехотя. Крики: "Проходите в вагон, тут люди замерзают". Движение, чуть не драка, и трамвай уползает в темноту. Стали лопаться водопроводные трубы в домах. Портилось центральное отопление. На одном заседании райсовета Дзержинского района выступала тощенькая женщина с синими губами, стриженая, как после тифа. Управхоз. "Жильцы заявляют, что я должна своими силами отремонтировать магистраль. А я не имею права без главного инженера рыть яму. Там и провода, и мало ли что. Мне за такое самоуправство дадут десять лет, а я на это согласиться не могу, я человек больной". В темноте осмелели бандиты. Каждый день рассказывали об ограблениях. А на фронте наступление развивалось медленно. Линия Маннергейма — эти слова стали знакомы каждому. Катюша поступила работать в госпиталь. Там обмороженных лежало больше, чем раненых. Появилось еще одно понятие: "слоеный пирог". То есть сложная обстановка и попытка обходов с той и с другой стороны привели к тому, что вот идут наши позиции, потом вдруг финские, потом опять наши. И этот многослойный фронт все менялся. Части, идущие занимать позицию на отвоеванной только что земле, натыкались внезапно на финские части. А тут еще мины в страшном количестве. Заминированы дороги, земля, ворота усадьбы, брошенная машина. Был убит Чумандрин. То и дело сообщали о гибели молодых ребят. Погиб сын папиной сослуживицы. Пропал без вести мальчик восемнадцати лет, лыжник, доброволец. Быт, по своей живучести, полз по своему пути, не сдаваясь.

1957
11
января

Театры продолжали играть, народ успевал к началу спектакля, хоть на улицах было темно, рестораны работали. За эти годы привыкли жить, когда рядом убивают. И все же финская война всех затрагивала. Особенно в Ленинграде. Напоминали все время страшные морозы, затемнение, после долгой-долгой передышки — раненые с костылями на улицах. Чувство близкого фронта, с движениями войсковых частей, с санитарными машинами, слухами, рассказами только что приехавших из Финляндии очевидцев. Вирта быстро нашел себя. В одном и том же номере газеты появились сообщения, что финны угоняют всех жителей до единого из всех городов и селений, и бойкая статейка Вирты о митинге жителей

Териок. Но когда он появился у Германов в следующий раз, его незначительная, приказчичья, нагловатая мордочка выражала полное самодовольство, и щегольской военный костюмчик сидел на нем складно. Он и не пытался объяснять, каким образом мог состояться митинг жителей в городе, из которого ушли все люди. Дело это его не касалось. Он жаловался только, что к трофеям не прикоснуться. Тронешь, и взрываются. Жди, пока саперы разберутся! Я пил всегда с друзьями без надрыва. Напивался считанное количество раз. Останавливали два тормоза: ужас перед похмельем. Оно с годами становилось все более грозным. И второй тормоз — я не в силах был выпить больше своей нормы: 250 грамм. Водка мне казалась после этого отвратительной. А под новый, сороковой, год я вдруг напился свыше всякой меры, сильней, чем когда-нибудь. И сразу, как всегда в таких случаях, я начисто забыл все, что со мной было. Проснулся утром, полный отчаянья, искреннего желания умереть. Правая рука забинтована. Что такое? И Катюша рассказала мне, что я душил Брауде, к крайнему его смущению, взяв за волосы Сергея Радлова, пригибал его к столу, а он уговаривал мягко: "Не надо, Евгений Львович". Оторвал лапку у чернобурой лисицы Лидочки Кавериной. В кабинете директора, куда увели меня, швырнул в стену бутылкой, ругая всех и себя в том числе.

1957
12
января

За что? За то, что мы тут веселимся, когда рядом фронт. Впрочем, это благородное негодование быстро испарилось. Я пришел в буйно веселое состояние. Ругался нехорошими словами, уже от избытка восторга. Я шел по длинному коридору третьего этажа надстройки, а за мною, ослабев от смеха, Катюша и Анечка Лепорская, поехавшая к нам, чтобы помочь доставить меня домой. Я звонил во все звонки, произносил речи. Увидев свой почтовый ящик, я ударом кулака прогнул его чуть не до задней стенки. Над раковиной в ванне было ввинчено в стену зеркало из старой Катиной туалетной шкатулки. Я взглянул на себя в этот прямоугольник, сказал: "У, пьяная морда" — и разбил зеркало кулаком в мелкие дребезги. Вот тут-то я и раскровянил руку, от этого и проснулся с перевязкой. Так начался 40-й год. Примерно в начале сорокового года, а может быть, и позже, странная встреча произошла

у меня на Литейном, против дома, где жили родители. Тощий старик с больным лицом и тощая рыжая женщина, задыхаясь и спеша двигались мне навстречу. Лохматая его башка, седая борода, скорбные и старательные лица обоих, будто, шагая, они совершают какую-то работу или спешат попасть к сроку неведомо куда. И я вдруг испытал страх и то наслаждение, что есть “бездны мрачной на краю”. Мне почудилось, что это война и голод спешат к нам. Так как воображение мое легко поддается игре подобного рода, то я не поверил предчувствию. Ночью однажды позвонил мне Акимов и сообщил, что по радио известили о заключении мира. И я почувствовал, что снята куда большая тяжесть с груди, чем мог я предположить, отуманенный ежедневными мелкими, как дождь, впечатлениями. И лица прохожих отражали, как мне казалось, то же самое. Солдаты возвращались с фронта в грузовиках, украшенных елками. Затемнение отменили, и улицы казались праздничными. И все-таки смутная тревога не проходила. А жизнь шла своей чередой. Репетиции в Театре Комедии продолжались.

1957
13
января

Опять вялое бормотание. Заметил, что когда брожу по улицам, то не мечтаю больше, как прежде, о том, что вдруг случится со мной что-то необыкновенно счастливое. Перебираю старые годы. Да, это несомненно, что они не вернутся, но так же несомненно то, что они были. Тридцать девятый год был полон несчастьями скрытыми, развивавшимися в тишине. В сороковом несчастья назревали. Папе становилось все хуже и хуже. Сердце сдавало. Он сразу прекратил работу — и это было ударом, расшатавшим его целиком. Лежать ему было трудно. Он сидел, закутавшись в одеяло, и все считал свой пульс, уставившись на секундную стрелку своих карманных часов искоса, так, чтобы она пришлась в сохранившуюся часть поля зрения. Сначала интересы его все сосредоточились на нас — на Вале и мне, а потом постепенно все заняла болезнь. Он был всю жизнь человеком мужественным, неуступчивым и не хотел сдаваться. Пробовал даже гомеопатию, которую так недавно презирал от всей души. Я бывал у них теперь каждый день. Мама выходила с трудом. Симптом Миньера повторялся у нее. Она боялась улицы. Как ни придешь, отец сидит на кушетке, в красном одеяле, мама на своем

месте за столом читает. Я рассказываю им новости, и, как всегда, труднее всего говорить мне о своих делах. При каждом разногласии с мамой голос у отца начинает дрожать, в нем слышатся слезы. Не помню уж, по какому поводу, я имел жестокость поспорить с ним по телефону или когда был у них. Отец позвонил мне, и рука его так дрожала, что он не мог удержать трубку возле уха, и я слышал, как она ходит в его руке. Нет ничего легче, как быть последовательным и логичным с больным, который, сам того не понимая, требует того, что не выполнить. После этого разговора я поехал к отцу и успокоил его, но осадок остался до сегодняшнего дня. У нас не установилось близости, ласкового тона с детства, а только он мог бы помочь. И опять начались мои путешествия по аптекам. Отцу нужен был диуретин, в те дни трудно добываемый. А дома шли домашние дела. Вернули Катерину Васильевну.

1957 *14 января*

Все вечера, когда бывали мы дома, — а теперь мне вспоминается, что уходили мы в эти годы редко, — проводила Катерина Васильевна у нас. Теперь я вижу, что мы как будто бы прятались, словно отдыхали, нет, старались отдышаться после невидимых и непрерывно угрожающих ударов. Вернулась Катерина Васильевна, кажется, еще в тридцать девятом году. Во всяком случае, представляя себе те годы, не могу представить себе никак вечера иначе как с ней за столом, день без маленькой Наташи.

Приближался апрель — премьера “Тени”. Акимов сердился. У нас разные, противоположные виды сознания. Свет, в котором видит он вещи, не отбрасывает тени. Как в полдень, когда небо в облаках. Все ясно, все видно и трезво. Свела нас жизнь, вероятно, именно поэтому. Он не слишком понимал, что ему делать с такой громоздкой пьесой. И по мужественному складу душевному обвинял в этом кого угодно, главным образом меня, только не себя. Незадолго до премьеры в Доме писателя устроили выездную генеральную репетицию. В те времена заведена была такая традиция. Прошел показ празднично на нашей маленькой эстраде. Показывали самые удачные кусочки спектакля. Всем все понравилось, все были веселы, потом, по тогдашнему обычаю,

бесплатно выступавших актеров кормили ужином, писатели принимали их, как гостей. Говорил речь Лавренев. Все, казалось, будет хорошо, но все-таки я был не слишком уверен в успехе, но не слишком и беспокоился. Беспечность, идиотская, спасительная, заменявшая независимость и мужество, сопровождавшая меня всю жизнь, помогала и тут.

1957
15
января

И вот состоялась генеральная репетиция в театре. Вечером. Первая генеральная. В отчаянье глядели мы, как ползет громоздкое чудовище через маленькую сцену театра, путаясь в монтировках, как всегда у Акимова сложных. Актеры словно помертвели. Ни одного живого слова! А на другой день на утренний просмотр пришла публика, и все словно чудом ожило. И пьеса имела успех, настоящий успех. Даже я, со своим идиотским недоверием к собственному счастью (такой же вечный спутник, как беспечность при неудаче), испытал покой. Полный радости покой. Я заметил, что Иван Иванович Соллертинский в антракте после второго акта что-то с жаром доказывает Эйхенбаумам. Соллертинский был человек острый, до отсутствия питательности. Приправа к собственным знаниям. Одаренный до гениальности. Говорили, что он знает двадцать два языка. И бесплодный. Сильный, гипнотизирующий своей силой до того, что его манера говорить, резко артикулируя, вставляя массу придаточных предложений, саркастически пародирующих неведомо кого и неведомо что, словно впечаталась в Шостаковича, его друга, и во всех музыкантов и музыковедов, связанных с ним. Он был тоже один из беспризорников или пижонов двадцатых годов, толстолицый, высокий, сутулый, обрюзгший, злой, и умный, и полностью лишенный веры во что бы то ни было. Уважающий только это свое право на неверие. Словечки его не забывались и повторялись. Я с ним был едва знаком, но отлично знал его.

1957
16
января

Я ушел с премьеры, или просмотра, с ощущением праздника. Вечером в Доме писателя мы принимали Катаева. Он должен был читать свою новую пьесу “Домик”. Во главе правления клуба в те времена стоял Герман. Приемы гостей проходили широко, и директор — молодой, злой, острый, самолюбивый Авербух

проводил их с ненавистью, но и со всей энергией, на какую был способен. И они, как правило, удавались. Мы шли к машине через узкий наш двор. И до сих пор я помню острое ощущение покоя, удовлетворения — счастья и покоя, первого за много лет. В Доме писателя уселись мы за столом декоративным — глухари в перьях, нарезанная до половины семга посреди, и бутылки, и набор бокалов. Пьесу обсуждали за столом. И я спросил Акимова, что говорил о пьесе Соллертинский. “Ему не понравилось, — сказал Акимов.— Правда, он честно признался, что первого акта не видел. Пришел на второй. Но сказал, что, по его мнению, это Ибсен для бедных”. Я терпеть не могу своей зависимости от людей — признак натуры слабой. Но, чего уж тут скрывать, чувство покоя и счастья словно кислотой выело в один миг с химической чистотой и быстротой. Я сразу понял то, что увидел на просмотре: сутулую фигуру Соллертинского, его большие щеки, смущение, с которым Эйхенбаум выслушивал его страстные тирады. Как было понять себя и свою работу и ее размеры в путаные и тесные времена? Я увидел одно вдруг, что выразитель мнения сильной группы, связанной с настоящим искусством, осудил меня. “Ибсен для бедных”. А я так не любил Ибсена! И праздник кончился, и я отрезвел. Тем не менее спектакль пошел.

Однажды на радио решили устроить вечер, посвященный мне. Играли отрывки из “Клада”. Один акт из “Тени” и так далее. Я не сказал об этом родителям. Почему? Кто знает. Из древней уверенности, что перед ними стыдно открывать себя. Что они придадут этому излишнее значение. Не так поймут. Прикрывался я следующим: “Нельзя волновать папу!” Но когда я пришел к ним после передачи, папа сказал дрогнувшим голосом: “А мы слушали вчера передачу”.

1957
17
января

Со слезами в голосе. Но при этом очень довольный. Правда, он тут же, со свойственной ему прямотой, сказал, что “Тень” он попросту не понял. Но мама горячо вступилась и сказала, что она-то — поняла. И я поверил, что так оно и было. Она со всей шелковской, российской сумеречностью была куда ближе к тому, что я писал. Вся эта душевная сторона моей жизни шла от них, от их семейства. Папа и мама заставили меня рассказать, как мой вечер прошел, и я, хоть и с привычным со школьных лет внутренним

протестом, рассказал все достаточно подробно. И мне была приятна их радость. Часто я приходил к ним с Наташей. И они были довольны. Наташа в те годы была всегда весела и говорлива, и папа, сидящий на кушетке закутавшись в красное [одеяло], оживлялся и смеялся. А потом мы уходили, а он оставался с болезнью своей. Летом решили мы поселиться на даче всем вместе, взяв с собой на этот раз и маму. В прошлом году она отказалась поехать в Лугу, уверяя, что в городе ей спокойней и она лучше отдохнет. Но, видимо, чувствовала себя и обиженной и в чем-то виноватой. Во всяком случае она написала папе, что если она и не такая, как следовало, то в этом и наша вина: она попала к нам совсем девочкой, мы могли бы воспитать ее. Это меня больно задело. К вам! Следовательно, и я представлялся ей теперь старшим, и папа — хоть и он, женившись, был совсем еще мальчиком. Эта жалоба, хоть и как будто не имеющая смысла, была ужасно печальной. И какая вина могла быть у мамы? Ее можно было надумать только в летнем одиночестве, в тишине пустой комнаты. Всю свою жизнь отдала она мне и Вале. Таланту своему изменила ради нас. Во всяком случае в это лето решили мы уговорить ее ехать с нами. И она согласилась. Мы сняли большую дачу на Дубковском шоссе. Весь низ в пять комнат. Для Наташи нашли дачу в десяти минутах ходьбы. Верх из двух комнаток. И в начале июня перебрались на дачу.

1957
18
января

Летом папа не так мерз, как зимой, но болезнь все упрямее и беспощаднее овладевала им. Все еще внушающий уважение самой наружностью своей — высокий, седой, с мрачным взглядом почти слепых темно-серых глаз, — он и болел, как жил — просто, страстно. Он бродил из комнаты в комнату и часто забредал ко мне. Я работал, а он сидел позади на диване, глубоко оскорбленный предательством собственного тела, которое так мучило его. И сердился на плохой мой радиоприемник — он слушал последние известия с глубоким вниманием, несмотря на болезнь, и ему казалось, что не в приемнике дело, а у диктора безобразно плохая дикция. Мама чувствовала себя на даче много лучше. Во флигельке, в конце большого двора поселилась Анечка Лепорская, шумная, быстрая и вечно опаздывающая к завтраку, обеду и ужину. За столом, вспомнив детство,

загадывали мы шарады, и Анечка отвечала так быстро и так нелепо, что даже папа смеялся иной раз, на что Анечка и рассчитывала. Однажды приехала Валечка Шварц навестить папу. И показала нам пасьянс. Катюша стала его раскладывать, и он вдруг вышел у нее с первого раза. На самом же деле оказался он строгим — до сих пор не знаю его названия, — нужно, чтобы легли тузы, за ними двойки той же масти, потом тройки и так далее — до королей. Пасьянс в одну колоду. Этот прямоугольник карточный вдруг вошел в нашу жизнь и занял свое очень определенное место. Мне пришлось искать в Сестрорецке врача для папы. И нашел я человека, похожего скорей на фельдшера, бойкого, с хитрыми глазами. Выяснилось, что это отец однокурсника Тани Герман. В прошлом бухгалтер, из любви к дочерям поступил он с ними на медицинский факультет и благополучно кончил его. Он не мог оставить их. Зашлют к черту на кулички — как они там будут жить в одиночестве. Соединение простоватости и хитрости, деятельной любви к своим, веселого презрения к чужим. У него была не то своя, не то не вполне своя (темнил на всякий случай) дачка. Он и вел папу.

1957
19
января

Два пути у меня протоптались в Сестрорецке. Один, ежедневный, к Наташе, другой, по мере надобности, к доктору. Поначалу они совпадали. Я шел по Дубковскому шоссе налево, недалеко, до угла. Тут сильный, памятный по Жиздре, здоровый огородный запах. Я сворачивал в переулок, мимо огорода, шел через улицы, каждый день новые от освещения, от прохожих, а главное, от моего душевного состояния. Иной раз мне представлялось, что я заблудился и свернул, где мне не полагается. К доктору я шел, уже подходя к цели, по улочке, похожей на луг, заросшей травой от забора до забора. Непременно встречал я тут гусей, шедших к пруду или возвращавшихся кормиться, в зависимости от времени дня. Но независимо от времени гусак, не спеша, направлялся ко мне, шипел и пытался ущипнуть. С врагами подобного рода чувствуешь себя глупо. Защищаться — недостойно, давать себя в обиду — еще глупее. Раза два за лето пришлось мне шлепнуть гусака по маленькой его башке, что не пугало его, а только заставляло промахнуться. Доктора я заставал обычно дома. Высокий, но узкий

лоб его появлялся за окном, и вот он уже стоит возле, ужасно штатский, в какой-то курточке, встрепанный, в ночных туфлях на босу ногу, с трудом скрывая веселое презрение к нам, людям, которые позволяют себе жить на свете, не находясь с ним и в дальнем родстве. Тем не менее он соглашается зайти посмотреть, что там с моим отцом. Путь к Наташе другой. Я сворачиваю к морю, в направлении моря. Иду сначала широкой проезжей улицей. Двухэтажные деревянные коммунальные дачи, подремонтированные, но словно перемогающиеся. Маленькие частные. Эти, как орешки крепенькие, но слишком уж набитые дачниками. Одна, угловая — это уже в переулке, — совсем подтянутая, с разноцветными окнами на балконе, с фигурным забором, вызывает некоторое раздражение. Кажется вызывающей, бестактной. Домик, где живет Наташа, глядит на просторный зеленый пустырь. Сосны, словно пострадавшие, стоят поодиночке на границах.

1957
20
января

По обочинам пустыря, очень обширного, стоят вразброд сосны, будто пострадавшие. Кусты где толпятся, где тоже стоят поодиночке, с видом сиротливым, даже виноватым. Пустырь так обширен, что трудно понять, как это он входит в черту города. Я видел, как натаскивал там между кустами охотник молодую собаку. Когда Феня, Наташина няня, возвращается с рынка, мы видим далеко-далеко ее приземистую фигуру — она горбата, — но не различаем ее кроткое лицо, она добра и безответна, несмотря на физический свой недостаток. Наискось размахивая свободной рукой — в другой у нее сумка, пересекает она пустырь с необыкновенной быстротой, которой сама гордится. А мы радуемся на нее. По другую сторону дачи — садик, похожий на детский, игрушечный, как всегда в подобных местностях под Ленинградом. Кажется, что деревья и цветы воткнули в песок для игры на короткий срок, и вот-вот они завянут. А за садиком шел уже чистый песок, пляж, а за его широкой полосой скромно бились о плоский берег сдержанные волны Финского залива. Я, пройдя шагов пятьдесят по воде, после чего глубины хватало Наташе по пояс, пытался научить дочку плавать. И напрасно. Она никак не могла удержаться на поверхности, шла на дно. А у меня не хватало выдержки заставить ее. Наташа оставалась самой болезненной

моей привязанностью, я был спокоен, только когда сидели мы на берегу моря, или я читал ей в тысячный раз Андерсена, или отправлялись мы вместе купаться. Едва она заболевала, а в то лето у нее часто повышалась температура без видимых оснований, приходил я в отчаянье. В подобных случаях отправлялся я в путешествие за доктором Фарфелем Михаилом Леонтьевичем. Они были очень благожелательными — и он, и жена его, и дочка, работавшая на “Ленфильме”. Она отлично владела иностранными языками, переводила, когда по средам на так называемом семинаре для работников кино показывали иностранные картины. Как всегда, было удивительно, когда ты своими глазами убеждался, что человек живет еще и своею жизнью, помимо той городской ленфильмовской, тесно связанной с Бет Девис и Купером. У дочки Фарфеля был маленький сынишка. И жили они во флигеле с песчаным двором.

1957 21 января

На керосинке готовился обед, белье сохло поперек дворишки, и как это было далеко от лечебного отдела Литфонда или от еженедельного семинара в Доме кино. Фарфель Михаил Леонтьевич шел со мной то на песчаник, то по зеленым улицам Сестрорецка и никак не мог понять, отчего это Наташа температурит. И я тревожился, особенно вечерами. А тут еще, как нарочно, висел над моим письменным столиком портрет девочки, увеличенный, в тяжелой раме, — какая-то родственница хозяйки, умершая в детстве от почек. Больной отец, тревога за дочь — и все-таки жизнь кипела вокруг, и я не отставал. Погорюю — и отпустит. Вскоре перебрался я в маленькую комнатку, окном во двор. Кое-как приспособил свой приемник Т6, вот сюда, волоча тяжело ноги, приходил папа и нападал на диктора, сердясь, что он говорит неразборчиво. А я писал первый акт “Дракона”, редкий случай — без угрызений совести — некуда было торопиться, и, вероятно, поэтому не испытывал я желания встать и сбежать от работы, именно из-за ее срочности, в которой сам виноват. За окном видел я просторный двор во всю длину квартала — задние ворота выходили на зеленую, как луг, улицу, параллельную Дубковскому шоссе. И вся усадьба расположилась на земле, не на песке. Росла высокая трава. И круглая

большая клумба (ее из своей комнатки не видел. Она цвела между фасадом и Дубковским шоссе) скрывалась в траве высокой и свежей. А я видел загородку из рыбачьих сетей, где обитали куры, траву, грядки ревеня, пышного, как лопух, баньку, мастерскую хозяйского сына — далеко у противоположной улицы. И вправо, под уцелевшими деревьями — именно пострадавшими или уцелевшими выглядели в Сестрорецке деревья — в гамаке очень хорошенькую и очень молоденькую девушку. Она тяжело хворала эксудативным плевритом. Ей все выпускали жидкость, но через некоторое время в плевры снова упрямо выделялась новая. Но больная по молодости и привлекательности своей часто чувствовала себя счастливой, улыбалась, и гости толпились у ее гамака.



И мать возилась с ней, как с маленьким ребенком, и характер достался девушке легкий, и молодость утешала, и болезнь без боли снимала всякую вину за то, что, ничего не делая, качаешься в ясный день под березами.

Придется мне вернуться к весне — я забыл целый период моей жизни: месяц в Доме творчества и декаду ленинградского искусства в Москве. Вскоре после премьеры мы решили поехать в Детское Село. В те годы там, в бывшем особняке Алексея Николаевича Толстого, помещался первый Дом творчества нашего Союза. Мы получили большую комнату во втором этаже, окнами в сад. Жили там, когда мы приехали, Тынянов, Тихонов, Карасев, Герман, Матвеев, Марвич. С тяжелым чувством спустился я, собираясь в Дом творчества, неся чемодан, усаживаясь в литфондовский М-1. Я почему-то боялся. Чего? Как всегда — принудительного ассортимента, общего стола. С каждым из отдыхающих был я в пристойных отношениях и только с Юрием Николаевичем — в хороших, но я чувствовал себя после нескольких часов на премьере не успокоенным, а вздернутым, выбитым из колеи. "Тень" после успеха первых дней шла неровно. И Акимов с той же простотой и прямотой, с какой передал мне отзыв Соллертинского, сказал после спектакля, прошедшего вяло: "Я люблю пьесы, имеющие успех и у зрителей премьерных, и у массовых". И неприятнее всего — я не нашел, что ответить ему, словно бы принял его упрек. Так называемая творческая близость моя с Театром Комедии, или, что почти

то же, с Акимовым, была не так уж проста и в сущности пока сводилась к тому, что другие театры меня совсем не принимали, Акимов же иной раз — упрямо, иной раз — переменчиво дрался за мои пьесы. “Приключения Гогенштауфена” ему самому не слишком нравились, но он упорно боролся за сказку “Принцесса и свинопас”. “Наше гостеприимство” даже придумано было в сущности им. Самый сюжет. Но он невзлюбил пьесу, когда на нее стали нападать. И я сам заявил, что беру ее из театра, когда Акимов добился разрешения реперткома. И он легко согласился на мое отречение, хоть недавно дрался за нее со всем упорством, свойственным ему.

1957
23
января

Итак, неспокойный, неуверенный, выбитый из колеи, ехал я в Дом творчества писателей, то есть к людям не слишком близким, недостаточно близким, чтобы жить с ними под одной крышей. Машина бежала по Международному проспекту, тоже не слишком близкому, я, почему-то, не любил эту часть Ленинграда. Большой город состоит из нескольких, непохожих друг на друга. И роты Измайловского полка, проспект, Обводный канал кажутся мне совсем непохожими на тот Ленинград, в котором я обычно живу. А потом идут пустыри, и городские свалки, и невеселые, плоские, с умирающими огородами пространства. Оживляют воображение каменные, тяжкие, монументоподобные верстовые столбы столетней давности. Поражают полным несоответствием с окрестной бедностью, скромностью. А вот гранитный, такой же монументоподобный, не то фонтан, не то резервуар, в который собирается вода родника. Деревеньки в пять-шесть домов, серые, деревянные, неизвестно почему дожившие до 1940 года. Людей в них не видать. Пулковская обсерватория с белым куполом, деревья и поворот к Детскому. Жизнь в Доме творчества оказалась проще, чем чудилось. Видимо, все побаивались друг друга — оказались очень уживчивыми. Только Тихонов, хохоча деревянным смехом и посасывая деревянную свою трубку, пытал бесконечными рассказами. Тынянов, которого пытал он на лестнице по пути в умывальную, слушал его, слушал и вдруг потерял сознание. Но и он, если ты никуда не спешил, казался иной раз занимательным, как отдел “Смесь” в приложении к “Ниве”.

Тут тебе и Кахетия, и Осетия, и Европа, и Средняя Азия. Вдруг в газетах появилось сообщение о взятии немцами Крита, о сплошных потоках транспортных самолетов, идущих двумя линиями, — одни туда, другие, разгрузившись, обратно с острова на базу. То же чувство, с каким я читал “Борьбу миров” Уэллса, охватило меня. Он первый угадал, что нам придется наблюдать не только судьбы людей или семей, а судьбы народов. Мы осторожно удивлялись. Осторожно удивлялся и воспитанный на “Мире приключений” и “Вокруг света”, обожающий сенсации и исключительные положения Тихонов. Он больше помалкивал, уже тогда чувствуя себя человеком государственным, но во всем его деревянном существе угадывалось то оживление, что охватывает любителя, увидевшего пожар в соседнем квартале. Но все-таки и он не мог не чувствовать, что какая-то рука готова взломать наш призрачный непрочный мир. Запах гари проникал в Дом творчества, сколько бы мы ни успокаивали себя, сколько бы ни рассказывал Тихонов о Кахетии и Хевсуретии.

1957
24
января

Играли в карты. У меня обнаружились в конце двадцатых или в начале тридцатых годов родственники в Детском Селе. По шелковской линии. У моей бабушки были сводные сестры, значительно более молодые, чем она. Ее отец, мой прадед, женился вторым браком на вдове с детьми. Матери моей свою сверстницу приходилось называть тетя. И вот эта тетя Дина с дочкой моих лет, вышедшей замуж за учителя по фамилии Евсеев-Сидоров, жила недалеко от Дома творчества. Мир этот был далек и близок. Моя двоюродная тетка, маленькая, черноглазая, одаренная и вполне любительница, никак не артистка, обреченная на это, сочиняла стихи для детей и пьесы для кукольного театра. Но знакомство у нас как-то не склеивалось. Зато с ее дочкой, моей троюродной сестренкой лет пятнадцати отношения установились сразу дружеские. Что-то открытое, детское и очень простое, сдержанно сияющее было во всем ее существе. Однажды зашла она ко мне в Дом творчества. И когда уходила, то так вежливо кивнула сидящим на крыльце писателям и так по-детски и по-девичьи достойно прошла — две косы за спиной, неторопливая походка, что все в один голос похвалили ее. А Тихонов

похвалил ее стихи. Вот она могла стать настоящим поэтом. Раза два заходили мы к ним домой. Тетя Дина (мне, следовательно, двоюродная бабушка) держалась достойно, походила на даму из офицерских кругов. Любила кошек.

1957
25
января

Держась важно, словно боясь, что не поверим мы в то, что она вдова полковника, показывала она своих кошек. Их было множество. Занимали они отдельную комнатку, окном на террасу, и когда ты подходил, иные взглядывали безразлично, иные же с загадочной внимательностью, как будто замечали во мне или за мной нечто, мне самому непостижимое. Но чаще всего оставались мы в Доме творчества, никуда не ходили, благо там оказалось спокойнее, чем я ждал. По саду бегали два щенка, таких славных, глупых до святости, что в который раз в жизни испытывал я безнадежное желание, чтобы каким-нибудь чудом перестали они расти, остались бы навсегда в этом райском состоянии.

С трудом уговорил я себя пойти в Екатерининский дворец и до сих пор этому рад. Каждая, даже ничтожная, перемена состояния причиняла мне боль, точнее — пугала возможностью боли. Но едва вошел я в огромные пространства дворцовых зал, как с удивлением убедился, что не испытываю принуждения, как часто в музеях. Этот дворец жил и, казалось, и не собирался умирать. И самое богатство и пышность не оскорбляли тут и не вызывали протеста. Напротив. Странная мысль поражала тебя: людей, властвовавших тут, великанов восемнадцатого века, спокойно веровавших в свое право жить именно так, трудно судить по законам нынешнего дня. В самом размахе чувствовалось нечто, переходящее за пределы обывательских суждений. Я вдруг как в подарок получил новое чувство, именно чувство, а не мысль, и обрадовался подарку. Этому дворцу, такому спокойному и уверенному в своей долговечности, оставалось жить всего только год с небольшим. Но мы и не подозревали об этом. Тревога, вспыхнувшая при чтении газет, ничем не поддерживалась. Пожар шел в соседнем квартале. И мы отвлекались ежедневно множеством мельчайших забот. И косностью нашего быта.

1957
26
января

А некоторым и в самом деле было не до того. Не так начал. Одному из нас и в самом деле было не до того. Юрий Николаевич Тынянов чувствовал, что болезнь его безнадежная все дальше уводит от жизни. Речь становилась заметно скандирующей. Без палки ходить он не мог. Сознание оставалось по-прежнему ясным. Но именно поэтому он замечал, как с каждым днем меняется его мир, как все выглядит по-новому для него. И как чувствует он бесповоротность движения прочь от мира. И как никто не хочет этого видеть, не может увидеть, кроме него. У меня есть карточка: Юрий Николаевич сидит на балкончике, выходящем в сад, вместе с женой. Леночка закрылась рукой, она не привела лицо в порядок, не желает сниматься. А Юрий Николаевич смотрит на фотографа, словно видит его по-новому, с новой своей дороги в первый раз, и спрашивает или укоряет взглядом за то, что никто не может понять, что с ним. Что он обречен. Хотел положить эту карточку сюда и не мог: в ней что-то роковое. А по своей карточке, снятой в саду Дома творчества, увидел, что деревья еще голые. Так и проступало все время в памяти. Очевидно, жили мы в Детском с середины апреля? Скоро в газете стали появляться заметки, а потом и статьи о предстоящей декаде ленинградского искусства в Москве. Везли туда и “Снежную королеву”, и “Тень”. В одной статье написали что-то лестное обо мне. И тут я сделал неожиданное открытие: я увидел вдруг, что Тихонову, писателю с именем широко известным, занимающему важное место в союзной иерархии, это неприятно. Подумать только! У меня не было и подобия прочного, какого бы то ни было положения. Да и что отнималось у него? Но когда стали читать статью, восхваляющую меня, вслух, он потемнел. Страсть не рассуждает! Вернувшись из Детского, поехали мы вскоре в Москву. Чуть не весь состав был занят оркестрантами, балеринами, актерами. Ехать было, как всегда, и весело, и беспокойно.

1957
27
января

Весело и беспокойно было в гостинице “Москва”, где получили мы номер высоко — кажется, на десятом этаже. Погода стояла ясная и теплая. В коридоре встречались все свои: вот проплывает Зарубина, все с той же прелестной улыбкой — уголки губ вверх, и все тот же нелепый, но упорный протест

вызывает ее фигура. Так и хочется потребовать: похудейте же! А вот Гошева, тоненькая и молоденькая, с невозможно светлыми глазами, таинственная и поэтическая, страшно подойти, чтобы не омрачить впечатление. В "Тени" играет она едва ли не лучше всех. Я видел, как на репетициях она сердилась и страдала, как медленно овладевала ролью. Как обижалась на Акимова — между ними было, как понял я много позже, нечто еще более сложное, чем отношения между режиссером и актрисой, которая собирается уйти из театра. А ее к этому времени уже звал к себе Немирович-Данченко. Однажды после какого-то замечания акимовского стояла она за колонной, сосредоточенная, вся занятая одной мыслью, таинственная и хрупкая, страшно разбить впечатление. Но я подошел. И она сказала: "Я думаю сейчас не о роли, а как справиться со змеями". И движением головы дала понять, что скрываются эти змеи в акимовском замечании, которого я и не понял. Проходит Тенин, квадратный, грубоватый и вместе с тем, где-то в глубине это едва-едва просвечивает, на особый лад томный, что поражает женщин. Сухаревская, и складная и нескладная, словно ушедшая в себя, что объясняется, впрочем, ее глуховатостью. Ей тесно в самой себе, она похожа на беспокойную гимназистку, которая не дает покоя учителям вопросами и правдолюбием. Ее все время кусает и жалит собственный талант. Ей мало только играть, ей хочется самой ставить, сочинять пьесы. Энергия — неразумная, внерассудочная. Форму приобретает, только когда Сухаревская играет. Я написал, что видел в коридоре Зарубину, а теперь не могу вспомнить — не путаю ли. Не тогда ли родилась Танюша у нее и в "Тени" играла Сухаревская? Проходит Лецкий, полный сознания своей полноценности.

1957
28
января

Заходит Суханов, таинственно улыбающийся. Он спорит против того, что нравится всем, и защищает то, что все ругают, от неудержимого желания занять самостоятельную позицию. Это натура мужественная, склонная к действию, но до крайности сложная. Шагу не сделает он прямо еще и потому, что при настоятельной потребности идти цели он себе не представляет. Пробегает Акимов, который обращает на тебя внимание, когда ты ему нужен, и с детской простотой просто не видит тебя, если не нужен. Зон

с готовой улыбкой, стройный до излишества, жених женихом, откинув голову, спешит на спектакль без малейшего сомнения в предстоящем успехе. Во всяком случае, встречным так кажется. Новый ТЮЗ гастролировал в помещении филиала МХАТа, в бывшем Коршевском театре. Я мало знал это театральное помещение. Вышло так, что в студенческие годы я ни разу там не был. Кирпичное здание со ступеньками во всю длину вестибюля. Темно. Рано собравшиеся актеры сидят во дворике у актерского входа. Ощущение домашнее, провинциального театра. Успех "Снежной королевы" меня не столько радует, сколько вызывает смутное чувство вины, как всегда, когда хвалят твою старую вещь. Теплая погода сменяется внезапным похолоданием. Небо ясное, угрожающей темной синевы, и ледяной ветер. И вот приходит, наконец, вечер премьеры "Тени". Мы идем в Малый театр, когда совсем еще светло. Переходим дорогу у сквера против Большого театра (чего с тех пор я никогда не делаю). Тень впервые играет Гарин. Первый акт проходит с успехом. В директорском кабинете — знатные гости. Среди них глубоко неприятный мне Немирович-Данченко. Неприятен он мне надменностью, которой сам не замечает, — слава его так обработала. Неприятен бородкой, которую поглаживает знаменитым жестом — кистью руки от шеи к подбородку. Неприятен пьесой его, которую я прочел случайно, — кажется, "В мечтах", где он думает, что пишет, как Чехов, а пуст, как орех.

1957
29
января

Эта пьеса лучше всяких объяснений, разъяснений, и статей, и речей, и анкет доказывает, что Немирович-Данченко — тот же профессор Серебряков. Впрочем, тот двадцать пять лет читал об искусстве, а этот завоевал позицию покрупнее кафедры. И создал спектакль — "Анну Каренину", кощунственное, художественно-подобное чудовище. Когда началась декада, я слышал разговор работников Комитета по делам искусств, и один из них, к моему удивлению, жаловался на речь, произнесенную Немировичем-Данченко на каком-то банкете: "Для чего он говорил так подхалимски? Кто от него требовал?" Либо работник Комитета по делам искусств в душе своей носил мечту, что среди знаменитых людей есть и в самом деле достойные, либо повторял мнение высокого

начальства. Но до Немировича-Данченко подобные отзывы, разумеется, никогда не доходили. Он поглаживал бороду да процветал. И книгу воспоминаний начал словами: “Мои биографы...” О нем говорили насмешливо, презрительно, но вместе с тем и не без уважения — хитер. И устойчиво, непоколебимо сидел на высоком посту. И вот он пришел на спектакль. И был до того чужд мне в своем величии, до того чужд был мне театр его, который я так робко и почтительно любил лет за двадцать пять до этого дня, что я и не подумал подойти к нему. Хоть, собственно, следовало бы, чтобы Акимов познакомил меня с генералом. Но я не мог представить себе, что хоть как-нибудь соприкоснусь с миром удачи. Чувство, подобное ревности, вспыхнуло во мне, когда я увидел, как сидит Владимир Иванович хозяином за столиком в кресле, по-старчески мертвенно бледный, но полный жизни, с белоснежной щегольски подстриженной бородкой, белорукий, коротконогий. Жизнь принадлежала ему. Храпченко, крупный, крупноголовый, похожий на запорожца, окруженный критиками, хохотал, показывая белые зубы. Режиссеры глядели утомленно. Чувствовалось, что им в основном все равно. Первый акт прошел отлично. И Немирович сказал Акимову: “Посмотрим! Автор дал много обещаний, как-то выполнит”. Во втором играл Гарин, впервые. Лецкий играл Тень простовато, но ясно и отчетливо. Гарин даже роли не знал.

1957 *30 января*

Он играл не то — поневоле. Его маска — растерянного, детски-наивного дурачка — никак не годилась для злодея. И вдруг, со второго акта, все пошло не туда. Я будто нарочно, чтобы испытать потом еще больнее неудачу, против обыкновения ничего не угадал. Самодовольство, с которым смотрел я на сцену, шевеля губами за актерами, ночью в воспоминании жгло меня, как преступление. Когда опустился занавес, я взглянул на Катерину Ивановну и все понял по выражению ее лица. Пока я смотрел на сцену, Катюша глядела на зрительный зал и поняла: спектакль проваливается. Я удачу принимаю неясно, зато неудачу со всей страстью и глубиной. А жизнь шла, как ей положено. Несколько оживились режиссеры. Чужая неудача — единственное, что еще волновало их в театре. А Владимир Иванович не обратил на нее внимания. Он был занят своим.

О пьесе он тоже не сказал ни слова. Что ему было до этого. Он жил. Ему давно хотелось взять Гошеву в Художественный театр. Акимов, двусмысленно улыбаясь, утверждал, будто Немирович-Данченко сказал о Гошевой: “Ирина Прокофьевна — это прекрасный инструмент, на котором при умении можно сыграть все, что захочешь”. Я чувствую себя несколько неуверенным в области, которую сейчас придется задеть. Уж очень часто именно тут подтверждалось то, что казалось невероятным. Акимов не сомневался, что Владимира Ивановича обуревают совершенно определенные желания, что Гошева ему нравится как женщина. Я не в силах был представить Гошеву, тоненькую и молоденькую, с невозможно светлыми глазами, огромными, словно видящими больше, чем доступно всем смертным, и этого старика, говорящего горловым голосом, в положении любовников. Но им владела такая ненасытная жажда жизни, такое героическое упорство — “Не сдамся” — говорили и коротенькие его ножки, и щегольски подстриженная бородка, и речи, которые произносил он на банкетах, полагая, что так надо для него и тем самым для театра. В антракте произошел разговор между ним и Акимовым, прославившийся немедленно и надолго запомнившийся. Театральные люди к концу антракта говорили о нем больше, чем о спектакле и пьесе. Сидя все в той же бессознательно надменной позе, он заговорил о Гошевой.

1957
31
января

Он сказал Акимову, что Комедия — это театр одного человека, а Художественный — коллектив. И вот этому коллективу как раз не хватает именно такой индивидуальности, как Ирина Прокофьевна. И он выражает надежду, что Акимов не будет препятствовать переходу Гошевой в коллектив Художественного театра. Выслушав все это вежливо и просто, поглядывая на Немировича-Данченко своими до крайности внимательными голубыми глазами, маленький, острый, полный энергии, но лишенный и признака суетливости, — пружина, заведенная до отказа, Акимов ответил генералу от Художественного театра следующим образом. Нет, он не может согласиться с тем, что Театр Комедии — театр одного человека. Всякий театр коллективен по своей природе. Гошева необходима коллективу Театра комедии. Но тем не менее он,

Акимов, не будет задерживать Гошеву в своем театре, точно так же как Владимир Иванович на заре Художественного театра не стал бы задерживать молодую актрису, уходящую из его молодого дела в солидный Малый театр. Немирович ничего не изобразил на своем мертвенно-белом, всемирно знаменитом бородатом лице. Но режиссеры и театральные деятели так и взвились от радости. А спектакль мой шел своим чередом. Малый театр совсем не походил на бывший Коршевский. Тут было туго. Перед началом спектакля люди в траурно-черной прозодежде, с фонарями, укрепленными на груди, обыскали колосники. У входа за кулисы стояли таинственные молодые люди. Топтались на месте. Топтались их двойники у входа в правительственную литерную ложу, которая, впрочем была пуста. После третьего акта вышел я раскланиваться вместе с Акимовым. Меня проводил кто-то по крутой лестничке на сцену, и, чувствуя себя навеки опозоренным, я поклонился в освещенный, двигающийся к выходу зрительный зал. Все с тем же чувством позора шел я по полукруглому коридору. Храпченко, окруженный оживленными, опьяненными чужим неуспехом режиссерами, смеялся, показывая все свои крупные зубы. Мы выбрались на улицу.



Здесь тоже слишком уж оживленная, опьяневшая оттого, [что] хлебнула чужого горя, высокая молодая женщина в короткой, чуть ниже талии кофточке, или верхней одежде для улицы, имеющей другое название, увидев меня и узнав — я только что раскланивался со сцены, — метнулась мне навстречу к каким-то своим знакомым, шедшим возле, сказала умышленно громко, не для них, а для меня: “Первый акт — сказка, второй — совсем не сказка, а третий — неизвестно что”. Вся манера говорить была у нее окололитературная или театральная. Это была либо жена режиссера, либо начинающий режиссер, либо театральный критик из кругов, отрицающих Театр Комедии, — во всяком случае, она ликовала. Неуспех пьесы был до того несомненен, что в последних известиях по радио отсутствовало обязательное во время подобных декад сообщение, что, мол, состоялась премьера такого-то ленинградского спектакля, который был тепло принят зрителями. Из театра пошли мы к Образцовым. Он ни за что не хотел верить нам. А тут позвонили еще

друзья его, Миллеры, сообщившие, что им спектакль очень понравился и имел большой успех. Но я-то знал, как обстояло дело. Вечером шел я на спектакль, как на казнь. К моему ужасу, пришел Корней Иванович Чуковский, Квитко. Появился Каплер, спокойный и улыбающийся. Оня Прут. Даже в правительственной ложе появились какие-то очень молодые люди, скрывающиеся скромно в самой ее глубине. И вот совершилось чудо. Спектакль прошел не то что с большим — с исключительным успехом. Тут я любовался прелестным Львом Моисеевичем Квитко. Он раскраснелся, полный, с седеющей шапкой волос, будто ребенок на именинах, в гостях. Он радовался успеху, легкий, радостный, — воистину поэт. Радовался и Корней Иванович. Я на всякий случай предупредил его, что второй акт — будто из другой пьесы, повторил то, чем попрекали меня вчера. Но он не согласился:"Что вы, второй акт — прямое продолжение первого". На этот раз вызывали дружно, никто не уходил, когда мы раскланивались, зал стоял и глядел на сцену. И занавес давали несколько раз. Вызывали автора.

1957
2
февраля

Вызывали режиссера. В последний раз вышли мы на просцениум перед занавесом. Это был успех настоящий, без всякой натяжки. И я без страха шел через полукруглый коридор Малого театра. Подошел Каплер, похвалил по-настоящему, без всякой натяжки и спросил:"Эту пьесу вы и писали в "Синопе"?" И когда я подтвердил, задумчиво покачал головой. На следующий день состоялся утренник — и этот, третий, спектакль имел еще больший успех. Мы перед началом задержались у входа в театр. Солнце светило совсем по-летнему. Подбежала Леля Григорьева, дочка Наташи Соловьевой, юная, веселая, на негритянский лад низколобая и кучерявая, несмотря на свою русскую без примеси кровь. И я обрадовался. Словно представитель майкопских времен моей жизни пришел взглянуть на сегодняшний мой день. Она попросила билет, и я устроил ей место в партере. Пришла она с подругами. У тех места были в ложе второго яруса. Но Леля по-товарищески пустила одну из них на второй акт в партер, и я увидел ее сияющее полудетское лицо в ложе. Ей спектакль нравился с той силой, как бывает в студенческие годы. Пришел на спектакль и Шкловский, под руку с Ваней Халтуриным. Курносое, прямо на тебя смотрящее, большое лицо Виктора Борисовича еще не

оскалилось, но вот-вот готово было показать зубы на бульдожий лад. Я знал, что он не любит пьес и будет браниться. Вероятно, и бранился уже заранее по дороге, если судить по виноватой улыбке, с которой поздоровался со мной Ваня Халтурин. Итак, третий спектакль прошел с наибольшим успехом, но критики и начальство посетили первый! Тем не менее появились статьи доброжелательные, а Образцов в "Правде" похвалил меня в обзорной статье. Тем не менее отношения с Акимовым омрачились. Он слышал, как высказывал я недовольство тем, что выпустил он Гарина без достаточного количества репетиций. И в самом деле — Лецкий играл грубее, но лучше. У него все было ясно. Злодей и есть злодей. Все оказывались на местах.

1957
3
февраля

В театре все всем известно. И когда после спектакля вышли мы на неожиданно светлую, залитую солнцем площадь (в театре всегда представляется, что за стенами — ночь), меня окликнула Хеся Локшина, жена Эраста, тощенькая — одна душа осталась, решительная, подозрительная. Осуждающе глядя на меня своими страдальческими очами, она спросила: "Что же, по-вашему, Лецкий играет лучше Эраста?" И я ответил: "Не лучше, а понятнее". Я хотел разъяснить ей, что под этим понимаю, но заметил, что она дрожит мелкой дрожью, смутился и замял разговор. Декада окончилась. ТЮЗ уехал раньше, нас должен был отправить в Ленинград Театр Комедии. И директор сообщил, что нам достали жесткие билеты. Будь я один, махнул бы рукой. Но тут запротестовал. И на другой день Акимов сухо сообщил мне, что вместо больной актрисы (какой? И зачем ей два места?) билеты в мягкий вагон дадут мне. Решительно отношения у нас портились. И вот снова состав, полный артистами. В купе возле — Сергей Радлов. Его театр не был приглашен на декаду, и обиженный Радлов поехал в Москву добиваться орденов за бесчестье. И, как выяснилось, добился. Восемь награждений получил театр, и все подивились мастерству его руководителя, когда в положенное время появился в газете соответствующий указ. Разговорившись со мной в коридоре, он яростно обрушился на Акимова — яростно в своих пределах. Соблюдая внешние приличия. Он просто не в силах был понять, зачем пользуется Акимов уж слишком простыми приемами, чтобы вызвать

аплодисменты зала. Это любой умеет, и поэтому настоящий режиссер никогда не позволит себе применять эти средства. И так далее, и так далее. Вообще, как всегда, как после съезда писателей, как после массовых мероприятий такого рода, возвращались массы участников печальнее, чем ехали в Москву. Не было традиционного торжественного концерта, на котором, как правило, присутствовало правительство. Каждый ждал чего-то большего. Не успел я пожить дома и двух дней, звонок из Москвы. В Кремле состоится банкет участников декады. Я приглашен. На этот раз получил я номер в "Астории".



Или "Европейской". Ленинградское имя носила эта маленькая гостиница, не то на Неглинной, не то на Петровке, у самого центра. Я получил номер большой и неудобный, с запахом табака и аммиака. Мне скоро принесли билет, он же пропуск в Кремль, с указанием стола, за которым предстоит мне сидеть на банкете, № 42. Среди артистов Нового ТЮЗа царила тревога. Двум актрисам билета не принесли. Между тем как в другом каком-то театре, по слухам, дано было два пропуска на одно лицо. Я спрятался от всех волнений, заперся в своем неудобном, старорежимном, но все-таки отдельном номере. Именно сходство со старыми, меблированными комнатами настроило меня на мысли о студенческой моей жизни, о том, как вечно не везло мне в Москве. О юности, вялой и унылой, о неуспехе "Тени". Но чувство свободы, предчувствие вечера во всяком случае необычного привели к тому, что мысли жалящие исчезли, будто наступила темнота. Появилось неопределенное предчувствие неопределимого счастья. Сознание собственной силы, редкое, пока не пишешь. Неопределенно радующие представления. И я уснул. Вечер назначен был в семь. Еще не было шести, когда все мы собрались в вестибюле гостиницы. Все тюзяне. Я примкнул к ним на этот раз. Через Спасские ворота мы прошли в половине седьмого и очутились будто в другом измерении, другом мире явлений. Тишина, чистота, тишина, порядок, тишина и красноармейцы, стоящие шагах в пятидесяти друг от друга, от Спасских ворот до Кремлевского дворца, безмолвно указывая этим, куда нам следует идти. Нас обогнал Черкасов с крашенными для какой-то роли в какой-то картине волосами. По детской глупости

своей он и не попробовал прикрыть твердое ощущение, что он человек более высокого ранга, чем мы, с чем необходимо безоговорочно считаться здесь, в этом новом мире. Он едва поздоровался с тюзянами, с теми самыми актерами, с которыми был на “ты”, с которыми, начиная актерскую работу, столько пережил вместе. Он верил, что он теперь ближе к этой таинственной правительственной тишине. Зон не удержался и крикнул ему вслед: “Дядя, потрепись!” Но Черкасов не дрогнул.



“Дядя, потрепись!” — кричали ему ребята, когда в давние времена, в 20-е годы, выходил Черкасов на Моховую улицу из широких дверей ТЮЗа. И весь его затылок с крашеными волосами, и его узкая спина, повернутая к нам, выражали, по мере возможности, возмущение подобными шутками. Можно ли кричать депутату Верховного Совета: “Дядя, потрепись!” сегодня, да еще в свягая святых наивысочайшей, строго молчащей, почти божественной администрации. Кремль начала века с булыжной мостовой, ломовиками, одноконными извозчиками, воробьями, голубями, пылью, цоканьем копыт, грохотом колес — был вытравлен, залит асфальтом, выбит из нового времени начисто. Все чисто, как на архитектурном проекте, и так же беззвучно. Московский шум не смел проникать за стены этого мира. Мы поднялись по длинной и прямой, дворцовой ширины, лестнице. Я был в Кремлевском дворце в [19]13 году. К удивлению своему, увидел я в галерее, куда привели нас мраморные ступеньки, все то же большое [неразб. – Ред.] полотно с крупной фигурой Александра III, окруженного крестьянскими ходоками. Внизу на деревянной раме красовалось подобие деревянного щита с завитушками. Вместо герба вырезаны были на нем слова Александра III о том, что все слухи о переделах земли не имеют основания и всякая собственность “в том числе и ваша для меня священна”. Еще по дороге, по номерам столов мы поняли, что сидеть будем раздельно. Огромный Георгиевский зал с полукруглым потолком из-за большого числа столов, покрытых белоснежными скатертями, уставленными бутылками и тарелками со всеми видами закусок, напомнил мне вдруг детское ощущение от вокзальных буфетов. Не хватало только стойки с мельхиоровыми овальными судками, где хранились горячие блюда, и горки с разноцветными бутылками. Вместо этого далеко-далеко поднималась эстрада.

1957
6
февраля

Перед эстрадою во всю длину тянулся стол, терялся в тумане — так далек он был от моего сорок второго. И целое стадо белых от скатертей, пестрых от закусок и бутылок рядовых столов отделяло нас от того, таинственного. Незримая табель о рангах, та самая, что заставила Черкасова поскорее, даже как бы брезгливо, показать спину старым друзьям. Неназываемая, но железно соблюдаемая табель о рангах царила тут. Я вдруг увидел знакомого по портретам Вышинского. Его короткий нос с упрямыми ноздрями придавал его большому лицу грубоватое выражение человека, решившего[ся] на многое. Показали мне человека в сияющей форме и сообщили: маршал Кулик. За моим сорок вторым столом не нашлось ни одного знакомого. Какие-то балетные девочки. Кто-то из филармонии. Первым занял место, сидел уже, когда мы вошли в зал, юноша с несколько широким воротничком рубашки, скромный, с очень внимательным выражением. Вскоре заиграла музыка, загремела музыка, аплодисменты. Вдали, как в тумане, будто во сне, прошли и разместились за длинным столом спиной к эстраде люди до того знаменитые, что, казалось, находились за пределами простого нашего мира. Да они и исчезли из глаз, усевшись за длинным своим столом. Многие полезли было на стулья, чтобы подольше не терять из виду промелькнувшее видение. Тут стало понятно, зачем сидят за столами юноши с таким напряженным выражением лица. Впоследствии узнал я, что их прозвище — нарзанщики, больше им ничего пить не полагалось. Они следили и охраняли. И наш юноша с тонкой шейкой в широком воротничке вежливо, но решительно приказал балетным девушкам, взобравшимся на стулья, чтобы получше разглядеть великих людей, слезть оттуда, что они и выполнили. После этого весь зал заполнился чинным, но, ввиду большого количества собравшихся и огромного гулкого зала, все покрывавшим шумом разговоров и звоном посуды. Над моим столом сияли золотом на мраморной доске фамилии георгиевских кавалеров. Из них запомнил всего одну: Лихарев. Разговаривать было не с кем. Балетные девицы помалкивали. И я пил коньяк “ОС”. И ел.



И молчал. И чувствовал себя неловко, как полотер, которому дали на кухне поесть, но тем не менее следят в оба, как бы он чего-нибудь не унес. А ровный, чинный, непреодолимый гул все тяжелел и густел, совсем вокзальный буфет первого класса, когда остановится на двадцать минут курьерский. Не хватало только гудков за окнами да официантов в черных фраках. На эстраде появился грузный, крупный, крупноголовый Храпченко. Он стал у микрофона, и речь его не пробилась через плотный гул голосов, перемешанный со звоном посуды. Отдельные слова вырывались, но неясные, словно потерявшие контуры и от шума, и от гулкости огромного зала. Вслед за тем на эстраде начался концерт. Правительство сидело спиной к выступающим. Я все пил и не пьянел. В перерыве между номерами на хорах загремела музыка, и строем вошли подавальщицы в одинаковых кофточках, фартучках, в тапочках, чтобы беззвучно шагать. Они веером разошлись по проходам между столиками и, к моему удивлению, подали вареных раков, пересыпанных зеленью. Потом, после ряда концертных номеров, принесли что-то мясное. Тут и нарзанщик, сохраняя озабоченный вид, поел вместе со всем сорок вторым столиком. Жизнь становилась однообразной. И к этому времени строгие правила не то, что отменились, а как бы увяли. Я перешел за другой столик, и никто не засвистел мне вслед. Затем добрел почти до границы запретной зоны — сел рядом с Акимовым, достаточно близко для того, чтобы разглядеть Сталина. Он казался старше, чем представлялось. Глядел сумрачно. Бесплодное желание понять явление, разглядывая его снаружи, и на этот раз только сбило тебя с толку. Уж очень Сталин походил на пожилого и строгого грузина — и только. Сущность явления сказывалась более ясно в черных людях, проверявших колосники Малого театра, в подавальщицах, шагающих в такт под оркестр, в притаившихся нарзанщиках. Насмотревшись, вернулся я на свое место. Пока сидел я возле Акимова, чувствовал себя, как в мягком вагоне с билетом на жесткий.



Концерт продолжался. Балерина Анисимова, недавно, после самоотверженных и отчаянных хлопот ее мужа, Державина, возвращенная из концлагеря, танцевала испанский танец. У нее оторвалась оборка платья, и все со страхом

ждали, что, бойко постукивая каблучками, она запутается в оборке и упадет. Но, поднимая кверху свой тонкий и острый носик, играя лицом, испитым до той степени, что бывает только у балерин и туберкулезных больных, Анисимова благополучно упорхнула с бесконечно широкой эстрады. Потом начали выступать и московские актеры. Запел Михайлов, бас такой силы, что впервые ресторанный гул заглох. Трудно было угадать источник звука. Чудилось, что он пел отовсюду — от стен, со сводчатого потолка. От времени до времени кто-то произносил в глубинах зала речь, но до нас долетали только отдельные слова, словно потерявшие контуры в тумане. Но вот кто-то заговорил на поставленном голосе — маленький человек у самой полосы отчуждения. Говорил он по-грузински — сообщили от стола к столу — тенор Середа. Речь его приняли одобрительно — сообщили от стола к столу. Его позвали туда, к самым главным, куда без прямого и личного приказа не попасть никому: ни маршалу, ни наркому. Я снова пошел бродить. На этот раз человек, стоявший задумчиво между столиками, предложил посмотреть Грановитую палату и повел туда желающих. Он объяснил, что тут происходят приемы более узкого круга гостей. Других исторических сведений у нашего экскурсовода не нашлось. Я вышел в галерею, здесь на бархатных диванчиках сидели и болтали представители ленинградского искусства. Анисимова, оглядывая собеседника своими темными, холодными и грешными глазами, восхищалась концертом, залом, честью, оказанной нам, и ужасалась опасности, которой подвергла ее оборка платья. Гефт восхвалял деликатность Сталина: "Это замечательно, что сидел он спиною к нам. Я бы ни одной ноты не взял, если бы смотрел он прямо на меня". А из зала уже неслись выкрики, свистки, топот — выступал ансамбль песни и пляски под управлением Александрова.

1957
9 февраля

К этому времени все уже стало ясно, ничего нового не предвиделось. Не помню, с кем спустился я по бесконечной дворцовой лестнице, вышел через просторнейший вестибюль на улицу. Мы достали папиросы и тотчас же возле вырос человек в штатском. Он услужливо предложил спичку и, пока мы

прикуривали, рассмотрел нас тщательно. И не отошел. Завел разговор с нами: "Какая сегодня культурная публика! Совсем не видно пьяных. Товарищ Сталин любит, чтобы у него пили до дна. Выпускников академии тостами до того укатают, что чуть не грузовиками домой увозят. У нас это дело налажено. Кто перехватил — сам не поймет, как вдруг домой попал". Когда мы вернулись в зал, который показался уже знакомым, отчаянно стучали сапогами в присядке, далеко в тумане над правительственным столом. Гремел оркестр. Ансамбль песни и пляски как бы замер, стоя строгим полукругом. Но все новые и новые плясуны отрывались от его рядов, защитного цвета, цвета хаки, появившегося в дни моего детства и сопровождавшего меня всю жизнь, то подступая, чуть не к самому горлу, то отступая, но никогда не исчезая. В двенадцать часов концерт кончился. И правительство, далеко, далеко, в еще более затуманившейся дали то ли привиделось, то ли в самом деле поднялось и прошло слева направо, куда-то к себе, в недра дворца, сопровождаемое бурей аплодисментов. Немедленно гостям дано было разъяснение, что они могут оставаться тут сколько им вздумается — уход хозяев не означает, что прием кончился. Кто-то из бывалых людей рассказывал, что в прежние времена Сталин, сопровождаемый членами правительства, обходил столы, беседовал с гостями. Но в последние годы этот обычай отменился начисто. Предложение остаться без хозяев мало кто принял. Да и пробыли мы тут долго, с семи до двенадцати. Домой по ярко освещенному, таинственно-молчаливому Кремлю шел я с Театром Комедии. Всем было не то что не весело, а шли, будто с работы. Напряжение, неестественность положения гостя, которому не слишком-то доверяют, которого не то угостят, не то засвистят ему, как нарушившему правило движения, утомило. Никто не был навеселе.

1957
10
февраля

Впервые в жизни подошел так близко — метров на двести — к историческим фигурам моего времени, и любознательность была только раздражена, будто пил и не допил. Я провел с ними несколько часов под одной крышей только для того, чтобы почувствовать, как далек тот мир от моего. И вместе с тем до чего близок! Каждое слово, сказанное там, в недрах Кремля,

касалось каждого из нас. Но мне суждено было находиться далеко от произносящих эти слова. Я и радовался этому — чисто рассудочно и испытывал вполне суетную, недостойную уважения, но ясную обиду. На другой день узнали мы, что несколько актеров — имена их остались неизвестными — оказались дома, сами того не заметив, в точности, как описывал наш собеседник ночью у входа во дворец. Узнали мы, что вслед за ушедшими историческими лицами в недра дворца приглашены были самые знатные из участников декады по заранее составленному списку. Присоединили к ним Середу после речи, произнесенной на грузинском языке, по именному указу. Как всегда, рассказывали об этом посещении много, но все больше восхищаясь на манер Гефта. Гостям показали любимую картину хозяина "Веселые ребята", которая уж ни на каких экранах не шла, по возрасту. А ее все любили в Кремле. Экран задергивался занавесом. Хозяин после просмотра "Веселых ребят" спросил, не повышая голоса: "Посмотрим еще картину?" Занавес пополз, открывая экран. "Или поздно?" Занавес, подчиняясь, пополз обратно. "А впрочем, куда нам спешить?" И занавес снова послушался, как живой. Поезд возвращался в Ленинград, полный актерами и музыкантами. Все были оживлены на этот раз. Когда на другой день после моего приезда принесли газету, полную имен участников декады — это и было причиной всеобщего оживления, все знали, возвращаясь, что список награжденных подписан, — меня в этом списке не оказалось, что я чувствовал, твердо знал заранее, по причинам, которые сам не мог бы объяснить. Возвращаюсь в середину лета сорокового года. Всегда мне казалось, что жизнь настоящая идет у человека только летом. Папа тяжело болел. Я все время ощущал безысходность его положения. А кругом все жило.

1957
11
февраля

Хозяева наши на рыбалке поймали баркас, занесенный бурей, и притащили домой. Точнее, сын хозяина, и брат, и их товарищи. Хозяин, худенький, молчаливый, только головой качал. А те, возле баркаса, будто опьяненные, будто мальчишки после удачного похода на чужой сад, все возились со своей добычей, конопатили, перекрашивали. И заливался жалобным лаем великолепный сеттер-лаверак, которого держали в пристройке, за

проволочной сеткой, как курицу. Изнемогая от здоровья, молодости, рослый, стройный, он то дышал тяжело, свесив на диво красный язык, то жаловался во весь голос. Пес был жертвой человеческого безумия. Хозяин наш любил охоту, а жена его ревновала к охоте и к собаке и не позволяла хозяину лишний раз подойти к проволочной сетке, где изнемогал от избытка сил несчастный сеттер. Хозяйкой низа, где мы жили, по существу была Мария Львовна, жившая в пристройке. Хозяин — отец молодого слесаря и рыболова — владел только мезонином. Точнее, владела его жена. Все три сестры, которых я видел, — на самом деле, кажется, их было больше — отличались могучим сложением, и сильные страсти потрясали их. Мария Львовна казалась самой спокойной. Городская сестра — самой отчаянной. У нее вышли какие-то неприятности — она заведовала магазином, — с тех пор стала она запивать. Она появилась всего один раз, сопровождаемая рослым гражданином в пиджаке, с курчавыми волосами и почти без лба. Принимали их у Марии Львовны в пристроечке, стараясь спрятать от нас, боясь, что гостья напьется. И она на самом деле через некоторое время уже шагала вдоль пристроек, что-то выкрикивая, и за нею шел ее спутник, держась преувеличенно прямо, стараясь уговорить ее, об этом можно было судить по жестам его, показательно спокойным. Средняя сестра, владелица мезонина, рассказала как-то о силе своих чувств. Отец ее, регент, на спевке, за то, что она сфальшивила, шутя, стукнул ее легонько по голове смычком. И она, к ужасу отца, потеряла сознание. Она страстно, свирепо, беспокойно и требовательно любила мужа.

1957
12
февраля

Всё находила у него какие-то болезни, показывала врачам. А он скромно и вдумчиво жил своей жизнью, что особенно мучило жену его. Ее безумная, деспотическая любовь оставалась безнадежной. Поэтому ревновала она его к собаке. Угадывала, что счастливым он чувствует себя только на охоте. Да он и не скрывал этого. Однажды рассказал не спеша, спокойно и вдумчиво, подбирая слова, как хорошо у взморья на рассвете. Сидишь у шалашика — так спокойно, так тихо. Мне наш хозяин внушал глубокое уважение. Он работал на Сестрорецком заводе с самых

молодых лет, и работал добросовестно, без всякого пустозвона, что наложило на него особый отпечаток. Он не то чтобы знал себе цену. О цене и речи не было. Его определяло спокойное сознание своей правоты. Таким же был Василий Федорович Соловьев, старый врач, проработавший всю жизнь с полнейшей добросовестностью. И Василий Федорович любил отдыхать в горах или в лесу. И говорил так же немного, спокойно и вдумчиво. Наш хозяин был, как и Василий Федорович, аристократом наивысшей пробы, аристократом труда, во имя труда. И манера держаться была у них соответственная. Не могу представить себе инженера или директора, который позволил бы себе обращаться с ним непочтительно. Так же было, когда Василия Федоровича призвали на военную службу. Более штатского человека трудно было себе представить. Рассказывают, что однажды, забыв, что он в военной форме, надел Василий Федорович свою мягкую штатскую шляпу, прошел по расположению своей части и явился в госпиталь — и ничего. Только посмеялось начальство.

Люди подобного ранга жили выше мелких установлений сегодняшнего дня и сами не знали этого. И взыскивающие и штрафующие смутно угадывали это и не осмеливались в большинстве случаев поднимать на них руку. Впрочем, каждое постановление последних месяцев делалось все свирепее, казалось написанным кнутом, как писал Пушкин о петровских указах второстепенного значения. Рассчитанных на сегодняшний день. Появились указы об отдаче под суд за опоздание. О хищении государственного имущества. Однажды увидел я людей, бегущих все в одном направлении, как во время пожара.

1957
13
февраля

Но дыма не было видно. А к вечеру мы узнали, что рабочий пытался вынести с завода моток проволоки, для ремонта курятника. Его задержали. Отдали под суд. Вернувшись с завода, он убил топором детей и покончил самоубийством. О деле этом говорили много, но никак не обсуждали. Только головами покачивали.

А лето все шло своим путем. Выяснилось, что недалеко от нас живут Сима Рысс и Вера Ивановна. Я несколько раз к ним заходил. И у них был маленький-маленький песчаный, будто игрушечный, дворик. А во

дворике бегал по песку [сынишка], на редкость крупный, черный, похожий на негра и на свою чисто русскую из старообрядческой семьи мать. Один раз я был у них с Наташей. У Веры Ивановны нарывал палец под ногтем, и Наташа с таким участием, так вежливо и наивно стала давать Вере Ивановне, врачу, советы, как лечить палец, опустив его в горячую воду. И та приняла это так добродушно, явно любуясь Наташей, так серьезно переспрашивала, что и я любовался ими обеими.

Сима Рысс, человек удачливый, очень известный в городе профессор, был вместе с тем нервен до суетливости, странно не идущей к его крупной фигуре. Разговаривая, он приближал свое лицо очень близко к твоему, щурил, почти закрывал один глаз и говорил, говорил. Как-то застал я у него тощенького человечка, не врача, научного работника, лечившего очень удачно вытяжкой из печени злокачественное малокровие. Он собирался защищать диссертацию на эту тему и показал Симе анализ некоторых цифровых данных. Оказывается, чаще всего заболевали этой болезнью брошенные жены, люди, потерявшие место без достаточного основания и так далее и тому подобное. На добром, растерянном лице Симы вдруг мелькнуло откровенно испуганное выражение, и он сказал врачу: "Что вы, зачем вам этот анализ, давайте чисто клинические данные". И даже рассердился, что научный работник, встревоженно подняв брови, старается, но никак не может понять, почему он должен вдруг отказаться от своих обобщений. Он был еще ученый начинающий, непуганый. Однажды, взяв литфондовскую машину, которую тогда давали напрокат писателям, поехали мы в Териоки.

1957
14
февраля

Мы переехали ту таинственную пограничную линию, которую так часто наблюдали из окна вагона между Белоостровом и Курортом. Шоссе еще не было. М-1, переваливаясь, тащился песчаным проселком, все казалось, что он вот-вот забуксует. Но благополучно выбрались на шоссе гудронированное, только местами раздробленное гусеницами танков. Вот Оллило. Пустынно, как ночью, только два-три дома обитаемы, висит на веревках белье, кухонные отбросы у самого крыльца. Новоселы, по всей видимости, не считают эти дома полученными надолго — уж очень они неухоженные и выглядят менее жилыми, чем

те, что брошены жителями, финнами, прошлой зимой. Дачный трест еще не начал работать, кто разрешил тут селиться, еще не ясно, и новоселы сами не знают, на законном основании они тут живут или самовольно. Во всяком случае их присутствие вносило, повторяю, ощущение необжитости, презрительной небрежности. Дома, которыми пренебрегают, похожи на клячу, которую гонят и лупят без жалости. Дом Репина был еще жив и здоров. Знакомое со студенческих лет представление о "Пенатах" было разрушено, едва увидел я похожий на все встреченные дома двухэтажный, окрашенный в терракотовый цвет дом Репина. Я не знаю, каким я представлял его себе. Во всяком случае — не таким. За порогом охватило меня еще более неожиданное чувство: деспотизма идейности кружковой. Отсебятины. Полагаю, что виноват в этом был не столько Репин, сколько Нордман-Северова. Идеи о питательности сена, стол с вращающейся серединой, чтобы гости обслуживали сами себя. О бородатые дети и старые девы с брошюрами, с их требованием веровать решительно и окончательно. А мы теперь знали, во что может разрастись это интеллигентское изуверство. Я помнил требование повесить Блока и Станиславского и многое другое. На зеркале во всю стену, перед лестницей во второй этаж красовалась полоска белых цветочков на длинном стебле, написанных маслом. Они пересекали стекло поперек. Во втором этаже помещалась студия.

1957
15
февраля

Гардины, пуфик, драпировки. Большое полотно, высокое, но не широкое: Христос, если я не забыл или правильно понял, — в Гефсиманском саду. Кипарисы, горы, молодая луна в небе. Христос стоит бледный. Голова удлинена. И что-то показалось мне наивно мирискусническое, Репину не органичное, но — что делать — навязанное ему временем. Но соль века суетности — мастерский снимок — автопортрет, последняя его работа — старик, белый, знакомый и незнакомый, чуть калмыцкого типа, опаленный временем и небывалыми событиями, унесшими без следа, будто конфетные бумажки, все идеи насчет сена и стола, помогающего обойтись без прислуги. Как бы бодро ни чувствовал себя и ни держал себя человек, складка губ, утомленная и скорбная, говорит о тяжести лет. На последнем заседании редколлегии "Костра" увидел я профессора

Обручева, одного из сыновей академика. Он живо отвечал на все происходящее, говорил о рисунках и рассказах, говорил то убедительно, то спорно, упомянул к случаю о том, что у него дочь школьница, поговорил о живом внимании к “Кон-Тики” (он писал послесловие к книжке), об азиатской и американской теории. Сказал весело: “Книжка так хорошо написана, что хочется верить в американскую теорию, но за нее два процента данных, а против — девяносто восемь”. Но губы, едва он умолкал, принимали скорбное и утомленное выражение, что было значительно и важнее всего происходящего. И репинский портрет над бытовой суетностью, мастерский, говорил о явлении. И был написан без всякой суетности. И пока мы осматривали мастера, с соседнего полотна следили за нами недобрые и недоверчивые глаза Репина-младшего, Юрия. Не помню — был это автопортрет, или писал его старик. Со взъерошенными и не приведенными в порядок ощущениями посетили мы могилу Репина и отправились дальше. Бои тут происходили небольшие.

1957 16 февраля

Но ты чувствовал еще следы войны. То разрушенный до фундамента каменный дом — такие почему-то пострадали больше всего, то обожженные деревья. В Зеленогорске — впрочем, нет, в те дни о новом этом имени еще никто и не помышлял, в Териоках жителей было больше. Впрочем, судя по всему, дачников. На пляже стояли еще высокие плетеные кабинки, оставшиеся с финских времен. Финнов не было. Только в Келломяках, как рассказывали, остался садовник с дочерью. Один из всего прошлого населения отвоеванной части Карельского перешейка. Мы проехали вверх по главной улице Териок к вокзалу. Большое, никак не наше по архитектуре, полностью уцелевшее здание. Внутри темновато и пустынно. Товары не трофейные — впрочем, тогда это выражение еще не вошло в жизнь, — а те же, что в Ленинграде. Возвращался домой я все с теми же взъерошенными и неприбранными чувствами. В них входило, кстати, и чувство вины. Это не я заставил жителей бросить дома и бежать. Меня можно было убедить в необходимости занять эту часть перешейка по стратегическим причинам. Точнее, я молча выслушал бы эти рассуждения. Но почему-то ехал я домой не с чувством

выигрыша, а проигрыша. Я не мог заставить себя из-за этого же смутного чувства съездить в Западную Украину. Вещи, которые привозили оттуда за непристойно дешевую цену, возбуждали во мне все то же смутное, взъерошенное чувство вины, в котором я не смел себе самому дать отчет. Мы жили с чувствами, у которых перебиты спины, руки и ноги. И они прятались по норам. Если грозила им опасность перейти запретные границы. Так беспокойное, и угрожающее, и несчастное, и счастливое, полное жизни лето 40-го года шло своим путем. В августе купил я велосипед. В те времена было это непросто. Купил по случаю. И Наташа научилась ездить на велосипеде, ужасно смешно соскакивала через раму, когда чувствовала, что машина готова упасть. Как лягушонок.

1957
17
февраля

И вот пришел конец лету. Вера Ивановна, зная, в каком трудном положении папа, предложила его устроить в Куйбышевскую больницу. Приехала литфондовская машина. Папа вышел, откровенно, просто, тяжело болея. К этому времени припадки с кровохарканьем участились. Катюша ему вспрыскивала камфору, и он хвалил ее. Лучше любой сестры — быстро, смело. Папа уже не думал о нас, о жизни, о работе — болезнь так захватила его, что он ни о чем другом не в силах был думать. Я тогда еще раз понял простое явление: умирает не тот человек, который жил. И вот папа, сосредоточенный на одном, на своей болезни, — медленно, медленно выходит из дому, идет к машине. Я хочу усадить его рядом с шофером, где меньше качает. Он вдруг тяжело обижается. Ему сквозь мрак болезни представляется, как видно, что это так же обидно, как в его время сесть на козлы. Прерывающимся от сдерживаемых слез голосом он жалуется: “Больного человека... Как это можно”. Я поскорее усаживаю его на заднее сиденье машины. И он быстро, по-детски, успокаивается и говорит: “Вот это другое дело”. По дороге — так было и когда мы возвращались из Луги и ехали на дачу — какие-то силы будто сами собой просыпаются в нем, точнее, собираются остатки сил и помогают ему перенести дорогу благополучно. Грубость приемного покоя. Точнее, казенное безразличие, превращающееся в грубость возле человеческого страдания. Я

городе. Начинается осень 40-го года. Я читаю Акимову I-й акт "Дракона". Он принимает его холодновато — мы еще в ссоре. Точнее, он еще не пережил московского недовольства от неуспеха первого представления, от спора с директором из-за билета, от того, что жаловался я на Гарина, выпущенного неготовым. А по впечатлительности своей, он не скоро успокаивался, глубоко переживал обиду. Тогда я звоню Козинцеву — он в это время с успехом работал и в театре — и приезжаю к нему. День еще теплый — балкон открыт. Точнее, это не балкон, а дверь с решеткой внизу. Полки книг до потолка, вся обстановка теперь мне столь знакомая.

1957 *18 февраля*

Прелестный пес, длинный, коротконогий, мохнатый, серобелого цвета. Он работал в цирке, и у него во рту разорвалась петарда прежде, чем он успел положить ее куда следует. С тех пор отказался пес работать на арене, и Козинцев купил его. Дома показывал пес фокусы с охотой. Открывал двери и, выходя, закрывал их за собой. Ложился в чемодан и закрывал себя крышкой. Козинцев, печально-доброжелательный, стройный, как и в нынешнее время, но необыкновенно моложавый, совсем юноша. Ему пьеса очень понравилась, отчего я повеселел. Пришла Магарилл, красивая, очень отделанная, совсем как произведение искусства. И весь их дом показался мне еще более привлекательным. Все казалось мне понятным, кроме содружества с Траубергом, которого не принимала моя душа с его речами, уверенностью, круглым лицом и вытаращенными холодными глазами. Впрочем, Трауберга в этот день не было у них. Дом оставался подобранным, сдержанным. Я все начинал и не мог продолжить второе действие "Дракона".

1957 *19 февраля*

Мы вместе с Любашевским в просторном министерском кабинете Храпченко. Комитет по делам искусств где-то высоко, во втором или третьем этаже. Адреса не вспомнить. Во всяком случае он не там, где во время войны. Не на Дмитровке. Во всяком случае я так вижу сегодня. Может быть, на площади Ногина. Запорожская башка Храпченко. Улыбаясь и не глядя на меня, он заявляет: "Дракон", во всяком случае сейчас, пойти не

может. А по поводу пьесы Любашевского говорит подробнее. О "Драконе" он говорит как бы в пространство. Ему самому странно, что приходится возражать против пьесы антифашистской. Даже смешно. Поэтому он ограничивается одной фразой. Я не читал пьесы Любашевского. Но Храпченко возражает не по сюжету и не по частностям, и на меня веет тем самым дворцовым дыханием, с которым познакомился я так недавно. Я как будто слышу музыку, табель о рангах подымает невидимый штандарт, и далеко-далеко в тумане проходит хозяин, подобный божеству. "Такое ли хорошее свойство скромность? — спрашивает Храпченко. — Определяет ли оно советского человека? Прочтите "Парень из нашего города" Симонова. Там совсем другие черты..." Я ухожу из кабинета с перепутанными на столичный лад чувствами. Впрочем, совещание проходит тихо, никто меня не обижает. Напротив, я выступаю с успехом. Живем мы в гостинице "Москва", обедаем в "Национале". Нервы напряжены. Я много пью. Живем мы в одном номере с Любашевским. Однажды, после обеда, оба мы уснули. И вдруг я вижу, что один угол комнаты нашей переполнен чудовищами, голыми дьяволами, мужского и женского пола, вполне человекоподобными. Я вскакиваю. Самый маленький из дьяволов, старик, отделяется от толпы, бросается ко мне и беззубыми деснами кусает за колено — по своему росту. Я отбрасываю его. Тогда он присасывается к грудям дьяволицы, висящим чуть не до полу. Насосавшись, подрастает, бежит ко мне. Я усилием воли просыпаюсь, но вижу, что угол комнаты переполнен все теми же голыми чудовищами.

1957
20
февраля

Все повторяется. Старик снова кусает мое колено. Я просыпаюсь в третий раз. И чудовища по-прежнему тут. На этот раз старик, отброшенный в угол, насосавшись, вырастает в человека обычного роста. Он шатается, как пьяный, двигаясь ко мне. В руках его нож, и, чтобы не упасть, он вонзает его в дьявола, стоящего на пути ко мне, держится за рукоятку. Это уж слишком страшно. Я вскакиваю так, что бужу Любашевского, слышу его сонный голос: "Ты что кричишь?" и вижу обычный номер гостиницы "Москва", освещенный и расположенный иначе, чем в моем страшном сне. Но мысль, которую я сам не считал соответствующей действи-

тельности, а чем-то вроде игры или мелочи, осталась навсегда — тут, в центре, набито дьяволами. Даже я, человек трезвый и холодный, вдруг увидел их. И вот я вернулся домой, и началась жизнь, полная забот, радости, ответственности и горестей. Отцу становилось все трудней. Договорились, чтобы к нему приходила дежурить сестра. Появилась тощая, черная, узколицая, немолодая особа, с сожженными волосами и тем самым безразличием, что и в больнице, которое рядом с живой болью казалось жестокостью. Папа обрадовался, засуетился и велел сестре записывать все: температуру, пульс, общее состояние, какие лекарства он принимает. А у меня хватило жестокости возразить против этого. И папа, глядя на меня своими темно-серыми невидящими глазами, дрогнувшим голосом сказал: "Что ты! Так нужно, нужно!" Его прямой и простой разум затуманивался. Он, всегда насмехавшийся над гомеопатией, стал вдруг принимать гомеопатические лекарства. Он честно сражался со смертью. Не хотел отступать, боролся всеми силами. Теперь уж бывал я у стариков каждый день. Мама лежала — припадки Миньера участились. Папа сидел, закутавшись в красное одеяло, считал пульс, глядя на часы искоса, чтобы секундная стрелка попала в поле его зрения. И я спешил говорить, рассказывать, чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь моих больных от мрака и холода.

1957
21
февраля

Дело усложнялось тем, что окаменели и не исчезли обиды, нанесенные в молодости. Близость, разрушенная в те дни, не могла возродиться в старости. Впрочем, неверно. Близость не исчезла, окаменев. Близость обиды. Мама — душа сложная, ранимая — ничего не простила и не забыла. Не больной старик, а все тот же муж, сказавший когда-то в бешеной шварцевской вспышке "люби меня, пожалуйста, поменьше", жил возле. Не сердилась на него мама — душа все болела. Прирожденная артистка — не ушла она на сцену. Неиспользованные силы все бродили и мучили. Она не сердилась, но спорила с отцом, как с равным. Правда, ведь и она была тяжело больна и стара — но еще полна жизни. Я тут не мог вмешиваться. Или, по душевному сходству, внутренне вдруг соглашался с матерью. Беда! Я уходил, и туман на некоторое время шел за мной облаком. Но что-то в силе и определенности этого страдания внушало уважение. А

жизнь шла. Конец сорокового и начало сорок первого сливаются у меня в одно. Рест начал работу над “Давайте не будем”. Я написал отрывочек для одной части программы настолько неудачный, что пришлось его снять. Тем не менее, и к удовольствию и к раздражению Реста, меня считали основным автором программы. Объяснялось это еще и тем, что вступительное слово, по настоятельному требованию Реста, говорил я. В перепутанной моей душе одним из яснейших и несомненных чувств была моя любовь к Наташе.

1957
22
февраля

Любопытно, что если я приезжал читать в детские библиотеки или школы, меня встречали почтительно, как всякое новое и непривычное явление. Когда же явился я с той же целью в Наташину школу, раздался вопль: “Наташин отец пришел!” Исчезла вся таинственность явления “писатель”. Тем не менее отношения с Наташиными одноклассниками были хорошие, и мы часто вместе готовились к контрольной по арифметике. В те годы у всех ребят с особенной силой вспыхнула страсть к собиранию фантиков. Причины тому были исторические — присоединение к нам двух новых советских республик. Из Эстонии, а главным образом из Латвии шли конфеты в бумажках, непривычных и ярких. Ребята завели даже альбомы, в которые наклеивали эти фантики. На углу Литейной и Пестеля был большой выбор подобных конфет. Гуляя с Наташей, я заходил обычно в эту кондитерскую. Боясь развить в Наташе скупость, я покупал одинаковое количество конфет и ей, и подругам, если они шли с нами. Ребята быстро учли это обстоятельство. И к кондитерской мы подходили хорошо если впятером или вшестером. Соседские девочки бежали из скверика возле или со двора и шагали рядом, взявшись под руки, мешая движению. Я жил слишком уж уходя в то, что считается житейскими мелочами. Я никогда не был настоящим работником, живущим для работы. Мне приходилось, словно репейники, выбирать из души набившиеся туда заботы и беспокойства, делать усилие, чтобы сесть за письменный стол со свободной душой. Но, правда, жил я не сонно. Сквозь все, будто дневной свет сквозь занавески, неудержимо пробивалось чувство радости. Поездка на трамвае к Наташе, вечер, дом, утро — все было окрашено резко.

1957
23 февраля

Я становился холоден, против моей воли опускались какие-то заслонки. Катюша и Наташа — вот где я не мог никогда омертветь, впасть в полусонное состояние. Если же дело касалось хотя бы людей, которых я любил или был к ним привязан, заслонки делали свое дело. Я знал, но не понимал с достаточной глубиной, что папа безнадежно болен. У Тони с отцом его и близкими отношения были куда более простые и здоровые, и я который раз завидовал шварцевской цельности, недоступной мне. Беда в том, что заслонки эти не освобождали тебя от ощущения неблагополучия. Можно заткнуть уши, когда гремит гром. Но молнию видишь. В общем, объяснить все это трудно. К папе ходил литфондовский врач Шафир. Он предупреждал меня, что положение тяжелое. Да я и сам это видел. Через Литфонд стали хлопотать, чтобы его положили в Военно-медицинскую академию. В первых числах декабря приехала за ним машина с санитарами. Его одели. У него была шапка, кубанка. Мама лежала на кровати в своем углу. Проходя мимо, он прикоснулся к шапке своей, будто отдавая честь, и дрогнувшим голосом сказал: “Ну, до свидания”. Мама ответила что-то. Так, не попрощавшись, не примирившись, не сводя счеты, расстались мои старики. В том корпусе академии, против которой стоит памятник Боткину, ввели папу в необыкновенно чистый вестибюль. Его приняли тут более бережно и внимательно, чем в Куйбышевской больнице. Потом проводили его к лифту. Мне объяснили, что я могу прийти после трех. Отец беспомощно позвал меня из лифта. И когда я пришел в тот же день, сказал: “Я видел, как ты вдруг провалился куда-то”. Он был в полусознании, почти бредил и не понял, что он поднимается в лифте, ему почудилось, что я ухожу вниз. Сначала папа лежал в просторной палате на двоих, потом перевели его в маленькую на одного. Врачи тут были ласковы с папой. И он чувствовал это. Однажды зашел к нему ведущий его доктор, заговорил, и лицо у папы преобразилось — вдруг приняло веселое, чуть насмешливое и добродушное выражение.

1957
24 февраля

И он поговорил с доктором, как говорят со старым товарищем по работе. И все-таки папа, всю жизнь проведший в больнице, признался однажды, что все-таки ему здесь трудно. Несмотря на уход, на отдельную комнату, на ува-

жение врачей, на особую чистоту и тишину всего терапевтического корпуса. Я бывал у него каждый день. Иной раз ему чудилось, что я и не уходил. Когда я появлялся, он вздрагивал: “Ты так поздно здесь”. А однажды доктор спросил: “Кто у вас Женя? Больной все спрашивает, где он”. То, что я вдруг стал старшим, меня поражало и огорчало в той мере, какой позволяли заслонки. Я спросил одного из врачей: “Вы считаете, что мой отец безнадежен?” И врач ответил: “Такого выражения у нас нет. Пока больной живет, мы считаем, что надежда есть”. И он рассказал, как еще до революции к нему обратились с подобным же вопросом о больном, которого надо было убедить сделать завещание. В противном случае какие-то близкие этому больному оставались в нищете. И врач, считая больного безнадежным, осторожно подготовил его к мысли о необходимости завещания. И больной вызвал нотариуса. “А недавно встретились мы на Невском и посмеялись, вспомнив этот случай. Сердечные болезни капризны...” Тем не менее он сказал: “Давайте ему все, что попросит. Шампанского захочет — пожалуйста”. Другой доктор сказал, что борется папа героически и как будто наметилось улучшение. И мама оживилась и обрадовалась. Я договорился с сестрой, дежурившей возле отца, чтобы она позвонила мне в случае ухудшения. И вот 17 декабря она вызвала меня вечером, около десяти, в больницу. Приехав, я не застал уже отца в живых. Сестры закрыли ему глаза. Они вышли, когда я появился. Я поцеловал отца в лоб, еще теплый. Вскоре приехал Валя. Мы ушли из клиники, договорившись до утра ничего маме не говорить. С утра встретились мы у нее. Мама уже все знала — Валя приехал раньше. Потом на литфондовской машине объездили все многочисленные учреждения от клиники, где Валя договорился с человеком при часовне, и там, когда привезли гроб, до загса. Я не мог спать ночь, был как в тумане.

1957
25
февраля

Заслонки отказали. Я знал, что отец был болен безнадежно, и все же, когда смерть пришла, меня ударило это несчастье и ошеломило, как полная неожиданность. В назначенный час собрались мы в комнате при часовне, высокой и просторной, с высокими сводчатыми окнами, комнате дворцово-казарменной, военно-медицинской. Гроб стоял посреди. Папа благообразный, седой и

строгий, лежал, откинув голову на низкую подушечку изголовья. Знакомый, унаследованный от бабушки, выпуклый лоб. Чувство печальное, но вместе с тем близкое к религиозному. Происходило нечто, уничтожившее суетность сегодняшнего дня. Приехал автобус из похоронного бюро. Когда помчались мы по Выборгской стороне мимо Финляндского вокзала и дальше к Кондратьевскому проспекту, мне показалось, что в этом автобусе и сопровождающих его литфондовских машинах, во всем этом похоронном шествии на новый лад есть порядок и своя, хоть и непривычная, величавость, хоть и моторизованная. И место на кладбище под старой березой оказалось достойным. И, как нарочно, для старого врача — на Клинической аллее. Гроб скрылся под землей. Поставили белый крест с надписью — имя, отчество, фамилия, дата рождения и смерти. И все запутанные и подавленные чувства последних месяцев, вернее, двух лет перешли в мои сны. Я все видел во сне отца, все с тем же чувством неясной вины, вины живущего перед умирающим. Я не мог заставить себя пойти и получить из Военно-медицинской академии его вещи. И во сне казалось мне, что он сердится и на это. Наконец привез я маме его пальто, кубанку, все вещи. Мама предлагала мне взять часы, что я подарил ему когда-то, или скрипку, все, что захочу, на память, но я и думать об этом не мог. Я столько раз видел, как сидел папа, искоса глядя на секундную стрелку этих часов, закутавшись в одеяло. Часы отдали в чистку, проверку и подарили их Игорю, моему племяннику. Стало тихо, очень тихо и беспокойно, как перед грозой. Исчезло напряжение, имеющее ясные причины, и появилось беспричинное. 41-й год вступал в жизнь вкрадчиво, тихо-тихо. Я работал, но мало.



Незаметно и скромно встретили мы новый, сорок первый, год. Он притворялся смирным, но я давно заметил, что несчастен не високосный год, а следующий за ним. Все было тихо, слишком тихо.

Теперь я бывал каждый день у мамы. С необыкновенной простотой, приложив ладонь к кубанке, как бы отдавая на прощание честь, ушел отец из дому и не вернулся. На другой день после его смерти прочел я в газете, что какая-то крупная птица грудью ударилась ночью о какой-

то маяк или сигнальный большой фонарь аэродрома в Москве. И я подумал, что это сильная и простая папина душа, — подумал, как бы играя. В комнате его не было. Не сидел он, закутавшись в красное одеяло на кушетке, глядя искоса на секундную стрелку своих часов. Ушел из жизни с той самой простотой, к которой никогда не привыкнешь, не поймешь. Легче поверить, что это папина душа ударилась о фонарь, разбила его. Мама однажды вспомнила, как ударил себя папа ладонью по кубанке. Спросила — что он, попрощался так, что ли? Мама писала, что она попала к нам девочкой и мы виноваты, что не воспитали ее. А мне все чудилось, что это мы со своими путаными, непростыми душами виноваты перед простым и цельным отцом. Никто не был виноват, вернее всего. Не нам судить. Но перед умершими все чувствуешь себя виноватым. И это чувство не проходит. Недели две всего назад увидел я во сне, что захожу в комнату. Отец лежит в старом своем обмундировании, в том, что ходил в двадцатые годы. Мать сидит спиною к нему у стола. Я чувствую себя в чем-то виноватым — не то давно не писал, не то чего-то не сделал. Отец спрашивает испуганной скороговоркой: “Кто, кто там пришел? Я не вижу и не слышу!” И по лицу матери я угадываю, как раздражают ее эти вопросы. И испытываю знакомое чувство ответственности за них обоих, чувство конца тридцатых годов. Итак, сороковой кончился, и подкрался 41-й. Я захожу к маме. Она больше полеживает, придвинув кровать к столу. Боится припадков Миньера. Держит строгую диету. И я боюсь, что из страха припадков тошноты и головокружения морит она себя голодом. Во всяком случае, расспрашивает, что у нас сегодня было на обед.

1957
3
марта

Возвращаюсь к затишью начала 41-го года. Я заходил к маме. Однажды уговорил ее выйти со мной погулять. Она боялась припадков, да они и в самом деле были ужасны. Никогда не забыть мне один из них, самый длительный и ужасный, когда больше всего меня обидело, как на маминых висках набухали синие вены. Мне показалось несправедливым, что с женщинами болезнь так же беспощадна, как с мужчинами. Непрерывная, неукротимая рвота, сильнейшее головокружение. Вот она и береглась. И очень соблюдала диету, и я видел, как ей хочется есть, когда она

расспрашивала, что у нас было на обед. Она скучала и радовалась, когда я приходил. И вместе с тем, особенно это заметно было, когда я гулял с ней по бульвару и отвел домой, выступало ее шелковское неприятие благополучия. Ей чудилось, что тут придется поплатиться, что так не бывает. Рязанское российское недоверие к тишине. Но следует сказать, что и нам тишина казалась зловещей. Мы сняли дачу в Сестрорецке. Не у прежних хозяев — там было слишком дорого. Нам теперь не нужна была такая большая дача. Но недалеко. Около канала. Я давно любил одну узенькую улочку, которая шла свободно, поворачивала, как тропинка, и вся заросла травой. Дома все стояли в садиках. И я снял тут верх для Наташи, а низ сняли Эйхенбаумы. Все было благополучно, слухов никаких не ходило, но переехали мы на дачу в холод — весна была поздняя. А мы перебрались в середине мая. Сестрорецк поражал меня столькими чудесами. Приехала Розочка Колдобина с сыном, и мы пошли с ними искать дачу. И верхняя часть Дубковского шоссе, которую я думал, что знаю, при этом случае оказалась совсем незнакомой. Нам указывали какие-то домики, в которых сдавались комнаты, мы шагали через пустыри с уцелевшими деревьями, море вдруг, сдержанно поблескивая, показывалось далеко за дамбой.

1957
4
марта

Я считал, что хорошо знаю канал и все дорожки вдоль его берега. Но со двора нашей новой дачи казался он совсем новым, и я обнаружил узенькую тропинку, идя по которой вдруг с неожиданной ясностью ощущал чьи-то старые дачи за кустарником, уцелевшие с доисторических времен. Так я играл. Мы часто сидели с Катюшей в беседке хозяйского сада и говорили о том, как тревожно. Говорили и не верили себе: тревога уже столько раз овладевала нами за годы, что прожили мы вместе. Наташа сдала на пятерку все экзамены. Эта тревога кончилась наконец. По географии спросили ее о Южном Крыме. По арифметике задача оказалась настолько простой, что Наташа поняла, каким приемом она решается, не испугалась. Ко дню рождения купили мы ей велосипед и маленький детский браслет с хризопразами. Я встретил ее при выходе из школы и сказал, что велосипед достать не удалось. Наташа сияла празднично.

Она никогда ничего сама у меня не просила, верила, что я сам все дам, что можно, так что и не расстроилась. А когда дома в узенькой своей спаленке обнаружила у стены настоящий дамский велосипед, то замерла от восторга. Она все не ехала на дачу: весна запаздывала. В день Катиного рождения, 31 мая, вечер получился особенно неудачным. Вдруг Рест прислал машину, чтобы непременно приехал я в Дом писателя на премьеру "Давайте не будем". И мы отправились в город, и я заболтался в суете, и Катюше, почему-то это показалось зловещим, "Что-то у нас изменилось, — сказала она. — Ты теперь меня не любишь". На самом деле это была та же самая тревога, тень, отбрасываемая приближающимся роковым днем. Но разглядеть мы ее как следует не могли. 2 июня поехали мы на автобусе к Германам в Келломяки. День был ясный. Крутой подъем, столь знакомый теперь. Тогда показалось, что стоит он стеной, перегораживая гудронированную дорогу. Не одолеть. Но чем ближе мы подходили, тем доступнее глядела стена и в конце концов обратилась в крутое, но вполне проходимое продолжение той же гудронированной дороги. Поднявшись, свернули мы вправо, нашли Германов.

1957
5
марта

В те годы писатели числились в другом разделе табели о рангах. И Герману дали в аренду дачу большую, двухэтажную. С ними никогда у нас не было ровных отношений. С Германами. В те дни беспричинно, вдруг, мы чего-то в двадцатый раз с начала нашего знакомства, относились друг к другу осуждающе. Не понравилось мне Комарово, хмурый Герман, тощий овчар, привязанный к сосне, небрежно огороженная или совсем не огороженная дача. Мил оказался только Лешка, совсем еще крошечный в те дни. Но ему Юра холодно запрещал заходить в ту комнату, где мы сидели. Дача показалась бутафорской. Обед безвкусным, разговор не завязывался, небо стало хмуриться. Трудно было представить себе, что, когда мы выехали, светило солнце. Пришли Штейны. Разговор стал веселее, но напряженнее. Появился Левушка Канторович, со своим невольно радующим видом несокрушимого здоровья, ладный, молодой, крупный. Он привел собаку в те дни модной породы. Эрдельтерьер. Левушка жил с удовольствием, и дача у него была лучше всех, и редкий

пес, и одет он был на свой лад, и все улыбался. Он проводил нас вниз к автобусу. И скоро ушел — подул ветер, понес мелкую дождевую пыль. Автобуса все не было, а погода все ухудшалась. И наконец разыгралось нечто уж вовсе зловещее — 2 июня на распустившиеся уже совсем деревья, на траву, на густую зелень раннего лета повалил крупный снег. Появился автобус, идущий в Териоки. Я спросил у кондуктора — долго они там будут стоять. "Сразу же в обратный рейс". Чтобы не стоять под этим нелепым, оскорбительным снегом, поехали в Териоки. И тут новая беда — у автобуса лопнула шина у самого вокзала. Шофер сообщил нам, что едет в гараж. И снова под снегом под решеткой, окружающей перрон, мучимые грязной, мокрой площадью, стояли мы и ждали, ждали. На другой день все как будто прошло бесследно, но мы не то прочли в газете, не то рассказал кто-то из друзей, что в результате гибели мошкары и каких-то личинок из-за снега в Летнем саду на аллеях то и дело находят погибших с голоду ласточек. Дня через два Германы приехали к нам.

1957
6
марта

И Юра почти обиделся — ему показалось, что дача у нас лучше, чем у них. А то, что у нас она меньше и всего только на одно лето и дорого — ему как-то не приходило в голову. Комната для мамы, отдельная и удобная, была приготовлена и прибрана, но она еще не решалась переехать из-за холодной погоды. Бывая в городе, я заходил к маме и описывал ей дачу и комнату, где она будет жить, и мама довольная, но с шелковской осторожностью повторяла: "Ну, посмотрим, посмотрим!". Переехала Наташа с Дуней и бабушкой. Познакомились с владелицей дачки, тихой старушкой. Оказалось, что муж ее, владелец дачи, старый рабочий Сестрорецкого завода, погиб давно, вскоре после гражданской. Прибило мину к берегу. Несколько человек отправились ее разрядить, а мина оказалась незнакомого образца и взорвалась. Катастрофу эту в Сестрорецке помнили, и я слышал о ней и раньше, но впервые увидел семью, пострадавшую от нее. Погода, словно против воли, но устанавливалась понемногу. Когда подсушивало, катались мы с Наташей на велосипедах. Однажды, когда проезжали мы через лесок, кукушка принялась кричать нам вслед, безостановочно, в азарте, бесконечно, не

сосчитать. Мы с Катюшей по вечерам сидели в беседке и все не хотели верить своему беспокойству. Я сильно пополнел к этому времени. Велосипед не слушался, я еще не умел приспособить новый свой вес к старому умению. А однажды у меня слетела педаль, и я упал на ходу. Лева, сын прежних хозяев, послал меня в велосипедный магазин и установил сразу же новую педаль. Мы однажды позвали в гости прежнего хозяина с женой. Они пришли, и я все любовался на него. Он принес Катерине Ивановне цветы, был весел на особый лад, как полагается в гостях. Этот худенький старый мастер принадлежал к тому слою заводских людей, что знают себе цену и воспитаны своими традициями. Он, пока мы жили у них в постояльцах, чувствовал себя связанным. А тут пришел в гости. И говорил, и держался — залюбуешься. А июнь все шел вперед.

1957 7 марта

Новый Сестрорецк, у моей дачи, в Наташиной тихой улочке, Сестрорецк с велосипеда, непохожий на все предыдущие, раскрывался передо мною не спеша, вступая потихоньку в лето. Дожди шли часто, но случались и ясные дни. Однажды в такой ясный день отправились мы с Наташей в далекое путешествие, в самый центр города, в игрушечный магазин. Купили алюминиевую посуду — пришитый к картонному щиту набор сковородок, тарелочек, кастрюлек, а больше ничего интересного не нашли. На обратном пути у ворот парка, против буера, увидел я знакомое и роковое для меня, большое, обрюзгшее лицо Соллертинского. Я испытал немедленно острый приступ того сумасшествия, что отравило мне столько часов жизни, острый приступ боли от чужой брани. Я еще и потому терпеть не мог этой боли, что считал ее верным признаком своей незначительности. Сильные люди не придают значения тому, что о них говорят. Или отвечают иначе. Не верят. Только много-много позже стал я понимать, что я за столом и я на улице — не одно и то же. Во всяком случае, придумал себе такое утешение. Итак, я увидел Соллертинского, и меня будто кнутом ожгло. И я весело поздоровался с ним и познакомил его с Наташей. Я скорее умер бы, чем признался, показал бы, с какой неоправданной, нездоровой силой задет. Соллертинский ответил вполне добродушно. Он выругал “Тень” вполне от души.

С тех пор мы встречались несколько раз, и ругался он, не придавая этому значения, и сейчас так же добродушно, как тогда свирепо, так пришлось, заговорил он со мной. И я с удивлением заметил, что у него ярко-голубые глаза, они вдруг и взглянули прямо, помимо всего, что я о нем знал. И мы поговорили немножко, и больше я никогда не видел его. Он умер в Новосибирске, в эвакуации, года через два-три, ночуя у кого-то из знакомых. Умер внезапно, обнаружили, когда пришли будить его. В тот ясный день я увидел вдруг его глаза, словно до сих пор не имевшие отношения к этому большому и рыхлому лицу. Попрощался с ним и не думал, что это навеки. Мы с Наташей часто ходили к поезду. Иной раз встречать кого-нибудь, а то просто погулять.

1957 8 марта

И вот однажды среди озабоченных ленинградцев, все с авоськами или по-дачному распухшими портфелями, все с лицами будничными и в себя глядящими, увидели мы словно бы шествие. Рослые мужчины, со снисходительно-благосклонными лицами, в отлично сшитых серых летних плащах, женщины, одетые с тем, чтобы на них непременно посмотрели, все держащиеся, как молодые и хорошенькие. Как жрецы, уверенные в своем высоком служении, шествовали приезжие, разрезая толпу и не сливаясь с ней. И я узнал актеров, приехавших на концерт в парк культуры. Почему-то вся их бессознательная важность среди озабоченной толпы показалась мне до того призрачной и нелепой, что смех напал на меня, так что Наташа даже обиделась за актеров. Примерно 20 июня разнесся по Сестрорецку слух, что пойман лосось небывалой величины. Потом и газеты подтвердили, что это правда. Что чудищу этому около трехсот лет, длина около двух метров. Народ так и шел рекой к тому месту канала, где в загородке из сетей ждало решения своей судьбы несчастное чудище. Пошли взглянуть и мы с Катей и Раей Борисовной. Сонный сторож пошевелил в мутной воде веслом, и мы, всей жизнью приученные к вещам, имеющим свою меру, под деревьями, сдержанными в узком канале, увидели нечто меланхолическое, непостижимо огромное. Рыбища в ржавой броне, поднятая веслом сонного сторожа, — лосось ли это? Белуга? Не в том дело. Но не укладывалось это явление в нашу жизнь. Не укладывалось, да и только. И мы

возвращались домой смущенные. В эти же дни появилось в газетах сообщение, что 22 июня в Самарканде археологическая экспедиция вскроет гробницу Тамерлана. Иные посмеивались: "Ох напрасно выпускают на волю старика". Шло учение ПВХО. Я шел с Наташей от вокзала с прогулки. Ветер был прохладный. И нас, всех прохожих, загнали в какой-то двор, в условное бомбоубежище.

1957
9
марта

Итак, 20 или 21 июня попали мы с Наташей на учение ПВХО. Вечер. Нас — случайных прохожих — загнали в чей-то двор. Стальное, нетемнеющее небо. Тишина — как всегда после животного и вместе механического воя сирен. Условно отравленного газами несут на носилках через площадь. И опять мертвая тишина и неподвижность, и я боюсь, что Наташа простудится, — она вышла в легком платьице, без пальто, думали, что сразу вернемся домой. А отбой все не давали, не давали, не давали. И я, отведя Наташу домой, был уверен, что завтра она непременно простудится, столько времени продержали нас в этом чужом дворе. Утро 22 июня было ясное. Завтракали мы поздно. На душе было смутно. Преследовал сон, мучительный ясностью подробностей, зловещий. Мне приснилось, что папа мертвый лежит посреди поля. Мне нужно убрать его тело. Я знаю, как это трудно, и смутно надеюсь, что мне поможет Литфонд. У отца один глаз посреди лба, и он заключен в треугольник, как "Всевидящее око". Ужасно то, что в хлопотах о переносе тела мне раз и другой приходится шагать через него, — таково поле. И вдруг я не то слышу, не то вспоминаю: "Тот, кто через трупы шагает, до конца года не доживет". Я, по вечной своей привычке, начинаю успокаивать себя. Припоминать подобные же случаи в моей жизни, которые окончились благополучно, но не могу припомнить. Нет, никогда не приходилось мне шагать через трупы. Я рассказываю свой сон Кате, и она жалуется на страшные сны. Она видела попросту бои, пальбу, бомбежки. В двенадцать часов сообщают, что по радио будет выступать Молотов. Я кричу Кате: "Дай карандаш! Он всегда говорит намеками. Сразу не поймешь. Я запишу, а по[то]м подумаю". Но едва Катя дает карандаш, как раздается голос Молотова, и мы слышим его речь о войне. И жизнь разом как почернела. Меня охватывает тоска. Не страх,

нет, а ясная, без всяких заслонок, тоска. Я не сомневаюсь, что нас ждет нечто безнадежно печальное. Мы решаем ехать в город. Я иду к Наташе. Выхожу с ней пройтись напоследок. Покупаю ей эскимо. Но и Наташа в тоске.

1957
10
марта

Наташа не может доесть эскимо и швыряет его на дорогу. И сколько раз потом в эвакуации вспоминает она с удивлением: "Как это я могла выбросить эскимо?" И в самом деле — лет через пять-шесть перестало оно казаться чудом, воспоминанием. Тоска, тоска! Так, вероятно, чувствуют себя только что пойманные рыбы. Меня давно занимало — что чувствуют карпы за окном, в аквариуме, в рыбном магазине на углу Троицкой. Мир вдруг страшно изменился. Какая-то новая вода, что-то загораживает тебе дорогу, поплывешь — и стоп. И кто-то все двигается мимо. И то одного, то другого соседа берут сачком. Для всего этого нет у карпа ни понятий, ни слов. Стоит он против стекла дурак дураком. Но, несмотря на это, в тоске. Я, вероятно, понимал больше, чем карп. Но чувствовал, что многого не понимаю. Одно было ясно — все прежнее исчезло. Тоска, тоска, душевная боль. Мы собрали самое необходимое. Кошки наши, которых всегда так трудно было загнать домой, явились на террасу, легли спать. Уложили и их в корзину и поехали в Ленинград. Всеобщее веселое, даже праздничное оживление в вагоне. Мигают на наши узлы: "Бегут!". Играет баян. Поет хором весь вагон. Особая радость: "Все будет иначе. Раз катастрофа, значит, будет легче, сбруя снята". А я с ужасом и тоской думаю о том, какое количество этих людей обречено на гибель. В город приехали мы до такой степени ошеломленными и усталыми, что легли спать, не слушая сирен и отдаленного грохота зениток. И начались тоскливые, ясные, жаркие дни. Лето будто только войны и дожидалось. Окна оставались открытыми на ночь, иначе не уснуть, и в шесть утра будило радио — речи и марши, марши и речи. Какая-то часть расквартированная была внизу. Техническая. Из людей пожилых. Они еще не получили обмундирование, не несли никаких обязанностей и с утра до вечера играли в домино. Стуча изо всех сил. У меня началась нервная экзема на руках и ногах.

1957
11
марта

У Акимова только на ногах. Мы пошли с ним к профессору Павлову. Пишу, и у меня такое чувство, будто я говорю равнодушным голосом, когда в комнате покойник. Ленинград был обречен. Только рыбная ограниченность не давала охватить явление во всей сложности. Когда я приехал в 21-м году, был почти до корня вытравлен старый Петроград. Но вот он заполнился, заселился, перенаселился. 37-й год заново выкосил людей. И вот коса опять занесена над городом. Мы отказались выехать с Новым ТЮЗом, хоть и уложили, было, вещи. Отказались присоединиться ко второму эшелону беженцев. Впрочем, и эшелон этот застрял. Итак, мы пошли с Акимовым к профессору Павлову. Его еще не было дома, и мы разговаривали о том, что кольцо замкнулось. Что идут войска маршала Кулика, которые кольцо это вот-вот разобьют. Но угадывали больше, чем высказывали. Чувство сачка, опущенного над нашим аквариумом, не оставляло. И это ожидание профессора, ничем как будто не примечательное, запомнилось, вероятнее всего, именно этим безошибочным предчувствием нависшего над городом несчастья. Многое произошло с первых дней войны, а тоска не проходила, а росла. С первых же дней открылись в Союзе писателей курсы сестер милосердия. И Катюша ходила туда на занятия. Однажды им сообщили, что комната их понадобится — перевезут тело писателя, убитого на финском фронте. Какого? Работник дома никак не мог вспомнить. И вдруг узнали: Левушка Канторович. То, что первым он погиб, он, самый здоровый, жизнелюбивый и жизнерадостный из нас, показалось особенно зловещим. А тело его так и не привезли в Союз. Похоронили глухо, почти тайно, чтобы у погоста там не упало настроение. И так все время — смерть человека почти замалчивалась, рассматривалась, словно некоторая бестактность со стороны погибшего. Так же глухо, словно бы сквозь зубы, сообщили из Москвы на словах о смерти Ставского, Ефима Зозули, Роскина. 5 июля эвакуировали мы детей, собрались в Доме писателя.

1957
12
марта

Вестибюль Дома писателя принял непривычный вид. Будто вокзал — узлы, узлы. Одно отличало — нашиты на узлах прямоугольники из холста с именами и фамилиями детей. Проносился по лестницам Берлянд, кричал каркающим

голосом в траурном восторге: “Почему не написали фамилии детей на воротничках и рукавичках? А если попадет бомба в эшелон — как будем разбираться?”. В восторге, впрочем, начисто лишенном и тени печали, находилась и Зоя. Она пребывала в экстазе общественной деятельности, опьянена. С трудом удерживая улыбку, носилась она по Дому писателя, отдавая распоряжения. Но беспорядок все увеличивался. Дети играли между узлами, заполнившими уже и зал. Матери, которых не брали, сидели по углам, с лицами окаменевшими от тоски, или бегали по следам Зои и Берлянда, умоляя присоединить их к эшелону. Наташу сопровождали я, мать и бабушка. Дети актеров Театра Ленинского комсомола ехали с нашими, и Ганю прикрепили к ним. Кто-то в припадке административного прозрения решил, что матери, если взять их работниками будущего интерната, будут смотреть только за своими детьми. В конце концов матери прорвались следом за детьми и работали отлично. Следует отметить, что стараниями каркающего Берлянда и его соратниц за всю войну в интернате Литфонда не умер ни один ребенок. Но в тот день мы и не подозревали об этом. Матери были в загоне, дети веселились, тоска все терзала мою душу. Я чувствовал, что вступил в полосу, когда каждое мое решение поведет к худшему. Я зашел за Наташей с утра. Все уже было собрано у них. Мы собрались в путь. В последний миг вбежала Наташа в ванну и, плача, впилась поцелуем в полотенце. Прощалась с домом, с детством. Я был неспокоен. И когда Наташа стала, чего не случалось с ней раньше, грубить бабушке, то я тоже в первый раз в моей жизни прикрикнул на нее и схватил ее за руку так сильно, что остались синяки от пальцев. Наташа ужасно удивилась и спросила: “Папа, что с тобой?” И вот я привел их в Дом писателя, и узел с фамилией “Наташа Шварц” лег на горы других.

1957
13
марта

Наташа включилась в общий улей, встретила каких-то знакомых девочек, и я, как всегда, когда одолевала меня тоска, пошел бродить бессмысленно по Дому писателя. Который раз в моей жизни врывался в налаженный быт — новый, ни на что не похожий, словно бы переламывающий или перетасовывающий старый. То, что превратился наш клуб в подобие вокзала,

плачущие матери, Берлянд, летающий над узлами, как это уныло — и как зловеще. Только в глазах Зои Никитиной сияла радость действия, восторг суеты. В назначенный час приехали автобусы. Улей загудел еще громче. К моему огорчению, открыли дверь в Самбургский переулок, парадную дверь Дома, открываемую только в день похорон кого-нибудь из писателей. Возле одной из машин увидел я вдруг вдову Левы Канторовича. Она стояла рядом со своим отцом, сухеньким адмиралом. На руках держала годовалую дочку, показавшуюся мне до того похожей на Леву, что у меня сердце дрогнуло. Детей вывели парами. Шум, который они подняли, сразу снял похоронные представления. Трауберг предложил подвезти Наташу и меня со своей дочкой, тоже Наташей. И мы уселись — тоненькая, как девочка, Вера Николаевна Трауберг, очень хорошенькая их дочка и мы с моей Наташей. Автобусы пришли почти следом за нашей машиной. Как это ни странно, но чем ближе был отъезд, тем легче становилось на душе. Вот детей распределили по вагонам. Наташа сидела на верхней полке, упираясь ногами в противоположную, и весело со мной разговаривала. Незнакомый человек в кепке сказал двум своим девочкам: “Ну, прощайте, может быть, и не увидимся”, и я рассердился на него. Вдоль поезда пронесся Берлянд с развевающимися полами халата, выкрикивая последние распоряжения. И состав тронулся. И Наташа, только что весело смеявшаяся, вдруг закрыла лицо руками, уткнулась в колени, и меня долго преследовало воспоминание об этом. И все же возвращались мы с вокзала повеселев. Уменьшилась уязвимость. Дня через два после этого уехала мама. Валино учреждение перевели в Свердловск. Ему дали там квартиру. И мама решилась ехать. Я усадил ее в легковую машину, присланную Валей. На углу Петра Лаврова. И попрощался с ней.

1957 14 марта

Севши в машину, мама строго уставилась вперед, прямо перед собой, так я и увидел ее за стеклами машины, строгую и сосредоточенную, в последний раз в жизни. С ее отъездом чувство ответственности уменьшилось еще больше. Мы вдвоем остались в Ленинграде. А Катя была все равно, что я. А за себя я не боялся. Двух вещей не мог я представить себе — что меня убьют или возьмут Ленинград. И к этому времени вдруг понемногу

начала необъяснимо проходить моя тоска. Дела шли хуже. Возвращаюсь назад, до отъезда детей. Вот приезжает с фронта Герман, сообщает, что Луга взята. Рассказывает о мальчиках, которые держат передний край. Они знают, что обречены, но по-спортивному подчеркнуто спокойны: читают книжку, разорвав ее на части. Авантюрный роман. Читают в окопах. Передавая друг другу часть за частью. И, услышав его рассказ, я вспоминаю, как шел в той же Луге через запруду на озере, где водопад, и вода кипела. И два мальчика со спортивным, строгим, холодноватым выражением лица, им лет по шестнадцать, ныряли с плотины в этот водопад спиной, будто совершали обряд, так строго. И меня вдруг тронуло чувство особого рода, в котором угадываешь прежде всего отличие происхождения. Я думал: “Эти мальчики — для войны”. Кроме ряда цепляющихся друг за друга соображений, вызываемых бытовыми причинами, идет где-то глубже или выше непрерывная работа мыслей или представлений, далеко не всегда называемых или сознаваемых. Но когда назовешь или почувствуешь ясно, то всегда угадываешь в этой мысли или представлении как бы гостя из другого мира. И я как разъяснение принял собственную мою мысль — “эти мальчики — для войны”. Конечно, те, о которых рассказывал Герман, вряд ли были теми, что ныряли прямо в кипящее у водопада озеро. Но дух, объединявший их, я узнал. Мы зашли в тот день с Германом в прохладный и пустой зал “Европейской” гостиницы, нам подали ледяное пиво. Блокада еще не началась. Война словно прожгла и очистила мои отношения с Германом. Он был весел, добр. Принес в подарок бумагу, купленную в Западной Украине, особенные какие-то чернила.

1957
15
марта

Война застала нас без копейки денег. Авторские как ножом отрезало. Но где-то я добыл что-то, вернее всего взаймы. Однажды утром услышал я знакомый всем голос Сталина. Он по радио называл нас “братья и сестры”, говорил непривычно — голос дрожал. Слышно было, как стучит графин о стакан — пил воду. Он призывал к созданию народного ополчения. И все пошли записываться. Записался и я в Союзе писателей у Кесаря Ванина. И

вот я уже получил приказ явиться в Союз к такому-то часу с кружкой и ложкой. Мне было 45 лет, нервная экзема оборвалась сама собою недели за две до этого приказа, чувствовал я себя здоровым. Призраки молодых, убиваемых ежедневно, тревожили совесть. Я спешил в Союз, смущенный одним, — предстояла новая жизнь, которую я не мог себе представить. В Союзе ждала меня отмена приказа — решением обкома группа писателей поступала в ведение радиовещания. Я шел домой столь же ошеломленный. Я боялся, что не смогу работать на радио так, как это нужно. Однако именно с этого времени начала меня отпускать тоска. На радио я словно бы нашел свое место в том, что до сих пор вертело мной без всякого смысла. А тут вдруг я работал быстро, легко, и меня хвалили, без чего ощущение найденного места было бы для меня невозможно. Примерно в это же время, а может быть, немного раньше, началась работа над пьесой “Под липами Берлина”. Писали я и Зощенко по очереди акт за актом, точнее, картину за картиной. Пока репетировалась одна, писалась другая. Нет, это, видимо, было раньше чуть-чуть. Представив себе ясно репетиции в Театре Комедии, испытал я знакомую тоску. Видимо, это происходило в июле, а спокойнее я себя почувствовал в августе. Июль. Жарко. Репетиции идут в нижнем фойе. Окна закрашены синим для затемнения. И я с ужасом замечаю синие отсветы на руках и лицах актеров и потом только догадываюсь, что это солнечный свет прорывается через закрашенные стекла. Спектакль никакого успеха не имел. Шел 41-й год, а в пьесе довольно похоже описывались события 45-го. Паника в Берлине и прочее — кто же тогда мог поверить, что это возможно. И пьесу скоро сняли с репертуара.

1957
16 марта

А писателей, взятых в ополчение, объединили, и они попали под командование Сергея Семенова, высокого, похожего на монгола и всегда как будто не то ушедшего в свои мысли, не то растерянного чуть-чуть, — человека чистейшего, но не военного. И все ополчение представлялось мне похожим на Сергея Семенова. То один отряд выйдет прямо на немцев — необученный, безоружный, то другой пойдет на учение, а окажется в самом пылу боя. И никто не дрогнет. В одном из боев, как узнали мы с ужасом, погиб возле Елены Александровны Чижовой ее единственный сын. Они

выносили из боя раненого командира, и снаряд прикончил его, и оторвал голову Славушке, и только легко контузил Елену Александровну. Однажды репетировали мы, как всегда, “Под липами Берлина”, и вдруг лица актеров, подсвеченные синим, приняли виноватое, мягкое выражение, — Елена Александровна заходила к директору и, возвращаясь, шла мимо нас. Репетицию прервали. Мы окружили Елену Александровну. Мы не знали, о чем говорить с ней, старались только быть как можно ласковее. Однажды у Акимова встретил я художника, молодого, из его учеников. Он состоял в воинской части особого рода — они ходили по тылам противника. То, что человек вполне гражданский превратился вдруг в настоящего военного, да еще подобного рода, поразило меня. Он рассказывал о ночных нападениях на часовых, об убийствах просто, как о театральной постановке, и я удивлялся простоте, с которой слушал его. Через неделю-другую он не вернулся из очередного рейда, погиб. “Европейская” гостиница перестала существовать, превратилась в госпиталь. Я все прыгаю во времени, но лето 41-го до 8 сентября спуталось у меня в один клубок. Вот шагаю я по Литейному и вижу, как в небе над крышами домов летают черные листики сгоревшей бумаги. Жгут архивы. Ночью у комендантского управления вдруг выстраиваются гуськом грузовики. Неведомо откуда появляется слух, вскоре подтверждающийся, — эвакуируют офицерские семьи. Это, следовательно, еще до взятия Мги. Воздушные тревоги каждый день и всегда безрезультатные — летают разведчики. Вот тревога застает меня на углу Владимирской.

1957
17
марта

Всех прохожих гонят в бомбоубежище, но никто и не думает туда отправляться. Не верят. Все толпятся во дворе, очень мне знакомом, — это те самые зажатые домами переходы к гостинице Палкина, где жили мы в 21-м году, двадцать лет назад, приехав в Ленинград. И то время, беспокойное, голодное, ничем не подкрепленное, словно висящее в воздухе, представляется мне сегодня таким спокойным и прочным. Голод на Волге, магазин Помгола на углу, с крысами, дерущимися по ночам в витринах, крушение нашего театра — ах, как все хорошо и просто рядом с той тоской, что пришла с войной. В небе Илы начинают вдруг словно бы карусель,

ходят, утопая в голубизне, друг за другом, а мы смотрим спокойно и тихо, не обсуждая, что там творится. Вот загнали нас в ворота дома, где обл- или горздравотдел, недалеко от цирка. Тут встречаю я Брауна в военной форме. Он пережил недавно отступление от Таллина, но говорит о чем угодно, кроме этого. Я знаю, что взорван был с воздуха корабль, на котором он шел. Он заставил подобрать в шлюпку двух девиц, погибавших на глазах оравнодушевшей команды. Корабль, подобравший Брауна, погиб в свою очередь. И тут спасенные им недавно девушки втащили их на какой-то плотик. Подобрал их эстонский моторный парусник, капитан которого собирался свернуть к немецким берегам, но был обличен моряками, находящимися среди спасенных. Отступление от Таллина! Погиб Марк Гейзель из "Ленинских искр". Он соскочил с трамвая и догнал меня, чтобы сообщить о назначении в Таллин и попрощаться. Длинный, молодой, прежде-временно лысеющий со лба еврей. В 1933 году жили мы в Разливе по соседству. И я познакомился с его женой, хорошенькой женщиной чуть японского типа, и маленькой девочкой. Однажды нашла она на пляже крестик и закричала: "Мама, погляди, сломанный фашистский знак". И вот теперь Марк Гейзель погиб. Утонул Орест Цехновицер, и кто-то видел с корабля, как он тонет. Тощий, с длинной шеей, крупным ртом, высокий, занимающий свое место уверенно и неуступчиво. Он готовил книгу о Достоевском. И вот погиб. Утонул Князев, тихий и внимательный. А мы выслушали это и приняли к сведению. Тоска первых дней войны начала проходить. Мы оравнодушели.

1957
18
марта

Тот удар, причинивший почти физическую боль, с какой услышал я о смерти Левы Канторовича, заменился унылыми тычками, словно тебя, связанного, в сотый раз бьют мимоходом чем попало. Мы притерпелись. Вся моя жизнь привела к одному печальному открытию: человек может притерпеться к чему хочешь. Просто удивительно, что может он принять как должное, где ухитрится дышать... И чем. И в конце концов перестать удивляться, что живет подвешенный за ногу к потолку, в крови и навозе. Война вдруг стала нормой. Во всяком случае, мы разговаривали и даже шутили. А когда работа на радио пошла, то и смертная тоска моя

стала рассеиваться понемножку.

Я боюсь, что ангел-хранитель отнимал у нас то одно, то другое чувство, чтобы мы прожили положенное нам время. И на том свете, когда вернутся эти сбереженные чувства, нам придется поплакать. Один из первых обстрелов Ленинграда. Я иду с Ольгой Берггольц на радио от нас. Снаряды свистят, и я уговариваю ее идти с левой стороны,чтобы снаряд попал сначала в нее. И завидую тем временам, когда мир тонул в тине мещанского существования и в газетах писали о двухголовом теленке. Впрочем, это происходило позже. Итак, мы начали вживаться в военный быт. Но вот он стал блокадным. Вначале мы не почувствовали всю значимость того, что произошло. Ну отрезаны и отрезаны. Воздушные тревоги участились, но не были по-прежнему страшны. Но вот пришел роковой день 8 сентября. В шесть часов объявили воздушную тревогу, и она обернулась небывалой стороной. Загремели зенитки. Особые пухлые звуки взрывов. Фугаски. Я выбежал на чердак и увидел в слуховое окно огромное, тяжелое, курчавое, черное, медленно разворачивающееся облако дыма. Так горел когда-то нефтяной фонтан за Мойкой, и я решил, что бомба угодила в цистерну с горючим. На самом деле судьба нескольких миллионов ленинградцев решилась. Горели Бадаевские склады — продовольственные запасы всего города. Они были сосредоточены в одном месте, и первой же бомбежкой немцы разбили и сожгли муку, хлеб, мясо, масло. Сбитое с толку слишком большим числом катастроф предчувствие молчало. Напротив, все на чердаке были оживлены, как во время пожара где-то по соседству.

1957
19
марта

Впервые воздушная тревога кончилась чем-то. Бомбежка, уничтожившая всякие продовольственные запасы целого города, заняла всего несколько минут. Население в Ленинграде к началу войны, к началу блокады увеличилось — жители Гатчины, Павловска, Детского Села, всех ближайших городов, занятых немцами, бежали в Ленинград. А эвакуировалось немного. Уже тогда началась сложная политика в деле эвакуации. С одной стороны — нельзя поднимать панику. С другой стороны — надо разгрузить город. Впрочем, к этому времени город разгрузить было

трудно — эвакуировали только на транспортных самолетах. Через Ладожское озеро лежала трасса. Руководство составляло списки. По своим соображениям нарочито таинственно. А вместе с тем и на желающих выехать и на не высказывающих никакого желания смотрело руководство одинаково подозрительно. Это хорошо сформулировала одна балерина: “Уезжаешь — бежишь, остаешься — ждешь” (то есть ждешь немцев). Итак, Ленинград был переполнен, продовольственные запасы сгорели на наших глазах, черная, курчавая туча, медленно разрастаясь, заняла полнеба, а нам было весело, как детям. Мы ничего не знали. Поздно вечером дежурил я на так называемом посту наблюдения. Связисты мои улеглись вокруг деревянной площадки, выстроенной для дежурного, прямо на крыше. Ночь, как и все последнее время, стояла ясная и теплая. Связисты, самые отчаянные ребята со всего двора, рассказывали о своих приключениях. Главные из них связаны были с охотой за голубями в церкви Спас-на-Крови. Верблюд из-за этой охоты даже в больнице побывал. В церкви устроили склад, и сторож подозревал ребят, что они покушаются на вверенное его попечению имущество — строительные материалы. И он погнался за ними, а ребята — через решетку Михайловского сада. И Верблюд, самый длинный из шайки и нескладный, повис на острие решетки, зацепился подбородком. И ребята смеялись, и Верблюд лениво посмеивался вслед за ними. Откуда-то связисты мои проведали, что сегодня сгорели Бадаевские склады, но я и тут не понял важности события.

1957
20
марта

Вдруг заревели сирены, прервали разговор на самом интересном месте. И прежде чем успели мы понять, что происходит, услышали особое прерывистое завывание немецких самолетов, которых научились узнавать с того вечера. Застучали зенитки. Свист — и где-то близко ли, далеко ли широкий сноп искр, именно сноп правильного рисунка, не спеша взвился в воздух. Глухой удар. Снова свист — и снова сноп возникает над крышами. Должен признаться, что связистов моих словно ветром сдуло. Весь опыт их жизни научил, что бежать следует, пока не поздно. Я не испугался, потому что ничего не понял. Даже отчетливый свист фугасок не вразумил меня. Я ждал почему-то, что бомбить немцы будут вокзалы,

фабрики, словом, военные объекты, а никак не центр города. А фугаски упали на улицу Халтурина, на Литейный, на Моховую. Налет продолжался не долго. Плачущие, завывающие немецкие самолеты исчезли. Во все время налета с улиц затемненного города взвивались ракеты, и этого я не мог понять. Кто их бросал? Зачем? Вскоре на моей вышке собралось много народа. Какой-то неизвестный мне военный, управхоз из бывших дворников — длинный, наивный и красноречивый человек. Выползли неведомо откуда мальчуганы-связисты и при этом держались как ни в чем не бывало. Будто и не уходили. Жак Израилевич пришел первым. Он был в каске. Он не уходил в бомбоубежище, чтоб никто не посмел сказать, что еврей трусит. И все были оживлены, как на чердаке, когда глазели на черное облако, медленно вырастающее в небе. Никто, как и я, не мог понять, что это за ракеты взвиваются над темным городом. Кто-то, кажется, неизвестный военный, заявил, что таким образом подают знаки нашим истребителям. И только дня через два сообщили нам, что ракетчиков этих надо задержать, что это шпионы. Сколько их нашлось! Утром после бомбежки пришла к нам молочница. Мы тогда не знали, что это в последний раз. Она продала нам двух кур. Через некоторое время — звонок, появилась Дуня и торжественным голосом заявила: "Поздравляю, всем нам умирать голодной смертью". —"Что такое, почему?" — "Коммерческие магазины с утра закрылись".

1957
21
марта

Как всегда случается в несчастные времена, каждый день приносил новые несчастья. Бомбежки повторялись теперь каждый вечер, в одно и то же время, примерно часов в восемь. Катя шла к воротам, а я поднимался на чердак. Запах копоти и пыли. Ощущение полной бессмыслицы твоего пребывания тут. Разве только что зажигательные бомбы попадут сюда, тогда нам найдется работа. Плачущие немецкие самолеты. Зенитки бьют все реже. Почему? И тут нашлось объяснение — чтобы не обнаружить себя. Разговоры чем-то напоминали 37-й год. Как тогда старались угадать, почему такой-то арестован, так теперь гадали, почему он так упорно бомбит Моховую улицу, где никаких военных объектов нет. Вообще в те дни мне казалось, что самое безопасное место — военные объекты. Ленинградские мосты так и не пострадали,

как ни старались их разбомбить. Думаю, что Моховой улице доставались бомбы, которыми целились в Литейный мост и НКВД. Завывающий немецкий самолет над городом до того шел вразрез со всем твоим жизненным опытом, со всем человеческим, что казался не страшным, а идиотским. И часто умозрительное представление, что разрушенный жакт с повисшими среди развалин кроватями и бессмысленно уцелевшим шкафом или зеркалом должен кого-то испугать, никак не подтверждалось. Город ожесточался — и только. И как хочешь называй, но страха не было. Каждый веровал, что бомба минует его дом. В разгар тревоги пожарное звено, состоявшее из домработниц, вдруг затевало танцы.

И мои связисты осмелели и, боюсь, что как бы не подворовывали под шумок. Жакт наш помещался в большой и высокой комнате. Чтобы попасть в него, надо было подняться на пролет лестницы и через туго открывающуюся дверь спуститься по деревянной лестнице с перилами. Жакт помещался на уровне двора. Комната эта была некогда устроена для репетиций шереметевского оркестра — вот как она была поместительна. Здесь помещался штаб МПВО. В углу — кто-то пустил слух, что это самое безопасное место, — злая, как все это время, помещалась Груздиха.

1957
22
марта

Она беспощадно распределяла дежурства и свирепо обиделась, когда управхоз не дал ей светящегося значка фосфоресцирующего на пальто, что, я думаю, в конечном счете, отправило несчастного на тот свет. Ей он не дал значка на том основании, что она не выходит во двор, но все равно ее мрачная и страстная душа приняла это за оскорбление. Тем более приняла за оскорбление. Погибал город. Шла война у самых окраин, а большинство баб в жакте оставались суетными и злобными. Некоторые оказались таинственными. Лесючевская, правая рука Груздевой, достав домовые книги, беседовала шепотом с человеком в штатском пальто и военных сапогах. И все невольно косились на них. Когда Жак Израилевич достал для нашего дома асбестовые рукавицы, и клещи, и каски, бабы оскорбились и подали на него заявление, что он незаконным путем снабжает наш дом. Работало хорошо санитарное звено — по

этому случаю и взвалили на него всю работу: собирать по квартирам бутылки для борьбы с танками, вызывали их к больным, когда не было врача поблизости. Одна из них — не вспомню фамилии — до того старательно вела списки дежурных, что когда фугаска взорвалась недалеко и наш дом закачался, она схватила самое драгоценное — список дежурных. Было несколько человек, на которых отдыхал глаз. Но еще Тоня когда-то говорил: "Если человек в учреждении производит приятное впечатление, значит, он ничего не может". Тон задавали свирепая Груздиха и таинственная Лесючевская. По жакту бродил большеголовый парень лет восемнадцати. Дурачок. Он все отдавал честь, здоровался и сообщал: "Такая обида, потерял 35 копеек, не знаю, как доеду до работы". Он нигде не работал. Кто-то сказал, обиженный бабами: "Один вежливый человек в жакте, да и то дурачок". И вот за всеми нами охотились немецкие самолеты, что выглядело еще нелепее жакта. Каждый вечер летали они с воем над городом, и какие-то обыватели гибли. Мы уже не стояли на чердаке до конца дежурства. Слуховые окна заделали, чтобы стало потеплей. Смотреть было начисто некуда.

1957
23
марта

Когда проходили первые волны самолетов, а тревогу не отменяли, мы спускались вниз, в жакт, погреться. И к воздушным тревогам мы оравнодушели. Только однажды в октябре, когда разворачивались фашисты над самой нашей крышей и очередь за очередью бросали бомбы, мы — я, Катерина Ивановна и Спасский, который дежурил на одном посту с нами, втроем спустились с чердака вниз. К этому времени Катя настояла, чтобы одна койка из санпоста поставлена была на чердаке рядом с нами, и дежурила у этой койки, чтобы, если уж погибать, так вместе. И вот в тот октябрьский день спустились мы вместе вниз, не в жакт, а в самый низ своей лестничной клетки. Единственный раз, в тот день, нам казалось, что бомба непременно попадет в наш дом. Но попала фугаска недалеко, в дом на углу Конюшенной площади. Прохожие столпились под воротами, не хотели идти в бомбоубежище, и все погибли, и тела их выбросило до середины площади. Многих завалило в доме. Обо всем этом узнали мы, когда собрались в жакте. В этом доме помещался

большой гастрономический магазин, который был очень известен в нашем доме под именем "девятки". В жакте только и слышалось: "девятку" разбомбило, "девятку" разбомбило". Телефонный звонок, требуют санитарное звено с лопатами, к "девятке". И почти тотчас же звонок — не санитарное звено, а пожарное. Вот, пожалуй, единственный случай, когда весь дом гудел. А так мы оравнодушели. Единственное, к чему не мог привыкнуть человек, — это голод. Он делался все острее. И отсутствие еды, отсутствие надежды на еду делало наши будни еще более безнадежными. Я сказал как-то Спасскому, что главная подлость в том, что если мы выживем, то будем рассказывать о том, что пережили, так, будто это интересно. А на самом деле то, что мы переживаем, — прежде всего неслыханные, неистовые будни. И Спасский согласился со мной. В эти же дни позвонили мне по телефону, что мама в Свердловске заболела дизентерией. Потом тромб в ноге. И ногу ампутировали. А вскоре узнал я, что она умерла, и никак не мог в это поверить. Никак!

1957
24
марта

Когда-то, лет в семь, я твердо решил, что покончу самоубийством, когда мама умрет. И вот почти через сорок лет сестра Валиной жены сообщила о маминой смерти. Но жизни вокруг не было. Одурманивала путаница сошедшего с положенного места, сошедшего с ума быта. И я ничего не понял, попросту не поверил в смерть мамы. Я считал, что она в безопасности. И она так считала. Незадолго до известия о ее болезни получил я письмо от нее, неожиданное в наших обычаях ласковое, как будто подводящее итоги всей жизни. Маме казалось, что она бросила меня одного в Ленинграде и чудилось ей, что она виновата передо мной. И вот она умерла далеко за линией затемнения и голода, и боев, и я не мог, никак не мог в это поверить.

К бомбежкам прибавились у нас обстрелы — не такие усиленные и регулярные, как в последующие годы, но вполне ощутимые. Первый же день коснулся нас. Рядом, в Шведском переулке, был убит старый наш дворник, и управхоз хоронил его, и все ежился потом весь вечер, и вздыхал, и начинал говорить речь, да не договаривал. Вечер был вдвойне беспокойный — налет и артобстрел. Бомбоубежище наше все

еще не было готово. И вот договорились, что на сегодняшнюю ночь отправим мы детей наших в Малегот, бывший Михайловский театр. Я нес на руках маленькую Наташу Заболоцкую, спокойную и сонную, а рядом шагала Катерина Васильевна, вела Никиту. Когда переходили мы пешеходный Итальянский мостик, обстрел усилился. Отчетливо слышен был и сухой звук выстрела, и пухлый звук разрыва где-то за церковью Спаса-на-Крови. Вот и Малый оперный театр повернулся неожиданной стороной. Предъявляя пропуска, пробрался я с детьми в какие-то ясно освещенные, сводчатые подвалы, о существовании которых и не подозревал. Здесь уже разместились целые семейства — не то вокзал, не то сон. Я попрощался с Заболоцкими и ушел в свою путаницу, в свой жакт. Наконец в положенное время привели в порядок и наше бомбоубежище — длинное полуподвальное помещение под тем корпусом надстройки, что выходил на улицу Перовской. Скоро и здесь установился свои безумный военный блокадный быт. Переехали к нам летом Данько и Ахматова.

1957
25
марта

Однажды днем зашел я по какому-то делу в длинный сводчатый подвал бомбоубежища. Пыльные лампочки, похожие на угольные, едва разгоняли темноту. И в полумраке беседовали тихо Ахматова и Данько, обе высокие, каждая по-своему внечеловеческие, Анна Андреевна — королева, Елена Яковлевна — алхимик. И возле них сидела черная кошка... Пустое бомбоубежище, день, и в креслах высокие черные женщины, а рядом черная кошка. Это единственное за время блокады не будничное ощущение. Мы становились все равнодушнее и равнодушнее к налетам. Управхоз какого-то дома на Литейном проспекте вывесил объявление: “Граждане, ваша храбрость приводит к излишним жертвам”. Это касалось очередей возле продовольственного магазина, которые отказывались расходиться во время бомбежек. Мы оравнодушели ко всему, кроме голода. Да, к голоду привыкнуть было невозможно. Я каждый день ходил в Дом писателя, где выдавали мне судок мутной воды и немного каши. И в булочной получали мы 125 грамм хлеба. И несколько монпансье. И все. Тревоги и дежурства все продолжались. И в положенное время, когда подходила моя очередь, дежурил я на

посту наблюдения. Ясное звездное небо. На северной стороне неба словно пульсирует часть горизонта. Северное сияние. Если поднимались тревоги, то видели мы трассирующие пули, слышали зенитки, но все реже и реже. И уж никто не говорил, что скрываются они от наших ночных истребителей. В октябре примерно стали эвакуировать на самолетах известнейших людей Ленинграда. Шостаковича, Зощенко. Решили эвакуировать Ахматову. Она сказала, что ей нужна спутница, иначе она не доберется до места. Она хотела, чтобы ее сопровождала Берггольц. И я пошел поговорить с Ольгой об этом.

1957
26
марта

Примерно за неделю до этого Молчанов, ее муж, человек на редкость привлекательный, пришел поговорить со мною о Берггольц. Я совсем не знал его раньше.

Жизнь свела нас с Берггольц во время войны. Я смотрел на этого трагического человека и читал почтительно то, что написано у него на лице. А написано было, что он чистый, чистый прежде всего. И трагический человек. Я знал, что он страдает злейшей эпилепсией, и особенное выражение людей, пораженных этой божьей болезнью, сосредоточенное и вместе ошеломленное, у него выступало очень заметно, что бывает, далеко не всегда. И глаза глядели угнетенно. Молчанов пришел поговорить по делу, для него смертельно важному. Он, влюбленный в жену и тяжело больной, и никак не умеющий заботиться о себе, пришел просить сделать все возможное для того, чтобы эвакуировать Ольгу. Она беременна, она ослабела, она погибнет, если останется в блокаде. И я обещал сделать все, что могу, хотя понимал, что могу очень мало. Вопросы эвакуации решались все там же, глубоко или высоко, что простым глазом не разглядеть. То, что Ахматова потребовала провожатую, упрощало вопрос. Но необходимо было согласие Берггольц. И впервые в жизни отправился я в маленькую квартиру на Невском, где-то напротив улицы Перовской. Длинные комнаты, которые считал я в студенческие времена приносящими несчастье. Синие обои. Скромная мебель. И среди этой обстановки, рассчитывающей на жизнь обычную, человеческую, встретил меня Молчанов. Божеская болезнь еще явственнее отпечатана была на его лице. Наверное, недавно перенес припадок. Ольга оказалась дома, и я

не спросил, а решительно заявил, что ей надо вылетать вместе с Ахматовой, если она не хочет гибели замечательной поэтессы. Слезы выступили у Ольги на глазах. Она побледнела, села на подоконник, и я рассказал ей, как обстоят дела. Но через два дня Ольга решительно отказалась эвакуироваться с Ахматовой, и с ней отправилась в путь Никитич. Первым умер у нас дома с голоду молодой актер по фамилии Крамской, по слухам — внук художника. Умер сразу — упал в коридоре.

1957
27
марта

Потом погиб человек, окруженный ненавистью, новый комендант надстройки, тощий и энергичный человек. О нем краеугольный камень жакта рассказывал, подробно приводя цифры. Это, мол, спекулянт, это, мол, вор, его, мол, надо ловить. Должен признаться, что он пытался спекулировать. Приносил нам бутылку растительного масла за цену, которая показалась неслыханной. Думаю, что по тем временам была она обычной. Так или иначе, озверевшие дамы наши хвастали, что комендант вот-вот будет взят за свои преступления. Но прежде, чем это случилось, несчастный умер на ходу с голоду. Наметились два вида смерти. Человек умирал внезапно или теряя силы понемногу — сляжет и не встанет. У нас никаких запасов и не оказалось. Из Гаврилова Яма, куда отвезли наших ребят, приходили отчаянные письма. И когда Альтус уехал к семейству, мы послали с ним все, что у нас оставалось. Питались мы только пайком, описанным выше.

У нас появился жилец — Женя Рысс. Он, засидевшись, остался у нас ночевать раз и другой, а потом раздумал возвращаться в свою брошенную, полуразрушенную квартиру. А я привык каждый вечер слушать его рассказы. В нашем плену от них так и веяло свободой, о чем бы Женя ни рассказывал, — о поездке в Ташкент в двадцатых годах, о путешествии в Мурманск и оттуда на траулере. К чужим воспоминаниям, ставшим как бы своими, прибавились и рассказы Жени Рысса. Он принадлежал к тому разряду художников, которые начисто лишены потребности писать. Время ли его таким сделало или беспорядочность воспитания, но он жил не для того, чтобы писать, а чтобы жить. Поэтому он так много путешествовал, так легко влюблялся.

И так щедро рассказывал об этом. Для него это был единственный, органический способ высказаться. А писал он напряженно, держа себя за шиворот, не отпуская от письменного стола, будто каторжника от тачки. И прелесть, и подлинность, и естественность голоса — то, что так радовало, а в те дни даже опьяняло меня в его устных рассказах, — в сочинениях превращалось в сочинение. Потом пили мы чай, честно деля паек. И, наконец, раскладывали пасьянс. В эти трудные времена мы все были немножко суеверны, и Женя, как я, придавал значение тому, выходит ли он и как часто выходит. Однажды Женя не пошел на фронт почему-то. И мы вместе собирались в Союз писателей. Вдруг объявили воздушную тревогу. Мы вяло обсуждали, идти или не идти. Он ухитрился в те дни потерять все документы и боялся, что какая-нибудь дежурная его задержит. Вдруг услышали мы знакомый удар, и дом наш закачался так сильно, что лампочка закрутилась над столом.

И телефонная трубка зацарапала о стену. Значит, где-то рядом разорвалась фугаска. Мы взглянули друг на друга и засмеялись. В те дни выработался этот странный способ отвечать на нечто выходящее из привычного ряда. Вскоре тревогу отменили. И, выйдя на канал Грибоедова, мы остановились невольно. Разрушен был дом, замыкающий наш отрезок канала. По Мойке — № 1, по Марсову полю — 7-й, тот, где живут теперь Панова, Катерли, Герман, Рахманов, Браусевич. Его сильно ударило колуном в самую середину. У дома с самым будничным выражением стояли грузовики, увозили покойников. Дом, уничтоженный среди белого дня с такой простотой, — тут проявлялась особая подлость и холодность войны. А Союз наш любил в те времена делать вид, что и в самом деле ничего особенного не происходит. Надо заседать на пользу Родине.

К этому времени все почти писатели мобилизованные, точнее говоря, ушедшие в народное ополчение, были демобилизованы. И мы старательно заседали. Иной раз более или менее по делу. Это когда вопрос касался снабжения. Никакие обсуждения не помогали делу. А когда как-то мы с Груздевым пошли к одному из заместителей предисполкома горсовета, то дело кончилось тем, что нам уменьшили паек. Объяснялось это просто — положение со снабжением становилось трагическим, а нам, по недоразумению, забыли снять какие-то

небольшие льготы. А мы о них помнили. А иной раз собирали мы писателей по делам художественным, что походило на пикник в проливной дождь. Вот обсуждаем мы очередной номер журнала “Звезда”. Все, как всегда, только народ потемнел, отощал. И дважды заседание прерывалось воздушной тревогой, и так как дело происходило в учреждении, то всех местное МПВО принудительно заставляло спуститься вниз. В один из таких вынужденных перерывов ко мне подошел Голлербах. Крупный. Сырой. Большая голова, большое лицо. Губы надутые. Он принадлежал к породе людей, говорящих серединой губ. Уголки рта казались зашитыми. Дней за десять до этого мы встретились в трамвае. Он был спокоен. Весел. Шутил. Девушки пронесли вдоль по Литейному резиновый баллон, колбасу, надутую не в полную силу. Она висела в воздухе, а девушки шагали в ряд под колбасой, удерживая ее за концы веревок. А Голлербах, улыбнувшись концами губ, сказал серединой губ: “Розанов нашел бы, что это похоже на некий фаллический символ”. А на обсуждении “Звезды” Голлербах был мрачен и странно сосредоточен. И, отведя меня в сторону, спросил: “Вы, кажется, относитесь ко мне доброжелательно, объясните, почему все настроены против меня. Когда я прохожу мимо, замолкают. А потом начинают шептаться и поглядывают на меня. Сегодня вдруг сделали перерыв, едва дошли до моей статьи”. — “Но ведь перерыв сделали из-за воздушной тревоги!” — “Нет, нет, это отговорка”. И он продолжал бормотать и бормотать серединою губ дальше. И я с ужасом убедился, что у бедняги мания преследования. “Как вас могут беспокоить такие пустяки, когда вокруг творятся по-настоящему страшные вещи?” — “Какие?” — спросил Голлербах.

1957
28 марта

“Голод, обстрелы, бомбежки!” — “Ах это? — и Голлербах махнул рукой пренебрежительно. — Я счастлив был бы, если бы на меня это производило хоть какое-нибудь впечатление”. И я подивился силе человеческого воображения.

Большой драматический театр эвакуировался еще до того, как замкнулось вокруг Ленинграда кольцо. И в его помещение перебрались Управление по делам искусств и Театр Комедии. Выглядело по-новому, по-бытовому, когда работник управления Карская, столь знакомая нам

по премьерам, где принимала или отвергала постановки, тут вдруг обитала в одной из актерских уборных, находилась на казарменном положении. И самое удивительное было то, что никого это не удивляло. Обитает — и все тут. И только когда она двигалась привычной стройной, подтянутой походкой, горделиво поднимая из ватника свою длинную шею, Милочка Давидович сказала: “Лебедь на казарменном положении”. Здесь, в Союзе писателей, на радио — вот где я бывал.

На радио однажды поднялась тревога, и нас загнали в бомбоубежище. Тут я понял лишний раз, что нет с моей стороны никакой заслуги в том, что не хожу я в бомбоубежище. Чувствовать себя насильно загнанным в щель, над которой возвышается многоэтажное здание, хуже, чем стоять на чердаке. Страшнее. И вообще было тоскливо. И упала фугаска недалеко. Кто-то пытался дозвониться в это время до издательства “Советский писатель”. И не мог. А потом выяснилось, что бомба ударила в середину Гостиного двора, именно в “Советский писатель”. Было убито человек, кажется, пятнадцать, и среди них кротчайшая, вернейшая Татьяна Евсеевна, из тех секретарш, благодаря которым учреждение превращается в живой организм. Словно отдает она ему часть своей крови. А вот пришлось — отдала и жизнь. Я опять рассказываю как придется, как осталось в памяти. Это время окрашено для меня одинаково. Одно только — с каждым днем становилось хуже... Неуклонно и неизбежно. Мы привыкали быстро, но жизнь обгоняла нас. И главное — хуже становился хлеб. Эта влажная масса уже и не походила на хлеб.

1957
29
марта

А именно хлеб, только хлеб был основой жизни. Театр Комедии поставил пьесу Гладкова “Давным-давно”. Театр был полон. Пьеса имела успех, только невозможно было понять, где стреляют — на сцене в 1812 году или за стенами театра в 1941-м. Спектакль прерывался тревогой, и тогда зрители понимали, что стреляют на самом деле, а не по пьесе. Но случаи, подобные вышеописанному, не определяли время. Они были не самыми характерными общей обстановке...

А жизнь ото дня ко дню делалась неподвижней и теряла теплоту. Вот выходим мы из Дома писателя. У каждого бидон с мутной водой и

по две ложки белой каши, не то овес, не то перловка. Со мной выходил, кажется, Рахманов. Когда мы идем по улице Воинова к Гагаринской, перейдя ее у Дома писателя, будни обрываются. Сильный блеск над крышей дома напротив, снег сметает, как метель, и дробь, вроде барабанной. Разорвалась шрапнель. И новый взблеск — чуть правее, новый удар. Мы скрываемся под воротами, и, странно сказать, все мы оживлены. Чем-то прервалась медленная удушающая рука будней. Блокада — это будни. Будни, нарастающие с каждым днем. Я увидел уже на улице людей с темными лицами и вопросительным выражением глаз. Даже укоризненным. Однажды вызвали меня на междугородную телефонную станцию. Маршак вызвал меня из Москвы. Разговор шел по радио, и меня предупредили, чтобы я не называл ни фамилий, ни городов. Но в первом же разговоре сделал ошибку. Спросил: "Зощенко в Москве?" И мне укоризненно сказал человек, следящий за нашим разговором: "Надо говорить: "Михаил Михайлович у вас?" Других ошибок я не делал. Маршак расспрашивал о своих родственниках, о которых должна знать Габбе. Вызывал меня Маршак раза три, и каждый раз после этого шел я к Габбе. И эти дни выделялись из однообразия будней. И дорога на междугородную станцию на углу Марата и Невского, и дорога к Габбе, как путешествие по знакомым и незнакомым улицам. Вот тут я и встретил прохожих, которые смотрели на меня с укоризной и ужасом. Габбе казалась присмиревшей и сосредоточенной.

1957
30
марта

Она читала детям в бомбоубежище. Разговаривали о жизни, которую приходится влачить. И со всей добросовестностью. Мы разговаривали по душам, и мне показалось в те дни, что мы сблизились, как бывает это на переднем крае. И ошибся. В более спокойные времена я увидел, что она остается недоверчивой и недоброжелательной, как и Пантелеев, как и все ученики Маршака, отличники и второгодники одновременно. Он не выпускал учеников, и характеры их извращались. Но это другая история, о которой можно говорить сейчас. А в те дни ты понимал одно: город умирает с голоду. И неизвестно, что тебе делать, где твое рабочее место. Правда — на наш дом бросили немцы штук тридцать

зажигательных бомб. И этот вечер показался веселее других.

Сначала враги наших жактов сбросили осветительные ракеты. Они на парашютах опускались вниз, освещая все вокруг светом, похожим на магниевый. Мы в детстве покупали бенгальские огни и магниевые ленты в аптеке Горста, и магниевый свет горел так бело. Вслед за осветительными полетели зажигательные бомбы. Одна пылала на мостовой прямо у входа в дом, ее быстро засыпали песком. Другая упала на угол крыши над квартирой Брауна или Томашевского. С этой пришлось повозиться дольше, и сам Томашевский наступал на нее с щипцами в руках. Но прикончили и эту, и оказалось, что все остальные погашены уже, когда я спустился во двор. А на доме Нобеля, на другой стороне канала, еще возились с зажигалками. У нас высыпал весь дом, когда ему угрожала настоящая опасность.

А в доме Нобеля размещались одни учреждения и работали только дежурные МПВО. Но вскоре и тут погасили ослепительные точки на крыше. Тревога кончилась. И опять будни принялись душить нас голодом. Однажды я пошел с Женей Рыссом в гости к Селику Меттеру, Его брат, физик, очистил двести граммов денатурата. И мы немножко выпили. И когда возвращались домой, налево за Адмиралтейством, высоко в воздухе, вдруг мы увидели яркие и незнакомые вспышки и услышали очень громкие разрывы. И я удивился непривычному, праздничному чувству.

1957 *31 марта*

Да, самая сила звука радовала бессмысленно, без всякого основания, но тем более определенно. Вероятно, пушечные выстрелы, приветствующие адмиральский флаг, и всякого вида салюты исходили из этого самого бессмысленно праздничного чувства. А город все умирал. То из одной, то из [другой] * квартиры выносили зашитого в простыни мертвого, везли на кладбище на санках. Шел ноябрь 41-го, когда город еще держался на ногах. По слухам, умирало 20 000 в день. Но мертвых еще не бросали где придется. Но уже установилось во всем существе города нечто такое, что понять мог только переживший. Театры перестали играть.

* В подлинника ошибочно — одной.

Пребывание театров в городе становилось бессмысленным. И Акимов, с которым я встречался все чаще, поднял разговор о том, что надо эвакуироваться. И чтобы я присоединился к театру. И мне хотелось уехать. Очень хотелось. Я не боялся смерти, потому что не верил, что могу умереть. Но меня мучила бессмысленность положения. Друзья, приезжающие с фронта, говорили, что в [городе] гораздо хуже. Там, на переднем крае, ясны были обязанности каждого. А тут, в блокаде, что было делать? Терпеть? Тем более, что и на радио занимали меня все реже и реже. И даже бомбежка приумолкла. Подниматься на чердак ни к чему было. Последний сильный налет состоялся в ночь на 7 ноября. А потом немцы словно оставили город доходить. Только от времени до времени устраивали обстрелы. Кажется, в конце ноября остановились трамваи. Я как-то на уроке естественной истории смотрел в микроскоп через растянутую перепонку лапы кровообращение лягушки. Двигались кровяные шарики и вдруг просто, без всякого изменения движения, без всякой вспышки остановились. Эта смерть поразила меня. И когда трамваи так же внезапно и просто остановились там, где их настигла судьба, я еще острее почувствовал смерть города. И голод, безнадежный голод! В начале декабря меня вызвали в Управление по делам искусств и сообщили, что числа 6-го я вместе с Театром Комедии выезжаю из города. Чтобы готовился. У нас почти не было денег, и вот каждый вечер стало собираться подобие ярмарки.

1957
1
апреля

Мы продавали по очень низкой цене весь фарфор, что собирала Катя за довоенные годы. Приходили и знакомые и незнакомые. Везти с собой можно было только по десять кило на человека. Поэтому продавали мы и белье и вещи. Акимов купил себе в Польше машинку, а свою старую, то есть почти новую, “Корону” продал мне. Эта очень легкая машинка имела один недостаток — имела трехрядность... Машинку Катюша собиралась взять в руки, как сумочку, чтобы она не входила в вес. Однажды вечером, числа 4-го, отправились мы в бывшую так называемую детскую комнату надстройки — там некогда Берлянд принимал писа-

тельских детей. Кто-то отказал нам большой парусиновый плоский чемодан матросский, метра в полтора длины и метра ширины. Туда мы уложили все вещи, которые решили брать с собой, и понесли чемодан по коридорам с Женей Рыссом. И он показался нам безнадежно тяжелым — какие там двадцать. А когда мы поставили чемодан на весы, он потянул всего на 18 кило. Мы себе не поверили. Решили, что весы не в порядке... Ехать мне и хотелось и нет. Мне представлялось, что за пределами Ленинграда я никому не нужен, и неизвестен, и неприспособлен. Что я буду делать в Кирове? Дом, растаскиваемый по лоскуткам. Кошки, перед которыми я почувствовал себя виноватым. Я дал директорше столовой, Анне Игнатовне, пятьсот рублей с тем, чтобы она их взяла к себе, и обещал щедро уплатить, если кошки выживут. На душе было неладно. Мутно.

1957
2
апреля

Пятого декабря сказали, что нам ехать седьмого, потом девятого, и, наконец, сообщили, что еду я не с Театром Комедии, а в какой-то профессорской группе. Дня за два до отъезда я пошел с Груздевым в Смольный к Паюсовой. Я назначен был к эвакуации, и поэтому мне особенно удобно было просить за остающихся. Мы говорили о снабжении остающихся. Я открыл Паюсовой тайну, открытую мне Молчановым. Ольга была беременна, и поэтому ее надо было срочно эвакуировать. Говорил об эвакуации Спасского. Паюсова держалась таинственно. И к Смольному шли мы пешком, и обратно, и еще чаще встречали людей потемневших, будто закопченных, которые глядели на нас укоризненно и с ужасом. Как будто хотели рассказать, как их обманули, как незаметно ото дня ко дню затянули в ловушку, из которой выхода нет. За месяц примерно до моего отъезда ко мне зашли Тырса, Володя Гринберг и Кукс, зашли поговорить о необходимости эвакуировать Детгиз. Я знал, что Наркомпрос в Кирове. И решил, что в первый же день приезда пойду к наркому. Мне принесли груду писем, чтобы я их бросил в почтовый ящик в первом же городе на Большой земле. Последний вечер в Ленинграде был похож на плохой сон. Мы должны были в пять утра явиться к Александринскому театру, а народ все не расходился от нас. Прощались. Пришел маленький Бабушкин, он работал на радио, и мы

там подружились. Это был человек чистый и тихий. И мы разговаривали о том, какой замечательный журнал будем мы издавать после войны. Все веровали, что после войны станет чисто. Пришли Ольга Берггольц, Жак Израилевич, Глинка. В конце концов, замученные проводами, мы почти перестали разговаривать. Жак вызвал меня, заперся со мной в кабинете и попросил, чтобы я не оставил их дочь, если он умрет. Я отвечал, но как в тумане. И Жак скоро ушел. Обиженный. И мне и сейчас тяжело вспоминать об этом. Ему почудилось, что я взял хлеб за пять дней вперед.

1957
3
апреля

На самом же деле впопыхах мы на завтрашний день не успели взять хлеба. А Жак почему-то решил, что я собрал гостей, чтобы угостить их этим самым хлебом на прощание. И когда начался у него голодный психоз, то он главным образом этим и бредил и ругал меня. Скоро гости разошлись. Мы приняли ванну с твердым чувством, что это в последний раз. Когда я проснулся на рассвете, под одеялом у меня лежал кот Венечка. Он, несмотря на свою доброту и уживчивость, никогда не соглашался спать у хозяев под одеялом. Боялся, как ловушки. А тут сам забрался ко мне. Я глядел на него, а он глядел на меня с ужасом, но не уходил. Он угадал, что мы бросаем его. И это воспоминание каждый раз словно обжигает меня. За несколько дней до нашего отъезда писатель Морозов, специалист по Ломоносову, один из самых неприятных мне людей, заговорил со мной своим крикливым самоуверенным тенором: “У вас, кажется, остаются две кошки. Уступите их мне. Я сконструировал аппарат, с помощью которого убиваю кошек без боли, мгновенно”. Я отказался отдать кошек Морозову, попытавшись объяснить, что животные, долго прожившие у тебя, все равно что вошли в твою семью. И Морозов налился злобой. Этот до истеричности практичный, работящий человек либо работал, либо злобствовал и жаловался. В другом состоянии не приходилось мне его наблюдать. Разве только после получения Сталинской премии прибавилась еще одна черта: он стал иной раз поучать тем же крикливым тенором, которым жаловался и хлопотал. Итак, я попытался спасти своих кошек, но с собой их все-таки не брал. Это было запрещено. На рассвете 10 декабря вышли мы

из дому. Провожали Женя Рысс и Катерина Васильевна. На санках везли мы наш длинный парусиновый чемодан. В Александринке сдали мы карточки и получили соответствующую справку. Пришел автобус, который заполняли люди совершенно незнакомые. И мы двинулись в путь на станцию Ржевка, где помещался наш аэродром. Путаница чувств. Занесенная снегом дорога. Певец, кажется Сибиряков, с больной женой, задыхающейся.

1957
4
апреля

Трудно больной. К ногам певца прижалась легавая собака редкой красоты, стараясь хоть в неизменности хозяйского существа найти утешение. Дорога становилась все хуже. И вот задние колеса машины ушли в кювет. Мы долго возились, пытаясь помочь шоферу выбраться на трассу. Я боялся, что мы опоздаем. Но вот мы выбрались наконец, буксующие колеса завертелись не вхолостую, повезли. И я занял свое место у окна. За окнами плыли снеговые поля, деревья, домики до оскорбительности обычные, как будто возле и не было города, погибающего от трупного яда. Ржевка тоже глядела спокойно, по-деревенски. Ребята, окружившие автобус, казались в меру голодными. Начальник аэродрома, рослый, начальнически-спокойный, вышел на крыльцо, сообщил, что время прихода машин неизвестно, и послал нас взвешивать вещи в сарай. Наш полотняный чемодан оказался и в самом деле ниже обязательного веса. Затем нас послали в барак, который спешно достраивался тут же над нашей головой. Часа в два все забеспокоились, собрались у своих вещей — самолеты идут. И в самом деле, низко над лесом появились китообразные зеленые “дугласы”. Около часа прошло в напряженном ожидании. Но вот появилась осанистая фигура начальника, и мы узнали, что это самолеты особого назначения, к нам не имеющие отношения. Снова вернулись мы в наш барак, который рос над нами. И в припадке истерической тупости, что, к счастью, со мной случалось в жизни нечасто, — точнее, в припадке тупой энергии — договорился с каким-то местным парнишкой, чтоб, когда придут самолеты, он помог нам грузить наш чемодан, и заплатил ему вперед пачкой табаку. Больше мы этого паренька не видели. И сколько раз на Большой земле, где о табаке

мечтали мы, как о неслыханном счастье, вспоминал я об этой пачке. Самолеты специального назначения ушли, а новые все не появлялись. В сумерки барак над нами был достроен и даже свет в него провели. И поставили времянку. Народу собралось много. Эвакуировали какой-то завод.

1957
5
апреля

Постепенно я узнал, из кого состоит наша так называемая профессорская группа: пожилой уже художник-баталист Авилов, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени, — в те дни это еще имело немалое значение, скульптор Шервуд с дочерьми, опереточный комик Герман, тощий и желчный, его семидесятилетняя жена (старше его лет на десять) комическая старуха Гамалей и падчерицы, полные женщины, еще молодые, с выражением лица решительным и шустрым, нескрываемо, деловито привлекательные. Полны они были более фигурой. Когда мы познакомились, падчерицы не скрыли причин своей полноты. Они обвязали себя под шубой и привязали к себе отрезы, чтобы вывезти их, не взвешивая. Они понимали, что такое эвакуация. Принадлежал к нашей группе и Сибиряков со своей сердито умиравшей, измученной женой. 10 декабря был день, когда не съели мы уже ни крошки. Вечером надо было топить. И я взял лом и присоединился к изготовляющим топливо. Мне досталась какая-то доска, которую мне удалось расколоть. Старик рабочий, похожий на мастера старых времен, в серебряных очках, с серебряными прядями волос из-под кепки, похвалил меня. “Да так методично”, — сказал он. А Катя сказала: “А он этим никогда не занимался”. Что было не вполне верно. Все пережившие голод и разруху [19]17 — 21 годов и начало тридцатых умели и дрова колоть, и понемножку готовить, и на рынок бегать. После меня лом взял молодой парень, и у него этот инструмент заиграл. Не помню, как прошла эта ночь. Спали мы на нарах или не спали. Рано утром появился начальник и обратился с речью к отъезжающим. Просил тех, у кого есть продовольственные запасы, сдать ему под расписку для остающихся голодающих земляков. Успеха эта речь не имела. Около часа дня появились автобусы. Из них выбрались с вещами новые беженцы, все женщины с детьми. Устро-

ившись в бараке, они принялись питаться. Кур ели. Белый хлеб. Старожилы притихли. Кто-то спросил их: “Вы откуда?” — полагая, что они транзитом следуют через блокаду.



“Из Ленинграда мы”, — ответила одна из баб, с той несокрушимой бабьей важностью, против которой одна сила: разжалование или смерть мужа. И с той же бабьей беззастенчивостью продолжала она питаться — именно питаться — на глазах у замершего строго барака. Часов около двух пошли слухи, что самолеты приближаются. Выяснилось, что не позволят Сибирякову взять его легавую. Сохраняя то же достойное и терпеливое выражение, с которым он переносил жизнь в бараке и мучения жены, певец отправился хлопотать. Но единственное, чего добился, — что кто-то из работников аэропорта, сам охотник, согласился взять собаку себе до возвращения певца. В три часа низко над лесом, словно киты, проплыли “дугласы” и снизились на аэродроме. Мы с вещами столпились у ворот, обтянутых колючей проволокой. Взглянув на Катю, я удивился. Я увидел, что она плачет, впервые с начала войны: “Что ты?” — “Говорят, что и эти самолеты не для нас”. Мне тоже стало жутко. Мы не ели уже больше суток. Ожидание превращалось в пытку. Но тут ворота открылись, и мы двинулись к самолетам. Грузовая машина, середину которой занял наш багаж. Пулеметное гнездо посреди крыши, мы видели только ноги пулеметчика, от пояса он скрывался в своем куполе. В противность медленно ползущему времени последних полутора суток, здесь все совершалось быстро, без единой задержки. Едва успели мы занять места на длинной железной скамье, идущей вдоль внутренней стены самолета, как дверь уже заперли, пулеметчик занял свое место, самолет вырулил к старту, побежал, набирая скорость, и вдруг мы словно вышли на безукоризненно ровную дорогу, и одновременно я увидел стоящий боком поселок. Сейчас же вслед за этим неожиданно близко с непривычной быстротой под нами пронесся лес. Мы увидели новое селение — по слухам, Всеволожское, снова лес и серый лед. Мы шли бреющим полетом, отсюда непривычная быстрота. Никто не сказал нам, когда мы пересекли линию блокады.

1957
7
апреля

Озеро исчезло, снова с непривычной быстротой понеслись под нами леса. Истребители пристроились к нам, закружились на флангах. Сколько времени были мы в пути? Не знаю. Я уснул внезапно и проснулся от тишины — мы снижались на аэродроме в Хвойной. С аэродрома доставили нас на грузовиках в какое-то здание — видимо, бывшую школу. Сложив вещи в углу какой-то залы с хорами — так мне чудится сейчас, мы, профессорская группа, отправились обедать. Нам дали по большой тарелке горохового супа, но без ложек. На них была очередь. Но между столами бродили со скромным видом мальчик и девочка — местные жители. Они предлагали ложку напрокат, за рубль. И мы поели впервые после вечера 9-го числа, когда пили дома чай. После глубокой тарелки густого горохового супа мы почувствовали, что сыты, что не могли бы съесть больше ни ложки. А тут подошли к нам раздатчицы, и мы получили полтора килограмма хлеба. Это был настоящий, не блокадный, легкий хлеб. Полтора кило — почти целая буханка. Мне показалось, что это ошибка. Когда вернулись мы к своим вещам, появилось какое-то начальство и нам объявили, что сегодня же должны мы ехать дальше. Станцию бомбят. Остался один Сибиряков. Летчик узнал, что старому певцу пришлось бросить на Ржевке собаку, возмутился и пообещал следующим же рейсом доставить ее в Хвойную. Незадолго до этого обнаружилось чудо: едва оказались мы в зале, одна из падчериц Германа засунула руку за пазуху и выпустила на свет божий крошечную, кудрявую беленькую собачку с черными глазами. И я почувствовал уважение к храброй падчерице. Она не боялась законов, а слушалась своих чувств. Снова погрузили нас в грузовик и отвезли через полную тьму к железнодорожным путям, где стоял бесконечный состав из теплушек. Мы — профессорская группа — забрались в одну из них. Сначала мы поклялись, что никого больше не пустим, но скоро с бранью и поношениями ворвалась к нам целая толпа.

1957
8
апреля

В дальнейшем подсчитали мы, что в нашей теплушке сбилось человек пятьдесят, не считая грудных детей. Мы в дальнейшем так и находили своих детей, по детскому плачу. Сразу вступив с нами во враждебные отношения, вся эта

масса заняла со скрипом, воплями, криками противоположные нам нары. Правую сторону, стоя лицом к печурке, занимали мы, а левую — более широкую — наши враги. Впрочем, вряд ли весь этот замученный, голодный, спутавшийся в одно целое клубок людей ненавидел именно нас. Им нужно было отвести душу, все равно на ком. Перебранка, сердитый детский плач и непрерывный, как в бреду, вопль мальчика лет двух: "Мамка, дай чаю". Первую ночь я и сам был как во сне. Все мне казалось не имеющим отношения ко мне. Чувство Большой земли и свободы не появлялось. Я понимал рассудком, что мы за кольцом, но не верил, что началась новая жизнь, что мы ушли от смерти. Поезд очень скоро двинулся в путь — Хвойную спешили разгрузить от беженцев. Мой полусон скоро перешел в настоящий сон. И мне приснилось, что я согласился на чьи-то настойчивые уговоры и вернулся в Ленинград. Город стал еще мертвее за эти дни. Стояли сумерки. И все улицы огорожены были железными дешевыми кроватями, потемневшими и ржавыми. И чувство несвободы и окруженности усилилось до отчаяния от переплетов спинок, торчащих ножек. Я проснулся в отчаяньи, словно отравленный, и чувство это долго не проходило. И я решил лежать и не вставать. Поезд останавливался на станциях, но они были мертвы, разбиты с воздуха, даже воды неоткуда добыть. Растапливали снег. К середине дня остановились мы на какой-то станции побольше. Выяснилось, что где-то далеко на холме за площадью работает буфет. Многие побежали туда, но мне казалось странным, имея столько хлеба, беспокоиться о чем-то. Вскоре оцепенение мое прошло, и я стал вживаться понемногу в вагонный быт. Стычки не замирали. Ссорился чаще всех старый, нервный Герман.

1957
9
апреля

Руки его дрожали от гнева, и он, патетически указывая на враждебную сторону вагона, восклицал: "Вот кому я отдал сорок лет культурной работы". Споры вызывало все: кому идти за углем, кому топить чугунную печку и не могу теперь представить себе, что еще. Я, как всю жизнь, позорно не лез в давку. Но двоих спутников я возненавидел глубокой ненавистью. Я их не то чтобы разглядел, а узнал. Я много раз в своей жизни испытывал чувство ужаса и отвращения, убеждаясь в многочисленности породы каменных

существ с едва намеченными, как у каменных баб, человеческими признаками. И тут оказалось их двое. И заняли они место посреди между воющим и плачущим человеческим клубком и нашей несчастной профессорской группой. Они возлежали у чугунной печурки. Один — рослый, с головой, как котел, другой — остролицый, с уклончивым выражением. Я не знаю, кем работали они на заводе. Сейчас переключились они на самоснабжение. Это они унюхали буфет на холме и первые принесли оттуда рагу в газетной упаковке и помчались туда во второй раз. Остролицый все повторял: “Волка ноги кормят”, а круглоголовый молчал. К вечеру, когда печурку снова разожгли, круглоголовый помешивал в ней кочергой, а жена его повторяла: “Ваня! Зачем ты шуруешь, неужели тебе больше других надо?” Как на грех, в нашей теплушке, полной детьми, дверь оказалась подпорченной, и только один человек приноровился открывать ее изнутри — этот самый Ваня. Матери, которым необходимо было подержать детей, которые просились, собирались у его ложа и кричали на него, будто он профессор. Но он не отвечал, тихо беседовал со своим остролицым другом. Все о делах-делишках, судя по тому, что остролицый вскрикивал от времени до времени:“И правильно! Волка ноги кормят!” Только когда вопли несчастных матерей становились оглушительными, поднимался Ваня — круглая башка во весь свой рост, делал загадочное движение плечом, и дверь ехала с визгом. Открывалась. Пришла вторая ночь.

1957
10
апреля

К этому времени я окончательно понял Ваню. Своих у него тут не было. Он понимал жизнь так: “Война всех против всех”. Должен признаться, что не я открыл эту формулу. Услышал я ее после войны от человека, которому долго пришлось работать среди подобных существ. На нашей стороне в течение дня мы поближе познакомились друг с другом. У нас главенствовала тоже не бог весть какая почтенная особенность. Мы не верили в этих непривычных, странных, как во сне, условиях существования в свое право на жизнь. И утверждали его с помощью документов. Авилов показал газету, в которой был напечатан приказ о его награждении и хвалебное письмо Репина, восторженное, написанное с большим темпераментом. Я вытащил изданную Театром

Комедии "Тень". Шервуд, самый достойный и суровый из нас, тоже зашевелился и предъявил монографию о нем, выпущенную издательством "Искусство". Предъявляли мы эти документы друг другу. С Шервудом ехала семья, не то дочка с ребенком, не то невестка и совсем молоденькая, славненькая, хозяйственная не то внучка, не то дочка — не было сил разбираться в этом. Ехали на нашей половине еще молчаливые женщины с маленькими детьми. Их приписали к нашему списку для счета. Легче всех характером оказались Авиловы. Проще всех. И мы как-то постепенно познакомились с ними. Вагон шумел, плакал, бранился. А комическая старуха Гамалей вдруг стала мешаться в уме. Она поднималась в своей меховой шубе, маленькая, но широкая, и, откинув голову назад, спрашивала низким актерским голосом: "Кто протягивает мне стакан с водой?" Герман пугался, как ребенок. Он вздымал к небу дрожащие руки и кричал: "Вы слышите, что она говорит, Паня (кажется, так), что ты говоришь?" А несчастная старуха тоном королевы продолжала: "Кто пододвинул мне кресло?" — "Что она говорит! Паня, что ты говоришь?" Ночь прошла мучительно. У Катюши примерзли к стене теплушки косы. А посреди, нет, в шаге от стены, жара не давала дышать. На другой день приехали мы в Рыбинск. Поезд загнали далеко на запасный путь.

1957
11
апреля

До станции километра полтора. Зимние легкие облака, пар, будто примерзший к паровозам, не спеша меняющий очертания, какие-то склады, похожие на башни из неоштукатуренного кирпича, будничная, со свистками и гудками, жизнь многопутных подступов к узловой станции, и, словно опьянение, — внезапно проснувшееся чувство: жизнь продолжается. Касалось это чувство не меня, а всей земли, куда нас забросило. Почему-то поразили меня высокие деревья у переезда, белые и пышные от мороза, а под ними прохожие с человеческим, а не предсмертным выражением. Вторая радость — обозная часть какого-то воинского подразделения, сибирского, по слухам. Здоровенные парни в великолепных белых полушубках везли на розвальнях ящики, видимо, сгруженные с какого-то эшелона. А кони! Сытые, шерсть круто вьется от мороза, бегут, как играют. И новость — из Калинина немцы вышиблены и продолжают

отступать. Резкая черта прошла между вчерашней моей жизнью и сегодняшней. Мы с Авиловым отыскали комнату в большом, не тронутом бомбежкой вокзальном здании. Тут выдавали ленинградским беженцам ордера на продукты. К моему удовольствию, Ваня кругло-головый и его остромордый спутник ("волка ноги кормят") неизвестно почему — вернее всего, от избытка хитрости ища обходных путей, — опоздали и оказались в очереди позади нас. За столом стояла невысокая пожилая женщина, вернее всего, работница горсовета, похожая на экономку из зажиточной, но прижимистой семьи, с выражением сухим и холодным. Когда я заговорил с ней, она вдруг замахала руками и сказала: "Не перегибайтесь через стол, подальше, подальше!" И я вдруг понял, что для дуры мы — не братья, попавшие в беду, а возможные носители инфекции, угрожающие ей, бабе, опасностью. Она презирала нас за слабость, худобу, бездомность. Тем не менее она приняла список профессорской группы. Спросила: "Сколько детей?" Я ответил. А подлец Ванька пробормотал: "Ну, это уж преувеличено!"

1957
12
апреля

С яростью повернулся я к нему и спросил: "Вы что ж, хотите сказать, что я обманываю?" В добротном пальто, с воротником под котик и в такой же шапке-кубанке возвышался Ваня-собственник, где бы он ни работал, Ваня-людоед, Ваня — участник единственной войны, которую понимал: всех против всех. По правилам этой войны прямые схватки допускаются в виде исключения. Поэтому каменное лицо его не отразило ничего, как будто он ничего не сказал, и я не ввязался с ним в спор. В сторону поглядывал и остролицый Ванин спутник ("волка ноги кормят"). Представительница города Рыбинска, видимо, занятая одной мыслью, как бы я, наклонившись через стол, не заразил бы ее какой-нибудь эвакуационной инфекцией, не обратила внимания на краткую мою стычку с Ваней в кубанке и подписала распоряжение выдать причитающееся нам продовольствие. Получили мы консервы — крабы, хлеб — не помню, что еще. Выйдя с вокзала, никогда больше не увидел я Ваню и его спутника. Во всяком случае, в таком конкретном их воплощении. Мы услышали, что наш состав будет стоять в Рыбинске еще дней пять. Чувствуя необыкновенную легкость и наслаждаясь мыслью, что жизнь

продолжается, двинулся я обратно к вагону. И опять увидел деревья, и обыкновенных людей, и склады, похожие на замок. И опять погрузился в привокзальную [жизнь] — многопутную, полную кондукторских свистков на маневрирующих то длинных, то словно обрубленных составах, и паровозных гудков. Я встретил славную дочку или внучку Шервуда, заговорил с ней шутливо и легко, а она взглянула на меня с недоумением, словно с ней пошутил шлагбаум. И я понял, что для нее я старик, смутно различаемый на фоне унылых спутников. По дороге мы с Авиловым решили, что жить в теплушке пять дней выше человеческих сил. Надо снять в городе комнату. В вагоне было просторно — спутники наши разбрелись на охоту. Не было и Германа и Гамалей — он увез устраивать ее куда-то в город. Падчерицы сторожили вещи. Мы поделили продукты, выданные на вокзале.

1957
13
апреля

Тут я заметил, что старик Шервуд тоже немного повредился в уме. Когда стали рассчитываться за полученные продукты, он никак не мог разойтись с кем-то из-за пятнадцати копеек. За стенами теплушки уже давно счет шел на сотни, цены взлетели по-военному, а Шервуд вдруг вернулся к мирным ценам своей молодости. Впоследствии я читал и слыхал, что он хороший скульптор. Прожил он еще много лет. Но, услышав его фамилию или прочтя о нем в газете, я видел одно: закутанного старика со строгими, недоверчивыми глазами, — и блокада, эвакуация, теплушка, холод так и дышали на меня мертвым дыханием. Мы позавтракали. И тут произошло небольшое событие. Собачка падчериц вела себя так тихо и послушно, что никто из беспощадных спутников наших не открыл ее присутствия в теплушке. А тут, ободренная тишиной и терзаемая голодом, выползла она из своего убежища, прокралась к Шервудам и деликатно и неслышно съела баночку крабов, которую вскрыли они к завтраку. Мы с Авиловыми отправились искать комнату в городе. По дороге встретили мы Германа, дрожащего, взъерошенного, встревоженного. Я сказал ему, что мы решили остаться в Рыбинске. И больше никогда не видел его. Гамалей, как рассказывали потом, скончалась через несколько дней в Рыбинске, а сам Герман — через несколько месяцев, кажется, в Челябинске от воспаления легких.

Комнату нашли мы быстро, недалеко от вокзала. Жить нужно было в одной комнате с хозяйкой и двумя ее ребятишками, и это после теплушки представлялось нам раем. Оставив жен на новой квартире, наняли мы человека с санями. Когда открыл я дверь в теплушку, сердитые голоса кричали: "Закрывайте, закрывайте скорей!" Народу все еще было немного. Кто-то, думаю, внучка или дочка Шервуда, вымыл пол теплой водой — пар еще курился над досками. Я сообщил, что ухожу, и это не произвело на моих спутников того впечатления, которого я ждал. Точнее, восторженное ощущение перехода к жизни, овладевшее мною, к моему удивлению, никак не передалось моим спутникам. Вот и с ними простился я навеки. Здоровенный парень повез на санках наши вещи, и мы с Авиловым пошли следом.

1957
14 апреля

Последний раз я шел через привокзальное многопутное рыбинское хозяйство. Свистки, звон буферов, гудки. Солнце по-зимнему рано скрылось за низкими рыбинскими домами. Пар у паровозных колес и дым паровозных труб принял розовый цвет, красным стало небо на западе. Движение у переезда через пути, под знакомыми деревьями еще усилилось к вечеру. Все розвальни, а на них, стоя, солдаты в белых тулупах. Склады, похожие на замок, из неоштукатуренного кирпича так и светились на закате. И когда при мне говорят: "Рыбинск" — перед глазами так и воскресают мои путешествия от вокзала к составу и обратно. Особенно это последнее, вечернее. Когда мы пришли, жены наши помылись, привели себя в порядок и имели вид благостный, почти счастливый. Но когда я заставил Катю измерить температуру, градусник показал около тридцати девяти. Хозяйка принесла самовар — такое обилие воды показалось чудом после оттаянного снега. Дети, мальчики лет пяти и шести, сидели за столом и любовались на нас, как в зоологическом саду. Хозяйка достала нам немного картошки по какой-то неслыханной цене. У печки было пристроено подобие лежанки, выстланной кафелем, такой, впрочем, маленькой, что я на ней полулежал, наслаждаясь покоем и малолюдством. Всего пять человек в комнате (не считая нас с Катюшей). Нам поставили койки, застеленные чистым бельем, и мы уснули, как в раю, и утром Катюша проснулась здоровой. Ее спасло то, что мы вовремя

бежали из теплушки. Авилов узнал с утра у каких-то военных, что комендатура поддерживает регулярное сообщение с Ярославлем на грузовиках. И мы пошли с ним в комендатуру. Комендант выслушал нас, взглянул на газету с приказом о награждении Авилова орденом Трудового Красного Знамени и приказал на другое утро быть с вещами во дворе комендатуры. Повеселев, вернулись мы домой. Еще бы, машина шла до Ярославля всего несколько часов. Часам к двум пошли мы гулять по городу. Низенькие дома. Неуверенное выражение. Пустой рынок. Предприимчивый Авилов уговорил меня зайти в исполком, и мы, предъявив удостоверения, получили талончики на обед в исполкомскую столовую.

1957 *15 апреля*

Обед поразил обилием и пышностью. На первое щи с куском вареной свинины, проще говоря, с вареной свиной котлетой, а на второе такая же котлета жареная. Мы еще не научились есть так много и вареную свинину унесли с собой. Здесь, в столовой, встретил я Гауша, ленинградца, уехавшего оттуда несколько лет назад. Он был драматургом, писал для театра Деммени, а теперь работал в Ярославле в Комитете по делам искусства. Мы были знакомы не слишком хорошо, но в этом чужом мире встретились, как близкие знакомые. Я услышал от Гауша неожиданную новость о театрах. До войны сборы резко упали. Руководствуясь этим, Храпченко приказал ряд периферийных театров прикрыть. Некоторые из них взмолились о пощаде, и им разрешили играть на свой риск и страх, распределяя зарплату по маркам, как в дореволюционных актерских товариществах. И что же произошло? Вопреки всему с начала войны — подумать только! — сборы в театрах резко повысились. Труппа стала зарабатывать на марки столько, что актеров скорее, скорее сделали штатными единицами. Вечером в переполненной с сегодняшней точки зрения комнате, а с тогдашней — в просторной и удобной, наслаждались мы теплом и самоваром. Авилов поражал детей, как волшебник, — рисовал им лошадок на клочках бумажки. Зашел разговор об искусстве, я упомянул Владимира Васильевича Лебедева, и у Авилова лицо приняло испуганное и укоризненное выражение, как у богомолки, при которой помянули черта. И он сказал: “Позвольте, ведь Лебедев — левак!”

Рано утром перевезли мы вещи во двор комендатуры. Небо снова было розовое, дым шел прямо в небо, градусник показывал минус тридцать пять. Спутники посоветовали нам достать одеяло. Машина тронулась в путь. Ледяной ветер продувал и одеяла и шубы, и казалось, что нашей дороге не будет конца. Я увидел домик у обочины шоссе, и мне страстно захотелось, чтобы оставили нас в покое, дали бы тут пожить, отогреться, одуматься, но машина мчалась дальше, и мы как-то пережили путь от Рыбинска до Ярославля.

1957
16 апреля

Ярославль прежде всего глядел городом военным. Сущность его отступила на задний план. Проходили части все туда же, к Калинину, преследовать отступавшего противника. Мы высадились у гостиницы на площади, против театра. Директор гостиницы только руками развел. Все номера заняты командованием проходящих через город подразделений. Единственное, что он разрешил, положить в коридоре вещи и подождать нашим женщинам, пока мы найдем где-нибудь пристанище. А тут пришли с репетиции актеры театра и, не спросив, кто мы и что мы, зная только, что ленинградцы, взяли нас к себе. И, позавтракав, отправились опять в театр продолжать репетицию, оставив нас, чужих людей, у себя в номере. Всю жизнь буду благодарен артисту Комиссарову и его жене. И, придя домой между репетицией и спектаклем, они все старались, чтобы нам было удобнее, старались накормить нас. У стены в номере стояли санки, груженные малым количеством вещей. Оказывается, калининские актеры, когда город был взят немцами, ушли из театра в гриме, кто в чем был, без вещей. И ярославские актеры приготовили на всякий случай санки, если придется уходить так же внезапно, как несчастным калининским товарищам. Вскоре я лишний раз убедился, какая могучая междуведомственная сила театр. От него ждали и получали только праздник и радость среди будней и напряжения. И эта божественная театральная сила сделала разом то, что мы с Авиловым сделать не могли. Нам выписали такое количество продуктов, какого не получал я потом во всю войну. Огромный круг швейцарского сыра, вареных кур, колбасы. Затем начальник Ярославской дороги позвонил в Москву. Появились скорые поезда.

1957
17
апреля

И вот для нас в Москве заперли в скором поезде купе, чтобы в Ярославле отпереть. Иначе попасть было невозможно в этот вид поездов. В ожидании прожили мы в Ярославле дня три. Чтобы не стеснять Комиссаровых, разыскали мы Тыняновых — семью брата Юрия Николаевича, Льва. Никого не застали дома, но жена брата Юрия Николаевича пришла за нами в гостиницу. Лев Николаевич в Ярославле отсутствовал, работал начальником санитарного поезда. Жена его, тоже врач, и дети, мальчик и девочка, приняли нас бережно и ласково, как своих. Жизнь, теплота жизни, пульс вдали от места удара, от блокадного Ленинграда и беспощадной теплушки, вдруг стала ясно ощущаться. Да, жизнь продолжалась. Мы даже погуляли за эти три дня по Ярославлю, смутно выступающему сквозь войну и воинские части, проходящие через город. Вышли на набережную Волги, но замерзшая река уничтожила впечатление берега. Дорога, да и только. Авилов вспоминал молодость. Художников его школы никогда я не встречал, и мне странно было видеть в нем признаки жизни. Поезда отходили не с ярославского вокзала, а со станции Всполье — километрах в восьми от города. Мы простились на рассвете с актерами и уселись в грузовик, который всемогущий театр и добыл нам. Катюша сидела рядом с шофером, в кабинке. В руках держала крошечную нашу “Корону“. Едва отъехали мы от гостиницы, машина круто повернула, и испорченная дверь кабины распахнулась, и Катя, мелькнув черной шубой и черной “Короной“, упала, как мне показалось, под машину, под задние колеса. Грузовик не сразу затормозил. Я отчаянно закричал, но, соскочив, увидел, что Катя спокойно бежит следом. Ее выбросило на кучу снега, и она даже не ушиблась. Я с трудом понял, что все кончилось благополучно, а машина мчалась по затемненному городу. За городом стояла воинская часть, ожидая погрузки. Солдаты, не считаясь с затемнением, развели костры. Это были лыжники с копьями.

1957
18
апреля

Они стояли у костров, лыжи остриями вверх, похожие на копья, и мне показалось, что я где-то уже видел нечто подобное. И вдруг меня сквозь сумятицу и туман последних дней осенило: рать стоит под Ярославлем, не то половцы, не

то наши собрались в поход. Вот и Всполье. Тут уж резко другое историческое ощущение: гражданская война. Вокзал забит беженцами, резкий запах дезинфекции, запах унылый и пронзительный, напоминающий близость заразы, а не борьбу с ней. Бессилие перед заразой. Я стучу в окошко дежурного по вокзалу, или, точнее, по огромному деревянному свежевыстроенному бараку для беженцев. А все население барака шевелится в тусклом свете, нехотя просыпается к утру. У меня записка о четырех наших билетах, подписанная начальником дороги. Окошечко дежурного наконец распахивается, и передо мной появляется человек со смятыми усами, распухшим лицом. Не давши мне и слова сказать, он начинает жаловаться: "Неужели человек не может хоть часок поспать? Есть у вас сознательность? Какая записка от начальника дороги? Ничего мне неизвестно! Скорый поезд давно прошел, а вы мучаете человека!" И окошечко захлопывается. И я остаюсь в одиночестве — точнее, сразу присоединяюсь к массе беженцев. Кричат сердито и жалобно на особый, душу помрачающий лад, по-беженски, грудные дети. По тому, как разложены узлы и постелены прямо на полу постели, угадываешь сразу, что люди не могут выбраться из барака не первый день. На мгновение испытываю я отчаяние и вдруг замечаю женщину в железнодорожной фуражке с красным околышем. Она идет, улыбаясь чему-то. Она тут хозяйка, ад для нее не ад, тут ей ругаться нечего. Я бросаюсь к ней, протягиваю записку. "Ах, это вы и есть", — говорит она со своей странной, довольной улыбкой. Ей здесь нравится! И ведет нас к кассе и выносит нам оттуда билеты. И вот мы стоим на перроне мирного времени. Барак остался памятен одним: у меня из кармана украли пачку табака. Мы стоим на перроне, и подходит скорый поезд, и проводник мягкого вагона, проверив билеты, предлагает войти.

1957
19
апреля

Чудо! В длинном коридоре мягкого вагона тепло, стекла широких окон, откидные сиденья вдоль стенки, занавески. Мы занимаем купе. После того как Катя едва не погибла при выезде, после бесконечной древней рати, ставшей между Ярославлем и Всопольем, после прыжка из древних времен в эвакуацию 18—19 года, вдруг оказываемся мы в мягком вагоне, подчеркнуто щеголеватом. Задача его быть вагоном мирного времени вопреки войне.

Пассажиры толпятся у окон, — немногие, проснувшиеся на рассвете. Сырой длинноволосый крупный человек в толстовке, как выясняется позже, инженер, мобилизованный, направленный в Киров. Говор у него московский, что теперь редкость, певучий. Несколько военных. Единственное, что отличает сегодняшний скорый поезд от довоенного, это его медленность. Он опоздал на пять часов, о чем предупредил нас начальник дороги заранее. Он и велел ехать на вокзал к пяти, хотя по расписанию приходит поезд в 12 ночи. Вот почему так напугал меня разбуженный мной усатый железнодорожник, сказав, что скорый давно прошел. Мы распределили в купе свой багаж и тоже подошли к широкому зеркальному стеклу окна. Перрон был пуст. Никого не тянуло к плоскому, зловещему, тускло освещенному бараку. Поезд двинулся неожиданно, звонков мы не расслышали. Едва миновали мы Всполье, как среди военных заметили мы оживление. Они показывали на небо — и вдруг издали-издали донесся механический звериный знакомый вой. Воздушная тревога! Вот отчего отправили нас без звонков. В посветлевшем уже небе увидел я вспышки, словно клочки ваты, — обстреливали самолет противника. И на меня напал смех. Эта тревога после наших блокадных показалась мне такой неуместной, провинциальной. И в самом деле, кончилась она ничем. И потянулся день полусонный — я все спал на своей полке. И почти счастливый. Мешало твердое ощущение, что все пережитое не исчезло от того, что попали мы в мягкий вагон [из] теплушки. Ваня, голод, блокада, война, кровь. Но мы отдыхали.

1957
20 апреля

Наш скорый поезд шел с большим опозданием, чему я радовался. Будущее представлялось неясным. Мы ехали в Киров, где жила Наташа. С Ганей! Я представлял себе, что такое Ганя в трудных условиях. Все те немногие запасы, что были у нас в Ленинграде, переправили мы в Гаврилов Ям после отчаянного письма Гани, что они голодают. Повез Альтус, который решил пробраться к семье, что было относительно [легко], — блокада еще не начиналась. А потом мы узнали, что все это почудилось Гане. Голода в Гавриловом Яме не было. И где мы будем в Кирове жить? Чем я буду зарабатывать? Я чувствовал себя ленинградским человеком, а кому я нужен за его пределами? Кто меня тут знает? Но все это была

задача будущего, когда скорый поезд придет в Киров. Но он опаздывал, к счастью. Мы подолгу стояли на разъездах. Пропускали эшелоны с машинами, идущие на восток, платформы с орудиями и войсками, идущие к нам навстречу. А я спал, отдыхал и чувствовал твердо, что таких перерывов у меня в ближайшем будущем будет немного. Ехали мы трое или четверо суток. Вот и Котельнич, где родился Рахманов, больше до Кирова городов нет. Темнело. И мы увидели вскоре поселок, который собрал к окнам всех пассажиров, — чудо! Он был освещен. Кончилась зона затемнения. В Киров приехали мы утром. Я нанял розвальни за неслыханную плату — не могу сейчас вспомнить, какую, знаю только, что дешевле никто не брал... И [мы] пошли по кировским улицам. Деревянные домики, деревянные мостки у ворот. Тротуары. Вот дорога повела вверх. Двухэтажное каменное здание старинной стройки, достаточно тесное, — областное издательство и редакция областной газеты. Впоследствии я узнал, что это бывший губернаторский дом, где и жил губернатор Тюфякин и бывал или даже служил Герцен. И снова деревянные дома, у которых такое выражение, что стоят они скрепя сердце, против воли.

1957
21
апреля

Бедность, бедность, туповатая, недоверчивая бедность. Мы шли и шли, и конца нашему пути не предвиделось. И все более чужими чувствовали себя мы здесь.

Вятка помещиков почти не знала, все государственные крестьяне. Город выстроили купцы и мещанство. А эти об одном заботились — чтобы дом получился вместительным. Так просто обратились серые вятские дома в коммунальные квартиры с длинным списком фамилий жильцов на столбе ворот. Выше, выше — и вот площадь, где некогда стоял собор Витберга, о котором рассказывал Герцен. Сегодня вместо собора раскинулся тут театр. Москве впору, белый, с колоннами, высокий. Вокруг площади стояли дома новой стройки, правительственные так называемые. Тут жили работники обкома и исполкома. И все же даже в этом окружении театр казался непростительно большим. Как лаковый бальный туфель у нищего на ноге. За театром улица Карла Маркса пошла под уклон, в конце ее далеко дымились в морозном тумане высокие серые заводские здания, широкая

серая башня. Приехавший позже Владимир Васильевич Лебедев со свойственной ему отчетливой впечатлительностью ненавидел эту башню. Ему чудилось, что эта башня построена для того, чтобы сжигать трупы. Оттого и курился над ней непрерывно дымок. Ему чудилось, что в ней есть сходство с индусскими башнями парсов, где покойников не жгут, а оставляют на съедение птицам, а вместе с тем и дымок на верхушке ее. Это было неясно, но очень похоже. Пройдя по улице Карла Маркса несколько домов вниз, мы остановились. Вот наш номер. Мы въехали в узкий двор, в конце которого стоял длинный-длинный амбароподобный двухэтажный дом, однако с двумя просторными террасами. Я взбежал на лестницу и замер — услышал Наташин голос. Она разговаривала о чем-то с бабушкой по хозяйственным делам. Я окликнул ее. Она ахнула. Воззрилась на меня с той радостью и остротой внимания, которая возможна в 12 лет, и унеслась за мамой, а мы с бабушкой, которая охала и причитала, поднялись наверх. Первый, кого я увидел в коридоре, был незнакомый мужчина с наглыми и спокойными глазами, с бородкой. Как выяснилось немного позже, муж Сарры Лебедевой.



Побывал я в театре. Прошел через актерский вход. Тут же на лестнице встретил Малюгина, который сказал, что только теперь, увидев меня, он понимает, что такое блокада. Но ему это казалось. Он не понимал, и это была не его вина. Обедали мы в столовой театра, и артист Карнович-Валуа спросил: “Теперь небось жалеете, что уехали из Ленинграда?” Ну как я мог объяснить ему, что между Кировом и Ленинградом была такая же непроходимая черта, как между жизнью и смертью. Они все начали понимать это недели через две. Малюгин отвел меня в кабинет к Руднику. Он был тогда и худруком и директором театра. Молодой, высокий, с таким выражением лица, что он, пожалуйста, не прочь в драку, меня тем не менее принял милостиво.



Обещал комнату, если освободится она в театральном доме. Но мы все искали пристанища. Заходили в маленькую гостиницу на площади, где я познакомился с драматургом Осафом Литовским и его словно оглушенной женой — сын

их только что пропал без вести или был убит. Славный мальчуган, который так прекрасно сыграл Пушкина-лицеиста в кино... Шли мы по главной улице до полукруглого здания исполкома, вход в который был снизу. Улица обрывалась круто вниз. Далеко внизу в голубом дыму простирался деревянный Киров. Мы спускались, шли направо, переходили мост над обрывом, застроенным широко раскинувшимися домами, над широким обрывом, по широкому мосту, сначала незнакомому, а потом такому привычному, с металлическим узором решетки. Отсюда дорога снова вела вверх. Мы проходили мимо кирпичного неоштукатуренного особняка, дальше, дальше. И мы, наконец, попадали на большой рынок. Вначале я не знал, что за особняк миную по пути к рынку. А потом местные жители рассказали, что принадлежал особняк купцу по фамилии Булычев, и его фамилию взял — по местной легенде — Горький для своего героя.

1957
25
апреля

В первый же день, впрочем, я мог бы догадаться, что дело плохо. Катя попросила таз у матери одной актрисы. Вымыть посуду. А та отказала. Правда, через несколько минут прибежала сама актриса, принесла таз и долго объясняла, что мама тут совсем испортилась под влиянием среды. Но среда, следовательно, существовала! Народ стал прижимист и еще гордился этим! То, что увидел я, приехав, — как бородатый мужчина уходит боком на манер краба, услышав просьбу о помощи, было символом. Большой драматический театр, короче говоря, Рудник, выдал мне постоянный пропуск. В графе "должность" стояло: "драматург". В театре получил я карточки. Отоваривались одни, хлебные здесь же, в театре, продуктовые шли на обед. Мы получили пропуск в столовую ученых — писатели были прикреплены туда. Мороз все не отпускал. По городу, где белый цвет неба Вятки, высочайших деревьев, сугробов, а главное, бесконечных столбов дыма соединялся во что-то прекрасное, но враждебное и незнакомое, шли мы [по] скрипящему снегу в полуподвал столовой. Тут в первый день очень поразило нас одно явление, невозможное в блокадном Ленинграде, — кто-то забыл на столе недоеденный довольно большой кусок хлеба. И никто не брал его. Комнату мы все искали. Но вот Рудник вызвал меня и сказал, что в

теадоме освобождается комната, которую он отдает нам. Второй раз спасало меня могучее междуведомственное учреждение — театр. Комната освобождалась из худших, в первом этаже, прямо против входной двери — сильно дуло. Низ окна оброс таким толстым слоем льда, что отколоть его, не повредив стекло, возможности не было. Да и не следовало. Лед естественным, арктическим путем законопатил все щели, так что в окно не дуло. Получили мы комнату 31 декабря 1941 года. И переехали из суеверия сразу, чтобы под Новый год ночевать уже у себя. Мебели не было. Ни стульев, ни стола, ни постели. Один платяной шкаф. Новый год встретили с Наташей у Гани и Альтуса. Присутствовали Ганина подруга, сошедшая примерно через полгода с ума — это с ней случалось периодически, и муж ее, инженер, — маленький, удаленький, деловой. Холодова обижалась и кричала, и я рад был, когда оказались мы у себя.

1957 *26 апреля*

Мы спали на нашем длинном парусиновом чемодане, и я был почти счастлив. Комната есть. В Детгизе, эвакуированном в Киров же, меня встретили приветливо и дали работу — написать примечания и предисловие к книге "Без языка" Короленко. Пришла телеграмма из Алма-Аты, подписанная Козинцевым, Траубергом и еще кем-то, приглашающая срочно перебираться к ним. Следовательно, уехав из Ленинграда, я не остался в одиночестве и нужен кому-то. С утра 1 января 42-го года уселся я за работу. Писать пьесу "Одна ночь". Я помнил все. Это был Ленинград начала декабря 41-го года. Мне хотелось, чтобы получилось нечто вроде памятника тем, о которых не вспомнят. И я сделал их не такими, как они были, перевел в более высокий смысловой ряд. От этого все стало проще и понятней. Вся непередаваемая бессмыслица и оскорбительная будничность ленинградской блокады исчезли, но я не мог написать иначе и до сих пор считаю "Одну ночь" своей лучшей пьесой: что хотел сказать, то сказал. Дня через три после нас появился в Кирове Театр Комедии. А может быть, и позже — они ехали в Копьевск эшелоном, не перегружаясь в скорый поезд, как мы. Они тоже удивлялись, что невозможно объяснить кировцам, что такое блокада. Дня два кировские и ленинградские лица мелькали в теат-

ральных коридорах, странно несоединимые, но соединившиеся, как во сне, и Театр Комедии проследовал дальше, а мы остались. В столярной мастерской театра заказали мы круглый обеденный стол, и топчан, и стулья. (Я забыл сказать, что в комнате, кроме шкафа, стоял еще большой письменный стол, прямо у обледеневшего окна.) И Катя совершила свойственное ее таинственному дару чудо. Наша комната отличалась тем, что обе соседние комнаты отапливались от нас. Катя поставила шкаф поперек, так что печные дверцы отделились от остальной комнаты, выходя как бы в маленькую прихожую. Вязаное финское одеяло повесила над кроватью, как ковер. Скатерть легла на стол. Словом, дом наш стал воистину жилым домом.

1957 27 апреля

Спать было не на чем, на топчан наваливали белье и все-таки спали, как на голых досках. Но дом выглядел домом. И Николай Никитин (живущий в правительственном доме с удобствами), зайдя к нам, перекосился от внутренней обиды. И сказал с наивной ревностью: “Ну, брат, ты в рубашке родился”. И написал Форш, что мне дали комнату всю в коврах. Он был озлоблен. Его серые выпуклые глаза смотрели осуждающе. И он напал на меня за то, что я пишу пьесу. Сейчас только в газете и можно работать. Он меня смутил. Но когда мне позвонили из газеты, чтобы я поехал на какой-то завод в качестве их корреспондента, я, и подумать не успев, сразу, как будто этот вопрос решен для меня, отказался. И продолжал писать пьесу. Читал отрывок за отрывком Малюгину. Писал для Детгиза. С подвижностью тех лет они уже успели перебраться в какую-то школу. Теперь, чтобы добраться до них, я шел до пустыря. За пустырем виднелись решетка, и витберговские павильоны, и пышные белые деревья городского сада. Я пересекал пустырь. От сада круто спускалась вниз между снежными и глинистыми стенами дорога к пристани. Я сворачивал в деревянную улицу и, читая надписи с фамилиями над воротами, шел к Наркомпросу. Казалось, что дома переполнены до того, что вот-вот распадутся. В маленькой комнате — три больших кровати и сто детских. А рядом, вокруг обеденного стола вдоль стен, — еще строем кровати. И так почти в каждой комнате. Работу мою в Наркомпросе приняли и оплатили. И вышло это очень

кстати: деньги, вырученные за ленинградские вещи, приходили к концу. Зарабатывал я и на елке. Меня позвали устроители в кукольный театр выступить один раз бесплатно. А потом сразу предложили по пятьдесят рублей за выступление до конца программы. Словом, я стал врастать в кировскую жизнь. Счастливее всего чувствовал я себя от того, что работаю. Пьеса двигалась быстро. Внизу, где была наша комната, жили главным образом семьи актеров из Областного театра, переведенного приказом Большого драматического в город Слободской. Это был народ строгий.

1957
28
апреля

Здесь жили жены, мужья которых были мобилизованы с беспощадной периферийной строгостью. Один из них — отец большого семейства — был взят на фронт даже одноглазым. И с одним глазом можно сражаться. Жена его работала, все работала безостановочно с утра до вечера. Мне очень нравился ее младший сынишка лет пяти, черноглазый, все говорящий срыву, отчаянно: "Ласточка, не трогай эту щепку, а то ка-ак занозишься, кровь ка-а-ак потечет". Ласточка — хорошенькая, нежная дочь театрального парикмахера, живущего в Слободском, чеха по фамилии Свобода. Зовут ее по-настоящему Власта, но все перекрестили ее в Ласточку. Здесь жил в этой же стайке Франтик, брат Ласточки, которого по-настоящему зовут Франтишек.

Дети — кроме названных, их было еще человек пять — бегали стайкой по коридору. Из взрослых веселее всех был Полицеймако. У него было выражение собаки, почуявшей дичь, сосредоточенное, глаза стеклянные. И дичь эта, вечно для него драгоценная, был он сам. Он не переставал восхищаться собой и не видел конца своим грядущим победам. При этом был он человеком недобрым, несмотря на свою ласковость влюбленного. Странный, с вытянутой головой, рыбьими губами — он нравился женщинам. Темперамент у него был весь наружу. Он любил себя на глазах у всех.

1957
29
апреля

...В комнатах верхнего этажа жили главным образом актеры Большого драматического театра. В первой комнате от начала Мариенгоф и Никритина. Это были уже настоящие

ленинградские знакомые. С Никритиной мне было легче, чем с ним. Она была умнее, гибче и богаче. А в Толе засело что-то прямое и небогатое. Он ленив на споры и уклончив, но с ним не мог не спорить. Как заявит он: “Искусство не есть явление природы”, — ну как тут удержаться. Я до сих пор и не думал на эту тему, но тон уж очень учительский. И я с яростью бросался в бой, никогда, впрочем, не переходящий за пределы; мы все-таки понимали, что земляки. А кроме того, я никогда не мог рассердиться на Мариенгофа. Что-то наивное было в его рассуждениях. У Мариенгофов встретил я Сарру Лебедеву. И впервые разглядел ее как следует. Она, как и Владимир Васильевич, умела жить без притворства. Не считала свои желания за грехи. Вот привезла мужа бородатого, с наглыми глазами, но здесь же, в Кирове, развелась с ним, чтобы не сказать — отпустила его. Вот тут-то и начинается разница между ней и Владимиром Васильевичем. Она знала, что Лебедев выехал с женой из Ленинграда и остановился где-то в пути. Как она беспокоилась за них. Как опостылел ей наглец с бородой, и она отпустила его, как домработницу. Так же болела она душой за Радловых, за племянницу, погибшую где-то под Кировом от туберкулеза.

1957
30
апреля

Для того чтобы писать портреты, нужно выбрать расстояние и понимать точно того, кого пишешь. А в этой суете, суете 42-го года, я чувствовал себя не портретистом, а частью единого целого. О блокаде я мог писать, а тут я находился очень уж в середине. Сарра Дмитриевна в свои пятьдесят лет все глядела королевой. Была наблюдательна. Заметила, что артистка эстрады, живущая в том же коридоре, что и она, успевшая со всеми переругаться, разговаривала только сама с собой: “Вот я сейчас чайничек поставлю. Вот и поставила. Вот сейчас картошечку почищу”. Заметила она, что старики в семье — обуза, а на старухах весь дом держится. И в самом деле: старики только и делали, что сидели на большом сундуке под рупором громкоговорителя, ждали последних известий, а старухи и стирали, и бегали в магазин, и готовили, и смотрели за внуками — казалось, что на старухах весь дом держится. Однажды в сорокаградусный мороз привез колхозник меду. Вся матовая глыба так замерзла в бочонке, что не поддавалась никаким усилиям. Сам колхоз-

ник растерялся. Сарра Дмитриевна подумала и принесла кастрюльку кипятку и нож. Опустила нож в кипяток, и горячее лезвие легко врезалось в замерзший мед. “Золотые руки, — подумал я. — Она чувствует, как обращаться с материалом!” И даже колхозник похвалил ее. Сарра Дмитриевна занимала свое место в жизни твердо, не суетясь и не высовываясь. Королевский титул не позволял. Крупная, спокойная, проходила она через беспокойный наш быт. И гораздо больше, чем Владимир Васильевич, и брала от жизни, и отдавала. Когда примерно в феврале Радлов и его жена, сестра Лебедевой, Анна Дмитриевна выехали из Ленинграда — как засветилась Сарра Дмитриевна, получив письмо. Я и Никритина как раз были у нее. И она на радостях дала нам прочесть письмо. Радлов кончал письмо так: “Целую твою талантливую мордочку”. И я ужаснулся: так это не соответствовало Сарре Дмитриевне с ее королевской сущностью. И когда мы вышли, Никритина призналась, что эта фраза тоже так и резанула ее.

1957
1
мая

Трудно писать о новой жизни. Вступила масса людей. А окрашена эта новая жизнь одинаково. И если описывать новых людей, то получится пестро. А жизнь установилась серая. Прежде всего стоящая над всем и за всем война, чувство смерти, закрывала свет. И жили мы впроголодь. В театральной столовой вывешивалось ежедневно одно и то же меню: “I — суп из костей, II — кровяные котлеты”. Иногда на второе давали завариху — это было еще хуже, чем кровяные котлеты, — заваренная кипятком мука, кисель не кисель, каша не каша, нечто похожее на весь вятский быт. Мучительно было отсутствие табака. Чего мы только не курили за это время. Вплоть до соломы с малиновыми веточками. Однажды я обменял ночную рубашку на спичечную коробку махорки. Такова была мера на рынке — спичечная коробка. Кроме большого рынка, существовал маленький. Носил он название Пупыревка. Там и продавали табак коробочками. От нас до Пупыревки было минут пять ходу вниз по улице Карла Маркса. Ряды под навесом. Всего два, друг против друга, как улица. За левым рядом — площадь, где стоят возы торговцев. Низкорослые лошадки со взъерошенной от мороза заиндевевшей шерстью. На спинах их нахохлившиеся вороны сидят, греют лапки, на что кони не обращают

ни малейшего внимания. На бесконечном прилавке Пупыревки прикрытая овчиной картошка, дошедшая к тому времени до 80 рублей кило. Молоко — 25 рублей бутылка, по-ленинградски говоря, водочная полбутылка. Мясо за сто рублей. Однажды стояли в очереди за маслом — тысячу рублей килограмм. Брали по пятьдесят, по сто грамм. При входе в эти ряды стояли обрюзгшие, распухшие пьяницы, как на часах. Надеялись выпить и за день как-то ухитрялись напиться. Толклись, осторожно оглядываясь, продавцы карточек. Продавали хлебные. Но основная частная торговля шла на площади между возами. Тут легко было скрыться в случае облавы. Тут народ глядел косо и не сразу признавались, что есть табак.

1957
2
мая

Сколько раз принимаюсь я за описание вятской жизни. В который раз — и все плохо, все вяло. Слишком новый мир. Внизу Пупыревка с застывшими на месте пьяными, с разбойничьими ценами, оскорбительными сценами. В середине — похожий на барак, двухэтажный длинный театральный дом, с безнадежно замерзшей канализацией, а далее — храм не храм, дворец не дворец — высокий, многоколонный театр. Здесь мне легче и интересней всего бывало с Малюгиным. У меня в те дни было очень ясное желание оставаться человеком вопреки всему. И Малюгин, много работавший, чувствовавший себя ответственным за весь театр, грубоватый и прямой, помогал мне в этом укрепиться. И я читал ему “Одну ночь”, сцену за сценой. Комната Малюгина помещалась особняком, как и он сам среди театрального коллектива. Рядом фойе, о котором говорили: “помещение женатиков”. Как само название, так и все фойе производило впечатление странное. Это были отделенные друг от друга и от общего прохода с помощью театральных тканей и кофров стойлища. Разделение и было и не было, слышимость полная, а с другой стороны — все же как бы жили каждый в своей комнате, говоря театрально-условно. Вейсбрем занимал комнатку по другую сторону театрального здания, это была уже настоящая комнатка. Даже уютная. Кировский уют тех дней определялся следующим: на полках или в шкафу вятские игрушки, раскрашенные глиняные, белые с золотом. Сначала они мне понравились, а потом показалось мне, что живет в них душа

Пупыревки — неясная мечта о чистоте, пышности, золоте. С Вейсбремом у меня установились отношения непонятные. Не в Кирове, а еще с давних пор. Понимали мы друг друга с полуслова, а настоящей близости так и не установилось. И Вятка скорее нас разъединила еще, хотя по-прежнему, как люди одного времени, знающие друг друга смолоду, понимаем мы все как будто одинаково.



Есть знакомства, как бы сцементированные временем, с которым они связаны. Близкое знакомство с Малюгиным образовалось во время войны, в Кирове, во время эвакуации, где каждого человека, каждого соседа, точнее, хочешь не хочешь, а видишь во всех подробностях, с каждой родинкой. До этого я встречался с Малюгиным на премьерах и в редакциях, и он мне нравился главным образом тем, что по отношению ко мне был благожелателен. А это оценишь, когда человек не сладок, даже грубоват и говорит неприятные вещи с легкостью, не боясь обидеть. В Кирове после полумертвого Ленинграда, теплушек, всей страшной дороги увидел я его как бы впервые в жизни, во всяком случае, новыми глазами. Мы встретились в театре, на лестнице актерского входа, у второго этажа. Очень светловолосый, худенький, улыбающийся, он вдруг, увидев меня ближе, со свойственной ему прямотой, стал глядеть на меня с открытой жалостью и уважением. Тут он вдруг понял, что такое блокада, — так сказал он мне уже несколько месяцев спустя. Занимал он маленькую комнату, недалеко от так называемого коридора женатиков. Малюгин держал себя строго. Школил. Работал много. Стул у стола стоял жесткий. Жесткий высокий топчан, накрытый белым покрывалом. Столовый столик. Под стеклом, на письменном столе вырезка. Отрывок из статьи Гейне о том, что ему — немногое надо: хижину в горах, несколько книг, скромную пищу из долины да дерево возле хижины, на котором висело бы несколько его врагов. И у Малюгина они были.



У него сохранилось и до сих пор еще выражение мальчишеское и недоброе. Вызывающее. При светлых волосах — глаза темные и недобрые. Лоб наморщен с одной стороны, и бровь одна приподнята, что вечно придает ему выражение

вызывающее. Рот маленький, нижняя губа выдвинута чуть, и это подтверждает общее впечатление. Положение завлита в театре наименее защищенное, и если у труппы с ним нет отношений дружеских, то в трудные времена охотнее всего отводят душу на завлите. Малюгин был много деятельнее и влиятельнее, чем обычный завлит. Он и заменял Рудника, когда тот уезжал в Москву, и дежурил в зрительном зале, следил, чтобы спектакль не рассыпался. И не скрывал своего отношения к актерам. Он ни за что не позволял им, скажем, переставлять слова, переиначивать текст ролей. И заявлял им об этом решительно, приподняв бровь вызывающе. У людей и без того уйма неприятностей — бытовых, семейных, эвакуационных, а тут еще этот мальчишка. От Рудника принимали они многие пинки и толчки, но тот был директор и худрук. Это было в порядке вещей. Нет, Малюгина не любили и ругали с особой скрытностью актерского коллектива не за резкость, и обиды, и ушибы, им нанесенные, а, напротив, за то, что ничего он не делает. А он, повторяю, был самый деятельный завлит из всех, что я видел. Впрочем, в Большом драматическом театре все не любили всех, не любили давно и в закоренелой окостеневшей нелюбви своей не выходили из равновесия. Не трогали друг друга. Приехав в Киров, я почти тотчас же стал писать “Одну ночь” и кусок за куском читал Малюгину. И по его выражению, больше, пожалуй, чем по словам, угадывал, что работа идет. Эти дни, вероятно, больше всего сцементировали нас.

1954
25
октября

Постепенно узнавал я, встречаясь с Малюгиным чуть ли не каждый день, что он — из взрослых людей. Он был главой семьи. Мать его, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии, на реке Чу, и он заботился, беспокоился и, наконец, взяв отпуск, отправился к ним на недельку. А езда по тем трудным дорогам в те трудные времена заняла, вероятно, с месяц. Ласков и заботлив был он и со второй сестрой. Хоть была она старше, работала хирургом в госпитале. И, как большинство хирургов, держалась уверенно, самостоятельно, я чувствовал, что и тут Леонид Антонович — глава семьи. И в их дружном, уважительном отношении друг к другу, при характере его вызывающем и мальчишеском, чудилось мне что-то здоровое. Я только что ушел от смерти и страстно вглядывался в жизнь,

и воображение работало с наслаждением, и я представлял себе семью малогинскую и как сын — единственный мужчина в семье — научился быть взрослым и ощущать свою ответственность. Это происходит далеко не так часто, как думают. И в его отношении к театру и к работе ощущалось то же драгоценное свойство. Он был взрослым среди капризничающих, ожидающих приношений и даров неведомо откуда и неведомо за что актеров, вечных подростков. И не просто взрослым — и Рудник был таковым, — а взрослым, сознающим свою ответственность, берущим свою долю ноши. Были у него не только враги, но и друзья, и он — вот чудеса-то — отвечал им на письма. И посылал им то книги, которые ему вдруг удалось добыть в Кирове, то посылки. Одна знакомая прислала ему послание на двенадцати страницах, и цензор написал на полях: "В последний раз пропускаю такое длинное письмо". Пьеса моя в Москве была забракована, и я взялся за новую.

1954
26
октября

И вторую пьесу, хоть писалась она и не для Большого драматического, Малюгин встретил так же внимательно, со свойственным взрослым уважением к чужому труду. А когда бригада артистов с Малюгиным во главе отправилась на фронт, он привез нам оттуда пачку табаку — легко сказать: не самосада, не махорки, а табаку! При панической, безоглядной любви к себе, охватившей данный театр, каждое проявление внимания трогало. Вскоре театр вернулся в Ленинград. И оттуда присылал Леня то книжку, то табаку, а однажды толстую плитку шоколада — вот как снабжали теперь в блокадном Ленинграде. Шел 43-й год. Кстати сказать, театр рассчитывал, что примут его дома с триумфом, как героя, вернувшегося к своим братьям в тяжелые дни. А приняли его с худо скрытым раздражением. Товарищам по работе, остававшимся в Ленинграде, не расчет был, что количество вдруг так выросло. Впрочем, если с едой стало полегче, то обстрелы, по-немецки упорные, идиотски бессмысленные, и все тягости блокады скоро заставили забыть проступок зачем-то вернувшегося театра. А мы уехали в июле 43-го года в Сталинабад. Так кончился первый период нашего знакомства. Некоторое время мы даже и не переписывались. Я этого не умею делать. Но встретились как хорошие друзья. Так прибавился

еще один близкий человек, которого встречаешь всегда радостно, хоть и не часто. И о котором знаешь, что он тебе рад. Словом, хороший знакомый, живущий в другом городе. К этому времени стал Малюгин писать пьесу. Он показывал кусочки друзьям. А мне — решился не сразу. И пьеса мне понравилась. И Ермоловский театр ее поставил. И Малюгин, и театр получили Сталинскую премию. Через некоторое время целый ряд журналистов сочинили пьесы, но премии им не дали.

1954
27
октября

И все — и друзья, и враги — стали внимательно разглядывать Малюгина как человека, отмеченного судьбой. И впервые обнаружили то, чем обладал он всегда: грубоватость, иной раз ненужную, подчеркнутую прямоту. И объяснили это тем, что получил он Сталинскую премию. А Малюгин в новом своем качестве оставался все тем же парнем, хоть и вполне взрослым и отвечающим за свои поступки, но с недобрыми мальчишескими глазами и вызывающе приподнятой правой бровью. Однажды рассказывал он нам, как жил в доме отдыха в Грузии, где директор поражал их всех наглостью и заносчивостью да еще и кормил худо. И Малюгин вызвал директора к себе в комнату. И спросил: “Вы что — хотите потерять место? Так я вас уберу отсюда”. И отчитал его так, что директор, до настоящей минуты поражавший всех наглостью и заносчивостью, только глазами хлопал. И переродился. И я наслаждался, слушая эту историю, угадывая в Малюгине крайне занимающие меня черты молодого человека сороковых годов. Характерным для молодого человека наших дней было и умение считать. Не знаю, откуда идет оно: от стипендии, которая приучает учитывать каждую копейку, — но это теперь свойство нередкое. Или идет оно от трудного детства? Но есть рабочие семьи, где будут питаться чаем с хлебом, но купят “Победу” или построят дачу. Есть квартиры, где вечные ссоры из-за счетчиков. Мне известна квартира, где не завели кошку, хоть и погибали от крыс, — не могли договориться, кто будет ее кормить. А жили в квартире инженерно-технические работники. Малюгин в этой области был вполне нормален. Не доходил до вышеописанных извращений. Но денег не швырял. “Ездить в “Стреле”— пижонство”, — сказал он мне убежденно.

1954
28
октября

Один из друзей Малюгина, как раз из таких, которые стали чутко и мнительно приглядываться к нему после того, как был тот отмечен судьбой, жаловался: “Подъезжаем к Москве, а Малюгин спрашивает: “Как ты думаешь, хватит у нас средств поднять такси?” Конечно, Малюгин тут шутил. Но, с другой стороны, были и несомненные доказательства того, что считать он умел. И несмотря на это, все друзья были ему должны. Точнее, благодаря этому. Люди, которые умеют считать, дают взаймы просто. У них нет суеверного, коллекционерского отношения к деньгам. Они относятся к этому делу трезво. Однажды мне предложили обменять квартиру на Москву. И я согласился было. Но владелица квартиры потребовала с меня в придачу к моей ленинградской площади двадцать семь тысяч. И Малюгин сразу предложил мне эту сумму взаймы. “Берите, пока есть!” Я не рискнул на это. “Берите, пока есть”. У людей, внезапно отмеченных судьбой, не проходит чувство рока. Что внезапно дано, могут столь же просто отнять. И вот пришли черные, роковые дни драматургического пленума — того самого, на котором был и Малюгин роковым образом присоединен к космополитизму. Как раз в тот час, когда ему выступать, во всей Москве погас свет. Да что там свет — остановилось движение в метро. Почему — мы не знаем до сих пор. Город был как бы без чувств, однако пленум продолжал свою работу... В контроле, на лестнице, где сидела встревоженная дежурная, горела свечка. Я бродил в тоске по гостиным, темным и незнакомым, потом пробирался в зал.

1954
29
октября

Все это было как во сне, с одною разницей: ты знал твердо, что это не сон, и тут уж не проснуться. Вынес Малюгин испытание это мужественно, как и следовало ожидать от молодого человека сороковых годов. Положительного молодого человека. Он мог дышать в отравленной атмосфере, что образовалась вокруг него. Отрицательный молодой человек в ту пору в слабости своей сам отравлял атмосферу, свято веря, что это поможет ему дышать. Мы встречались довольно часто в те дни, роковые дни. И как в дни удачи, смутно, а вместе с тем упорно верили, что возможно прояснение. И оно забрезжило: Малюгин написал пьесу о Чернышевском, и ее как будто собирались поставить. Но не осмелились.

Свет померк. Но он написал роман о студентах. Свет забрезжил. Но его не приняли, сначала обещав напечатать. Огромный роман. Свет померк, но не вполне, — к этому времени уже стало ясно, что дела Леонида Антоновича улучшаются. Пошла на периферии его новая пьеса. А потом ее поставил и Охлопков. Точнее, театр его. Ибо на обсуждении пьесы Охлопков стал ругать и постановку, и пьесу, что непристойно для главного режиссера. Пьесу-то брал он? О чем раньше думал? И Малюгин ответил ему со всей резкостью, словно его не ругали не так уж давно на все корки. Малюгина-то. Когда на другой день рассказывал он об этом происшествии Штоку, тот ответил: “Перечтите “Горе от ума”. На балу Чацкий говорит речь. Затем идет ремарка: “Оглядывается. Все танцуют”. Но свет пробивался все отчетливей, тучи расходились, и когда в этом году, в апреле, приехал я в Москву — небо совсем очистилось. Я позвал Малюгина на репетицию, он не мог прийти. И, смеясь, словно сам себе не веря, объяснил почему.



Его вызвал для разговоров о новом сценарии министр кинематографии! А на другой день уехал он и режиссер его куда-то на юг выбирать натуру. Так мы и не увиделись, но вот 22 октября узнал я, что Малюгин в Ленинграде. Мне с яростью рассказывали актеры Комедии, что он непростительно грубо ругал их последнюю постановку. “Вишневый сад”. Приехал он с бригадой ВТО, и все они со столичной уверенностью бранили “Чайку” в Александринке, но особенно “Вишневый сад”. Фамилий остальных членов бригады и не вспоминали, настолько Малюгин всех заслонил. И вот — возвращаюсь к тому, с чего начал, — я дозвонился не без труда ему в “Европейскую” и узнал, что страдные дни просмотров и обсуждений прошли, и он как раз собирался мне позвонить. И мы договорились, что 23-го утром он придет ко мне, а я в ожидании начал писать о нем все, что запомнилось, начиная с кировских времен. И вот он позвонил, и я, полный представлений 42-го года, увидел совсем, нет, не совсем, но сильно отяжелевшего человека, изменившегося Малюгина. Ничего мальчишеского не осталось ни в лице, ни в существе. Тогда взрослый человек был намечен, угадывался за мальчишеским вызывающим выражением темных глаз, приподнятой

бровью. Теперь Малюгин отяжелел, заматерел. У него и прежде было выражение “всеми недоволен”, но за ним чувствовалось желание вызвать веселый шум, как в игре в “свои соседи”. А теперь оно огрубело, и недоброе выражение глаз утратило игру. Легкость. Сердитый мужчина за сорок стоял и улыбался мне. Вскоре старое знакомство, сцементированное тяжелыми временами, взяло свое. Но долго не проходило трезвое и резкое ощущение последней встречи.

1957
4
мая

Так или иначе, все более подчиняясь вятскому быту и все менее ему подчиняясь, дописал я пьесу. И была назначена читка на труппе. Большое фойе, наполненное до отказа. Белые стены. Актеры. Никитин и встревоженная Ренэ. В заднем ряду старик Бродский, маленький, со страстным и вместе отсутствующим взглядом выцветающих коричневых глаз. Он глядел в прошлое, презирая настоящее. Он был некогда издателем журнала “Солнце России“, за что актеры в высшей степени его уважали. Чтение имело неожиданно большой успех. Выступали многие, даже Никитин, — и все положительно. Театр заключил со мной договор. Пьесу послали в Москву на утверждение в комитет... Прошел весь март — ответа не было. Да в начале я как-то и не ждал ответа. Мои пьесы для взрослых шли так редко, что чтение их труппе, да еще с успехом — казалось мне окончательным результатом. В театре вообще относились ко мне дружелюбно, а после читки стали совсем ласковы. Не понравилась пьеса только Бродскому, о чем я узнал случайно. Что именно ему не нравится, — не сообщили. Сам же он при встрече со мной ничего не говорил, только глаза его, смотрящие в пространство, страстные и вместе с тем безразличные. Безразличные к нам, нынешним. 9 апреля купил я впервые счетную тетрадь и начал записи. Пятнадцать лет прошло с тех пор. Впрочем, до этого произошло куда более важное событие, которое я пропустил по неумению рассказывать.

1957
5
мая

Однажды, вероятно, в начале марта 1942 года, я, еще не вставая, курил и думал. Вошла в комнату Катя и протянула мне телеграмму. Я прочел и неожиданно для себя заплакал. Мы долго не имели никаких вестей от Заболоцких. И я не

знал, как беспокоюсь о них, как всю жизнь не знал, как следует, за малыми исключениями, что и когда я чувствую, благодаря благодетельным и губительным заслонкам. Значит, я все время беспокоился за них, не допуская помимо воли это беспокойство до сознания. Они сообщали, что в Костроме и скоро приедут. Незадолго до этого услыхали мы, что в нашу квартиру попал снаряд, о чем рассказывая Малюгину, я смеялся. Хотя в глубине души обиделся. Почему из всех квартир надстройки снаряд выбрал именно мою? И вот прошло еще несколько дней. В нашу дверь кто-то постучался утром самым обыденным образом. Как будто кто-то из соседей. Открыв, я увидел маленькую сияющую Наташу Заболоцкую в беленькой шубке, а за нею Катерину Васильевну с мешком, с дорожным мешком за плечами. И не успел я и слова сказать, как Наташа закричала радостно: "Вас разбóмбило!" К вечеру наша комната в 10 метров была заполнена до отказа. Сестра Катерины Васильевны с дочкой и она сама, с двумя ребятами.

1955
9
сентября

Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Екатерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры — тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в

так называемой "культурной пивной" на углу канала Грибоедова*, против Дома книги.

1955
10
сентября

И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, — зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: "Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится". А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, — почему задал Николай Алексеевич вопрос с детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились, Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить, почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. "Культурная пивная" гудит от разговоров, и все на темы общие — "народ — философ!" — говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.

* В подлиннике ошибочно — Фонтанки.

1955
11
сентября

Это Олейников, всегда внимательный, точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом — Заболоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица — кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее, подчеркнуто-степенное, упрямое выражение, — вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, — иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женился он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения, излишне стуча каблуками. Он кончил Петершуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку.



И сейчас, за столом в “культурной пивной”, он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую

записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще, благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.

1955
13
сентября

Вот маленький пример того, как владел он формой. Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала "Еж". И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы. "Или сыну — "Еж", или в спину — нож". И прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание "в спиНУ НОж". И он, не задумываясь, ответил: "А вы переставьте: "Или "Еж" — сыну, или нож — в спину". И я еще раз проникся к нему уважением. Итак, мы сидели вчетвером в "культурной пивной". Я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали

женщин. Двое — яростно, а Хармс несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной — все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно, что лошадь. Поймал ее за челку, значит — готово. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов. А она предпочла ему простого парня, чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню — мало (я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич), то я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщин ругали не только в “культурной пивной”, но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. “Почему?” — “Не могут! Женщины не могут любить цветы!” Соответственно со своими взглядами дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке. И заболел он ветрянкой.

1955 14 сентября

Никита заболел однажды ветряной оспой. Было ему в это время, вероятно, лет шесть. Нет, меньше. Чтоб не дать ему чесаться, мать передвинула ночью кровать его к своей. И Никита спросил коротко и строго по-мужски: “Пол не поцарапала?” По странной непоследовательности чувств, Николай Алексеевич, презирающий женщин, когда родилась у него дочка, названная Наташей, просто Наташей, не Феклой и не Домной, нежно ее полюбил. Больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Ивановне рассказал однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване. И, рассказав, чуть улыбнулся.

И вот грянул гром. В 38-м году Николая Алексеевича арестовали.

Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване, рядышком, взявшись за руки. И увели его.

Катерину Васильевну разглядели мы тут, как следует, одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль, взвалила она на плечи то, что послала жизнь. Внезапное вдовство — не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится и попросила расчет. Передачи. Справки. И, наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом 39-го года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной: "Ох, тяжело, как жить будем! " Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так.

1955 15 сентября

До того, как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных. И заболели они гриппом. Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношение, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора, Катерину Ивановну стала за это время называть "мама", а когда спрашивали ее: "Чья ты девочка?" — отвечала: "Катерины Ивановны я". Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварывала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее: на телефонном столике мокнут горчичники, а на тахте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить.

Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом

поселили ее на счет Литфонда в “Европейской” гостинице, потом дали в надстройке комнатку постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Катерина Васильевна. Два года прожили мы бок о бок, и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала. Вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязание в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. И Катерина Васильевна читала их нам. Росли дети. Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилось на их семейство, и Наташа, то веселая, то рыдающая. У нее был особый дар: в случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом.



Меня называла она Женюрочкой, Катерину Ивановну, расшалившись, умышленно, сверхъестественно тоненьким голоском: “Катеришка Ивашка!” Очень любила танцевать со мной. Танцевал, собственно, я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила: “Женюрочка, давай поплешим!” “Попляшем” ей никак не удавалось почему-то выговорить. Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в “Европейскую”, дело было вечером, номер им дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком, на площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку. И сказала умоляюще: “Женюрочка, пойдем туда, посидим, поплешим!” А Катерина Васильевна воскликнула: “Каково это слышать матери”. Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение. Начались грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме. Из-за морозов трамвайное движение сократилось. Стоишь на остановке в толпе, угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленно двигающихся огонька. “Какой номер?” И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюмо. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в

“Европейской” гостинице, но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно, в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом, с вязаньем в руках, все спокойная, все веселая, худенькая, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства, хоть столько было пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты.



О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее, ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе-злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч — и ты надеешься на это, — еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастья. Как замучилась, ожидая. Каверин, изо всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот, со дня на день. Но грянула война. И жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41-го года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42-го года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. Первые месяцы Катерина Васильевна подрабатывала тем, что ухаживала за больней старухой, которая уделяла ей какую-то часть своих запасов за это, чем Катерина Васильевна и подкармливала детей. Наташа спросила однажды: “Мама, это правда было, или мне во сне снилось, что ты когда-то меня заставляла есть”. Но вот старуха умерла. И труп ее все носили с площадки на площадку. Жильцы. Чтобы избавиться от него. Но трупы все прибавлялись, на всех площадках, на улицах. И вот, наконец, Кетлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Л. В. Клыковой, что записана у меня в телефонной книжке, в список, в писательский список подлежащих эвакуации. А смерть в те дни как будто с умыслом ловила тех, что пытались от нее убежать. Однажды, кажется, было это 6 февраля, за два дня до отъезда, сидела Катерина Васильевна в нашей крошечной кухне, где удавалось кое-как поддерживать тепло. Дети лежали на

раскладушке. Шел сильный артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды так и рвались по соседству. Боже мой, как далеко ушло в глубь веков то время, когда, сидели мы в пивной.



"Культурная пивная" сегодня похожа была на тяжелораненую. В дом, бывший Энгельгардта, попала бомба. И дом как бы временно перевязали — забили фанерой. Снег, да щебень, да запах гари — вот что нашел бы ты там, где за всеми столами, увильнув от работы, словно школьники, громко рассуждали мужчины на общие темы. А за нашим столом надменно бранили женщин. Века прошли с тех пор, большая часть наших соседей по "культурной пивной" погибла, наш район обстреливали, а Катерина Васильевна советовалась с сестрой — нести детей в бомбоубежище или не стоит. У них была повышенная температура. И вдруг разговор их на полуслове оборвался. Взрыв, вспышка ослепительная, пронизавшая всю квартиру, удар, шум разрушения. Когда я через два месяца спросил Наташу, что сделала мама, когда в квартиру попал снаряд, она ответила: "Мама? Она побежала наверх по лестнице, потом вниз". — "А ты где была?" И Наташа, пожав плечами, ответила как вещь само собой разумеющуюся: "У мамы на руках!" И в самом деле, когда снаряд попал в столовую, под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку, Катерина Васильевна, схватив детей на руки, побежала в растерянности, ошеломленная, наверх, а потом вниз, в бомбоубежище. Смерть промахнулась чуть-чуть. У нас в квартире всего-то было около 24 метров. Между столовой и кухней помещался так называемый кабинет — моя комната в 9 метров. Но жильцов наших только напугало. И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На Большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам, в Киров, а оттуда все в тот же Уржум. В то время Ленинград и ленинградцы, их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб — уважение, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание — убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции к станции. А смерть гонялась за беглецами.



На остановках в двери теплушек стучали и просили: “Граждане, не скрывайте трупы!” Но граждане скрывали, чтобы получать продовольствие за умерших. Несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы. У них, умирающих, были свои счеты с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью: отец — научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станциях, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки и половину съедал на обратном пути и, чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бранили. И еще больше возненавидели. И когда он умер, радовались все эвакуированные, и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. И Катерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десятиметровой комнате, в театральном доме. И мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два месяца с тех пор. И я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла улыбаясь Катюша и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй, сядь в поезд!



С детьми, с огромным, неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку и поезд вдруг тронулся, а Никита, рыдающий, остался с вещами на пер-

роне. И Катерина Васильевна с первого же разъезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот, наконец, удалось погрузиться всему семейству, и состав медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружилось, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко, на целые века, ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Заболоцкий: "Женщины не могут любить цветы!" На другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам, медленно полз состав от станции к станции. А мы все ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон, к ужасу педагогов, провел трехлетнюю Наташу на "Красную Шапочку" в Новый ТЮЗ. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу, сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к тем, кого любила, внимательна до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташка дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству, названия цветов. То казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю "Красную Шапочку", Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно. Всегда ровная, в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера.



Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с Малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в "Европейскую", двинулись мы в путь через пешеходный Итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я, с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист.

Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие. Именно от силы звука. И подумал: неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли — хлопушки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют-то, в сущности, в нас, в ленинградских обывателей, и могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг. Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Смятение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату: "Вас разбомбило!" С ударением на "о". "Как тебе не стыдно!" — сказала дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе. А Наташа не удержалась. Вскоре все, с вещами, чудом каким-то разместились в нашей десятиметревой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся.

1955 22 сентября

Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались впятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас "разбомбило", предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы и думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела, и, когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто грипп. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десяти метрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький, живой, отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра,

примерно Наташин ровесник, описывал ее так: “К Катерине Ивановне приехала дочка, красивая! Таких не бывает!” И все приняли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Никритиной и Мариенгофа. “Ну, как тебя принимали?” —“Принимали? Очень хорошо! Какао. Бутерброд с медом. Бутерброд с колбасой. Очень хорошо принимали!” И пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением: “Я не знала, что так хорошо жить!” А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, все молчал и читал, — нет, не читал, а изучал — одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она: “Постройка дома из местных материалов”. Столько лет Никита был бездомным! Забьется в угол и рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает. А вдруг удастся построить? Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще худее прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты. Что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее: “А где у вас кусок шерсти был такой хороший?” Она задумывается.

1955
23
сентября

И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания: “Забыла. Может быть, взяла, а, может быть, и нет. Пять шкурок беличьих забыла, это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане!” Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме. Чего с ней вообще никогда не случалось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала, и бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала: “Макайте, макайте!” А Никита делался все молчаливей, и едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельное ложе из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отча-

янные боли, он только кряхтел. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревянные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли, послушал, как с шумом бежит вода по канавкам по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку, и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос протаргол. И Никита просит кротко: “Подожди, подожди с каплями. Дай я отдышусь”. А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно: “Отдышусь, от-дышусь, от-дышусь”. Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту: “Что ж ты лежишь, не читаешь? А где“Постройка дома из местных материалов“? Потерял?” —“Что вы! — отвечает Никита. — Я эту книгу берегу, как *зенитку* ока”. Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме. Кругом дети. Родители сердитые.

1955 24 сентября

И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседок наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в то время было двенадцать лет. Глянешь за оттаявшее уже окно и видишь: стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа, сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Заболоцкую в белой шубке. Маленькая Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна и запрещает — боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая Наташа играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала: “Не подходите! Заразитесь!” С ударением на втором “а”. Каждый день ходили они — Наташа и Катерина Васильевна к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. А однажды показал записку, написанную крупными буквами: “Хочу домой”. Больница помещалась на краю города, дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами,

а Наташа — красная, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Кирове в те дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца всмятку, теперь их обожала. Но больше всего — масло. И, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружилось, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было — кроме Наташи, никто не мог совершить преступление. А она не сознавалась. И ей так строго выговаривали — не за то, что слизала, а за то, что не сказала, что сама преступница пришла в отчаянье от своей нераскаянности. И Катерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле: "Я, наверное, оттого такая плохая, что некрещеная".

1955
25 сентября

Но на другое утро все было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала: "Макайте, макайте". Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых беззащитных в семье, но и не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказала сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто отчитываясь перед собой: "Для того, чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была". Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом: "Как сидят воспитанные девочки?" И Наташа вытягивалась в струнку и даже подбородок выставляла вперед. Катерину Ивановну Наташа слушалась не меньше, чем мать. 16 апреля мы приглашены были обедать к Гане на торжественный обед по случаю дня рождения моей Наташи, большой Наташи. Позвали и маленькую Наташу, Заболоцкую. Сидела она за столом старательно, как воспитанная девочка. Но вот подали телятину. И вскоре, взглянув на Наташу, увидел я, что она опять вот-вот заплачет. "Что с тобой?" Вместо ответа Наташа залилась слезами, на свой особенный лад, не всхлипывая. И не сразу угадали мы причину. Оказывается, попался ей жесткий кусочек, который не могла она прожевать, а выплюнуть не смела как

воспитанная девочка. Катерина Ивановна разрешила ей избавиться от погубительного кусочка с помощью салфетки. В театральном доме жил парикмахер чех, по фамилии Свобода. И было у него двое детей. Мальчик Франтишек и девочка Власта. Дети звали их Франтик и Ласточка. Ласточка была необыкновенно хороша собой. О чем неоднократно говорили мы при Наташе. Однажды Наташа провинилась, уж не помню в чем. Екатерина Васильевна сделала ей выговор, который девочка выслушала спокойно.



Тогда Катерина Ивановна сказала: “Ну, кончено. Решено. Вместо тебя возьмем мы в дочки Ласточку”. Несколько мгновений Наташа сидела неподвижно, с тем же легкомысленным выражением, с каким выслушивала мамин выговор. И вдруг рухнула, уткнулась лицом в колени Наташи большой, сидевшей возле. И расплакалась, на свой лад, не всхлипывая, безудержно и безутешно. Когда Наташа Заболоцкая, уже студенткой, в прошлом году была у нас и мы вспоминали прошлое, выяснилось, что Ласточку и угрозу Катерины Ивановны помнит она ярче всего. Помнит и несчастье со сливочным маслом. “Сама теперь не понимаю, почему я не могла признаться”, — сказала она вдумчиво, сосредоточенно, как Катерина Васильевна. В конце апреля, в назначенный день, отправилась Катерина Васильевна за Никитой и привела его, довольного, сдержанно улыбающегося. Дом из местных материалов еще не был построен, но все-таки вернулся мальчик к своим, как бы домой. К знакомому неуклюжему эвакуационному багажу, в комнату, где уже прижился. Но приближался день новых странствий. Письменский помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. Назначен был день отъезда. И перед самым этим днем покрылся сыпью, заболел я. Когда Катерина Васильевна укладывала вещи, еще не было установлено, скарлатина у меня или нет. Но она все поглядывала на меня сокрушенно, словно виноватая. Приехал за ними возчик, уже на колесах. Как нарочно, повалил мокрый снег. Я попрощался с Катериной Васильевной, с детьми. Поволокли к выходу тяжелый эвакуационный багаж. Катерина Ивановна вышла проводить во двор. И, глядя им

вслед, едва не заплакала. Катерина Васильевна шагала под снегом, сгорбившись, рюкзак на спине, вела детей за руки.

1955
27
сентября

Когда дня через два позвонила Катерина Васильевна из Уржума и узнала, что все-таки у меня скарлатина, то ужасно извинялась, будто виноватая. А я все не мог отделаться от ощущения, вызванного рассказом Катерины Ивановны. Валит снег. На возу мешки, узлы, потемневшие от странствий, а возле шагает, сгорбившись, Катерина Васильевна и ведет детей. И примерно в эти дни бездетный Владимир Васильевич Лебедев горевал, вспоминая с искренней любовью о вещах, покинутых в Ленинграде. О каком-то половнике, удивительно сработанном. О коллекции кожаных произведений искусств: ботинок, и полуботинок, и поясов, и о шкафах своих, и о кустарных фарфоровых фигурках своих. И под конец воскликнул убежденно, со страстью: "Да, да, не людей жалею, а вещи. Хорошие вещи создаются раз в сто лет. А людей — хватает!" О, шалуны! О, гении.

В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике и с утра до вечера то по службе, то по дому. И готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44-го года, когда Николая Алексеевича освободили. И Катерина Васильевна вновь двинулась в странствование. В Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, "потеряли себя", как говорит Илико. Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых. Только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрощавшись с Катериной Васильевной весной 42-го года, встретился я с ней и с детьми через пять лет. В Москве. Летом. В Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя, беленькая десятилетняя девочка, и та и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал. Этот улыбался. Помнил яснее.

1955
28
сентября

И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому. И тот и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений. Просто. Вскоре написал он стихотворение "Жена", в котором все было сказано. Все, со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И Союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод "Слова о полку Игоревом" и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинений Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, придешь к Заболоцким и не веришь глазам: холодильник, "Портрет неизвестной", подлинник Рокотова, — Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз. Мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, горы багажа в углу — чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в Доме писателей научилась шить. Сшила Наташе пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще — повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась, глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей, и на мужа. Никита кончил школу и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии. Уважали. А Наталья училась в школе все на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая, беленькая, розовая, темноглазая. И мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная. И много, очень много думала. И Катерина Васильевна болела за нее душой. А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на возу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он "Слова" и Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.

1955
29
сентября

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что "женщины не могут любить цветы", испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно.

Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала неотложная помощь. Вспрыснули камфору. А через полчаса или час — новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще полеживал. Я начал разговор как ни в чем не бывало, чтоб не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: "Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена". И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол. И я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны, в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкие — столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа.

1955
30
сентября

Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну, вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение "Жена", а сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи — шутка ли. Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом,

вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, нет и ей ближе человека, чем он. Но о нем, великолепном поэте, расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей, не могут любить цветы.

1957
6
мая

...В книге, которую вел я пятнадцать лет назад, записано 9 апреля 1942 года: "Весело идти по просыхающим мосткам." и 15 апреля: "Сегодня увидел выступивший из-под грязного льда асфальт... Около десяти часов вечера... Во дворе совсем темно. Но глазам, еще не отвыкшим от страшной тьмы ленинградской, кажется, что на улице много огней. Светятся окна домов, светятся фары машин... На улице шум воды... Она мчится вниз, к рынку..." Дни шли за днями, а Никита все не поправлялся. О пьесе не отвечали. Наконец, 11 апреля ответили телеграммой: "Пьеса получена. Оценку сообщим днями. Привет. Солодовников". И я понял, что дело плохо. А через несколько дней выяснилось, что у Никиты скарлатина, уже на исходе — кончается шелушение, и его увезли в больницу. Дома, в нашей комнатке делали дезинфекцию... И Наташа играла с детьми, и вдруг заболел Никита. И меня поразила деликатность усталых и озлобленных матерей: ни одного упрека нам, ни одного косого взгляда. А с другими они рады были сцепиться по любому поводу.

1957
7
мая

Как всегда, больному было легче, чем близким. Несмотря на май, вятская грязь не хотела расставаться с разбитой мостовой, и за окном моего бокса инфекционного отделения лежал пустырь, широкий и просторный. За пустырем тянулся забор, а за забором заключенные под охраной сонных солдат с отвращением рыли или делали вид, что рыли, какую-то канаву. И вот каждое утро я видел одну и ту же картину. Катя, сопровождаемая Наташей, выросшей из своей белой сусликовой шубки, сначала появлялась во дворе и смотрела на листок, где была выставлена температура больных нашего отделения, и потом, обойдя весь корпус, появлялись они под моими окнами со стороны пустыря. Катя и Наташа

тащились через весь город в распутицу. И стояли теперь внизу и улыбались, чтобы меня утешить. Катя добывала мне каким-то чудом сахар и еще какие-то добавки к моему больничному пайку. И главное, книги. А это, последнее, было особенно трудно — попавшие в заразное отделение книги обратно не выпускали.

Досталась мне "Цитадель" Кронина, которую прочел я дважды. Вторая половина "Домби и сына". С головой проясненной и с душой, из которой будто выколотили пыль, я с удивлением и восторгом читал Диккенса и боялся, что сестра заглянет в дверь и примет меня за сумасшедшего, — так я смеялся. Меня поражало отсутствие второстепенных лиц в романе. Вплоть до собаки все описаны с одинаковой силой энергии. Ни одного пустого места. Это утешало. Многие только ее и видели. А разговоры с санитарками поражали на другой лад. Тут я услышал впервые новое порожденное войной слово: "отказница". Так называли в деревне жен, отказывающихся принять мужей-инвалидов. И санитарки не осуждали их: и без того трудно жить, а тут еще лишний рот в доме. Санитарки мои были не настоящие городские жительницы. Они служили в больнице в городе, но полны были интересами деревни. И я узнал, что есть колхозы, где совсем не осталось мужчин, — старики да подростки. Где все хозяйство ведут бабы. Где ж тут брать еще инвалида в дом?

1957
8
мая

Однажды, прервав разговор внезапно, побагровев, кинулась санитарка к окну и обрушилась бранью на кого-то. Я встал. По той стороне пустыря, мимо забора, где толклись заключенные, шагал чистенький, молоденький, тонконогий офицер с женой, которая несла на руках грудного ребенка. Это был офицер войск НКВД, как сразу определила рассвирепевшая моя санитарка. Она его и проклинала, и взывала к небу и преисподней с тряпкой в руках, со слезами на глазах. Появилась у меня приятельница, следующая за мной по возрасту, двенадцатилетняя больная. Она встретилась с войной через несколько часов после ее трижды проклятого рождения: приехала погостить к отцу на заставу 21 июня 41-го года. Ночью мать удивилась: такой был ясный вечер, и вдруг гроза. И тут вбежал отец и, не дав одеться, погрузил всю свою семью

на грузовик. "Езжайте сейчас же!" — "Куда?" — "На восток". И рассеянно глядя в окно, думая о чем-то другом, рассказывала моя приятельница о всех ужасах, отступлениях, о бомбежках, о том, как обстрелял их пикирующий самолет и ранил ее в ногу и икра белая, длинный шрам. "Но мама ничего этого во сне не видит. Она видит одно, что опять осталась без паспорта. Папа так торопил нас, что забыла мама документы. И столько из-за этого натерпелась!" Далее все так же рассеянно расказывала девочка, как долго считали они отца убитым, а он вдруг живой, здоровый. Я знал, почему соседка моя рассеянная, о чем думает. Она боялась, что заболеет дифтеритом или корью теперь, когда вот-вот должны отпустить ее домой после скарлатины. Такие случаи бывали. Ах, как нам всем хотелось домой, на свободу!.. Мне жилось спокойно: отдельная комната, ванна — и все-таки я считал часы до отъезда. И 31 мая, в день Катюшиного рожденья, меня отпустили наконец, и какой это был праздник! Я сидел дома, за столом, среди своих. Пока я был в больнице, выяснилось, что пьесу мою окончательно отверг комитет. Храпченко сказал, что это ряд жанровых зарисовок. Будущее было неясно, а я чувствовал себя необыкновенно счастливым. И в июне поехал в Москву.

1952
10 апреля

Я был счастлив еще и потому, что среди пестрых, недобрых и озлобленных соседей мы, опять-таки благодаря Катиному спокойствию и выдержке и еще потому, что пьеса моя понравилась и вызвала разговоры, пользовались уважением. А мне казалось, что в такие трудные времена, да еще в эвакуации заслужить это — все равно, что выдержать очень трудный экзамен. Грустно было в те дни в обоих длинных коридорах длинного театрального дома. На сундуке, возле радиоприемника сидели старики, сразу ставшие всем в тягость. На старухах держались семьи. Женщины служили, а бабушки вели сложное карточное хозяйство тех дней, и следили за детьми, и топили печки, и вообще на них-то дом и держался. Деды же умирали один за другим. Очень быстро. Страшен был когда-то известный первый любовник и красавец, мучивший жену свою, тоже очень известную в провинции актрису. Она была еще бодра и крепка и ценилась как хорошая актриса. И вот он приехал к ней в Киров

умирать. И все падал в коридоре, возвращаясь из уборной. Ее не бывало дома. Она служила. Мы поднимали старика — он был в халате, кальсонах и валенках — и вели домой, в кресло. И вот он умер, и жена похоронила его, а через несколько дней ее вызвали в милицию и предъявили для опознания костюм старика — его ограбили в могиле. Самым бодрым и крепким был тощенький быстрый старик, недоверчивый старик, отец артистки Пановой. Он все стоял возле огромной общей плиты, берег свой суп, чтобы не отлил бы кто. Он умел замечательно топить печи. Бегал на рынок. Добывал, доставал, но и он умер быстро от рака горла.

1952
11
апреля

Смерть так и косила людей в те дни в Кирове. Только что умер артист Церетелли — он эвакуировался из Ленинграда в те же дни, что и мы. Но на самолет его уже внесли. И в Кирове отвезли в госпиталь. Дистрофия зашла уж слишком далеко. “Кажется, карета повернула обратно, — сказал лечивший его профессор, — но трудно сказать. Катастрофа может произойти в любой момент”. И она произошла. Умирали в госпиталях. С эшелонов снимали сотнями умерших ленинградцев. Каждый день. Нам тогда приходилось часто бывать в госпиталях — читать раненым. Мариенгоф поехал читать в городскую больницу, заблудился между корпусами и вышел к мертвецкой. И увидел лежащие на снегу горы, штабеля трупов, голых мертвых тел, точно никому не нужных, ставших обузой. Увидев на другой день, как везут на санях заботливо обработанные и уложенные бараньи тушки, Мариенгоф подивился этому. В те дни все задумывались. Смерть и открытая, до судорог напряженная, как всегда в трудные времена, жизнь. Задумывались бы и еще больше, если бы не грязь. Да, грязь, которая пришла на смену снегу и разлилась по улицам. И в набитых беженцами деревянных домишках — грязь. Из окон госпиталей несет дезинфекцией и капустой. Инвалиды прыгают на уцелевших ногах своих, прыгают по лужам, дерутся костылями. И воровство! Воровали у детей, у ленинградцев, умирающих с голоду. Было назначено дежурство офицерских жен по столовым для борьбы с разбойниками и разбойницами, не понимавшими, что творят. Грязь, грязь! Многие только ее и видели.

1952
12
апреля

И у меня были дни, когда ощущение грязи просто пугало меня. Вот что записал я в тетрадь 42-го года, 24 апреля: “Витберговская решетка. Его же павильон. Дома, построенные по присланным из Санкт-Петербурга альбомам. Между ними — зловещие избушки. Толстые бревна, слепленные грязью. Из грязи вышли и вот-вот вернутся в грязь. Переезжает учреждение. Шкафы и дела в синих обложках. Лозунг метровыми буквами. И опять грязь и солома, много соломы, и обрывки бумаги, и навоз, и опять грязь. Чудесная погода, и очень хочется жить. Но грязь, грязь, и страшно подумать, как ее много”. “Когда смотришь на эту грязь, — писал я на другой день, — то понимаешь, сколько черной, именно черной работы нужно для того, чтобы ее убрать. Тоска берет”. Я отлично помню день, когда я записал это. Я пошел к Чарушину, который жил в баньке, печку и стены которой он расписал какими-то петухами и павлинами в день своего переезда туда. В первый день. А потом на жилье свое хозяева махнули рукой и жили, как живется. Я зашел узнать, нет ли у него махорки. Чарушин угостил меня какой-то смесью из листиков малины и соломы. Это заменяло самосад, по словам знатоков. Действительно — дым шел. Покурив, мы пошли смотреть на реку — тронулся лед. Чарушин тут и рассказал мне, что дома, казенные здания в старой Вятке строились по петербургским альбомам, рассылавшимся по местам. Чарушины — третье или четвертое поколение архитекторов и художников, проживающих в Вятке. О них, об одном из них, упоминает Герцен (впрочем, не помню точно). И вот мы сидели и глядели на мутную воду и почерневшие льдины, и я думал о том, что записывал.

1952
18
апреля

И жизнь стала еще трудней. Цены в Кирове росли, а заработка не было. И я стал думать о новой пьесе. Мне прислали вызов из Москвы. Я съездил туда, и комитет перезаключил со мной договор и дал мне денег. И на рынке — забыл его название — том, что за цирком, я купил табаку. Это было событие! Не махорки, а пачку, драгоценную пачку табаку, настоящего. И вернулся в Киров. И поехал в Котельнич, к Рахманову в гости — это было в июле, но мы мерзли, гуляя, мерзли, когда ночевали у них на чердаке. Дождь, дождь. Но я был счастлив. До сих пор вижу ясно их

кирпичный домик, в котором тесно сегодня, но и удобно. Он, как старик, с которым можно еще разговаривать. Видно, каким он был. Видно, что балкон выходил а сад, что в саду были цветы. Ходили мы смотреть картошку, которую дали Рахмановым. Это была борозда на большом поле, да, всего одна борозда, в начале которой стояла табличка с их фамилией. Не знаю, почему поделили это поле таким именно образом. Тихая, с перекошенным ртом мать. Отец Рахманова — чернобородый, глаза синие, худ, некрупен, сосредоточен и молчалив. Да как еще! И молчание это висело над всем домом. У него была библиотека — Чехов, классики. С жадным интересом прочел я комплект “Русского слова”, собранный Рахмановым-старшим, — все номера этой газеты со дня ухода Толстого до его похорон. Прочел биографию Диккенса, написанную Плещеевым.

Мы слушали по радио сводки. Они были печальны, но как я не мог поверить, что возьмут Ленинград, так не верил я в поражение. Не верил, да и все. Я походил по детским домам, эвакуированным в Котельнич.

1952
19 апреля

Касаясь стриженых голов обедающих детишек, воспитательница рассказывала, что печальные новости пришли об этом, и об этой, и о той. “Сиротки. Получены сведения из Ленинграда”. А дети — четырех-пятилетние — были веселы: гость пришел! Побывал я у строгой коренастой женщины — рабочая Кировского завода, депутат горсовета, уполномоченная по эвакуированным детям. Она была известна всему городу. Рассказывали, как уселась она в кабинете секретаря райкома и заявила, что не выйдет оттуда, пока секретарь не добудет круп для ее подопечных. Тот и ругался, и грозил ей, потом начал смеяться — ничего не помогало. И он добыл ей круп. Из-под земли, что ли. Она рассказала мне обо всех своих учреждениях, вспомнила Ленинград. Вспомнила мужа (старого путиловца тоже), оставшегося на заводе. Сохраняя суровое выражение, она показала его карточку, маленькую, для паспорта. И сказала, глядя на седого мужа своего: “Ну тут-то хоть улыбнись! К фотографу пришел! Сниматься!” Вот единственная фраза, что пригодилась мне для пьесы, да и то через шесть лет. Когда я писал “Первый год”.

В Котельниче были только ленинградские дошкольники. И я, вернувшись в Киров, договорился о поездке к школьникам, о которых собирался писать.

1952
20
апреля

В обычной детдомовской стенной газете — и вдруг такие имена: "Ученик 3 класса Хулио Перес". "Хозе Гирес. Секундо Мартинес. Хоакин Миаха. Анхель Алонсо. Молино Хуанито". В газетах прочих интернатов я узнал, что интернаты ленинградцев уже имеют воспоминания, историю. Исторический момент — переход от нар к топчанам. "Прошла нервозность". "Петь мы научились хорошо зимой, когда сидели без огня". Один учитель, видимо, историк, рассказывает в газете, что в Вятской губернии народ особый: "Здесь не было монгольского ига, не было крепостного права, не было староверских движений". "Но народ был талантливый. Прекрасные кустари по дереву, даже по металлу". И среди этого народа далекие им ленинградские школьники завоевали себе место. Особенно, когда добыли волшебный фонарь. "Это укрепило наше положение. Ко дню Красной Армии мы выступали в четырех колхозах". Глинка подарил мне в сороковом году записную книжку — белые, тонкие листы бумаги, переплетенные в красный, тисненный золотом сафьян. В переплет старинного альбома. Вот эта книжечка, несколько слишком элегантная, великоватая для кармана, и служила мне всю войну. Оттуда и выписал я выдержки из детских стенных газет того времени. С ней поехал я на станцию Оричи, чтобы встретиться уже непосредственно со школьниками. Стемнело. Меня встречают двое: педагог-дошкольница и мальчик лет тринадцати — Боря Шелаев. Рабочие лошади все заняты на уборке. Нам дали лошадь молодую, норовистую, склонную к бунту. Учительница-дошкольница по имени Серафима Васильевна правит строго.

1952
22
апреля

Кричит лошади: "Я тебе что сказала?" Боря Шелаев, мальчик лет тринадцати, страстно полюбивший деревню, любимец всего колхоза. Едва мы успеваем проехать проселком с полверсты, происходит катастрофа: лошадь пугается чего-то или делает вид, что пугается, делает прыжок, другой, лягается и сворачивает в поле. Канава. Телега взвизгивает, едва на

двух правых колесах, потом ныряет куда-то, потом взвивается вверх. Я прыгаю на траву, и лошадь, будто этого только и хотела, останавливается. Беру ее под уздцы. Седелка съехала ей на холку, хомут на ушах. Лошадь дрожит, стрижет ушами. Съехавшая сбруя придает ей упрямое выражение. Я похлопываю ее по шее успокаивающе. Боря поясняет, что седелка и напугала лошадь. Начинается починка сбруи. Боря и Серафима Васильевна спорят в темноте и ссорятся. Не могут найти дырочку в подпруге. Спички зажигать нельзя, лошадь боится этого. Ищут в темноте веревочку, связывают какие-то кончики. От каждого резкого движения лошадь вздрагивает, видимо, ждет, что ее вот-вот начнут бить за дурное поведение. Но вот Боря говорит: "Все убито!"

1952
23
апреля

Это значит — все готово. Едем почти все время шагом, чтобы избежать новых аварий. Наша бедная упряжь из ремешков, веревок, шпагатиков вот-вот рассыплется на составные части. Приезжаем. В огромной комнате — плита, которая кажется тут маленькой. По диагоналям под потолком висят флажки. Воспитательницы клеят за столом стенгазету. Здесь и столовая, и кухня. На плите готовится ужин для нас. Я узнаю, что приехал в интернат в печальный и торжественный день: уходит на войну первый воспитанник интерната, достигший призывного возраста, Женя Шелаев, глава семьи. Кроме Бори у него есть еще маленький братишка Леша и две сестренки. И всем им Женя — как отец. Воспитательницы, вздыхая, клеят газету и жалеют, что им приходится расставаться с мальчиком: "Мы на него опирались", "Он стоял во главе тимуровской команды", "Он никогда не повышал голоса, а все его слушались".

Сплю ужасно. Утром воспитательницы рассказывают, что Женя Шелаев не спал всю ночь, просидел на кровати братишки своего Леши, все глядел на него. Знакомлюсь с Женей Шелаевым. Русый, очень спокойный мальчик, говорит тихо. Привлекателен. Мне приходит в голову: не сын ли он моего одноклассника? Осторожно отводит он разговор об отце. Отец оставил мать. Давно. Отчества его — не догадываюсь спросить. А время идет. Скоро Жене уезжать. Он спешит — состоялось решение колхоза проводить сироту. А Женю это пугает. Брат Боря заработал для Жени сто рублей героическим путем.

Узнав, что на очистку уборных интерната ассигнована эта сумма, он взялся за эту грязную работу и выполнил ее.



Приходит седой, пожилой, румяный брюнет, председатель колхоза, суровый мужик. Он принес в дорогу новобранцу пышек, вареных яиц. Он усадил его рядом с собою на скамейку, минут десять они сидели рядом и молчали. Председатель выполнял решение колхоза — провожал Женю. Потом он произнес следующую речь: “Ну, Женя, служи. Начальников — жалей. Пошлют на курсы — не отказывайся. Все выполняй”. И ушел. В коридоре появились колхозницы — принесли Жене шаньги и огурцы. Они плачут. Женя стоит и глядит на них просто, неторжественно, скорее жалобно, недоумевая. Чем ближе время, тем Женя темней. За завтраком пытает его сестренка. Я не пошел смотреть, как Женя прощается с дошкольниками и младшим братом.

1952
25
апреля

Но зато я запомнил навеки вот что: прощаясь со мной, Женя говорит недоумевающе и тихо: “Напишите что-нибудь обо мне на память”. И мы расстаемся навсегда. Как все добросовестные или совестливые мальчики, он очень скоро попал на передний край, в танковую часть. И был убит, как сообщили мне в Кирове зимой его воспитательницы.

1952
26
апреля

Я рассказал о Малюгине, и мне захотелось опять задать себе задачу подобного же рода. Кого еще успел я разглядеть в Кирове, став поневоле близко к человеку? Пожалуй, Рудника. Этот разряд людей меня прежде всего удивлял. Я не мог бы представить себя на его месте. Я с его места прежде всего ушел бы, а он с азартом вел дело, держал в руках театр, который вяло, но упорно ненавидел его, как всех своих худруков. И все норовил его укусить беззубым, но ядовитым ртом. Нет, не могу я о нем рассказывать. Не понимаю. Не интересно. Лучше вспомню первую свою военную поездку в Москву. Дело происходило летом. Я уже знал, что “Одна ночь” не принята. Я переболел скарлатиной. И все же никак не хотел верить, что дела идут плохо. Помогало уважение, с которым относились ко мне в

театре, в актерском доме. Даже семьи ушедших на войну служащих Областного театра, склонные к осуждению, с нами были ласковы. И я жадно впитывал эти утешительные явления. Все-таки я человек!



И вот Комитет по делам искусств прислал мне правительственную телеграмму. Меня вызывали в Москву для заключения нового договора на госзаказ. И мы поехали — я, Рудник, театральный наш администратор, исхудалый и смертельно бледный от избытка энергии, и величавая Карская. Та самая, которую называла во время блокады Милочка Давидович “лебедь на казарменном положении”. Знали мы друг друга достаточно хорошо, но было нам и несколько неловко. Одно дело встречаться мимоходом на лестнице в театре, а другое дело оказаться в одном купе. В Котельниче вышли меня встретить Рахмановы, и по лицу Татьяны Леонтьевны, уважительному, а вместе с тем испуганному, я еще раз понял, как сильно изменился в блокаде. И скорее принялся шутить, чтобы показать, что я не придаю этому значения. Заметил я в пути, что вижу несколько по-новому. Острее. Различаю каждый листик на дереве. Начинала развиваться моя дальнозоркость. Когда подъезжали мы к городу Горькому, увидели мы вдруг на путях вагоны нашей “Красной стрелы”, как будто знакомых встретили в эвакуации. Здесь была у нас пересадка. Смертельно бледный Бергер, с глазками маленькими, черненькими, словно кишмиш, ринулся в недра вокзала. Я разговорился с офицерами-танкистами, ожидающими поезда. О фронте говорили они спокойно, словно о производстве. И я с уважением разглядывал их. А ехали они из самого пекла на переформирование. Бергер оторвал билеты, и мы уехали.



Приехали мы в Москву рано утром на Курский вокзал, и, выйдя на площадь, увидел я, как всегда вовсе не то, чего ждал. Летом 42-го года город выглядел строгим и подтянутым. На домах нарисованы были развалины в странном ракурсе, словно левое искусство воскресло, как в дни гражданской войны. Площадь перед вокзалом поражала пустотой. В гостинице “Москва” всемогущий Бергер достал нам огромный двойной угловой номер на четвертом, нет, на восьмом этаже. И, показывая высокий класс своей

работы, наладил питание такого класса, что Рудник только посмеивался одобрительно. Иногда при виртуозности своей мертвенно-бледный, тощенький, он едва не срывался, но падал на ноги. Так, в ресторане потребовал он чего-то не полагающегося простым смертным. Сослался на свое знакомство с директором. И подающий нам официант ответил спокойно: “А вон он, директор. Сейчас направлю его к вашему столику”. Смутился один я, за всех, Рудник засмеялся с удовольствием, как зритель, глядя то на Бергера, то на директора ресторана, который не спеша приближался к нашему столику, направленный лакеем. Наш белый Пьеро оставался загадочно спокойным. И заговорил с директором дружелюбно, но никак не искательно, уверенно, называя его по имени-отчеству не чаще, чем требуется. И директор не решился сказать: “Простите, не узнаю”. А кроме того, помогло сообщение о том, что мы — ленинградцы. И Бергер победил, нам подали то, что он заказал. Мы встретились с Кетлинской. И в столовой Дома писателей заведующий, которому Кетлинская сообщила, что я ленинградец, мне выдал сухой паек: булки, сухарей и бутылку водки, причисленной тоже к сухому пайку. И дали пропуск во второй этаж, где кормили ведущих. В просторном нашем номере собирались все больше театральные виртуозы. Я часто спрашивал Бергера, не может ли он при своих связях выиграть войну недели через две. Он загадочно улыбался, польщенный.

1954
4
ноября

По старым записям увидел я сейчас, что выехал я в Москву 23 июня. В Комитете по делам искусств был я принят неожиданно ласково. Разговаривал со мной Фальковский. Он заключил договор на новый госзаказ и заплатил деньги. И я совсем ободрился. В комитете узнал я, что приехали Акимов и Зинковский, тогдашний его директор. Акимов стал еще деятельнее, чем был. Тут я впервые заметил его новое свойство: он ел теперь только стоя, словно боялся потерять время. Ел орехи, привезенные из Сочи. Доставал их из чемодана. Это был его завтрак. “Одна ночь” ему не понравилась. “Словно просидел два часа в бомбоубежище”. И я понимал, что при его ясности это его раздражало. Но тем не менее бомбоубежища существовали. Ясный и колкий, как стеклышко, он требовал от меня новой пьесы — ясной и острой. Звал к себе в Сочи.

1954
5
ноября

Возвращаюсь к поездке в Москву, к июню 42-го года. Тогда, уезжая, мы брали карточки, название которых забыл, — не то транзитные, не то маршрутные. И каждое утро я выходил из своего роскошного номера и спускался вниз, шел в булочную. Рядом с кафе “Националь” в темно-шоколадном доме, знакомом со студенческих лет, помещалась булочная, в которой отоваривались командировочные. По утрам было там многолюдно. Не двигаясь, стояли у прилавка, у весов, нищие старики и старухи. Просили довесочка. У касс их не было. Им нужен был хлеб, а не деньги. Торговали терпеливые старики продавцы, которых я, может быть, видел студентом, были девицы — этих больше — и кроткие, не ведающие, что творят, и ведающие, но всеми силами это скрывающие. А больше всего занимал меня народ в очередях. Как офицеры в Горьком, они относились к своей жизни спокойно. Так уж установилось, что ж, будем выполнять. Самая странная из очередей стояла у дверей “Коктейль-холла” — единственное в Москве место, где давали спиртное без карточек. Стояли инвалиды с котелками, толстые бабы в платках. Тут вспыхивали драки, страшные драки между инвалидами. Дрались они костылями, ухватив их за кончик ножки. И это было единственное нарушение порядка.

1954
6
ноября

Москва была строга и сдержанна. Трудно? Да. Но причина всех горестей ясна, хоть и страшна. Выдержим. Бедняга Фальковский, объясняя мне, почему отклонили “Одну ночь”, говорил: “У вас восхваляется терпение! А у нас героический народ. И в жакте главное героизм, а у вас — терпение!” Он говорил, я слушал, и никому из нас в голову не приходило, что осталось моему собеседнику жить два-три месяца. Он вскоре ушел в армию. И был убит. Или, как говорили в театральных кругах: “Фальковский не поладил со своим начальством, был разбронирован — и все”. Война ощущалась не остро, как в первые дни, а глухо, но непрерывно, даже во сне. Ты не мог бы назвать причину постоянной твоей тревоги, но, подумав, разобрался бы: война. Это чувствовалось, как я уже рассказывал, особенно остро при встрече со старыми знакомыми. Лица те же, говорят, как прежде, а все изменилось.

Однажды, когда сидел у меня в гостях Тоня, объявлена была воздушная тревога, и дежурная приказала нам идти в метро. И я увидел толпу, которая не ждет поездов, не гуляет, не на собрании. Новую толпу — пережидающую опасность, в которую, впрочем, не слишком верит. И в самом деле, тревога кончилась ничем. Тоня все разговаривал с человеком, у которого дыбом стояли густые жесткие волосы. Оказалось, что это физик Алиханян, изучающий космические лучи, ученик Капицы. Но вот заиграли отбой, радостно закричали дети, и мы поднялись на землю. Впрочем, возможно, что это произошло в один из следующих приездов моих в Москву. В этот приезд я Тоню, кажется, не видал. Вот я иду по знакомым с 13-го года московским улицам.



И чувствую после блокады, больницы, после отклонения самой любимой моей пьесы, чувствую, несмотря на потерю лучших друзей, на века, стоящие между мной и тем временем, несмотря на сорок пять лет, — что я с тех дней не изменился. И это наполняет меня гордостью. Но не настоящей. А той, которая появляется после того, как [мечтаешь]. Не настоящая гордость, или счастье, или предчувствие счастья, а как бы игра в эти чувства. Я чувствую, что я тринадцатого года — возле, рядом, как рядом Москва того времени, и радуюсь этому, но не вполне — чувствую вместе с тем, насколько сегодняшний день шагает своими путями и несет меня с собой наяву, а не в снах, вызванных мной. Встреча со старыми чувствами, как со старыми знакомыми, ничего не изменила в сегодняшнем дне. К концу моего пребывания в Москве тревога охватила меня. Мне еще следовало бы задержаться в Москве, повидаться с Акимовым и решить, поеду я с ним в Сочи или нет. Следовало бы выяснить возможности переезда моего в Москву. Но тревога гнала и гнала меня к своим в Киров*. И Бергер с непроницаемым и таинственным видом выслушал мою просьбу достать билет. И со скромным торжеством вручил его. И я отправился на Ярославский — нет, ошибаюсь, нет, не ошибаюсь, именно туда. Скорый “Москва — Новосибирск” выходил оттуда. И я занял место в купированном жестком. Надо было бы еще задержаться в

* В подлиннике ошибочно — в Москву.

строгой и непривычно доброжелательной ко мне Москве. Пожить в великолепной гостинице. Но меня гнала домой тревога, в которой, если разобраться, виной была война. Да, кормили меня, как в Кирове и не снилось. Знакомые. Друзья. Болтовня театральных деляг — чувство вины и тревоги. Однажды мы сидели, как всегда, веселой, во всяком случае шумной компанией, на мягком диване у овального стола.



Вдруг вошла Карская. Она занимала номер во втором этаже. Встревоженно, а вместе с тем и виновато — нехорошо разглашать неприятные новости — она сказала: “Товарищи, что-то случилось. На перилах между этажами — кровь. Подымаюсь к вам и вижу — весь мрамор между этажами, на перилах забрызган кровью. Товарищи, честное слово, что-то случилось!” А немного погодя пришел Бергер и сообщил, что внизу — милиция. У самой лестницы лежит труп, прикрытый простыней. И скоро мы узнали, что это Янка Купала бросился в пролет лестницы с десятого этажа. Рассказывали, что в последние дни он все тосковал, и тревожился, и сильно пил. И я, вспоминая его большое простоватое лицо, с большой верхней губой, силился понять, что довело его до гибели. И, как всегда в те дни, чудилось мне, что первая, самая глубокая причина — война. Итак, Бергер достал мне билет, и я отправился на Ярославский вокзал. Первые сто километров состав наш тянул электровоз. Я стоял в коридоре у окна и, как всегда, сводил концы с концами, соображал, что увидел я и пережил в Москве, что вывез. Ничего не изменилось. Все та же военная тревога на сердце, чувство вины, когда до сознания доходят ясные представления об окровавленном переднем крае. Все то же. Приехав, я принялся собирать материалы для пьесы об эвакуированных ленинградских детях. Мне странно представить себе, что старшим из них сегодня под тридцать лет. Где-то я уже рассказывал об этих своих путешествиях. И пьесу я кончил к сентябрю. И Москва снова прислала мне правительственный вызов. Ехал я на этот раз с Письменским и Никитиным Николаем Николаевичем. На троих дали нам два мягких билета. И достались они Письменскому и мне. И Никитин обиделся почему-то именно на Письменского, хотя тот как завоблоно и член облисполкома имел полное право на это.



Пришел он скандалить к нам. И как ясно вижу я солнечный, редкий в Кирове в сентябре день. И пес по имени Цыган, прижившийся в длинном нашем деревянном двухэтажном театральном доме, гонится по длинному нашему двору за Никитиным. Меня не было дома. Я вошел в калитку как раз, когда пес, догнав, укусил Никитина за локоть. Никогда он ни до, ни после этого случая не кусался. И Никитин уже не сердито, а скорбно, как человек, преследуемый судьбой, пожаловался мне на все обиды. И я, как всегда, осудил его, но не полностью. Что-то чувствовалось все же за наивнейшим его самопочитанием, за многопудовыми, неудобопонимаемыми разглагольствованиями, от которых у самого у него тускнели глаза и лицо принимало выражение сердитое и беспомощное. Простившись с ним и вернувшись домой, узнал я, что он все недовольства свои на Письменского гораздо решительней и многоречивее, чем мне, изложил Катерине Ивановне, которая и вовсе не имела к этому делу отношения. В Горьком принялись мы хлопотать о билетах, о плацкартах в московский поезд. Никитин отделился от нас. Но всем нам дали билеты в общий вагон. Спальное место, вторую полку, уступили мы Никитину, а сами заняли сидячие места внизу. Вспоминаю все это во всех подробностях еще и вот почему. В последние дни преследует меня представление, что прошлого не существует. Что оно хуже, чем умирает, — исчезает бесследно. И от созерцания, что я стою как бы на лезвии, так как прошлого нет, что за спиной ничего, появляется чувство, похожее на знакомый мне страх пространства, страх малого пространства, тесноты. Но я вдруг утешился, так как новое представление овладело мною: рассказанное прошлое существует. В общем вагоне чувство тесноты н неблагополучия усиливал детский плач. Дети плакали сердито, и на них сердились. Напротив нас сидела женщина. Ее девочка, лет пяти, вялая, белая, с болячками на губах, спала.



Ощущение времени, преследующее меня в последнее время, можно еще передать так: я иду по улице и все живое трехмерное пространство за моей спиной заменяется нарисованным на плоскости. Вместо только что увиденного, пережитого, обернувшись, увижу я медленно угасающий рисунок, в который не

войдешь, как во всякий рисунок. Представление нездоровое, как сны, что преследуют меня в последние годы. Итак, в сентябре 1942 года ехал я в Москву в переполненном, жарком вагоне, спать я не мог. И женщина, сидевшая напротив, не могла уснуть. И рассказала удивительную историю своей девочки. Была эта девочка эвакуирована с детским садом в Старую Руссу. В бомбежку убило старших. Пять-шесть девочек не старше пяти лет брели по лесу. И встретила их восьмилетняя школьница, тоже потерявшая своих в бомбежку. И она пожалела девочек и повела их через лес. Кормила ягодами, вывела на железную дорогу, где подобрали их, взяли в теплушку солдаты. И мать известили, и она съездила за девочкой и вот везет ее домой. Радость уже улеглась, осталась одна забота. Она жалуется на эвакуационное начальство — вон в каком виде вернули ребенка, сердится и задыхается в вагоне. А кругом храп, и все никак не хотят успокоиться дети. Я сдал свою пьесу в комитет и принялся ждать ответа. Сначала я устроился в номер к Бешелеву, бывшему директору Литфонда. Потом он уехал, и я остался один. Бешелев в те дни был начальником детского нашего лагеря в деревне Черной. Кроме того, жили в гостинице Козаков и еще один тощий драматург, фамилию которого я вдруг забыл. Несмотря на тощую фигуру, истощенный вид, был он неутомимый бабник. И столь же неутомимый деляга. Эти приехали из Молотова.

1954
11
ноября

В гостинице же я встретил неожиданно Пантелеева. Его доставили в Москву на самолете. Голод его довел до паралича — он упал в коридоре своей квартиры. В больнице его подкормили и вылечили. Потом откармливали его в санатории под Москвой. И когда мы встретились, то удивились. Смотрели в зеркало — и смеялись. Толстый Пантелеев, а я — худой. Поселился Пантелеев в просторном номере в третьем, кажется, этаже. И несмотря на то, что вывезли его в Москву чуть ли не по указанию ЦК, а лежал он по приезде в генеральском санатории в Архангельском, милиция все отказывалась его прописывать. Все не могли в органах забыть, что в 1927-м или 1928-м году Пантелеев, по роковой своей судьбе, получил год за хулиганство. Тогда только что вышел соответствующий закон, принятый к сведению соответствующими

людьми. А Пантелеев, получивший первые в своей жизни большие деньги, выпил. И поехал с друзьями на острова. И там в кустах нашли они полбутылки, кем-то потерянные, нераскупоренные. И опьянели окончательно. И потащили свою квартирную хозяйку в милицию, жаловаться на все обиды, что она нанесла жильцам. До милиции дошел один упрямый Пантелеев и был задержан и обвинен в хулиганстве. И вечно с тех пор подозревали его в принадлежности к кругам темным, преступным. Все не вычеркивали из соответствующих списков, хотя сам Горький в свое время вступился за него и приговор был отменен. И теперь сам Фадеев хлопотал о Пантелееве, а его все не прописывали. И Пантелеев, шутя, сказал начальнику отделения: "Ну что ж, не пропишете — придется мне организовать шайку хулиганов". На что начальник без тени шутки взмолился: "Товарищ Пантелеев, прошу вас, не делайте этого! Война ведь!" Жил Пантелеев в номере Коли Жданова.

1954
12
ноября

В этот приезд задержался я в Москве дольше, чем в предыдущий. Ждал утверждения пьесы, потом — денег. Разглядел особое явление — девиц, окружающих гостиницу. Я знал об их существовании и раньше. Они звонили в твой номер, спрашивали кого придется, пытались завести разговор. Они заговаривали с тобой в вестибюле. Ничего похожего на дореволюционных профессионалок в них не замечалось, да вряд ли они и были профессионалками. Все они служили где-то, хорошо и невызывающе одевались. Беспокойной ласковости взгляда не наблюдалось. Такого рода девицы стайками бродят вокруг военных училищ, через дневального вызывают к воротам знакомых. Среди более скрытых и в одиночку охотящихся девиц вокруг гостиницы были разнообразные характеры. Я зашел к одному из литфондовских служащих днем. У него, сильно поседевшего брюнета, человека делового и простого, сидела в гостях совсем молоденькая женщина лет девятнадцати, поразившая меня красотой, здоровьем и суровостью выражения. Она без признака застенчивости осуждающе поглядела на меня, протянула руку, холодную и влажную, и ни слова не сказала. Даже имени не назвала, знакомясь, что у ее сверстниц считается обязательным. Признаком хорошего тона. Причем всегда имя называют они: Галя,

Рита, Оля. Без фамилии. А эта не назвала себя. Поздоровавшись, глянула так же мрачно и осуждающе на хозяина номера и замкнулась в своей свирепости. Я поспешил уйти и долго решал загадку: кто она? Что нашла она в этом небогатом командировочном, который ей в отцы годится? Почему она так сердита? Или это застенчивость ее так скрутила?

1954
13
ноября

Или потеряла она жениха на войне и на все махнула рукой, мстит своей несчастной судьбе? Но вернее всего — в эти жесткие времена бросились на нее, как на всех очень уж красивых девушек, самые решительные из встречных. Очень уж красивые девушки часто достаются не самым лучшим и не слишком добрым людям. Люди понежнее отступают с почтительным ужасом, с благоговением, а люди погрубее делают свое дело без всяких колебаний. И ошеломленная, подчиняется она своей судьбе. Так думал я, с благоговением, с почтительным ужасом вспоминая свирепую, угрюмую красавицу. Остальные были попроще и уж во всяком случае повеселей. Тщедушный, но неутомимый драматург устроился совсем уж на семейный лад, что являлось результатом его способа ухаживать. Привыкнув в трудах своих высказывать чувства, полностью не соответствующие действительности и внутреннему своему состоянию, он, видимо, перенес этот способ высказываться и на частную свою жизнь. От этого его возлюбленные ждали от него большего, чем он им намеревался дать. Впрочем, по легкости характера, он благополучно выворачивался из всех своих затруднений. Да и возлюбленные его, приученные всеми своими предыдущими связями, не требовали от него, в сущности, того, что он обещал. Поплачут — и все. Его тогдашняя возлюбленная настроена была мистически, что тоже не редкость в жесткие времена. У нее был заготовлен лист ватмановской бумаги с начерченным кругом и алфавитом по кругу. Она все вызывала Кутузова и Суворова, спрашивала с помощью блюдечка, когда кончится война. И я, заходя к ним, все поддразнивал ее. Кричал, как по телефону: “Кто у блюдечка? Багратион? Позовите, пожалуйста, Кутузова”. Миша Козаков все хотел познакомиться с какой-то таинственной особой, зазывающей его к себе.

1954
14
ноября

Эта особа обладала отдельной квартирой — кто-то из знакомых уже побывал у нее еще до Козакова, была вполне обеспечена, служила где-то и все знакомства заводила из любви к искусству. И Миша все не решался сделать ей визит, боялся чего-то. То в одном, то в другом номере появлялись старые знакомые в новом виде. Владимир Поляков в пехотной форме, Лев Успенский — в морской. Видел я программу в театре Образцова, приготовленную для фронтовых выступлений. Когда я пишу все это, нет у меня уверенности, что все это я увидел во второй приезд. Я был в Москве три раза до того, как мы переехали в Сталинабад. И все, что я рассказываю о прослойке девиц вокруг гостиницы и встрече со знакомыми в военной форме, могло произойти и летом. Нет, весной 1943 года. Но это второстепенно. Характер города — подтянутый, строгий — не менялся. Не менялся и быт в гостинице. И без таинственных телефонных звонков, без ищущих знакомств незнакомок описание было бы неполным. У Шостаковича я был именно во второй приезд. И он позвал меня к себе на день рождения. На пианино стояла большая корзина цветов — подарок ансамбля песни и пляски НКВД. Шостакович писал для него музыку. Собрались композиторы, мало мне известные. Первым пришел композитор Мосолов и подарил книжечку, похожую на молитвенник, которая при ближайшем рассмотрении оказалась фляжкой. Один уголок у нее отвинчивался. Пришел Шебалин — этого я знал. Потом пришел поэт Уткин (вскоре погибший при авиационной катастрофе). Он поразил здоровьем, простоватостью и чем-то привлекательным в его отношении ко всем: "Думайте, что хотите, а я достоин любви". Появился (или в такой последовательности вспоминался) художник Вильямс с Анусей.

1954
16
ноября

Возвращаюсь к Москве 1942 года. Итак, я пришел в номер, просторный, с пианино, занимаемый Шостаковичем. Из гостей, кроме вышеуказанных, пришла дочка Емельяна Ярославского, очень привлекательная молодая женщина с мужем, которого Шостакович назвал, когда я спросил, кто он такой: "Это архитектор Жорж, который строил мхатовский дом на улице Немировича-Данченко". Фамилию он тоже назвал, но через некоторое

время, сразу не припомнив. Архитектор Жорж имел вид томный, сытый, преуспевающий, но вместе с тем и осуждающий. Был он тоже молод, так что мне показалось удивительным, как это удалось ему получить столь ответственное задание. И мне подумалось, что, вероятно, бои вокруг этого дела навеки наложили вышеотмеченное осуждающее выражение на его большое миловидное лицо. На столе лежал принесенный кем-то бюллетень № такой-то об участии композиторов в войне. Очень утешало Шостаковича напечатанное сообщение, присланное из какой-то армейской части, что товарищ такой-то показал себя на фронте смелым и выдержанным композитором. По особенности тех дней выпивки оказалось больше, чем еды. Поэтому поднялся шум. Все быстро опьянели. Я помню — чувство тревоги вдруг отошло. И я был счастлив, что, хоть я и бездомен, но жизнь продолжается.

1954
17
ноября

На другой день пошел я с Шостаковичем в гости к дочери Ярославского. Жила она с отцом. Большая квартира, большая семья, какая часто образуется вокруг крупных работников в любых областях — в научной ли, в полити-ческой, в литературной. Для квартиры крупного политического деятеля одно было неожиданно — большое количество картин, что замечалось, едва войдешь в переднюю. Всё пейзажи с огромными цветами, очень своеобразные, под явным воздействием, впрочем, ранних импрессионистов. “Это что за формализм?” — спросил я, шутя, и усатый, непреодолимо серьезный хозяин ответил строго: “Нет, почему же? Какой же это формализм? Эти картины я писал”. И я вдруг понял, что попал в среду, где не шутят. Вскоре после этого памятного посещения, рассказывать о котором подробно еще нет умения, стал я собираться в Киров. Уезжать было не так просто, как при Бергере. Кто-то дал мне записку к коменданту Ярославского вокзала. К счастью, оказался он человеком добрым. Сказал, будто слышал меня по радио, очевидно, спутав с Антоном. Нет, не так. Это в третье мое возвращение, весной 1943 года, я ходил к коменданту. Тут доставал мне билет один из театральных дельцов, и обошлось мне это в пол-литра водки. Водку тогда пить приходилось с рассуждением — до того могучей валютой она являлась. Ехал со мной Бреславец, отчаянный скандалист, зав. монтировочной частью Большого

драматического. Один глаз был у него стеклянный. Незадолго до этой поездки своим обращением он до того взбесил Альтуса, который ставил что-то в театре, что тот ударил Бреславца по лицу. Стеклянный глаз вылетел. Дело разбиралось в суде, но кончилось благополучно. И Бреславец, весело подмигивая, все угощал меня водкой. Ехали со мной два газетных сотрудника.



Оба молодые. Один привлекательный, спокойный, с несколько нерешительной манерой выражаться. Будто он боялся собственных своих слов. Другой — шустрый, даже слишком, при всей топорности внешней — явно истеричный. На первого второй поглядывал снизу вверх, обслуживая всячески. И при случае сообщил, что этот самый первый молодой человек — редактор. Не то всей газеты, не то какого-то ее отдела. И тут я понял, отчего так нерешительно выражается первый молодой человек, привыкший к тому, что чуть ли не из каждого его слова делают оргвыводы. Когда познакомились мы поближе, выяснилось, что оба газетных работника помнят мою "Тень". Видели в Москве. И я был поражен! Мне казалось, что века прошли с мая 1940 года, когда приехали мы на декаду ленинградского искусства в Москву. Бреславец был запаслив. Он вез какие-то ящики с материалами для театра и вместе с тем и водку для себя в достаточном количестве. И, подмигивая и стеклянным, и здоровым своим глазом, войдя в азарт, угощал он нас широко и щедро. И мне даже неловко было, что я еду домой так празднично в беспросветные военные будни. И в третий раз приехал я в Москву уж в 1943 году весной. А может быть, в начале лета. Сейчас заглянул в первую свою тетрадь и увидел, что в Москву поехал я 24 мая, а уехал оттуда 17 июня. Мне же кажется, что был я в Москве в третий приезд совсем недолго, а я прожил там три недели. К этому времени жизнь в Кирове стала невыносимой. Тоска, дороговизна, мрак. Еще одну зиму, как мы понимали, нам не выдержать. В Москву меня вызвали на очередное драматургическое совещание. Поездка резко отличалась от всех предыдущих. Большой драматический к этому времени вернулся в Ленинград. Я стал завлитом кировского Областного, где худруком был Манский.

1954
19
ноября

До этого Манский работал худруком в Ярославле, был мобилизован, ранен и, получив полную отставку, назначен в Киров. Для меня всегда являлось открытием — сколько хороших режиссеров и актеров по областным театрам. Мальчиком представлял я себе отбор лучших для столичных театров процессом простым, вроде химического. Я знал, с какой охотой идут, нет, точнее, как стремятся актеры в Москву или Петербург, и полагал, что остаются там достойнейшие — ведь это так естественно. И, придя к Незлобину, огорчился, не обнаружив там особенных чудес. И в этом смысле, как было в 1913 году, так и осталось. На днях был в Александринке и особенных чудес там не обнаружил. И когда Большой драматический в результате двух-трех гениальных ходов, предпринятых Рудником, отбыл в Ленинград, то я убедился, что занявший свое место кировский Областной немногим слабее старшего своего брата. Комик был просто отличный. Герой, правда, простоватый, особенно в переводных пьесах, играл тем не менее вполне добротно. Героиня была у них настоящая. Помню ее в “Последней жертве”. И, наконец, возвращаюсь к Манскому — был он режиссер вполне достойный. И хороший организатор. Вытесненный Большим драматическим в Слободское, театр несколько пораспустился с горя и с удовольствием почувствовал, что его подтягивают и он здоровеет. В помощь Манскому придан был режиссер Люце, бывший ленинградец. Легонький, с лицом испорченного мальчика, несмотря на свои сорок лет, он от времени до времени запивал, и запивал некрасиво. И Манский заботливо, по-дружески приводил его в человеческий вид. Из актрис уважал я Миклашевскую, ту, которой посвятил много стихов Есенин.

1954
20
ноября

Сестры Миклашевские, уезжая в Слободское, увезли с собою ящик книг. А вернувшись, единственные, кажется, заботились, чтобы единственная их комнатка похожа была на человеческое жилье. Ласковы и внимательны были они со своей больной, тяжело больной и очень старой матерью. Все пишу не то. Не похоже. Миклашевская, тоненькая, не позволяющая себе увянуть, отличалась от всех. И никого этим не раздражала —

угадывалось в ней какое-то право на отличие. И мне показалось законным, когда Таиров прислал вдруг телеграмму — позвал ее обратно к себе, в Камерный театр. И они всей семьей — нет, мать, кажется, к этому времени скончалась — собрались и уехали из Кирова областного прямо в Москву. Я люблю вспоминать обо всей труппе кировского Областного — что-то в ней было более театральное и легкое, чем в окаменевшем академическом, не академическом, но вроде этого — Большом драматическом. И ко мне относились они дружелюбно, хотя, впрочем, и Большой драматический никак не обижал нас. Напротив. Но возвращаюсь к своей последней поездке в Москву из кировской эвакуации. Я пришел к Штейнбергу, директору театра, и застал у него рослого военного, полного радости от сознания собственной полноценности. Он едва не засмеялся, узнав, что пришел я за броней для билета. "Да что вы?" — сказал он с легким, всегда радующим мою душу украинским акцентом. "Та зачем? Наш вагон идет завтра у Москву. Занимайте хоть целое купэ!" И я на другой день ехал в Москву в вагоне Наркомпроса. Военный оказался заместителем наркома по учебным пособиям. Все мастерские он перестроил так, что они работали теперь на оборону, и, глядя на его трудносдерживаемую радость, понимал я, что удачно.

1954
22 ноября

Когда приехал я в Москву весной 1943 года, было воскресенье, комитет закрыт, и я прямо с Курского вокзала зашел к Маршаку. У него сидели и завтракали Шостакович и Яншин, постановочная тройка по "Двенадцати месяцам". Я предложил присоединить банку консервов, что была со мной, и Шостакович кивнул — давайте, давайте. После завтрака Маршак сообщил, что приглашен обедать к какому-то своему поклоннику. И тут же позвонил ему, что не может прийти, так как приехал его старый друг. После чего и я был зван. Я отказывался для вида, но был доволен. Обед оказался неестественно по тогдашним временам изобильный. И мы задержались и почувствовали по пути, что приближается комендантский час (в те времена, кажется, 10) и мы опаздываем. У Маршака был пропуск, но забыл он его дома. И мы увидели, что идет последний троллейбус, как раз нужный нам номер, но до остановки

далеко. И Маршак вышел на мостовую и поднял руку. И троллейбус остановился. И Маршак сказал: “Я писатель Маршак. Мы опаздываем домой. Подвезите нас!” И вагоновожатый согласился. И Маршак рассказал мне, как попросил в подобном же случае милиционера помочь ему, и тот усадил Маршака в попутную машину. В грузовик. И я с удовольствием чувствовал себя в сфере Маршака, в обаянии его энергии и уверенности особого рода. Скорее поэтической. И множество стихотворений прочитал он между завтраком и обедом. А когда мы вернулись, стал читать “Двенадцать месяцев”. Я всегда плохо сплю в дороге, хотя бы и в отдельном вагоне. И обед был непривычно богат. И я стал засыпать. И Маршак с удивлением воскликнул: “Да ты с ума сошел!”

1943
7
апреля

Весна. Все тает. Грязь. Вода опять летит потоками к рынку. Мы твердо решили уезжать куда угодно — в Ленинград, в Сталинабад, все равно, только вон отсюда. В Ленинград нас, очевидно, не вызовут. Следовательно, в двадцатых числах апреля мы двинемся в Среднюю Азию, к Акимову, в Театр Комедии.

1953
12
июля

Николай Павлович Акимов, маленький, очень худенький, ногам его просторно в любых брючках, производит впечатление силы, вихри энергии заключает в себе его субтильная фигурка. Энергия эта не брызжет наружу, по-одесски, наподобие лимонадной пены. Она проявляется, когда нужно. Пусть только заденут его на заседании или на обсуждении работы театра, — новый человек удивится и, если он вызвал отпор, ужаснется силе, которую привел в действие. Проявляется его сила и в неутомимой настойчивости, с которой ведет он дела театра, не пугаясь и не отступая. В отношениях с людьми ясен и прям. Невозможно представить себе, что он спрашивает случайно встретившегося знакомого: “Ну, как дела? Как жена? Что дочка?” Разговоры подобного рода ведутся чаще всего из боязливого желания поддержать мирные и смирные отношения. Его летящему к очередной цели существу просто непонятны потребности подобного рода. И кроме

того, ему некогда. Даже людей, которых он любит, забывает он в пылу борьбы. Во время атаки не до нежностей. Из-за этого он прослыл среди людей тепловатых — человеком холодным. И в самом деле его ясный и острый смысл действует на многих отрезвляюще и даже оскорбляюще. Из неясного, укромного мирка — на свет и мороз!

1953
13
июля

Находясь вечно в действии, он отдыхать не умеет. В последние годы хоть есть научился сидя. В Сталинабаде он завтракал, да и обедал, стоя у стола в своей комнате, похожей на мастерскую. Основное место занимал в ней стол с пузырьками красок, набором кисточек, аппаратиками для работы: игрушка с зеркальцем, помогающая увидеть эскиз по-новому, электрический пульверизатор и тому подобное. Эскизы и портреты висели по стенам этой небольшой мастерской. Он не умел отдыхать. И в свободные минуты писал гуашью, акварелью, сангиной, тушью портреты знакомых. Пробовал работать и маслом. А в 47-м году, уехав отдыхать на Рижское взморье, привез он оттуда более пятидесяти портретов, сделанных за месяц отдыха. Он всегда в действий. Еще раз оговариваюсь: при этом нет у него ни признака суетливости. Он деятелен совсем не так, как театральный администратор или коммивояжер. Держится спокойно, слушает охотно, внимателен, пристально внимателен все время. Рассказчик он отличный, но рассказывает, когда надо, не для того, чтобы блеснуть, а чтобы поделиться наблюдениями. Память у него сильная, запас наблюдений обширный, и всегда он их обобщает отчетливо, трезво и верно. И всей своей внимательной, строгой и ясной манерой обращения наводил он на свою многообразную труппу одинаковый страх. Гурецкая, ненавидевшая и отрицавшая его за глаза, сама рассказывала, что после личных объяснений она выходила из его кабинета в холодном поту в буквальном смысле этого слова. “Да что же это такое? — изумлялась она, приходя в чувство.— Почему я его так боюсь? Ведь он прост!”— и так далее, и так далее. Вероятно, поэтому получает он так много анонимных писем. Уж очень боятся ссориться с ним лично. Артист Филиппов, напившись до изумления, заявил пассажирам метро, что он — Герой Советского Союза. Было это в 44-м году.

1953
14
июля

Театр играл в это время в Москве. "Кричу я, скандалю, — рассказывал Филиппов на другой день.— Все притихли, вдруг, батюшки мои, вижу, уставились на меня из уголка знакомые голубенькие глазки. Николай Павлович! Подходит он ко мне: "Идите за мной!" В вагоне стало еще тише. И я притих. Вышел за ним на остановке, и он меня так отчитал, что весь хмель выдохся, хоть пей сначала!"

1953
15
июля

Акимов скрытен, но все видят, что он скрывает, — уж слишком он ясен и отчетлив. И тем самым правдив. Как правило, весь театр знал точно, как он поступит в том или другом случае, и обсуждал намерения его на все лады, только сам Акимов помалкивал таинственно. Все они, снобы, характер поведения которых сформировался в двадцатых годах, как позора боялись какой бы то ни было изъявительности. Самый крайний из них, Андрей Николаевич Москвин, покраснел, как девушка, когда за столом в присутствии семьи выяснилось, что он недавно выступал с докладом в одной из секций Академии наук и имел успех. Здесь уже и речи не может быть о скрытности в каких бы то ни было целях. Москвин бескорыстно служит великому закону замкнутости. У него это превратилось в искусство для искусства. Акимов по ясности своей неспособен на подобные крайности. Он скрытен разумно, когда нужно. Но и он признался, как мучительно было на похоронах матери: все глядели и понимали его чувства. С неожиданной яростью обрушился он однажды на новую постановку "Трех сестер" в МХАТе. Они так явно, непристойно страдали!

1953
16
июля

Каков он в искусстве? Я не смею говорить о живописи, вообще об изобразительных искусствах. Ясно одно, что в них ему не проявить всех своих сил. Он все время стремится в пограничные области. И еще одно: как режиссер он изменился за эти годы, усложнился, окреп. В портретах же своих, да, пожалуй, и в декорациях, он все тот же, что и в двадцатых годах. В литературе (точнее, в драматургии) обладает великим даром: трезвым, неподкупным чувством целого. Он драгоценный советчик, когда

работаешь над пьесой. Он прям и беспощаден в своих высказываниях, как бы ни относился к человеку. В отличие от многих занятых людей он читает. Не только то, что нужно, — читает из той почти физической потребности в книге, что выработалась у многих современных людей. Помню, как тронул и удивил он меня, когда в Сталинабаде заговорил о Лермонтове с силой понимания, неожиданной для его сильно освещенного существа. У него почти нет теней — так считал я — и поэтому не только тепловатые туманы недоступны ему. Пушкин сказал, что поэзия должна быть, прости господи, глуповата. Я боялся, что поэзия в некоторых своих сторонах непостижима для Акимова. И вдруг такое понимание Лермонтова. И я убедился, что он сложнее, чем я думал. И с течением времени убедился я, что есть у него вера. Во что? Не знаю. Но поступки его обнаруживали, что, кроме кодекса денди 20-х годов, есть у него еще некий кодекс. И он слушается его.

1953
17
июля

Когда Комедия готовилась к эвакуации из Ленинграда, я заходил часто в здание Большого драматического театра. Сам театр выехал в то время уже в Киров, актеры Комедии разместились в актерских уборных. Акимов и Юнгер жили, кажется, в кабинете замдиректора. Бывал я там потому, что Акимов упорно настаивал на моем отъезде из города. Был конец ноября, голод уже разыгрался в полную силу. Люди начинали умирать. И Акимов делал все, чтобы вывезти как можно больше люден из блокады. И не только ему близких. Он сказал как-то, что, выехав из города, он, вероятно, начнет резать людей, израсходовав все свои добрые качества на борьбу за увеличение списка людей, которых берет с театром. Он вернул в труппу сокращенных артистов, злейших своих врагов, предупредив, что на Большой земле снова их сократит. Его ясная и твердая душа не могла примириться с тем, чтобы люди умирали без всякой пользы в осажденном городе. Возвращался из театра я обычно в полной тьме. Никогда не переживал я подобной темноты на улицах. Ни неба, ни земли. Идешь ощупью, как по темной комнате. И мне не верилось, что все это правда. Голод, тьма, тревоги, бомбежки. Это было до такой степени нелепо, что я не мог поверить, что от этого можно умереть. А кругом уже умирали, и Акимов со всей

ясностью понимал, что тут надо действовать. Двое из его труппы были погружены в самолет на носилках. Один из них умер в Кирове — артист Церетелли. Ни питание, ни лечение, ни вспрыскивание глюкозы не могли уже спасти его. Остальные — остались живы. И когда я встретился с театром в Сталинабаде, — эти живые уже дружно ненавидели Акимова. Все забылось, кроме мелких обид. Ежедневных, театральных, жгущих невыносимо, вроде экземы. Но театр жил. И когда Акимов добился перевода театра в Москву, ненависть сменилась уважением. После того как гастроли в Москве прошли с сомнительным успехом, уважение сменилось раздражением.

1953 18 июля

Но и в раздражении и в ненависти театр был послушен. Я по своему положению в театре ясно видел все эти превращения: обе стороны были со мной откровенны. И я испытывал привычный ужас перед стихией — впрочем, столь же отвлеченный, как перед темнотой и бомбежками в Ленинграде. Акимов же понимал, что тут надо действовать. Театральный коллектив склонен неудачи приписывать руководителю, удачи же — своим достоинствам. Он склонен обвинять худрука в измене высоким принципам театрального искусства, формулировать которые он не дает себе труда. Короче говоря, тут дурное настроение вымещается не на слабейшем, а на сильнейшем. Немирович-Данченко, познакомившись с Акимовым в Тбилиси, изло́жил ему целую теорию потрясений театрального коллектива, имеющую свою периодичность. А ведь Немирович имел дело со счастливейшим театром! Акимов, как и Немирович, действовал, и театр, то ворча, то мурлыча, делал свое основное дело: показывал спектакли.

И что важно: Акимов мог ошибаться, мог терпеть неудачи, но качество, фактура, самая суть дела остались у него на первом плане. Вот он появляется в театре, маленький, тощенький, голубенькие глазки пристально глядят из-под очков, заряженный энергией, лишенный и признака суетливости, но далеко не лишенный суетности, жадный до всего земного. В записной книжке записаны все дела на сегодняшний день. Несмотря на маленький рост, он кажется самым взрослым в своей труппе, более взрослым, чем лысый, продувной, лихой

администратор Львин, более взрослым, чем старые, крайне принципиальные актрисы и сильно пьющие, поседевшие в разложении своем герои. Он знает, чего хочет, а они томятся, он думает, а они более склонны к чувствам. Очень умно, очень ясно он действует, приказывает, настаивает — настаивает на своем, даже когда не прав. Он больше воплощен, более существует, чем окружающие его. Он ведет. Он действует. И по закону движения иногда разгоняется до того, что летит, как вихрь, вместе с театром. Летит, летит!

1953 *19 июля*

Акимова надо будет переписать: многое, но не все рассказано. Трудно писать людей, которых любишь. Он очень, очень мажорен. И не может быть не ограничен, как все действующие люди. Холодный, ясный азарт достижения опьяняет его, не дает остановиться. И заносит его при всей разумности иной раз в сторону от цели. Но таков уж он уродился. Он рассказывал однажды, как в детстве сестре его подарили интересную книгу и она сказала, что прочтет ее потом, вечером. И он испытал ужас, а потом и презрение. Что за человек! Значит, она не хочет, в его понимании этого слова, читать книгу. Не умеет хотеть! Откладывает! Акимов, как большинство художников, расчетлив. Он любит вещи — вероятно, поэтому держится за них, может перебить удачную покупку в комиссионном магазине даже у близких друзей — единственный вид измены, который я у него наблюдал. Но и тут он ясен, и сила желания его так проста! Нужно для дальнейшего, для переписки отыскать его рассказы, я их записывал как-то в Сталинабаде.



1 февраля Большой драматический театр погрузился в вагоны (два классных и, кажется, четырнадцать товарных) и уехал в Ленинград. 11 февраля они, не перегружаясь, доехали до Ленинграда. Я уезжал в детскую санаторию Канып. Отвозил туда Наташу. Перед отъездом моим я согласился работать завлитом в Кировском областном драматическом театре, вернувшемся из города Слободского сюда, на старое место. Работаю там. То есть обсуждаю пьесы, смотрю спектакли, разговариваю.

1943 *3 августа*

В двадцатых числах апреля мы не уехали из Кирова. Я почувствовал себя плохо. Мне показалось, что нам не доехать до Сталинабада. Но с начала мая, когда я поправился, на меня напал ужас — неужели нам так и оставаться навсегда в Кирове? Двадцать четвертого мая я приехал в Москву на совещание по драматургии. Попробовал закрепиться в Москве. Это оказалось невозможным (для меня). Надо было становиться в положение просителя, что показалось мне невозможным. 17 июня я уехал из Москвы. Мы решили перебираться в Сталинабад. И вот мы уже в Сталинабаде. Выехали в ночь на десятое июля и приехали 24-го. Три дня пробыли в Новосибирске, два в Ташкенте. Сталинабад поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится. Я еще как в тумане. Собираюсь писать, но делаю пока что очень мало. В Союзе писателей познакомился с Сергеем Городецким. Хочу поездить, походить по горам.

1944 *23 августа*

Поездить и походить по горам я не успел до сих пор, хотя послезавтра уже полгода, как я живу здесь. Уже зима, которая похожа, здесь на весну. На крышах кибиток растет трава. Трава растет и возле домов, там, где нет асфальта. Снег лежит час-другой и тает. Не успел я поездить и походить, потому что Акимов уехал в августе в Москву и я остался в театре худруком. Кроме того, я кончал "Дракона". До приезда Акимова (21 октября) я успел сделать немного. Но потом он стал торопить, и я погнал вперед. Сначала мне казалось, что ничего у меня не выйдет. Все поворачивало куда-то в разговоры и философию. Но Акимов упорно торопил, ругал, и пьеса была кончена, наконец. 21 ноября я читал ее в театре, где она понравилась...

В Москве Акимов долго выяснял дальнейшую судьбу театра. Было почти окончательно решено, что театр переезжает в Москву. Но вдруг Большаков добился в ЦК, чтобы театр послали в Алма-Ату, где на киностудии страдают от отсутствия актеров. В результате театр оказался в непонятном положении. В Алма-Ату как будто в конце концов, после хлопот Акимова, ехать не надо. Но с другой стороны — приказ о поездке

не отменен. После долгих ожиданий, переписки, телеграмм Акимов 25 декабря опять уехал. Сначала в Алма-Ату. Потом в Москву. С 12 января он опять в Москве, а мы все ждем, ждем. Все эти полгода прошли в том, что мы ждали. Была надежда, что театр поедет в Сочи, чтобы там готовить московские гастроли; потом мы думали, что уедем в Кисловодск. Много разных периодов ожиданий прошло за эти полгода. Как разные жизни, разно окрашенные, с разными подробностями. Театр играл в так называемом Зеленом театре. Открытая сцена. Вокруг каналы. После дневной жары от воды вокруг было прохладно. Ларьки были полны арбузами. Если бы не арыки и не деревья в три ряда между домами и узенькой полосой панели, было бы похоже на черноморские города. От ясного неба, фруктов, жары, вечерней музыки в парке было ощущение отпуска, каникул, праздника. Горы еще больше напоминали черноморское лето. Казалось, повернешь за угол — и увидишь море. Дожди, переход в холодный и неудобный зимний театр начали новый период, более трудный. Главное в том, что я все-таки устал и ослабел. Не могу сейчас понять, куда девалась прежняя уверенность, что вот-вот, сейчас-сейчас все будет хорошо. Иногда кажется что я поумнел и вот-вот пойму все.

1944 26 января

Я получил двадцать четвертого телеграмму из Москвы от Акимова “Пьеса блестяще принята комитете возможны небольшие поправки горячо поздравляю Акимов”. Это о “Драконе”. В этот же день получена от него телеграмма, что поездка в Алма-Ату окончательно отпала, а московские гастроли утверждены. Срок гастролей он не сообщает.

Сталинабад — город особенный. Русские, живущие здесь, попали сюда либо не по своей воле, либо в погоне за большими заработками. Есть небольшой процент людей, которые любят работать на окраинах, потому что здесь они самостоятельны. И те, и другие, и третьи — стяжатели и деляги. (Это не относится к ученым, работающим здесь.) Воруют. Местные жители, таджики, загадочны. Чем они дышат — за полгода не поймешь. Когда они едут на ослах своих в чалмах, или ведут караван верблюдов, или сидят на ковре на городской мощенной булыжниками мостовой возле арыка под деревом и пьют

зеленый чай, не поймешь, что они за люди. Одно я понял. То, что они называют песней и стихами, совсем не то, что называем стихами и песней мы. Я видел летом: сидит во фруктовом ларьке посреди арбузов таджик и поет. Но песня эта так же не внушает уважения, как их слезы. Они легко, очень легко плачут. И так же легко поют. У нас в деревне начинают петь позже. Литература их — такая же, как все другие, вероятно, судя по Омару Хайаму, Саади, Гафизу. А песни и импровизированные их стихи — это что-то не то, из другого места идущее. Это не наши народные песни и стихи. Многие из них, особенно высокие старики в халатах и чалмах, производят впечатление солидное и благородное. О чем они говорят не спеша и солидно, когда сидят на своих ковриках и пьют чай или ждут покупателей? Нищие их говорят что-то со страстью, протягивая вперед руки. Сказки их понятны. Но богатство событий, чудовищ, чудес — результат бедной фантазии. Рассказчик не знает, что ему говорить, и давай валить, что в голову придет, лишь бы не замолчать. Но не все сказки носят следы безобразных импровизаций. Есть изящные и гениальные.



Я получил за это время еще две телеграммы от Акимова. «Репертуарный план утвержден полностью. Сообщите на какую пьесу заключили договор с Камерным театром Акимов". И вторую: "(По) Государственному заказу оформляется (в) Реперткоме, надеюсь (по) приезде получить следующую Акимов". Сегодня пришла телеграмма без подписи: "Дракон" включен в репертуарный план Камерного театра, молнируйте возможность приезда. "

Все эти два месяца, после того как я дописал "Дракона", я совершенно ничего не делал. Если бы у меня было утешение, что я утомлен, то мне было бы легче. Но прямых доказательств у меня нет. Меня мучают угрызения совести и преследует ощущение запущенных дел. Не пишу никому, не отвечаю на важные деловые письма. Невероятно нелепо веду себя.



Я каждый день к двум часам иду в театр, где я теперь худрук. Когда небо ясное — совсем похоже на весну. Когда пасмурно или идет дождь со снегом, то трава, которая выросла возле домов и на крышах кибиток, кажется плесенью,

которая завелась от сырости. В Кирове встречные говорили о карточках, хлебе, о том, где что выдают. Здесь — о температуре, малярии, загадочных болезнях. "Утром нормальная — вечером 38. Доктор говорит: ничего не понимаю". Возле Дома печати на улице Лахути витрина Таджик-ТАССа.Там выставляют последние сводки. Я читаю. Сводки часто вызывают разговоры — особенно когда касаются Украины. Здесь много эвакуированных оттуда, и они, увидев названия знакомых станций, громко сообщают, что они там бывали и сколько езды оттуда до Киева или до их родного города. Прочитав сводку, я перехожу на бульвар, который идет по улице Лахути. Посреди бульвара асфальт. По обе стороны асфальтовой аллеи — деревья, затем арык, еще ряд деревьев и снова арык. В самом начале бульвара — ларьки. Книжный, газетный, ларек, где ремонтируют электроприборы, ларек, где продают сырую воду с красным или зеленовато-желтым сиропом, пустой ларек, где летом продавали цветы. У ларьков продавщицы с тарелочками. На тарелочках маковки ромбовидной формы, но мака в них нет. Они приготовлены из тутовника. Пирожные — очень желтые бисквиты. На ступеньках закрытого ларька всегда сидит очень пожилой, седой инвалид еврей. Возле него лежат костыли. Он торгует папиросами. Все деньги у него в кепке. Получив деньги за папиросы, он укладывает их в кепку, а кепку быстрым движением, чтобы деньги не высыпались, надевает.

1953 22 ноября

Когда вспоминаю о Сталинабаде, то жалею, что мало вгляделся в него. Уж очень жил там как на станции, где пересадка. При внешней веселости, уживчивости и укладистости я всегда встревожен, всегда у меня душа болит. Я страдаю внутренней гемофилией. То, что для других царапина, меня истощает, отчего я и осторожен, стараюсь ладить, уладить. Таков я был и в Сталинабаде. И не рассмотрел я в тумане и тревоге новую страну, не побывал в горах. Рынок, где нищий при входе пел и помавал руками на такой незнакомый лад, что я сразу испытывал знакомый страх усилия. Это — новый мир, новая жизнь, надо бы постараться понять — но как? Хлопотно. Человек в светло-синей чалме стоит до того прямо, что кажется, это стоит ему некоторых усилий, как солдату в строю. Два таджика на коврике под чинарой пьют зеленый чай,

степенно разговаривают, умышленно не обращают внимания на городскую суету вокруг. Они носят свой мир с собой. Может быть, и не слишком богатый, но свой, упрямый. И продавцы говорят со мной издали, без вятского кулацкого презрения к беженцам, а просто не считая меня за человека. А верблюды, те и город не считают достойным внимания, “проходят из пустыни в пустыню”, как сказала в Ташкенте Ахматова. Впереди ослик, а за ним эти надменные рослые существа. Вот и пойди пойми, что за мир окружал меня с конца июля 43-го года.



Я сижу безвыездно в Сталинабаде, а мне рассказывают, как У-2 возит людей на Памир. Потолок этого самолета ниже горных вершин, и он пробирается между ними узким воздушным коридором. Геологи ходят древними горными тропами. Есть тропа из железных костылей — по нижним ступаешь, за верхние держишься. У горной реки живет таджик, переправляющий путника на другой берег. Он обвязывает тебя веревкой и швыряет в воду и, то припуская, то подтягивая веревку, помогает добраться до той стороны. За городом в степи водятся кобры. Тигров мало кто встречал, но сотрудники Зоологического института Академии наук подсчитали, что в камышах живут шестьдесят тигриных семейств. И я слушаю обо всем этом сквозь туман войны, бездомности, незащищенности. Однажды, проходя по улице Лахути, прочел я объявление, что открылся тут во дворе зверинец. Я вошел и увидел тигра, рысь на трех ногах — переднюю отняли, волков. На самом солнце развалился в своей клетке брюхом кверху гималайский медведь. Он глядел так добродушно, что хотелось его погладить. “Не подходите к клетке! — предупреждал сторож. — Вчера он полковнику палец отгрыз”. И я все всматривался, всматривался в тигра, со вниманием, неожиданно пробившимся через туман тех дней. А в углу, возле клетки унылого виноватого павлина, шевелившегося в полумраке, опустив голову, толпился народ, слышался хохот.

От просторного, великолепного почтамта начиналась улица, кажется, Шевченко, и по этой улице мы шли в гости — не пустое дело в те дни. Тут радовались еще гостям, не то что в Кирове, где встречались мы больше по делам. Первый раз позвал нас в гости

Зимин, энтомолог, с оттопыренными ушами, выпуклыми светлыми глазами, худой и нервный до крайности. Его самолюбие, битое и перебитое, вытянулось в жилку и все время дрожало струной. Его работу о мухах выругала “Правда”.

1955
8
июля

Занимал он квартиру в две комнатки в Сейсмологическом институте. А идти к нему надо было через Тропический институт, пролезать через вынутые две доски забора, пробираясь какими-то зарослями. Это в высшей степени соответствовало запутанному существу Зимина. Но тем не менее с квартирой его связано у нас воспоминание прекрасное. В 43-м году позваны мы были к ним в гости. И в суровое и голодное время вдруг обнаружили, что в этом доме гостям рады! Грех, наверное, но после блокады, черно-глинистой кировской грязи, душа просила праздника. И он состоялся вдруг. Хозяин и хозяйка глядели весело и безбоязненно. Большой стол белел и блестел рядом в комнате. И когда позвали нас к столу, оказалось, что каждому приготовлена карточка, лежала на приборе, указывала, где сидеть. И была она с акварельным рисунком, каждому — особый, значит хозяин готовился к встрече с нами за несколько дней. От этого на душе у меня и вовсе посветлело. Зимин — человек очень обиженный и не то что не забывающий обид, но каждая из них оставляет след на обидчивой его душе. Выпив достаточное количество, он ушел в ванную, а когда вернулся, выпуклые его глаза были красны. Он поплакал о том, что разбомбило в Ленинграде их комнату, такую роль сыгравшую в его жизни. Значит, и жизнь его с женой пришла к концу. И Майя Фридриховна, его жена, наивная, миловидная, посмотрела на мужа с искренним соболезнованием, растерянно, и спросила: “Почему?” В следующие наши встречи, когда мы познакомились получше, зазывал он иной раз в коридор или в ту же ванную меня и там жаловался на обиды, трудно понимаемые.



Но заставлявшие его говорить дрожащим, высоким тенором. И вызывавшие слезы на его выпуклые светлые глаза. Квартира их в Ленинграде уцелела — две большие комнаты, попадать в которые было относительно просто —

с улицы Марата во второй двор. Но несмотря на мистическую связь комнат этих с его семейной жизнью, обменял их Зимин на новые. И вот эти уже более соответствовали его характеру. Встречаюсь я с ним в Ленинграде редко. Но он зовет меня в гости в торжественных случаях, и я пошел к нему на празднование по случаю утверждения Зимина в докторском звании. Да, новое обиталище доктора соответствовало его характеру. Я ехал на такси. Шофер не сразу нашел Адмиралтейский канал, и я с трудом нашел квартиру — так же мало имеющую отношение к Зимину, как Сейсмологический институт, где принимал он гостей при первом нашем знакомстве. Тут попал я вдруг в квартиру морскую. Фотографии военных судов, фотографии группы командиров, восседавших под орудиями, с матросами, стеной стоящими позади. На шкафу модель корабля. Ужинали мы в комнате бывшей владелицы всей квартиры, вдовы моряка, и тут со всех стен и с крышки рояля глядели на нас моряки в своей черной форме — фотографии родных и друзей. И по-прежнему Зимин был рад гостям. Уходил и вернулся с покрасневшими веками. Сталинабадские друзья, все зоологи, были веселы. Прелестный баритон оказался у гостя, эпидемиолога по фамилии Шуря-Буря. Как всегда, вечер, где собрались повеселиться ученые, проходил живее, чем у писателей. Ученые народ занятой, пение не презирают, праздник для них редкость. И с тех пор Зимина мы не видели.

Напрасно оборвал я и смазал рассказ о Зимине. Я не люблю, когда говорят, как неинтересны писатели. Нет, в них есть своя прелесть. Но и в самом деле за столом ученые бывают веселее. Я люблю, когда кто-нибудь из них вдруг сядет за рояль, а другой вдруг запоет. Тут есть уважение к музыке. В их истовой повадке. И о литературе говорят они осторожно, зная, что на свете есть такие категории, как специальность. И по собственному опыту понимают, что в чужую область надо идти осторожно. Многие из них в литературе при этом разбираются куда лучше, чем ждешь. Одна женщина, геолог, говоря о переводах сонетов Шекспира, вытащила маленький томик в мягком переплетике — карманное издание сонетов по-английски — и переводила их с листа. Рассказываю это и вдруг вспоминаю обратные случаи. Цвет врачей-терапевтов говорил о живописи с такой постыд-

ной неграмотностью, что я потом никак не мог верить им, когда говорили они о медицине. И, может быть, эти врачи и в самом деле не были настоящими учеными. В тот год, когда я был у Зимина в последний раз, вспыхнула вдруг эпидемия бешенства. О ней было множество разговоров в городе: заболевали собаки и не укушенные другими. Рассказывали ужасы о вдруг, разом, заболевших собаках, изолированных от остальных, подопытных, находящихся в каком-то институте ВИЭМа. Шуря-Буря, только что певший у рояля лучше, чем обычно поют артисты, то есть не покушаясь на декламацию — спокойно, обстоятельно и толково, не покушаясь на красноречие, объяснил, почему вспыхнула эта эпидемия: волков не уничтожали в годы войны. Число их так возросло, что никакие облавы и премии не помогают. А волки-то как раз очень предрасположены к водобоязни. Эпидемии начинаются с них. Все слухи о таинственно вспыхивающих заболеваниях он опроверг. Не хочется мне больше писать о Зимине.

1955
23
февраля

Попробую распутать тот клубок, что возникал, едва я встречал Бонди или слышал его имя. Легко всплывал он в сознании и был настолько понятен, что я не распутывал его. Состоял клубок из уважения и неуважения, из вещей определимых и неопределимых. Уважал я его за то, что был он интеллигентен. И за это же и не уважал. У него за этим ощущалась вера в некоторые нормы. Но досталась она ему по наследству. Вера. И нормы тоже. Я предпочитал опыт, добытый лично. И некоторую беспощадность при исследовании веры и установлении норм. Пусть даже доходящую до юродства, как у Хармса, да и у всех них. В нем ощущалась некоторая слабость — вот главная причина того, что в клубке связанных с ним чувств и представлений присутствовала доля неуважения. А кроме того, в театре ужасно о нем сплетничали. А от этого всегда что-нибудь остается. Его там за что-то не любили. И в самом деле, уж больно он был сложен. По сути актер, а на деле писатель. И не было в нем простоты. Так было до Сталинабада. В Сталинабаде познакомились мы гораздо ближе, так близко, как случается в эвакуации. И оказался он проще, чем я ощущал до сих пор. Мы вместе ходили по гостям. Раз в неделю, образовалась традиция. И он читал

записки Русакова — вымышленный персонаж, придуманный им. Акимов чувствовал себя в Сталинабаде одиноким. Он вытащил Бонди из Театра сатиры, где тот до сих пор служил. (До войны работал он в Комедии.) И Бонди, оставивши там жену, послушно приехал в Сталинабад. Зажил степенно, в правительственном доме европейской стройки, в том же, где Акимов. Ходил на рынок, готовил сам себе завтраки. Говорил, что мечта его дойти до такой степени богатства, чтобы жарить свиное сало на сливочном масле. А пока жили небогато. Ходили на рынок продавать. То нам выдадут накомарники — марлевые одеяния, и мы идем их продавать на рынок, то выдадут изюм. Этот, последний, впрочем, мы не продавали.

1955
24
февраля

Накомарники продавали мы вместе. За театром шла среди бурьяна дорожка, народ тянулся этим путем на базар, с базара. Сейчас в воспоминаниях — темнеют они, как муравьи. Через просторный пустырь шла дорожка. За пустырем белели домики. Жили там беженцы из Бессарабии. Румынские врачи. В Сталинабаде, кроме основной, таджикской, восточной и в основном с детства понятной стихии, встретился я и вовсе с незнакомыми. Прежде всего, румыны или русские, выросшие в румынских условиях. Тут увидел я, неожиданно для себя, что это народ, тяготеющий к французской культуре, независимо от политических связей правительственного происхождения. Знали они все французский язык, многие учились в Париже. Держались они несколько замкнуто, своим кругом. И больше помалкивали. Профессора их среди обывателей славились. Совсем иначе держались поляки. Более шумно. Заметно. Ссорились с квартирными хозяевами. Высказывали, при случае, свое неудовольствие. И все просачивались, пробирались в Персию. Это одни. Другие — держались как свои. Один из таких, Грушецкий, он же Бирнбаум, — поляк по всему — по воспитанию, по склонностям, по духу — и учился на медицинском факультете и вступил в Союз писателей — все шумно, открыто, и хитро, и строптиво, и ужасно вежливо. На экзаменах спорил об отметках, в союзе спорил с переводчицей. Восхваляя богатство русского языка, с вежливо-язвительной улыбкой доказывал он мне, что польский все же богаче.

И в пример приводил слово "труба". По-русски все труба — и водопроводная, и оркестровая, и водосточная, а по-польски для каждого этого понятия — разные слова. И он привел их. Запомнил одно: "рора". Водил он нас выступать в польский детский дом. Шли мы туда долго каменистой пустыней за городом. И сердце сжалось, когда увидел я стриженые сиротские головы, светлые славянские глаза. Длинные робкие девушки, не то сестры милосердия, не то монашки, собрали их в зал. И дети, оказывается, знали отлично по-русски. Все поняли.

1955
25
февраля

Самой шумной и самой заметной, тоже восточной, стихией были евреи, но менее понятные, чем таджики. Евреи из Западной Украины, бородатые, с пейсами. Многие из них говорили по-древнееврейски, и странно звучал этот язык на рынке, не на том, что за театром, а в конце той улицы, где посреди мостовой росла гигантская, великанская чинара. Что это язык древнееврейский, объяснил мне еврейский поэт из Польши. Мы с ним вместе искали табак на рынке, и он расспрашивал бородатых стариков с пейсами, не встречался ли им этот товар. И поэт был представителем незнакомого мне еврейства. Он все рвался на фронт и уехал воевать, наконец. По его мнению, евреи сами были виноваты, что их убивают, уничтожают. Если бы сопротивлялись они, не шли на смерть — никто не смел бы их так преследовать. Говорил он по-русски без акцента. Бросит несколько слов и задумается. Где-то, кажется, в Вильнюсе, немцы убили его жену и дочь. Был он у меня или я встретил [его] в театре раза два. Знакомство не завязалось. Я не чувствовал себя евреем, а его никто другой не занимал. В [конце] концов он уехал на фронт, и больше я ничего не слышал о нем. Фамилию его — забыл. По бульварам, по улицам пестрели фанерные будочки — парикмахерские или сапожные мастерские. Бойко работали американки — так называли почему-то тоже большей частью фанерные будочки, где продавали вино в розлив. На перекрестках стояли милиционеры. Удивительное дело! Таджики стройные, с удивительно легкой, будто танцующей походкой, ловкие в движениях, надев милицейскую форму, становились похожи на баб. И свистели вслед каждой машине,

проезжающей мимо: в знак того, что проехала она, не нарушив правил. Высокие правительственные дома и кибитки — низенькие, глинобитные, с плоской крышей, на которых росла зимою трава. Деревья в четыре ряда, бульвары. Листья покрыты пылью. Когда пробовали обливать листья из брандспойта, они засыхали. Все? Как будто. Не могу рассказывать в последнее время, не давая среду.

1953
26
февраля

Забыл прибавить, что в Сталинабаде в те годы была еще очень заметная стихия — ученых. Никогда, вероятно, не было в Сталинабаде столько научных институтов, а их собственные, отечественные, не были столь богаты именами. Все эти эвакуированные не пропускали ни одной премьеры театра. И, естественно, знакомились с нами. Причем произошло случайное размежевание. Флоринские подружились с биологами, а мы и Бонди тоже — больше с зоологами, гиль- (или гель-) минтологами, паразитологами из ЗИНа. И с врачами. Особенно почему-то с патологоанатомами. Впрочем, бывал и знакомый одесский хирург, прелестный и скромный человек, о нем польский врач, жене которого одессит делал операцию, сказал: “Человек с такими золотыми руками в Польше давно был бы богачом”. Хирург этот, еврей и одессит, был, повторяю, скромен до аристократичности, говорил по-русски без малейшего акцента. Его интеллигентность сказывалась, между прочим, и в том, что не считал он себя специалистом в литературе, музыке, живописи, куда вечно лезут его сотоварищи. По скромности своей был он в городе известен главным образом врачам. И случалось, что обижали его, но он не вступал в драку. Так же он уступил, когда заболел. Какая-то злокачественная опухоль убила его в необыкновенно короткий срок. И у меня сердце сжалось, когда услышал я о его смерти, хоть мы были знакомы недолго. И я забыл его фамилию! Непременно узнаю и запишу. Небольшая комнатка в институте переливания крови, чистая по-больничному, с белыми занавесками на окнах, с выбеленными стенами. Жена профессора, тоже врач, худенькая, спокойная, сдержанная, привлекательная. Медленно разворачивается клубок представлений, воспоминаний и впечатлений под названием Бонди. Но не могу я написать, что “ходили мы в гости

раз в неделю и это стало традицией" — не назвать улиц, людей встречных. Без этого мы очень страшные, словно жестяные, шагаем по двухмерному пространству, и нам нечем дышать. А мы тогда жили и дышали.

1953
27
февраля

И еще я вижу, что когда описываю просто город, — сколько брался я рассказывать о Сталинабаде, — то ничего не получается. А если вспоминаю я город в связи с людьми, — то мне легче его оживить. Чаще всего собирались гости у Сиповских. Он необыкновенно жизнерадостный патологоанатом, еще молодой, крепко сколоченный, был вечно и необыкновенно, от природы, мажорен. Звал я его "Петька-трупорез", уверяя, что таково его прозвище в преступных кругах. И он не обижался, а смеялся готовым у него всегда смехом. За хохотком своим он в карман не лез. Был он человек способный, но эта единственная его тональность, как это ни странно, мешала его попыткам писать рассказы и сценарии и даже научной его работе. Склад ума у бодрячков подобного рода склонен к вещам легко постигаемым. Друзья, посмеиваясь, говорили — Петька не ученый. Вскроет два зоба и пишет научную работу с окончательными выводами. Но административная работа ему давалась и не мучила, а еще взбадривала, и кафедрой заведовал и — всего не упомню. Помню только, что вечно при встречах он торопился, спешил с одной работы на другую. Страшная азиатская жара, серые листья, очередь у киосков с водой — и прохладный, крепко сбитый, утешительный. Петя Сиповский договаривается о ближайшей вечеринке, хохочет и мчится дальше. И жизнь все потворствовала ему. В Сталинабад приехал он перед самой войной по договору на пять лет. Ленинградскую квартиру забронировал за ним Наркомздрав. В разгар блокады ее, было, забрали. Но вскоре приказ о броне был подтвержден, и управхоз прислал ему опись имущества, находящегося в квартире. И — о чудо! Количество вещей увеличилось. Вселенные в квартиру там и скончались, и вещи перешли во владение мажорного нашего баловня. Но шел он к своим целям открыто, хитрости его были доброкачественны, и все улыбались и потворствовали ему. И женщины тоже, но не из тех, что влюбляются:

1955
*28
февраля*

Жена Пети и свояченица, дочка и сынишка, мальчик — сын свояченицы. Женщины в семье были худенькие (особенно жена), миловидные, чуть наивные, по причине крайней культурности своей. Они знали языки и преподавали их где-то. И вот мы собирались чаще всего у них: Ирина Зарубина, Борис Смирнов, иногда Таня Чокой — и Бонди. И он там читал свои пародии, которые иногда мне нравились полностью. И нам было весело. Мы ели, что в трудные тогдашние времена действовало оживляюще. Да еще и пили. Патологоанатомам для работы их выдавали спирт. И это было тоже важно. Являлось некоторым событием. Шутка сказать — ужин. Бонди рассказывал, что когда Театр сатиры ездил в 42 году по Сибири, их от времени до времени приглашали на правительственные банкеты. В те времена с таких вот ужинов каждый норовил унести что-нибудь домой, для членов семьи, и это стало обычаем, ни в ком не вызывало удивления. Но один их актер носил с собою бутылку с воронкой. Помещался этот агрегат в его портфеле, а портфель — под стулом. И актер наловчился рюмку за рюмкой со стола сливать в бутылку. Таким образом он запасался спиртным для домашнего употребления, а на банкетах не пьянел. И все шло хорошо, пока где-то в Чите на банкете в обкоме не упала у него бутылка. Актер прозевал эту катастрофу. И потекла струя из-под его стула на середину зала, по всему полу. Вот как тогда гонялись за едой и питьем. В Сталинабаде вопрос об этом не стоял так уж остро. И мы никогда, и в блокадные даже дни, не впадали в умопомрачение в этих вопросах. Однако надо, говоря о том времени, непременно напомнить эту особенность быта. В гости не звали в Кирове. Сталинабад поразил нас своей щедростью. Кормили просто, но сытно. Картошка, селедка, оладьи — и разведенный спирт. Прелестный Борис Смирнов, наивный по-актерски, как и подобает красивому и темпераментному герою, вместе с тем был тих и скромен. У него была одна особенность. Он не пьянел до известной черты, а потом раз — и все.

1955
*1
марта*

Вспоминаю об этой черте Смирнова к тому, что на этих вечеринках — ни разу не переходил он за роковую границу, ни разу не принимался спокойно и равнодушно и безостановочно ругаться по матушке, — а только так, а не иначе проявлялось у

него опьянение. Было весело, но вместе и пристойно. В колее сталинабадской жизни существовала любопытная особенность: все мы понимали, что она недолговечна. Акимов все уезжал в Москву, а труппа ожидала его возвращения и, в тот период существования театра, поругивала его с неустанной энергией. И я и Бонди были его вечными защитниками. Алексей Михайлович любил рассказывать, что Акимов как-то заявил ему, еще в ленинградские довоенные времена, что не побоялся бы после кораблекрушения остаться на плоту с весьма немногими людьми — и Алексея Михайловича включал в число этих избранных. И любопытно, что мне в труппе прощалось то, что я вечно заступаюсь за худрука, а на Бонди за это косились. И он любил, строго покачивая большой своей головой, пожаловаться на человеческое несовершенство. И в самом деле — переменчивее и капризнее существо, чем актерский коллектив — вряд ли разыщешь. Но вот Акимов совершил очередное чудо и добился перевода театра в Москву. Коллектив присмирел и повеселел. Впрочем, на Бонди к тому времени еще больше сердились, не прощая ему уже ничего. Вспомнили, что был у него длительный роман с какой-то актрисой в труппе, и он с ней обращался деспотически. Сердились на то, что он уехал в Москву, не ожидая всей труппы, а вместе с Акимовым. И все в этом же роде. На последнем прощальном правительственном банкете был он мрачен. Сказал, что никогда в нем не просыпались так остро щедринские настроения. Геолог, дочка одного академика, которая была к нему неравнодушна, прислала ему записку по-французски: “Пуркуа ву зет трист?” Попозже видел я, как сидели они на крылечке и Бонди, покачивая своей большой головой, говорил ей что-то негромко.

1955
1
марта

И вскоре после этого банкета наше сталинабадское житье кончилось. В Москве получилось так, что встречались мы редко. Бонди написал там свою обработку “Льва Гурыча Синичкина” и много беспокоился, что никто не понимает, что сделал он, в сущности, самостоятельную пьесу. А так оно и было. И я писал, как завлит, разъяснения по этому поводу в Управление авторских прав. И в конце концов нужные инстанции признали “Льва Гурыча” пьесой самостоятельной. И спектакль очень удался, и вот здесь я был поражен удивительной игрой Нурм. У нее каждое слово

было словно золотое. И словно колдовство — никто не понимал этого. То есть — недостаточное количество людей. Словно колдовство или проклятье не пускало ни Бонди, ни Нурм дальше известности в узком кругу. Написал он комедию, очень хорошую, но ее не пропустили. Написал пьесу для Образцова "Обыкновенный концерт" — и тут исключительный успех спектакля привел к тому, что автора просто забыли. И он обижался, но так как никого при этом не обижал, то считались с его полными достоинства протестами мало. Да в случае с Образцовым и протестовать-то не приходилось. За все это время я был у Бонди в гостях только однажды. С Акимовым. За столом с нами ужинала худенькая девушка с чуть-чуть слишком полными, негритянскими губами и огромными влажными робкими глазами. Совсем молоденькая, дочь каких-то друзей Бонди или Нурм, танцовщица. И была она влюблена в Акимова, не сводила с него глаз. И театр переехал в Ленинград. И мы снова здесь подружились. Однажды у нас сыграли они, сидя за чайным столом, скетч, написанный Бонди. Захотелось им проверить, смешной он или нет. И я еще раз удивился — как хорошеет Нурм, играя. Тут никакого грима не надо. Словно освещается лицо. Вот уж — божественная сила, творящая чудеса.

1955
3 марта

Но я забыл рассказать о среде, о Ленинграде тех дней, 45—47-го года. Стену нашей квартиры, пробитую снарядом в феврале 42 года, заделали, квартиру отремонтировали, и мы поселились на старом месте. Из жильцов напротив уцелело только семейство в четвертом этаже, где мальчишки вечно свисали из окон, собирались выпасть. Увидев Катюшу у окна, жильцы забегали, принялись звать кого-то из глубин своей квартиры. Узнали. Все окна напротив казались ослепшими: вместо стекол — фанера. Письменские жили в помещении Института усовершенствования учителей. Внизу, как войдешь, висело на дверце объявление: "Гардероб. Раздеваться обязательно". Но, открыв дверцу, видел ты бочки с цементом, доски и козлы, забрызганные известью. Город начинал, только начинал оживать. Нас преследовало смутное ощущение, что он, подурневший, оглушенный, полуослепший, — еще

и отравлен. Чем? Трупами, что недавно валялись на улицах, на площадках лестниц? Горем? Во всяком случае приезжие заболевали тут фурункулезом какой-то особо затяжной формы. Странное чувство испытали мы, возвращаясь от Письменских в девять часов вечера. Июль. Совсем светло. Мы идем по Чернышеву переулку, переходим Фонтанку по Чернышеву мосту, потом переулком мимо Апраксина двора. Потом мимо Гостиного выходим на канал Гри-боедова. И ни одного человека не встретили мы по пути. Словно шли по мертвому городу. Светло, как днем, а пустынно, как не бывало в этих местах даже глубокой ночью. И впечатление мертвенности усиливали слепые окна и забитые витрины магазинов.

1956
21 марта

"Подписные издания" ... помещаются в магазине очень памятном, на улице Бродского. Там, в 45 — 47-м годах царствовал так называемый лимитный магазин, таинственный, окруженный слухами и подозрениями. В нем получали пайки ученые и писатели. Одни — на триста рублей в месяц, другие — на пятьсот. Выдавалась длинненькая книжечка, в которой напечатаны были купоны на разные суммы — рубль, три рубля, пять рублей. И копейки. Продукты были нормированные и ненормированные. Последних мало: черная икра, например. В нормированные входили мясо, масло, сахар. На них имелись свои купоны. Сюда же прикреплял ты свою литерную карточку. Лимитную книжечку на 300 рублей получил я в Москве. Много волнений пережили мы, пока не перевели мой лимит сюда, когда в 45-м году вернулись мы в Ленинград. Несколько раз ходил я в какое-то учреждение, занимающее барскую квартиру на Адмиралтейской набережной. И с этим связано чувство Ленинграда 45-го года. Еще словно больного. Так плешивеют после брюшного тифа. Голова зарастает, но смотреть жалко. Но лето, Нева, белые ночи — не пострадали. Наконец, мне выдали не то справку, не то самую книжечку. И я пошел с Наташей в магазин. Прикрепился. И по неопытности получил в счет мяса копченые свиные языки, такие соленые, что едва можно есть. Сейчас все забылось, но о сорок пятом годе рассказывать, не упоминая о карточках, пайках, трофейной посуде и других вещах, появлявшихся вдруг в магазинах — это значит забывать об очень

существенной черте того времени. А трофейные машины! Разнообразие марок удивительное. От "ДРВ", таких низеньких, что казалось, будто пассажиры сидят в ванне, до "оппель-адмирала" или "хорьха" или "мерседеса". Появились американские машины,"бьюик-айт" неслыханной красоты находился, по слухам, во владении какого-то кинооператора. Но вернемся к лимитам. Сколько волнений они вызывали!

1956
22
марта

В начале каждого месяца приходили списки, и никто не знал, не был до конца уверен, что таковой не сократят или не изменят где-то там, в таинственных торговых и вместе с тем идеологических недрах. Магазин на улице Бродского напоминал клуб. Там встречались артисты, ученые, писатели, художники и жены этих лиц. Разговоры в очередях — ибо и там в горячие дни, вырастали хвосты — велся на самые разнообразные темы. Иногда вспыхивали слухи. Чаще всего приносила их азартная и мнительная Ренэ Никитина. Она знала все от последних литературных новостей до литерных и лимитных. Этим свойством она славилась и в Кирове. Тесть Письменского, о котором я уже рассказывал, деликатнейший и тишайший Михаил Владимирович, придя из закрытого ОРСа писателей и научных работников, рассказывал удивительные новости. Когда изумленный Письменский спросил однажды: "Откуда вы это узнали?" — ответил: "Рассказала эта, ну как ее... которая все знает... Рено... с кисточками... с язвой". Так мы ее с тех пор и звали "Рено". "Кисточки" относились к ее шляпке, а "язва" — к желудку. В лимитном магазине знала она заранее, что привезут, когда, какого качества. Слухи, волновавшие всех, были, к примеру, таковы: "Магазин переводят. На новое место. Очень далеко. Надо хлопотать". И очередь гудела, и самые видные ее представители принимались хлопотать. И магазин оставался на старом месте. Войдешь, налево — бакалейный отдел, направо — масло, кондитерский, винный. В глубине, в следующей комнате — отдел мясной и рыбный. Катерина Ивановна все прихварывала, ходили в магазин больше я и Наташа. Вообще отличался тут состав покупателей большим количеством мужчин — заходили с работы. Или одинокие. Наметанным глазом тогда сразу угадаешь, бывало, где что выдают. По оживлению в одних отделах и пустоте в других. И вдруг исчез магазин.

1956
23
марта

Исчез, как будто его и не было, вместе со всеми пайками, распределителями, литерами и прочими карточками, исчез с целой полосой послевоенной жизни, будто его и не было. И мы легко, даже как бы радостно выбросили из памяти длинненькие книжечки с денежными продуктовыми купонами, будто их и не было. Уже в третий раз появлялись и занимали особое место, значительное и угрожающее, карточки в нашем существовании. Первый раз в 19—20 годы. Второй — в начале тридцатых. И тогда писателям давали книжечки в особые распределители, то давали, то отнимали, словно дразня или пугая. В зависимости от репутации, что установилась у тебя на данное время там где-то, в идеологически-распределительных недрах. И, наконец, в третий раз появились. Военные и послевоенные карточки от 41 до 47 года. С их исчезновением магазин существовал некоторое время, но уже в качестве обычного гастронома. Но вот магазин подписных изданий с Владимирского проспекта перебрался на улицу Бродского. Там, где был отдел животного масла, кондитерский, винный и табачный, стоят теперь строгие ящики с картотеками подписчиков, разбитые по алфавитам. Подписчики на "А", "Б", "В" расположены на месте животного масла, а моя буква — там, где был конец кондитерского. На месте бакалейного отдела горой высятся книги. Здесь ты получаешь по бумажке маленькой и квадратной, вроде листика из блокнотика, выданной тебе девицей, дежурящей у картотек, и по кассовому чеку соответствующий том соответствующего собрания сочинений. Там же, где продавали рыбу и мясо, — служебные помещения, отгороженные от магазина портьерами. И всегда в магазине очереди — только на этот раз он никак не похож на клуб. Тут — весь город: и студенты, и инженеры, и военные, и писатели — кого только нет! Есть очереди, которые мне очень нравятся.

1956
24
марта

Если объявлена подписка на какого-нибудь классика, то у Дома книги с вечера выстраивается очередь, бурная и немирная. Борются две группы: одна со списком, устраивающая переклички каждые три часа, и вторая, опоздавшая, легкомысленная отчасти, даже как бы разбойничья. Эта

— особенно смелая, к открытию магазина ревет: "Живая очередь!", разрывает списки, бросается вперед. Но и представители первой группы не дураки. Списки у них в нескольких экземплярах. В последнее время пошли разоблачения. Утверждают, что в очередях множество спекулянтов. Но это не меняет сути. Спекулянты заводятся вокруг предмета, имеющего сбыт. Книги в цене. Как всегда вокруг любого распределения, разгораются вокруг любой подписки страсти и в Союзе писателей. В конце концов установился закон: живая очередь. Или телефонная запись, но в день подписки строго в порядке живой очереди. Здесь, кроме любви к книге, еще и азарт, вызванный писательским самолюбием и мнительностью. Больше всего спрос на классиков — на Чехова, Тургенева. Страшные бои вокруг Джэка Лондона, Жюля Верна и Драйзера. "Всемирная история" разошлась в несколько часов. На углу улиц Бродского и Ракова — такие же ночные утешительные очереди в Филармонию. С бою берут абонементы на весь год. Следовательно, литература и искусство необходимы, как хлеб и масло. Впрочем, я забываю об отборе. В очередях сотни, а населения-то в городе сколько-то там миллионов. Это я понял как-то в том же магазине подписных изданий. Там между дверями в тамбуре установлен щит с очередными новинками. Среди них однажды увидел я 84-й том юбилейного издания Толстого. И два идиота, лет по семнадцати, тыкая в него пальцами, давились от смеха. Из обрывков их фраз я понял, что их смешит, как мог человек добровольно написать так много. По всему виду парнишек ясно мне стало, что забрели они в магазин случайно. Но как ни поворачивай, а магазин новый.

1945
23
июля

17 июля 1945 года я переехал на старую мою квартиру, которую в феврале 42-го разбило снарядом. Квартира восстановлена. Так же окрашены стены. Я сижу за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле. Многое сохранилось из мебели. Точнее — нам кажется, что многое, потому что думали мы, что погибло все. Часть вещей спрятала для нас Пинегина, живущая в квартире наискосок от нас. Она уезжала на фронт. Квартира ее была запечатана, и поэтому вещи сохранились.

Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша, и даже кота мы привезли из Москвы.

1945
25
июля

Я сажусь на двадцатый номер, который стоит у конечного своего пункта. Подходит второй вагон. Кондуктор сообщает: "Граждане, вылезайте, второй поезд пойдет раньше первого". Все повинуются. Когда мы проезжаем мимо поворота к Михайловскому замку, я с радостью вижу, что конную статую растреллиевского Петра вырыли и она лежит на боку возле постамента, чтобы вернуться на место после четырех лет войны. К Петру у меня особенное отношение. Я каждый раз в страшные дни 41 года, глядя на пустой постамент, говорил себе, что Петр на фронте. В Союзе я с радостью увидел Леву Левина, который приехал из армии в отпуск. Юра Герман там же. Он и Лева говорят о том, как странно после четырех лет войны опять шагать вместе по набережной.

1945
11
августа

Ночью шел по бульвару вдоль Марсова поля. Взглянул на Михайловский сад и сам удивился — до того он был прекрасен. Точнее, как меня потрясла его красота — вот что меня удивило. Вечером девятого пошел к Герману с Наташей. По дороге мы услышали позывные московского радио. У Германа нет приемника, и только поздно вечером мы узнали, что началась война с Японией. Мы сидели в большой комнате Германа, окнами она выходит на Мойку. Напротив — квартира Пушкина. Все окна в ней без стекол. Вместо них — не то серая фанера, не то кровельное железо. И у Германа из четырех комнат полупригодны для жилья только две. В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла. Мы сидели и вспоминали о том, как в этой же комнате услышали о начале финской кампании, как сидели тут у окон в июне сорок первого, и все думали-гадали, что с нами будет. И вот сидим и говорим о новой войне... И я опять, когда шел домой, радостно удивился тому, как поразила меня красота Мойки у Дворцовой площади.

1945
12
августа

Сценарий "Золушки" все работается и работается. Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой — она будет ставить "Золушку". Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк — не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова — смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро — полуеврей, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда, и как он вдруг иногда начинает заикаться. Это следствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк — длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом — иногда — вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он — самый активный из всех обсуждающих рабочий сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаянье. То ему хочется, чтобы король любил птиц, то — чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии. Все это, может быть, и ничего, но, увы, совершенно ни к чему. Я возражал — и часто яростно, но старался не обижать Блэка, ибо он человек, очевидно, нежный и, боюсь, вследствие этого недобрый. А согласие в группе — первое дело. После обсуждений мы ужинали. Кошеверова пленительно гостеприимна, что тоже редкий талант. Вообще встречи эти — целый период. Приятный.

1955
10
июля

... она была замужем за Акимовым. У него на углу Большой и Малой Посадской мы и познакомились. Подниматься надо было до неправдоподобности высоко, казалось, что ты ошибся и карабкаешься уже к чердаку по лестнице, бывшей черной, узкой и крутой. Послала судьба Акимовым квартиру большую, но нескладную. Попадал ты в кухню, просторы которой, ненужные и сумеречные, не могли быть освоены. Оттуда попадал ты в коридор, с дверями в другие комнаты, а из коридора — подумать только — в ванную. А из ванной в комнату самого Акимова, такую же большую, как кухня, выходящую окнами, расположенными полукругом, на ту широкую, расширяющуюся раструбом часть Малой Посадской,

что выходит на Кировский проспект. Подобная квартира с ванной, разрезающей ее пополам, могла образоваться только в силу многих исторических потрясений и множества делений, вызванных необходимостью. Где живет хозяйка квартиры и кто она, узнал я не сразу. У Акимова бывал я сначала с пьесой "Приключения Гогенштауфена". Потом с "Принцессой и свинопасом", потом с некрещеной и неудачной комедией для Грановской, потом с "Нашим гостеприимством" и, наконец, с "Тенью". Семь лет. И только через два года он познакомил меня с черной, смуглой, несколько нескладной, шагающей по-мужски Надеждой Николаевной, ассистенткой Козинцева. Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. Вскоре с Акимовым они разошлись. Вышла она за Москвина, и родился у нее Коля. И он успел вырасти и превратиться в очень хорошенького восьмилетнего мальчика, когда завязалось у меня с Надеждой Николаевной настоящее знакомство, непосредственно с ней, — она ставила мою работу, а не Акимов. "Золушку".

1955
11
июля

Начал я писать "Золушку" в Москве. Сначала на тринадцатом этаже гостиницы "Москва". Потом в "Балчуге", потом в "Астории", когда приезжал я в Ленинград по вызову "Ленфильма". Война шла к концу, и вот мы вернулись, наконец, в опустевший и словно смущенный Ленинград. Но ощущение конца тяжелейшего времени, победы, возвращения домой было сильнее, чем можно было ждать. Сильнее, чем я мог ждать от себя. Я думал, что вот и старость подошла, а ничего не сделано и весь я рассосредоточен после крушения "Дракона", трудных отношений с Акимовым. Он сделал открытие, что нужен ему настоящий завлит, а от меня одни неприятности. И Катюша была в тяжелом настроении. Как никогда в самые трудные времена. Ей не хотелось возвращаться в Ленинград, а хотелось, чтобы остались мы в родном ее городе, в Москве. А тут еще, едва мы уехали, пришла телеграмма от Володи Дмитриева, что он предлагает нам взять его квартиру. Сам он переезжает в новую. А мы только что прописались на прежней нашей квартире, расставили вещи. Два столяра

из Музея обороны города — Анечка прислала их к нам — сделали шкаф в переднюю, кухонный столик, висячие шкафы и табуретки, в кухню же. И у нас не хватило решимости снова подниматься с места и начинать все сначала. Остались мы, до сих пор не знаю, к добру или худу, в Ленинграде, что очень угнетало Катюшу. А город, глухонемой от контузии и полуслепой от фанер вместо стекол, глядел так, будто нас не узнает. Но вот вдруг я неожиданно испытал чувство облегчения, словно меня развязали. И с этим ощущением свободы шла у меня работа над сценарием. Песенки получались легко, сами собой. Я написал несколько стихотворений, причем целые куски придумывал на ходу или утром, сквозь сон. И в этом состоянии подъема и познакомился я, как следует, с Кошеверовой. Она писала рабочий сценарий, и мы собирались у нее обсуждать кусок за куском. Дом новой стройки на углу Кировского и Песочной. Серый.

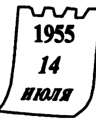
1955
12
июля

Строитель дома архитектор Левинсон, которого все звали Женя, несмотря на вполне зрелый возраст, жил в подъезде со двора. Почему-то, кажется мне, что как-то зашли мы к нему и дразнили, что не удалась ему постройка и что единственное для него возмездие в том, что приходится ему самому мыкать горе, наравне с прочими жильцами. И в самом деле дом этот, Корбюзье, не Корбюзье, с длинными балконами и широчайшими окнами, темно-серый, то промокал, то протекал. Лестница, ведущая к Кошеверовой, уже не в результате делений, а по вине Жени Левинсона, седого брюнета, с легкомысленным, словно с похмелья, лицом, с глазами не то ошалевшими, не то томными, с жесткими полуседыми волосами, прилаженными поперек лысины, была крута и неудобна. И снова казалось тут иной раз, что ты уже миновал номер, нужный тебе, а поднимаешься на чердак. Еще вспоминаю одну особенность этой весны: доехать до Кошеверовой в трамвае в 45 году было невозможно трудно. Одинаково трудно было сесть в трамвай и вылезти из него. Вагонов не хватало даже для опустевшего города. И когда я правдами и неправдами выдирался, наконец, из трамвая и шел от угла Песочной, где остановка, к широчайшему, прямоугольному проходу, взятому в решетки, ведущему во двор левинсоновского создания, меня не покидало ощущение того,

что я расширяюсь. На самом деле, не шутя. Меня так долго и свирепо тискали, что мне казалось, будто я расширяюсь. Когда я пришел в первый раз на обсуждение рабочего сценария, весь коллектив был уже в сборе. Оператор Женя Шапиро, полуеврей-полугрузин, с глазами черными и наивными, заикающийся после контузии, художник, фамилию которого я вдруг забыл, длинный, с большим ртом, нежным голосом и смутным выражением темных глаз. В нем чувствовалось что-то порочное. Не могу вспомнить Мишу Шапиро.

1955
13
июля

По-моему, на первых обсуждениях рабочего сценария он отсут-ствовал, согласился быть вторым постановщиком позже. Итак, из-за того, что я опоздал на первое обсуждение, не попав в набитый трамвай, — оно уже было в разгаре. Очень довольные, оживленные, все трое встретили меня сообщением, что нужно будет написать диалог, пока они тут придумали рыбьи слова — король говорит — ту-ту-ту, а привратники — та-та-та. Им выгоднее дать ворота не прямо, а в ракурсе, а для этого нужен лишний пробел. Я сразу рассердился, но, как всегда в тот период, весело. И объяснил твердо, что сценарий есть сценарий, что каков он ни есть, а написан добросовестно. Я могу согласиться, потому что уже охладел и забыл множество соображений, но моя уступчивость потом отомстит за себя, повредит картине. Так как соображения эти — насчет ворот, ракурса и прочего — были рассчитаны на обычное авторское безразличие и сами были предварительны и приблизительны — все трое легко, даже не без удовольствия согласились со мною. После того, как мы поработали, Кошеверова накормила нас ужином, даже с водкой. Так и начался и потянулся легкий и вдохновенный, можно сказать, период работы над “Золушкой”. И это навсегда, вероятно, установило особое отношение мое к Кошеверовой. Словно к другу детства или юности. Что-то случилось со мной, когда вернулись мы в Ленинград. Словно проснулся.



Ужасно трудно бороться с дальнозоркостью. Ну как можно описывать близких знакомых. Таких близких, что жалко задеть. Что не смеешь задеть. Вот я и бросаюсь от описания акимовской квартиры к рассказу о начале “Золушки”. А будь

Надежда Николаевна человеком в надлежащем отдалении, я бы связал ее и с той странной квартирой, в которой она жила. Ее судьба — жить в странных квартирах, с неудобными лестницами и со странными людьми с неудобным характером. Квартира, в которой мы познакомились, имела проходную ванную, ванную, загораживающую вход в кабинет. Сколько пришлось пережить жилплощади, прежде чем дошла она до такого состояния. Разойдясь с Акимовым, вышла Кошеверова за Москвина. Не знаю, каким был бы Москвин в условиях простых. У него жизнь, поскольку она известна мне, простотой не отличалась никак. В кинематограф он попал по превратностям судьбы. Очевидно, превратности оставили свои следы на его характере. Помощник его, бывший, в дальнейшем сам оператор, рассказывал с негодованием, не остывшим от времени, как нападали на Москвина припадки мрачности, выражавшиеся в полном молчании. Он не говорил, куда поставить аппарат, а плевал на соответствующее место ателье. С женой был на вы. На вы. На вы был и со своим единственным сыном, даже когда тому было всего только два-три года. Что намерен он делать, куда собирается поехать отдыхать, где бывает, кто его друзья — он глубоко скрывал. Жил, как бы на отшибе, в собственной семье. Всеми способами показывая, что они сами по себе, а он сам по себе. Спросишь его, где Надежда Николаевна. “Мне неизвестно, куда они отправились”. Когда поздравил я его с тем, что поступил Коля в университет, он ответил: “Это их дело”. И только.

1955 15 июля

А сам звонил, как всем было это известно, после каждого Колиного экзамена из Ялты, спрашивал: “Чем дело кончилось у этого субъекта?” Он снимал в Ялте в это время “Овод”. Как у всех скрытных людей, жизнь его была, как на ладони. Скрывал он мелочи — куда идет вечером, что привез из Москвы, какие носки он там купил. Но и это открывалось. В конце концов носки приходилось надевать. А что он любит, что уважает, что ненавидит — все знали. Молчанием своим, свирепой серьезностью завоевал он себе на студии положение независимое. Никто от него не требовал имитации общественной активности. На собраниях он не выступал, статей не писал. Угловатая, но сильная его индивидуальность не укладывалась в рамки, и все чувствовали, что уложить ее будет хлопотливо, а то и

невозможно. Любопытно, что при всей угловатости у него врагов не было. Было — нормальное количество. Сколько положено талантливому человеку. А может, и меньше — враги подобного рода не любят хлопот, а Москвина побаивались. Он не завел друзей, не завел и врагов — держался особняком. Необходимо добавить, что удалось ему это, конечно, не только с помощью строгого нрава. Все знали, что он едва ли не лучший оператор во всем союзе. И он, кроме того, великолепно разбирается в самой теории своего дела, в научной ее стороне. Правда, множество не менее талантливых и ученых людей никак не могли поставить себя на столь независимый лад. Значит, все же дело в его поведении. Иной раз казалось мне, что по древней традиции, впитанной, вошедшей в плоть и кровь, юродствует он во имя свободы. Вполне бессознательно. Уходит от суеты сует. Отсюда его молчание, плевки, манера говорить "вы" близким, чтобы отгородиться. И полная чистота от фразы и фальши.

1955
16
июля

Но и от внимательности, уживчивости, простой вежливости, от всех форм, облегчающих совместное проживание, освободил себя Москвин. И поэтому жизнь с ним — далеко не проста. Упрощение всех форм, принятых односторонним решением Москвина, близким его отнюдь не упрощало жизнь. Но заражало. Он, человек сильный внутренне, имел некоторое подобие школы. Например, его манеру безоговорочно усвоил Юра Борщевский, сын актрисы Магарилл, выросший в сфере влияния Москвина. И впитал и усвоил Коля — родной сын самого героя. Я иногда смеюсь, иногда прихожу в ярость, видя, как отец и сын, посостязавшись друг с другом, испробовав друг на друге непроницаемость, прямоту, независимость от каких бы то ни было условностей, показывают норов на Надежде Николаевне. Я зван к обеду. Хозяйка возится в кухне. "Когда, наконец, будет питание?" — возглашает Москвин, ни на кого не глядя. В пространство. Из кухни отвечает нетерпеливо, баском Надежда Николаевна: "Сейчас! Подождите, Андрей Николаевич". —"Когда будет питание! — повторяет Андрей Николаевич, словно не слыша. — Шварц, наваливайтесь. Их не дождаться. Они не могут". А Надежда Николаевна спорит с сыном: "Николай! " Молчание. "Николай! " — "Ну, что?" — "Сними эти лохмотья". Молчание. "Слышишь, что я тебе говорю?" — "Мне в них

удобно". —"Мне нужно, чтобы ты спустился вниз, в магазин". Молчание. "Николай! " Молчание. Лежа на тахте, в брюках от лыжного костюма, которые и в самом деле внизу обтрепались до невозможности, обратились в лохмотья, Николай читает. "Когда, наконец, будет питание", — провозглашает Москвин. А за обедом Юра Борщевский голосом и тоном Москвина говорит жене, глядя в пространство: "Они изволят сегодня есть третий кусок пирога, а потом удивляются, что полнеют".

1955
18
июля

Итак — я зван обедать и сижу в комнате, похожей на мастерскую. Москвин уже провозгласил положенное число раз: "Когда будет питание! " Николай, надев приличные штаны, отправился в магазин, чтобы купить чего-то недостающего к обеду. Вернее всего, боржома для меня. Я спросил строго, придя: "А боржом небось забыла купить?" И я, как и все, не стесняюсь с Надеждой Николаевной. Уж очень она хороший товарищ, славный парень. Я сижу на низком кресле в ногах москвинской тахты. Он что-то мастерит у станка. На столе у станка. Самый станок в действии не видал я ни разу. Москвин не позволил бы себе подобной откровенности. Вдруг, пристально разглядывая детали неведомой машины, Москвин заявляет в пространство: "Сподобился". Я жду. И короткими, умышленно небрежными фразами Москвин позволяет себе неслыханную вольность: рассказывает, как выступал он в Академии наук, рассказывал о своих опытах по цветному кино. И несмотря на умышленно иронический тон, легко угадать, что Москвин доволен встречей с учеными, что оппонентов он разбил и академик, председательствующий на заседании, принял его сторону. И я с удовольствием замечаю, что и Москвин иногда испытывает желание поделиться, а не запрятать поглубже. И Москвин — человек. И вот, наконец, зовут нас к столу. Надежда Николаевна — человек занятой, режиссер, работник редкой энергии, кроме того, отлично умеет угостить. Причем закуски у нее не магазинные — сама изобретает и сама готовит. Водка — ледяная.

1955
19
июля

Впрочем, это частично заслуга Москвина. Он добыл где-то холодильник, небольшой, не выше ночного столика, загадочной системы, и усовершенствовал. В самом разгаре

обеда я говорю Кошеверовой: “А ваш-то! В Академии выступает”, — и сообщаю, что услышал от Москвина. Надежда Николаевна коротко смеется, баском. В смехе ее и смущение, и удовольствие. “Вот как! — говорит она. — Это для меня новость! ” Я взглядываю на Москвина. Невиданное зрелище! Он вдруг краснеет. Его суровое, по-своему красивое лицо, длинное, очкастое, с высоким лбом, заливается краской, сохраняя все то же замкнутое и неприступное выражение. Надежда Николаевна такой славный парень, такой надежный товарищ, что подчиняется правилам игры, предложенным близкими, безропотно. Отвечает им грубовато и безлично, как предложено. И возится с ними так, что в сущности они и ухожены, и накормлены, и чувствуют, что живут в налаженном доме. Николай — славный парень, едва выбирающийся на дорогу, что вчуже страшно: куда-то его занесет, выберется ли. Никто, кроме него, особенно тут помочь не может. То он появляется на даче у нас — бледный, в прыщах, заросший волосами так, что за чубом не видно лба, то приедет повеселей. В десятом классе подтянулся и работал, как вол. В университете работать продолжает. Надежда Николаевна добилась того, что он с детства занимался английским языком. Потом перевела в английскую школу — знание языка помогает ему на физическом факультете, очень помогает. В 47 году в Лиелупе он был отчаянным мальчишкой, на редкость хорошеньким. Красота его пропала в закоулках и превратностях роста. В те дни он сумасбродствовал и не слушался в течение дня. Вечером же непременно садился возле матери вплотную, словно прирастал к ней. И не отставал.

1955
20
июля

И просил, уже из комнаты, улегшись: “Ну, довольно тебе сидеть на террасе. Ну почитай, хоть немного”. И мать, словно украдкой, стыдясь своей слабости, садилась возле и читала сердитым голосом. Нарушали оба правила суровой, мужественной игры, установленной в семье. Изредка приходили суровые, написанные в обезличенной форме письма отца семейства. Одна Колина открытка, написанная в ответ, такова: “Здравствуйте. Я много купаюсь. Вечерами мы играем в шарады. Я придумал шараду. Первое — взрывчатое вещество. Второе — часть родительного падежа от пастуха.

Целое — Ольга Дмитриевна, Коля". Шарада решалась так: Тол-Стуха. С годами то, что проявлялось в Коле каждый вечер, стало проявляться так редко, что можно было бы и забыть. Но все же проявлялось. Вот живут они летом в Пюхяярви. Коля и Надежда Николаевна. Всей семьей никуда и никогда они не уезжали. На такое открытое признание семейных связей Москвин не был способен. И вот ушла Надежда Николаевна погулять в лес и заблудилась. Выбралась только к вечеру, когда весь дачный поселок, разбившись на отряды, собирался идти на поиски. Но едва они тронулись, из лесу, прямо на первый же отряд, вышла сама заблудившаяся. Она шла и смеялась весело, баском. И в сумерках двигались навстречу ей остальные отряды. И Коля с ними. И он сказал: "Идет, смеется, как русалка, а мы тут с ума сходим". Проявляются Колины чувства и в том, что всю свою университетскую стипендию отдает он матери. Как-то прибежал он срочно, взять взаймы — увидел датский чайный сервиз, который, как он знал, должен понравиться матери. И купил. И подарил его ей. В прошлом месяце, возвращаясь из отпуска, задержалась Надежда Николаевна в Москве. Я позвонил к Москвиным, и Коля сказал с досадой: "Они не явились. Разве им можно верить? Я знаю, что еще неделю их ждать".

1955
21
июля

«А мама не звонила?" — спросил я. "Звонили. О чем-то беседовали с папенькой". —"И ты не спросил, о чем?" — "Нет". Однажды, года три назад, жил Коля с Юрой Борщевским в туристском лагере. И не писал домой. Молчал и Юра. Надежда Николаевна стала беспокоиться. И вот сидим мы у нас на террасе в Комарово, и вдруг входит Николай с огромным заплечным мешком. И с ним Юра — оба участвуют в большом туристском переходе. Николай с чубом до бровей, одичавший, но веселый. Его первый вопрос: "Не известно ли, где маменька?" Оказывается, произошло какое-то недоразумение с адресами: он не получал писем и тоже встревожился. И вдруг минут через двадцать — столь же внезапно, как сын, — появилась мать, случайно попавшая в Комарово. И мы увидели редкое зрелище: встречу близких людей москвинской школы. Оба обрадовались. И сын, и мать. Она даже коротко засмеялась, баском. Он же только опустил глаза и принял упрямое выражение. Даже

“здравствуйте” не сказали они друг другу. После некоторой паузы мать спросила: “Ты что, с ума сошел — почему не писал мне?” На что сын ответил безлично: “Для того, чтобы получать письма, надо точно сообщать о своем местопребывании”. После чего разговор стал общим. Проблески внимания, подобие ласки видит Надежда Николаевна от сына не слишком часто, зато молчанием, полным упрямого достоинства, и грубоватыми ответами — никак не обделена. Этим товаром дышит весь дом, как хозяйственная лавка — керосином, хоть там продают и свечи, и гвозди, и даже фарфоровые сервизы. Чехов утверждает, что, как живут муж и жена, знают только они сами и бог. Поэтому я ничего не знаю насчет того, какой Москвин муж. Но как глава семьи — это явление, подобное полярному климату или сирокко там какому-нибудь. Угловатое явление.

1955 22 июля

И Надя, славный парень, отличный товарищ, ведет дом в условиях, далеко не приспособленных для человеческого житья. Никто не скажет, что она у своих мужчин в рабстве или обезличена их могучими юродствующими личностями, дурацкими выходками. Нет, ведет она дом весело, не мудрствуя лукаво, покрикивая баском в ответ домашним агрессорам.

1955 23 июля

Надежда Николаевна после “Золушки” хотела поставить еще одну картину по моему сценарию, но ничего с этим не получилось. Но так или иначе продолжала она работать без простоев, столь обычных у режиссеров в прошедшие годы. И Козинцев, полушутя, жаловался: “Надя опять мечется с монтировками в зубах”. “Я чувствую, что с Надей все кончено. Она опять утонула в монтировках”. И в самом деле — в работе она была на зависть вынослива, неуступчива, неутомима. И делала то, что надо. Не мудрствуя лукаво. Убеждена была она в своей правоте без всяких оглядываний. И когда друзья налетали на нее по тому или другому случаю, касающемуся ее режиссуры, она в ответ только посмеивалась, баском. И хотел написать — поступала по-своему. Но вспомнил, что в тех случаях, когда доводы оказывались убедительными, она спокойно соглашалась. Нет, упрямство ее было доброкачественным. А иногда оста-

валась при своем, хотя друзья налетали строго и темпераментно, — Надя была отличный парень, великолепный товарищ. Во-первых, не обижалась. А во-вторых, обидевшись, так и сказала бы, а не ответила бы ударом из-за угла. Чего же тут стесняться. Так вот она и живет. И дом на ней. И работа. И держится она среди своих домашних юродивых так бодро, что Козинцев искренне убеждал как-то, что Наде это нравится. На самом же деле принимает она их такими, как они есть или изображают себя, не причитает по поводу горькой своей женской доли. Не косится с завистью на семьи, где мужчины попроще. Не мудрствует лукаво, славный парень, отличный товарищ. И в работе, и дома, и с друзьями.

1945
21
октября

Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось сорок девять лет. Пришелся этот день на воскресенье. И я мечтаю, что это к счастью. В этом году очень ранняя осень перешла в настоящую зиму дня два-три назад. На крыше дома напротив я вижу снег, на карнизах тоже, на остатках водосточных труб висят сосульки. Я за последние два месяца с огромным трудом, почти с отвращением, работал над сказкой “Царь Водокрут”. Для кукольного театра. Вначале сказка мне нравилась. Я прочел ее труппе театра. Два действия прочел. Актеры хвалили, но я переделал все заново. И пьеса стала лучше, но опротивела мне. Но, как бы то ни было, сказка окончена и сдана. Но запуталось дело со сценарием, который заказал мне для режиссера Роу “Союздетфильм”...

“Золушку” готовят к съемкам. Боже мой, какое это громоздкое, бестолковое, неуклюжее предприятие. Картину решили делать цветной, отчего все дело еще более усложнилось. Снимать ее собираются в Праге, что тоже дела не упростит.

1946
10
апреля

Сценарий “Царь Водокрут” принят в Москве “Союздетфильмом”. Ставит Роу.

Пьесу все пишу да пишу. Читал Акимову. Едва не поссорился с ним. Целый месяц не разговаривал. Он очень тяжелый человек. Теперь как будто помирились. Пишу второй акт. Застрял на сцене встречи переодетой принцессы с медведем.

Переписываю чуть ли не в шестой раз.

Я получил медаль за оборону Ленинграда. За месяц до этого — медаль за доблестный труд во время войны.



Долго ли, коротко ли, но вот переехал театр [Комедии] в Ленинград. И мы поехали в 1946 году с театром в Сочи. Я уже не был завлитом, но связь все не порывалась. Я ехал, чтобы писать для театра новую пьесу. Мне, Катюше, Леночке и Вейсбрему администратор достал мягкий вагон. Мы ехали в одном купе, и воспоминание об этой поездке осталось у меня смутное. Все мы были уж очень разные люди. Я умею приноровиться, к сожалению, к людям самым различным. Но тут была Катюша, и она ни с кем не ссорилась, как всегда, но я чувствовал, что она несоизмерима с Вейсбремом. И не хочет скрывать это. А Леночка была не в духе. А у нее это выражается всегда в том, что держится она весело, но напряженно. И только что произошло событие, тень которого все сгущалась, — решение о журналах "Звезда" и "Ленинград". И мы отбрасывали мысли о том, каковы последствия этого решения для всех нас. Тоже невеселая работка. Только и утешение было на больших станциях покупать еду — кур, гусей, груши, яблоки. И чувствовать приближение юга. И еще было весело, когда из общего вагона, куда загнала администрация группу актеров, прибегала Тамара, легкая, тоненькая, совсем девочка, с ясным лбом, спокойными бровями. Прибегала она в пижаме — в общем вагоне стояла жара. И она попросила Катю погадать. И Катя согласилась. И вышли Тамаре карты до того угрожающие, с пиковым тузом, и десяткой, и девяткой, что все мы, и без того встревоженные, хоть и смеялись, но в глубине души — огорчились. Когда мы были в Туапсе, хлынул дождь, когда приближались к Сочи, он превратился в ливень. Мы едва успели добежать до навеса вокзального ресторана. Когда ливень утих, администратор, встречавший нас, сказал: "Скорее в автобус, а то прогноз опять начнется". Следовательно, прогноз считал он названием дурной погоды. Мы все поселились рядом: Нинка Барченко в одном доме с нами.



Ирина Зарубина — напротив, в нескольких шагах, в одном с нами дворике. Колесов и Тамара через дом. Жили мы неудобно. Комната маленькая. Одолевали нас мухи. Но война кончилась так недавно, что мы, закаленные эвакуацией, на эти мелочи и не глядели. Хозяйка, по фамилии Франк, ссорилась по ночам со своим вторым мужем, упрекала его в чем-то и плакала. Она вышла замуж недавно. Однажды вдруг появились рослые и очень привлекательные, похожие друг на друга парни — ее сыновья, кончившие десятилетку и ездившие в Харьков держать экзамены в какой-то вуз. Экзамены они выдержали, до начала занятий еще оставалось несколько дней. И ребята без билетов вернулись на крыше поезда. Хозяйка похорошела, засияла. И мальчики, самостоятельные, молчаливые, тоже улыбались. Они все что-то мастерили по дому, для материнского хозяйства. А перед отъездом, усевшись под деревом за столом, принялись что-то рисовать тщательно на маленьких прямоугольниках чертежной бумаги. Гляжу, это они делают на дорогу карты. В те дни карточную колоду было никак не достать. Маленькая Таня Зарубина по старой памяти с утра прибегала к нам в гости. В большой школе, напротив, начались занятия, и она стала уже любимицей школьниц и ужасом педагогов. Она пряталась под парты, а потом вылезала среди урока. Забиралась в класс через окно. Однажды под вечер пришла она к Кате, и разговор завязался на научные темы. Катя объяснила ей, что Земля — шар. Таня сначала спорила, потом сдалась, она очень верила Катерине Ивановне. Принялась озабоченно расспрашивать о подробностях. И когда под конец разговора услышала, что ее зовут, попросила: “Катерина Ивановна, проводите меня, а то уже стемнело, да еще Земля круглая”. А всего-то пути до дому было ей шагов пять. Но уж очень изменился мир после рассказов Катерины Ивановны. Как всегда, привязался к нам пес по имени Бобка. Хромой, задняя нога согнута в суставе, короткошерстный, белый с рыжими пятнами. Ничей.

1955
10
октября

Кормили Бобку все понемножку. Появился он в Сочи во время войны и прославился тем, что безошибочно отличал наши самолеты от немецких. По звуку. Услышав немецкий, он метался, и визжал, и еще до воздушной тревоги

предупреждал об опасности. Он всюду сопровождал Катюшу. У служебного входа под античными колоннами театра собиралась вечерами вся труппа. И занятые в спектакле — с фиолетовыми лицами и наклеенными бачками — и не занятые. И Бобка рычал и пытался укусить тех актеров, кто целовал при встрече Катюше руку. Видимо, полагал, что они хотят укусить. И к морю он ходил с нами, но в воду не шел. Боялся. Мешала сломанная нога. И только однажды, в прибой, так испугался за Катю, что попытался поплыть за нею, что пришлось тащить его из моря на руках. Приехали мы в ливень, все казалось таким чужим, когда через час после приезда сидели мы в комнате у Зарубиной (она приехала дня за три до нас), пили чай и смотрели на мокрые листья и морской туман, что полз через двор. Казалось, что мы сделали ошибку, неловкость, явились куда-то, где нам не рады. Но вот прошло два-три дня, очень длинных, как всегда на новом месте, и уже казалось, что быт установился прочно и надолго. Утром шел я к Акимову, писать пьесу. К нему было недалеко. Дворами в асфальте и зелени, которая так и рвалась через какие-то решетки и проволочные сетки, попадал я, минуя пересохший фонтан, в густой сад, где стояла дача, похожая на сочинские дачи моего детства, с широким балконом во всю длину второго этажа, вся заросшая диким виноградом. Одна была разница — дача эта держалась словно бы чудом. Низ — необитаемый. Навалены какие-то доски. В комнаты Акимова и Леночки попадать приходилось тоже через необитаемую комнату с облупленной штукатуркой. Но у них уже было все по-сочински. Жужжали осы.

1955
11
октября

На столе — тарелки с черносливом, нет, с теми огромными черно-синими сливами, из которых и получается чернослив, с персиками, грушами. Тарелки покрыты салфетками, но осы и пчелы так и жужжат и вьются вокруг. Мебели нет почти. Самая необходимая. В комнате у Леночки пережившее столько событий и неведомо как уцелевшее с тех 1890-х годов большое трюмо в углу. Так, примерно, девяностых годов. Хоть и чувствовал я себя в те дни, как всегда на море, бессмысленно счастливым, но, словно звуковой фон, мешающий слушать по радио то, что ты любишь, обстановка мешала жить спокойно. Труппа бушевала не менее бессознательно, чем

море, но куда менее величественно. Как всегда в тяжелые времена, вылезали на свет божий самые ядовитые неудачники и пристраивались к самым настойчивым склочникам и карьеристам. И я чувствовал, что не только в театре, а и у нас в Союзе писателей. А из "Ленфильма" шли телеграммы, одна настойчивей и повелительней другой, требующие, чтобы я приехал и занялся переделкой сценария "Золушки" в свете решений о журналах. Я ни за что не хотел ехать, чувствуя, что чем позже вернусь, тем здоровее будет обстановка. Но воспоминание о перепуганно-повелительном тоне телеграмм Глотова преследовало, как запах гари, впитавшийся в твою одежу. А Акимов настаивал, чтобы я написал пьесу очень быстро ("Принцессу и свинопаса", например, написал я в неделю), он настаивал неотступно, чтобы пьеса на современную тему, крайне театру необходимая, была мной сделана в месяц. Он репетировал в будущем театре, а я сидел за столом на длинной, во всю длину дома, широкой галерее за маленьким столиком и пытался писать. Жужжание ос, шум прибоя, сад некоторое время поддерживали ощущение счастья. Но скоро чувство неблагополучия брало верх. И я то начинал писать, то бросал и вспоминал, все вспоминал. Однажды увидел я газету возле.

1955
12
октября

Увидел сегодняшний номер газеты на стуле, возле. И я принялся, как школьник, читать газету, вместо того чтобы писать. Леночка вышла из комнаты, и я, вздрогнув, спрятал газету, как школьник, бросился выполнять урок. Леночка весело, а вместе как бы с сожалением смеялась. И я смеялся и ужасался. Ведь мне в октябре, через два месяца должно было исполниться пятьдесят лет. А я был вон какой. Все задевало меня, и я легко слушался, и пьесы мои все не шли, хотя их и любили хвалить друзья при случае. К морю мы шли через сад дачи, где жил Акимов. Огорожена она была развалинами дореволюционной решетки, утонувшей в зарослях ажины. Самые разрушенные части изгороди укреплены были колючей проволокой. Вот тут-то мы и продирались между ажиной, наступая на проволоку. Узенькая тропинка, почти отвесно падающая вниз, заставляла то скользить, то бежать между разбитыми бетонными глыбами (берег тут был укреплен некогда) вниз, к морю, где большие бетонные кубы то

скрывались, то выглядывали из воды — море их то закрывало, то показывало. Нагромождение природных камней и бетонных глыб, узенькая полоска берега, шум прибоя. Перед репетицией или перед обедом здесь всегда можно было застать наших актеров. Филиппов, длиннолицый, сиповатый, куда более умный и начитанный, чем можно предположить, но полный нигилист, лежит, бывало, на солнышке, и уже по одному тому, как он спустил трусы и задрал ноги, видно, что ни во что на свете он не верит, Ольга Львовна, помреж, чернявая, до невозможности тощая, никак не заполняя свой черный купальный костюм, спотыкаясь и оступаясь — такое здесь дно, выбирается на берег. И Филиппов сипит лениво: "Эй, Ольга, формы в море обронила". Иной раз показывается тут Савостьянов, крупный, преувеличенно хорошо сложенный. Плечи широкие, грудная клетка великолепная. Но все декоративно. Не мышцы это, а больно много мякоти. И улыбается он декоративно приветливо. Как все молчаливые люди, кажется значительным. Таинственно молчит на обсуждениях пьес. За столько лет не сказал ни одной глупости. Но и умного слова мы от него не слыхали. Любит вышивать не то по канве, не то по атласу. Он не валяется, как Филиппов, а стоит на солнце. Молча. Но здесь он, повторяю, только показывается. Обычно он совершает воздушно-морские лечебные укрепляющие процедуры на медицинском пляже. Бывает здесь Суханов, едва ли не самый любопытный человек в труппе. Скрытен. Как многие сильные люди, органически не может похвалить, когда хвалят все, и заступается, когда все ругают. Это последнее, по суровости характера, случается с ним реже. Молчит, когда все ругают. Если высказывается по превратностям характера, то часто говорит умно и во всяком случае интересно. Кто-то говорил мне, что перенес он тяжелое детство. Попал в руки каких-то хулиганов из их двора, которые издевались над ним. Как? Не знаю. Рассказывал кто-то из актрис. Он о себе молчит. Не так декоративно, как Савостьянов. Этот молчит о себе, как иные рассказывают. Особенно когда он молча, с сеткой на голове усаживается вышивать гладью. Нет, Суханов молчал о себе как молодой человек нашего времени и продолжает молчать и в наши дни, дожив до средних лет. Актер Суханов отличный. Человек суровый. И все-таки наши администраторы вечно обижают его, чувствуя, что он из самолюбия и

брезгливости не станет с ними связываться. И комнаты ему дадут похуже, и с пропиской в Москве во время гастролей наших он возился самолично, когда мы все уже были прописаны в гостинице “Москва”. Ему почему-то устроили комнату в какой-то частной квартире далеко от театра. И когда мы вернулись в Ленинград, ему устроили прежнюю квартиру, ту, в которой родился и вырос, чего ему очень не хотелось. И он просил подыскать ему что-нибудь другое, но из брезгливости не настаивал. Впервые тут услышал я от него некоторое как бы подтверждение слухов, что детство у него было тяжелое. Он сказал, что боится и ненавидит и двор свой, и квартиру. Из-за детских воспоминаний. Или не он?

1955 13 октября

Рассказывала, по-моему, об этом Сима, жена Суханова, крупная, низколобая, улыбающаяся, в те дни — очень здоровая. И маленький, тощенький Максим, их сын, и Сима сидят тут же на обломках бетонных глыб. (Рассказ о Суханове получился путаным, но иначе о нем и не расскажешь.) Здесь и Люлько, черноглазая и тоненькая, в которую многие влюблены за молодость и трогательность, совсем еще девочка. За несколько дней до нашего приезда в сильный прибой она и кто-то еще из актрис едва не утонули, прибой швырял их на бетонные кубы, но Суханов их спас, плавал возле, отбрасывая раз за разом, с каждой волной от прямых ребер бетона. И вывел в бухточку. Он не был влюблен в Люлько. Он не из тех, кто влюбляется. Он видит. Верно или неверно — он все видит человека. И ничего в женщине не ощущает таинственного. Тем более что в этом деле он слишком уж силен. Итак, мы спускаемся вниз по крутой тропинке, то скользим, то бежим, над нами над обрывом деревья, внизу — полоска берега, и море, и шорох камешков, которые катает прибой. И всегда что-то новое в море. Никогда не смотришь на него спокойно, сколько ни видишь. С детских лет. И в узенькой бухточке и на камнях все мы не просто мы, а мы на море. Летом. Не могу вспомнить, появлялся на берегу Левушка или нет. Все что-то представляется он мне одетым. И подымающимся из подвальчика, где скромно и как бы случайно частники продают вино. А может быть, и не частники — но такое выражение у заведующего. Грешное. Вейсбрем срочно ставил пьесу Леонова. Название забыл. Про молодого ученого, который

восхищается “хрупкой тишиной утренних часов” в лаборатории и, когда умирает у него дорогая подопытная обезьяна, собирается отказаться от Сталинской премии. Вейсбрем и актеры делали все, что в их силах. Но до этой Гекубы им уж до противоестественности, нет, не то — вполне естественно, не было ни малейшего дела. А страсти в театре кипели. И все, кто боялся нападать на Акимова, нападали на Вейсбрема. Так, из ряда перепутанных представлений: море, акимовский балкон, постановление о журналах, Люлько, снова море, нахохлившийся, сердитый Левка Колесов, поднимающийся из подвальчика, снова море, актеры, каждого из которых я знаю, чувство счастья и чувство неблагополучия. Скоро нам достали путевки в “Светлану”.



Мне до того хочется на юг, что никак я не могу расстаться с Сочи 1946 года. Мы получили курсовки в “Светлану”. Я показался докторам, убедился, что давление у меня 120/80, пожаловался на нервы, отказался ездить на серные ванны в Мацесту и получил назначение лечиться токами д'Арсенваля. И трехразовое питание. И пропуск на медицинский пляж. Война кончилась только что, и крытая застекленная галерея, где мы питались, казалась странной помесью ресторана и эвакопункта. Все одеты празднично, по-летнему, празднично шумят, но обед — далеко не праздничный: едва обработанный сухой паек и откуда-то тянет запахом хлористой извести. И тесно. Обед идет в три смены. В лечебнице, где побывал я раза три, у круглой лужайки с подстриженным газоном на зеленых деревянных диванчиках отдыхающие ожидали автобуса в Мацесту. Я поднимался наверх, где по очереди дежурили сестра неприветливая и сестра кокетливая. И сидел в клетке оловянного цвета, подвергаясь действиям токов и ничего не чувствуя. К медицинскому пляжу шел я, пересекая старое шоссе, уцелевшее шоссе моего детства. Вообще в Сочи, как в старом друге, которого не видел много лет, вдруг узнавал я под чертами взрослого — детские. То, стоя у почты, взглянешь на горы, то, идя по лестнице главной улицы, увидишь, как зелень сплошной стеной наступает на нее, и узнаешь спутника детских лет. А на старом шоссе, с его поворотами, уводящими под зеленые своды садов, ставших вдоль, и угадывать не приходилось. Оно было просто-напросто то же самое.

Предъявив сонному сторожу свой пропуск, проходил я мимо белого здания с четырехугольной башенкой. На башне — циферблат со стрелками, отмечавшими количество калорий, принятых возлежащими на топчанах, и камнях, и на уходящей в море пристани. Я любил смотреть с пристани в воду. Водоросли на столбах дышали с прибоем. Рыбы проходили возле — все больше зеленушки и собаки, которых не едят. Море ты чувствовал везде — и в столовой. И в лечебнице.

1955
15
октября

А тут я подходил к нему, к морю, к самым волнам. И кроме радости возникло желание, безнадежное, но тоже праздничное, это желание ближе понять или сойтись с морем, чем это тебе дано. Ты не достигал этого купаясь или в лодке. Море оставалось само по себе, а ты сам по себе. Больше всего приближался ты к морю, когда, ни о чем не думая, лежал на берегу. Соседи мои, кто лежал неподвижно на топчанах, кто играл в карты, кто в домино. Пустыми стояли топчаны "для кожных больных" — такая надпись возвышалась над ними. На пристани над прозаическими и нескладными узкобедрыми соседями, лежа на боку, красовался, иной раз вставая во весь свой великолепный рост, Алеша Савостьянов. Он успел к этому времени покрыться загаром, ровным, но несколько красноватым, как свойственно блондинам. Белые плавки. На голове красная резиновая шапочка. И декоративное молчание, окружающее многозначительностью декоративное зрелище пышной мужской красоты. Слишком пышной. И плавал он отлично. И улыбался вежливо. И относился я к нему, как ко всем молчаливым людям, не без уважения, но все боялся, что неосторожное движение, укол булавки — и вся значительность с писком выйдет из его роскошных форм, и за таинственным молчанием откроется нечто безрадостное. Зачеркнул почти страницу. Занесло не в ту сторону. Иногда шел я в город на почту, на рынок. Нет, на базар — так говорили в Сочи, как в Майкопе. По дороге на базар больше всего любил я ту часть шоссе, где шел ты под чинарами — великолепными колонноподобными стволами и густейшими кронами. На углу у киоска, где продают самшитовые изделия, я поворачиваю. У входа на базар, огороженный дощатым забором (так в прежние годы не делалось), торговали ящиками для посылок. В отличие от рынков на базаре

называли все больше украинским языком. Грузины помалкивали. Здесь я покупал все те же сливы и персики. Покупал колбасу частных заводиков. Очень вкусную. Когда пишешь о хороших знакомых, иной раз овладевает тобой такое чувство, будто, выйдя на охоту, стреляешь по домашней птице. А когда вспоминаешь, что очень уж хорошо помнишь и любишь, например поездку в Сочи 1946 года, то ограничиваешься тем, что называешь вещи, и тебе кажется, что этого достаточно.



Я, вспоминая Левушку Колесова все ближе, замечаю в нем одну особенность: он, конечно, разговаривал. Особенно с близкими. Разговаривал и со мной. Но настоящее высказывание и понимание угадывалось в его полусловах. Так вдруг ближе к моему отъезду почувствовал я, что дома у него как будто неладно. И по театру прошел не то, что слух, а еще только предчувствие, догадка, что Левка начинает закидывать глаз на Люлько. Я этому не хотел верить. Уж очень ласков был Левушка с Тамарой. И лоб ее был все так же ясен и спокоен. Однажды шли мы с ней по мосту — раскаленному до неловкости новому мосту идущей через город, до устрашения внушительной трассы Сочи — Мацеста. Мост шел не над рекой, а над долиной узенькой, с грунтовой дорогой в зарослях, с белыми домиками. И Тамара указала на белый домик под самым мостом. И сообщила, что домик этот — исторический. Почему? Здесь жил Лева в 42 году. И однажды, когда Тамара срочно понадобилась на репетиции, нигде ее не могли найти. И Алеша Савостьянов зашел к Левке спросить, не видал ли он Тамару. И он ответил: “Нет, не видал”, — сказала Тамара, улыбаясь. А я к тому времени уже настолько знал историю Театра Комедии, что понял, почему Тамара улыбалась. Алеша Савостьянов, услышав ответ Левки, удалился, но успел заметить на спинке стула Тамарино платье. Умолчав об этом, Тамара продолжала: “И все подруги стали уговаривать, чтобы я не выходила за Левку замуж. Что угодно, но не это”.



Итак, я остановился на том, что Тамара, указав на беленький домик, рассказала, что тут начался ее роман с Левой. А я, глядя на ее совсем юное лицо, испытывал все ту

же безнадежную жажду понять. И Тамара описала, как подруги уговаривали ее оставить Леву. Но она не послушалась. И Русецкая (Левина третья жена) бунтовала. И это ни к чему тоже не привело. И тут мы увидели, что в ларьке дают какие-то консервы по коммерческой цене. И мы стали в очередь. И Тамара договорила. Нина тоже была против. Она никогда не говорит Тамаре прямо. Но вот когда Ягдфельд был влюблен в Тамару, Нина придумала, что у Ягдфельда одна нога, как копыто. Про Левку она ничего подобного не говорила. Но все же Лева до сих пор, когда выпьет, упрекает Нину в том, что она против него настроена. И мы купили консервы и пошли домой мимо декоративных растений и таких же ступенек, мимо кафе, где вечно не было ни одного места, мимо домов, оставшихся с дней моего детства, но оголенных на старости лет — ни заборов, ни цветников, набитых людьми до отказа. От полной непристойности спасало все то же богатство зелени, прикрывавшей белье на веревках, щебень, мусор. В те же дни Левушка рассказал мне, что вечно ясное лицо Тамары — это только маска. Она не может забыть гибели родителей в блокаду. Ей кажется, что виновата в этом она — уехала с театром. Она очень совестливая и привязчивая. Говорил об этом Левка заботливо, любовно, и я подумал еще раз, что слухи, точнее, тень слухов о Колосове и Люлько — следствие того, что театр лихорадит. Если мы собирались кутить, то спускались вниз, в самый центр города, а потом поднимались в ресторан по крутым, засыпанным гравием дорожкам высоко на горку. Уже издали мы слышали музыку.

1955
18
октября

И обсуждали: найдем ли мы столик. А если найдем, то не съедено ли все до нашего прихода. А если не съедено, то как с коньяком. В те дни ресторан работал на пределе. Чуть опоздаешь — и сиди за пустым столиком. Помогала обычно мощная междуведомственная сила: оркестранты. Они были знакомы с театральными, при случае заменяли их в спектаклях, и нам устраивали столик на хорошем месте, у перил, и в пристойный срок подавалось все, что заказано. За перилами черная ночь, освещенные ресторанными фонарями верхушки деревьев, идущие круто вниз, раскачивающиеся, и все то же ощущение близко

присутствующего моря. За столом каждый переживает опьянение по-разному. Если Колесова днем обидели, то после первых же ста грамм делался он всепонимающе надменен. Он сам рассказывал, как, выходя в таком состоянии из ресторана гостиницы “Москва”, увидел он незнакомца, который закричал весело: “Товарищ Колесов! ” — “Я вас не знаю”, — ответил Левушка надменно. —“Ну вот, поглядите на него! — ответил незнакомец. — А кто вам вручал диплом на звание заслуженного артиста Таджикской республики?” И Левка узнал одного из таджикских министров. Вот до каких высот поднималась его надменность. Недаром тянуло его в пьяном виде к самому Николаю Павловичу Акимову. Тамара, когда выпьет, делалась весела, как котенок. Несла вздор до того талантливый, хоть записывай. И до того легкий, что он забывался. Это тот блеск, что исчезает, когда собранные на берегу камушки высыхают. Домой мы шли по городу, совсем уж опустевшему. Море угадывалось еще отчетливее. Несмотря на ночную тишину, прибой не был слышен. Но бензиновый запах и запах разгоряченного асфальта уже улеглись на ночь. И соленый морской воздух напоминал, что до него совсем близко. Тамара вдруг закричала: “Аллигаторы — в ночной тишине. — Аллигаторы, зачем вы спите?” И на нас напал смех, такой смех, будто никаких тревог в нашей жизни нет и не было. И Левушка смеялся и любовался Тамарой, и я подумал: “Как приятно, что все это слухи”. Я заботился не о Левке и его нравственности, а мне жалко было Тамару, такую веселую, такую легонькую и светлую в ночной темноте.

1955 19 октября

Приехал какой-то здоровенный малый из группы. Технический работник. И в письме говорилось, что группа “Золушки” настоятельно просит нас немедленно вылететь в Ленинград. Не столько гонец, а то обстоятельство, что деньги приходили к концу, хоть и взял я в театре аванс под новую пьесу, — заставило нас собираться в дорогу. Вот когда тревоги тех дней подняли голос. Ленинград, Союз писателей после решения о журналах, “Золушка”, которую надо было переделывать. И тут же вечное мое, непреодолимое желание отбросить все эти тревоги, потом,

потом! Гонец “Ленфильма” охотно согласился подождать еще три дня. И в первый же день до того сжегся на пляже, что я испугался, не придется ли его отправлять в больницу. Однако здоровенный парень на другой день уже бродил по базару, покупал фрукты для Ленинграда. Отправлял нас тот же администратор, что путал прогноз с бурей. Маленький, с теноровым, дрожащим от избытка нервности голосом, наглый и пронырливый на удивление. Когда директор, о котором было известно уже, что его снимают в связи со склокой внутри театра, человек чистый, брезгующий администраторскими комбинациями, сделал маленькому наглецу замечание, тот ответил своим дрожащим теноровым голосишкой, переходящим в фальцет, когда наглость разыгрывалась: “Ну, хорошо, ну и пусть я на этом заработал. А что ты имеешь? Вот выгонят тебя из директоров. Что ты будешь кушать? Еще учишь!” Маленький, рыжеватый, плешивый, он долго рассказывал, как трудно найти транспорт до Адлера, как трудно добыть билеты на самолет, потому что он транзитный, из Сухуми, и, напугав нас как следует, восклицал фальцетом: “Но вы полетите! Раз я сказал полетите, то полетите!” Он приказал нам быть готовыми к трем часам ночи. Бобку взяли мы к себе в комнату: он имел особый дар — выскочить из засады и увязаться следом как раз, когда нельзя. И мы боялись, что побежит он за нами на трех ногах до самого Адлера. Он спал под столом и все вздрагивал. То ли видел во сне немецкие самолеты, то ли встревожило его, что чемоданы уложены — не первый раз исчезали у него хозяева.

1955
20 октября

В три часа я вышел — ни признака машины. Хоть в утешение застучал бы где-нибудь мотор. Все спало тревожным сном. Сильно пахло цветами. Небо все удивляло своей чернотой, а звезды яркостью. Я больше других подвержен дорожной лихорадке, беспокоился, ругал администратора — и удивлялся югу, от которого так спешил уехать. Чувствовал прелесть тревожной от избытка сил ночи. Я пошел на пустынную паперть театра. Здесь, в тишине, явственно слышался прибой, и опять через бессмысленное и позорное дорожное беспокойство я удивлялся силе детской любви. Точнее — верности тому, что полюбил с детства. Не было случая, чтобы я не

удивился, увидев после разлуки синий со строгой линией горизонта неожиданно высокий морской простор. Или стену моря, замыкающую улицу, по которой спускаешься с горы. Я долго шагал по пустой паперти. Потом потрогал дверь в театр. Оказалось, что она не заперта. В вестибюле спал маленький администратор, забравшись с ногами в большое кресло. И даже во сне нагловато и двусмысленно улыбался. Я сказал ему, что уже четыре часа, что мы опаздываем. А он ответил, что машина не придет раньше половины пятого. "Зачем же вы сказали, чтобы мы были готовы к трем?" — "Чтобы не опоздали!" Когда в половине пятого мы погрузились на грузовик и заехали за здоровенным парнем, ленфильмовским гонцом, выяснилось, что он, окаянный, еще спит, и тут даже маленький администратор обеспокоился и, подойдя к окну, накричал на него фальцетом. Виновато и тупо глядя под ноги, вывалился тот наконец из дому. С трудом волок огромный ящик фруктов. И тут мной снова овладело ощущение счастья. Генеральская внушительность трассы не так уж безнадежно меняла выражение знакомого пути. Все те же заросли ажины за кюветами. Горы, когда проезжали Хосту, встали влево от дороги, далеко на горизонте. И низменная долина в кукурузе. Солнце.

1955
21
октября

Мы свернули влево, не доезжая города. Домик с полосатым мешком на шпиле. Мешок висит почти неподвижно. В домике отказались нам в кассе продавать билеты: "Еще неизвестно, полетите или нет". "Почему?" — "Погода нелетная". И словно в насмешку к правительственному аэродрому пролетел над нами, выключив мотор, самолет, серебряный на восходящем солнце, и снизился. Администратор, с лоснящейся от бессонной ночи неумытой мордочкой, потребовал, чтобы я его угостил в буфете водочкой, а то он замерз. Я ужасно удивился, что он пьет, но выполнил его распоряжение. Несмотря на все ту же лихорадку, я заметил и не мог забыть дорогу, по всем признакам старое Краснополянское шоссе. Его аэродром перерезал. Как на прежних, древних шоссе моего детства, поблескивал на нем утрамбованный щебень, но какое оно нынче стало узенькое. Трава росла по обочинам. И я глядел, как администратор пьет и ест с выражением: "ну, хотя бы такой заработок" и "нет, я умный, я

своего не упущу". А думал, что и у дорог есть своя судьба. Вдруг закричали: "Скорей, скорей, кто отправляется — к кассам". Сухумский самолет внезапно прибыл. Едва не вышло истории из-за багажа. Взвешивали на троих — гонца-болвана администратор приписал к нам. А его ящики превысили норму.

1955
22
октября

Но в общей суете и спешке дело обошлось, и мы чуть не бегом устремились к самолету, навстречу громко разговаривающим по-грузински прибывшим из Сухуми пассажирам, похожим на основательных коммерсантов в черных костюмах. С крахмальными воротниками. По-ихнему, по-сухумскому уже наступала осень. У каждого висело пальто на одной руке. В другой — маленький чемоданчик. И вот мы разместились в самолете. Я у кресла, чуть впереди него, так что видел землю. Передо мной в кресле Катюша. И вот самое молодое, приобретенное всего только в тридцатом году, но по прочности близкое к детским, чувство полета овладевает душой, освободившейся от мелких страхов дорожной лихорадки. Самолет бежит по асфальтовой дорожке, и вдруг ты перестаешь ее чувствовать, исчезают ее неровности под огромными колесами машины. И ты замечаешь домик с полосатым мешком на шпиле вдруг совсем не в той стороне, в которой ты его оставил. И стоит он косо, но медленно выпрямляется. Воздух приобретает упругость. Такую, что самолет дрожит, и ухает вниз, и снова врезывается в воздух. И под гофрированным крылом открывается море еще более синее, а вместе с тем гораздо более прозрачное, чем с земли. Перед линией прибоя видишь ты подводные камни, водоросли. Самолет набрал высоту, и открывается то, чего не видел ты ни с парохода, ни с гор, — живую, в белом прибое линию берегов. Те, кто говорит, что ты знал эту линию по карте, ошибаются. И море ты видел на картинах. Но живое море, как и эта живая изрезанная линия берега, — дышит. Чем выше мы, тем синее море. Оно вдруг начинает представляться холодным, а белые гребешки волн — снеговыми. Сколько бухт и заливов, врезанных в море. Как медленно проплывает море глубоко внизу, как торжественно расстаемся мы на этот раз. Вот разворачиваемся мы на Туапсе. Мол. Горы.

1956
23
октября

Жалко расстаться с описанием полета, хоть и удаляюсь я от того, кого взялся изображать. Прелесть этого полета заключается для меня в том, что я все время то засыпал, но не до конца, то просыпался, но не вполне. И смутно помню горы, донбасские безлесные пространства. Отсутствие ощущения высоты и быстроты движения. Только увидев тень самолета, скользящую то по желтым прямоугольникам полей, то по еще зеленой степи, понял я, именно понял, а не почувствовал, что мы несемся вперед с невиданной быстротой. Появился из кабины не то начальник, командир, или как его назвать, не то один из летчиков, весело спросил — все ли благополучно. И сообщил весело, что, раз Адлер не задержал, будем, наверное, нынче вечером в Ленинграде. Потом я задремал, и гофрированная поверхность крыла стала представляться мне дорогой, по которой мчится наша машина. Но вот открылась под плоскостью крыла огромная река, и мотор вдруг умолк. И я подумал сонно: “Вынужденная посадка”. Но вдруг большой город, качаясь бесшумно, развернулся под крылом. Ростов! Сильно, до боли, давит где-то внутри ушей. И вот все неровности асфальтированной дорожки снова чувствуются под огромными колесами машины. Мы рулим к человеку с флажком. Командир весело бежит к зданию аэровокзала. И возвращается чернее тучи. Ростов задерживает. “Почему?” — “Воздух занят”. Отказавшись объяснить этот загадочный термин, командир раздраженно заявляет: если задержат более чем на два часа, он остается ночевать в Ростове. Здесь хоть аэровокзал имеется. А если ночь застанет в Орле? Ночевать тогда пассажирам в самолете? Но нас отпускают через час сорок минут. И снова я засыпаю и просыпаюсь, разбуженный грядами облаков внизу. С земли мы видим их дно, а здесь развернулись горы, достаточно плотные для того, чтобы отбрасывать тени. Башни, стоящие так, будто сейчас рухнут, что не причиняло им ни малейшего вреда. Вот открылось как бы озеро между горами, и башнями, и скалами — затуманенный просвет. Мы видим землю, лес, городок.



И все это как бы под водой, на дне озера, открывшегося между скалами и башнями. Когда исчезают облака, я вижу новую живую линию, имеющую свое содержание, свой неопределимый смысл, как линия далеких снеговых вершин,

привычная с детства, которую видел я несколько часов назад, подъезжая к Адлеру. Эта новая линия, открывающаяся с воздуха, как линия берега, — граница леса. Стоит дерево, кроной похожее на дуб, стоит посреди поля, а за ним на расстоянии, словно отмеренном так, что связь с одиноким дубом не теряется, открывается изрезанная граница лесного массива. Вот крошечное круглое озеро посреди поляны. Подходя к нему по земле, ты заметил бы, что на берегах его нога тонет в грязи. А сверху ты видишь по цвету земли, что она пропиталась влагой вокруг водоема, именно эти слова приходят в голову и принимают новый смысл, наполняются живым содержанием. Лесной массив, изрезанная линия берегов, водоем — все это видел я своими собственными глазами сегодня. И снова чудится мне, что гофрированные крылья самолета — дорога, по которой мчится наша машина. В Москве нам сообщают, что в Ленинград мы полетим завтра в 8 утра. В 1946 году еще не был оборудован пассажирский ночной аэродром у нас. И мы едем к Полине, устраиваемся на ночлег. Установившаяся сочинская жизнь 1946 года ушла в прошлое. Я иду на Никольскую, в бывшую аптеку Феррейна, звоню Фрезу, узнаю, что “Первая ступень” — так назывался первый вариант “Первоклассницы” — не утвержден в свете последних решений об искусстве. Фрез приезжает поговорить со мной, худой, смуглый, стройный, больше похожий на бедуина, чем на еврея. Как подобает кинорежиссеру, бодр и весел. Но в глазах выражение растерянное. Он в смятении, как мы все. И я предлагаю забыть сценарий “Первая ступень”, а подумать о новом, назвав его просто “Первоклассница”. На чем мы и расстаемся, с полной уверенностью, что у нас ничего из этого не выйдет. В шесть часов мы на пустой еще площади Революции садимся в автобус.

1955
25
октября

Самолет кажется знакомым, обжитым, когда нас в него допускают наконец. И через три часа кончается это путешествие, которое я запомнил, вероятно, потому еще, что был на подъеме. Поправки, требуемые киностудией, я в сценарий “Золушки” не внес. Поправил то, что не получилось в снятом уже материале. А потом пришел апрель 1947 года, когда

вдруг, совсем для меня неожиданно, картина имела успех. И это сливается для меня в одно: Сочи, перелет, "Золушка", рецензии на "Тень", полученные из Берлина, потом — аренда германовской дачи. За эти годы написал я "Дракона", на это можно было решиться только в Сталинабаде, хотя я был уверен, что делаю нечто всем необходимое и вполне допустимое. В Москве пьесу приняли восторженно, выпустили в отдел распространения (1944), а потом обругали и после двух генеральных репетиций и одного спектакля сняли. Комаровский период связан с целым рядом неудач. "Золушка" в 1947 году имела успех. В том же году режиссер Грюдгенс в Театре имени Рейнгардта в Берлине поставил "Тень" и тоже с успехом. После этого пошли неудачи в течение нескольких лет. Правда, мне казалось, что я научился писать прозу. А вместе с тем не мог дописать детскую пьесу. И, насилуя себя, работал для Райкина. И до сих пор помню чувство унижения, нет, заколдованности, когда я пытался переделать чужой роман для Центрального детского театра. И сценарий. Помню и мучительное душевное состояние. Чувство бессилия, как во сне. Были и острые дни, даже месяцы, когда на мой закат печальной молнией блеснули настоящие высокие мучения, и я, хоть и страдал, но чувствовал, что живу.

1955
26 октября

Сегодня мне исполнилось пятьдесят лет. Вчера сдал исправления к сценарию "Золушка". Сидел перед этим за работой всю ночь. К величайшему удивлению моему, работал с наслаждением, и сценарий стал лучше. В "Вечернем Ленинграде" написал Янковский в статье о детской драматургии, что я один из лучших детских драматургов, но что мне нужно общими силами помочь заняться современной темой. Что же случилось за этот год от сорокадевятилетнего возраста до пятидесятилетнего? Написано: "Царь Водокрут" (сценарий и пьеса), "Иван честной работник" (пьеса для ремесленников. Для их самодеятельности), сценарий "Первая ступень" — для "Союздетфильма", сделал почти два акта пьесы для Акимова. Начал пьесу "Один день". А пережил что? Два раза был в Москве: в мае и в августе. Был в Сочи. А чем был окрашен для меня этот год? Не

Несколько раз испытывал просто бессмысленное ощущение счастья. Не знаю отчего. Думать, что это предчувствие, перестал. Бессмысленная радость бытия... Что же все-таки принес мне этот год? В литературе стало очень напряженно. Решение ЦК резко изменило обстановку. В театре и в кино не легче. Особенно в кино. Что я сделал? Что сделано к пятидесяти годам? Не знаю, не знаю. Каждую новую работу начинаю, как первую. Я мало работаю. Что будет? Не знаю. Если сохраню бессмысленную радость бытия, умение бессмысленно радоваться и восхищаться — жить можно. Сегодня проснулся с ощущением счастья.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ



СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Сказка в 4-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сказочник.
Кей.
Герда.
Бабушка.
Советник.
Снежная королева.
Ворон.
Ворона.
Принц Клаус.
Принцесса Эльза.
Король.
Атаманша.
Первый разбойник.
Маленькая разбойница.
Северный олень.
Стражики.
Лакеи короля.
Разбойники.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Перед занавесом появляется Сказочник, молодой человек лет двадцати пяти. Он в сюртуке, при шпаге, в широкополой шляпе.

Сказочник. Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Разные люди бывают на свете: кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот — сказочник. И все мы — и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники — все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Не будь, например, меня, сказочника, не сидели бы вы сегодня в театре и никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком, по имени Кей, который... Но тссс... молчание... Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Ах, как много сказок я знаю! Если рассказывать каждый день по сто сказок, то за сто лет я успею выложить только сотую долю моего запаса.

Сегодня вы увидите сказку о Снежной королеве. Это сказка и грустная и веселая, и веселая и грустная. В ней участвуют мальчик и девочка, мои ученики; поэтому я взял с собой грифельную доску. Потом принц и принцесса. И я взял с собой шпагу и шляпу. *(Раскланивается.)* Это добрые принц и принцесса, и я с ними обойдусь вежливо. Затем мы увидим разбойников. *(Достает пистолет.)* Поэтому я вооружен. *(Пробует выстрелить; пистолет не стреляет.)* Он не стреляет, и это очень хорошо, потому что я терпеть не могу шума на сцене. Кроме того, мы попадем в вечные льды, поэтому я надел свитер. Поняли? Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре. Ну-с, вот как будто и все. Можно начинать... Да, самое главное я и забыл! Мне прискучило все рассказывать и рассказывать. Сегодня я буду показывать сказку. И не только показывать — я сам буду участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка — я в ней хозяин. И самое интересное

то, что придумал я пока только начало да кое-что из середины, так что, чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю! Как же это так? А очень просто! Что будет, то и будет, а когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем. Вот и все!.. Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре!

Сказочник исчезает. Открывается занавес.
Бедная, но опрятная комната на чердаке. Большое замерзшее окно.
Недалеко от окна, поближе к печке, стоит сундук без крышки.
В этом сундуке растет розовый куст. Несмотря на то, что стоит зима, розовый куст в цвету. Под кустом на скамеечке сидят мальчик и девочка.
Это Кей и Герда. Они сидят взявшись за руки. Поют мечтательно.

Кей и Герда.

Снип-снап-снурре,
Пурре-базелюрре!
Снип-снап-снурре,
Пурре-базелюрре!

Кей. Стой!

Герда. Что такое?

Кей. Ступеньки скрипят...

Герда. Погоди, погоди... Да!

Кей. И как весело они скрипят! Когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.

Герда. Да уж! Тогда они ворчали как собаки.

Кей. А теперь, когда идет наша бабушка...

Герда. ...ступеньки поскрипывают, как скрипочки.

Кей. Ну, бабушка, ну, скорей же!

Герда. Не надо ее торопить, Кей, ведь мы живем под самой крышей, она уже старенькая.

Кей. Ничего, ведь она еще далеко. Она не слышит. Ну, ну, бабушка, шагай!

Герда. Ну, ну, бабушка, живей.

Кей. Уже чайник зашумел.

Герда. Уже чайник закипел. Вот, вот! Она вытирает ноги о коврик.

Кей. Да, да. Слышишь: она раздевается у вешалки.

Стук в дверь.

Г е р д а. Зачем это она стучит? Она ведь знает, что мы не запираемся.

К е й. Хи-хи! Она нарочно… Она хочет нас напугать.

Г е р д а. Хи-хи!

К е й. Тише! А мы ее напугаем. Не отвечай, молчи.

Стук повторяется. Дети фыркают, зажимая руками рот. Снова стук.

Давай спрячемся.

Г е р д а. Давай!

Фыркая, дети прячутся за сундук с розовым кустом. Дверь открывается и в комнату входит высокий седой ч е л о в е к в черном сюртуке. На лацкане сюртуке сверкает большая серебряная медаль. Он, важно подняв голову, оглядывается.

К е й *(вылетает из-за ширмы на четвереньках)*. Гав-гав!

Г е р д а. Бу! Бу!

Человек в черном сюртуке,
не теряя выражения холодной важности, подпрыгивает от неожиданности.

Ч е л о в е к *(сквозь зубы)*. Что это за бессмыслица?

Дети стоят растерянные, взявшись за руки.

Невоспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Отвечайте же, невоспитанные дети!

К е й. Простите, но мы воспитанные…

Г е р д а. Мы очень, очень воспитанные дети! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста!

Человек достает из бокового кармана сюртука лорнет.
Разглядывает брезгливо детей.

Ч е л о в е к. Воспитанные дети: а) не бегают на четвереньках; б) не вопят “гав-гав”; в) не кричат “бу-бу”, и, наконец, г) не бросаются на незнакомых людей.

К е й. Но мы думали, что вы бабушка!

Ч е л о в е к. Вздор! Я вовсе не бабушка. Где розы?

Г е р д а. Вот они.

К е й. А зачем они вам?

Ч е л о в е к *(отворачивается от детей, разглядывает розы в лорнет)*. Ага. Действительно ли это живые розы? *(Нюхает.)* а) издают запах, свойственный этому растению; б) обладают соответствующей раскраской и, наконец, в) растут из подобающей почвы. Живые розы... Ха!

Г е р д а. Слушай, Кей, я боюсь его. Кто это? Зачем он пришел к нам? Чего он хочет от нас?

К е й. Не бойся. Я спрошу... *(Человеку.)* Кто вы? А? Чего вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли?

Ч е л о в е к *(не обрачиваясь, разглядывает розы)*. Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами не зададут им вопрос.

Г е р д а. Будьте так добры, задайте нам вопрос: не... не хотим ли мы узнать, кто вы такой?

Ч е л о в е к *(не оборачваясь)*. Вздор!

Г е р д а. Кей, даю тебе честное слово, что это злой волшебник.

К е й. Герда, ну вот, честное слово, нет.

Г е р д а. Увидишь, сейчас из него пойдет дым, и он начнет летать по комнате. Или превратит тебя в козленка.

К е й. Я не дамся!

Г е р д а. Давай убежим.

К е й. Стыдно.

Человек откашливается. Герда вскрикивает.

Да это он только кашляет, глупенькая.

Г е р д а. А я подумала, что это он уже начал.

Человек внезапно отворачивается от цветов
и не спеша двигается к детям.

К е й. Что вам угодно?

Г е р д а. Мы не дадимся.

Ч е л о в е к. Вздор!

Человек двигается прямо на детей, которые в ужасе отступают.

Голос из передней. Дети! Чья это меховая шуба висит на вешалке?

Кей и Герда *(радостно)*. Бабушка! Скорей, скорей сюда!

Голос. Соскучились? Не выбегайте, я с мороза. Сейчас иду, только сниму пальто, вот так, а теперь шапочку… Теперь вытру ноги как следует… Ну, вот и я.

В комнату входит чистенькая, беленькая, опрятная старушка. Она весело улыбается, но, увидев незнакомого человека, останавливается и перестает улыбаться.

Человек. Здравствуйте, хозяйка.

Бабушка. Здравствуйте, господин…

Человек. …коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.

Бабушка. Но, господин коммерции советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.

Советник. Это не важно. Не оправдывайтесь. Вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется?

Бабушка. Садитесь, господин советник.

Советник. Это неважно.

Бабушка. Я-то во всяком случае сяду. Я набегалась сегодня.

Советник. Можете сесть. Итак, повторяю: вам повезло, хозяйка. Вы бедны разумеется?

Бабушка. И да и нет. Деньгами небогата. А…

Советник. А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас среди зимы зацвел розовый куст. Я покупаю его.

Бабушка. Но он не продается.

Советник. Вздор.

Бабушка. Уверяю вас! Этот куст все равно что подарок. А подарки не продаются.

Советник. Вздор.

Бабушка. Поверьте мне! Наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом! Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками, он даже пел ему песни.

Советник. Вздор!

Бабушка. Спросите соседей. И вот после всех его забот благо-

дарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать!

С о в е т н и к. Какая вы хитрая старуха, хозяйка! Молодец! Вы набиваете цену. Так,так! Сколько?

Б а б у ш к а. Куст не продается.

С о в е т н и к. Но, любезная, не задерживайте меня. Вы прачка?

Б а б у ш к а. Да, я стираю белье, помогаю по хозяйству, готовлю чудесные пряники, вышиваю, умею убаюкивать самых непокорных детей и ухаживаю за больными. Я все умею, господин советник. Есть люди, которые говорят, что у меня золотые руки, господин советник.

С о в е т н и к. Вздор! Начнем с начала. Вы, может быть, не знаете, кто я такой. Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат; он наградил меня медалью за это, хозяйка. Вы видели большие фургоны с надписью «лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом, — все это мое, хозяйка. Лед сделал меня богачом. Я все могу купить, хозяйка. Сколько стоят ваши розы?

Б а б у ш к а. Неужели вы так любите цветы?

С о в е т н и к. Вот еще! Да я их терпеть не могу.

Б а б у ш к а. Так зачем же тогда...

С о в е т н и к. Я люблю редкости! На этом я разбогател. Летом лед редкость. Я продаю летом лед. Зимой редкость цветы — я пробую их разводить. Все! Итак, ваша цена?

Б а б у ш к а. Я не продам эти розы.

С о в е т н и к. А вот продадите.

Б а б у ш к а. А вот ни за что!

С о в е т н и к. Вздор! Вот вам десять талеров. Берите! Живо!

Б а б у ш к а. Не возьму.

С о в е т н и к. Двадцать.

Бабушка отрицательно качает головой.

Тридцать, пятьдесят, сто! И сто мало? Ну хорошо — двести. Этого на целый год хватит и вам, и этим гадким детям.

Б а б у ш к а. Это очень хорошие дети!

С о в е т н и к. Вздор! Вы подумайте только: двести талеров за самый обыкновенный розовый куст!

Б а б у ш к а. Это не обыкновенный куст, господин советник. Сначала на его ветках появились бутоны, совсем еще маленькие, бледные, с розовыми носиками. Потом они развернулись, расцвели и вот цветут, господин советник, цветут и не отцветают. За окном зима, господин советник, а у нас лето.

С о в е т н и к. Вздор! Если бы сейчас было лето, лед поднялся бы в цене.

Б а б у ш к а. Эти розы — наша радость, господин советник.

С о в е т н и к. Вздор, вздор, вздор! Деньги — вот это радость. Я вам предлагаю деньги, слышите — деньги. Понимаете — деньги!

Б а б у ш к а. Господин советник! Есть вещи более сильные, чем деньги.

С о в е т н и к. Да ведь это бунт! Значит, деньги, по-вашему, ничего не стоят? Сегодня вы скажете, что деньги ничего не стоят, завтра — что богатые и почтенные люди ничего не стоят... Вы решительно отказываетесь от денег?

Б а б у ш к а. Да. Эти розы не продаются ни за какие деньги господин советник.

С о в е т н и к. В таком случае вы... вы... сумасшедшая старуха, вот кто вы...

К е й *(глубоко оскорбленный, бросается к нему)*. А вы... вы... невоспитанный старик, вот кто вы!

Б а б у ш к а. Дети, дети, не надо!

С о в е т н и к. Да я вас заморожу!

Г е р д а. Мы не дадимся!

С о в е т н и к. Увидим... это вам даром не пройдет!

К е й. Бабушку все, все уважают! А вы рычите на нее, как...

Б а б у ш к а. Кей!

К е й *(сдерживаясь)*. ... как нехороший человек.

С о в е т н и к. Ладно! Я а) отомщу; б) скоро отомщу и б) страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. Вот вам!

Советник бежит и в дверях сталкивается со сказочником.

(Яростно.) А, господин сказочник! Сочинитель сказок, над которыми все издеваются! Это все ваши штуки! Хорошо же! Увидите! Это и вам не пройдет даром.

Сказочник *(вежливо кланяясь советнику)*. Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре!

Советник. Вздор! *(Убегает.)*

Сказочник. Здравствуйте, бабушка! Здравствуйте, дети! Вас огорчил коммерции советник? Не обращайте на него внимания. Что он нам может сделать? Смотрите, как весело розы кивают нам головками. Они хотят сказать нам: все идет хорошо. Мы с вами, вы с нами — и все мы вместе.

Советник в меховой шубе и в цилиндре показывается в дверях.

Советник. Увидим, надолго ли. Ха-ха!

Сказочник бросается к нему. Советник исчезает.
Сказочник возвращается.

Сказочник. Бабушка, дети, все хорошо. Он ушел, совсем ушел. Я вас очень прошу, пожалуйста, забудем о нем.

Герда. Он хотел унести наши розы.

Кей. Но мы не позволили.

Сказочник. Ах, какие вы молодцы! Но за что вы обидели чайник? *(Бежит к печке.)* Слышите, он кричит: «Вы забыли меня, я шумел, и вы не слышали. Я зол, зол, попробуйте-ка троньте меня!» *(Пробует снять чайник с огня.)* И верно, его не тронуть! *(Берет чайник полой сюртука.)*

Бабушка *(вскакивает)*. Вы опять обожжетесь, я вам дам полотенце.

Сказочник *(боком, держа кипящий чайник полой сюртука, пробирается к столу)*. Ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья... *(пробует поставить чайник на стол)*, считают меня своим братом и ужасно меня не уважают. Сегодня утром вдруг пропали мои башмаки. Нашел я их в прихожей под шкафом. Оказывается, они пошли в гости к старой сапожной щетке, заговорились там и... что с вами, дети?

Герда. Ничего.

Сказочник. Говорите правду!

Герда. Ну хорошо, я скажу. Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.

С к а з о ч н и к. Ах, вот как! Значит, вам немного страшно, дети?

К е й. Нет, но... Советник сказал, что он дойдет до самой королевы. О какой это королеве он говорил?

С к а з о ч н и к. Я думаю, что о Снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед.

Г е р д а. Ой, кто это стучит в окно? Я не боюсь, но все-таки скажите: кто же это стучит в окно?

Б а б у ш к а. Это просто снег, девочка. Метель разыгралась.

К е й. Пусть Снежная королева только попробует сюда войти. Я посажу ее на печь, и она сразу растает.

С к а з о ч н и к *(вскакивает)*. Верно, мальчик! *(Взмахивает рукой и опрокидывает чашку.)* Ну вот... Я же вам говорил... И не стыдно тебе, чашка? Верно, мальчик! Снежная королева не посмеет сюда войти! С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать!

Г е р д а. А где она живет?

С к а з о ч н и к. Летом — далеко-далеко, на севере. А зимой она летает на черном облаке высоко-высоко в небе. Только поздно-поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна, и тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.

Г е р д а. Бабушка, значит, она все-таки смотрела на наши окна? Видишь, они все в узорах.

К е й. Ну и пусть. Посмотрела и улетела.

Г е р д а. А вы видели Снежную королеву?

С к а з о ч н и к. Видел.

Г е р д а. Ой! Когда?

С к а з о ч н и к . Давно-давно, когда тебя еще не было на свете.

К е й. Расскажите.

С к а з о ч н и к. Хорошо. Только я отойду подальше от стола, а то я опять опрокину что-нибудь. (*Идет к окну, берет с подоконника доску и грифель.)* Но после рассказа мы засядем за работу. Вы уроки выучили?

Г е р д а. Да.

К е й. Все до одного!

С к а з о ч н и к. Ну, тогда, значит, вы заслужили интересную историю. Слушайте. *(Начинает рассказывать сначала спокойно и сдержанно, но постепенно, увлекаясь, принимается размахивать*

руками. В одной руке у него грифельная доска, в другой грифель.) Было это давно, очень давно. Мама моя, так же как и ваша бабушка, каждый день уходила работать к чужим людям. Только руки у моей мамы были не золотые, нет, совсем не золотые. Она, бедная, была слабенькая и почти такая же нескладная, как я. Поэтому кончала она свою работу поздно. Однажды вечером она запоздала еще больше, чем всегда. Сначала я ждал ее терпеливо, но когда догорела и погасла свечка, то мне стало совсем невесело. Приятно сочинять страшные сказки, но когда они сами лезут тебе в голову, то это уж совсем не то. Свеча погасла, но старый фонарь, что висел за окном, освещал комнату. И надо вам сказать, что это было еще хуже. Фонарь качался на ветру, тени бегали по комнате, и мне казалось, что это маленькие черненькие гномы кувыркаются, прыгают и только об одном и думают — как бы на меня напасть. И я оделся потихоньку и замотал шею шарфом и бегом выбежал из комнаты, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, так тихо, как бывает только зимой. И вдруг — как засвистит ветер, как полетит снег! Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал к дверям, но тут одна снежинка стала расти, расти и превратилась в прекрасную женщину.

К е й. Это была она?

Г е р д а. А как она была одета?

С к а з о ч н и к. Она было в белом с головы до ног. Большая белая муфта была у нее в руках. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди. "Вы кто?" — крикнул я. "Я — Снежная королева, — ответила женщина, — хочешь, я возьму тебя к себе? Поцелуй меня, не бойся". Я отпрыгнул...

Сказочник взмахивает руками и попадает грифельной доской в стекло.
Стекло разбивается. Гаснет лампа. Музыка.
Снег, белея, влетает в разбитое окно.

Г о л о с б а б у ш к и. Спокойно, дети.

С к а з о ч н и к. Это я виноват! Сейчас я зажгу свет!

Вспыхивает свет. Все вскрикивают.
Прекрасная ж е н щ и н а стоит посреди комнаты.
Она в белом с головы до ног. Большая белая муфта у нее в руках.
На груди, на серебряной цепочке, сверкает огромный бриллиант.

К е й. Это кто?

Г е р д а. Кто вы?

Сказочник пробует заговорить,
но женщина делает повелительный знак рукой, и он отшатывается и умолкает.

Ж е н щ и н а. Простите, я стучала, но меня никто не слышал.

Г е р д а. Бабушка сказала — это снег.

Ж е н щ и н а. Нет, я стучала в дверь как раз тогда, когда у вас погас свет. Я испугала вас?

К е й. Ну вот, ни капельки.

Ж е н щ и н а. Я очень рада этому, ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа!

Б а б у ш к а. Здравствуйте, госпожа...

Ж е н щ и н а. Можете называть меня баронессой.

Б а б у ш к а. Здравствуйте, госпожа баронесса. Садитесь, пожалуйста.

Ж е н щ и н а. Благодарю вас. *(Садится)*.

Б а б у ш к а. Сейчас я заложу окно подушкой: очень дует. *(Закладывает окно)*.

Ж е н щ и н а. О, меня это нисколько не беспокоит. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина, работящая, честная, добрая, но бедная.

Б а б у ш к а. Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?

Ж е н щ и н а. Нет, ни за что! Ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша?

К е й. Я не приемыш!

Б а б у ш к а. Он говорит правду, госпожа баронесса.

Ж е н щ и н а. Но мне говорили так: девочка — ваша внучка, а мальчик...

Б а б у ш к а. Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда родители его умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса, и я взяла его себе. Он вырос у меня на руках, он такой же родной мне, как мои покойные дети и как моя единственная внучка...

Ж е н щ и н а. Эти чувства делают вам честь. Но вы совсем старая и можете умереть.

К е й. Бабушка вовсе не старая.

Г е р д а. Бабушка не может умереть.

Ж е н щ и н а. Тише. Когда я говорю, все должны умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.

К е й. Что?

Ж е н щ и н а. Я одинока, богата, детей у меня нет — этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка? Это выгодно нам всем.

К е й. Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая! Я не люблю ее, а тебя так люблю! Розы ты и то пожалела, а я ведь целый мальчик! Я умру, если она возьмет меня к себе... Если тебе трудно, я тоже буду зарабатывать — газеты продавать, носить воду, сгребать снег, — ведь за все это платят, бабушка. А когда ты совсем состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки и интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе.

Г е р д а. Бабушка, бабушка, вот честное слово, не отдавай его! Ну пожалуйста!

Б а б у ш к а. Да что вы, дети! Я, конечно, ни за что не отдам его.

К е й. Вы слышите?

Ж е н щ и н а. Не надо так спешить. Подумай, Кей. Ты будешь жить во дворце, мальчик. Сотни верных слуг будут повиноваться каждому твоему слову. Там...

К е й. Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.

С к а з о ч н и к. Молодец...

Ж е н щ и н а. Молчите! *(Делает повелительный знак рукой.)*

Сказочник отшатывается.

Б а б у ш к а. Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик. Как я могу его отдать? Он вырос у меня на руках. Первое слово, которое он сказал, было: огонь.

Ж е н щ и н а *(вздрагивает)*. Огонь?

Б а б у ш к а. Первый раз он пошел вот здесь, от кровати к печке...

Ж е н щ и н а *(вздрагивает)*. К печке?

Б а б у ш к а. Я плакала над ним, когда он хворал, я так радовалась, когда он выздоравливал. Он иногда шалит, иногда огорчает меня, но чаще радует. Это мой мальчик, и он останется у меня.

Г е р д а. Смешно даже подумать, как мы можем без него жить.

Ж е н щ и н а *(встает)*. Ну что же! Пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты этого хочешь. Но поцелуй меня на прощанье.

Сказочник делает шаг вперед.
Женщина останавливает его повелительным жестом.

Ты не хочешь?

К е й. Не хочу.

Ж е н щ и н а. Ах, вот как! Я-то сначала думала, что ты храбрый мальчик, а ты, оказывается, трус!

К е й. Я вовсе не трус.

Ж е н щ и н а. Ну, тогда поцелуй меня на прощанье.

Г е р д а. Не надо, Кей.

К е й. Но я вовсе не желаю, чтобы она думала, что я боюсь баронесс. *(Смело подходит к баронессе, поднимается на цыпочки и протягивает ей губы.)* Всего хорошего!

Ж е н щ и н а. Молодец! *(Целует Кея.)*

За сценой свист и вой ветра, снег стучит в окно.

(Смеется.) До свидания, господа! До скорого свидания, мальчик! *(Быстро уходит.)*

С к а з о ч н и к. Какой ужас! Ведь это была она, она, Снежная королева!

Б а б у ш к а. Полно вам рассказывать сказки.

К е й. Ха-ха-ха!

Г е р д а. Что ты смеешься, Кей?

К е й. Ха-ха-ха! Смотрите, как смешно, наши розы завяли. А какие они стали безобразные, гадкие, фу! *(Срывает одну из роз и швыряет ее на пол.)*

Б а б у ш к а. Розы завяли, какое несчастье! *(Бежит к розовому кусту.)*

К е й. Как смешно бабушка переваливается на ходу. Это прямо утка, а не бабушка. *(Передразнивает ее походку.)*

Г е р д а. Кей! Кей!

К е й. Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.

Б а б у ш к а. Кей! Я не узнаю тебя.

С к а з о ч н и к. Это была Снежная королева! Это она, она!

Г е р д а. Почему же вы не сказали...

С к а з о ч н и к. Не мог. Она протягивала ко мне руку — и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и ...

К е й. Вздор!

Г е р д а. Кей! Ты говоришь, как советник.

К е й. Ну, я очень рад.

Б а б у ш к а. Дети ложитесь спать! Уже поздно. Вы начинаете капризничать. Слышите: разом умываться — и спать.

Г е р д а. Бабушка... Я сначала хочу знать, что с ним!

К е й. А я пойду спать. У-у! Какая ты некрасивая, когда плачешь...

Г е р д а. Бабушка...

С к а з о ч н и к *(выпроваживает их)*. Спать, спать, спать. *(Бросается к бабушке.)* Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная королева, мама ответила: хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце.

Б а б у ш к а. Этого не может быть. Завтра же он проснется таким же добрым и веселым, как был.

С к а з о ч н и к. А если нет? Ах, я этого вовсе не ждал. Что делать? Как быть дальше? Нет, Снежная королева, я не отдам тебе мальчика! Мы спасем его! Спасем! Спасем!

Вой и свист метели за окном резко усиливается.

Не испугаемся! Вой, свисти, пой, колоти в окна, — мы еще поборемся с тобой, Снежная королева!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Перед занавесом лежит камень.
Г е р д а, очень утомленная, медленно выходит из-за портала.
Опускается на камень.

Г е р д а. Вот теперь-то я понимаю, что такое — одна. Никто мне не скажет: “Герда, хочешь есть?” Никто мне не скажет: “Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар”. Никто мне не скажет: “Что с тобой? Почему ты сегодня такая грустная?” Когда встречаешь людей, то все-таки легче: они расспросят, поговорят, иногда накормят даже. А эти места такие безлюдные, иду я с самого рассвета и никого еще не встретила. Попадаются на дороге домики, но все они заперты на замок. Зайдешь во двор — никого, и в садиках пусто, и в огородах тоже, и в поле никто не работает. Что это значит? Куда ж это все ушли?

В о р о н *(выходит из разреза занавеса, говорит глухо, слегка картавя)*. Здравствуйте, барышня!

Г е р д а. Здравствуйте, сударь.

В о р о н. Простите, но вы не швырнете в меня палкой?

Г е р д а. О, что вы, конечно, нет!

В о р о н. Ха-ха-ха! Приятно слышать! А камнем?

Г е р д а. Что вы, сударь!

В о р о н. Ха-ха-ха! А кирпичом?

Г е р д а. Нет, нет, уверяю вас.

В о р о н. Ха-ха-ха! Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?

Г е р д а. Очень, сударь.

В о р о н. Ха-ха-ха! Это оттого, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя — настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Вы не здешняя, конечно?

Г е р д а. Да, я пришла издалека.

В о р о н. Я сразу догадался, что это так. Иначе вы знали бы, почему опустели все дома при дороге.

Г е р д а. А почему они опустели, сударь? Я надеюсь, что ничего худого не случилось?

В о р о н. Ха-ха-ха! Напротив! Во дворце праздник, пир на весь мир, и все отправились туда. Но, прошу прощения, вы чем-то огорчены? Говорите, говорите, я добрый ворон, — а вдруг я смогу помочь вам.

Г е р д а. Ах, если бы вы могли помочь мне найти одного мальчика!

В о р о н. Мальчика? Говорите, говорите! Это интересно. Крайне интересно!

Г е р д а. Видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Мы жили так дружно — я, он и наша бабушка. Но однажды — это было прошлой зимой — он взял санки и ушел на городскую площадь. Он привязал свои санки к большим саням — мальчики часто так делают, чтобы прокатиться побыстрее. В больших санях сидел человек в белой меховой шубе и белой шапке. Едва мальчик успел привязать свои санки к большим саням, как человек в белой шубе и шапке ударил по коням, кони рванулись, сани понеслись, санки за ними — и больше никто никогда не видал мальчика. Имя этого мальчика...

В о р о н. Кей... Кр-ра! Кр-ра!

Г е р д а. Откуда вы знаете, что его зовут Кей?

В о р о н А вас зовут Герда.

Г е р д а. Да, меня зовут Герда. Но откуда вы все это знаете?

В о р о н. Наша родственница, сорока, ужасная сплетница, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте Так узнали мы и вашу историю.

Г е р д а *(вскакивает).* Вы, значит, знаете, где Кей? Отвечайте же! Отчего вы молчите?

В о р о н. Кр-ра! Кр-ра! Сорок вечеров подряд мы рядили и судили и гадали и думали: где же он? где Кей? Так и не додумались.

Г е р д а *(садится).* Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея. А весной я ушла его искать. Бабушка спала еще, я ее поцеловала потихоньку, на прощанье, — и вот ищу. Бедная бабушка, она, наверное, там скучает одна.

В о р о н. Да. Сороки рассказывают, что ваша бабушка крайне,

крайне горюет... Страшно тоскует!

Г е р д а. А я столько времени потеряла напрасно. Вот уже целое лето я все ищу его, ищу — и никто не знает, где он.

В о р о н. Тссс!

Г е р д а. Что такое?

В о р о н. Дайте-ка мне послушать! Да, это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Многоуважаемая Герда, сейчас я познакомлю вас с моей невестой — придворной вороной. Она будет рада... Вот она...

Появляется в о р о н а, очень похожая на своего жениха.
Вороны обмениваются церемонными поклонами.

В о р о н а. Здравствуй, Карл!

В о р о н. Здравствуй, Клара!

В о р о н а. Здравствуй, Карл!

В о р о н. Здравствуй, Клара!

В о р о н а. Здравствуй, Карл! У меня крайне интересные новости. Сейчас ты раскроешь клюв, Карл.

В о р о н. Говори скорей! Скорей!

В о р о н а. Кей нашелся!

Г е р д а *(вскакивает)*. Кей? Вы не обманываете меня? Где же он? где?

В о р о н а *(отпрыгивает)*. Ах! Кто это?

В о р о н. Не пугайся, Клара. Позволь представить тебе эту девочку. Ее зовут Герда.

В о р о н а. Герда! Вот чудеса! *(Церемо́нно кланяясь.)* Здравствуйте, Герда.

Г е р д а. Не мучайте меня, скажите, где Кей. Что с ним? Он жив? Кто его нашел?

Вороны некоторое время оживленно разговаривают на вороньем языке.
Затем подходят к Герде Говорят, перебивая друг друга.

В о р о н а. Месяц...

В о р о н. ... назад...

В о р о н а. ... принцесса...

В о р о н. ... дочь...

В о р о н а. ... короля...

В о р о н. ... пришла...

В о р о н а. ... к...

В о р о н. ... королю...

В о р о н а. ... и...

В о р о н. ... говорит...

В о р о н а. ... Папа...

В о р о н. ... мне...

В о р о н а. ... очень...

В о р о н. ... скучно...

В о р о н а. ... подруги...

В о р о н. ... боятся...

В о р о н а. ... меня...

В о р о н. ... мне...

В о р о н а. ... не...

В о р о н. ... с...

В о р о н а. ... кем...

В о р о н. ... играть.

Г е р д а. Простите, что я вас перебиваю, но зачем вы рассказываете мне о королевской дочери?

В о р о н. Но, дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете!

Продолжают рассказ. При этом говорят они слово за словом без малейшей паузы, так что кажется, будто это говорит один человек.

В о р о н и в о р о н а *(хором)*. "Мне не с кем играть, — сказала дочь короля. — Подруги нарочно проигрывают мне в шашки, нарочно поддаются в пятнашки. Я умру с тоски". — "Ну, ладно, — сказал король, — я выдам тебя замуж". — "Устроим смотр женихов, — сказала принцесса. — Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается". Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.

Г е р д а *(радостно)*. И это был Кей?

В о р о н. Да, это был он.

В о р о н а. Все другие молчали от страха, как рыбы, а он так разумно разговаривал с принцессой!

Г е р д а. Еще бы! Он очень умный! Он знает сложение, вычитание, умножение, деление и даже дроби!

В о р о н. И вот принцесса выбрала его, и король дал ему титул

принца и подарил ему полцарства. Поэтому-то и был во дворце устроен пир на весь мир.

Г е р д а. Вы уверены, что это Кей? Ведь он совсем мальчик!

В о р о н а. Принцесса тоже маленькая девочка. Но ведь принцессы могут выходить замуж, когда, им вздумается.

В о р о н. Вы не огорчены, что Кей забыл бабушку и вас? В последнее время, как говорит сорока, он был очень груб с вами?

Г е р д а. Я не обижалась.

В о р о н а. А вдруг Кей не захочет с вами разговаривать?

Г е р д а. Захочет. Я уговорю его. Пусть он напишет бабушке, что он жив и здоров, и я уйду. Идемте же. Я так рада, что он не у Снежной королевы. Идемте во дворец!

В о р о н а. Ах, я боюсь, что вас не пустят туда! Ведь это все-таки королевский дворец, а вы простая девочка. Как быть? Я не очень люблю детей. Они вечно дразнят меня и Карла. Они кричат: “Карл у Клары украл кораллы”. Но вы не такая. Вы покорили мое сердце. Идемте. Я знаю все ходы и переходы дворца. Ночью мы проберемся туда.

Г е р д а. А вы уверены, что принц — это и есть Кей?

В о р о н а. Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: “Кей, Кей, поди-ка сюда!” Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?

Г е р д а. Нет!

В о р о н а. В таком случае — вперед!

В о р о н. Ур-ра! Ур-ра! Верность, храбрость, дружба...

В о р о н а. ...разрушат все преграды. Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!

Уходят. Следом за ними молча проползает человек, закутанный в плащ. За ним другой.

Занавес открывается. Зал в королевском дворце. Через середину пола, заднюю стену и потолок проходит черта, проведенная мелом, очень заметная на темной отделке зала. В зале полутемно. Дверь бесшумно открывается. Входит в о р о н а.

Ворона *(негромко)*. Карл! Карл!

Ворон *(за сценой)*. Клара! Клара!

Ворона. Храбрей! Храбрей! Сюда. Здесь никого нет.

Тихо входят Герда и ворон.

Осторожно! Осторожно! Держитесь правой стороны. За черту! За черту!

Герда. Скажите, пожалуйста, а зачем проведена эта черта?

Ворона. Король подарил принцу полцарства. И все апартаменты дворца государь тоже аккуратно поделил пополам. Правая сторона — принца и принцессы, левая — королевская. Нам благоразумней держаться правой стороны... Вперед!

Герда и ворон идут. Вдруг раздается негромкая музыка. Герда останавливается.

Герда. Что это за музыка?

Ворона. Это просто сны придворных дам. Им снится, что они танцуют на балу.

Музыку заглушает гул — топот коней, отдаленные крики: "Ату его, ату-ту-ту! Держи! Режь! Бей!"

Герда. А это что?

Ворона. А это придворным кавалерам снится, что они загнали на охоте оленя.

Раздается веселая, радостная музыка.

Герда. А это?

Ворона. А это сны узников, заточенных в подземелье. Им снится, что их отпустили на свободу.

Ворон. Что с вами, дорогая Герда? Вы побледнели?

Герда. Нет, право, нет! Но я сама не знаю, почему мне как-то беспокойно.

Ворона. О, это крайне просто и понятно. Ведь королевскому дворцу пятьсот лет. Сколько страшных преступлений совершено тут за эти годы! Тут и казнили людей, и убивали из-за угла кинжалами, и душили.

Герда. Неужели Кей живет здесь, в этом страшном доме?

Ворона. Идемте же...

Герда. Иду.

Раздается топот и звон бубенцов.

А это что?

Ворона. Я не понимаю.

Шум все ближе.

Ворон. Дорогая Клара, не благоразумней ли будет удрать?

Ворона. Спрячемся.

Прячутся за драпировку, висящую на стене. Едва они успевают скрыться, как двери с шумом распахиваются и в зал галопом врываются два лакея. В руках у них канделябры с зажженными свечами. Между двумя лакеями принц и принцесса. Они играют в лошадки. Принц изображает лошадь. На груди его звенят бубенцы игрушечной сбруи. Он прыгает, роет ногами пол, лихо бегает по своей половине зала. Лакеи, сохраняя на лицах невозмутимое выражение, носятся следом, не отставая ни на шаг, освещая дорогу детям.

Принц *(останавливается)*. Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай играть в другую игру.

Принцесса. В прятки?

Принц. Можно. Ты будешь прятаться! Ну! Я считаю до ста. *(Отво-рачивается и считает.)*

Принцесса бегает по комнате, ищет места, где спрятаться. Лакеи с канделябрами — за нею. Принцесса останавливается наконец у драпировки, за которой скрылись Герда и вороны. Отдергивает драпировку. Видит Герду, которая горько плачет, и двух низко кланяющихся ворон. Взвизгивает и отскакивает. Лакеи — за нею.

(Оборачиваясь). Что? крыса?

Принцесса. Хуже, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.

Принц. Глупости! Сейчас я посмотрю.

Принцесса. Нет, нет, это, наверное, какие-нибудь призраки.

Принц. Глупости! *(Идет к занавеске.)*

Герда, вытирая слезы, выходит ему навстречу. За нею, все время кланяясь, — вороны.

Как ты попала сюда, девочка? Мордочка у тебя довольно славная. Почему ты пряталась от нас?

Герда. Я давно бы вышла... Но я заплакала. А я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне!

П р и н ц. Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что случилось. Ну же... Давай поговорим по душам. *(Лакеям.)* Поставьте подсвечники и уходите.

Лакеи повинуются.

Ну, вот мы одни. Говори же!

Герда тихо плачет.

Ты не думай, я ведь тоже просто мальчик как мальчик. Я пастух из деревни. Я попал в принцы только потому, что ничего не боюсь. Я ведь тоже натерпелся в свое время. Старшие братья моя считались умными, а я считался дурачком, хотя на самом деле все было наоборот. Ну, дружок, ну же... Эльза, да поговори же ты с ней ласково.

П р и н ц е с с а *(милостиво улыбаясь, торжественно)*. Любезная подданная...

П р и н ц. Зачем ты говоришь по-королевски? Ведь тут все свои.

П р и н ц е с с а. Прости, я нечаянно... Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобою.

Г е р д а. Ах, в той занавеске, за которой я пряталась, есть дырочка.

П р и н ц. Ну и что?

Г е р д а. И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.

П р и н ц. И вот поэтому ты заплакала?

Г е р д а. Да... Вы... вы вовсе не Кей...

П р и н ц. Конечно, нет. Меня зовут Клаус. Откуда ты взяла, что я Кей?

В о р о н а. Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество *(указывает клювом на принцессу)* называло ваше высочество — Кей.

П р и н ц *(принцессе)*. Когда это было?

П р и н ц е с с а. После обеда. Помнишь? Сначала мы играли в дочки-матери. Я была дочка, а ты — мама. Потом в волка и семерых козлят. Ты был семеро козлят и поднял такой крик, что мой отец и повелитель, который спал после обеда, свалился с кровати. Помнишь?

П р и н ц. Ну, дальше!

П р и н ц е с с а. После этого нас попросили играть потише. И я

рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона. И мы стали играть в Герду и Кея, и я называла тебя Кей.

П р и н ц. Так... Кто же ты, девочка?

Г е р д а. Ах, принц, ведь я Герда.

П р и н ц. Да что ты? *(Ходит взволнованно взад и вперед.)* Вот обидно, действительно.

Г е р д а. Мне так хотелось, чтобы вы были Кей.

П р и н ц. Ах ты... Ну что же это? Что ты думаешь делать дальше, Герда?

Г е р д а. Буду опять искать Кея, пока не найду, принц.

П р и н ц. Молодец. Слушай. Называй меня просто Клаус.

П р и н ц е с с а. А меня Эльза.

П р и н ц. И говори мне "ты".

П р и н ц е с с а. И мне тоже.

Г е р д а. Ладно.

П р и н ц. Эльза, мы должны сделать что-нибудь для Герды.

П р и н ц е с с а. Давай пожалуем ей голубую ленту через плечо или подвязку с мечами, бантами и колокольчиками.

П р и н ц. Ах, это ей никак не поможет. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?

Г е р д а. На север. Я боюсь, что Кея унесла все-таки она, Снежная королева.

П р и н ц. Ты думаешь идти к самой Снежной королеве? Но ведь это очень далеко.

Г е р д а. Что ж поделаешь!

П р и н ц. Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету.

В о р о н ы. Карету? Очень хорошо!

П р и н ц. И четверку вороных коней.

В о р о н ы. Вороных? Прекрасно! Прекрасно!

П р и н ц. А ты, Эльза, дашь Герде шубу, шапку, муфту, перчатки и меховые сапожки.

П р и н ц е с с а. Пожалуйста, Герда, мне не жалко. У меня четыреста восемьдесят девять шуб.

П р и н ц. Сейчас мы уложим тебя спать, а с утра ты поедешь.

Г е р д а. Нет, нет, только не укладывайте меня спать — ведь я

очень спешу.

П р и н ц е с с а. Ты права, Герда. Я тоже терпеть не могу, когда меня укладывают спать. Как только я получила полцарства, сразу же изгнала из своей половины гувернантку, и теперь уже скоро двенадцать, а я все не сплю!

П р и н ц. Но ведь Герда устала.

Г е р д а. Я отдохну и высплюсь в карете.

П р и н ц. Ну, хорошо.

Г е р д а. Я вам потом отдам и карету, и шубу, и перчатки, и...

П р и н ц. Глупости! Вороны! Летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять четверку вороных и заложить в карету.

П р и н ц е с с а. В золотую.

Г е р д а. Ах, нет, нет! Зачем же в золотую?

П р и н ц е с с а. Не спорь, не спорь! Так будет гораздо красивее.

Вороны уходят.

П р и н ц. А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубу. Ты пока сиди и отдыхай. *(Усаживает Герду в кресло.)* Вот так. Ты не будешь бояться одна?

Г е р д а Нет, не буду. Спасибо вам.

П р и н ц. Ты только не ходи на королевскую половину. А на нашей тебя никто не посмеет тронуть.

П р и н ц е с с а. Правда, скоро полночь. А в полночь в этой комнате часто является призрак моего пра-пра-пра-прадедушки Эрика Третьего Отчаянного. Он триста лет назад зарезал свою тетю и с тех пор никак не может успокоиться.

П р и н ц. Но ты не обращай на него внимания.

П р и н ц е с с а. Мы оставим эти канделябры. *(Хлопает в ладоши.)*

Входят д в а л а к е я.

Свету!

Лакеи исчезают и тотчас же появляются с новыми канделябрами.

П р и н ц. Ну, Герда, не робей.

П р и н ц е с с а. Ну, Герда, мы сейчас.

Г е р д а. Спасибо, Эльза! Спасибо, Клаус! Вы очень славные ребята.

Принц и принцесса убегают, сопровождаемые двумя лакеями.

Все-таки я никогда в жизни больше не буду ходить во дворцы. Уж очень они старые. Мурашки-то все так и бегают, так и бегают по спине.

Раздается громкий глубокий звон. Бьют часы.

Полночь... Теперь еще вздумает явиться прапрадедушка. Ну, так и есть, идет. Вот неприятность-то какая! О чем я с ним буду говорить? Шагает Шагает. Ну да, это он.

Распахивается дверь, и в зал входит высокий, величественный ч е л о в е к, в горностаевой мантии и короне.

(Вежливо, приседая.) Здравствуйте, пра-пра-пра-пра-дедушка.

Ч е л о в е к *(некоторое время, откинув голову, глядит на Герду)*. Что? Что? Кого?

Г е р д а. Ах, не гневайтесь, умоляю вас. Ведь я, право, не виновата в том, что вы заре... что вы поссорились со своей тетей.

Ч е л о в е к. Да ты, никак, думаешь, что я Эрик Третий Отчаянный?

Г е р д а. А разве это не так, сударь?

Ч е л о в е к. Нет! Перед тобою стоит Эрик Двадцать девятый. Слышишь?

Г е р д а. А вы кого зарезали, сударь?

Ч е л о в е к. Да ты что — смеешься надо мной? Да знаешь ли ты, что когда я гневаюсь, то даже мех на моей мантии и тот встает дыбом?

Г е р д а. Простите, пожалуйста, если я что сказала не так. Я ни разу до сих пор не видела призраков и совершенно не знаю, как с ними обращаться

Ч е л о в е к. Но я вовсе не призрак!

Г е р д а. А кто же вы, сударь?

Ч е л о в е к. Я король. Отец принцессы Эльзы. Меня нужно называть “ваше величество”.

Г е р д а. Ах, простите, ваше величество, я обозналась.

К о р о л ь. Обозналась! Дерзкая девчонка! *(Садится.)* Ты знаешь, который час?

Г е р д а. Двенадцать, ваше величество.

К о р о л ь. Вот то-то и есть. А мне доктора предписали ложиться в десять. И все это из-за тебя.

Г е р д а. Как из-за меня?

К о р о л ь. А... очень просто. Иди сюда, и я тебе все расскажу.

Герда делает несколько шагов и останавливается.

Иди же. Что ты делаешь? Подумай, ты меня, понимаешь — меня, заставляешь ждать. Скорей же!

Г е р д а. Простите, но только я не пойду.

К о р о л ь. Как это?

Г е р д а. Видите ли, друзья мои не советовали мне уходить с половины принцессы.

К о р о л ь. Да не могу же я орать через всю комнату. Иди сюда.

Г е р д а. Не пойду.

К о р о л ь. А я говорю, что ты пойдешь!

Г е р д а. А я говорю, что нет!

К о р о л ь. Сюда! Слышишь ты, цыпленок!

Г е р д а. Я вас очень прошу не кричать на меня. Да, да, ваше величество. Я столько за это время перевидала, что вовсе и не пугаюсь вас, а только сама тоже начинаю сердиться. Вам, ваше величество, не приходилось, наверное, идти ночью по чужой стране, по незнакомой дороге. А мне приходилось. В кустах что-то воет, в траве что-то кашляет, на небе луна желтая, как желток, совсем не такая, как на родине. А ты все идешь, идешь, идешь. Неужели вы думаете, что после всего этого я буду бояться в комнате?

К о р о л ь. Ах, вот что! Ты не боишься? Ну, тогда давай заключим мир. Люблю храбрецов. Дай руку. Не бойся!

Г е р д а. Я вовсе не боюсь. *(Протягивает королю руку.)*

Король хватает Герду и тащит на свою половину.

К о р о л ь. Эй, стража!

Распахивается дверь. Д в а с т р а ж н и к а вбегают в комнату. Отчаянным движением Герде удается вырваться и убежать на половину принцессы.

Г е р д а. Это мошенничество! Это нечестно!..

К о р о л ь *(стражникам)*. Что вы тут стоите и слушаете? Вон отсюда!

Стражники уходят.

Ты что же это делаешь? Ты ругаешь меня, понимаешь — меня, при моих подданных. Ведь это я... Да ты всмотрись: это я, король.

Г е р д а. Ваше величество, скажите, пожалуйста, чего вы ко мне привязались? Я веду себя смирно, никого не трогаю. Что вам от меня надо?

К о р о л ь. Меня разбудила принцесса, говорит: Герда здесь. А твою историю знает весь дворец. Я пришел поговорить с тобою, расспросить, поглядеть на тебя, а ты вдруг не идешь на мою половину. Конечно, я разгневался. Мне обидно стало. И у короля есть сердце, девочка.

Г е р д а. Простите, я вас вовсе не хотела обидеть.

К о р о л ь. Ну да что уж там. Ладно. Я успокоился теперь и, пожалуй, пойду спать.

Г е р д а. Спокойной ночи, ваше величество. Не сердитесь на меня.

К о р о л ь. Что ты, я вовсе не сержусь... Даю тебе в этом честное слово, королевское слово. Ты ищешь мальчика, по имени Кей?

Г е р д а. Ищу, ваше величество.

К о р о л ь. Я помогу тебе в твоих поисках. *(Снимает с пальца перстень.)* Это волшебный перстень. Тот, кто владеет им, сразу находит то, что ищет, — вещь или человека, все равно. Слышишь?

Г е р д а. Да, ваше величество.

К о р о л ь. Я жалую тебе этот перстень. Возьми его. Ну, чего же ты? Ах. Ты все еще не веришь мне... *(Смеется.)* Какая потешная девочка! Ну вот, смотри. Я вешаю этот перстень на гвоздик, а сам ухожу. *(Добродушно смеется.)* Вот я какой добрый. Спокойной ночи, девочка.

Г е р д а. Спокойной ночи, король.

К о р о л ь. Ну, я ухожу. Видишь? *(Уходит.)*

Г е р д а. Ушел. Как тут быть? *(Делает шаг к черте и останавливается.)* Вон и шаги его затихли. Во всяком случае, пока он добежит от двери до меня, я всегда успею удрать. Ну... Раз, два, три! *(Бежит, хватает перстень.)*

Вдруг в стене, как раз там, где висит перстень, распахивается дверца, и оттуда выскакивают король и стражники. Они отрезают Герде дорогу на половину принцессы.

Король. Что? Чья взяла? Ты забыла, что в каждом дворце есть потайные двери? Взять ее!..

Стражники неуклюже двигаются к Герде. Пытаются схватить ее. Это им не удается. Наконец один из стражников ловит Герду, но вскрикивает и сразу выпускает ее. Герда снова на половине принцессы.

(Ревет.) Неповоротливые животные! Разъелись на дворцовых хлебах!

Стражник. Она уколола меня иголкой.

Король. Вон!

Стражники уходят.

Герда. Стыдно, стыдно, король!

Король. Не говори глупостей! Король имеет право быть коварным.

Герда. Стыдно, стыдно!

Король. Не смей дразнить меня! Или я перейду на половину принцессы и схвачу тебя.

Герда. Только попробуйте.

Король. Дьявол... Ну ладно, я объясню тебе все... Ты оскорбила советника...

Герда. Что? Советника? Он здесь?

Король. Ну конечно, здесь. Ты и эта... твоя бабушка не продали ему там чего-то... Розы, что ли.. И теперь он требует, чтобы я заточил тебя в подземелье. Согласись на это! Я сам выберу тебе в подземелье местечко посуше.

Герда. Откуда советник знает, что я здесь?

Король. Он следил за тобой. Ну! Соглашайся же... Да войди же ты в мое положение. Я должен этому советнику массу денег. Горы! Я у него в руках. Если я не схвачу тебя, он меня разорит. Он прекратит поставку льда — и мы останемся без мороженого. Он прекратит поставку холодного оружия — и соседи разобьют меня. Понимаешь? Очень прошу, пожалуйста, пойдем в темницу. Теперь уж я говорю совершенно честно, уверяю тебя.

Г е р д а. Я верю, но в темницу ни за что не пойду Мне надо найти Кея.

Из потайной двери выходит с о в е т н и к. Король вздрагивает.

С о в е т н и к *(смотрит в лорнет)*. С вашего позволения, государь, я поражен. Она еще не схвачена?

К о р о л ь. Как видите.

С о в е т н и к *(медленно двигаясь к черте)*. Король должен быть: а) холоден, как снег, б) тверд, как лед, и в) быстр, как снежный вихрь.

К о р о л ь. Она на половине принцессы.

С о в е т н и к. Вздор! *(Прыгает за черту, хватает Герду и зажимает ей рот платком.)* Все!

С к а з о ч н и к *(прыгает из потайной двери)*. Нет, это еще не все, советник. *(Отталкивает советника и освобождает Герду.)*

С о в е т н и к. Вы здесь?

С к а з о ч н и к. Да. *(Обнимает Герду.)* Я переодевался до неузнаваемости и следил за каждым шагом вашим, советник. А когда вы уехали из города, я отправился следом.

С о в е т н и к. Зовите стражу, государь.

С к а з о ч н и к *(выхватывает пистолет)*. Ни с места, король, иначе я застрелю вас. Молчите... И вы не двигайтесь, советник. Так. Когда мне было восемь лет, я смастерил себе кукольный театр и написал для него пьесу.

Советник внимательно глядит в лорнет на Сказочника.

И в этой пьесе у меня действовал король. “Как говорят короли? — думал я. — Конечно, не так, как все люди”. И я достал у соседа-студента немецкий словарь, и в пьесе моей король говорил со своей дочкой так: “Дорогая тохтер, садись за дёртыш и кушай ди цукер”. И только сейчас наконец я наверняка узнаю, как говорит король с дочерью.

С о в е т н и к *(выхватывает шпагу)*. Зовите стражу, государь. Пистолет не выстрелит! Сказочник забыл насыпать на полку порох.

С к а з о ч н и к *(действуя несколько неуклюже, быстро берет под мышку пистолет, выхватывает шпагу и снова целится, левой рукой, в короля)*. Ни с места, государь! А вдруг пистолет все-таки выстрелит.

Сказочник сражается с советником, целясь в короля.

Герда *(визжит)*. Клаус, Эльза!

Советник. Да зовите же стражу, государь! Пистолет не заряжен.

Король. А он говорит, что заряжен.

Советник. Все равно он промахнется.

Король. А ну как не промахнется? Ведь тогда я, понимаете — я, буду убит.

Советник. Ну ладно! Я сам справлюсь с этим нескладным человеком.

Сказочник. Попробуйте! Раз! Ага, задел.

Советник. Нет, мимо.

Сражаясь, они подходят к самой черте. Король с неожиданной легкостью подскакивает и, протянув ногу через пограничную черту, дает Сказочнику подножку.

Сказочник *(падая)*. Король! Вы подставили мне ножку?

Король. Ага! *(Бежит, крича.)* Стража! Стража!

Герда. Клаус, Эльза!

Сказочник пробует подняться, но советник приставил ему шпагу к горлу.

Советник. Не кричи и не двигайся, девчонка, иначе я заколю его.

Вбегают два стражника.

Король. Схватите этого человека. Голова его лежит на моей земле.

Советник. И эту девчонку тоже заберите.

Едва стражники успевают сделать шаг,
как в комнату вбегают принц и принцесса со своими лакеями.
В руках у принца целый ворох шуб. Увидев все происходящее,
принц бросает шубы на пол, подлетает к советнику и хватает его за руку.
Сказочник вскакивает.

Принц. Это что такое? Мы там задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?

Герда. Они хотят заточить меня в темницу.

Принцесса. Пусть только попробуют.

Герда. Король чуть не погубил лучшего моего друга! Он ему подставил ножку. *(Обнимает Сказочника.)*

Принцесса. Ах, вот как... Ну, сейчас, государь, вы света невзвидите. Сейчас, сейчас я начну капризничать...

Принц. Некогда! Герда, мы принесли тебе три шубы.

Принцесса. Примерь, которая тебе больше подойдет.

Принц. Некогда! Надевай первую попавшуюся! Живей!

Советник шепчется о чем-то с королем. Герда одевается.

Король и повелитель, не советую вам больше трогать нас.

Принцесса. Папа, если ты не перестанешь, я никогда в жизни ничего не буду есть за обедом.

Принц. Чего вы там сговариваетесь? Как вам не стыдно связываться с детьми?

Король. Мы вовсе не сговариваемся. Мы просто так... болтаем.

Принц. Ну, смотрите!

Входят ворон и ворона.

Ворон и ворона *(хором)*. Кар-рета подана!

Принц. Молодцы! Жалую вам за это ленту через плечо и эту самую... подвязку со звоночками.

Ворон и ворона низко кланяются.

Ты готова, Герда? Идем. *(Сказочнику.)* И вы с нами?

Сказочник. Нет. Я останусь здесь, и если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить. Я догоню тебя, Герда.

Советник. Вздор.

Принцесса. Ну, смотри, папа!

Принц *(поднимает с пола шубы)*. С нами не так-то легко справиться, государь. Идем.

Уходят. Впереди Герда, сопровождаемая лакеями.
За нею принц и принцесса, позади ворон и ворона.

Король *(стражникам)*. Трубите тревогу. *(Уходит большими шагами.)*

Сейчас же раздаются звуки труб и барабанов, свистки, крики, лязг оружия. Звонит большой колокол.

Сказочник. Это что еще за шум?

Советник. Скоро все будет кончено, сочинитель. Слуги короля нападут на Герду и схватят ее.

Сказочник. Не схватят. Эти разжиревшие лакеи не так-то ловки, советник.

Советник. Схватят. Ну, какова сила золота, сказочник? Довольно мне было сказать слово — и вот весь огромный дворец гудит и ходит ходуном.

Сказочник. Весь огромный дворец ходит ходуном и гудит из-за маленькой девочки, у которой нет ни гроша. При чем же тут золото?

Советник. А при том, что девчонка попадет в темницу.

Сказочник. А я уверен, что она убежит.

Входит король.

Король. Ее схватили.

Сказочник. Как?

Король. А очень просто. Когда поднялась тревога, они погасили свет, думая скрыться в темноте, но мои храбрые солдаты поймали вашу Герду.

Стук в дверь.

Ее привели! Войдите.

Входит стражник и вводит Герду. Она плачет, закрывая лицо муфтой.

Ну вот, то-то и есть! Чего тут плакать, я не понимаю. Ведь я тебя не съем, а просто заточу в темницу.

Сказочник. Герда! Герда!

Король *(торжествуя)*. Вот то-то и есть!

Стук в дверь.

Кто там еще? Войдите!

Входит стражник и вводит еще одну Герду. Она тоже плачет, закрывая лицо муфтой.

Ну вот, так я и знал. Все эти хлопоты свели меня с ума. Две!

Обе Герды опускают муфты. Это п р и н ц и п р и н ц е с с а. Они хохочут.

С о в е т н и к. Принц и принцесса?

С к а з о ч н и к *(торжествуя)*. Вот то-то и есть!

К о р о л ь. Да как же это так?

П р и н ц. А очень просто. Вы видели, что мы принесли для Герды три шубы. Она надела одну...

П р и н ц е с с а. А мы в темноте — остальные.

П р и н ц. И стража погналась за нами.

П р и н ц е с с а. А Герда мчится себе в карете.

П р и н ц. И вам не догнать ее. Ни за что!

С к а з о ч н и к. Молодцы!

К о р о л ь. Я с вами еще посчитаюсь, любезный!

С о в е т н и к. Да уж вы-то ее во всяком случае не догоните, сочинитель.

П р и н ц е с с а. Что такое?

П р и н ц. Это мы еще посмотрим!

С к а з о ч н и к. Вы проиграли, советник.

С о в е т н и к. Игра еще не кончилась, сочинитель!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сказочник *(появляется перед занавесом)*. Крибле-крабле-бумс — все идет отлично. Король и советник хотели было схватить меня. Еще миг — и пришлось бы сидеть мне в подземелье да сочинять сказки про тюремную крысу и тяжелые цепи. Но Клаус напал на советника, Эльза — на короля, и — крибле-крабле-бумс — я свободен, я шагаю по дороге. Все идет отлично. Советник испугался. Там, где дружба, верность, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой; Герда едет в карете на четверке вороных, и — крибле-крабле-бумс — бедный мальчик будет спасен. Правда, карета, к сожалению, золотая, а золото — очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее! Девочка спит, а я не мог удержаться и побежал вперед пешком. Я шагаю без устали — левой, правой, левой, правой, — только искры летят из-под каблуков. Хоть и поздняя осень уже, но небо чистое, сухо, деревья стоят в серебре — это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, уже улетели на юг, но — крибле-крабле-бумс — как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минуту! Прислушайтесь! Мне хочется, чтобы и вы услышали птиц. Слышите?

Раздается длинный, пронзительный, зловещий свист. Вдали ему отвечает другой.

Что такое? Да это совсем не птицы.

Раздается зловещий далекий хохот, улюлюканье, крик.

(Достает пистолет и оглядывает его.) Разбойники! А карета едет без всякой охраны. *(Озабоченно.)* Крибле-крабле-бумс... *(Скрывается в разрезе занавеса.)*

Полукруглая комната, видимо расположенная внутри башни.
Когда занавес поднимается, комната пуста. За дверью кто-то свистит трижды.
Ему отвечают три других свистка. Двери открываются, и в комнату входит
первый разбойник. Он ведет за руку человека в плаще.
Глаза человека завязаны платком. Концы платка опускаются
на лицо человека, так что зрителю оно не видно.
Сейчас же открывается вторая дверь,
и в комнату входит пожилая женщина в очках.
Широкополая разбойничья шляпа надета набекрень. Она курит трубку.

Атаманша. Сними с него платок.

Первый разбойник. Прошу. *(Снимает платок с человека в плаще. Это советник.)*

Атаманша. Что вам нужно?

Советник. Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.

Атаманша. Это я.

Советник. Вы?

Атаманша. Да. После того как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я. Чего вы хотите?

Советник. Я хочу вам сказать несколько слов по секрету.

Атаманша. Иоганнес, вон!

Первый разбойник. Повинуюсь! *(Идет к двери.)*

Атаманша. Только не подслушивай, а то я тебя застрелю

Первый разбойник. Да что вы, атаманша! *(Уходит.)*

Атаманша. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, вам отсюда не уйти живым.

Советник. Вздор! Мы с вами прекрасно сговоримся.

Атаманша. Валяйте, валяйте!

Советник. Я вам могу указать на великолепную добычу.

Атаманша. Ну?

Советник. Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней; она из королевской конюшни.

Атаманша. Кто в карете?

Советник. Девчонка.

Атаманша. Есть охрана?

Советник. Нет.

Атаманша. Так. Однако... карета в самом деле золотая?

С о в е т н и к. Да. И поэтому едет она тихо. Она близко, я совсем недавно обогнал ее. Им не удрать от вас.

А т а м а н ш а. Так. Какую долю добычи вы требуете?

С о в е т н и к. Вы должны будете отдать мне девчонку

А т а м а н ш а. Вот как?

С о в е т н и к. Да. Это нищая девчонка, вам не дадут за нее выкупа.

А т а м а н ш а. Нищая девчонка едет в золотой карете?

С о в е т н и к. Карету ей дал на время принц Клаус. Девчонка — нищая. У меня есть причины ненавидеть ее. Вы мне выдадите девчонку, и я увезу ее.

А т а м а н ш а. Увезете... Значит, вы тоже приехали сюда в карете?

С о в е т н и к. Да.

А т а м а н ш а. В золотой?

С о в е т н и к. Нет.

А т а м а н ш а. А где стоит ваша карета?

С о в е т н и к. Не скажу.

А т а м а н ш а. Жаль. Мы бы и ее забрали тоже. Так вы хотите увезти девчонку?

С о в е т н и к. Да. Впрочем, если вы настаиваете, я могу и не увозить ее. При одном условии: девчонка должна остаться здесь навсегда.

А т а м а н ш а. Ладно, там видно будет. Карета близко?

С о в е т н и к. Очень близко.

А т а м а н ш а. Ага! *(Закладывает пальцы в рот и оглушительно свистит.)*

Вбегает п е р в ы й р а з б о й н и к.

П е р в ы й р а з б о й н и к. Что прикажете?

А т а м а н ш а. Лестницу и подзорную трубу.

П е р в ы й р а з б о й н и к. Слушаю-с!

Атаманша взбирается на стремянную лестницу и глядит в бойницу.

А т а м а н ш а. Ага! Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге и вся так и сверкает.

С о в е т н и к *(потирает руки)*. Золото!

А т а м а н ш а. Золото!

П е р в ы й р а з б о й н и к. Золото!

А т а м а н ш а. Труби сбор. *(Свистит.)*

П е р в ы й р а з б о й н и к. Повинуюсь. *(Трубит в трубу, которую снимает с гвоздя на стене.)*

Ему отвечают трубы за стеной, дробь барабана, шум шагов на лестнице, лязг оружия.

А т а м а н ш а *(опоясываясь мечом)*. Иоганнес! Пришли сюда кого-нибудь. Нужно стать на часах возле этого человека.

С о в е т н и к. Зачем?

А т а м а н ш а. Нужно. Иоганнес, ты слышишь, что я сказала?

П е р в ы й р а з б о й н и к. Никто не пойдет, атаманша.

А т а м а н ш а. Почему?

П е р в ы й р а з б о й н и к. Разбойники — нетерпеливые люди. Узнавши про золотую карету, они прямо обезумели. Ни один не останется, так они спешат захватить карету.

А т а м а н ш а. Откуда все знают о карете? Ты подслушивал?

П е р в ы й р а з б о й н и к. Я — нет. Они — да.

А т а м а н ш а. Тогда пришли этого... бородача, который пришел проситься в разбойники. Он новичок, он придет.

П е р в ы й р а з б о й н и к. Попробую. Но только... Это у нас он новичок. А вообще же это старый разбойник. Я разговаривал с ним. Он тоже обезумел и ревет не хуже других. Хороший парень, свирепый.

А т а м а н ш а. Ничего, послушается. А не послушается — застрелим. Ступай.

Первый разбойник уходит.

Ну, любезный друг. Если вы обманули нас, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.

С о в е т н и к. Вздор! Торопитесь же! Карета совсем близко.

А т а м а н ш а. Не учите меня!

Стук в дверь.

Войди!

Входит бородатый человек свирепого вида.

Ты не поедешь с нами!

Бородач. Атаманша! Возьмите меня! Уж я так буду стараться, что только искры полетят. В бою я — зверь.

Атаманша. Там не будет боя. Охраны нет. Кучер, лакей да девчонка.

Бородач. Девчонка! Возьмите меня, атаманша. Я ее заколю.

Атаманша. Зачем?

Бородач. С детства ненавижу детей.

Атаманша. Мало ли что. Ты останешься здесь. Следи за этим человеком, и если он вздумает бежать, убей его! Не возражай — застрелю.

Бородач. Ну ладно...

Атаманша. Смотри же. *(Идет к двери.)*

Бородач. Ни пуха вам, ни пера.

Атаманша уходит.

Советник *(очень доволен, напевает)*. Дважды два — четыре, все идет разумно. Дважды два — четыре, все идет как должно!

Издали доносится голос атаманши: “По коням!”
Удаляющийся топот копыт.

Пятью пять — двадцать пять, слава королеве. Шестью шесть — тридцать шесть, горе дерзким детям. *(Обращается к разбойнику.)* Ты тоже не любишь детей, разбойник?

Бородач. Ненавижу.

Советник. Молодец!

Бородач. Я держал бы всех детей в клетке, пока они не вырастут.

Советник. Очень разумная мысль. Ты давно в этой шайке?

Бородач. Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.

Советник. Прекрасно! Ты мне можешь пригодиться для одного дельца!

Бородач. За деньги?

Советник. Конечно.

Издали доносятся крики.

Ага! *(Идет к стремянке.)* Я хочу взглянуть, что там делается.

Б о р о д а ч. Валяйте!

С о в е т н и к *(поднимается к бойницам и смотрит в подзорную трубу)*. Это очень смешно! Кучер пробует погнать лошадей вскачь, но золото — тяжелая вещь.

Б о р о д а ч. А наши?

С о в е т н и к. Окружают карету. Кучер бежит. Они хватают девчонку. Ха-ха-ха! А это кто удирает? Сказочник! Беги, беги, герой! Отлично!

Взрыв криков.

Все. Сказочник убит. *(Слезает с лестницы. Напевает.)* Все идет как должно, дважды два — четыре.

Б о р о д а ч. Надеюсь, девчонку-то они не убили?

С о в е т н и к. Как будто бы нет. А что?

Б о р о д а ч. Мне хочется это сделать самому.

С о в е т н и к *(кладет руку на плечо бородачу)*. Разбойник, ты мне нравишься.

Б о р о д а ч. Какие у вас холодные руки, я чувствую это даже через одежду.

С о в е т н и к. Я всю жизнь возился со льдом. Нормальная моя температура — тридцать три и две. Здесь нет детей?

Б о р о д а ч. Конечно, нет!

С о в е т н и к. Отлично!

Слышен приближающийся стук копыт.

Едут! Едут! Здесь нет детей, гадкая девчонка, сказочник убит — кто за тебя заступится?

Шум, крики. Распахивается дверь.
В комнату входят а т а м а н ш а и п е р в ы й р а з б о й н и к.
За ними — толпа р а з б о й н и к о в. Они ведут Г е р д у.

А т а м а н ш а. Эй, ты, незнакомец! Ты свободен! Ты не обманул нас!

С о в е т н и к. Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте мне девчонку!

А т а м а н ш а. Можешь забрать ее с собой.

Г е р д а. Нет, нет!

С о в е т н и к. Молчи! Здесь за тебя никто не заступится. Твой друг сочинитель убит.

Г е р д а. Убит?

С о в е т н и к. Да. Это очень хорошо. У вас найдется веревка, атаманша? Надо будет связать девчонку по рукам и ногам.

А т а м а н ш а. Это можно. Иоганнес, свяжи ее!

Г е р д а. Подождите, милые разбойники, подождите минуточку!

Разбойники хохочут.

Я вам вот что хотела сказать, разбойники. Возьмите мою шубу, шапку, перчатки, муфту, меховые сапожки, а меня отпустите, и я пойду своей дорогой.

Разбойники хохочут.

Разбойники, ведь я ничего смешного не сказала. Взрослые часто смеются неизвестно почему. Но вы попробуйте не смеяться. Пожалуйста, разбойники. Мне очень хочется, чтобы вы послушались меня.

Разбойники хохочут.

Вы все-таки смеетесь? Когда хочешь очень хорошо говорить, то, как нарочно, мысли путаются в голове и все нужные слова разбегаются. Ведь есть же на свете слова, от которых даже разбойники могут сделаться добрыми...

Разбойники хохочут.

П е р в ы й р а з б о й н и к. Да, есть такие слова, от которых даже разбойники добреют. Это: "Возьмите десять тысяч талеров выкупа".

С о в е т н и к. Разумно.

Разбойники хохочут.

Г е р д а. Но ведь я бедная. Ах, не отдавайте, не отдавайте меня этому человеку! Вы ведь не знаете его, вы не понимаете, какой он страшный.

С о в е т н и к. Вздор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга.

Г е р д а. Отпустите меня. Ведь я маленькая девочка, я уйду потихонечку, как мышка, вы даже и не заметите. Без меня погибнет Кей — он очень хороший мальчик. Поймите меня! Ведь есть же у вас друзья!

Б о р о д а ч. Довольно, девочка, ты надоела мне! Не трать слов. Мы люди серьезные, деловые, у нас нет ни друзей, ни жен, ни семьи; жизнь научила нас, что единственный верный друг — золото!

С о в е т н и к. Разумно сказано. Вяжите ее.

Г е р д а. Ах, лучше выдерите меня за уши или отколотите, если вы такие злые, но только отпустите! Да неужели же здесь нет никого, кто заступился бы за меня?

С о в е т н и к. Нет! Вяжите ее.

Внезапно распахивается дверь, и в комнату вбегает д е в о ч к а,
крепкая, миловидная, черноволосая. За плечами у нее ружье.
Она бросается к атаманше.

(Вскрикивает.) Здесь есть дети?

А т а м а н ш а. Здравствуй, дочь! *(Дает девочке щелчок в нос.)*

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Здравствуй, мать! *(Отвечает ей тем же.)*

А т а м а н ш а. Здравствуй, козочка! *(Щелчок.)*

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Здравствуй, коза! *(Отвечает ей тем же.)*

А т а м а н ш а. Как поохотилась, дочь?

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Отлично, мать. Подстрелила зайца. А ты?

А т а м а н ш а. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а *(вскрикивает)*. Девочку? *(Замечает Герду.)* Правда!.. Молодец мать! Я беру девочку себе.

С о в е т н и к. Я протестую.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. А это еще что за старый сухарь?

С о в е т н и к. Но...

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Я тебе не лошадь, не смей говорить мне “но”! Идем, девочка! Не дрожи, я этого терпеть не могу.

Г е р д а. Я не от страху. Я очень обрадовалась.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. И я тоже. *(Треплет Герду по*

щеке.) Ах ты мордашка... Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтобы они бегали. Идем ко мне.

Советник. Я протестую, протестую, протестую!

Маленькая разбойница. Мама, застрели-ка его!.. Не бойся, девочка: пока я с тобой не поссорилась, никто тебя и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне! Мама, что я тебе сказала, стреляй же! Идем, девочка...

Уходят.

Советник. Что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.

Атаманша. Да. Раз моя дочь взяла девочку себе — я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники.

Советник. Но, атаманша! Смотрите, атаманша!..

Атаманша. Довольно, любезный! Радуйтесь и тому, что я не исполнила дочкиной просьбы и не подстрелила вас. Уходите, пока не поздно.

Раздается глубокий, низкий, мелодичный звон.

Ага! Это звенит золотая карета. Ее подвезли к башне. Идем, разобьем ее на куски да поделим. *(Идет к двери.)*

Разбойники с ревом устремляются за атаманшей. Советник задерживает бородача. Все уходят, кроме них двоих.

Советник. Не спеши!

Бородач. Но ведь там будут делить золото.

Советник. Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть одну из этих девчонок.

Бородач. Которую?

Советник. Пленницу.

Раздается низкий, мелодичный звон, похожий на удары большого колокола, звон продолжается во все время их разговора.

Б о р о д а ч. Они раскалывают карету!

С о в е т н и к. Говорят тебе, ты ничего не потеряешь, я заплачу тебе.

Б о р о д а ч. Сколько?

С о в е т н и к. Не обижу.

Б о р о д а ч. Сколько? Я не мальчик, я знаю, как делаются дела.

С о в е т н и к. Десять талеров.

Б о р о д а ч. Прощай!

С о в е т н и к. Погоди! Ты же ненавидишь детей. Заколоть мерзкую девчонку — это ведь одно удовольствие.

Б о р о д а ч. Не следует говорить о чувствах, когда делаются дела.

С о в е т н и к. И это говорит благородный разбойник!

Б о р о д а ч. Благородные разбойники были когда-то, да повымерли. Остались ты да я. Дело есть дело... Тысячу талеров!

С о в е т н и к. Пятьсот...

Б о р о д а ч. Тысячу!..

С о в е т н и к. Семьсот...

Б о р о д а ч. Тысячу! Кто-то идет. Решай скорей!

С о в е т н и к. Ладно. Пятьсот сейчас, пятьсот — когда дело будет сделано.

Б о р о д а ч. Нет. Имей в виду — кроме меня, никто не возьмется за это. Мне все равно тут не жить, а остальные боятся маленькой разбойницы!

С о в е т н и к. Ладно. Бери! *(Передает бородачу пачку денег.)*

Б о р о д а ч. Отлично.

С о в е т н и к. И не медли.

Б о р о д а ч. Ладно.

Звон затихает. Распахивается дверь, входят Г е р д а и м а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Герда, увидев советника, вскрикивает.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а *(выхватив из-за пояса пистолет, целится в советника)*. Ты здесь еще? Вон отсюда!

С о в е т н и к. Я протестую...

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Ты, видно, только одно слово и знаешь: “протестую” да “протестую”. Я считаю до трех. Если не уберешься — стреляю... Раз...

Советник. Слушайте...

Маленькая разбойница. Два.

Советник. Но ведь...

Маленькая разбойница. Три!

Советник убегает

(Хохочет.) Видишь? Я ведь говорила; пока мы не поссоримся, тебя никто не тронет. Да если даже мы и поссоримся, то я никому тебя не дам в обиду. Я сама тебя тогда убью: ты мне очень, очень понравилась.

Бородач. Позвольте мне, маленькая разбойница, сказать два слова вашей новой подруге.

Маленькая разбойница. Что такое?

Бородач. О, не сердитесь, пожалуйста. Я ей хотел сказать два слова, только два слова по секрету.

Маленькая разбойница. Я терпеть не могу, когда мои подруги секретничают с чужими. Убирайся вон отсюда!

Бородач. Однако...

Маленькая разбойница *(целится в него из пистолета)*. Раз!

Бородач. Слушайте!..

Маленькая разбойница. Два!

Бородач. Но ведь...

Маленькая разбойница. Три!

Бородач выбегает вон.

Ну, вот и все. Теперь, надеюсь, взрослые не будут нам больше мешать. Ты мне очень, очень нравишься, Герда. Твою шубку, перчатки, меховые сапожки и муфту я возьму себе. Ведь подруги должны делиться. Тебе жалко?

Герда. Нет, нисколько. Но я боюсь, что замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной королевы.

Маленькая разбойница. Ты не поедешь туда! Вот еще глупости: только что подружились — и вдруг уезжать. У меня есть целый зверинец — олень, голуби, собаки, но ты мне больше нравишься, Герда. Ах ты моя мордашка! Собак я держу во дворе: они огромные,

могут проглотить человека. Да они часто так и делают А олень тут. Сейчас я тебе его покажу. *(Открывает верхнюю половину одной из дверей в стене.)* Мой олень умеет прекрасно говорить Это редкий олень — северный.

Г е р д а. Северный?

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Да. Сейчас я покажу тебе его Эй, ты! *(Свистит.)* Поди сюда! Ну, живо! *(Хохочет.)* Боится! Я каждый вечер щекочу ему шею острым ножом. Он так уморительно дрожит, когда я это делаю! Ну, иди же! *(Свистит.)* Ты знаешь меня! Знаешь, что я все равно заставлю тебя подойти.

В верхней половине двери показывается рогатая голова северного оленя.

Видишь, какой смешной! Ну, скажи же что-нибудь.. Молчит. Никогда не заговорит сразу. Эти северяне такие молчаливые. *(Достает из ножен большой нож. Проводит по шее оленя.)* Ха-ха-ха! Видишь, как потешно он прыгает?

Г е р д а. Не надо.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. ? Ведь это очень весело!

Г е р д а. Я хочу спросить его. Олень, ты знаешь, где страна Снежной королевы?

Олень кивает головой

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Ах, знаешь — ну, тогда убирайся вон! *(Захлопывает окошечко.)* Я все равно не пущу тебя туда, Герда

Входит а т а м а н ш а. За нею несет зажженный факел б о р о д а ч.
Он укрепляет факел в стене.

А т а м а н ш а. Дочь, стемнело, мы уезжаем на охоту. Ложись спать.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Ладно. Мы ляжем спать, когда наговоримся.

А т а м а н ш а. Советую тебе девочку уложить здесь.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Она ляжет со мной.

А т а м а н ш а. Как знаешь! Но смотри! Ведь если она нечаянно толкнет тебя во сне, ты ударишь ее ножом.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Да, это верно. Спасибо, мать. *(Бородачу.)* Эй, ты! Приготовь здесь девочке постель. Возьми соломы в

моей комнате.

Бородач. Повинуюсь. *(Уходит.)*

Атаманша. Он останется сторожить вас. Он, правда, новичок, но за тебя я мало беспокоюсь. Ты сама справишься с сотней врагов. До свидания, дочь. *(Дает ей щелчок в нос.)*

Маленькая разбойница. До свидания, мать! *(Отвечает ей тем же.)*

Атаманша. Спи спокойно, козочка. *(Щелчок.)*

Маленькая разбойница. Ни пуха ни пера, коза. *(Отвечает ей тем же.)*

Атаманша уходит, бородач стелет постель.

Герда. Я хочу поговорить с оленем.

Маленькая разбойница. Но ведь ты потом опять начнешь просить, чтобы я отпустила тебя.

Герда. Я только хочу спросить — а вдруг олень видел Кея *(Вскрикивает.)* Ай-ай-ай!

Маленькая разбойница. Что ты?

Герда. Этот разбойник дернул меня за платье!

Маленькая разбойница. *(Бородачу)*. Ты как посмел это сделать? Зачем?

Бородач. Прошу прощения, маленькая атаманша. Я стряхнул жука, который полз по ее платью.

Маленькая разбойница. Жука!.. Я тебе покажу, как пугать моих подруг. Постель готова? Тогда — вон отсюда! *(Целится в него из пистолета.)* Раз, два, три!

Бородач уходит.

Герда. Девочка! Поговорим с оленем... Два слова... Только два слова!

Маленькая разбойница. Ну уж ладно, будь по-твоему. *(Открывает верхнюю половину двери.)* Олень! Сюда! Да живее! Я не буду тебя щекотать ножом.

Показывается олень.

Герда. Скажи мне, пожалуйста, олень, ты видел Снежную королеву?

Олень кивает головой.

А скажи, пожалуйста, не видал ли ты когда-нибудь вместе с нею маленького мальчика?

Олень кивает головой.

Герда и маленькая разбойница *(схватившись за руки, пораженные, друг другу)*. Видал!

Маленькая разбойница. Говори сейчас же, как это было.

Олень *(говорит тихо, низким голосом, с трудом подбирая слова)*. Я... прыгал по снежному полю. Было совсем светло... потому что... сияло северное сияние... И вдруг... я увидел: летит Снежная королева... Я ей сказал: здравствуйте... А она ничего не ответила... Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался... Большие белые птицы несли его санки..

Герда. Санки! Значит, это был действительно Кей.

Олень. Это был Кей — так звала его королева.

Герда. Ну вот, так я и знала. Белый от холода! Надо растереть его рукавицей и потом дать ему горячего чаю с малиной. Ах, я избила бы его! Глупый мальчишка! Может, он превратился теперь в кусок льда *(Маленькой разбойнице.)* Девочка, девочка, отпусти меня!

Олень. Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной королевы. Там моя родина.

Маленькая разбойница *(захлопывает дверцу)*. Довольно, наговорились, пора спать. Не смей на меня смотреть так жалобно, а то я застрелю тебя. Я с тобой не поеду, потому что терпеть не могу холода, а одна я здесь не могу жить. Я к тебе привязалась. Понимаешь?

Голос оленя *(за дверью)*. Отпусти...

Маленькая разбойница. Спи! И ты ложись спать. Ни слова больше! *(Убегает к себе и сейчас же возвращается с веревкой в руках.)* Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. *(Привязывает Герду.)* Веревка длинная, она не помешает тебе спать. Вот и все. Спи, моя крошечка, спи, моя миленькая. Я отпустила бы тебя, но — сама посуди — разве я в силах расстаться с тобой! Ни слова! Ложись! Так... Я всегда засыпаю сразу,— я все делаю быстро. И ты сразу же усни. Веревку и не пробуй развязывать. Ножа у

тебя нет?

Г е р д а. Нет.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Вот и умница. Молчи. Спокойной ночи! *(Убегает к себе.)*

Г е р д а. Ах ты, глупый, бедный маленький Кей!

О л е н ь *(за дверцей)*. Девочка!

Г е р д а. Что?

О л е н ь. Давай убежим. Я увезу тебя на север.

Г е р д а. Но я привязана.

О л е н ь. Это ничего. Ты ведь счастливая: у тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.

Г е р д а *(возится с веревкой)*. Ничего мне не сделать.

О л е н ь. Там так хорошо... Мы помчались бы по огромному снежному полю... Свобода... Свобода... Северное сияние освещало бы дорогу.

Г е р д а. Скажи, олень, Кей был очень худой?

О л е н ь. Нет. Он был довольно полненький.. Девочка, девочка, бежим!

Г е р д а. Когда я спешу, у меня руки дрожат.

О л е н ь. Тише! Ложись!

Г е р д а. А что?

О л е н ь. У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись!

Герда ложится. Пауза. Дверь медленно приоткрывается.
Показывается голова б о р о д а ч а. Он оглядывается,
потом входит в комнату и закрывает за собой дверь. Тихо крадется к Герде.

Г е р д а *(вскакивает)*. Что вам надо?

Б о р о д а ч Умоляю тебя, ни слова! Я пришел спасти тебя *(Подбегает к Герде и взмахивает ножом.)*

Г е р д а. Ах!

Б о р о д а ч. Тише! *(Перерезает веревку.)*

Г е р д а. Кто вы?

Бородач срывает бороду и нос. Это Сказочник.

Это вы? Вы ведь убиты!

Сказочник. Ранен не я, а лакей, которому я отдал свой плащ. Бедняга ужасно мерз на запятках кареты.

Герда. Но как вы попали сюда?

Сказочник. Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Что делать? Лакей, кучер, я — нам не отстоять золотой кареты от жадных разбойников. Тогда я переоделся разбойником.

Герда. Но откуда вы взяли бороду и нос?

Сказочник. Они давно со мной. Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался до неузнаваемости. Борода и нос остались в кармане и сослужили мне чудесную службу. У меня тысяча талеров... Бежим! В ближайшей деревне мы найдем лошадей.

Топот копыт.

Что это? Они возвращаются?

Шаги.

Ложись!

В комнату входят первый разбойник и атаманша.

Атаманша. Это еще кто?

Сказочник. Что за вопрос? Вы не узнаете меня, атаманша?

Атаманша. Нет.

Сказочник *(тихо)*. Ах, черт... Я забыл надеть бороду *(Громко.)* Я побрился, атаманша!

Первый разбойник. Да ты и нос побрил, приятель! О-гей! Сюда!

Вбегают разбойники.

Глядите, товарищи, как изменился наш друг бородач!

Разбойники. Полицейская собака! Ищейка! Сыщик!

Первый разбойник. Какая прекрасная поездка, друзья. Едва выехали, как поймали четырех купцов; едва вернулись — поймали сыщика.

Герда *(вскрикивает)*. Это мой друг! Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня!

Разбойники хохочут.

Нет уж. Довольно вы смеялись! Девочка! Девочка!

Первый разбойник. Зови, зови ее. Она разом застрелит тебя за то, что ты хотела удрать.

Герда. Сюда! Помоги!

Вбегает маленькая разбойница с пистолетом в руке.

Маленькая разбойница. Что случилось? Что такое? Кто посмел обидеть тебя? Кто это?

Герда. Это мой друг, сказочник. Он пришел, чтобы спасти меня.

Маленькая разбойница. И ты хотела бежать? Так вот ты какая!

Герда. Я оставила бы тебе записку.

Разбойники хохочут.

Маленькая разбойница. Вон отсюда все! *(Наступает на разбойников.)* И ты, мама, уйди! Идите! Идите, делите добычу!

Разбойники хохочут.

Прочь! *(Наступает на них.)*

Разбойники и атаманша уходят.

Эх, Герда, Герда Я бы, может быть или даже наверное, сама тебя отпустила завтра.

Герда. Прости.

Маленькая разбойница открывает дверь в зверинец. Скрывается там на миг Выходит и выводит оленя.

Маленькая разбойница. Он очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Возьми шубу, шапку, сапожки. А муфту и перчатки я тебе не отдам. Они мне очень уж понравились. Вот тебе вместо них — безобразные рукавицы моей матушки. Садись верхом. Поцелуй меня.

Г е р д а *(целует ее)*. Спасибо

О л е н ь. Спасибо!

С к а з о ч н и к. Спасибо!

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а *(Сказочнику)*. А ты меня за что благодаришь? Герда, это и есть твой друг, который знает так много сказок?

Г е р д а. Да.

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Он останется со мной. Он будет развлекать меня, пока ты не вернешься

С к а з о ч н и к. Я..

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Кончено. Скачи, скачи, олень, пока я не передумала.

О л е н ь *(на бегу)*. Прощай!

Г е р д а. До свидания!

Исчезают

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Ну, чего ж ты стоишь? Говори! Рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты меня не рассмешишь, я застрелю тебя. Ну? Раз.. два..

С к а з о ч н и к. Но послушайте...

М а л е н ь к а я р а з б о й н и ц а. Три!

Сказочник *(чуть не плача)*. Много лет назад жил-был снежный болван. Стоял он во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал... Бедная девочка! Бедная Герда! Там кругом льды, ветер ревет и ревет. Между ледяными горами бродит Снежная королева... А Герда, маленькая Герда там одна...

Маленькая разбойница вытирает слезы ручкой пистолета.

Но не надо плакать. Нет, не надо! Честное слово, все еще, может быть, кончится ничего себе. Честное слово!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В разрезе занавеса показывается голова с е в е р н о г о о л е н я. Он оглядывается во все стороны. Дальше не идет. Следом за ним выходит Г е р д а.

Г е р д а. Вот здесь и начинается страна Снежной королевы?

Олень кивает головой.

Дальше ты не смеешь идти?

Олень кивает головой.

Ну, тогда до свидания. Большое тебе спасибо, олень. *(Целует его.)* Беги домой.

О л е н ь. Подожди.

Г е р д а. Чего ждать? Нужно идти не останавливаясь, ведь тогда гораздо скорее придешь.

О л е н ь. Подожди, Снежная королева очень злая...

Г е р д а. Я знаю.

О л е н ь. Здесь жили когда-то люди, множество людей — и все они бежали на юг, прочь от нее. Теперь вокруг только снег и лед, лед и снег. Это могущественная королева.

Г е р д а. Я знаю.

О л е н ь. И ты все-таки не боишься?

Г е р д а. Нет.

О л е н ь. Здесь холодно, а дальше будет еще холодней. Стены дворца Снежной королевы сделаны из метелей, окна и двери из ледяного ветра, а крыша из снеговых туч.

Г е р д а. Покажи, пожалуйста, куда мне идти.

О л е н ь. Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Говорят, что Снежной королевы сегодня нет дома, беги, пока она не вернулась, беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего две мили.

Г е р д а. Значит, Кей так близко! До свидания! *(Бежит.)*

О л е н ь. До свидания, девочка.

Герда скрывается.

Ах, если бы она была сильна, как двенадцать оленей... Но нет... Что может сделать ее сильней, чем она есть? Полмира обошла она, и ей служили и люди, и звери, и птицы. Не у нас занимать ей силу, — сила в ее горячем сердце. Я не уйду. Я подожду ее тут. И если девочка победит — я порадуюсь, а если погибнет — заплачу.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Занавес открывается. Зал во дворце Снежной королевы. Стены дворца состоят из снежинок, которые вертятся и вьются со страшной быстротой. На большом ледяном троне сидит К е й. Он бледен. В руках у него длинная ледяная палка. Он сосредоточенно перебирает палкой плоские, строконечные льдинки, лежащие у подножия трона. Когда открывается занавес, на сцене тихо. Слышно только, как глухо и однообразно воет ветер. Но вот издали раздается голос Герды.

Г е р д а. Кей, Кей, я здесь!

Кей продолжает свою работу.

Кей! Отзовись, Кей! Здесь так много комнат, что я заблудилась.

Кей молчит. Голос Герды все ближе.

Кей, дорогой, здесь так пусто! Тут некого спросить, как пройти к тебе. Кей!

Кей молчит.

Кей, неужели ты совсем замерз? Скажи хоть слово. Когда я Думаю, что ты, может быть, замерз, у меня подгибаются ноги. Если ты не ответишь, я упаду.

Кей молчит.

Пожалуйста, Кей, пожалуйста... *(Вбегает в зал и останавливается как*

вкопанная.) Кей! Кей!

К е й *(сухо, глуховатым голосом)*. Тише, Герда. Ты сбиваешь меня.

Г е р д а. Кей, милый, это я!

К е й. Да.

Г е р д а. Ты меня забыл?

К е й. Я никогда и ничего не забываю

Г е р д а. Подожди, Кей, я столько раз видела во сне, что нашла тебя... Может быть, опять я вижу сон, только очень плохой.

К е й. Вздор!

Г е р д а. Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?

К е й. Тише.

Г е р д а. Кей, ты нарочно пугаешь меня, дразнишь? Или нет? Ты подумай, я столько дней все иду, иду — и вот нашла тебя, а ты даже не сказал мне "здравствуй".

К е й *(сухо)*. Здравствуй, Герда.

Г е р д а. Как ты это говоришь? Подумай. Что мы с тобой, в ссоре, что ли? Ты даже не взглянул на меня.

К е й. Я занят.

Г е р д а. Я не испугалась короля, я ушла от разбойников, я не побоялась замерзнуть, а с тобой мне страшно. Я боюсь подойти к тебе. Кей, это ты?

К е й. Я.

Г е р д а. А что ты делаешь?

К е й. Я должен сложить из этих льдинок слово "вечность".

Г е р д а. Зачем?

К е й. Не знаю. Так велела королева.

Г е р д а. Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?

К е й. Да. Это называется "ледяная игра разума". А кроме того, если я сложу слово "вечность", королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.

Герда бросается к Кею и обнимает его. Кей безучастно повинуется.

Г е р д а. Кей, Кей, бедный мальчик, что ты делаешь, дурачок? Пойдем домой, ты тут все забыл. А там что делается! Там есть и

хорошие люди, и разбойники, — я столько увидела, пока тебя искала. А ты сидишь и сидишь, как будто на свете нет ни детей, ни взрослых, как будто никто не плачет, не смеется, а только и есть в мире, что эти кусочки льда. Ты бедный, глупый Кей!

Кей. Нет, я разумный, право так...

Герда. Кей, Кей, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала играть с этими кусочками льда, и сказочник, и маленькая разбойница? Кто бы тогда спас тебя? А меня?

Кей *(неуверенно)*. Вздор!

Герда *(плача и обнимая Кея)*. Не говори, пожалуйста, не говори так. Пойдем домой, пойдем! Я ведь не могу оставить тебя одного. А если и я тут останусь, то замерзну насмерть, а мне этого так не хочется! Мне здесь не нравится. Ты только вспомни: дома уже весна, колеса стучат, листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое. Слышишь, Кей, — небо чистенькое, как будто оно умылось. Слышишь, Кей? Ну, засмейся, что я говорю такие глупости. Ведь небо не умывается. Кей! Кей!

Кей *(неуверенно)*. Ты... ты беспокоишь меня.

Герда. Там весна, мы вернемся и пойдем на речку, когда у бабушки будет свободное время. Мы посадим ее на траву. Мы ей руки разотрем. Ведь когда она не работает, у нее руки болят. Помнишь? Ведь мы ей хотели купить удобное кресло и очки... Кей! Без тебя во дворе все идет худо. Ты помнишь сына слесаря, его звали Ганс? Того, что всегда хворает. Так вот, его побил соседский мальчишка, тот, которого мы прозвали Булкой.

Кей. Из чужого двора?

Герда. Да. Слышишь, Кей? Он толкнул Ганса. Ганс худенький, он упал и коленку ушиб, и ухо поцарапал, и заплакал, а я подумала: “Если бы Кей был дома, то заступился бы за него”. Ведь правда, Кей?

Кей. Правда. *(Беспокойно.)* Мне холодно.

Герда. Видишь? Я ведь тебе говорила. И еще они хотят утопить бедную собаку. Ее звали Трезор. Лохматая, помнишь? Помнишь, как она тебя любила? Если бы ты был дома, то спас бы ее... А прыгает дальше всех теперь Оле. Дальше тебя. А у соседской кошки три котенка. Одного нам дадут. А бабушка все плачет и стоит у ворот. Кей! Ты слышишь? Дождик идет, а она все стоит и ждет, ждет...

Кей. Герда! Герда, это ты? *(Вскакивает.)* Герда! Что случилось? Ты плачешь? Кто тебя посмел обидеть? Как ты попала сюда? Как здесь холодно! *(Пробует встать и идти — ноги плохо повинуются ему.)*

Герда. Идем! Ничего, ничего, шагай! Идем... Вот так. Ты научишься. Ноги разойдутся. Мы дойдем, дойдем, дойдем!

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Декорация первого действия. Окно открыто.
У окна в сундуке розовый куст без цветов. На сцене пусто.
Кто-то громко и нетерпеливо стучит в дверь. Наконец дверь распахивается,
и в комнату входят маленькая разбойница и Сказочник.

Маленькая разбойница. Герда! Герда! *(Быстро обходит всю комнату, заглядывает в дверь спальни.)* Ну вот! Я так и знала, она еще не вернулась! *(Бросается к столу.)* Смотри, смотри, записка. *(Читает.)* “Дети! В шкафу булочки, масло и сливки. Все свежее. Кушайте, не ждите меня. Ах, как я соскучилась без вас. Бабушка”. Видишь, значит, она не пришла еще!

Сказочник. Да.

Маленькая разбойница. Если ты будешь смотреть на меня такими глазами, я пырну тебя ножом в бок. Как ты смеешь думать, что она погибла!

Сказочник. Я не думаю.

Маленькая разбойница. Тогда улыбайся. Конечно, это очень грустно — сколько времени прошло, а о них ни слуху ни духу. Но мало ли что...

Сказочник. Конечно...

Маленькая разбойница. Где ее любимое место? Где она сидела чаще всего?

Сказочник. Вот здесь.

Маленькая разбойница. Я сяду тут и буду сидеть, пока она не вернется! Да, да! Не может быть, чтобы такая хорошая девочка — и вдруг погибла. Слышишь?

Сказочник. Слышу.

Маленькая разбойница. Я верно говорю?

Сказочник. В общем — да. Хорошие люди всегда побеждают в конце концов.

Маленькая разбойница. Конечно!

Сказочник. Но некоторые из них иногда погибают, не дождавшись победы.

Маленькая разбойница. Не смей так говорить!

Сказочник. Лед — это лед; ему все равно — хорошая Герда девочка или нет.

Маленькая разбойница. Она справится со льдом.

Сказочник. Туда она доберется в конце концов. А обратно ей придется вести за собой Кея. А он ослабел, просидев столько времени взаперти.

Маленькая разбойница. Если она не вернется, я всю жизнь буду воевать с этим ледяным советником и со Снежной королевой.

Сказочник. А если она вернется?

Маленькая разбойница. Все равно буду. Подойди и сядь рядом со мною. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз вздохнешь — прощайся с жизнью!

Сказочник. Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.

Ворон садится на окно. Через плечо у него лента.

Ворон. Здравствуйте, господин сказочник.

Сказочник. Ворон! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя!

Ворон. И я рад! Я так рад, что попрошу вас называть меня и в дальнейшем просто ворон, хотя теперь меня следует именовать “ваше превосходительство”. *(Поправляет клювом ленту.)*

Сказочник. Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?

Ворон. Я не прилетел, я прибыл, но как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?

Сказочник. Нет.

Ворон *(кричит в окно)*. Кр-ра! Кр-ра! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.

Сказочник. Как! Клаус и Эльза здесь?

Ворон. Да, их высочества прибыли сюда.

Маленькая разбойница. Им тоже надоело и днем и

ночью, утром и вечером ждать Герду? И они тоже решили узнать, не вернулась ли она прямо к себе?

Ворон. Совершенно верно, маленькая госпожа. Так много быстротекущих дней кануло в реку времени, что нетерпение наше перешло границы вероятного. Ха-ха-ха! Красиво я говорю?

Маленькая разбойница. Ничего себе.

Ворон. Ведь теперь я настоящий придворный ученый ворон. *(Поправляет клювом ленту.)* Я женился на Кларе и состою при принце и принцессе.

Дверь октрывается. Входят принц, принцесса и ворона.

Принц *(Сказочнику)*. Здравствуй старый друг. Герда не приехала? А мы только о ней и говорим.

Принцесса. А когда не говорим, то думаем о ней.

Принц. А когда не думаем, то видим ее во сне.

Принцесса. И сны эти часто бывают страшные.

Принц. И мы решили поехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь. Тем более что дома очень невесело.

Принцесса. Папа все дрожит и вздыхает: он боится советника.

Принц. Мы больше не вернемся во дворец. Мы поступим тут в школу. Девочка, ты кто?

Маленькая разбойница. Я — маленькая разбойница. Вы дали Герде четырех коней, а я подарила ей моего любимого оленя. Он понесся на север и не вернулся до сих пор.

Сказочник. Уже совсем стемнело. *(Закрывает окно и зажигает лампу.)* Дети, дети! У моей мамы — она была прачка — не было денег платить за мое учение. И в школу я поступил уже совсем взрослым парнем. Когда я учился в пятом классе, мне было восемнадцать лет. Ростом я был такой же, как теперь, а нескладен был еще больше. И ребята дразнили меня, а я, чтобы спастись, рассказывал им сказки. И если хороший человек в моей сказке попадал в беду, ребята кричали: "Спаси его сейчас же, длинноногий, а то мы тебя побьем". И я спасал его... Ах, если бы я мог так же легко спасти Кея и Герду!

Маленькая разбойница. Надо было ехать не сюда, а на север, к ней навстречу. Тогда, может быть, мы и спасли бы ее...

Сказочник. Но ведь мы думали, что дети уже дома.

Распахивается дверь, и в комнату почти бегом вбегает бабушка.

Бабушка. Вернулись! *(Обнимает маленькую разбойницу.)* Герда... Ах, нет! *(Бросается к принцу.)* Кей!.. Опять нет... *(Вглядывается в принцессу.)* И это не она... А это птицы. *(Вглядывается в Сказочника.)* Но вы — это действительно вы... Здравствуйте, друг мой! Что с детьми? Вы... вы боитесь сказать?

Ворона. Ах нет, уверяю вас — мы просто ничего не знаем. Поверьте мне. Птицы никогда не врут.

Бабушка. Простите меня... Но каждый вечер, возвращаясь дамой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли и легли спать, думала я. Я поднималась, бежала в спальню — нет, постельки пустые. Тогда я обыскивала каждый уголок. Может быть, они спрятались, чтобы потом вдруг обрадовать меня, думала я. И никого не находила. А сегодня, когда я увидела освещенное окно, у меня тридцать лет слетело с плеч долой. Я вбежала наверх бегом, вошла — и годы мои опять упали мне на плечи: дети не вернулись еще.

Маленькая разбойница. Сядьте, бабушка, милая бабушка, и не надрывайте мне сердце, я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, а то я всех перестреляю из пистолета.

Бабушка *(садится)*. Я всех узнала по письмам господина сказочника. Это — Клаус, это — Эльза, это — маленькая разбойница, это — Карл, это — Клара. Садитесь, пожалуйста. Я отдышусь немножко и угощу вас чаем. Не надо так печально смотреть на меня. Ничего, это все ничего. Может быть, они вернутся.

Маленькая разбойница. Может быть, может быть! Прости меня, бабушка, я не могу больше. Человек не должен говорить "может быть". *(Сказочнику.)* Рассказывай! Рассказывай сейчас же веселую сказку, такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну? Раз! Два! Три!

Сказочник. Жили-были ступеньки. Их было много — целая семья, и все они вместе назывались — лестница. Жили ступеньки в большом доме, между первым этажом и чердакам. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго. Но и у тех было утешение — они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам, ведущим на чердак, некого было презирать. "Но зато мы ближе к небу, — говорили они. — Мы такие возвышенные!" Но в общем ступеньки жили

дружно и дружно скрипели, когда кто-нибудь подымался наверх. Впрочем, скрип свой они называли пением... “И нас очень охотно слушают, — уверяли они. — Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: “Когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не заскрипят ли наконец ступеньки!” Бабушка! Дети! И мы давайте послушаем, не заскрипят ли ступеньки наконец. Слышите? Кто-то идет, и ступеньки поют под ногами. Вот уже запели ступеньки пятого этажа. Это идут хорошие люди, потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как собаки. Все ближе, ближе! Идут сюда! Сюда!

Бабушка встает; за нею — все.

Вы слышите? Ступеньки радуются. Они поскрипывают, как скрипочки. Пришли! Я уверен, что это...

Дверь с шумом распахивается,
и в комнату входят Снежная королева и советник.

Снежная королева. Извольте немедленно вернуть мне мальчишку. Слышите? Иначе я превращу вас всех в лед.

Советник. А я после этого расколю вас на куски и продам. Слышите?

Бабушка. Но мальчика здесь нет.

Советник. Ложь!

Сказочник. Это чистая правда, советник.

Снежная королева. Ложь. Вы прячете его где-то здесь. *(Сказочнику.)* Вы, кажется, осмеливаетесь улыбаться?

Сказочник. Да. До сих пор мы не знали наверное, что Герда нашла Кея. А теперь знаем.

Снежная королева. Жалкие хитрости! Кей, Кей, ко мне! Они прячут тебя, мальчик, но я пришла за тобой. Кей! Кей!

Советник. У мальчишки ледяное сердце! Он наш!

Сказочник. Нет!

Советник. Да! Вы прячете его здесь.

Сказочник. Ну попробуйте, найдите его.

Советник быстро обходит комнату, вбегает в спальню, возвращается.

Снежная королева. Ну что?

Советник. Его здесь нет.

Снежная королева. Отлично. Значит, дерзкие дети погибли в пути. Идем!

Маленькая разбойница бросается ей наперерез,
принц и принцесса подбегают к маленькой разбойнице.
Все трое берутся за руки. Храбро загораживают дорогу королеве.

Имейте в виду, любезные, что мне довольно взмахнуть рукой — и тут навеки воцарится полная тишина.

Маленькая разбойница. Маши руками, ногами, хвостом, все равно мы тебя не выпустим!

Снежная королева взмахивает руками. Раздается вой и свист ветра.
Маленькая разбойница хохочет.

Ну что?

Принц. Мне даже и холодно не сделалось.

Принцесса. Я очень легко простуживаюсь, а сейчас я даже насморка не схватила.

Сказочник *(подходит к детям, берет за руку маленькую разбойницу)*. Тех, у кого горячее сердце...

Советник. Вздор!

Сказочник. ...вам не превратить в лед!

Советник. Дайте дорогу королеве!

Бабушка *(подходит к Сказочнику и берет его за руку)*. Простите, господин советник, но мы ни за что не дадим вам дорогу. А вдруг дети близко — и вы нападете на них! Нет, нет, нельзя, нельзя!

Советник. Вы поплатитесь за это!

Сказочник. Нет, мы победим!

Советник. Никогда! Власти нашей не будет конца. Скорее повозки побегут без коней, скорее люди полетят по воздуху, как птицы.

Сказочник. Да, так все оно и будет, советник.

Советник. Вздор! Дорогу королеве!

Сказочник. Нет!

Двигаются цепью, держась за руки, к советнику и королеве.
Королева, стоящая у окна, взмахивает рукой.
Слышен звон разбитого стекла. Лампа гаснет. Воет и свистит ветер.

Держите дверь!

Б а б у ш к а. Сейчас я зажгу свет.

Свет вспыхивает. Советник и Снежная королева исчезли, несмотря на то, что дверь держат принц, принцесса и маленькая разбойница.

Где же они?

В о р о н а. Ее величество..

В о р о н. ...и их превосходительство...

В о р о н а. ...изволили отбыть...

В о р о н. ...через разбитое окно.

М а л е н ь к а я   р а з б о й н и ц а. Надо скорее, скорее догнать их..

Б а б у ш к а. Ах! Смотрите! Розовый куст, наш розовый куст опять расцвел! Что это значит?

С к а з о ч н и к. Это значит... Это значит... *(Бросается к дверям.)* Вот что это значит!

Распахивается дверь. За дверью Г е р д а и К е й. Бабушка обнимает их. Шум

М а л е н ь к а я   р а з б о й н и ц а. Бабушка, смотрите это — Герда!

П р и н ц. Бабушка, смотрите: это — Кей!

П р и н ц е с с а. Бабушка, смотрите: это — они, оба!

В о р о н   и   в о р о н а *(хором)*. Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!

К е й. Бабушка, я больше не буду, я больше никогда не буду!

Г е р д а. Бабушка, у него было ледяное сердце. Но я обняла его, плакала, плакала — и сердце его взяло да и растаяло.

К е й. И мы пошли сначала потихоньку.

Г е р д а. А потом все быстрее и быстрее.

С к а з о ч н и к. И — крибле-крабле-бумс — вы пришли домой. И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу, а советник и королева удрали, разбив окно. Все идет отлично — мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы скажем им: “Эй, вы! Снип-снап-снурре...”

В с е *(хором)*. Пурре-базелюрре!

З а н а в е с

1938

КУКОЛЬНЫЙ ГОРОД

Сказка в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мастер.
Тигр.
Рита — кукла.
Пупс-дворник.
Свинья-копилка.
Пупс с ванной.
Огромная кукла.
Слон.
Медвежонок.
Обезьянка.
Кошка.
Палач.
Повелитель крыс.
Сова.
Ванька-встанька-командир.

Резиновые Лев, Овца и Олень;
Кролик, Силач, ваньки-встаньки,
командиры оловянных солдатиков,
Всадник, игрушки, крысы.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Маленькая комната с бревенчатыми стенами. Открытое окно, в которое виден густой лес. У окна за столом сидит кукольный Мастер (живой актер), пожилой человек в очках. Ночь.

Мастер. Вот я и в отпуске, живу один, в лесу, а думаю все об одном и том же. Все время я думаю о куклах. Я ведь кукольный мастер. Очень люблю кукол. И сегодня я ужасно расстроился. Вот как это случилось. Вышел я погулять. Прошел через лес к озеру. А там дачный поселок. А в дачном поселке дети. А у детей игрушки. Ах, ох, — нет, это просто ужас, как эти дети обращаются с игрушками. Вижу я, например: идет девочка, держит куклу за ногу, волочит ее по камням. Или, вижу я, сидит мальчик и отрывает лошадке хвост. Или, вижу я, стоят два мальчика и один из них тянет плюшевого мишку за руки,а другой — за ноги. Не могут поделить игрушку. И окончилось дело тем, что один мальчик полетел в одну сторону, а другой в другую. Разорвался мишка. Ну, скажите, разве можно так обращаться с игрушками? Мы в мастерской шили, лепили, строили, клейили, а ребята — бьют, ломают, рвут, раскалывают, губят. Пробовал я с ними говорить, но ведь я один, а их много. И очень я расстроился. Прямо не могу придумать, что делать?

Тоненький голосок. А мы уж давно придумали, что делать.

Мастер. Кто это говорит?

Голосок. Тигр.

Фырканье, мяуканье, писк.

Мастер. Что это за шум?

Г о л о с о к. А это я кошку терзаю.

М а с т е р. Что? Ты терзаешь мою кошку Мурку?

Г о л о с о к. И очень просто.

Фырканье, мяуканье, писк.

М а с т е р. Иди сюда сейчас же.

Г о л о с о к. Не могу.

М а с т е р. Почему не можешь?

Г о л о с о к. А она не пускает меня.

М а с т е р. Кошка не пускает тигра?

Г о л о с о к. *(весело)*. Ага! Вцепилась зубами в спину. Ну, да ничего, сейчас ей конец придет. Ха-ха-ха! Вот потеха! Кошка посмела с тигром драться. Ну, погоди...

Фырканье, мяуканье, писк

М а с т е р *(наклоняется)*. Где вы там? Ах, вот! *(Поднимает с пола и ставит на стол К о ш к у, которая держит в зубах Т и г р а.)*

Т и г р *(мягкий, большеголовый, с добродушной улыбающейся мордой)*. Убери ее, а то я разорву ее в клочья.

Мастер освобождает Тигра, Кошка, фыркая, убегает.

Ха-ха-ха! Сбежала!.. Ну, то-то. Твое счастье.

М а с т е р. Погоди. Ты игрушечный тигр?

Т и г р. Ага. Ты же меня и делал. Здравствуй! *(Протягивает Мастеру лапу.)*

М а с т е р. Здравствуй. А как ты попал сюда?

Т и г р. Сейчас скажу. *(Подпрыгивает.)* Вау-вау! Кошка удрала. Выходи следующий, всех побью.

М а с т е р. Подожди же ты!

Т и г р. Ха-ха-ха! Никто не идет. Дрожат ... Вау-вау!

М а с т е р *(наливает в блюдечко воду из графина)*. Выпей воды, успокойся и расскажи толком, как ты сюда попал.

Т и г р. Воды? Хорошо. После драки это полезно. *(Пьет.)* Спасибо. Сейчас все расскажу. Мы, Мастер, к тебе пришли по делу.

М а с т е р. Кто “мы”?

Т и г р. Я и Рита.

М а с т е р. Какая Рита?

Т и г р. Кукла.

М а с т е р. А где же она?

Т и г р. Под столом лежит.

М а с т е р. М а с т е р. Под столом? *(Нагибается и достает из-под стола* б о л ь ш у ю к у к л у, *глаза ее закрыты.)*

Т и г р. Ты поставь ее на ноги, она сразу и заговорит.

М а с т е р. Заговорит? *(Ставит куклу на ноги.)*

Кукла открывает глаза и делает несколько шагов по столу.

К у к л а *(Мастеру)*. Здравствуй, крошка.

М а с т е р. Здравствуй, кукла.

К у к л а. Меня зовут Рита.

М а с т е р. Здравствуй, Рита.

Р и т а. Мы к тебе по делу, малютка.

М а с т е р. Рассказывай, по какому.

Р и т а. По очень важному, деточка. Ничего, что я так говорю? Я ведь привыкла все с девочками говорить, потому и называю тебя крошка, малютка, деточка. Ты не сердишься на меня за это?

М а с т е р. Нет, что ты, Рита... Ведь ты же не ругаешься.

Р и т а. Конечно, нет. Мы, крошка, я и Тигр, посланы к тебе с бо... *(Падает и замолкает.)*

Мастер подхватывает ее и ставит на ноги.

(Мгновенно оживает.) ...льшой просьбой. Помоги нам.

М а с т е р. Непременно помогу. Я вам, игрушкам, — первый друг. Только расскажите же, наконец, мне все обстоятельно, подробно, кто вы, откуда, чем я вам могу помочь.

Р и т а. Сейчас расскажу все — и кто мы, и откуда, и зачем мы при... *(Падает и замолкает.)*

Мастер подхватывает ее.

...мчались к тебе. Только ты поддерживай меня. Я когда падаю, у меня глаза закрываются, и я сразу крепко засыпаю.

М а с т е р. Хорошо. Я буду тебя поддерживать.

Р и т а. Ты, малыш, сам виноват. Вы нам, куклам, делаете такие

маленькие ноги, что не устоять. Ну вот, слушай. Мы...

Т и г р. Я и Рита.

Р и т а. Пришли к тебе из кукольного городка.

М а с т е р. Откуда?

Р и т а. Из кукольного городка.

М а с т е р. А разве есть такой?

Т и г р. Вау-вау! Конечно есть, раз мы оттуда пришли!

Р и т а. В этом городе живут игрушки, сбежавшие от детей. Ты знаешь, что за лесом есть озеро, а у озера дачи?

М а с т е р. Как не знать!

Р и т а. Видел, как ребята обращаются там с нами, игрушками?

М а с т е р. Как не видеть!

Р и т а. А слыхал ли ты, как ребята говорят иногда: “Куклу возле озера забыли, она и пропала”. Или: “Мы мишку в лесу потеряли”. Или: “Мы тигра...”

Т и г р. Ха-ха-ха!..

Р и т а. “...Тигра в саду оставили, утром пришли — и нет его”. Слышал ты такие разговоры?

М а с т е р. Как не слыхать!

Р и т а. Так вот, малютка, знай, что игрушки вовсе не пропадали, не терялись, не исчезали. Они просто убегали от плохого обращения.

Т и г р. Ха-ха-ха! Молодец! *(Подпрыгивает.)* Она замечательно рассказывает. Это все правда. Меня на ночь в саду оставили, и я убежал. У меня был такой хозяин, что и живой тигр от него на второй же день удрал бы.

Р и т а. И вот набралось в лесу много-много сбежавших игрушек, и бродили мы сначала поодиночке, врозь.

Т и г р. Это верно. Молодец, хорошо говорит.

Р и т а. А потом встретились мы, познакомились, сговорились, подружились и построили в самой чаще леса свой кукольный город.

Т и г р. Ха-ха! Чудный город.

Р и т а. И стали жить на свободе, дружно, весело

Т и г р. Чудно стали жить. Ха-ха-ха! Понял теперь, откуда мы пришли?

М а с т е р. Я давно подозревал, что вы — игрушки — живые.

Тигр. Ага. Я очень даже.

Мастер. Работаешь над игрушкой с любовью. Все в мастерской обсудишь, бывало, — каждую мелочь, каждый винтик, каждый стежок. Кончишь, поставишь на полку и думаешь: ну, прямо живая игрушка.

Тигр. И оно так и было.

Мастер. Я очень рад этому.

Тигр. И мы тоже.

Рита. Теперь слушай дальше Нас все игрушки послали к тебе, Мастер. Ты, на наше счастье, в этот лес отдыхать приехал. Помоги нам. Наш город в опасности.

Мастер. Да?

Тигр. И еще в какой!

Мастер. А что же случилось?

Рита. Сейчас расскажу. *(Тихо.)* У тебя крыс нет?

Мастер. Что?

Рита. Дай-ка ухо, это нельзя громко сказать.

Мастер наклоняет голову к Рите.

У тебя крыс нет?

Мастер. Не замечал до сих пор А что?

Рита. Я боюсь, что они нас подслушают.

Мастер. Крысы?

Тигр. Ага. *(Бегает по краю стола, заглядывая вниз.)* Вау-вау! Только покажись — растерзаю!

Рита. Тише.

Мастер. Так, значит, крысы...

Рита. Тише. *(Негромко.)* Да. Крысы нам житья не дают.

Мастер. Как же это так?

Тигр. А очень просто ...

Рита. Приходит к нам Повелитель крыс...

Мастер. Кто?

Рита. Повелитель их. Огромная серая злая крыса. Как начал орать: “Кто вам позволил город строить? Терпеть не могу, когда строят! Ломать, бить, раскалывать, разгрызать, рвать на куски — вот это, говорит, занятие. Убирайтесь, говорит, вон”.

М а с т е р. А вы?

Р и т а. А нам обидно стало Мы работали, строили, он ничего не делал — и хочет все забрать.

Т и г р. Мы выгнали его вон.

М а с т е р. Молодцы!

Р и т а. А он сказал: “Даю вам десять дней срока. Если через десять дней не уберетесь — конец вам”.

Т и г р. Три дня уже прошло.

Р и т а. Они готовятся на нас напасть, а мы хоть и храбрые, а крыс боимся. Уж очень их много.

Т и г р. Конечно, мы их победим, но только изгрызут они нас. На мелкие кусочки. Уж очень у них зубы острые.

Р и т а. Помоги нам, малыш.

Т и г р. Другого я и просить не стал был, но ты ведь свой.

М а с т е р. Да что вы, дорогие, меня уговариваете, когда я давно уже согласен!

Т и г р. Согласен? Ура! Дело сделано. Мы победили. Конец крысам! Садись, Мастер, ко мне на спину, и я тебя вмиг домчу.

М а с т е р *(берет Тигра и сажает к себе на плечо)*. Нет, брат, я тебя повезу. И ты, Рита, садись на другое плечо. Идем. Кошку возьмем с собой. Она поможет нам. *(Усаживает Тигра на одно плечо, а Риту на другое. Кошку берет на руки. Идет.)*

К у к л ы *(поют)*.

Городок ты наш родимый,
Лучший друг, необходимый.
Каждый столбик твой и дом,
Как товарищ, нам знаком.
Мы трудились дни и ночи,
Бились, не смыкая очи,
Вот и вырос, как цветок,
Ты, наш славный городок.
Лютый враг вокруг хлопочет
И на город зубы точит,
Не построив ничего,

Хочет он забрать его
Городок ты наш любимый,
Лучший друг, необходимый.
Мы сломаемся скорей,
Но прогоним злых зверей.

(Уходят.)

Едва они успевают скрыться, как на стол взбираются три крысы. Крысы пляшут на столе. Самая крупная из них поет. Это Повелитель крыс.

Повелитель крыс *(поет)*.

Я великий победитель,
Все разгрыз я и прогрыз.
Я бесстрашный повелитель
И учитель серых крыс.
На замок запри еду —
Все равно ее найду.
В банку с крышкой спрячь еду —
Все равно ее найду.
Всюду, всюду шарят крысы,
Человеку на беду.

Слышали, что тут игрушки говорили?

Крысы *(пищат)*. Слышали.

Повелитель крыс. Поняли, что человек решил за них вступиться?

Крысы. Поняли.

Повелитель крыс. Знаете деревянный мостик в две доски, по которому пойдет человек с игрушками?

Крысы. Знаем.

Повелитель крыс. Туда со всех ног! Грызите, грызите, грызите! Пусть доски держатся на одном волоске. Человек пойдет через мостик и свалится в овраг.

Крысы радостно пищат.

Все повернем по-крысиному. *(Поет.)*

Ненасытны и упрямы,
Мы грызем, грызем, грызем.
Там, где нет дороги прямо,—
Стороною проползем.
К потолку подвесь еду—
Все равно ее найду.
В крысоловку спрячь еду —
Все равно ее найду.
Всюду, всюду шарят крысы,
Человеку на беду.

З а н а в е с

КАРТИНА ВТОРАЯ [1]

Раннее утро. Площадь в игрушечном городке.
Площадь окружена домами самой разной величины. Дома построены из деревянного “Конструктора” — из кубиков и деревянных кирпичиков. В ряд с домами стоят коробки и футляры. На них, так же как и на домах, укреплены фонарики и поставлены домовые номера. Вообще зрителю должно быть ясно, что, несмотря на своеобразие и разнообразие материала, из которого построены дома, — это все же настоящий город, благоустроенный, чистый. Видно, что жители любят свой город. Почти у всех домов посажены цветы, и вьющиеся растения ползут вдоль стен. На переднем плане маленький бассейн, посреди которого бьет фонтан. При поднятии занавеса сцена пуста. Но вот, скрипя, отворяются ворота в одном из домов, и оттуда выходит целлулоидный П у п с, голый, в белом фартуке, с бляхой дворника. Он тащит за собой резиновый шланг. Пупс оглядывается, позевывая и почесываясь. Затем принимается поливать из шланга площадь и цветы, посаженные у домов. Немного погодя открывается дверь одного из домов, и оттуда, переваливаясь, гуськом выходят целлулоидные г у с и.

[1]Между первой и второй картинами возможна интермедия-пантомима—куклы или тени: мостик под оврагом, крысы грызут доски. Мастер, Тигр, Рита, Кошка — идут. Мастер доходит до середины моста и тот рушится. Мастер падает в овраг.

Пупс-дворник. Здравствуйте, гуси. Как поживаете?

Гуси. Ничего-го-го-го.

Пупс-дворник. Хорошо, хоть вы встали. С минуты на минуту должен прийти игрушечный Мастер, а народ все спит и спит.

Гуси. Ничего-го-го-го. *(Входят в бассейн. Плавают и ныряют.)*

Пупс-дворник. Вам-то ничего, а я — дежурный дворник, я за все отвечаю

Гуси. Ничего-го-го-го.

Пупс-дворник. Обезьянка и Мишка встречают Мастера на дороге. Как только завидят они его — сейчас же прибегут. И мы устроим Мастеру встречу, уж такую торжественную, что прямо прелесть.

Открывается крышка одной из коробок, и оттуда выходит Слон.

Спасибо, что проснулся, Слоник.

Слон молча кивает дворнику головой. Подходит к бассейну и, набрав хоботом воду, поливает себе спину. Кончив омовение, Слон набирает хоботом воду и помогает дворнику поливать площадь.

Спасибо тебе, Слоник.

Слон молча кивает головой. Раздается металлический звон, и на сцену выбегает Свинья-копилка. Деньги так и бренчат внутри нее.

Свинья. Ну что? Ну как? Все готово? Ты уж, братец, старайся!

Пупс-дворник. Я и без тебя знаю, что надо стараться.

Свинья. Глупо говоришь! Ты глуп. Ты простой глупый Пупс. Вот кто ты! Ты понимаешь, кто прибудет? Мастер. Сам! Верно я говорю, Слон?

Слон молчит, отвернувшись.

Молчишь? Глупец! Молчишь потому, что пуст. Стоит себе. Вы подумайте! Стоит — и все.

Пупс-дворник. А что ему делать?

Свинья. Волноваться. Я, например, всю ночь не спала, так волновалась.

П у п с - д в о р н и к. Не спала? А кто же это всю ночь храпел в твоем доме?

С в и н ь я. Глупец! Это я не храпела, это я хрюкала. От волнения. Понял!

Г у с и *(вытянув шеи)*. Кто-то бежит сюда бего-го-го-гом.

П у п с - д в о р н и к. Ох! Это Мишка и Обезьянка. Идет. Наверное, Мастер идет.

Вбегают плюшевый М е д в е ж о н о к и плюшевая О б е з ь я н к а.

М е д в е ж о н о к. Я скажу!

О б е з ь я н к а. Нет, я скажу!

М е д в е ж о н о к. А я говорю — я!

О б е з ь я н к а. А я — я!

М е д в е ж о н о к. А я — я! *(Толкает ее.)*

О б е з ь я н к а. А я — я! *(Толкает Медвежонка.)*

Отчаянно дерутся.

П у п с - д в о р н и к. Вот беда! Наверное, сам Мастер идет, а от них не добьешься никакого толку.

Слон подходит и молча, спокойно разливает дерущихся водой.
Они отскакивают друг от друга.

Ну, в чем там дело?

О б е з ь я н к а и М е д в е ж о н о к *(хором)*. Как что? Разве мы не сказали?

П у п с - д в о р н и к. Нет.

О б е з ь я н к а и М е д в е ж о н о к *(хором)*. Тигр мчится к городу огромными прыжками. Значит, Мастер сейчас придет сюда.

П у п с - д в о р н и к. Да ну? *(Вынимает из кармана фартука свисток и пронзительно свистит.)*

Сразу распахиваются окна домов, и оттуда выглядывают головы кукол разных размеров, от крошечных, с палец величиной, до огромных, — это они и живут в самых высоких домах Из некоторых окон высовываются головы ж и р а ф о в, в е р б л ю д о в, резиновых л ь в о в, с л о н о в, с о б а к. Открывается длинный футляр, и оттуда сама выходит помятая жестяная Т р у б а. К ней присоединяются прибежавшие во всю прыть Б а л а л а й к а,

Гитара, Органчик на колесах с длинной палкой и Барабан. Откидываются, поднимаясь в виде навеса, боковые стенки трех коробок Взволнованные носятся взад и вперед автомобили-грузовики, самолеты летают над площадью. Прибегает крошечный голый Пупс, волоча за собою ванну.

Пупс с ванной *(плача)*. Ай-ай! Меня затолкают. Я ничего не вижу! Я маленький! Ай! Ой!

Слон осторожно берет хоботом Пупса вместе с ванной и устраивает у себя на спине. С трудом дворнику удается установить порядок. Музыкальные инструменты становятся впереди, остальные игрушки выстраиваются у стен. Несколько секунд ожидания, и на сцену галопом влетает Тигр. Игрушки поднимают радостный крик. Инструменты сами собою взлетают на воздух, гремит музыка. Тигр машет лапами, прыгает в отчаянии, кричит что-то, пробуя остановить музыку, прекратить крики, но никто не слушает его. Наконец, Слон замечает, что дело неладно. Он подходит к Тигру, тот кричит что-то прямо в ухо Слону. Слон поворачивается к толпе игрушек и, подняв хобот, громко трубит. Сразу замолкают и опускаются на землю музыкальные инструменты. Игрушки бегут к Тигру.

Тигр. Я вас растерзаю на мелкие кусочки. Я вас уничтожу! Да вы с ума сошли!

Пупс-дворник. А в чем дело? Что случилось?

Тигр. Чему вы радовались? Вау-вау!

Пупс-дворник. Погоди. Разве Мастер не идет за тобою следом? Вау-вау? Ведь ты же прибежал с такой радостной мордой!

Тигр. Чем я виноват, что у меня морда так сшита, что всегда радостная?

Пупс-дворник. А что случилось?

Тигр. Несчастье!

Все игрушки. Несчастье!

Пупс-дворник. Мастер отказался нам помочь?

Тигр. Хуже!

Игрушки (вскрикивают). Хуже?

Пупс-дворник. Что же может быть хуже?

Тигр. Ах, мы шли себе, веселые, как тигрята, и пели песенку. И вот подошли мы к мостику через Медвежий овраг. Знаете?

Все *(хором)*. Ну-ну?

Тигр. И взошли на этот мостик. Идем, поем себе. Дошли до

середины, вдруг доски под ногами Мастера затрещали — и он рухнул в овраг. *(Прыгает в отчаянии.)* Шли весело, пели и вдруг...

Игрушки громко плачут. Свинья-копилка рыдает громче всех. Тигр пробует их остановить, но тщетно. Не слушая его, игрушки продолжают рыдать. Свинья копилка, изнемогая от горя, свалилась с ног. Наконец Слон, повернувшись к толпе, принимается трубить, игрушки успокаиваются и затихают.

Я вас растерзаю! Разве сейчас время плакать? Надо помочь Мастеру.

Свинья *(вскакивает)*. Он жив?

Тигр. Конечно, жив. Он только сильно ушиб себе ногу. Вы знаете, какой это человек? Нет, вы не знаете, какой это человек. Он нес меня на одном плече, а Риту на другом. Когда доски сломались, он не думал о себе, схватил меня одной рукой, а Риту другой и поднял высоко, чтобы мы не ушиблись. И вот сам повредил себе ногу, а мы целы. Мы должны скорей ему помочь. Что делать? А? Думайте!

Огромная кукла *(баском)*. Я старая кукла, я знаю, что тут надо делать.

Тигр. Ну-ну?

Огромная кукла. Надо поставить ему компресс на ногу.

Тигр. Да, верно. Мой хозяин один раз тоже ушиб ногу, убегая от мамы, которая звала его обедать. Ему тоже делали компресс. Но где мы возьмем бинт, вату, клеенку?

Огромная кукла. Я схожу в аптеку, в дачный поселок. Я ведь сколько раз ходила в дачный поселок, и никто не догадывался, что я кукла, все думали, что я девочка.

Тигр. Верно. Спасибо, иди скорей!

Огромная кукла. Ах!

Тигр. Что ты?

Огромная кукла. Я вспомнила, что у меня нет денег. Как же я куплю бинт, вату, клеенку?

Тигр. Вот беда...Что же делать?.. Ура-а! Вот кто нам поможет — Свинья-копилка! Давай скорее твои деньги! Чего им без толку бренчать у тебя в животе?

Свинья. Деньги? Какие деньги? Нет у меня никаких денег.

Тигр. Что?

С в и н ь я *(плача)*. Что ты кричишь? Это не деньги у меня бренчат. Это мальчики жесть в меня набросали.

Т и г р. Жесть? Переворачивайте ее. Вытряхивайте из нее эту жесть.

С в и н ь я *(визжит)*. Не трогайте меня! Мне больно, когда меня переворачивают! Я разобьюсь! *(Убегает.)*

О г р о м н а я к у к л а. Оставьте ее, мне ее жалко.

Т и г р. Чего жалеть ее, она жадная врунья!

О г р о м н а я к у к л а. Нет, она, наверное, не врет. Она визжит так жалобно. Вместо бинта я дам на компресс свое выходное платье.

Л е в. А вместо клеенки лягу я, резиновый лев.

О в ц а. И я, резиновая овца.

О л е н ь. И я, резиновый олень.

О г р о м н а я к у к л а. А вместо ваты мы наберем одуванчиков.

Т и г р. Идем к нему. Возьмем с собою самые большие грузовики. На один грузовик Мастер сядет, а на другой положит свою больную ногу. И мы привезем его к нам. В путь!

Выезжают два больших грузовика. Жестяные шоферы сходят со своих мест. Так как они сделаны для того, чтобы сидеть за рулем, то ноги у них согнуты и неподвижны. Шоферы прыгают в сидячем положении. В руках у них ключи. Они заводят пружины своих машин. Куклы, спеша, влезают в машины. Тот, кто не уместился, бежит следом. Сцена пустеет. Через мгновенье из-за угла осторожно выглядывает С в и н ь я - к о п и л к а.

С в и н ь я. Ушли? Жалкие пустые игрушки. Каково мне, полной деньгами, жить с этими ничтожными созданиями? Хотели из меня деньги вытряхнуть. Как же, дожидайтесь, отдам я вам мои денежки!.. Я почему от людей сбежала? Из-за денег. Обращались со мною люди хорошо, стояла я на комоде возле зеркала. Вдруг слышу: “Надо будет завтра из свиньи деньги вытряхнуть, купить Лиле игрушку. Завтра день ее рождения”. Лиля — это девочка хозяйская была. Услышав это, дождалась я ночи и бежать. Вот я какая *(Поет сентиментально и протяжно. Песня ее напоминает старинный романс.)*

Целиком, в чистоте
Сберегу, упасу
Пятачок на носу,
Пятаки в животе,

Деньги — все для меня.
Самым лучшим друзьям
Ни копейки не дам —
Я такая свинья.

Внезапно из-за кулис появляется кукла-матрешка. Платок куклы низко надвинут ей на лицо.

Кукла-матрешка. Так, так.

Свинья *(вздрагивает)*. Кто это?

Кукла-матрешка. Вот ты, значит, какая! Ты, значит, богачка. Отдавай сейчас же свои деньги!

Свинья. Миленькая, голубушка, говори тише,

Кукла-матрешка. Отдавай деньги, тогда буду тихо говорить.

Свинья. Миленькая, голубушка, а зачем тебе деньги?

Кукла-матрешка. А тебе зачем деньги?

Свинья. А я их коплю.

Кукла-матрешка. Ну, и я буду копить.

Свинья. Миленькая, голубушка, ведь ты не умеешь.

Кукла-матрешка. Научусь.

Свинья. Голубушка, миленькая. *(Плачет.)* Не трогай ты меня.

Кукла-матрешка сбрасывает платок — это Повелитель крыс.

Крыса!

Повелитель крыс. Перед тобою сам Повелитель крыс.

Свинья. Батюшки! Душечки! Не грызи ты меня, голубчик!

Повелитель крыс. Там видно будет. Стань на задние лапки.

Свинья-копилка повинуется.

Так. Стань на передние лапки.

Свинья-копилка повинуется

Свинья. Послушна я, милый, послушна я.

Повелитель крыс. Стой на передних лапках, я еще не разрешил тебе стоять вольно. Пляши.

Свинья-копилка повинуется.

Так. Пляши и слушай. Хочешь, я напишу письмо всем игрушкам о том, какая ты богачка?

С в и н ь я *(танцуя)*. Эх-эх! Гоп-гоп! Нет, нет, не хочу.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Тогда слушайся меня во всем.

С в и н ь я. Эх-эх, гоп-гоп, буду, буду слушаться.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Смирно.

Свинья-копилка становится смирно.

Ты будешь мне рассказывать обо всем, что делается в городе, обо всем, что игрушки вытворяют, поняла?

С в и н ь я. Так точно.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Если будешь слушаться, я тебя награжу. Когда мы с игрушками расправимся, я посажу повелительницей игрушек тебя.

С в и н ь я. Вот это правильно. Ура! Молодец!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Но если ты мне изменишь...

С в и н ь я. Изменю? Зачем же? Да я их ненавижу. Пустые глупые куклы. Да мы их разобьем, мы их.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ну, ладно...

Издали доносятся звуки музыки

С в и н ь я. Они возвращаются. Беги!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ладно, успею.

С в и н ь я. Попадешься!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Нет. Им не до меня. Хочу сам послушать, что скажет Мастер. *(Надвигает платок и скрывается за углом одного из домов.)*

С в и н ь я *(кричит)*. Да здравствует кукольный Мастер! Ура!

Вбегает Т и г р. За ним едут грузовики, сопровождаемые куклами. М а с т е р сидит в одном из грузовиков, ноги держит в другом. На одной ноге у него компресс из роскошного кукольного платья с блестками. На коленях у Мастера К о ш к а.

Р и т а *(Мастеру)*. Слезай, малыш. Вот так, осторожно. Одну ногу протяни на Фарфоровый проспект, другую в Пупсов переулок. Вот так. Садись теперь.

Мастер делает так, как сказала Рита. Игрушки разбегаются по домам, высовываются из окон, так им удобнее говорить с Мастером. Среди игрушек, оставшихся на площади, переодетый П о в е л и т е л ь к р ы с.

М а с т е р *(поглядывая на свою забинтованную ногу)*. Сколько я кукол чинил — и не думал, что куклы меня будут чинить.

И г р у ш к и. Бедный Мастер, бедный Мастер!

М а с т е р. Не расстраивайтесь, ничего. Все к лучшему. Вы на меня надеялись — теперь надейтесь на себя. С больной ногой какой же я помощник.

И г р у ш к и. Бедный Мастер, бедный Мастер!

М а с т е р. Зато я вас так обучу, что когда кончится мой отпуск и вернусь я обратно в мастерскую, вы от любого врага отобьетесь.

И г р у ш к и. Хорошо. Учи нас. Мы будем слушаться.

М а с т е р. Будьте готовы. Каждому найдется дело. Понимаете?

И г р у ш к и. Да, да, понимаем.

М а с т е р. Итак, значит, первым делом запомните что оборона— дело общее. Второе дело — держите ухо востро. Враг у нас хитрый. Влезет под пол и подслушает, что не надо. Ведь вы крыс знаете?

И г р у ш к и. Еще бы не знать!

М а с т е р. Вот то-то и есть. Третье — соблюдайте полное спокойствие. Оборона обороной, а ныть и дрожать я вам запрещаю. Будьте спокойны и веселы.

И г р у ш к и. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха. Мы веселы.

М а с т е р. Четвертое — действуйте дружно, крепко друг за друга держитесь. И, наконец, пятое — не успокаивайтесь прежде времени. Не думайте после первой победы: ну, теперь — вот и все. Помните, что крысы народ упрямый. Поняли?

И г р у ш к и. Поняли, поняли.

М а с т е р. Повторите.

П у п с с в а н н о й. Оборона — дело общее, каждый должен делать свое дело на совесть. Пусть только покажутся крысы, я так дам им ванной по голове.

М а с т е р. Нет, брат, неверно.

П у п с с в а н н о й. Как неверно? Сам же говорил: оборона — дело общее.

Мастер. Драться — не значит, что все будут драться. Это значит, что каждый будет свое дело делать. Это дело старших, а не твое.

Пупс с ванной. А мне какую работу дашь?

Мастер. Сидеть дома и не бояться.

Пупс с ванной. Ну, что-то уж больно легко.

Мастер. Справишься с этим — другую работу тебе найду. Еще что я велел делать?

Кролик *(подняв уши)*. Еще держать ухо востро.

Мастер. Верно. Дальше?

Силач *(кувыркаясь на турнике)*. Не ныть, не дрожать, кверху голову держать.

Мастер. Верно. Дальше?

Медвежонок. Я скажу, что дальше.

Обезьянка. Нет, я скажу, что дальше.

Медвежонок. А я говорю — я!

Обезьянка. А я говорю — я!

Медвежонок. А я — я!

Обезьянка. А я — я!

Отчаянно дерутся. Мастер с трудом разнимает их.

Мастер. Ну, говорите.

Медвежонок и Обезьянка *(хором)*. Все мы должны дружить.

Мастер. А вы деретесь.

Медвежонок и Обезьянка. Это мы так, любя.

Мастер. Ну, если любя, тогда ничего. Еще что я вам сказал?

Огромная кукла *(баском)*. Еще мы должны не радоваться прежде времени.

Мастер. Отлично... Ну... *(Кошке)*. Что с тобой? Куда ты так рвешься?

Кошка. Р-р-р... мяу!

Мастер. Куда ты?

Вырвавшись внезапно из рук Мастера, Кошка бросается в толпу кукол.

Свинья. Она бешеная! Хватайте ее! За хвост хватайте!

М а с т е р. Назад!

Кошка прыгает на середину площади.
В зубах у нее бьется кукла-матрешка. Шум.

П у п с с в а н н о й. Ой, мама, она и меня сейчас схватит!

Платок сваливается с головы куклы.

(Визжит). Ой, мамочка, крыса! Ой, мамочка!

М а с т е р *(Пупсу)*. Тише ты! А кто собирался бить их ванной по голове?

П у п с. Извини меня.

М а с т е р. Ну, то-то! (*Хватает Кошку и, освободив крысу, держит ее в руках.)*

П о в е л и т е л ь к р ы с. Отпусти меня сейчас же.

М а с т е р. Отпустить?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Да! Если отпустишь, я прикажу крысам не трогать больше ваш город.

М а с т е р. Ах-ах-ах! Прикажешь? Да никак это сам крысиный повелитель? Не брыкайся, не рвись, от меня не уйдешь. Найдется в городе клетка?

Т и г р. А как же! *(Тащит клетку.)* Вот она. Ведь кроликов продают с клетками.

М а с т е р. Жаль, деревянная. Ну, да ничего. Мы его будем сторожить. *(Сажает Повелителя крыс в клетку.)* Слушай! Кричи немедленно своим крысам, чтобы они уходили подальше от города, если хотят, чтобы ты остался жив.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Они не услышат.

М а с т е р. Услышат. Я по себе знаю, как хорошо умеют слушать крысы. Ну, кричи!

П о в е л и т е л ь К р ы с. Не закричу.

М а с т е р. Тогда я отдам тебя Кошке, и она съест тебя.

К о ш к а. Муур... мяу!

М а с т е р. Кричи!

П о в е л и т е л ь К р ы с. Крысы! Слышите вы меня?

Издали раздается шорох, писк: “Слышим! Слышим!”

Расходитесь по норам... Пока что. Слышите?

Издали раздается шорох, писк: “Слышим! Слышим!”

(Мастеру.) Все?

М а с т е р. Ну, уж ладно — пока все. Понимаешь, если хоть одна крыса покажется в городе — конец тебе. Отдам тебя Кошке.

К о ш к а Р-р-р... Мяу!

М а с т е р. Понял?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Понял, пока что.

М а с т е р. Кошка будет лежать тут, и двое часовых будут сторожить тебя. Тебе не уйти.

И г р у ш к и. Ура Мастеру! Ура Кошке! *(Пляшут вокруг клетки. Поют: “Городок ты наш любимый”.)*

Свинья-копилка стоит, глубоко задумавшись, у рампы.

С в и н ь я (*вскрикивает вдруг.)* Придумала! *(Убегает.)*

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Декорация предыдущей картины. Всюду погашены огни. Ночь. На небе сияет луна. Только над клеткой, где сидит Повелитель крыс, горит фонарь да светятся глаза Кошки, которая, поджав лапки, сидит поодаль, не сводя глаз с клетки. У клетки ходят взад и вперед часовые. Свинья-копилка и Рита

Повелитель крыс *(поет)*.

Солнце скрылось прочь, прочь,
Наступила ночь, ночь,
Люди крепко спят, спят —
На охоту, брат, брат.
В темноте густой-стой,
В чаще под листвой-вой,
Нет тебя сильней, друг,
Налетай и бей вдруг.
Верен острый глаз, глаз,
Бьем всего лишь раз, раз,
Хоть темна ты, ночь, ночь.

Свинья. Что это за песня?

Повелитель крыс. Так... разбойничья...

Свинья. Что? Разбойничья? Ай-ай-ай! Как ты смеешь при нас петь разбойничьи песни?

Рита. Оставь его, девочка, пусть поет, что хочет.

Свинья. Не могу! Уж очень я его ненавижу. (*Подходит к клетке вплотную, кричит*). Ух! Так бы и разорвала тебя на кусочки.

Рита. Будет! Слышишь?

Свинья *(кричит)*. Нехорошее животное! Плохой зверь!

Рита. Довольно, говорят тебе! Успокойся.

Свинья. Ну, уж ладно. Только ради тебя успокоюсь, дорогая Рита. Разреши, я присяду, что-то ноги заболели.

Рита. Садись, маленькая.

Свинья. Я здесь возле клетки сяду, чтобы не спускать с него глаз.

Рита. Ладно. *(Ходит взад и вперед.)*

Свинья-копилка расположилась возле самой клетки. Когда Рита отходит, Свинья-копилка просовывает рыло в клетку Повелителя крыс.

Свинья. Приготовься.

Повелитель крыс. Я давно готов.

Свинья *(кричит)*. Что? Рита, слышишь?

Рита *(подходит)*. Ну, что случилось?

Свинья. Он меня обругал шепотом. Назвал меня глупой свиньей.

Рита. Ты его, наверное, дразнила?

Свинья. Ничего подобного! Я только заглянула в клетку, чтобы проверить, не грызет ли он прутья. Вот я его!

Рита. Ну, ладно, успокойся.

Свинья-копилка ходит взад и вперед рядом с куклой.

Свинья. Смотри, Рита, какой большой кажется луна.

Рита. Это рядом с нашими маленькими домиками. Когда я жила у людей, луна казалась гораздо меньше.

Свинья. Смотри, Рита, вон какая-то птица летит прямо на луну. Какая страшная!

Рита. Где?

Свинья. Ну, вон. Вон, чуть правей.

Рита. Не вижу я никакой пти...

Свинья-копилка толкает Риту под колени, Рита падает.

Свинья. Ну, вот и все.

Повелитель крыс. Она околела?

Свинья. Нет, уснула. Когда она падает, глаза у нее закрываются, и она сразу засыпает. Грызи скорей клетку, а я пока уведу Кошку.

Повелитель крыс. Как ты ее уведешь?

Свинья. Очень просто, у меня все придумано.

Повелитель крыс принимается грызть клетку. Свинья-копилка скрывается на миг и возвращается с бумажкой, привязанной к нитке. Начинает водить бумажкой перед самым носом Кошки. Сначала Кошка только не спускает своих светящихся глаз с бумажки, потом не выдерживает. Свинья-копилка

водит бумажкой так ловко, так завлекательно. Кошка протягивает лапку, пробует поймать бумажку. Это ей не удается. Постепенно Кошка приходит в азарт. Она носится по всей площади за бумажкой. Свинья-копилка убегает прочь, таща за собою нитку. Кошка мчится следом. А Повелитель крыс уже на свободе. Он стоит посреди площади, поднявшись на задние лапки. Оглядывается.

(Возвращается.) Беги! Она там возится с бумажкой.

Повелитель крыс. А Мастер где?

Свинья. Он спит за городом В городе не согласился спать,

Повелитель крыс. Потом придешь ко мне, расскажешь, что они тут делают.

Свинья. Приду... Беги.

Повелитель крыс свистит негромко. Ему отвечает издали писк, свист, шорох Повелитель крыс исчезает. Свинья-копилка ставит куклу на ноги, поддевши ее своим рылом.

Рита. ...цы. Слышишь, девочка? Не вижу я никакой птицы.

Свинья. Ну, значит, мне показалось. Я когда смотрю вверх плохо вижу.

Кошка бесшумно возвращается на свое место. Рита не замечает ничего. Они продолжают молча ходить рядом. Смена идет

Рита. Да. Как незаметно прошло время!

Входят Слон и Пупс-дворник.

Пупс-дворник. Ну, вот и мы. Все спокойно?

Рита. Да, малыши, все тихо. Кошка на месте, крыса... Ах!

Свинья. Бежала! Да как же это? Только что она была тут...

Рита *(визжит)*. Беда! Тревога!

Свистит Пупс-дворник, трубит Слон, распахиваются окна, зажигается свет. Шум.

Свинья *(на первом плане, рыдает)*. Это волшебство! Это колдовство! Мы глаз с него не спускали! Ловите его! Держите его! Он тут где-нибудь. *(Тихо и самодовольно.)* Нет, уж его давно и след простыл.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Большое дерево с дуплом, рядом пень. Вокруг густой кустарник. Чаща. Входит Свинья-копилка. Оглядывается осторожно. Свистит трижды. Ей отвечает негромкий свист, и из-под земли появляется Повелитель крыс.

Повелитель крыс. Наконец-то! Я уж думал, ты попалась.

Свинья. Я-то? Ха-ха! Я, брат, никогда не попадусь. Я две недели притворялась больной с горя. Две недели лежала посреди площади и визжала: “Ах-ах-ах! Как же это он убежал! Я себе не прощу этого”. Всех просто извела своим визгом. Ха-ха! Они целым городом утешали меня. Ха-ха!

Повелитель крыс. Какие новости?

Свинья. Плохие.

Повелитель крыс. Говори.

Свинья. Целыми днями Мастер их учит. Куклы теперь попадают из пушки в цель, которую сами не видят.

Повелитель крыс. Как так?

Свинья. А очень просто. Готовятся к обороне. Стреляют далеко-далеко. Сами не видят, куда снаряд летит. А на самолетах летают летчики. И сверху дают знак, попали снаряды или нет.

Повелитель крыс. Дальше.

Свинья. Вот тебе и дальше. Напади — попробуй! Как подымут пальбу! Не подойти. Имей это в виду.

Повелитель крыс. Имею. Дальше.

Свинья. Танки через чащу напролом, только кусты трещат. А некоторые танки прыгать научились!

Повелитель крыс. Прыгать?

Свинья. Да. Смотри. Вот, допустим, я танк. А это канава. Танк бежит.. *(Изображает.)* Р-р-р! И прыг... *(Прыгает.)* Видел? Так и носится, так и бегает. А Мастер все молотком стучит, все поет, все работает.

Повелитель крыс. Работает.

Свинья. Да. Послал в свою мастерскую письмо, и прислали ему оттуда инструменты, жесть, куски дерева, ящики целые... Строит он всякую всячину, а наши ему помогают.

Повелитель крыс. Дальше.

С в и н ь я. Что дальше-то? И дальше ничего хорошего не услышишь Оловянные солдатики настороже. Ружья и шашки им сделал Мастер — красота! Стреляют — уму непостижимо. За сто шагов отстреливают у комара на лету ножку. Вот как дела обстоят.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Залез я однажды в буфет, думал найти корочку сыра, а нашел целый кусок в полкило. Вот.

С в и н ь я. Это ты к чему?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Вот к чему. *(Свистит.)*

Кусты шуршат, трещат и оттуда высовываются дула пушек, пулеметов, выглядывают броневики.

С в и н ь я. Матушки мои!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Вот то-то и есть. Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс.

С в и н ь я. Откуда ты все это набрал?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Мы разграбили пять игрушечных магазинов.

С в и н ь я. Молодец! Но, однако ж, я не вижу у тебя самолетов.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Были и самолеты. Но только я никак не могу научить крыс летать. Под землей они храбрецы, на земле — молодцы, а чуть взлетят повыше — голова кружится.

С в и н ь я. Ах! Нехорошо... Ты бы поговорил с летучими мышами.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Не годятся они.

С в и н ь я. Почему?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Днем летать не могут.

С в и н ь я. Как же быть-то? Без самолетов плохо.

П о в е л и т е л ь к р ы с. У меня есть кое-что получше самолетов. Что самолет? Машина. А у меня есть живая свирепая сильная птица.

С в и н ь я. Птица?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Огромная, злая, умная, как я. Клюв твердый, как камень. Перья густые, никакая игрушечная пуля не пробьет, когти острые, как крысиные зубы. Лучший мой друг. Мышей ест, а меня любит. Я ее кормлю мышами.

С в и н ь я. Что же это за птица?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Смотри. *(Свистит.)*

В темном дупле загораются большие глаза, слышен глухой хохот. Большая С о в а показывается у входа в дупло. Хлопает глазами.

С о в а *(поет).*

Страшно днем, ужасно днем,
Солнце бьет в глаза огнем,
Я забьюсь в свое дупло
И молчу, пока светло.
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я молчу, пока светло.

С в и н ь я. Прости, повелитель, но ведь сова тоже ничего не видит днем. Она сама поет об этом.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Это мы очень просто обошли. А ну, Совушка, покажи нам свою обновку.

С о в а. Ха-ха-ха-ха! Чу-у-удная обновка. Просто у-у-ужас какая чу-у-у-уд-ная. *(Надевает на нос черные очки.)* Чу-у-у-удно. Темно, как ночью. *(Поет.)*

Опустился черный мрак,
Берегись несчастный враг.
Я лечу и хохочу,
И сейчас тебя схвачу.
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я сейчас тебя схвачу.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Видела? Я давно приметил в городе лавку, где стоят целые ящики самых разных очков. Я влез, нашел, взял. Днем она видит и ночью видит. Что скажещь?

С в и н ь я. Скажу — ура, мы им покажем!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Покажем, это ясно, как день.

С о в а. Покажем — это ясно, как ночь.

С в и н ь я. А ты не забыл, что обещал?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Нет.

С в и н ь я. Значит, после победы ты посадишь повелительницей игрушек меня?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Да.

С в и н ь я. Пожалуйста. А то очень уж обидно. Я, полная денег,

наравне с пустыми жалкими пупсами.

Повелитель крыс. Какие еще у тебя новости?

Свинья. Вот тут на бумажке я нарисовала, где у них сложены запасы.

Повелитель крыс *(разглядывает бумажку, которую дала ему Свинья-копилка)*. Чем ты это рисовала?

Свинья. Пятачком и копытцами.

Повелитель крыс. Грязно нарисовано.

Свинья. Грязно, да верно.

Повелитель крыс. Ладно. Пригодится. Ну, теперь слушай план. Я нападу на город внезапно.

Свинья. Ничего из этого не выйдет.

Повелитель крыс. Почему не выйдет?

Свинья. Они всюду-всюду расставили заставы, посты, я сама-то еле пробралась сюда. Самолеты летают, сторожат. А ночью светят прожекторы.

Повелитель крыс. Пусть.

Свинья. Как это пусть?

Повелитель крыс *(вскакивает на пень, поднимается на задние лапы, вдохновенно)*. Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс. Слушай, что я придумал.

Свинья. Ну-ну?

Повелитель крыс. Завтра ночью мы нападаем на город.

Свинья. Так, дальше?

Повелитель крыс. Игрушки бросятся в бой с нами.

Свинья. Так, ну?

Повелитель крыс. А мы убежим.

Свинья. Ай, зачем же это? Убежите?

Повелитель крыс. Да, убежим. Ха-ха-ха! Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс. Убежим без оглядки. Ничего из нашего оружия не возьмем с собою. Пойдем в бой безоружные. Жалкие крысы, увидим, как сильны наши враги, испугаемся и убежим. Поняла?

Свинья. Нет еще...

Повелитель крыс. Мы убежим, а игрушки — они обрадуются. "Ха-ха-ха! — скажут они.— Вот какие у нас ничтожные враги". И начнут радоваться петь, плясать и на радостях забудут обо всем. И

тут утром, при полном свете, когда ждут они нас меньше всего, мы ударим на город. Внезапно. Подкрадемся тихо, и загремят наши пушки, затрещат наши пулеметы. Поняла?

С в и н ь я. Да.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Что скажешь?!

С в и н ь я. Скажу — ура! Мы их разобьем.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Разобьем. Ясно, как день.

С о в а. Разобьем. Темно, как ночь.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Слушай дальше. Завтра утром, ровно в восемь часов утра, ты зажжешь самый большой дом на площади. Игрушки будут заняты пожаром... Это нам поможет тоже.

С в и н ь я. Очень хорошо. А скажи мне, пожалуйста, повелитель... что с тобой?

Повелитель крыс внезапно подпрыгнул на целых полметра. Затем стрелой бросился в кусты. Оттуда раздается писк, свист.

Ох, матушки! Что же это?.. Что случилось? Уж не удрать ли мне?

Из кустов вдруг вылетает крыса. Перевернувшись в воздухе, она падает на все четыре лапы и с визгом бросается обратно в кусты. За нею вылетают еще две крысы, словно выброшенные взрывом. И они, упав на землю, устремляются обратно. Шум. Сова хлопает крыльями и хохочет. Пищат и свистят крысы.

Что же это? Да неужто это игрушки? Ой!

Из кустов на середину сцены устремляется Слон. Он свирепо сражается с крысами.

Слон!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Я, к счастью, заметил его в кустах... Хватай его за ноги! Вцепляйся ему в хобот!

Сражение продолжается. Слон не сдается.

С в и н ь я. Это он за мной следил. Постой, глупый Слон! Безобразие какое! Осмелился подозревать меня.

Слон бросается к Свинье-копилке. Она отскакивает с визгом.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Сова! Возьми его.

Сова вылетает из дупла, хватает Слона когтями и взвивается с ним на воздух.

В этом пне глубокая дыра. Бросай его туда.

Сова бросает Слона. Он задерживается на миг на краю пня.

Слон *(Свинье-копилке, протянув к ней хобот)*. Предательница!

Сова ударяет Слона клювом по голове. Он исчезает.

Свинья. Так его! Ишь ты, еще ругается!

Слон *(ревет)*. Все равно нас не победишь!

Свинья. Подумайте... Бывало, слова от него не услышишь, а теперь вон как разошелся.

Слон *(ревет)*. Все равно ты погибнешь!

Свинья. Я? Да никогда! Не погибну я, а буду повелительницей всех игрушек. *(Поет, ликуя.)*

Вы строгали, вы пилили,
Вы копали, вы рубили,
Строили и в дождь, и в зной,
Ну, а город будет мой.

Повелитель крыс *(поет)*.

Эх вы, жалкие игрушки...
Что нам танки, что нам пушки?
Мы тихонько подползем
И все войско загрызем.

Сова *(поет)*.

Слава крысе-государю!
Я, сова, крылом ударю,—
И машины рухнут вниз.
Слава государю крыс!

Повелитель крыс. К делу! Довольно петь! *(Свинье.)* Беги в город. И помни: ровно в восемь часов.

Свинья. Помню, ровно в восемь часов.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Площадь в кукольном городе. Утро. Издали слышны выстрелы. На площади сидит Мастер. Недалеко от него расположилась Рита с иголкой и ниткой. Рядом с ней — Огромная кукла, у нее кисточка и клей. Рядом установлены койки разных размеров, покрытые чистыми одеялами.

Рита. Который час?

Мастер. Семь часов, Рита.

Огромная кукла. Что же это значит?

Мастер. Что тебя беспокоит, Маруся?

Огромная кукла. С трех часов ночи идет бой, и не привели ни одного раненого.

Мастер. Крысы не ждали такого отпора, дорогая. Ну, крысы! Напали на кукольный город! Ох, крысы, увидите вы сегодня, что такое игрушки.

Огромная кукла. Все это хорошо, но где же раненые? Я чуть не плачу от жалости, а жалеть некого.

Мастер. Погоди, кто-то бежит.

Вбегают гуськом, переваливаясь, целлулоидные гуси.

Гуси. Мы прогнали его-го-го-го-го.

Мастер. Кого?

Гуси. Врага-га-га-га.

Мастер. Крысы отступают?

Г у с и. Удирают, бего-го-го-гом.

М а с т е р. Отлично.

Кубарем влетают М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а. Отчаянно дерутся.

В чем дело?

Медвежонок и Обезьянка продолжают драться.

Да говорите же!

Никакого ответа. Драка продолжается. Мастер разнимает дерущихся.

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а (хором). Полная победа! Крысы разбежались по норам. Ура-ра!

Спускается самолет. Оттуда выскакивает Т и г р в шлеме летчика.

Т и г р *(восторженно)*. Повелитель крыс удрал впереди всех. Ха-ха-ха! Я даже на самолете не мог его догнать. Победа! Победа!

С в и н ь я *(вбегает)*. Поздравляю, поздравляю! С праздником, с праздником!

Слышно постукивание, и выходит отряд в а н е к - в с т а н е к.

В а н ь к и - в с т а н ь к и *(поворачиваясь)*. Враг-враг не мог-не мог сбить-сбить нас-нас с ног-с ног... Они-они ушли-ушли.

С в и н ь я. Давайте праздновать! Давайте ликовать!

Т и г р. Свинья-копилка! Я с тобой ссорился, а теперь прямо говорю — прости меня. Мастер! Она молодец. Она бросилась в самую гущу врагов. Она напала на самого Повелителя крыс. Молодец!

С в и н ь я *(скромно)*. Ну что там, глупости...

Слышна музыка.

М а с т е р. Что это? Войска идут сюда. Стойте.

Музыка замолкает.

Вы что же это? А? Командиры, ко мне!

Командиры и оловянные солдатики скачут к Мастеру.

Как же вы оставили места, на которых я вам приказал находиться?

Командиры. Враг бежал! Мы победили!

Мастер. А вы помните мой приказ: не радоваться и не успокаиваться прежде времени? Где Кошка?

Командиры. Ходит по полю, мяукает.

Мастер. Видите! Значит, крысы недалеко ушли. Она их чует. Все по местам!

Свинья. Прости меня, дорогой Мастер. Можно мне одно слово сказать?

Мастер. Говори.

Свинья. Мастер, если бы ты видел, как удирали крысы! Они до того напуганы, что раньше, чем через месяц, не опомнятся.

Голоса. Верно! Правильно!

Свинья. Сейчас сколько времени?

Мастер. Половина восьмого.

Свинья. Дай ты нам порадоваться, дай нам попировать, хотя бы до половины девятого. Только часик. Ведь первая победа у нас.

Голоса. Правильно!

Мастер. Ну, ладно. Оставьте часовых повсюду — на деревьях, на пригорках, везде, а сами отдыхайте, празднуйте.

Свинья. Дорогой Мастер! Уж праздновать, так всем. Зачем же часовых-то обижать? Все в сражении участвовали, все пусть и отдыхают.

Мастер. Нет.

Голоса. Ну, пожалуйста! Мастер! Миленький, ведь победа.

Мастер. Ни за что!

Свинья. Ну, чего там! Празднуй, ребята!

Мастер пробует возразить, но его заглушают крики, шум.
Гремит музыка. Игрушки располагаются у стен. Посреди площади танцуют.
Пляшут русскую куклы в русских костюмах. Пляшут лезгинку куклы в костюмах горцев. Мастер, поднявшись с трудом, стоит неподвижно на часах, вглядываясь вдаль.

Свинья *(на авансцене, глядит злобно на Мастера)*. Все смот-

ришь! Ничего... Я тебя заставлю отвернуться. *(Исчезает.)*

Пляска продолжается. Вдруг из окон самого большого дома, того, где живет Огромная кукла, вырывается пламя.

(Вбегает.) Пожар! Пожар!

На несколько секунд вспыхивает паника.

Мастер. Трубы, тревогу!

Никто не слушает его.

Забыли, что я вам говорил? Все по местам! Позор! Очистить площадь! Тревога! Пусть каждый делает свое дело!

Огромная кукла *(выходит)*. Идемте! Мой дом горит, а я ухожу на свое место, видите. *(Идет, за нею все.)*

Площадь пустеет. Приезжает пожарная команда.

Свинья *(на авансцене)*. Ах, как это неприятно! Как он их обучил, организовал. Да ведь они от пожара скорее успокоились, чем...

Грохот. Вбегает Пупс с ванной. Он плачет.

Пупс с ванной. Я собирал чернику, вдруг вижу, идут крысы! С танками!

Мастер. С танками?

Пупс с ванной. С пушками!

Мастер. С пушками?

Грохот, снаряд ударяет в крышу дома.

(Ванькам-встанькам.) Бегите на холм, задержите врага, пока все не станут по местам.

Ваньки-встаньки бегут, постукивая. Через площадь мчатся танки, за ними бегут пехотинцы, везут на грузовиках пушки.

Свинья. Как будто не растерялись. Вот безобразие какое! Что-то будет? Что-то будет?

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Пригорок, занятый отрядом ванек-встанек. Пальба.

Ванька-встанька-командир *(покачиваясь)*. Стой-стой. Не бойся-не бойся.

Ваньки-встаньки. Стоим-стоим. Не боимся-не боимся.

Из-за пригорка появляется Повелитель крыс.

Повелитель крыс. Ха-ха-ха! Вот так солдаты! Ни рук, ни ног, ни оружия. Уходите с пригорка! Он мне нужен. Я тут поставлю пушки.

Ванька-встанька-командир. Приди-приди и возьми-возьми.

Повелитель крыс *(хохочет, вбегает на холм, кричит, обернувшись)*. Крысы, стойте на месте! Я сам с ними справлюсь. *(Размахнувшись, бьет командира ванек-встанек.)*

Командир откачнулся, размахнулся и ударил головою Повелителя крыс.

Ты жив, да еще и дерешься?

Ванька-встанька-командир. Ты меня-меня кулаком-кулаком, я тебя-я тебя головой-головой.

Говоря это, он все время раскачивается и бьет Повелителя крыс.
Тот пробует схватить Ваньку-встаньку зубами, когтями,
пробует свалить его ударом хвоста — напрасно!

Ваньки-встаньки *(поют хором)*.

Ванька-встанька, Ванька-встанька.
Ты его поди достань-ка,
Ну-ка, тронь-ка ты его —
Не добьешься ничего.
С виду птица невелика,
А поди-ка повали-ка.
Влево, вправо, в бок, в живот
Бьешь его, а он встает.

Повелитель крыс. Эй вы, сюда!

Появляются две к р ы с ы.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Пушку!

Крысы исчезают и через миг появляются с пушкой.

Целься!

Крысы целятся в командира ванек-встанек Он стоит спокойно.

Огонь!

Раздается выстрел.
Командир ванек-встанек покачнулся и снова стал прямо.
Он невредим

Стоишь?

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стою-стою.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Огонь!

Выстрел. Ванька-встанька невредим.

Стоишь?

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стою-стою.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Хорошо же.

Крысы убегают со своим Повелителем и уволакивают за собой пушку.

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стой-стой, не бойся-не бойся.

В а н ь к и - в с т а н ь к и. Стоим-стоим. Не боимся-не боимся.

Влетает верхом К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в.

К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в. Задержали их?! Молодцы! Мы все успокоились. Все стали по местам.

В а н ь к а - в с т а н ь к а. Бежит-бежит танк-танк.

К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в. Ничего, отходите. Сейчас мы выпустим против него наш танк.

Ваньки-встаньки уходят, покачиваясь.

Командир оловянных солдатиков уезжает за ними.
Из-за пригорка вылетает танк.
Повелитель крыс выглядывает из его башенки.

Повелитель крыс. Ага! Струсили! Вперед!

Навстречу крысиному танку вылетает танк игрушек.
Завязывается бой. Крысиный танк значительно больше,
но танк игрушек управляется в высшей степени искусным водителем.
Он кружится возле противника, обстреливая его со всех сторон.
Когда крысиный танк пробует отступить,
танк игрушек вдруг прыгает через него и загораживает ему дорогу.
Крысиный танк бежит. Танк игрушек преследует его. Оба исчезают.
Показывается ряд танков игрушек. Они проходят через сцену.
За ними проходят стройным рядом оловянные солдатики.
За пушками идет Пупс с ванной. Пушки проходят,
а Пупс с ванной остается на пригорке.

Пупс с ванной. Меня Мастер похвалил. Ха-ха! Я молодец! Я первый увидел крыс. Ха-ха-ха! Но только он велел мне сидеть дома и не бояться. А я не хочу. Мне хочется смотреть, как сражаются.

Орудийный выстрел.

О! Видали? Стреляют, а я не боюсь.

Неподалеку разрывается снаряд.

Ой, что вы делаете! Вы так можете меня сломать.

Еще взрыв Пупс с плачем ложится и накрывается ванной.
Вбегает Свинья-копилка. Оглядывается.

Свинья. Никого нет. Сюда!

Входит Повелитель крыс.

За мной! Я проведу вас прямо к городу, мимо всех застав. Только тише! Здесь недалеко строжевой пост.

Повелитель крыс идет за ней. За ним цепочкой крысы.

Пупс с ванной *(вскрикивает)*. Что ты делаешь? Бессовестная!

Свинья. Это еще что? Я тебе уши оборву. *(Бросается на Пупса.)*

Пупс отбивается ванной. Пищит во весь голос. Ванна грохочет.

Пупс с ванной. Сюда! Измена! На помощь!

Свинья. Хватайте его и бегите! Он поднял тревогу, негодный.

Крысы уносят Пупса с ванной.
Вбегают Медвежонок и Обезьянка, вооруженные саблями.

Медвежонок и Обезьянка *(вместе)*. Что случилось?

Свинья. Ох, ужас! Крысы забрали в плен Пупса с ванной.

Медвежонок и Обезьянка выхватывают сабли. Бегут. Навстречу им две крысы. Завязывается бой. Обе крысы убегают. Свинья-копилка скрывается.

Медвежонок. Видела, как я прогнал крысу?

Обезьянка. Нет, это я прогнала крысу.

Медвежонок. А я говорю — я.

Обезьянка. А я говорю — я.

Дерутся. Вбегает Пупс-дворник с ружьем.
Бросается между дерущимися.

Пупс-дворник. Племянника моего не видели?

Медвежонок и Обезьянка. Нет, не видели, мы его спасем, не бойся.

Пупс-дворник. А что с ним?

Медвежонок и Обезьянка. Его в плен взяли.

Пупс-дворник. В плен? А вы деретесь? За мной! (Убегает.)

Медвежонок и Обезьянка за ним. Скачет конный оловянный солдатик.
На него внезапно бросается крыса,
стаскивает его с коня, а сама садится на его место.
Но конь отчаянно брыкается, прыгает и сбрасывает крысу.
Оловянный солдатик снова на коне, гонится за крысой... Удаляется, сражаясь.
В воздухе появляется Сова в черных очках.
Она парит на развернутых крыльях.

С о в а. Ну-ну и деру-у-тся они. У-у-у-у-ужас. Пора и мне вмешаться. Где же их машины? А, вот летит ко мне на свою погибель. Ха-ха-ха!

Влетает, жужжа, самолет, которым управляет Т и г р.
Сова бросается на самолет. Но Тигр переводит машину в пике.
Сова промахнулась. Она растерянно оглядывается,
Тигр набирает высоту, летит на Сову. Сова снова бросается на самолет.
Тигр начинает делать мертвые петли. Сова распласталась в воздухе,
крутит ошеломленной головой, следя за петлями. Тигр выравнивает самолет.
Сова, покачиваясь, далеко уж не так уверенно, как в первый раз,
пробует на него напасть, но тщетно. Когда Тигр переводит самолет в штопор,
Сова беспомощно шатается с крыла на крыло.

С о в а *(замирающим голосом)*. Что такое? .. В первый раз в жизни... У меня кружится голова...

Тигр взвивается в воздух. Теперь он нападает.
Он летит прямо на Сову и сбивает с нее очки. С воплями Сова улетает.
Тигр преследует ее. Въезжают два грузовика. На них знаки Красного креста.
Р и т а и О г р о м н а я к у к л а идут возле. За ними, прихрамывая, идет М а с т е р.
Он смотрит вдаль.

М а с т е р. По-моему, крысы отступают. Странно.

Р и т а. Что странно, малыш?

М а с т е р. Почему никто не скачет ко мне рассказать об этом.

Скачет В с а д н и к.

О г р о м н а я к у к л а. А вот и Всадник.

М а с т е р. Ну, что?

В с а д н и к *(мрачно)*. Да неважно дело. Крыс разбили вдребезги. Не хватает клеток для пленных. Они бегут без оглядки.

М а с т е р. Да почему же ты такой грустный? Почему ты не радуешься?

О г р о м н а я к у к л а *(баском)*. Нет, уж теперь мы умны. Не будем радоваться прежде времени.

М а с т е р. Радуйтесь! Это победа настоящая. Радуйтесь! Я разрешаю.

Раздается музыка. Из-за холма показываются войска. Гремит “ура”.

Прибегает Свинья-копилка.

Свинья. Поздравляю! Поздравляю! С праздником! С праздником!

Крики. Смотрите! Смотрите!

На парашюте спускается Тигр. Он держит в лапах связанного по рукам и ногам Повелителя крыс.

Мастер. Повелитель крыс!

Повелитель крыс. Сдаюсь.

Мастер. Дайте клетку с пленными крысами.

Вкатывают беличью клетку с колесом, полную жалобно пищащих крыс. Мастер сажает к ним Повелителя крыс.

Тигр *(прыгает)*. Победа! *(Мастеру.)* Поздравляю. *(Свинье-копилке, хватая ее за передние ноги.)* Поздравляю, поздравляю.

Свинья. И я поздравляю, только пусти мои ножки. Что ты так крепко держишь меня?

Тигр. А ты не понимаешь, почему?

Свинья. Нет.

Тигр. Сейчас поймешь. Вау-вау! Спускайся, товарищ.

На парашюте спускается Слон.

Свинья. Ай-ай-ай!

Снижается самолет. На самолете Пупс с ванной, Медвежонок, Обезьянка, Пупс-дворник.

Мастер. Что все это значит?

Слон *(указывает хоботом на Свинью-копилку)*. Предательница!

Тигр. Я погнался за Совой, она — в дупло, а возле дупла пень, а в пне дыра, а в дыре, я вижу, дерутся Медвежонок и Обезьянка. Я снизился. Смотрю — полно наших. Свинья-копилка — предательница. Слон выследил ее, но крысы его захватили. Пупс поймал ее, но его тоже схватили крысы. Наши побежали выручать Пупса и сами попали в плен. Я их освободил; смотрю, бежит Повелитель крыс. Мы его в

плен, все на самолет и к тебе.

Мастер. Дайте клетку с крысами. *(Сажает Свинью-копилку в клетку.)* Иди к своим друзьям.

Свинья *(визжит)*. Я больше не буду!

Мастер. Нет, предателям мы не верим. Увезите клетку. Так. А где моя Кошка?

Голоса. Догоняет последних крыс.

Мастер. Разыщите ее. Нам пора домой.

Горестные возгласы. Как домой! — Почему? — Мастер!

Мастер. Да, друзья, пора мне домой. Отпуск-то мой кончился. Нога у меня давно не болит. Я вам этого нарочно не говорил, чтобы вы не на меня надеялись, а на себя. Теперь никакой враг вам не страшен. Вы научились защищать свой город. До свидания, друзья.

Куклы плачут.

Не надо плакать. Я буду приезжать к вам каждый выходной день.

Куклы радостно кричат.

Что привезти вам из города?

Рита. Вот что я тебе скажу, малыш... Живем мы хорошо, но ведь все-таки мы игрушки... *(Вздыхает.)* Стыдно признаться, но иногда скучновато мне бывает без ребят. Может быть... найдутся дети добрые и умные, которых можно будет привезти к нам... поиграть...

Игрушки. Да! Да! Правильно!

Мастер. Ладно. Буду присматриваться. Если найду мальчиков или девочек, которые за год не изуродовали ни одной игрушки, возьму их с собой к вам. Идет?

Огромная кукла. Идет. Только таких нету...

Мастер. А вдруг найдутся? Ну, до свидания куклы.

Рита. Ребята! Передайте привет нашим братьях и сестрам, игрушкам, которые живут у вас.

Огромная кукла *(баском)*. И не обижай их по возможности.

В с е   и г р у ш к и *(поют)*.

Приезжайте к нам скорей,
Мы скучаем без детей...
К нам совсем проста дорога:
Вправо ты пройдешь немного,
Дальше — влево, вверх и вниз,
Мимо мошек, мимо крыс,
Мимо дуба, мимо клена,
По тропинке по зеленой,
Кто разыщет — молодец,
Тут и сказке — конец.

З а н а в е с

1938

ТЕНЬ

Пьеса в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ученый.
Его тень.
Пьетро — хозяин гостиницы.
Аннунциата — его дочь.
Юлия Джули — певица.
Принцесса.
Первый министр.
Министр финансов.
Цезарь Борджиа — журналист.
Тайный советник.
Доктор.
Палач.
Мажордом.
Капрал.
Придворные дамы.
Придворные.
Курортники.
Сестра развлечения.
Сестра милосердия.
Королевские герольды.
Лакеи министра финансов.
Стража.
Горожане.

...И ученый рассердился не столько потому, что тень ушла от него, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине. Вернись он теперь домой и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим...

Г.-Х. Андерсен. "Тень".

...Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет.

Г.-Х. Андерсен. "Сказка моей жизни", глава VIII.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Небольшая комната в гостинице, в южной стране. Две двери, одна в коридор, другая на балкон. Сумерки. На диване полулежит Ученый, молодой человек двадцати шести лет. Он шарит рукой по столу — ищет очки.

Ученый. Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно. Но вместе с тем это прекрасно — в сумерках вся моя комната представляется не такою, как обычно. Этот плед, брошенный в кресло, кажется мне сейчас очень милою и доброю принцессою. Я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости. Она не одна, конечно. Принцессе не полагается ходить без свиты Эти узкие, длинные часы в деревянном футляре — вовсе не часы. Это вечный спутник принцессы, тайный советник. Его сердце стучит ровно, как маятник, его советы меняются в соответствии с требованиями времени, и дает он их шепотом. Ведь недаром он тайный. И если советы тайного советника оказываются гибельными, — он от них начисто отрекается впоследствии. Он утверждает, что его просто не расслышали, и это очень практично с его стороны. А это кто? Кто этот незнакомец, худой и стройный, весь в черном, с белым лицом? Почему мне вдруг пришло в голову, что это жених принцессы? Ведь влюблен в принцессу я! Я так влюблен в нее, что это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. *(Смеется.)* Прелесть всех этих выдумок в том, что едва я надену очки, как все вернется на свое место. Плед станет пледом, часы часами, а этот зловещий незнакомец исчезнет. *(Шарит руками по столу.)* Ну, вот и очки. *(Надевает очки и вскрикивает.)* Что это?

В кресле сидит очень красивая, роскошно одетая девушка в маске. За ее спиною — лысый старик в сюртуке со звездою. А к стене прижался длинный, тощий, бледный человек в черном фраке и ослепительном белье. На руке его бриллиантовый перстень.

(Бормочет, зажигая свечу.) Что за чудеса? Я скромный ученый — откуда у меня такие важные гости?.. Здравствуйте, господа! Я очень рад вам, господа, но... не объясните ли вы мне, чем я обязан такой чести? Вы молчите? Ах, все понятно. Я задремал. Я вижу сон.

Девушка в маске. Нет, это не сон.

Ученый. Вот как! Но что же это тогда?

Девушка в маске. Это такая сказка. До свидания, господин Ученый! Мы еще увидимся с вами.

Человек во фраке. До свидания, Ученый! Мы еще встретимся.

Старик со звездою *(шепотом)*. До свидания, уважаемый Ученый! Мы еще встретимся, и все, может быть, кончится вполне благоприлично, если вы будете благоразумны.

Стук в дверь, все трое исчезают.

Ученый. Вот так история!

Стук повторяется.

Войдите!

В комнату входит Аннунциата, черноволосая девушка с большими черными глазами. Лицо ее в высшей степени энергично, а манеры и голос мягки и нерешительны. Она очень красива. Ей лет семнадцать.

Аннунциата. Простите, сударь, у вас гости... Ах!

Ученый. Что с вами, Аннунциата?

Аннунциата. Но я слышала явственно голоса в вашей комнате!

Ученый. Я уснул и разговаривал во сне.

Аннунциата. Но... простите меня... я слышала женский голос.

Ученый. Я видел во сне принцессу.

Аннунциата. И какой-то старик бормотал что-то вполголоса.

Ученый. Я видел во сне тайного советника.

Аннунциата. И какой-то мужчина, как мне показалось, кричал на вас.

Ученый. Это был жених принцессы. Ну? Теперь вы видите, что это

сон? Разве наяву ко мне явились бы такие неприятные гости?

А н н у н ц и а т а. Вы, шутите?

У ч е н ы й. Да.

А н н у н ц и а т а. Спасибо вам за это. Вы всегда так ласковы со мною. Наверное, я слышала голоса в комнате рядом и все перепутала. Но... вы не рассердитесь на меня? Можно сказать вам кое-что?

У ч е н ы й. Конечно, Аннунциата.

А н н у н ц и а т а. Мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь... Вы ученый, а я простая девушка. Но только... я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам. *(Делает книксен.)* Простите мне мою дерзость.

У ч е н ы й. Пожалуйста! Говорите! Учите меня! Я ведь ученый, а ученые учатся всю жизнь.

А н н у н ц и а т а. Вы шутите?

У ч е н ы й. Нет, я говорю совершенно серьезно.

А н н у н ц и а т а. Спасибо вам за это. *(Оглядывается на дверь.)*В книгах о нашей стране много пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце, ну... словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране...

У ч е н ы й. Конечно, знаю. Ведь поэтому я и приехал сюда.

А н н у н ц и а т а. Да. Вам известно то, что написано о нас в книгах, но то, что там о нас не написано, вам неизвестно.

У ч е н ы й. Это иногда случается с учеными.

А н н у н ц и а т а. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, — у нас бывает на самом деле каждый день. Вот, например, Спящая красавица жила в пяти часах ходьбы от табачной лавочки — той, что направо от фонтана. Только теперь Спящая красавица умерла. Людоед до сих пор жив и работает в городском ломбарде оценщиком. Мальчик-с-пальчик женился на очень высокой женщине, по прозвищу Гренадер, и дети их — люди обыкновенного роста, как вы да я. И знаете, что удивительно? Эта женщина, по прозвищу Гренадер, совершенно под башмаком у Мальчика-с-пальчик. Она даже на рынок берет его с собой. Мальчик с пальчик сидит в кармане ее передника и торгуется, как дьявол. Но, впрочем, они живут очень дружно. Жена так внимательна к мужу. Каждый раз, когда они по праздникам танцуют менуэт, она надевает двойные очки,

чтобы не наступить на своего супруга нечаянно.

Ученый. Но ведь это очень интересно, почему же об этом не пишут в книгах о вашей стране?

Аннунциата *(оглядываясь на дверь)*. Не всем нравятся сказки.

Ученый. Неужели?

Аннунциата. Да, вот можете себе представить! *(Оглядывается на дверь.)* Мы ужасно боимся, что если это узнают все, то к нам перестанут ездить. Это будет так невыгодно! Не выдавайте нас, пожалуйста.

Ученый. Нет, я никому не скажу.

Аннунциата. Спасибо вам за это. Мой бедный отец очень любит деньги, и я буду в отчаянии, если он заработает меньше, чем ожидает. Когда он расстроен, он страшно ругается.

Ученый. Но все-таки мне кажется, что число приезжих только вырастет, когда узнают, что в вашей стране сказки — правда.

Аннунциата. Нет. Если бы к нам ездили дети, то так бы оно и было. А взрослые — осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Вот об этом я с вами и хотела поговорить. Будьте осторожны.

Ученый. А как? Чтобы не простудиться, надо тепло одеваться. Чтобы не упасть, надо смотреть под ноги. А как избавиться от сказки с печальным концом?

Аннунциата. Ну... Я не знаю... Не надо разговаривать с людьми, которых вы недостаточно знаете.

Ученый. Тогда мне придется все время молчать. Ведь я приезжий.

Аннунциата. Нет, правда, пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек, а именно таким чаще всего приходится плохо.

Ученый. Откуда вы знаете, что я хороший человек?

Аннунциата. Ведь я часто вожусь в кухне. А у нашей кухарки одиннадцать подруг. И все они знают все, что есть, было и будет. От них ничего не укроется. Им известно, что делается в каждой семье, как будто у домов стеклянные стены. Мы в кухне и смеемся, и плачем, и ужасаемся. В дни особенно интересных событий все гибнет на плите. Они говорят хором, что вы прекрасный человек.

Ученый. Это они и сказали вам, что в вашей стране сказки — правда?

Аннунциата. Да.

Ученый. Знаете, вечером, да еще сняв очки, я готов в это верить. Но

утром, выйдя из дому, я вижу совсем другое. Ваша страна — увы! — похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, преступление, совесть, бесстыдство — все это перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Очень трудно будет все это распутать, разобрать и привести в порядок так, чтобы не повредить ничему живому. В сказках все это гораздо проще.

Аннунциата *(делая книксен)*. Благодарю вас.

Ученый. За что?

Аннунциата. За то, что вы со мною, простой девушкой, говорите так красиво.

Ученый. Ничего, с учеными это бывает. А скажите, мой друг Ганс-Христиан Андерсен, который жил здесь, в этой комнате, до меня, знал о сказках?

Аннунциата. Да, он как-то проведал об этом.

Ученый. И что он на это сказал?

Аннунциата. Он сказал: "Я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду". Он очень любил наш дом. Ему нравилось, что у нас так тихо.

Оглушительный выстрел.

Ученый. Что это?

Аннунциата. О, не обращайте внимания. Это мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив, и чуть что — стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный и всегда поэтому дает промах.

Ученый. Понимаю. Это явление мне знакомо. Если бы он попадал в цель, то не палил бы так часто.

За сценой рев: "Аннунциата!"

Аннунциата *(кротко)*. Иду, папочка, миленький. До свидания! Ах, я совсем забыла, зачем пришла. Что вы прикажете вам подать — кофе или молоко?

Дверь с грохотом распахивается. В комнату вбегает стройный, широкий в плечах, моложавый человек. Он похож лицом на Аннунциату. Угрюм, не смотрит в глаза. Это хозяин меблированных комнат, отец Аннунциаты, Пьетро.

Пьетро. Почему ты не идешь, когда тебя зовут?! Поди немедленно перезаряди пистолет. Слышала ведь — отец стреляет. Все нужно объяс-

нять, во все нужно ткнуть носом. Убью!

Аннунциата спокойно и смело подходит к отцу, целует его в лоб.

Аннунциата. Иду, папочка. До свидания, сударь! *(Уходит.)*

Ученый. Как видно, ваша дочь не боится вас, синьор Пьетро.

Пьетро. Нет, будь я зарезан. Она обращается со мною так, будто я самый нежный отец в городе.

Ученый. Может быть, это так и есть?

Пьетро. Не ее дело это знать. Терпеть не могу, когда догадываются о моих чувствах и мыслях. Девчонка! Кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер пятнадцать сейчас опять отказался платить. От ярости я выстрелил в жильца комнаты номер четырнадцать.

Ученый. И этот не платит?

Пьетро. Платит. Но он, четырнадцатый, ничтожный человек. Его терпеть не может наш Первый министр. А тот, проклятый неплательщик, пятнадцатый, работает в нашей трижды гнусной газете. О, пусть весь мир провалится! Верчусь, как штопор, вытягиваю деньги из жильцов моей несчастной гостиницы и не свожу концы с концами. Еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду.

Ученый. А разве вы служите?

Пьетро. Да.

Ученый. Где?

Пьетро. Оценщиком в городском ломбарде.

Внезапно начинает играть музыка — иногда едва слышно, иногда так, будто играют здесь же в комнате.

Ученый. Скажите... Скажите мне... Скажите, пожалуйста, где это играют?

Пьетро. Напротив.

Ученый. А кто там живет?

Пьетро. Не знаю. Говорят, какая-то чертова Принцесса.

Ученый. Принцесса?!

Пьетро. Говорят. Я к вам по делу. Этот проклятый пятнадцатый номер просит вас принять его. Этот газетчик. Этот вор, который норовит даром жить в прекрасной комнате. Можно?

Ученый. Пожалуйста. Я буду очень рад.

П ь е т р о. Не радуйтесь прежде времени. До свидания. (Уходит.)

У ч е н ы й. Хозяин гостиницы — оценщик в городском ломбарде. Людоед? Подумать только!

Открывает дверь, ведущую на балкон. Видна стена противоположного дома. Улица узкая. Балкон противоположного дома почти касается балкона комнаты ученого. Едва открывает он дверь, как шум улицы врывается в комнату. Из общего гула выделяются отдельные голоса.

Г о л о с а. Арбузы, арбузы! Кусками!

— Вода, вода, ледяная вода!

— А вот — ножи для убийц! Кому ножи для убийц?!

— Цветы, цветы! Розы! Лилии! Тюльпаны!

— Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди, идет осел!

— Подайте бедному немому!

— Яды, яды, свежие яды!

У ч е н ы й. Улица наша кипит, как настоящий котел. Как мне нравится здесь!.. Если бы не вечное мое беспокойство, если бы не казалось мне, что весь мир несчастен из-за того, что я не придумал еще, как спасти его, то было бы совсем хорошо. И когда девушка, живущая напротив, выходит на балкон, то мне кажется, что нужно сделать одно, только одно маленькое усилие — и все станет ясно.

В комнату входит очень красивая молодая женщина, прекрасно одетая. Она щурится, оглядывается. Ученый не замечает ее.

Если есть гармония в море, в горах, в лесу и в тебе, то, значит, мир устроен разумнее, чем...

Ж е н щ и н а. Это не будет иметь успеха.

У ч е н ы й *(оборачивается)*. Простите!

Ж е н щ и н а. Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет и тени остроумия. Это новая ваша статья? Где же вы? Что это сегодня с вами? Вы не узнаете меня, что ли?

У ч е н ы й. Простите, нет.

Ж е н щ и н а. Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это неэлегантно. Где вы там?

У ч е н ы й. Я здесь.

Ж е н щ и н а. Подойдите поближе.

Ученый. Вот я. *(Подходит к незнакомке.)*

Женщина *(она искренне удивлена)*. Кто вы?

Ученый. Я приезжий человек, живу здесь в гостинице. Вот кто я.

Женщина. Простите... Мои глаза опять подвели меня. Это не пятнадцатый номер?

Ученый. Нет, к сожалению.

Женщина. Какое у вас доброе и славное лицо! Почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей?

Ученый. А что это за круг?

Женщина. О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты?

Ученый. Нет.

Женщина. Какая жалость! У нас это не принято. Но... Но я, кажется, готова простить вам это — до того вы мне вдруг понравились. Вы сердитесь на меня?

Ученый. Нет, что вы!

Женщина. Я немного посижу у вас. Можно?

Ученый. Конечно.

Женщина. Мне вдруг показалось, что вы как раз тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, покажется — по голосу и по речам — вот он, такой человек, а подойдет он поближе, и видишь — это совсем не то. А отступать уже поздно, слишком близко он подошел. Ужасная вещь быть красивой и близорукой. Я надоела вам?

Ученый. Нет, что вы!

Женщина. Как просто и спокойно вы отвечаете мне! А он раздражает меня.

Ученый. Кто?

Женщина. Тот, к которому я пришла. Он ужасно беспокойный человек. Он хочет нравиться всем на свете. Он раб моды. Вот, например, когда в моде было загорать, он загорел до того, что стал черен, как негр. А тут загар вдруг вышел из моды. И он решился на операцию. Кожу из-под трусов — это было единственное белое место на его теле — врачи пересадили ему на лицо.

Ученый. Надеюсь, это не повредило ему?

Женщина. Нет. Он только стал чрезвычайно бесстыден, и пощечи-

ну он теперь называет просто — шлепок.

Ученый. Почему же вы ходите к нему в гости?

Женщина. Ну, все-таки это человек из нашего круга, из круга настоящих людей. А кроме того, он работает в газете. Вы знаете, кто я?

Ученый. Нет.

Женщина. Я певица. Меня зовут Юлия Джули.

Ученый. Вы очень знамениты в этой стране!

Юлия. Да. Все знают мои песни "Мама, что такое любовь", "Девы, спешите счастье найти", "Но к тоске его любовной остаюсь я хладнокровной" и "Ах, зачем я не лужайка". Вы доктор?

Ученый. Нет, я историк.

Юлия. Вы отдыхаете здесь?

Ученый. Я изучаю историю вашей страны.

Юлия. Наша страна — маленькая.

Ученый. Да, но история ее похожа на все другие. И это меня радует.

Юлия. Почему?

Ученый. Значит, есть на свете законы, общие для всех. Когда долго живешь на одном месте, в одной и той же комнате и видишь одних и тех же людей, которых сам выбрал себе в друзья, то мир кажется очень простым. Но едва выедешь из дому — все делается чересчур уж разнообразным. И это...

За дверью кто-то испуганно вскрикивает. Звон разбитого стекла.

Кто там?

Входит, отряхиваясь, изящный молодой человек. За ним растерянная Аннунциата.

Молодой человек. Здравствуйте! Я стоял тут у вашей двери, и Аннунциата испугалась меня. Разве я так уж страшен?

Аннунциата *(ученому)*. Простите, я разбила стакан с молоком, которое несла вам.

Молодой человек. А у меня вы не просите прощения?

Аннунциата. Но вы сами виноваты, сударь! Зачем вы притаились у чужой двери и стояли не двигаясь?

Молодой человек. Я подслушивал. *(Ученому.)* Вам нравится моя откровенность? Все ученые — прямые люди. Вам должно это нравиться. Да? Ну скажите же, вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь?

Юлия. Не отвечайте. Если вы скажете "да" — он вас будет прези-

рать, а если скажете "нет" — он вас возненавидит.

Молодой человек. Юлия, Юлия, злая Юлия! *(Ученому.)* Разрешите представиться: Цезарь Борджиа. Слышали?

Ученый. Да.

Цезарь Борджиа. Ну? Правда? А что именно вы слышали?

Ученый. Многое.

Цезарь Борджиа. Меня хвалили? Или ругали? А кто именно?

Ученый. Просто я сам читал ваши критические и политические статьи в здешней газете.

Цезарь Борджиа. Они имеют успех. Но всегда кто-нибудь недоволен. Выругаешь человека, а он недоволен. Мне бы хотелось найти секрет полного успеха. Ради этого секрета я готов на все. Нравится вам моя откровенность?

Юлия. Идемте. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты.

Цезарь Борджиа. Я предупредил господина ученого. Наш хозяин говорил ему, что я приду. А вы, блистательная Юлия, ошиблись комнатой?

Юлия. Нет, мне кажется, что я пришла как раз туда, куда следует.

Цезарь Борджиа. Но ведь вы шли ко мне! Я как раз кончаю статью о вас. Она понравится вам, но — увы! — не понравится вашим подругам. *(Ученому.)* Вы разрешите еще раз зайти к вам сегодня?

Ученый. Пожалуйста.

Цезарь Борджиа. Я хочу написать статью о вас.

Ученый. Спасибо. Мне пригодится это для работы в ваших архивах. Меня там больше будут уважать.

Цезарь Борджиа. Хитрец! Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Здесь дело не в архиве.

Ученый. А в чем же?

Цезарь Борджиа. Хитрец! Вы все глядите на соседний балкон.

Ученый. Разве я гляжу туда?

Цезарь Борджиа. Да. Вы думаете, там живет она.

Ученый. Кто?

Цезарь Борджиа. Не надо быть таким скрытным. Ведь вы историк, изучаете нашу страну, стало быть, вы знаете завещание нашего последнего короля, Людовика IX Мечтательного.

Ученый. Простите, но я дошел только до конца шестнадцатого века.

Цезарь Борджиа. Вот как? И вы ничего не слышали о Завещании?

Ученый. Уверяю вас, нет.

Цезарь Борджиа. Странно. Почему же вы просили у хозяина отвести вам как раз эту комнату?

Ученый. Потому, что здесь жил мой друг Ганс-Христиан Андерсен.

Цезарь Борджиа. Только поэтому?

Ученый. Даю вам слово, что это так. А какое отношение имеет моя комната к завещанию покойного короля?

Цезарь Борджиа. О, очень большое. До свидания. Позвольте проводить вас, блистательная Юлия.

Ученый. Разрешите спросить, что именно было написано в этом таинственном завещании?

Цезарь Борджиа. О нет, я не скажу. Я сам заинтересован в нем. Я хочу власти, почета, и мне ужасно не хватает денег. Ведь я, Цезарь Борджиа, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. Нравится вам моя откровенность?

Юлия. Идемте! Идемте же! Вы тут всем понравились. Он никогда не уходит сразу. *(Ученому.)* Мы еще увидимся с вами.

Ученый. Я буду очень рад.

Цезарь Борджиа. Не радуйтесь прежде времени.

Цезарь Борджиа и Юлия Джули уходят.

Ученый. Аннунциата, сколько оценщиков в вашем городском ломбарде?

Аннунциата. Много.

Ученый. И все они бывшие людоеды?

Аннунциата. Почти все.

Ученый. Что с вами? Почему вы такая грустная?

Аннунциата. Ах, ведь я просила вас быть осторожным! Говорят, что эта певица Юлия Джули и есть та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки.

Ученый. Но ведь та девочка, насколько я помню, была наказана за это.

Аннунциата. Да, она провалилась сквозь землю, но потом выкарабкалась обратно и с тех пор опять наступает и наступает на хороших людей, на лучших подруг, даже на самое себя — и все это для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки и платьица. Сейчас я принесу вам другой стакан молока.

Ученый. Погодите! Я не хочу пить, мне хочется поговорить с вами.

А н н у н ц и а т а. Спасибо вам за это.

У ч е н ы й. Скажите, пожалуйста, какое завещание оставил ваш покойный король Людовик IX Мечтательный?

А н н у н ц и а т а. О, это тайна, страшная тайна! Завещание было запечатано в семи конвертах семью сургучными печатями и скреплено подписями семи тайных советников. Вскрывала и читала завещание Принцесса в полном одиночестве. У окон и дверей стояла стража, заткнув уши на всякий случай, хотя Принцесса читала завещание про себя. Что сказано в этом таинственном документе, знает только Принцесса и весь город.

У ч е н ы й. Весь город?

А н н у н ц и а т а. Да.

У ч е н ы й. Каким же это образом?

А н н у н ц и а т а. Никто не может объяснить этого. Уж, кажется, все предосторожности были соблюдены. Это просто чудо. Завещание знают все. Даже уличные мальчишки.

У ч е н ы й. Что же в нем сказано?

А н н у н ц и а т а. Ах, не спрашивайте меня.

У ч е н ы й. Почему?

А н н у н ц и а т а. Я очень боюсь, что завещание это — начало новой сказки, которая кончится печально.

У ч е н ы й. Аннунциата, ведь я приезжий. Завещание вашего короля меня никак не касается. Расскажите. А то получается нехорошо: я ученый, историк — и вдруг не знаю того, что известно каждому уличному мальчишке! Расскажите, пожалуйста.

А н н у н ц и а т а *(вздыхая)*. Ладно, расскажу. Когда хороший человек меня просит, я не могу ему отказать. Наша кухарка говорит, что это доведет меня до большой беды Но пусть беда эта падет на мою голову, а не на вашу. Итак... Вы не слушаете меня?

У ч е н ы й. Что вы!

А н н у н ц и а т а. А почему вы смотрите на балкон противоположного дома?

У ч е н ы й. Нет, нет... Вот видите, я уселся поудобнее, закурил трубку и глаз не свожу с вашего лица.

А н н у н ц и а т а. Спасибо. Итак, пять лет назад умер наш король Людовик IX Мечтательный. Уличные мальчишки называли его не мечтательным, а дурачком, но это неверно. Покойный, правда, часто показы-

вал им язык, высунувшись в форточку, но ребята сами были виноваты. Зачем они дразнили его? Покойный был умный человек, но такая уж должность королевская, что характер от нее портится. В самом начале его царствования Первый министр, которому государь верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру короля. Король казнил первого министра. Второй Первый министр не был отравителем, но он так лгал королю, что тот перестал верить всем, даже самому себе. Третий Первый министр не был лжецом, но он был ужасно хитер. Он плел, и плел, и плел тончайшие паутины вокруг самых простых дел. Король во время его последнего доклада хотел сказать "утверждаю" и вдруг зажужжал тоненько, как муха, попавшая в паутину. И министр слетел по требованию королевского лейб-медика. Четвертый Первый министр не был хитер. Он был прям и прост. Он украл у короля золотую табакерку и бежал. И государь махнул рукой на дела управления. Первые министры с тех пор стали сами сменять друг друга, а государь занялся театром. Но, говорят, что это еще хуже, чем управлять государством. После года работы в театре король стал цепенеть.

Ученый. Как цепенеть?

Аннунциата. А очень просто. Идет — и вдруг застынет, подняв одну ногу. И лицо его при этом выражает отчаяние. Лейб-медик объяснял это тем, что король неизлечимо запутался, пытаясь понять отношения работников театра друг к другу. Ведь их так много!

Ученый. Лейб-медик был прав.

Аннунциата. Он предлагал простое лекарство, которое несомненно вылечило бы бедного короля. Он предлагал казнить половину труппы, но король не согласился.

Ученый. Почему?

Аннунциата. Он никак не мог решить, какая именно половина труппы заслуживает казни. И наконец король махнул рукой на все и стал увлекаться плохими женщинами, и только они не обманули его.

Ученый. Неужели?

Аннунциата. Да, да! Уж они-то оказались воистину плохими женщинами. То есть в точности такими, как о них говорили. И это очень утешило короля, но вконец расстроило его здоровье. И у него отнялись ноги. И с тех пор его стали возить в кресле по дворцу, а он все молчал и думал, думал, думал. О чем он думал, он не говорил никому. Изредка государь

приказывал подвезти себя к окну и, открывши форточку, показывал язык уличным мальчишкам, которые прыгали и кричали: “Дурачок, дурачок, дурачок!” А потом король составил завещание. А потом умер.

Ученый. Наконец-то мы подошли к самой сути дела.

Аннунциата. Когда король умер, его единственной дочери, принцессе, было тринадцать лет. “Дорогая, — писал он ей в завещании, — я прожил свою жизнь плохо, ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь — ты отравлена дворцовым воздухом. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца. Я знаю наперечет всех принцев мира. Все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Когда тебе исполнится восемнадцать лет, поселись где-нибудь в городе и ищи, ищи, ищи. Найди себе доброго, честного, образованного и умного мужа. Пусть это будет незнатный человек. А вдруг ему удастся сделать то, что не удавалось ни одному из знатнейших? Вдруг он сумеет управлять, и хорошо управлять? А? Вот будет здорово! Так постарайся, пожалуйста. Папа”.

Ученый. Так он и написал?

Аннунциата. В точности. На кухне столько раз повторяли завещание, что я запомнила его слово в слово.

Ученый. И Принцесса теперь живет в городе?

Аннунциата. Да. Но ее не так просто найти.

Ученый. Почему?

Аннунциата. Масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются Принцессами.

Ученый. А разве вы не знаете свою принцессу в лицо?

Аннунциата. Нет. Прочтя завещание, Принцесса стала носить маску, чтобы ее не узнали, когда она отправится, искать мужа.

Ученый. Скажите, она... *(Замолкает.)*

На балкон противоположного дома выходит девушка с белокурыми волосами, в темном и скромном наряде.

А скажите, она... О чем это я вас хотел спросить?.. Впрочем... нет, ни о чем.

Аннунциата. Вы опять не смотрите на меня?

Учены . Как не смотрю?.. А куда же я смотрю?

Аннунциата. Вон туда... Ах! Разрешите, я закрою дверь на балкон.

Ученый. Зачем же? Не надо! Ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно.

Аннунциата. После заката солнца следует закрывать окна и две-

ри. Иначе можно заболеть малярией. Нет, не в малярии здесь дело! Не надо смотреть туда. Пожалуйста... Вы сердитесь на меня? Не сердитесь... Не смотрите на эту девушку. Позвольте мне закрыть дверь на балкон. Вы ведь все равно что маленький ребенок. Вы вот не любите супа, а без супа что за обед! Вы отдаете белье в стирку без записи. И с таким же добродушным, веселым лицом пойдете вы прямо на смерть. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что говорю; это дерзость, но нельзя же не предупредить вас. Об этой девушке говорят, что она нехорошая женщина... Стойте, стойте... Это, по-моему, не так страшно... Я боюсь, что тут дело похуже.

Ученый. Вы думаете?

Аннунциата. Да. А вдруг эта девушка Принцесса? Тогда что? Что вы будете делать тогда?

Ученый. Конечно, конечно.

Аннунциата. Вы не слышали, что я вам сказала?

Ученый. Вот как!

Аннунциата. Ведь если она действительно Принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке.

Ученый. Да, да, конечно.

Аннунциата. Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка, сударь.

Ученый. Не правда ли?

Аннунциата идет к выходной двери. Ученый — к двери, ведущей на балкон. Аннунциата оглядывается. Останавливается.

Аннунциата. До свидания, сударь. *(Тихо, с неожиданной энергией.)* Никому не позволю тебя обижать. Ни за что. Никогда. *(Уходит.)*

Ученый смотрит на девушку, стоящую на противоположном балконе, она глядит вниз, на улицу. Ученый начинает говорить тихо, потом все громче. К концу его монолога девушка смотрит на него не отрываясь.

Ученый. Конечно, мир устроен разумнее, чем кажется. Еще немножко — дня два-три работы — и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. Все будут счастливы, да не так, как я. Я только здесь, вечерами, когда вы стоите на балконе, стал понимать, что могу быть счастлив, как ни один человек. Я знаю вас, вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимаю

хорошую погоду, луну, дорожку в горах. Ведь это так просто. Я не могу точно сказать, о чем вы думаете, но зато знаю точно, что мысли ваши обрадовали бы меня, как ваше лицо, ваши косы и ресницы. Спасибо вам за все: за то, что вы выбрали себе этот дом, за то, что родились и живете тогда же, когда живу я. Что бы я стал делать, если бы вдруг не встретил вас! Страшно подумать!

Девушка. Вы говорите это наизусть?

Ученый. Я... я...

Девушка. Продолжайте.

Ученый. Вы заговорили со мной!

Девушка. Вы сами сочинили все это или заказали кому-нибудь?

Ученый. Простите, но голос ваш так поразил меня, что я ничего не понимаю.

Девушка. Вы довольно ловко увиливаете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть, и нет. Ну хорошо, оставим это. Мне скучно сегодня. Как это у вас хватает терпения целый день сидеть в одной комнате? Это кабинет?

Ученый. Простите?

Девушка. Это кабинет, или гардеробная, или гостиная, или одна из зал?

Ученый. Это просто моя комната. Моя единственная комната.

Девушка. Вы нищий?

Ученый. Нет, я ученый.

Девушка. Ну пусть. У вас очень странное лицо.

Ученый. Чем же?

Девушка. Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете.

Ученый. Я и в самом деле не лгу.

Девушка. Все люди — лжецы.

Ученый. Неправда.

Девушка. Нет, правда. Может быть, вам и не лгут — у вас всего одна комната, — а мне вечно лгут. Мне жалко себя.

Ученый. Да что вы говорите? Вас обижают? Кто?

Девушка. Вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам.

Ученый. Вы так несчастны?

Девушка. Не знаю. Да.

Ученый. Почему?

Девушка. Так. Все люди — негодяи.

Ученый. Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут: кого жалеть, — ведь все люди негодяи!

Девушка. Так, значит, не все?

Ученый. Нет.

Девушка. Хорошо, если бы это было так. Я ужасно боюсь превратиться в лягушку.

Ученый. Как в лягушку?

Девушка. Вы слышали сказку про царевну-лягушку? Ее неверно рассказывают. На самом деле все было иначе. Я это знаю точно. Царевна-лягушка — моя тетя.

Ученый. Тетя?

Девушка. Да. Двоюродная. Рассказывают, что царевну-лягушку поцеловал человек, который полюбил ее, несмотря на безобразную наружность. И лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину. Так?

Ученый. Да, насколько я помню.

Девушка. А на самом деле тетя моя была прекрасная девушка, и она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку. Нам, родственникам, это было очень неприятно. Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить. Только тетя моя не сумела скрыть своего превращения. Она была крайне несдержанна. Это ужасно. Не правда ли?

Ученый. Да, это очень грустно.

Девушка. Вот видите! А вдруг и мне суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы наверное знаете, что не все люди негодяи?

Ученый. Совершенно точно знаю. Ведь я историк.

Девушка. Вот было бы хорошо! Впрочем, я не верю вам.

Ученый. Почему?

Девушка. Вообще я никому и ничему не верю.

Ученый. Нет, не может этого быть. У вас такой здоровый цвет лица,

такие живые глаза. Не верить ничему — да ведь это смерть!

Девушка. Ах, я все понимаю.

Ученый. Все понимать — это тоже смерть.

Девушка. Все на свете одинаково. И те правы, и эти правы, и, в конце концов, мне все безразлично.

Ученый. Все безразлично — да ведь это еще хуже смерти! Вы не можете так думать. Нет! Как вы огорчили меня!

Девушка. Мне все равно... Нет, мне не все равно, оказывается. Теперь вы не будете больше каждый вечер смотреть на меня?

Ученый. Буду. Все не так просто, как кажется. Мне казалось, что ваши мысли гармоничны, как вы... Но вот они передо мной... Они и вовсе не похожи на те, которые я ждал... И все-таки... все-таки я люблю вас...

Девушка. Любите?

Ученый. Я люблю вас...

Девушка. Ну вот... я все понимала, ни во что не верила, мне все было безразлично, а теперь все перепуталось...

Ученый. Я люблю вас...

Девушка. Уйдите... Или нет... Нет, уйдите и закройте дверь... Нет, я уйду... Но... если вы завтра вечером осмелитесь... осмелитесь не прийти сюда на балкон, я... я... прикажу... нет... я просто огорчусь. (*Идет к двери, оборачивается.*) Я даже не знаю, как вас зовут.

Ученый. Меня зовут Христиан-Теодор.

Девушка. До свидания, Христиан-Теодор, милый. Не улыбайтесь! Не думайте, что вы ловко обманули меня. Нет, не огорчайтесь... Я говорю это просто так... Когда вы сказали так вот, вдруг, прямо, что любите меня, мне стало тепло, хотя я вышла на балкон в кисейном платье. Не смейте говорить со мной! Довольно! Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания! Какая я несчастная девушка, сударь. (*Уходит.*)

Ученый. Ну вот... Мне казалось, что еще миг — и я все пойму, а теперь мне кажется, еще миг — и я запутаюсь совсем. Боюсь, что эта девушка действительно Принцесса. "Все люди негодяи, все на свете одинаково, мне все безразлично, я ни во что не верю", — какие явственные признаки злокачественного малокровия, обычного у изнеженных людей, выросших в тепличном воздухе! Ее... Она... Но ведь все-таки ей вдруг стало тепло, когда я признался, что люблю ее! Значит, крови-то у нее в жилах все-таки достаточно? (*Смеется.*) Я уверен, я уверен, что все кончится

прекрасно. Тень, моя добрая, послушная тень! Ты так покорно лежишь у моих ног. Голова твоя глядит в дверь, в которую ушла незнакомая девушка. Взяла бы ты, тень, да пошла туда к ней. Что тебе стоит! Взяла бы да сказала ей: “Все это глупости. Мой господин любит вас, так любит, что все будет прекрасно. Если вы царевна-лягушка, то он оживит вас и превратит в прекрасную женщину”. Словом, ты знаешь, что надо говорить, ведь мы выросли вместе. *(Смеется.)* Иди!

Ученый отходит от двери. Тень ученого вдруг отделяется от него. Вытягивается в полный рост на противоположном балконе. Ныряет в дверь, которую девушка, уходя, оставила полуоткрытой.

Что это?.. У меня какое-то странное чувство в ногах... и во всем теле... Я... я заболел? Я... *(Шатается, падает в кресло, звонит.)*

Вбегает Аннунциата.

Вы, кажется, были правы.

Аннунциата. Это была Принцесса?

Ученый. Нет! Я заболел. *(Закрывает глаза.)*

Аннунциата *(бежит к двери)*. Отец!

Входит Пьетро.

Пьетро. Не ори. Не знаешь, что ли, что отец подслушивает тут под дверью.

Аннунциата. Я не заметила.

Пьетро. Родного отца не замечает... Дожили! Ну? Чего ты мигаешь? Вздумала реветь?

Аннунциата. Он заболел.

Пьетро. Разрешите, сударь, я помогу вам лечь в постель.

Ученый *(встает)*. Нет. Я сам. Не прикасайтесь, пожалуйста, ко мне...

Пьетро. Чего вы боитесь? Я вас не съем!

Ученый. Не знаю. Ведь я так ослабел вдруг. *(Идет к ширмам, за которыми стоит его кровать.)*

Аннунциата *(тихо, с ужасом)*. Смотри!

Пьетро. Что еще?

Аннунциата. У него нет тени.

Пьетро. Да ну? Действительно нет... Проклятый климат! И как его угораздило? Пойдут слухи. Подумают, что это эпидемия...

Ученый скрывается за ширмами.

Никому ни слова. Слышишь ты?

Аннунциата *(у ширмы)*. Он в обмороке.

Пьетро. Тем лучше. Беги за Доктором. Доктор уложит дурака в кровать недели на две, а тем временем у него вырастет новая тень. И никто ничего не узнает.

Аннунциата. Человек без тени — ведь это одна из самых печальных сказок на свете.

Пьетро. Говорят тебе, у него вырастет новая тень! Выкрутится... Беги!

Аннунциата убегает.

Черт... Хорошо еще, что этот газетчик занят с дамой и ничего не пронюхал.

Входит Цезарь Борджиа.

Цезарь Борджиа. Добрый вечер!

Пьетро. Ах, вы тут как тут... Дьявол... Где ваша баба?

Цезарь Борджиа. Ушла на концерт.

Пьетро. К дьяволу все концерты!

Цезарь Борджиа. Ученый в обмороке?

Пьетро. Да, будь он проклят.

Цезарь Борджиа. Слышали?

Пьетро. Что именно?

Цезарь Борджиа. Его разговор с Принцессой.

Пьетро. Да.

Цезарь Борджиа. Короткий ответ. Что же вы не проклинаете все и вся, не палите из пистолета, не кричите?

Пьетро. В серьезных делах я тих.

Цезарь Борджиа. Похоже на то, что это настоящая Принцесса.

Пьетро. Да. Это она.

Цезарь Борджиа. Я вижу, вам хочется, чтобы он женился на Принцессе.

Пьетро. Мне? Я съем его при первой возможности.

Цезарь Борджиа. Надо будет его съесть. Да, надо, надо. Помоему, сейчас самый подходящий момент. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения.

Пьетро. Тень.

Цезарь Борджиа. Что тень?

Пьетро. Надо будет найти его тень.

Цезарь Борджиа. Зачем же?

Пьетро. Она поможет нам. Она не простит ему никогда в жизни, что когда-то была его тенью.

Цезарь Борджиа. Да, она поможет нам съесть его.

Пьетро. Тень — полная противоположность Ученому.

Цезарь Борджиа. Но... Но ведь тогда она может оказаться сильнее, чем следует.

Пьетро. Пусть. Тень не забудет, что мы помогли ей выйти в люди. И мы съедим его.

Цезарь Борджиа. Да, надо будет съесть его. Надо, надо!

Пьетро. Тише!

Вбегает Аннунциата.

Аннунциата. Уходите отсюда! Что вам тут нужно?

Пьетро. Дочь! (*Достает пистолет.*) А впрочем, идемте ко мне. Там поговорим. Доктор идет?

Аннунциата. Да, бежит бегом. Он говорит, что это серьезный случай.

Пьетро. Ладно.

Уходит вместе с Цезарем Борджиа.

Аннунциата (*заглядывая за ширму*). Так я и знала! Лицо спокойное, доброе, как будто он видит во сне, что гуляет в лесу под деревьями. Нет, не простят ему, что он такой хороший человек! Что-то будет, что-то будет!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Парк. Усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. В глубине павильон. Мажордом и помощник его возятся на авансцене.

Мажордом. Стол ставь сюда. А сюда кресла. Поставь на стол шахматы. Вот. Теперь все готово для заседания.

Помощник. А скажите, господин мажордом, почему господа министры заседают тут, в парке, а не во дворце?

Мажордом. Потому, что во дворце есть стены. Понял?

Помощник. Никак нет.

Мажордом. А у стен есть уши. Понял?

Помощник. Да, теперь понял.

Мажордом. То-то. Положи подушки на это кресло.

Помощник. Это для господина Первого министра?

Мажордом. Нет, для господина Министра финансов. Он тяжело болен.

Помощник. А что с ним?

Мажордом. Он самый богатый делец в стране. Соперники страшно ненавидят его. И вот один из них в прошлом году пошел на преступление. Он решился отравить господина Министра финансов.

Помощник. Какой ужас!

Мажордом. Не огорчайся прежде времени. Господин Министр финансов вовремя узнал об этом и скупил все яды, какие есть в стране.

Помощник. Какое счастье!

Мажордом. Не радуйся прежде времени. Тогда преступник пришел к господину Министру финансов и дал необычайно высокую цену за яды. И господин Министр поступил вполне естественно. Министр ведь реальный политик. Он подсчитал прибыль и продал негодяю весь запас своих зелий. И негодяй отравил Министра. Вся семья его превосходитель-

ства изволила скончаться в страшных мучениях. И сам он с тех пор еле жив, но заработал он на этом двести процентов чистых. Дело есть дело. Понял?

Помощник. Да, теперь понял.

Мажордом. Ну, то-то. Итак, все готово? Кресла. Шахматы. Сегодня тут состоится особенно важное совещание.

Помощник. Почему вы думаете?

Мажордом. Во-первых, встретятся всего два главных министра — Первый и Финансов, а во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными.

Помощник. А вдруг любопытные подслушают то, что говорят господа министры?

Мажордом. Любопытные ничего не узнают.

Помощник. Почему?

Мажордом. Потому, что господа министры понимают друг друга с полуслова. Много ты поймешь из полуслов! *(Внезапно склоняется в низком поклоне.)* Они идут. Я так давно служу при дворе, что моя поясница сгибается сама собой при приближении высокие особ. Я их еще не вижу и не слышу, а уже кланяюсь. Поэтому-то я и главный. Понял? Кланяйся же!.. Ниже.

Мажордом сгибается до земли. Помощник за ним. С двух сторон сцены, справа и слева, одновременно выходят два министра — Первый министр и Министр финансов. Первый — небольшого роста, человек с брюшком, плешью, румяный, ему за пятьдесят. Министр финансов — иссохший, длинный, с ужасом озирающийся, хромает на обе ноги. Его ведут под руки два рослых лакея. Министры одновременно подходят к столу, одновременно садятся и сразу принимаются играть в шахматы. Лакеи, приведшие Министра финансов, усадив его, бесшумно удаляются. Мажордом и его помощник остаются на сцене. Стоят навытяжку.

Первый министр. Здоровье?

Министр финансов. Отвра.

Первый министр. Дела?

Министр финансов. Очень пло.

Первый министр. Почему?

Министр финансов. Конкуре.

Играют молча в шахматы.

Мажордом *(шепотом)*. Видишь, я говорил тебе, что они понимают друг друга с полуслова.

Первый министр. Слыхали о Принцессе?

Министр финансов. Да. Мне докла.

Первый министр. Этот приезжий Ученый похитил ее сердце.

Министр финансов. Похитил?! Подождите... Лакей! Нет, не вы... Мой лакей!

Входит один из лакеев, приведших министра.

Лакей! Вы все двери заперли, когда мы уходили?

Лакей. Все, ваше превосходительство.

Министр финансов. И железную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И медную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И чугунную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И капканы расставили? Помните, вы отвечаете жизнью за самую ничтожную пропажу.

Лакей. Помню, ваше превосходительство.

Министр финансов. Ступайте...

Лакей уходит.

Я слушаю.

Первый министр. По сведениям дежурных тайных советников, Принцесса третьего дня долго глядела в зеркало, потом заплакала и сказала *(достает записную книжку, читает)*: "Ах, почему я пропадаю напрасно?" — и в пятый раз послала спросить о здоровье Ученого. Узнав, что особых изменений не произошло, Принцесса топнула ногой и прошептала *(читает)*: "Черт побери!" А сегодня она ему назначила свидание в парке. Вот. Как вам это нра?

Министр финансов. Совсем мне это не нра! Кто он, этот Ученый?

Первый министр. Ах, он изучен мною до тонкости.

Министр финансов. Шантажист?

Первый министр. Хуже...

Министр финансов. Вор?

Первый министр. Еще хуже.

Министр финансов. Авантюрист, хитрец. Ловкач?

Первый министр. О, если бы...

Министр финансов. Так что же он, наконец?

Первый министр. Простой, наивный человек.

Министр финансов. Шах королю.

Первый министр. Рокируюсь...

Министр финансов. Шах королеве.

Первый министр. Бедная Принцесса! Шантажиста мы разоблачили бы, вора поймали бы, ловкача и хитреца перехитрили бы, а этот... Поступки простых и честных людей иногда так загадочны!

Министр финансов. Надо его или ку, или у.

Первый министр. Да, другого выхода нет.

Министр финансов. В городе обо всем этом уже проню?

Первый министр. Еще бы не проню!

Министр финансов. Так и знал. Вот отчего благоразумные люди переводят золото за границу в таком количестве. Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. И теперь он все время ездит за границу и обратно. На родине ему теперь нечем пережевывать пищу.

Первый министр. По-моему, ваш банкир проявил излишнюю нервность.

Министр финансов. Это чуткость! Нет на свете более чувствительного организма, чем деловые круги. Одно завещание короля вызвало семь банкротств, семь самоубийств, и все ценности упали на семь пунктов. А сейчас... О, что будет сейчас! Никаких перемен, господин Первый министр! Жизнь должна идти ровно, как часы.

Первый министр. Кстати, который час?

Министр финансов. Мои золотые часы переправлены за границу. А если я буду носить серебряные, то пойдут слухи, что я разорился, и это вызовет панику в деловых кругах.

Первый министр. Неужели в нашей стране совсем не осталось золота?

Министр финансов. Его больше, чем нужно.

Первый министр. Откуда?

Министр финансов. Из-за границы. Заграничные деловые круги волнуются по своим заграничным причинам и переводят золото к нам.

Так мы и живем. Подведем итог. Следовательно, ученого мы купим.

Первый министр. Или убьем.

Министр финансов. Каким образом мы это сделаем?

Первый министр. Самым деликатным! Ведь в дело замешано такое чувство, как любовь! Я намерен расправиться с Ученым при помощи дружбы.

Министр финансов. Дружбы?

Первый министр. Да. Для этого необходимо найти человека, с которым дружен наш Ученый. Друг знает, что он любит, чем его можно купить. Друг знает, что он ненавидит, что для него чистая смерть. Я приказал в канцелярии добыть друга.

Министр финансов. Это ужасно.

Первый министр. Почему?

Министр финансов. Ведь Ученый — приезжий, следовательно, друга ему придется выписывать из-за границы. А по какой графе я проведу этот расход? Каждое нарушение сметы вызывает у моего главного бухгалтера горькие слезы. Он будет рыдать как ребенок, а потом впадет в бредовое состояние. На некоторое время он прекратит выдачу денег вообще. Всем. Даже мне. Даже вам.

Первый министр. Да ну? Это неприятно. Ведь судьба всего королевства поставлена на карту. Как же быть?

Министр финансов. Не знаю.

Первый министр. А кто же знает?

Помощник *(выступая вперед)*. Я.

Министр финансов *(вскакивая)*. Что это? Начинается?

Первый министр. Успокойтесь, пожалуйста. Если это и начнется когда-нибудь, то не с дворцовых лакеев.

Министр финансов. Так это не бунт?

Первый министр. Нет. Это просто дерзость. Кто вы?

Помощник. Я тот, кого вы ищете. Я друг Ученого, ближайший друг его. Мы не расставались с колыбели до последних дней.

Первый министр. Послушайте, любезный друг, вы знаете, с кем вы говорите?

Помощник. Да.

Первый министр. Почему же вы не называете меня "ваше пре-

восходительство"?

Помощник *(с глубоким поклоном)*. Простите, ваше превосходительство.

Первый министр. Вы приезжий?

Помощник. Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство.

Первый министр. И тем не менее вы друг приезжего ученого?

Помощник. Я как раз тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю его как никто, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство.

Первый министр. Странно.

Помощник. Если вам угодно, я скажу, кто я, ваше превосходительство.

Первый министр. Говорите. Чего вы озираетесь?

Помощник. Разрешите мне написать на песке, кто я, ваше превосходительство.

Первый министр. Пишите.

Помощник чертит что-то на песке. Министры читают и переглядываются.

Что вы ска?

Министр финансов *(Подходя)*. Но будьте осторо! А то он заломит це.

Первый министр. Так. Кто устроил вас на службу во дворец?

Помощник. Господин Цезарь Борджиа и господин Пьетро, ваше превосходительство.

Первый министр *(Министру финансов)*. Вам знакомы эти имена?

Министр финансов. Да, вполне надежные людоеды.

Первый министр. Хорошо, любезный, мы подумаем.

Помощник. Осмелюсь напомнить вам, что мы на юге, ваше превосходительство.

Первый министр. Ну так что?

Помощник. На юге все так быстро растет, ваше превосходительство. Ученый и Принцесса заговорили друг с другом всего две недели назад и не виделись с тех пор ни разу, а смотрите, как выросла их любовь, ваше превосходительство. Как бы нам не опоздать, ваше превосходительство!

Первый министр. Я ведь сказал вам, что мы подумаем. Станьте в сторону.

Министры задумываются.

Подойдите сюда, любезный.

Помощник выполняет приказ.

Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию Первого министра.

Помощник. Спасибо, ваше превосходительство. По-моему, с Ученым надо действовать так...

Первый министр. Что с вами, любезный? Вы собираетесь действовать, пока вас еще не оформили? Да вы сошли с ума! Вы не знаете, что ли, что такое канцелярия?

Помощник. Простите, ваше превосходительство.

Взрыв хохота за кулисами.

Первый министр. Сюда идут курортники. Они помешают нам. Пройдемте в канцелярию, и там я оформлю ваше назначение. После этого мы, так и быть, выслушаем вас.

Помощник. Спасибо, ваше превосходительство.

Министр финансов. Лакеи!

Появляются лакеи.

Уведите меня.

Уходят. Распахиваются двери павильона, и оттуда появляется доктор — молодой человек, в высшей степени угрюмый и сосредоточенный. Его окружают курортники, легко, но роскошно одетые.

1-я курортница. Доктор, а отчего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость?

Доктор. Под которой коленкой?

1-я курортница. Под правой.

Доктор. Пройдет.

2-я курортница. А почему у меня за едой, между восьмым и девятым блюдом, появляются меланхолические мысли?

Доктор. Какие, например?

2-я курортница. Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту.

Доктор. Пройдет.

1-й курортник. Доктор, а почему после сороковой ванны мне вдруг перестали нравиться шатенки?

Доктор. А кто вам нравится теперь?

1-й курортник. Одна блондинка.

Доктор. Пройдет. Господа, позвольте вам напомнить, что целебный час кончился. Сестра милосердия. Вы свободны. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям.

Сестра развлечения. Кому дать мячик? Кому скакалку? Обручи, обручи, господа! Кто хочет играть в пятнашки? В палочку-выручалочку? В кошки-мышки? Время идет. Господа, ликуйте, господа, играйте!

Курортники расходятся, играя Входят Ученый и Аннунциата.

Аннунциата. Доктор, он сейчас купил целый лоток леденцов.

Ученый. Но ведь я раздал леденцы уличным мальчишкам.

Аннунциата. Все равно! Разве больному можно покупать сладости?

Доктор *(ученому)*. Станьте против солнца. Так. Тень ваша выросла до нормальных размеров. Этого и следовало ожидать — на юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете?

Ученый. Я чувствую, что совершенно здоров.

Доктор. Все-таки я выслушаю вас. Нет, не надо снимать сюртук, у меня очень чуткие уши. *(Берет со стола в павильоне стетоскоп.)* Так. Вздохните. Вздохните глубоко. Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Еще раз. Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Еще раз. Пожмите плечами. Так. *(Садится и задумывается.)*

Ученый достает из бокового кармана сюртука пачку писем. Роется в них.

Аннунциата. Ну, что вы скажете, Доктор ? Как идут его дела?

Доктор. Плохо.

Аннунциата. Ну вот видите, а он говорит, что совершенно здоров.

Доктор. Да, он здоров. Но дела его идут плохо. И пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами.

Аннунциата. Как же быть, Доктор? Как его научить всему этому?

Доктор молча пожимает плечами.

Ответьте мне, Доктор. Ну, пожалуйста. Ведь я все равно не отстану, вы знаете, какая я упрямая. Что ему надо делать?

Доктор. Беречься!

Аннунциата. А он улыбается.

Доктор. Да, это бывает.

Аннунциата. Он ученый, он умный, он старше меня, но иногда мне хочется его просто отшлепать. Ну поговорите же с ним!

Доктор машет рукой.

Доктор!

Доктор. Вы же видите, он не слушает меня. Он уткнулся носом в какие-то записки.

Аннунциата. Это письма от Принцессы. Сударь! Доктор хочет поговорить с вами, а вы не слушаете.

Ученый. Как не слушаю! Я все слышал.

Аннунциата. И что вы скажете на это?

Ученый. Скажу, скажу...

Аннунциата. Сударь!

Ученый. Сейчас! Я не могу найти тут... *(Бормочет.)* Как написала она — “всегда с вами” или “навсегда с вами”?

Аннунциата *(жалобно)*. Я застрелю вас!

Ученый. Да, да, пожалуйста.

Доктор. Христиан-Теодор! Ведь вы ученый... Выслушайте же меня наконец. Я все-таки ваш товарищ.

Ученый *(пряча письма)*. Да, да. Простите меня.

Доктор. В народных преданиях о человеке, который потерял тень, в монографиях Шамиссо и вашего друга Ганса-Христиана Андерсена говорится, что...

Ученый. Не будем вспоминать о том, что там говорится. У меня все кончится иначе.

Доктор. Ответьте мне как врачу — вы собираетесь жениться на Принцессе?

Ученый. Конечно.

Доктор. А я слышал, что вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми.

Ученый. И это верно.

Доктор. И то и другое не может быть верно.

Ученый. Почему?

Доктор. Женившись на Принцессе, вы станете королем.

Ученый. В том-то и сила, что я не буду королем! Принцесса любит меня, и она уедет со мной. А корону мы отвергнем — видите, как хорошо! И я объясню всякому, кто спросит, и втолкую самым нелюбопытным: королевская власть бессмысленна и ничтожна. Поэтому-то я и отказался от престола.

Доктор. И люди поймут вас?

Ученый. Конечно! Ведь я докажу им это живым примером.

Доктор молча машет рукой.

Человеку можно объяснить все. Ведь азбуку он понимает, а это еще проще, чем азбука, и, главное, так близко касается его самого!

Через сцену, играя, пробегают курортники.

Доктор *(указывая на них)*. И эти тоже поймут вас?

Ученый. Конечно! В каждом человеке есть что-то живое. Надо его за живое задеть — и все тут.

Доктор. Ребенок! Я их лучше знаю. Ведь они у меня лечатся.

Ученый. А чем они больны?

Доктор. Сытостью в острой форме.

Ученый. Это опасно?

Доктор. Да, для окружающих.

Ученый. Чем?

Доктор. Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег. И вдруг у него появляется зловещий симптом: особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток.

Ученый. А вы не пробовали объяснить им все?

Доктор. Вот от этого я и хотел вас предостеречь. Горе тому, кто попробует заставить их думать о чем-нибудь, кроме денег. Это их приводит в настоящее бешенство.

Пробегают курортники.

Ученый. Посмотрите, они веселы!

Доктор. Отдыхают!

Быстро входит Юлия Джули.

Юлия *(доктору)*. Вот вы наконец. Вы совсем здоровы?

Доктор. Да, Юлия.

Юлия. Ах, это Доктор.

Доктор. Да, это я, Юлия.

Юлия. Зачем вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Убирайтесь!

Доктор хочет ответить, но уходит в павильон, молча махнув рукой.

Где вы, Христиан-Теодор?

Ученый. Вот я.

Юлия *(подходит к нему)*. Да, это вы. *(Улыбается.)* Как я рада видеть вас! Ну, что вам сказал этот ничтожный Доктор?

Ученый. Он сказал мне, что я здоров. Почему вы называете его ничтожным?

Юлия. Ах, я любила его когда-то, а таких людей я потом ужасно ненавижу.

Ученый. Это была несчастная любовь?

Юлия. Хуже. У этого самого Доктора безобразная и злая жена, которой он смертельно боится. Целовать его можно было только в затылок.

Ученый. Почему?

Юлия. Он все время оборачивался и глядел, не идет ли жена. Но довольно о нем. Я пришла сюда, чтобы... предостеречь вас, Христиан-Теодор. Вам грозит беда.

Ученый. Не может быть. Ведь я так счастлив!

Юлия. И все-таки вам грозит беда.

Аннунциата. Не улыбайтесь, сударыня, умоляю вас. Иначе мы не поймем, серьезно вы говорите или шутите, и, может быть, даже погибнем из-за этого.

Юлия. Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так и этак. Я говорю серьезно, Христиан-Теодор. Вам грозит беда.

Ученый. Какая?

Ю л и я. Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр?

У ч е н ы й. Да.

Ю л и я. Это Министр финансов. Он бывает в нашем кругу из-за меня. Он ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение.

А н н у н ц и а т а. Он? Да он и ходить-то не умеет!

Ю л и я. Его водят прекрасно одетые лакеи. Ведь он так богат. И я сейчас встретила его. И он спросил, куда я иду. Услышав ваше имя, он поморщился, Христиан-Теодор.

А н н у н ц и а т а. Какой ужас!

Ю л и я. В нашем кругу мы все владеем одним искусством — мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я, при моей близорукости, прочла сейчас на лице министра, что против вас что-то затевается, Христиан-Теодор.

У ч е н ы й. Ну и пусть затевается.

Ю л и я. Ах, вы меня испортили за эти две недели. Зачем только я навещала вас! Я превратилась в сентиментальную мещанку. Это так хлопотливо. Аннунциата, уведите его.

У ч е н ы й. Зачем?

Ю л и я. Сейчас сюда придет Министр финансов, и я пущу в ход все свои чары и узнаю, что они затевают. Я даже попробую спасти вас, Христиан-Теодор.

А н н у н ц и а т а. Как мне отблагодарить вас, сударыня?

Ю л и я. Никому ни слова, если вы мне действительно благодарны. Уходите.

А н н у н ц и а т а. Идемте, сударь.

У ч е н ы й. Аннунциата, вы ведь знаете, что я должен здесь встретиться с Принцессой.

Ю л и я. У вас еще час времени. Уходите, если вы любите Принцессу и жалеете меня.

У ч е н ы й. До свидания, бедная Юлия. Как вы озабочены обе! И только я один знаю — все будет прекрасно.

А н н у н ц и а т а. Он идет. Сударыня, умоляю вас...

Ю л и я. Тише! Я же сказала вам, что попробую.

Ученый и Аннунциата уходят. Появляется м и н и с т р ф и н а н с о в, его ведут л а к е и.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Лакеи! Усадите меня возле этой обворо-

жительной женщины. Придайте мне позу, располагающую к легкой, остроумной болтовне.

Лакеи повинуются.

Так, теперь уходите.

Лакеи уходят.

Юлия, я хочу обрадовать вас.

Ю л и я. Вам это легко сделать.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Очаровательница! Цирцея! Афродита! Мы сейчас беседовали о вас в канцелярии Первого министра.

Ю л и я. Шалуны!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Уверяю вас! И мы все сошлись на одном: вы умная, практичная нимфа!

Ю л и я. О, куртизаны!

М и н и с т р ф и н а н с о в. И мы решили, что именно вы поможете нам в одном деле.

Ю л и я. Говорите, в каком. Если оно нетрудное, то я готова для вас на все.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Пустяк! Вы должны будете помочь нам уничтожить приезжего ученого, по имени Теодор-Христиан. Ведь вы знакомы с ним, не так ли? Вы поможете нам?

Юлия не отвечает.

Лакеи!

Появляются л а к е и.

Позу крайнего удивления!

Лакеи повинуются.

Юлия, я крайне удивлен. Почему вы смотрите на меня так, будто не знаете, что мне ответить?

Ю л и я. Я и в самом деле не знаю, что сказать вам. Эти две недели просто губят меня.

М и н и с т р ф и н а н с о . Я не понял.

Ю л и я. Я сама себя не понимаю.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Это отказ?

Ю л и я. Не знаю.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Лакеи!

Вбегают л а к е и.

Позу крайнего возмущения!

Лакеи повинуются.

Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джули! Что это значит? Да уж не влюбились ли вы в нищего мальчишку? Молчать! Встать! Руки по швам! Перед вами не мужчина, а Министр финансов. Ваш отказ показывает, что вы недостаточно уважаете всю нашу государственную систему. Тихо! Молчать! Под суд!

Ю л и я. Подождите!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Не подожду! "Ах, зачем я не лужайка!" Только теперь я понял, что вы этим хотите сказать. Вы намекаете на то, что у фермеров мало земли. А? Что? Да я вас... Да я вам... Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Лакеи! Топнуть ногой!

Лакеи топают ногой.

Да не своей, болваны, а моей!

Лакеи повинуются.

До свидания, бывшая знаменитость!

Ю л и я. Подождите же!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Не подожду!

Ю л и я. Взгляните на меня!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Потрудитесь называть меня "ваше превосходительство"!

Ю л и я. Взгляните на меня, ваше превосходительство.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Ну?

Ю л и я. Неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем Министр финансов?

М и н и с т р ф и н а н с о в *(польщенно)*. Да ну, бросьте!

Ю л и я. Даю вам слово. А разве мужчине можно сразу сказать "да"?

М и н и с т р ф и н а н с о в. Афродита! Уточним, вы согласны?

Ю л и я. Теперь я отвечу — да.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Лакеи! Обнять ее!

Лакеи обнимают Юлию.

Болваны! Я хочу обнять ее. Так. Дорогая Юлия, спасибо. Завтра же приказом по канцелярии я объявлю себя вашим главным покровителем. Ла-

кеи! Усадите меня возле этой Афродиты. Придайте мне позу крайней беззаботности. И вы, Юлия, примите беззаботную позу, но слушайте меня в оба уха. Итак, через некоторое время вы застанете здесь Ученого, оживленно разговаривающего с чиновником особо важных дел. И вы под любым предлогом уведете отсюда Ученого минут на двадцать. Вот и все.

Юлия. И все?

Министр финансов. Видите, как просто! А как раз эти двадцать минут его и погубят окончательно. Пойдемте к ювелиру, я куплю вам кольцо несметной ценности. Идемте. Лакеи! Унесите нас.

Удаляются. Входят помощник и Пьетро с Цезарем Борджиа.

Помощник. Здравствуйте, господа!

Пьетро. Да ведь мы уже виделись сегодня утром.

Помощник. Советую вам забыть, что мы виделись сегодня утром. Я не забуду, что вы в свое время нашли меня, устроили меня во дворец, помогли мне выйти в люди. Но вы, господа, раз и навсегда забудьте, кем я был, и помните, кем я стал.

Цезарь Борджиа. Кто же вы теперь?

Помощник. Я теперь чиновник особо важных дел канцелярии его превосходительства первого министра.

Цезарь Борджиа. Как это удалось вам? Вот это успех! Прямо черт знает что такое! Вечная история!

Помощник. Я добился этого успеха собственными усилиями. Поэтому я вторично напоминаю вам: забудьте о том, кем я был.

Пьетро. Забыть можно. Если не поссоримся, чего там вспоминать!

Цезарь Борджиа. Трудно забыть об этом. Но молчать до поры до времени можно. Вы поняли мой намек?

Помощник. Я понял вас, господа. Мы не поссоримся, пока вы будете молчать о том, кем я был. Теперь слушайте внимательно. Мне поручено дело № 8989. *(Показывает папку.)* Вот оно.

Пьетро *(читает)*. Дело о замужестве Принцессы.

Помощник. Да. Здесь, в этой папке, все: и Принцесса, и он, и вы, и настоящее, и будущее.

Цезарь Борджиа. Кто намечен в женихи этой высокой особе — меня это мало волнует, как и все в этой, как говорится, земной жизни,

но все-таки...

Помощник. В женихи Принцессы намечены вы оба.

Пьетро. Дьявол! Как-так оба?

Цезарь Борджиа. Я и он?

Помощник. Да. Надо же все-таки, чтобы у Принцессы был выбор...

Цезарь Борджиа. Но вы сами должны видеть!

Пьетро. Какого дьявола ей нужно, когда есть я!

Помощник. Тихо! Решение окончательное. Предлагаю я — выбирает Принцесса. Пьетро, уведите домой вашу дочь. Мне нужно говорить с Ученым, а она охраняет его, как целый полк гвардии.

Цезарь Борджиа. Она влюбилась в него. А Пьетро слеп, как полагается отцу!

Пьетро. Дьявол! Я убью их обоих!

Цезарь Борджиа. Давно пора.

Пьетро. Сатана! Вы нарочно искушаете меня! Меня арестуют за убийство, а вы останетесь единственным женихом? Этого вы хотите?

Цезарь Борджиа. Да, хочу. И это вполне естественное желание. До свидания.

Пьетро. Нет уж, вы не уйдете. Я знаю, куда вы собрались.

Цезарь Борджиа. Куда?

Пьетро. Вы хотите так или иначе съесть меня. Не выйдет. Я не отойду от вас ни на шаг.

Помощник. Тише. Он идет сюда. Договоримся так: тот из вас, кто будет королем, заплатит другому хороший выкуп. Назначит, например, пострадавшего первым королевским секретарем или начальником стражи. Смотрите: он идет. Ему весело.

Цезарь Борджиа. А как вы с ним будете говорить?

Помощник. Я с каждым говорю на его языке.

Входят Ученый и Аннунциата.

Ученый. Какой прекрасный день, господа!

Пьетро. Да, ничего себе денек, будь он проклят. Аннунциата, домой!

Аннунциата. Папа...

Пьетро. Домой! Иначе будет плохо тебе и кое-кому другому. Ты даже не сказала кухарке, что сегодня готовить на ужин.

Аннунциата. Мне все равно.

Пьетро. Что вы говорите, чудовище? Господин Цезарь Борджиа, идемте с нами домой, друг, или, клянусь честью, я вас тихонечко прикончу кинжалом.

Уходят. Помощник, державшийся во время предыдущего разговора в стороне, подходит к Ученому.

Помощник. Вы не узнаете меня?

Ученый. Простите, нет.

Помощник. Посмотрите внимательней.

Ученый. Что такое? Я чувствую, что знаю вас, и знаю хорошо, но...

Помощник. А мы столько лет прожили вместе.

Ученый. Да что вы говорите?

Помощник. Уверяю вас. Я следовал за вами неотступно, но вы только изредка бросали на меня небрежный взгляд. А ведь я часто бывал выше вас, подымался до крыш самых высоких домов. Обыкновенно это случалось в лунные ночи.

Ученый. Так, значит, вы...

Помощник. Тише! Да, я ваша тень... Почему вы недоверчиво смотрите на меня? Ведь я всю жизнь со дня вашего рождения был так привязан к вам.

Ученый. Да нет, я просто...

Тень. Вы сердитесь на меня за то, что я покинул вас. Но вы сами просили меня пойти к Принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Ведь мы выросли вместе среди одних и тех же людей. Когда вы говорили "мама", я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали — и я не мог поднять головы от подушки. Вы поправлялись — поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом!

Ученый. Да нет, что вы! Садитесь, старый приятель. Я болел без вас, а теперь вот поправился... Я чувствую себя хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Я счастлив, у меня сегодня душа открыта — вот что я вам скажу, хотя, вы знаете, я не люблю таких слов. Но вы просто тронули меня... Ну а вы, что вы делали это время?.. Или нет, подождите, давайте сначала перейдем на "ты".

Тень *(протягивая ученому руку)*. Спасибо. Я оставался твоей те-

нью, вот что я делал все эти дни.

Ученый. Я не понимаю тебя.

Тень. Ты послал меня к Принцессе. Я сначала устроился помощником главного лакея во дворце, потом поднимался все выше и выше, и с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при Первом министре.

Ученый. Бедняга! Воображаю, как трудно среди этих людей! Но зачем ты это сделал?

Тень. Ради тебя.

Ученый. Ради меня?

Тень. Ты сам не знаешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как полюбил Принцессу, а Принцесса тебя. Все они готовы съесть тебя, и съели бы сегодня же, если бы не я.

Ученый. Что ты!

Тень. Я среди них, чтобы спасти тебя. Они доверяют мне. Они мне поручили дело № 8989.

Ученый. Что же это за дело?

Тень. Это дело о замужестве Принцессы.

Ученый. Не может быть.

Тень. И счастье наше, что это дело находится в верных руках. Меня направил к тебе сам Первый министр. Мне поручено купить тебя.

Ученый. Купить? *(Смеется.)* За сколько?

Тень. Пустяки. Они обещают тебе славу, почет и богатство, если ты откажешься от Принцессы.

Ученый. А если я не продамся?

Тень. Тебя убьют сегодня же.

Ученый. Никогда в жизни не поверю, что я могу умереть, особенно сегодня.

Тень. Христиан, друг мой, брат, они убьют тебя, поверь мне. Разве они знают дорожки, по которым мы бегали в детстве, мельницу, где мы болтали с водяным, лес, где мы встретили дочку учителя и влюбились — ты в нее, а я в ее тень. Они и представить себе не могут, что ты живой человек. Для них ты — препятствие, вроде пня или колоды. Поверь мне, еще и солн-це не зайдет, как ты будешь мертв.

Ученый. Что же ты мне посоветуешь сделать?

Тень *(достает из папки бумагу)*. Подпиши это.

Ученый *(читает)*. “Я, нижеподписавшийся, решительно, беспо-

воротно и окончательно отказываюсь вступить в брак с наследною принцессою королевства, если взамен этого мне обеспечены будут слава, почет и богатство". Ты серьезно предлагаешь мне подписать это?

Т е н ь. Подпиши, если ты не мальчик, если ты настоящий человек.

У ч е н ы й. Да что с тобой?

Т е н ь. Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны — мы трое, а с другой — министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция и армия. В прямом бою нам не победить. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня: эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету, за тобой не будут следить. А в лесу к тебе в карету сядем мы — Принцесса и я. И через несколько часов мы свободны. Пойми ты — свободны. Вот походная чернильница, вот перо. Подпиши.

У ч е н ы й. Ну хорошо. Сейчас сюда придет Принцесса, я посоветуюсь с ней и, если нет другого выхода, подпишу.

Т е н ь. Нельзя ждать! Первый министр дал мне всего двадцать минут сроку. Он не верит, что тебя можно купить, он считает наш разговор простой формальностью. У него уже сидят дежурные убийцы и ждут приказания. Подпиши.

У ч е н ы й. Ужасно не хочется.

Т е н ь. Ты тоже убийца! Отказываясь подписать эту жалкую бумажонку, ты убиваешь меня, лучшего своего друга, и бедную, беспомощную Принцессу. Разве мы переживем твою смерть!

У ч е н ы й. Ну хорошо, хорошо. Давай, я подпишу. Но только... я никогда в жизни больше не буду подходить так близко к дворцам... *(Подписывает бумагу.)*

Т е н ь. А вот и королевская печать. *(Ставит печать.)*

Вбегает Ю л и я. Тень скромно отходит в сторону.

Ю л и я. Христиан! Я погибла.

У ч е н ы й. Что случилось?

Ю л и я. Помогите мне.

У ч е н ы й. Я готов... Но как? Вы не шутите?

Ю л и я. Нет! Разве я улыбаюсь? Это по привычке. Идемте со мной немедленно. Идемте!

У ч е н ы й. Честное слово, я не могу уйти отсюда. Сейчас сюда придет Принцесса.

Ю л и я. Дело идет о жизни и смерти!

У ч е н ы й. Ах, я догадываюсь, в чем дело... Вы узнали у Министра финансов, какая беда мне грозит, и хотите предупредить меня. Спасибо вам, Юлия, но...

Ю л и я. Ах, вы не понимаете... Ну, оставайтесь. Нет! Я не хочу быть добродетельной, сентиментальной мещанкой. Я вовсе не собираюсь предупреждать вас. Дело касается меня! Христиан, простите... Идемте со мной, иначе я погибну. Ну хотите, я стану перед вами на колени? Идемте же!

У ч е н ы й. Хорошо. Я скажу только два слова моему другу. *(Подходит к Тени.)* Слушай, сейчас сюда придет Принцесса.

Т е н ь. Да.

У ч е н ы й. Скажи ей, что я прибегу через несколько минут. Я не могу отказать этой женщине. Произошло какое-то несчастье.

Т е н ь. Иди спокойно. Я все объясню Принцессе.

У ч е н ы й. Спасибо.

Уходят.

Т е н ь. Проклятая привычка! У меня болят руки, ноги, шея. Мне все время хотелось повторять каждое его движение. Это просто опасно... *(Открывает папку.)* Так... Пункт четвертый — выполнен... *(Углубляется в чтение.)*

Входят П р и н ц е с с а и Т а й н ы й с о в е т н и к. Тень выпрямляется во весь рост, смотрит пристально на Принцессу.

П р и н ц е с с а. Тайный советник, где же он? Почему его нет здесь?

Т а й н ы й с о в е т н и к *(шепотом)*. Он сейчас придет, Принцесса, и все будет прекрасно.

П р и н ц е с с а. Нет, это ужасное несчастье! Молчите, вы ничего не понимаете. Вы не влюблены, вам легко говорить, что все идет прекрасно! И кроме того, я Принцесса, я не умею ждать. Что это за музыка?

Тайный советник. Это в ресторане, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Зачем у нас в ресторане всегда играет музыка?

Т а й н ы й с о в е т н и к. Чтобы не слышно было, как жуют, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Оставьте меня в покое... Ну что же это такое? *(Тени.)* Эй, вы, зачем вы смотрите на меня во все глаза?

Т е н ь. Я должен заговорить с вами и не смею, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Кто вы такой?

Т е н ь. Я его лучший друг.

П р и н ц е с с а. Чей?

Т е н ь. Я лучший друг того, кого вы ждете, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Правда? Что же вы молчите?

Т е н ь. Мой ответ покажется вам дерзким, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Ничего, говорите.

Т е н ь. Я молчал потому, что ваша красота поразила меня

П р и н ц е с с . Но это вовсе не дерзость. Он вас послал ко мне?

Т е н ь. Да. Он просил сказать, что сейчас придет, Принцесса. Очень важное дело задержало его. Все благополучно, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Но он скоро придет?

Т е н ь. Да.

П р и н ц е с с а. Ну, вот мне опять стало весело. Вы будете меня занимать до его прихода. Ну?

Тень молчит.

Ну же! Мне неловко напоминать вам об этом, но ведь я Принцесса. Я привыкла, чтобы меня занимали...

Т е н ь. Хорошо, я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны, Принцесса.

П р и н ц е с с а. А ваши сны интересны?

Т е н ь. Я буду рассказывать вам ваши сны, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Мои?

Т е н ь. Да. Третьего дня ночью вам приснилось, что стены дворца вдруг превратились в морские волны. Вы крикнули: “Христиан!” — и он появился в лодке и протянул вам руку...

П р и н ц е с с а. Но ведь я никому не рассказывала этот сон!..

Т е н ь. И вы очутились в лесу... И волк вдруг поднялся в кустах. А Христиан сказал: “Не бойся, это добрый волк” — и погладил его. А вот еще один сон. Вы скакали на коне по полю. Трава на вашем пути становилась все выше и выше и наконец стеной стала вокруг. Вам показалось, что это красиво, удивительно красиво, до того красиво, что вы стали плакать, и проснулись в слезах.

П р и н ц е с с а. Но откуда вы это знаете?

Т е н ь. Любовь творит чудеса, Принцесса.

П р и н ц е с с а. Любовь?

Т е н ь. Да. Ведь я очень несчастный человек, Принцесса. Я люблю вас.

Принцесса. Вот как... Советник!

Тайный советник. Да, Принцесса.

Принцесса. Позовите... Нет, отойдите на пять шагов.

Советник отсчитывает шаги.

Я...

Тень. Вы хотели, чтобы он позвал стражу, Принцесса, и, сами не понимая, как это вышло, приказали ему отойти на пять шагов.

Принцесса. Вы...

Тень. Я люблю вас, Принцесса. И вы сами чувствуете это. Я до того полон вами, что ваша душа понятна мне, как моя собственная. Я рассказал вам только два ваших сна, а ведь я помню их все. Я знаю и страшные ваши сны, и смешные, и такие, которые можно рассказывать только на ухо.

Принцесса. Нет...

Тень. Хотите, я расскажу вам тот сон, который поразил вас? Помните? В том сне с вами был не он, не Христиан, а какой-то совсем другой человек с незнакомым лицом, и вам именно это и нравилось, Принцесса. И вы с ним...

Принцесса. Советник! Позовите стражу.

Тайный советник. Слушаюсь, Принцесса.

Принцесса. Но пусть стража пока стоит там, за кустами. Говорите еще. Я слушаю, потому что... потому что мне просто скучно ждать его.

Тень. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души — я.

Принцесса. Довольно. Я вдруг очнулась! Сейчас стража возьмет вас, и ночью вы будете обезглавлены.

Тень. Прочтите это!

Достает из папки бумагу, которую подписал ученый.
Принцесса читает ее.

Он милый человек, славный человек, но он мелок. Он уговаривал вас бежать с ним, потому что боялся стать королем — ведь это опасно. И он продал вас. Трус!

Принцесса. Я не верю этой бумаге.

Тень. Но тут королевская печать. Я подкупил вашего ничтожного жениха, я взял вас с бою. Прикажите отрубить мне голову.

Принцесса. Вы не даете мне опомниться. Почем я знаю, может быть, вы тоже не любите меня. Какая я несчастная девушка!

Тень. А сны? Вы забыли сны, Принцесса. Как я узнал ваши сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса.

Принцесса. Ах да, верно...

Тень. Прощайте, Принцесса.

Принцесса. Вы... вы уходите?.. Как вы смеете! Подойдите ко мне, дайте мне руку... Это... Все это... так... так интересно... *(Поцелуй.)* Я... я даже не знаю, как вас зовут.

Тень. Теодор-Христиан.

Принцесса. Как хорошо! Это почти... почти то же самое. *(Поцелуй.)*

Вбегает Ученый и останавливается как вкопанный.

Тайный советник. Советую вам уйти отсюда, здесь Принцесса дает аудиенцию одному из своих подданных.

Ученый. Луиза!

Принцесса. Уходите прочь, вы мелкий человек.

Ученый. Что ты говоришь, Луиза?

Принцесса. Вы подписали бумагу, в которой отказываетесь от меня?

Ученый. Да... но...

Принцесса. Достаточно. Вы милый человек, но вы ничтожество! Идем, Теодор-Христиан, дорогой.

Ученый. Негодяй! *(Бросается к Тени.)*

Принцесса. Стража!

Из кустов выбегает стража.

Проводите нас до дворца.

Уходят. Ученый опускается на скамью. Из павильона быстро выходит Доктор.

Доктор. Махните на все это рукой. Сейчас же махните рукой, иначе вы сойдете с ума.

Ученый. А вы знаете, что произошло?

Доктор. Да, у меня чуткие уши. Я все слышал.

Ученый. Каким образом он добился того, что она поцеловала его?

Доктор. Он ее ошеломил. Он рассказал ей все ее сны.

Ученый. Как он узнал ее сны?

Доктор. Да ведь сны и тени в близком родстве. Они, кажется,

двоюродные.

Ученый. Вы все слышали и не вмешались?

Доктор. Что вы! Ведь он чиновник особо важных дел. Вы разве не знаете, какая это страшная сила?.. Я знал человека необычайной храбрости. Он ходил с ножом на медведей, один раз даже пошел на льва с голыми руками, — правда, с этой последней охоты он так и не вернулся. И вот этот человек упал в обморок, толкнув нечаянно тайного советника. Это особый страх. Разве удивительно, что и я боюсь его? Нет, я не вмешался в это дело, и вы махните рукой на все.

Ученый. Не хочу.

Доктор. Ну что вы можете сделать?

Ученый. Я уничтожу его.

Доктор. Нет. Послушайте меня, вы ведь не знаете, и никто на свете не знает, что я сделал великое открытие. Я нашел источник живой углекислой воды. Недалеко. Возле самого дворца. Вода эта излечивает все болезни, какие есть на земле, и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. И что из этого вышло? Министр финансов приказал мне закрыть источник. Если мы вылечим всех больных, кто к нам будет ездить? Я боролся с Министром как бешеный — и вот на меня двинулись чиновники. Им все безразлично. И жизнь, и смерть, и великие открытия. И именно поэтому они победили. И я махнул на все рукой. И мне сразу стало легче жить на свете. И вы махните на все рукой и живите, как я.

Ученый. Чем вы живете? Ради чего?

Доктор. Ах, мало ли... Вот поправился больной. Вот жена уехала на два дня. Вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды.

Ученый. И только?

Доктор. А вы хотите жить для того, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми? Так и дадут вам чиновники жить! Да и сами люди этого терпеть не могут. Махните на них рукой. Смотрите сквозь пальцы на этот безумный, несчастный мир.

Ученый. Не могу.

За сценой барабан и трубы.

Доктор. Он возвращается. *(Торопливо уходит в павильон.)*

Появляется большой отряд стражи с трубачами и барабанщиками. Во главе отряда Тень, в черном фраке и ослепительном белье.

Шествие останавливается посреди сцены.

Т е н ь. Христиан! Я отдам два-три приказания, а потом займусь тобой!

Вбегает, запыхавшись, Первый министр. Бегут бегом лакеи, несут Министра финансов. Появляются под руку Пьетро и Цезарь Борджиа.

П е р в ы й   м и н и с т р. Что все это значит? Ведь мы решили.

Т е н ь. А я перерешил по-своему.

П е р в ы й   м и н и с т р. Но послушайте...

Т е н ь. Нет, вы послушайте, любезный. Вы знаете, с кем вы говорите?

П е р в ы й   м и н и с т р. Да.

Т е н ь. Так почему же вы не называете меня "ваше превосходительство"? Вы еще не были в канцелярии?

П е р в ы й   м и н и с т р. Нет, я обедал, ваше превосходительство.

Т е н ь. Пройдите туда. Дело № 8989 окончено. В конце подшито волеизъявление Принцессы и мой приказ за № 0001. Там приказано именовать меня "ваше превосходительство", пока мы не примем новый, подобающий нам титул.

П е р в ы й   м и н и с т р. Так, значит, все оформлено?

Т е н ь. Да.

П е р в ы й   м и н и с т р. Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство.

Т е н ь. Что вы хмуритесь, Министр финансов?

М и н и с т р   ф и н а н с о в. Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Вы все-таки из компании ученых. Начнутся всякие перемены, а мы этого терпеть не можем.

Т е н ь. Никаких перемен. Как было, так будет. Никаких планов. Никаких мечтаний. Вот вам последние выводы моей науки.

М и н и с т р   ф и н а н с о в. В таком случае поздравляю вас, ваше превосходительство.

Т е н ь. Пьетро! Принцесса выбрала жениха, но это не вы.

П ь е т р о. Черт с ним, ваше превосходительство, заплатите мне только.

Т е н ь. Цезарь Борджиа! И вам не быть королем.

Ц е з а р ь   Б о р д ж и а. Мне останется одно — писать мемуары, ваше превосходительство.

Т е н ь. Не огорчайтесь. Я ценю старых друзей, которые знали меня, когда я был еще простым чиновником особо важных дел. Вы — назначены

королевским секретарем. Вы — начальником королевской стражи.

Пьетро и Цезарь Борджиа кланяются.

Господа, вы свободны.

Все уходят с поклонами. Тень подходит к Ученому.

Видал?

Ученый. Да.

Тень. Что скажешь?

Ученый. Скажу: откажись немедленно от Принцессы и от престола — или я тебя заставлю это сделать.

Тень. Слушай, ничтожный человек. Завтра же я отдам ряд приказов — и ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой. И ты приползешь ко мне и попросишь пощады.

Ученый. Нет.

Тень. Увидим. В двенадцать часов ночи со вторника на среду ты придешь во дворец и пришлешь мне записку: "Сдаюсь, Христиан-Теодор". И я, так и быть, дам тебе место при моей особе. Стража, за мной!

Барабаны и трубы. Тень уходит со свитой.

Ученый. Аннунциата! Аннунциата!

Аннунциата вбегает.

Аннунциата. Я здесь. Сударь! Может быть... может быть, вы послушаетесь Доктора? Может быть, вы махнете на все рукой? Простите... Не сердитесь на меня. Я буду вам помогать. Я пригожусь вам. Я очень верная девушка, сударь.

Ученый. Аннунциата, какая печальная сказка!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь. Горят факелы. Горят плошки на карнизах, колоннах, балконах дворца. Толпа, оживленная и шумная.

Очень длинный человек. А вот кому рассказать, что я вижу? Всего за два грошика. А вот кому рассказать? Ох, интересно!

Маленький человек. Не слушайте его. Слушайте меня, я везде проскочу, я все знаю. А вот кому новости, всего за два грошика? Как они встретились, как познакомились, как первый жених получил отставку.

1-я женщина. А у нас говорят, что первый жених был очень хороший человек!

2-я женщина. Как же! Очень хороший! Отказался от нее за миллион.

1-я женщина. Ну? Да что ты?

2-я женщина. Это все знают! Она ему говорит: "Чудак, ты бы королем бы не меньше бы заработал бы!" А он говорит: "Еще и работать!"

1-я женщина. Таких людей топить надо!

2-я женщина. Еще бы! Королем ему трудно быть. А попробовал бы он по хозяйству!

Длинный человек. А кому рассказать, что я вижу в окне: идет по коридору главный королевский лакей и... ну, кто хочет знать, что дальше? Всего за два грошика.

Маленький человек. А вот кому портрет нового короля? Во весь рост! С короной на голове! С доброю улыбкою на устах! С благоволением в очах!

1-й человек из толпы. Король есть, теперь жить будет гораздо лучше.

2-й человек из толпы. Это почему же?

1-й человек из толпы. Сейчас объясню. Видишь?

2-й человек из толпы. Чего?

1-й человек из толпы. Видишь, кто стоит?

2-й человек из толпы. Никак, начальник стражи?

1-й человек из толпы. Ну да, он, переодетый.

2-й человек из толпы. Ага, вижу. *(Во весь голос.)* Король у нас есть, теперь поживем. *(Тихо.)* Сам-то переоделся, а на ногах военные сапоги со шпорами. *(Громко.)* Ох, как на душе хорошо!

1-й человек из толпы *(во весь голос)*. Да уж, что это за жизнь была без короля! Мы просто истосковались!

Толпа. Да здравствует наш новый король. Теодор Первый! Ура!

Расходятся понемногу, с опаской поглядывая на Пьетро. Он остается один. От стены отделяется фигура человека в плаще.

Пьетро. Ну, что нового, капрал?

Капрал. Ничего, все тихо. Двоих задержали.

Пьетро. За что?

Капрал. Один вместо "да здравствует король" кричал "да здравствует корова".

Пьетро. А второй?

Капрал. Второй — мой сосед.

Пьетро. А он что сделал?

Капрал. Да ничего, собственно. Характер у него поганый. Мою жену прозвал "дыней". Я до него давно добираюсь. А у вас как, господин начальник?

Пьетро. Все тихо. Народ ликует.

Капрал. Разрешите вам заметить, господин начальник. Сапоги.

Пьетро. Что сапоги?

Капрал. Вы опять забыли переменить сапоги. Шпоры так и звенят!

Пьетро. Да ну? Вот оказия!

Капрал. Народ догадывается, кто вы. Видите, как стало пусто вокруг?

Пьетро. Да... А впрочем... Ты свой человек, тебе я могу признаться: я нарочно вышел в сапогах со шпорами.

Капрал. Быть этого не может!

Пьетро. Да, пусть уж лучше узнают меня, а то наслушаешься такого, что потом три ночи не спишь.

Капрал. Да, это бывает.

Пьетро. В сапогах куда спокойнее. Ходишь, позваниваешь шпорами — и слышишь кругом только то, что полагается.

Капрал. Да, уж это так.

П ь е т р о. Им легко там, в канцелярии. Они имеют дело только с бумажками. А мне каково с народом?

К а п р а л. Да, уж народ...

П ь е т р о *(шепотом)*. Знаешь, что я тебе скажу: народ живет сам по себе!

К а п р а л. Да что вы!

П ь е т р о. Можешь мне поверить. Тут государь празднует коронование, предстоит торжественная свадьба высочайших особ, а народ что себе позволяет? Многие парни и девки целуются в двух шагах от дворца, выбрав уголки потемнее. В доме номер восемь жена портного задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, а она как ни в чем не бывало, орет себе! Старый кузнец в доме номер три взял да и помер. Во дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это непорядок!

К а п р а л. В котором номере рожает? Я оштрафую.

П ь е т р о. Не в том дело, капрал. Меня пугает, как это они осмеливаются так вести себя. Что это за упрямство, а, капрал? А вдруг они так же спокойненько, упрямо, все разом... Ты это что?

К а п р а л. Я ничего...

П ь е т р о. Смотри, брат... Ты как стоишь?

Капрал вытягивается.

Я т-т-тебе! Старый черт... Разболтался! Рассуждаешь! Скажите пожалуйста, Жан-Жак Руссо! Который час?

К а п р а л. Без четверти двенадцать, господин начальник.

П ь е т р о. Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь?

К а п р а л. Так точно, господин начальник.

П ь е т р о. Я пойду в канцелярию, отдохну, успокоюсь, почитаю разные бумажки, а ты тут объяви что полагается, не забудь! *(Уходит.)*

Появляется У ч е н ы й.

У ч е н ы й. Мне очень нравится, как горят эти фонарики. Кажется, никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я вижу и все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. И я люблю все фонарики разом и каждый фонарик в отдельности. Я знаю, что к утру вы погаснете, друзья мои, но вы не жалейте об этом. Все-таки вы горели, и горели весело, — этого у вас никто не может отнять.

Ч е л о в е к, з а к у т а н н ы й с г о л о в ы д о н о г. Христиан!

У ч е н ы й. Кто это? Да ведь это Доктор.

Д о к т о р. Вы меня так легко узнали... *(Оглядывается.)* Отойдемте в сторону. Отвернитесь от меня! Нет, это звенит у меня в ушах, а мне показалось, что шпоры. Не сердитесь. Ведь у меня такая большая семья.

У ч е н ы й. Я не сержусь.

Выходят на авансцену.

Д о к т о р. Скажите мне как врачу, вы решили сдаться?

У ч е н ы й. Нет. Я человек добросовестный, я должен пойти и сказать им то, что я знаю.

Д о к т о р. Но ведь это самоубийство.

У ч е н ы й. Возможно.

Д о к т о р. Умоляю вас, сдайтесь.

У ч е н ы й. Не могу.

Д о к т о р. Вам отрубят голову!

У ч е н ы й. Не верю. С одной стороны — живая жизнь, а с другой — Тень. Все мои знания говорят, что Тень может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают! Прощайте!

Д о к т о р. Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе.

У ч е н ы й. Это вы мне и хотели сказать?

Д о к т о р. Нет! Может быть, я сошел с ума, но я не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Тише. Запомните эти слова: “Тень, знай свое место”.

У ч е н ы й. Я не понимаю вас!

Д о к т о р. Все эти дни я рылся в старинных трудах о людях, потерявших тень. В одном исследовании автор, солидный профессор, рекомендует такое средство: хозяин тени должен крикнуть ей: “Тень, знай свое место”, и тогда она опять на время превращается в тень.

У ч е н ы й. Что вы говорите! Да ведь это замечательно! Все увидят, что он тень. Вот! Я ведь вам говорил, что ему придется плохо! Жизнь — против него. Мы...

Д о к т о р. Ни слова обо мне... Прощайте... *(Быстро уходит.)*

У ч е н ы й. Очень хорошо. Я думал погибнуть с честью, но победить — это куда лучше. Они увидят, что он тень, и поймут... Ну, словом, все поймут... Я...

Толпой бегут л ю д и.

У ч е н ы й. Что случилось?

1 - й ч е л о в е к. Сюда идет капрал с трубой.

У ч е н ы й. Зачем?

1 - й ч е л о в е к. Будет что-то объявлять... Вот он. Тише...

К а п р а л. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

У ч е н ы й. Что такое? Я, кажется, испугался!

К а п р а л. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

У ч е н ы й *(громко)*. Я здесь.

К а п р а л. У вас есть письмо к королю?

У ч е н ы й. Вот оно.

К а п р а л. Следуйте за мной!

З а н а в е с

КАРТИНА ВТОРАЯ

Зал королевского дворца. Группами сидят придворные. Негромкие разговоры. Мажордом и помощники разносят угощение на подносах.

1-й придворный *(седой, прекрасное, грустное лицо)*. Прежде мороженое подавали в виде очаровательных барашков, или в виде зайчиков, или котяток. Кровь стыла в жилах, когда приходилось откусывать голову кроткому, невинному созданию.

1-я дама. Ах да, да! У меня тоже стыла кровь в жилах, ведь мороженое такое холодное!

1-й придворный. Теперь подают мороженое в виде прекрасных плодов — это гораздо гуманнее.

1-я дама. Вы правы! Какое у вас доброе сердце. Как поживают ваши милые канарейки?

1-й придворный. Ах, одна из них, по имени Золотая Капелька, простудилась и кашляла так, что я едва сам не заболел от сострадания. Теперь ей лучше. Она даже пробует петь, но я не позволяю ей.

Входит Пьетро.

Пьетро. Здравствуйте! Вы что там едите, господа?

2-й придворный. Мороженое, господин начальник королевской стражи.

Пьетро. Эй! Дай мне порцию. Живее, черт! Побольше клади, дьявол!

2-й придворный. Вы так любите мороженое, господин начальник?

Пьетро. Ненавижу. Но раз дают, надо брать, будь оно проклято.

Мажордом. Булочки с розовым кремом! Кому угодно, господа придворные? *(Тихо лакеям.)* В первую очередь герцогам, потом графам, потом баронам. Герцогам по шесть булочек, графам по четыре, баронам по две, остальным — что останется. Не перепутайте.

Один из лакеев. А по скольку булочек давать новым королевским секретарям?

Мажордом. По шесть с половиной...

Входит Цезарь Борджиа.

Цезарь Борджиа. Здравствуйте, господа. Смотрите на меня. Ну? Что? Как вам нравится мой галстук, господа? Это галстук более чем модный. Он войдет в моду только через две недели.

3-й придворный. Но как вам удалось достать это произведение искусства?

Цезарь Борджиа. О, очень просто. Мой поставщик галстуков — адмирал королевского флота. Он привозит мне галстуки из-за границы и выносит их на берег, запрятав в свою треуголку.

3-й придворный. Как это гениально просто!

Цезарь Борджиа. Я вам, как королевский секретарь, устрою дюжину галстуков. Господа, я хочу порадовать вас. Хотите? Тогда идемте за мной, я покажу вам мои апартаменты. Красное дерево, китайский фарфор. Хотите взглянуть?

Придворные. Конечно! Мы умираем от нетерпения! Как вы любезны, господин королевский секретарь!

Цезарь Борджиа уходит, придворные за ним. Входит Аннунциата, за ней Юлия Джули.

Юлия. Аннунциата! Вы сердитесь на меня? Не отрицайте! Теперь, когда вы дочь сановника, я совершенно ясно читаю на вашем лице — вы сердитесь на меня. Ведь так?

Аннунциата. Ах, право, мне не до этого, сударыня.

Юлия. Вы все думаете о нем? Об Ученом?

Аннунциата. Да.

Юлия. Неужели вы думаете, что он может победить?

Аннунциата. Мне все равно.

Юлия. Вы не правы. Вы девочка еще. Вы не знаете, что настоящий человек — это тот, кто побеждает... Ужасно только, что никогда не узнать наверняка, кто победит в конце концов. Христиан-Теодор такой странный! Вы знаете о нем что-нибудь?

Аннунциата. Ах, это такое несчастье! Мы переехали во дворец, и папа приказал лакеям не выпускать меня. Я даже письма не могу послать господину Ученому. А он думает, наверное, что и я отвернулась от него. Цезарь Борджиа каждый день уничтожает его в газете, папа читает и облизывается, а я читаю и чуть не плачу. Я сейчас в коридоре толкнула этого Цезаря Борджиа и даже не извинилась.

Ю л и я. Он этого не заметил, поверьте мне.

А н н у н ц и а т а. Может быть. Вы знаете что-нибудь о господине Ученом, сударыня?

Ю л и я. Да. Знаю. Мои друзья министры рассказывают мне все. Христиан-Теодор очутился в полном одиночестве. И, несмотря на все это, он ходит и улыбается.

А н н у н ц и а т а. Ужасно!

Ю л и я. Конечно. Кто так ведет себя при таких тяжелых обстоятельствах? Это непонятно. Я устроила свою жизнь так легко, так изящно, а теперь вдруг — почти страдаю. Страдать — ведь это не принято! *(Хохочет громко и кокетливо.)*

А н н у н ц и а т а. Что с вами, сударыня?

Ю л и я. Придворные возвращаются сюда. Господин Министр, вот вы наконец! Я, право, соскучилась без вас. Здравствуйте!

Лакеи вводят М и н и с т р а ф и н а н с о в.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Раз, два, три, четыре... Так. Все бриллианты на месте. Раз, два, три... И жемчуга. И рубины. Здравствуйте, Юлия! Куда же вы?..

Ю л и я. Ах, ваша близость слишком волнует меня... Свет может заметить...

М и н и с т р ф и н а н с о в. Но ведь отношения наши оформлены в приказе...

Ю л и я. Все равно... Я отойду. Это будет гораздо элегантнее. *(Отходит.)*

М и н и с т р ф и н а н с о в. Она настоящая богиня... Лакеи! Посадите меня у стены. Придайте мне позу полного удовлетворения происходящими событиями. Поживее!

Лакеи исполняют приказание.

Прочь!

Лакеи уходят. Первый министр, как бы гуляя, приближается к Министру финансов.

(Улыбаясь, тихо.) Как дела, господин Первый министр?

П е р в ы й м и н и с т р. Все как будто в порядке. *(Улыбается.)*

М и н и с т р ф и н а н с о в. Почему — как будто?

П е р в ы й м и н и с т р. За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побежда-

ем, жизнь вдруг поднимает голову.

Министр финансов. Поднимает голову?.. Вы вызвали королевского палача?

Первый министр. Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят.

Министр финансов *(улыбается)*. А топор и плаха?

Первый министр. Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной, возле статуи купидона, и замаскирована незабудками.

Министр финансов. Что Ученый может сделать?

Первый министр. Ничего. Он одинок и бессилен. Но эти честные, наивные люди иногда поступают так неожиданно!

Министр финансов. Почему его не казнили сразу?

Первый министр. Король против этого. Улыбайтесь! *(Отходит, улыбаясь.)*

Входит Тайный советник.

Тайный советник *(Появляется, сияя)*. Господа придворные, поздравляю вас! Его величество со своею августейшею невестою направляют стопы свои в этот зал. Вот радость-то.

Все встают. Дверь настежь распахивается. Входят под руку Тень и Принцесса.

Тень *(с изящным и величавым мановением руки)*. Садитесь!

Придворные *(хором)*. Не сядем.

Тень. Садитесь!

Придворные. Не смеем.

Тень. Садитесь!

Придворные. Ну, так уж и быть. *(Усаживаются.)*

Тень. Первый министр!

Первый министр. Я здесь, ваше величество!

Тень. Который час?

Первый министр. Без четверти двенадцать, ваше величество!

Тень. Можете идти.

Принцесса. Мы где, в каком зале?

Тень. В малом тронном, Принцесса. Видите?

Принцесса. Я ничего не вижу, кроме тебя. Я не узнаю комнат, в которых выросла, людей, с которыми прожила столько лет. Мне хочется их всех выгнать вон и остаться с тобою.

Тень. Мне тоже.

Принцесса. Ты чем-то озабочен?

Тень. Да. Я обещал простить Христиана, если он сам придет сюда сегодня в полночь, он неудачник, но я много лет был с ним дружен...

Принцесса. Как ты можешь думать о ком-нибудь, кроме меня? Ведь через час наша свадьба.

Тень. Но познакомились мы благодаря Христиану!

Принцесса. Ах, да. Какой ты хороший человек. Теодор! Да, мы простим его. Он неудачник, но ты много лет был с ним дружен.

Тень. Тайный советник!

Тайный советник. Я здесь, ваше величество!

Тень. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить наедине.

Тайный советник. Слушаю-с, ваше величество! Господа придворные! Его величество изволил назначить в этом зале аудиенцию одному из своих подданных. Вот счастливец-то!

Придворные поднимаются и уходят с поклонами.

Принцесса. Ты думаешь, он придет?

Тень. А что же еще ему делать? *(Целует принцессе руку.)* Я позову тебя, как только утешу и успокою его.

Принцесса. Я ухожу, дорогой. Какой ты необыкновенный человек! *(Уходит вслед за придворными.)*

Тень открывает окно. Прислушивается. В комнате рядом бьют часы.

Тень. Полночь. Сейчас он придет.

Далеко-далеко внизу кричит капрал.

Капрал. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Тень. Что такое? Кажется, я испугался...

Капрал. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Голос ученого. Я здесь.

Капрал. У вас есть письмо к королю?

Ученый. Вот оно.

Капрал. Следуйте за мной!

Тень *(захлопывает окно, идет к трону, садится)*. Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время, — способен он на такую гибкость? Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняли мне ни малейшего вреда, — а он мог бы так приспособиться к местности? За две недели я узнал жизнь в тысячу раз

лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду, и подглядывал, и подслушивал, и читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей. И вот теперь я сижу на троне, а он лежит у моих ног.

Распахивается дверь, входит начальник стражи.

Пьетро. Письмо, ваше величество.

Тень. Дай сюда. *(Читает.)* "Я пришел. Христиан-Теодор". Где он?

Пьетро. За дверью, ваше величество.

Тень. Пусть войдет.

Начальник стражи уходит. Появляется Ученый. Останавливается против трона.

Ну, как твои дела, Христиан-Теодор?

Ученый. Мои дела плохи, Теодор-Христиан.

Тень. Чем же они плохи?

Ученый. Я очутился вдруг в полном одиночестве.

Тень. А что же твои друзья?

Ученый. Им наклеветали на меня.

Тень. А где же та девушка, которую ты любил?

Ученый. Она теперь твоя невеста.

Тень. Кто же виноват во всем этом, Христиан-Теодор?

Ученый. Ты в этом виноват, Теодор-Христиан.

Тень. Вот это настоящий разговор человека с тенью. Тайный советник!

Вбегает Тайный советник.

Всех сюда! Поскорей!

Входит Принцесса, садится с Тенью. Придворные входят и становятся полукругом. Среди них Доктор.

Садитесь!

Придворные. Не сядем!

Тень. Садитесь!

Придворные. Не смеем!

Тень. Садитесь!

Придворные. Ну, так уж и быть. *(Усаживаются.)*

Тень. Господа, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье, я взошел на престол. Я назначаю его своею тенью. Поздравьте его, господа придворные!

Придворные встают и кланяются.

Я приравниваю его по рангу и почестям к королевским секретарям.

Мажордом *(громким шепотом)*. Приготовьте ему шесть с половиной булочек!

Тень. Не смущайся, Христиан-Теодор! Если вначале тебе будет трудновато, я дам тебе несколько хороших уроков, вроде тех, что ты получил за эти дни. И ты скоро превратишься в настоящую тень, Христиан-Теодор. Займи свое место у наших ног.

Первый министр. Ваше величество, его назначение еще не оформлено. Разрешите, я прикажу начальнику стражи увести его до завтра.

Тень. Нет! Христиан-Теодор! Займи свое место у наших ног.

Ученый. Да ни за что! Господа! Слушайте так же серьезно, как я говорю! Вот настоящая тень. Моя тень! Тень захватила престол. Слышите?

Первый министр. Так я и знал. Государь!

Тень *(спокойно)*. Первый министр, тише! Говори, неудачник! Я полюбуюсь на последнюю неудачу в твоей жизни.

Ученый. Принцесса, я никогда не отказывался от вас. Он обманул и запутал и вас и меня.

Принцесса. Не буду разговаривать!

Ученый. А ведь вы писали мне, что готовы уйти из дворца и уехать со мной, куда я захочу.

Принцесса. Не буду, не буду, не буду разговаривать!

Ученый. Но я пришел за вами, Принцесса. Дайте мне руку — и бежим. Быть женой Тени — это значит превратиться в безобразную, злую лягушку.

Принцесса. То, что вы говорите, неприятно. Зачем же мне слушать вас?

Ученый. Луиза!

Принцесса. Молчу!

Ученый. Господа!

Тайный советник. Советую вам не слушать его. Настоящие воспитанные люди просто не замечают поступков невоспитанных людей.

Ученый. Господа! Это жестокое существо погубит вас всех. Он у вершины власти, но он пуст. Он уже теперь томится и не знает, что ему делать. И он начнет мучить вас всех от тоски и безделья.

1-й придворный. Мой маленький жаворонок ест у меня из рук. А мой маленький скворец называет меня “папа”.

Ученый. Юлия! Ведь мы так подружились с вами, вы ведь знаете, кто я. Скажите им.

Министр финансов. Юлия, я обожаю вас, но если вы позволите себе лишнее, я вас в порошок сотру.

Ученый. Юлия, скажите же им.

Юлия (*показывает на Ученого*). Тень — это вы!

Ученый. Да неужели же я говорю в пустыне!

Аннунциата. Нет, нет! Отец все время грозил, что убьет вас, поэтому я молчала. Господа, послушайте меня! (*Показывает на Тень.*) Вот тень! Честное слово!

Легкое движение среди придворных.

Я сама видела, как он ушел от господина Ученого. Я не лгу. Весь город знает, что я честная девушка.

Пьетро. Она не может быть свидетельницей!

Ученый. Почему?

Пьетро. Она влюблена в вас.

Ученый. Это правда, Аннунциата?

Аннунциата. Да, простите меня за это. И все-таки послушайте меня, господа.

Ученый. Довольно, Аннунциата. Спасибо. Эй, вы! Не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень! Знай свое место.

Тень встает с трудом, борясь с собой, подходит к Ученому.

Первый министр. Смотрите! Он повторяет все его движения. Караул!

Ученый. Тень! Это просто тень. Ты тень, Теодор-Христиан?

Тень. Да, я тень, Христиан-Теодор! Не верьте! Это ложь! Я прикажу казнить тебя!

Ученый. Не посмеешь, Теодор-Христиан!

Тень (*падает*). Не посмею, Христиан-Теодор!

Первый министр. Довольно! Мне все ясно! Этот Ученый — сумасшедший! И болезнь его заразительна. Государь заболел, но он поправится. Лакеи, унести государя.

Лакеи выполняют приказ. Принцесса бежит за ними.

Стража!

Входит капрал с отрядом солдат.

Взять его!

Ученого окружают.

Доктор!

Из толпы придворных выходит Доктор. Министр показывает на Ученого.

Это помешанный?

Доктор *(машет рукой)*. Я давно говорил ему, что это безумие.

Первый министр. Безумие его заразительно?

Доктор. Да. Я сам едва не заразился этим безумием.

Первый министр. Излечимо оно?

Доктор. Нет.

Первый министр. Значит, надо отрубить ему голову.

Тайный советник. Позвольте, господин Первый министр, ведь я, как церемониймейстер, отвечаю за праздник.

Первый министр. Ну, ну!

Тайный советник. Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую, но маленькую медицинскую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Медицинская операция не омрачит праздника.

Первый министр. Прекрасно сказано.

Тайный советник. Наш уважаемый Доктор, как известно, терапевт, а не хирург. Поэтому в данном случае, чтобы ампутировать больной орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача.

Первый министр. Господин королевский палач!

1-й придворный. Сию минуту. *(Встает. Говорит своей собеседнице, надевая белые перчатки.)* Прошу простить меня. Я скоро вернусь и расскажу вам, как я спас жизнь моим бедным кроликам. *(Первому министру.)* Я готов.

Аннунциата. Дайте же мне проститься с ним! Прощай, Христиан-Теодор!

Ученый. Прощай, Аннунциата!

Аннунциата. Тебе страшно, Христиан-Теодор?

Ученый. Да. Но я не прошу пощады. Я...

Первый министр. Барабаны!

Пьетро. Барабаны!

Барабанщик бьет в барабан.

Первый министр. Шагом марш!

Пьетро. Шагом марш!

Капрал. Шагом марш!

Караул уходит и уводит Ученого. Палач идет следом.

Первый министр. Господа, прошу вас на балкон — посмотреть фейерверк. А здесь тем временем приготовят прохладительные и успокоительные напитки.

Все встают, двигаются к выходу. На сцене остаются Аннунциата и Юлия.

Юлия. Аннунциата, я не могла поступить иначе. Простите.

Аннунциата. Он совершенно здоров — и вдруг должен умереть!

Юлия. Мне это тоже ужасно, ужасно неприятно, поверьте мне. Но какой негодяй этот Доктор! Так предать своего хорошего знакомого!

Аннунциата. А вы?

Юлия. Разве можно сравнивать! Этот ничтожный Доктор ничего не терял. А я так люблю сцену. Вы плачете?

Аннунциата. Нет. Я буду плакать у себя в комнате.

Юлия. Надо учиться выбрасывать из головы все, что заставляет страдать. Легкое движение головой — и все. Вот так. Попробуйте.

Аннунциата. Не хочу.

Юлия. Напрасно. Не отворачивайтесь от меня. Клянусь вам, я готова убить себя, так мне жалко его. Но это между нами.

Аннунциата. Он еще жив?

Юлия. Конечно, конечно! Когда все будет кончено, они ударят в барабаны.

Аннунциата. Я не верю, что ничего нельзя сделать. Умоляю вас, Юлия, давайте остановим все это. Надо идти туда... Скорей!

Юлия. Тише!

Быстро входит Доктор.

Доктор. Вина!

Мажордом. Вина Доктору!

Юлия. Аннунциата, если вы мне дадите слово, что будете молчать, то я попробую помочь вам...

Аннунциата. Никому не скажу! Честное слово! Только скорее!

Юлия. Вовсе не надо спешить. Мое средство может помочь, только когда все будет кончено. Молчите. Слушайте внимательно. *(Подходит к Доктору.)* Доктор!

Доктор. Да, Юлия.

Юлия. А ведь я знаю, о чем вы думаете.

Доктор. О вине.

Юлия. Нет, о воде...

Доктор. Мне не до шуток сейчас, Юлия.

Юлия. Вы знаете, что я не шучу.

Доктор. Дайте мне хоть на миг успокоиться.

Юлия. К сожалению, это невозможно. Сейчас одному нашему общему знакомому... ну, словом, вы понимаете меня.

Доктор. Что я могу сделать?

Юлия. А вода?

Доктор. Какая?

Юлия. Вспомните время, когда мы были так дружны... Однажды светила луна, сияли звезды, и вы рассказали мне, что открыли живую воду, которая излечивает все болезни и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди.

Аннунциата. Доктор, это правда? Есть такая вода?

Доктор. Юлия шутит, как всегда.

Аннунциата. Вы лжете, я вижу. Я сейчас убью вас!

Доктор. Я буду этому очень рад.

Аннунциата. Доктор, вы проснетесь завтра, а он никогда не проснется. Он называл вас: друг, товарищ!

Доктор. Глупая, несчастная девочка! Что я могу сделать? Вся вода у них за семью дверями, за семью замками, а ключи у Министра финансов.

Юлия. Не верю, что вы не оставили себе бутылочку на черный день.

Доктор. Нет, Юлия! Уж настолько-то я честен. Я не оставил ни капли себе, раз не могу лечить всех,

Юлия. Ничтожный человек.

Доктор. Ведь Министр любит вас, попросите у него ключи, Юлия!

Юлия. Я? Эгоист! Он хочет все свалить на меня.

Аннунциата. Сударыня!

Юлия. Ни слова больше! Я сделала все, что могла.

Аннунциата. Доктор!

Доктор. Что я могу сделать?

Мажордом. Его величество!

Зал наполняется придворными. Медленно входят Тень и Принцесса. Они садятся на трон. Первый министр подает знак мажордому.

Сейчас солистка его величества, находящаяся под покровительством его высокопревосходительства господина Министра финансов, госпожа Юлия

Джули исполнит прохладительную и успокоительную песенку “Не стоит голову терять”.

Тень. Не стоит голову терять... Прекрасно!

Юлия *(делает глубокий реверанс королю. Кланяется придворным. Поет)*:

Жила на свете стрекоза,
Она была кокетка.
Ее прелестные глаза
Губили мух нередко.
Она любила повторять:
— Не стоит голову терять...

Гром барабанов обрывает песенку.

Тень *(вскакивает, шатаясь)*. Воды!

Мажордом бросается к Тени и останавливается пораженный. Голова Тени вдруг слегает с плеч. Обезглавленная тень неподвижно сидит на троне.

Аннунциата. Смотрите!

Министр финансов. Почему это?

Первый министр. Боже мой! Не рассчитали. Ведь это же его собственная тень. Господа, вы на рауте в королевском дворце. Вам должно быть весело, весело во что бы то ни стало!

Принцесса *(подбегает к министрам)*. Сейчас же! Сейчас же! Сейчас же!

Первый министр. Что, ваше высочество?

Принцесса. Сейчас же исправить его! Я не хочу! Не хочу! Не хочу!

Первый министр. Принцесса, умоляю вас, перестаньте.

Принцесса. А что сказали бы вы, если бы жених ваш потерял голову?

Тайный советник. Это он от любви, Принцесса.

Принцесса. Если вы не исправите его, я прикажу сейчас же вас обезглавить. У всех принцесс на свете целые мужья, а у меня вон что! Свинство какое!..

Первый министр. Живую воду, живо, живо, живо!

Министр финансов. Кому? Этому? Но она воскрешает только хороших людей.

Первый министр. Придется воскресить хорошего. Ах, как не хочется.

Министр финансов. Другого выхода нет. Доктор! Следуйте

за мной. Лакеи! Ведите меня. (Уходит.)

Первый министр. Успокойтесь, Принцесса, все будет сделано.

1-й придворный входит, снимает на ходу перчатки. Заметив обезглавленного короля, он замирает на месте.

1-й придворный. Позвольте... А это кто сделал? Довольно уйти на полчаса из комнаты — и у тебя перебивают работу... Интриганы!

Распахивается дверь, и через сцену проходит целое шествие. Впереди лакеи ведут Министра финансов. За ним четыре солдата несут большую бочку. Бочка светится сама собою. Из щелей вырываются языки пламени. На паркет капают светящиеся капли. За бочкой шагает Доктор. Шествие проходит через сцену и скрывается.

Юлия. Аннунциата, вы были правы.

Аннунциата. В чем?

Юлия. Он победит! Сейчас он победит. Они понесли живую воду. Она воскресит его.

Аннунциата. Зачем им воскрешать хорошего человека?

Юлия. Чтобы плохой мог жить. Вы счастливица, Аннунциата.

Аннунциата. Не верю, что-нибудь еще случится, ведь мы во дворце.

Юлия. Ах, я боюсь, что больше ничего не случится. Неужели войдет в моду — быть хорошим человеком? Ведь это так хлопотливо!

Цезарь Борджиа. Господин начальник королевской стражи!

Пьетро. Что еще?

Цезарь Борджиа. Придворные что-то косятся на нас. Не удрать ли?

Пьетро. А черт его знает. Еще поймают!

Цезарь Борджиа. Мы связались с неудачником.

Пьетро. Никогда ему не прощу, будь я проклят.

Цезарь Борджиа. Потерять голову в такой важный момент!

Пьетро. Болван! И еще при всех! Пошел бы к себе в кабинет и там терял бы что угодно, скотина!

Цезарь Борджиа. Бестактное существо.

Пьетро. Осел!

Цезарь Борджиа. Нет, надо будет его съесть. Надо, надо.

Пьетро. Да, уж придется.

Гром барабанов.

На плечах Тени внезапно появляется голова.

Цезарь Борджиа. Поздравляю, ваше величество! Пьетро. Ура, ваше величество!

Мажордом. Воды, ваше величество!

Тень. Почему так пусто в зале? Где все? Луиза?

Вбегает Принцесса. За нею придворные.

Принцесса. Как тебе идет голова, милый!

Тень. Луиза где он?

Принцесса. Не знаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой?

Тень. Мне больно глотать.

Принцесса. Я сделаю тебе компресс на ночь.

Тень. Спасибо. Но где же он? Зовите его сюда.

Вбегают Первый министр и Министр финансов.

Первый министр. Отлично. Все на месте.

Министр финансов. Никаких перемен!

Первый министр. Ваше величество, сделайте милость, кивните головой.

Тень. Где он?

Первый министр. Прекрасно! Голова работает! Ура! Все в порядке.

Тень. Я спрашиваю вас: где он?

Первый министр. А я отвечаю: все в порядке, ваше величество. Сейчас он будет заключен в темницу.

Тень. Да вы с ума сошли! Как вы посмели даже думать об этом! Почетный караул!

Пьетро. Почетный караул!

Тень. Идите, просите, умоляйте его прийти сюда.

Пьетро. Просить и умолять его — шагом марш!

Уходит с караулом.

Принцесса. Зачем вы зовете его, Теодор-Христиан?

Тень. Я хочу жить.

Принцесса. Но вы говорили, что он неудачник.

Тень. Все это так, но я жить без него не могу!

Вбегает Доктор.

Доктор. Он поправился. Слышите вы все: он поступал как безумец, шел прямо, не сворачивая, он был казнен — и вот он жив, жив, как никто из вас.

Мажордом. Его светлость господин Ученый.

Входит Ученый. Тень вскакивает и протягивает ему руки. Ученый не обращает на него внимания.

Ученый. Аннунциата!

Аннунциата. Я здесь.

Ученый. Аннунциата, они не дали мне договорить. Да, Аннунциата. Мне страшно было умирать. Ведь я так молод!

Тень. Христиан!

Ученый. Замолчи. Но я пошел на смерть, Аннунциата. Ведь, чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот — я победил. Идемте отсюда, Аннунциата.

Тень. Нет! Останься со мной, Христиан. Живи во дворце. Ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя Первым министром?

Первый министр. Но почему же именно первым? Вот Министр финансов нездоров.

Министр финансов. Я нездоров? Смотрите. *(Легко прыгает по залу.)*

Первый министр. Поправился!

Министр финансов. У нас, у деловых людей, в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья.

Тень. Хочешь — я прогоню их всех, Христиан? Я дам управлять тебе — в разумных, конечно, пределах. Я помогу тебе некоторое количество людей сделать счастливыми. Ты не хочешь мне отвечать? Луиза! Прикажи ему.

Принцесса. Замолчи ты, трус! Что вы наделали, господа? Раз в жизни встретила я хорошего человека, а вы бросились на него, как псы. Прочь, уйди отсюда, тень!

Тень медленно спускается с трона, прижимается к стене, закутавшись в мантию.

Можете стоять в любой самой жалкой позе. Меня вы не разжалобите. Господа! Он не жених мне больше. Я найду себе нового жениха.

Тайный советник. Вот радость-то!

Принцесса. Я все поняла, Христиан, милый. Эй! Начальник стра-

Пьетро. Пожалуйста. Взять его! *(Идет к Тени.)*

Первый министр. Я помогу вам.

Министр финансов. И я, и я.

Цезарь Борджиа. Долой тень!

Хватают Тень, но Тени нет, пустая мантия повисает на их руках.

Принцесса. Он убежал...

Ученый. Он скрылся, чтобы еще раз и еще раз стать у меня на дороге. Но я узнаю его, я всюду узнаю его. Аннунциата, дайте мне руку, идемте отсюда.

Аннунциата. Как ты себя чувствуешь, Христиан-Теодор, милый?

Ученый. Мне больно глотать. Прощайте, господа!

Принцесса. Христиан-Теодор, прости меня, ведь я ошиблась всего один раз. Ну, я наказана уж — и будет. Останься или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо. Вот увидишь.

Ученый. Нет, Принцесса.

Принцесса. Не уходи. Какая я несчастная девушка! Господа, просите его.

Придворные. Ну куда же вы?

— Останьтесь...

— Посидите, пожалуйста...

— Куда вам так спешить? Еще детское время.

Ученый. Простите, господа, но я так занят. *(Идет с Аннунциатой, взяв ее за руку.)*

Принцесса. Христиан-Теодор! На улице идет дождь. Темно. А во дворце тепло, уютно. Я прикажу затопить все печки. Останься.

Ученый. Нет. Мы оденемся потеплее и уедем. Не задерживайте нас, господа.

Цезарь Борджиа. Пропустите, пропустите! Вот ваши галоши, господин профессор!

Пьетро. Вот плащ. *(Аннунциате.)* Похлопочи за отца, чудовище!

Капрал. Карета у ворот.

Ученый. Аннунциата, в путь!

Занавес

1940

ДРАКОН

Пьеса в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дракон.
Л а н ц е л о т.
Шарлемань — архивариус.
Эльза — его дочь.
Бургомистр.
Генрих — его сын.
Кот.
Осел.
1-й ткач.
2-й ткач.
Шапочных дел мастер.
Музыкальных дел мастер.
Кузнец.
1-я подруга Эльзы.
2-я подруга Эльзы.
3-я подруга Эльзы.
Часовой.
Садовник.
1-й горожанин.
2-й горожанин.
1-я горожанка.
2-я горожанка.
Мальчик.
Разносчик.
Тюремщик.
Лакеи, стража, горожане.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Просторная, уютная кухня, очень чистая, с большим очагом в глубине. Пол каменный, блестит. Перед очагом на кресле дремлет кот.

Ланцелот *(входит, оглядывается, зовет)*. Господин хозяин! Госпожа хозяйка! Живая душа, откликнись! Никого... Дом пуст, ворота открыты, двери отперты, окна настежь. Как хорошо, что я честный человек, а то пришлось бы мне сейчас дрожать, огладываться, выбирать, что подороже, и удирать во всю мочь, когда так хочется отдохнуть. *(Садится.)* Подождем. Господин кот! Скоро вернутся ваши хозяева? А? Вы молчите?

Кот. Молчу.

Ланцелот. А почему, позвольте узнать?

Кот. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший.

Ланцелот. Ну а где же все-таки твои хозяева?

Кот. Они ушли, и это крайне приятно.

Ланцелот. Ты их не любишь?

Кот. Люблю каждым волоском моего меха, и лапами, и усами, но им грозит огромное горе. Я отдыхаю душой, только когда они уходят со двора.

Ланцелот. Вон оно что. Так им грозит беда? А какая? Ты молчишь?

Кот. Молчу.

Ланцелот. Почему?

Кот. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем. Мяу!

Ланцелот. Кот, ты меня пугаешь. В кухне так уютно, так заботливо разведен огонь в очаге. Я просто не хочу верить, что этому милому, просторному дому грозит беда. Кот! Что здесь случилось? Отвечай же мне! Ну же!

Кот. Дайте мне забыться, прохожий.

Ланцелот. Слушай, кот, ты меня не знаешь. Я человек до того легкий, что меня, как пушинку, носит по всему свету. И я очень легко вмешиваюсь в чужие дела. Я был из-за этого девятнадцать раз ранен легко,

пять раз тяжело и три раза смертельно. Но я жив до сих пор, потому что я не только легок, как пушинка, а еще и упрям, как осел. Говори же, кот, что тут случилось. А вдруг я спасу твоих хозяев? Со мною это бывало. Ну? Да ну же! Как тебя зовут?

Кот. Машенька.

Ланцелот. Я думал — ты кот.

Кот. Да, я кот, но люди иногда так невнимательны. Хозяева мои до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окотился. Говорят: что же это ты, Машенька? Милые люди, бедные люди! И больше я не скажу ни слова.

Ланцелот. Скажи мне хоть — кто они, твои хозяева?

Кот. Господин архивариус Шарлемань и единственная его дочь, у которой такие мягкие лапки, славная, милая, тихая Эльза.

Ланцелот. Кому же из них грозит беда?

Кот. Ах, ей и, следовательно, всем нам!

Ланцелот. А что ей грозит? Ну же!

Кот. Мяу! Вот уж скоро четыреста лет, как над нашим городом поселился Дракон.

Ланцелот. Дракон? Прелестно!

Кот. Он наложил на наш город дань. Каждый год Дракон выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее Дракону. И он уводит ее к себе в пещеру. И мы больше никогда не видим ее. Говорят, что они умирают там от омерзения. Фрр! Пшел, пшел вон! Ф-ф-ф!

Ланцелот. Кому это ты?

Кот. Дракону. Он выбрал нашу Эльзу! Проклятая ящерица! Ф-ффф!

Ланцелот. Сколько у него голов?

Кот. Три.

Ланцелот. Порядочно. А лап?

Кот. Четыре.

Ланцелот. Ну, это терпимо. С когтями?

Кот. Да. Пять когтей на каждой лапе. Каждый коготь с олений рог.

Ланцелот. Серьезно? И острые у него когти?

Кот. Как ножи.

Ланцелот. Так. Ну а пламя выдыхает?

Кот. Да.

Ланцелот. Настоящее?

Кот. Леса горят.

Ланцелот. Ага. В чешуе он?

Кот. В чешуе.

Ланцелот. И, небось, крепкая чешуя-то?

Кот. Основательная.

Ланцелот. Ну а все-таки?

Кот. Алмаз не берет.

Ланцелот. Так, представляю себе. Рост?

Кот. С церковь.

Ланцелот. Ага, все ясно. Ну, спасибо, кот.

Кот. Вы будете драться с ним?

Ланцелот. Посмотрим.

Кот. Умоляю вас — вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете.

Ланцелот. Спасибо, кот.

Кот. Встаньте.

Ланцелот. Что случилось?

Кот. Они идут.

Ланцелт. Хоть бы она мне понравилась, ах, если бы она мне понравилась! Это так помогает... *(Смотрит в окно.)* Нравится! Кот, она очень славная девушка. Что это? Кот! Она улыбается? Она совершенно спокойна! И отец ее весело улыбается. Ты обманул меня?

Кот. Нет. Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются. Тише. Здравствуйте! Давайте ужинать, дорогие мои друзья.

Входят Эльза и Шарлемань.

Ланцелот. Здравствуйте, добрый господин и прекрасная барышня.

Шарлемань. Здравствуйте, молодой человек.

Ланцелот. Ваш дом смотрел на меня так приветливо, и ворота были открыты, и в кухне горел огонь, и я вошел без приглашения. Простите.

Шарлемань. Не надо просить прощения. Наши двери открыты для всех.

Эльза. Садитесь, пожалуйста. Дайте мне вашу шляпу, я повешу ее за дверью. Сейчас я накрою на стол... Что с вами?

Ланцелот. Ничего.

Эльза. Мне показалось, что вы... испугались меня.

Ланцелот. Нет, нет... Это я просто так.

Шарлемань. Садитесь, друг мой. Я люблю странников. Это оттого, вероятно, что я всю жизнь прожил, не выезжая из города. Откуда вы пришли?

Ланцелот. С юга.

Шарлемань. И много приключений было у вас на пути?

Ланцелот. Ах, больше, чем мне хотелось бы.

Эльза. Вы устали, наверное. Садитесь же. Что же вы стоите?

Ланцелот. Спасибо.

Шарлемань. У нас вы можете хорошо отдохнуть. У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается.

Ланцелот. Никогда?

Шарлемань. Никогда. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это не такое уж большое событие.

Эльза. Вот и ужин на столе. Пожалуйста. Что же вы?

Ланцелот. Простите меня, но... Вы говорите, что у вас очень тихий город?

Эльза. Конечно.

Ланцелот. А... а Дракон?

Шарлемань. Ах, это... Но ведь мы так привыкли к нему. Он уже четыреста лет живет у нас.

Ланцелот. Но... мне говорили, что дочь ваша...

Эльза. Господин прохожий...

Ланцелот. Меня зовут Ланцелот.

Эльза. Господин Ланцелот, простите, я вовсе не делаю вам замечания, но все-таки прошу вас: ни слова об этом.

Ланцелот. Почему?

Эльза. Потому что тут уж ничего не поделаешь.

Ланцелот. Вот как?

Шарлемань. Да, уж тут ничего не сделать. Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только Дракон уведет ее, я тоже умру.

Эльза. Папа, не надо об этом.

Шарлемань. Вот и все, вот и все.

Ланцелот. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не

пробовал драться с ним?

Шарлемань. Последние двести лет — нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Он удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает камнями сверху, потом устремляется отвесно вниз, прямо на голову коня, и бьет его огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. А потом он разрывает когтями всадника. Ну, и, в конце концов, против него перестали выступать...

Ланцелот. А целым городом против него не выступали?

Шарлемань. Выступали.

Ланцелот. Ну и что?

Шарлемань. Он сжег предместья и половину жителей свел с ума ядовитым дымом. Это великий воин.

Эльза. Возьмите еще масла, прошу вас.

Ланцелот. Да, да, я возьму. Мне нужно набраться сил. Итак — простите, что я все расспрашиваю, — против Дракона никто и не пробует выступать? Он совершенно обнаглел?

Шарлемань. Нет, что вы! Он так добр!

Ланцелот. Добр?

Шарлемань. Уверяю вас. Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии.

Ланцелот. Давно это было?

Шарлемань. О нет. Всего восемьдесят два года назад. Но добрые дела не забываются.

Ланцелот. А что он еще сделал доброго?

Шарлемань. Он избавил нас от цыган.

Ланцелот. Но цыгане — очень милые люди.

Шарлемань. Что вы! Какой ужас! Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана. Но я еще в школе проходил, что это люди страшные.

Ланцелот. Но почему?

Шарлемань. Это бродяги по природе, по крови. Они — враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они воруют детей. Они проникают всюду. Теперь мы вовсе

очистились от них, но еще сто лет назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови.

Ланцелот. Кто вам рассказал все это о цыганах?

Шарлемань. Наш Дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые годы его власти.

Ланцелот. Славные, нетерпеливые люди.

Шарлемань. Не надо, пожалуйста, не надо так говорить.

Ланцелот. Что он ест, ваш Дракон?

Шарлемань. Город наш дает ему тысячу коров, две тысячи овец, пять тысяч кур и два пуда соли в месяц. Летом и осенью сюда еще добавляется десять огородов салата, спаржи и цветной капусты.

Ланцелот. Он объедает вас!

Шарлемань. Нет, что вы! Мы не жалуемся. А как же можно иначе? Пока он здесь — ни один другой Дракон не осмелится нас тронуть.

Ланцелот. Да другие-то, по-моему, все давно перебиты!

Шарлемань. А вдруг нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться от Драконов — это иметь своего собственного. Довольно о нем, прошу вас. Лучше вы расскажите нам что-нибудь интересное.

Ланцелот. Хорошо. Вы знаете, что такое жалобная книга?

Эльза. Нет.

Ланцелот. Так знайте же. В пяти годах ходьбы отсюда, в Черных горах, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, исписанная до половины. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежде, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Горы, травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах человеческие жалобы, и книга растет. Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой. Для кого пишется эта книга? Для меня.

Эльза. Для вас?

Ланцелот. Для нас. Для меня и немногих других. Мы внимательные, легкие люди. Мы проведали, что есть такая книга, и не поленились добраться до нее. А заглянувший в эту книгу однажды не успокоится вовеки. Ах, какая это жалобная книга! На эти жалобы нельзя не ответить. И мы отвечаем.

Эльза. А как?

Ланцелот. Мы вмешиваемся в чужие дела. Мы помогаем тем, кому необходимо помочь. И уничтожаем тех, кого необходимо уничтожить. Помочь вам?

Эльза. Как?

Шарлемань. Чем вы нам можете помочь?

Кот. Мяу!

Ланцелот. Три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня и не просите об этом, я вызову на бой Дракона! Слышите, Эльза!

Эльза. Нет, нет! Он убьет вас, и это отравит последние часы моей жизни.

Кот. Мяу!

Ланцелот. Я вызову на бой Дракона!

Раздается все нарастающий свист, шум, вой, рев. Стекла дрожат. Зарево вспыхивает за окнами.

Кот. Легок на помине!

Вой и свист внезапно обрываются. Громкий стук в дверь.

Шарлемань. Войдите!

Входит богато одетый лакей.

Лакей. К вам господин Дракон.

Шарлемань. Милости просим!

Лакей широко распахивает дверь. Пауза. И вот не спеша в комнату входит пожилой, но крепкий, моложавый, белобрысый человек, с солдатской выправкой. Волосы ежиком. Он широко улыбается. Вообще обращение его, несмотря на грубоватость, не лишено некоторой приятности. Он глуховат.

Человек. Здорово, ребята! Эльза, здравствуй, крошка! А у вас гость. Кто это?

Шарлемань. Это странник, прохожий.

Человек. Как? Рапортуй громко, отчетливо, по-солдатски.

Шарлемань. Это странник!

Человек. Не цыган?

Шарлемань. Что вы! Это очень милый человек.

Человек. А?

Шарлемань. Милый человек.

Человек. Хорошо. Странник! Что ты не смотришь на меня? Чего ты уставился на дверь?

Ланцелот. Я жду, когда войдет Дракон.

Человек. Ха-ха! Я — Дракон.

Ланцелот. Вы? А мне говорили, что у вас три головы, когти, огромный рост!

Дракон. Я сегодня попросту, без чинов.

Шарлемань. Господин Дракон так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека и заходит к нам в гости по-дружески.

Дракон. Да. Мы воистину друзья, дорогой Шарлемань.Каждому из вас я даже более чем просто друг. Я друг вашего детства. Мало того, я друг детства вашего отца, деда, прадеда. Я помню вашего прапрадеда в коротеньких штанишках. Черт! Непрошеная слеза. Ха-ха! Приезжий таращит глаза. Ты не ожидал от меня таких чувств? Ну? Отвечай! Растерялся, сукин сын. Ну, ну. Ничего. Ха-ха. Эльза!

Эльза. Да, господин Дракон.

Дракон. Дай лапку.

Эльза протягивает руку Дракону.

Плутовка. Шалунья. Какая теплая лапка. Мордочку выше! Улыбайся. Так. Ты чего, прохожий? А?

Ланцелот. Любуюсь.

Дракон. Молодец. Четко отвечаешь. Любуйся. У нас попросту, приезжий. По-солдатски. Раз, два, горе не беда! Ешь!

Ланцелот. Спасибо, я сыт.

Дракон. Ничего, ешь. Зачем приехал?

Ланцелот. По делам.

Дракон. А?

Ланцелот. По делам.

Дракон. А по каким? Ну, говори. А? Может, я и помогу тебе. Зачем ты приехал сюда?

Ланцелот. Чтобы убить тебя.

Дракон. Громче!

Эльза. Нет, нет! Он шутит! Хотите, я еще раз дам вам руку, господин Дракон?

Дракон. Чего?

Ланцелот. Я вызываю тебя на бой, слышишь ты, Дракон!

Дракон молчит, побагровев.

Я вызываю тебя на бой в третий раз, слышишь?

Раздается оглушительный, страшный, тройной рев. Несмотря на мощь этого рева, от которого стены дрожат, он не лишен некоторой музыкальности. Ничего человеческого в этом реве нет. Это ревет Дракон, сжав кулаки и топая ногами.

Дракон *(внезапно оборвав рев. Спокойно)*. Дурак. Ну? Чего молчишь? Страшно?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Нет?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Хорошо же. *(Делает легкое движение плечами и вдруг поразительно меняется. Новая голова появляется у* Дракона *на плечах. Старая исчезает бесследно. Серьезный, сдержанный, высоколобый, узколицый, седеющий блондин стоит перед Ланцелотом.)*

Кот. Не удивляйся, дорогой Ланцелот. У него три башки. Он их и меняет, когда пожелает.

Дракон *(голос его изменился так же, как лицо. Негромко. Суховато)*. Ваше имя Ланцелот?

Ланцелот. Да.

Дракон. Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланцелота?

Ланцелот. Это мой дальний родственник.

Дракон. Принимаю ваш вызов. Странствующие рыцари — те же цыгане. Вас нужно уничтожить.

Ланцелот. Я не дамся.

Дракон. Я уничтожил восемьсот девять рыцарей, девятьсот пять людей неизвестного звания, одного пьяного старика, двух сумасшедших, двух женщин — мать и тетку девушек, избранных мной, — и одного мальчика двенадцати лет — брата такой же девушки. Кроме того, мною было уничтожено шесть армий и пять мятежных толп. Садитесь, пожалуйста.

Ланцелот *(садится)*. Благодарю вас.

Дракон. Вы курите? Курите, не стесняйтесь.

Ланцелот. Спасибо. *(Достает трубку, набивает не спеша табаком.)*

Дракон. Вы знаете, в какой день я появился на свет?

Ланцелот. В несчастный.

Дракон. В день страшной битвы. В тот день сам Аттила потерпел поражение, — вам понятно, сколько воинов надо было уложить для этого? Земля пропиталась кровью. Листья на деревьях к полуночи стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы — они называются гробовики — выросли под деревьями. А вслед за ними из-под земли выполз я. Я — сын войны. Война — это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах, — это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен и точен.

При слове «точен» Дракон делает легкое движение рукой. Раздается сухое щелканье. Из указательного пальца Дракона лентой вылетает пламя. Зажигает табак в трубке, которую к этому времени набил Ланцелот.

Ланцелот. Благодарю вас. *(Затягивается с наслаждением.)*

Дракон. Вы против меня, — следовательно, вы против войны?

Ланцелот. Что вы! Я воюю всю жизнь.

Дракон. Вы чужой здесь, а мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас с ужасом и обрадуется вашей смерти. Вам предстоит бесславная гибель. Понимаете?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Я вижу, что вы решительны по-прежнему?

Ланцелот. Даже больше.

Дракон. Вы — достойный противник.

Ланцелот. Благодарю вас.

Дракон. Я буду воевать с вами всерьез.

Ланцелот. Отлично.

Дракон. Это значит, что я убью вас немедленно. Сейчас. Здесь.

Ланцелот. Но я безоружен!

Дракон. А вы хотите, чтобы я дал вам время вооружиться? Нет. Я ведь сказал, что буду воевать с вами всерьез. Я нападу на вас внезапно, сейчас... Эльза, принесите метелку!

Эльза. Зачем?

Дракон. Я сейчас испепелю этого человека, а вы выметете его пепел.

Ланцелот. Вы боитесь меня?

Дракон. Я не знаю, что такое страх.

Ланцелот. Почему же тогда вы так спешите? Дайте мне сроку до завтра. Я найду себе оружие, и мы встретимся на поле.

Дракон. А зачем?

Ланцелот. Чтобы народ не подумал, что вы трусите.

Дракон. Народ ничего не узнает. Эти двое будут молчать. Вы умрете сейчас храбро, тихо и бесславно. *(Поднимает руку.)*

Шарлемань. Стойте!

Дракон. Что такое?

Шарлемань. Вы не можете убить его.

Дракон. Что?

Шарлемань. Умоляю вас — не гневайтесь, я предан вам всей душой. Но ведь я архивариус.

Дракон. При чем здесь ваша должность?

Шарлемань. У меня хранится документ, подписанный вами триста восемьдесят два года назад. Этот документ не отменен. Видите, я не возражаю, а только напоминаю. Там стоит подпись: «Дракон».

Дракон. Ну и что?

Шарлемань. Это моя дочка, в конце концов. Я ведь желаю, чтобы она жила подольше. Это вполне естественно.

Дракон. Короче.

Шарлемань. Будь что будет — я возражаю. Убить его вы не можете. Всякий вызвавший вас — в безопасности до дня боя, пишете вы и подтверждаете это клятвой. И день боя назначаете не вы, а он, вызвавший вас, — так сказано в документе и подтверждено клятвой. А весь город должен помогать тому, кто вызовет вас, и никто не будет наказан, — это тоже подтверждается клятвой.

Дракон. Когда был написан этот документ?

Шарлемань. Триста восемьдесят два года назад.

Дракон. Я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой.

Шарлемань. Но документ не отменен.

Дракон. Мало ли что...

Шарлемань. Но документ...

Дракон. Довольно о документах. Мы — взрослые люди.

Шарлемань. Но ведь вы сами подписали... Я могу сбегать за документом.

Дракон. Ни с места.

Шарлемань. Нашелся человек, который пробует спасти мою девочку. Любовь к ребенку — ведь это же ничего. Это можно. А, кроме того, гостеприимство — это ведь тоже вполне можно. Зачем же вы смотрите на меня так страшно? *(Закрывает лицо руками.)*

Эльза. Папа! Папа!

Шарлемань. Я протестую!

Дракон. Ладно. Сейчас я уничтожу все гнездо.

Ланцелот. И весь мир узнает, что вы трус!

Дракон. Откуда?

Кот одним прыжком вылетает за окно. Шипит издали.

Кот. Всем, всем, все, все расскажу, старый ящер.

Дракон снова разражается ревом, рев этот так же мощен, но на этот раз в нем явственно слышны хрип, стоны, отрывистый кашель. Это ревет огромное, древнее, злобное чудовище.

Дракон *(внезапно оборвав вой)*. Ладно. Будем драться завтра, как вы просили.

Быстро уходит. И сейчас же за дверью поднимается свист, гул, шум. Стены дрожат, мигает лампа, свист, гул и шум затихают, удаляясь.

Шарлемань. Улетел! Что я наделал! Ах, что я наделал! Я старый, проклятый себялюбец. Но ведь я не мог иначе! Эльза, ты сердишься на меня?

Эльза. Нет, что ты!

Шарлемань. Я вдруг ужасно ослабел. Простите меня. Я лягу. Нет, нет, не провожай меня. Оставайся с гостем. Занимай его разговорами, — ведь он был так любезен с нами. Простите, я пойду прилягу. *(Уходит.)*

Пауза.

Эльза. Зачем вы затеяли все это? Я не упрекаю вас, — но все было так ясно и достойно. Вовсе не так страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет.

Ланцелот. Что вы говорите! Подумайте! Деревья и те вздыхают, когда их рубят.

Эльза. А я не жалуюсь.

Ланцелот. И вам не жалко отца?

Эльза. Но ведь он умрет как раз тогда, когда ему хочется умереть. Это, в сущности, счастье.

Ланцелот. И вам не жалко расставаться с вашими подругами?

Эльза. Нет, ведь если бы не я, Дракон выбрал бы кого-нибудь из них.

Ланцелот. А жених ваш?

Эльза. Откуда вы знаете, что у меня был жених?

Ланцелот. Я почувствовал это. А с женихом вам не жалко расставаться?

Эльза. Но ведь Дракон, чтобы утешить Генриха, назначил его своим личным секретарем.

Ланцелот. Ах, вот оно что. Но тогда, конечно, с ним не так уж жалко расстаться. Ну а ваш родной город? Вам не жалко его оставить?

Эльза. Но ведь как раз за свой родной город я и погибаю.

Ланцелот. И он равнодушно принимает вашу жертву?

Эльза. Нет, нет! Меня не станет в воскресенье, а до самого вторника весь город погрузится в траур. Целых три дня никто не будет есть мяса. К чаю будут подаваться особые булочки под названием «бедная девушка» — в память обо мне.

Ланцелот. И это все?

Эльза. А что еще можно сделать?

Ланцелот. Убить Дракона.

Эльза. Это невозможно.

Ланцелот. Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы все это исправим.

Эльза. Не надо. Если верно то, что вы говорите обо мне, значит, мне лучше умереть.

Вбегает кот.

Кот. Восемь моих знакомых кошек и сорок восемь моих котят обежали все дома и рассказали о предстоящей драке. Мяу! Бургомистр бежит сюда!

Ланцелот. Бургомистр? Прелестно!

Вбегает бургомистр.

Бургомистр. Здравствуй, Эльза. Где прохожий?

Ланцелот. Вот я.

Бургомистр. Прежде всего, будьте добры, говорите потише, по возможности без жестов, двигайтесь мягко и не смотрите мне в глаза.

Ланцелот. Почему?

Бургомистр. Потому что нервы у меня в ужасном состоянии. Я болен всеми нервными и психическими болезнями, какие есть на свете, и, сверх того, еще тремя, неизвестными до сих пор. Думаете, легко быть бургомист-ром при Драконе?

Ланцелот. Вот я убью Дракона, и вам станет легче.

Бургомистр. Легче? Ха-ха! Легче! Ха-ха! Легче! *(Впадает в истерическое состояние. Пьет воду. Успокаивается.)* То, что вы осмелились вызвать господина Дракона, — несчастье. Дела были в порядке. Господин Дракон своим влиянием держал в руках моего помощника, редкого негодяя, и всю его банду, состоящую из купцов-мукомолов. Теперь все перепутается. Господин Дракон будет готовиться к бою и забросит дела городского управления, в которые он только что начал вникать.

Ланцелот. Да поймите же вы, несчастный человек, что я спасу город!

Бургомистр. Город? Ха-ха! Город! Город! Ха-ха! *(Пьет воду, успокаивается.)* Мой помощник — такой негодяй, что я пожертвую двумя городами, только бы уничтожить его. Лучше пять Драконов, чем такая гадина, как мой помощник. Умоляю вас, уезжайте.

Ланцелот. Не уеду.

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня припадок каталепсии. *(Застывает с горькой улыбкой на лице.)*

Ланцелот. Ведь я спасу всех! Поймите!

Бургомистр молчит.

Не понимаете?

Бургомистр молчит. Ланцелот обрызгивает его водой.

Бургомистр. Нет, я не понимаю вас. Кто вас просит драться с ним?

Ланцелот. Весь город этого хочет.

Бургомистр. Да? Посмотрите в окно. Лучшие люди города прибежали просить вас, чтобы вы убирались прочь!

Ланцелот. Где они?

Бургомистр. Вон, жмутся у стен. Подойдите ближе, друзья мои.

Ланцелот. Почему они идут на цыпочках?

Бургомистр. Чтобы не действовать мне на нервы. Друзья мои, скажите Ланцелоту, чего вы от него хотите. Ну! Раз! Два! Три!

Хор голосов. Уезжайте прочь от нас! Скорее! Сегодня же!

Ланцелот отходит от окна.

Бургомистр. Видите! Если вы гуманный и культурный человек, то подчинитесь воле народа.

Ланцелот. Ни за что!

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня легкое помешательство. *(Упирает одну руку в бок, другую изгибает изящно.)* Я — чайник, заварите меня!

Ланцелот. Я понимаю, почему эта людишки прибежали сюда на цыпочках.

Бургомистр. Ну, почему же это?

Ланцелот. Чтобы не разбудить настоящих людей. Вот я сейчас поговорю с ними. *(Выбегает.)*

Бургомистр. Вскипятите меня! Впрочем, что он может сделать? Дракон прикажет, и мы его засадим в тюрьму. Дорогая Эльза, не волнуйся. Секунда в секунду, в назначенный срок, наш дорогой Дракон заключит тебя в свои объятия. Будь покойна.

Эльза. Хорошо.

Стук в дверь.

Войдите.

Входит тот самый лакей, который объявлял о приходе Дракона.

Бургомистр. Здравствуй, сынок.

Лакей. Здравствуй, отец.

Бургомистр. Ты от него? Никакого боя не будет, конечно? Ты принес приказ заточить Ланцелота в тюрьму?

Лакей. Господин Дракон приказывает: первое — назначить бой на завтра, второе — Ланцелота снабдить оружием, третье — быть поумнее.

Бургомистр. Поздравляю вас, у меня зашел ум за разум. Ум! Ау! Отзовись! Выйди!

Лакей. Мне приказано переговорить с Эльзой наедине.

Бургомистр. Ухожу, ухожу, ухожу! *(Торопливо удаляется.)*

Лакей. Здравствуй, Эльза.

Эльза. Здравствуй, Генрих.

Генрих. Ты надеешься, что Ланцелот спасет тебя?

Эльза. Нет. А ты?

Генрих. И я нет.

Эльза. Что Дракон велел передать мне?

Генрих. Он велел передать, чтобы ты убила Ланцелота, если это понадобится.

Эльза *(в ужасе)*. Как?

Генрих. Ножом. Вот он, этот ножик. Он отравленный...

Эльза. Я не хочу!

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать, что иначе он перебьет всех твоих подруг.

Эльза. Хорошо. Скажи, что я постараюсь.

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать: всякое колебание будет наказано, как ослушание.

Эльза. Я ненавижу тебя!

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать, что умеет награждать верных слуг.

Эльза. Ланцелот убьет твоего Дракона!

Генрих. А на это господин Дракон велел сказать: посмотрим!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Центральная площадь города. Направо — ратуша с башенкой, на которой стоит ч а с о в о й. Прямо — огромное мрачное коричневое здание без окон, с гигантской чугунной дверью во всю стену от фундамента до крыши. На двери надпись готическими буквами: «Людям вход безусловно запрещен». Налево — широкая старинная крепостная стена. В центре площади — колодец с резными перилами и навесом. Г е н р и х, без ливреи, в фартуке, чистит медные украшения на чугунной двери.

Генрих *(напевает)*.

Посмотрим, посмотрим, провозгласил Дракон.
Посмотрим, посмотрим, взревел старик Дра-Дра.
Старик Дракоша прогремел: посмотрим, черт возьми!
И мы, действительно, посмо! Посмотрим тру-ля-ля!

Из ратуши выбегает б у р г о м и с т р. На нем смирительная рубашка.

Б у р г о м и с т р. Здравствуй, сынок. Ты посылал за мной?

Г е н р и х. Здравствуй, отец. Я хотел узнать, как там у вас идут дела. Заседание городского самоуправления закрылось?

Б у р г о м и с т р. Какое там! За целую ночь мы едва успели утвердить повестку дня.

Г е н р и х. Умаялся?

Б у р г о м и с т р. А ты как думаешь? За последние полчаса на мне переменили три смирительные рубашки. *(Зевает.)* Не знаю, к дождю, что ли, но только сегодня ужасно разыгралась моя проклятая шизофрения. Так и брежу, так и брежу... Галлюцинации, навязчивые идеи, то, се. *(Зевает.)* Табак есть?

Г е н р и х. Есть.

Б у р г о м и с т р. Развяжи меня. Перекурим.

Генрих развязывает отца. Усаживаются рядом на ступеньках дворца. Закуривают.

Генрих. Когда же вы решите вопрос об оружии?

Бургомистр. О каком оружии?

Генрих. Для Ланцелота.

Бургомистр. Для какого Ланцелота?

Генрих. Ты что, с ума сошел?

Бургомистр. Конечно. Хорош сын. Совершенно забыл, как тяжко болен его бедняга отец. *(Кричит.)* О люди, люди, возлюбите друг друга! *(Спокойно.)* Видишь, какой бред.

Генрих. Ничего, ничего, папа. Это пройдет.

Бургомистр. Я сам знаю, что пройдет, а все-таки неприятно.

Генрих. Ты послушай меня. Есть важные новости. Старик Дракоша нервничает.

Бургомистр. Неправда!

Генрих. Уверяю тебя. Всю ночь, не жалея крылышек, наш старикан порхал неведомо где. Заявился домой только на рассвете. От него ужасно несло рыбой, что с ним случается всегда, когда он озабочен. Понимаешь?

Бургомистр. Так, так.

Генрих. И мне удалось установить следующее. Наш добрый ящер порхал всю ночь исключительно для того, чтобы разузнать всю подноготную о славном господине Ланцелоте.

Бургомистр. Ну, ну?

Генрих. Не знаю, в каких притонах — на Гималаях или на горе Арарат, в Шотландии или на Кавказе, но только старичок разведал, что Ланцелот — профессиональный герой. Презираю людишек этой породы. Но Дра-Дра, как профессиональный злодей, очевидно, придает им кое-какое значение. Он ругался, скрипел, ныл. Потом дедушке захотелось пивца. Вылакав целую бочку любимого своего напитка и не отдав никаких приказаний, Дракон вновь расправил свои перепонки и вот до сей поры шныряет в небесах, как пичужка. Тебя это не тревожит?

Бургомистр. Ни капельки.

Генрих. Папочка, скажи мне — ты старше меня... опытней... Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Пожалуйста, ответь. Неужели Ланцелот может... Только отвечай попросту, без казенных восторгов, — неужели Ланцелот может победить? А? Папочка? Ответь мне!

Бургомистр. Пожалуйста, сынок, я отвечу тебе попросту, от души. Я так, понимаешь, малыш, искренне привязан к нашему Дракоше! Вот

честное слово даю. Сроднился я с ним, что ли? Мне, понимаешь, даже, ну как тебе сказать, хочется отдать за него жизнь. Ей-богу правда, вот провалиться мне на этом месте! Нет, нет, нет! Он, голубчик, победит! Он победит, чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, люблю я его как! Ой, люблю! Люблю — и крышка. Вот тебе и весь ответ.

Генрих. Не хочешь ты, папочка, попросту, по душам, поговорить с единственным своим сыном!

Бургомистр. Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. То есть я, конечно, сошел с ума, но не до такой степени. Это Дракон приказал тебе допросить меня?

Генрих. Ну что ты, папа!

Бургомистр. Молодец, сынок! Очень хорошо провел весь разговор. Горжусь тобой. Не потому, что я — отец, клянусь тебе. Я горжусь тобою как знаток, как старый служака. Ты запомнил, что я ответил тебе?

Генрих. Разумеется.

Бургомистр. А эти слова: чудушко-юдушко, душечка-цыпочка, летун-хлопотун?

Генрих. Все запомнил.

Бургомистр. Ну вот так и доложи!

Генрих. Хорошо, папа.

Бургомистр. Ах ты мой единственный, ах ты мой шпиончик... Карьерочку делает, крошка. Денег не надо?

Генрих. Нет, пока не нужно, спасибо, папочка.

Бургомистр. Бери, не стесняйся. Я при деньгах. У меня как раз вчера был припадок клептомании. Бери...

Генрих. Спасибо, не надо. Ну а теперь скажи мне правду...

Бургомистр. Ну что ты, сыночек, как маленький, — правду, правду... Я ведь не обыватель какой-нибудь, а бургомистр. Я сам себе не говорю правды уже столько лет, что и забыл, какая она, правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда, она знаешь чем пахнет, проклятая? Довольно, сын. Слава Дракону! Слава Дракону! Слава Дракону!

Часовой на башне ударяет алебардой об пол. Кричит.

Часовой. Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство показались над Серыми горами!

Генрих и бургомистр вскакивают и вытягиваются, подняв

головы к небу. Слышен отдаленный гул, который постепенно замирает.

Вольно! Его превосходительство повернули обратно и скрылись в дыму и пламени!

Генрих. Патрулирует.

Бургомистр. Так, так. Слушай, а теперь ты мне ответь на один вопросик. Дракон действительно не дал никаких приказаний, а, сынок?

Генрих. Не дал, папа.

Бургомистр. Убивать не будем?

Генрих. Кого?

Бургомистр. Нашего спасителя.

Генрих. Ах, папа, папа.

Бургомистр. Скажи, сынок. Не приказал он потихонечку тюкнуть господина Ланцелота? Не стесняйся, говори... Чего там... Дело житейское. А, сынок? Молчишь?

Генрих. Молчу.

Бургомистр. Ну ладно, молчи. Я сам понимаю, ничего не поделаешь — служба.

Генрих. Напоминаю вам, господин бургомистр, что с минуты на минуту должна состояться торжественная церемония вручения оружия господину герою. Возможно, что сам Дра-Дра захочет почтить церемонию своим присутствием, а у тебя еще ничего не готово.

Бургомистр (*зевает и потягивается*). Ну что ж, пойду. Мы в один миг подберем ему оружие какое-нибудь. Останется доволен. Завяжи-ка мне рукава... Вот и он идет! Ланцелот идет!

Генрих. Уведи его! Сейчас сюда придет Эльза, с которой мне нужно поговорить.

Входит Ланцелот.

Бургомистр (*кликушествуя*). Слава тебе, слава, осанна, Георгий Победоносец! Ах, простите, я обознался в бреду. Мне вдруг почудилось, что вы так на него похожи.

Ланцелот. Очень может быть. Это мой дальний родственник.

Бургомистр. Как скоротали ночку?

Ланцелот. Бродил.

Бургомистр. Подружились с кем-нибудь?

Ланцелот. Конечно.

Бургомистр. С кем?

Ланцелот. Боязливые жители вашего города травили меня собаками. А собаки у вас очень толковые. Вот с ними я и подружился. Они меня поняли, потому что любят своих хозяев и желают им добра. Мы болтали почти до рассвета.

Бургомистр. Блох не набрались?

Ланцелот. Нет. Это были славные, аккуратные псы.

Бургомистр. Вы не помните, как их звали?

Ланцелот. Они просили не говорить.

Бургомистр. Терпеть не могу собак.

Ланцелот. Напрасно.

Бургомистр. Слишком простые существа.

Ланцелот. Вы думаете, это так просто любить людей? Ведь собаки великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят. Это настоящие работники. Вы посылали за мной?

Бургомистр. За мной, воскликнул аист, и клюнул змею своим острым клювом. За мной, сказал король, и оглянулся на королеву. За мной летели красотки верхом на изящных тросточках. Короче говоря, да, я посылал за вами, господин Ланцелот.

Ланцелот. Чем могу служить?

Бургомистр. В магазине Мюллера получена свежая партия сыра. Лучшее украшение девушки — скромность и прозрачное платьице. На закате дикие утки пролетели над колыбелькой. Вас ждут на заседание городского самоуправления, господин Ланцелот.

Ланцелот. Зачем?

Бургомистр. Зачем растут липы на улице Драконовых Лапок? Зачем танцы, когда хочется поцелуев? Зачем поцелуи, когда стучат копыта? Члены городского самоуправления должны лично увидеть вас, чтобы сообразить, какое именно оружие подходит к вам больше всего, господин Ланцелот. Идемте, покажемся им!

Уходят.

Генрих. Посмотрим, посмотрим, провозгласил Дракон; посмотрим, посмотрим, взревел старик Дра-Дра; старик Дракоша прогремел: посмотрим, черт возьми, — и мы действительно посмо!

Входит Эльза.

Эльза!

Эльза. Да, я. Ты посылал за мной?

Генрих. Посылал. Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не эта в высшей степени досадная помеха, я бы тебя обнял и поцеловал.

Эльза. А я бы тебя ударила.

Генрих. Ах, Эльза, Эльза! Ты всегда была немножко слишком добродетельна. Но это шло к тебе. За скромностью твоей скрывается нечто. Дра-Дра чувствует девушек. Он всегда выбирал самых многообещающих, шалун-попрыгун. А Ланцелот еще не пытался ухаживать за тобой?

Эльза. Замолчи.

Генрих. Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте старая дура, он все равно полез бы сражаться. Ему все равно, кого спасать. Он так обучен. Он и не разглядел, какая ты.

Эльза. Мы только что познакомились.

Генрих. Это не оправдание.

Эльза. Ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это?

Генрих. О нет. Я звал тебя, чтобы спросить — хочешь выйти замуж за меня?

Эльза. Перестань!

Генрих. Я не шучу. Я уполномочен передать тебе следующее: если ты будешь послушна и в случае необходимости убьешь Ланцелота, то в награду Дра-Дра отпустит тебя.

Эльза. Не хочу.

Генрих. Дай договорить. Вместо тебя избранницей будет другая, совершенно незнакомая девушка из простонародья. Она все равно намечена на будущий год. Выбирай, что лучше — глупая смерть или жизнь, полная таких радостей, которые пока только снились тебе, да и то так редко, что даже обидно.

Эльза. Он струсил!

Генрих. Кто? Дра-Дра? Я знаю все его слабости. Он самодур, солдафон, паразит — все что угодно, но только не трус.

Эльза. Вчера он угрожал, а сегодня торгуется?

Генрих. Этого добился я.

Эльза. Ты?

Генрих. Я настоящий победитель Дракона, если хочешь знать. Я могу выхлопотать все. Я ждал случая — и дождался. Я не настолько глуп, чтобы уступать тебя кому бы то ни было.

Эльза. Не верю тебе.

Генрих. Веришь.

Эльза. Все равно, я не могу убить человека!

Генрих. А нож ты захватила с собой тем не менее. Вон он висит у тебя на поясе. Я ухожу, дорогая. Мне надо надеть парадную ливрею. Но я ухожу спокойный. Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня. Подумай! Жизнь, вся жизнь перед нами — если ты захочешь. Подумай, моя очаровательная. *(Уходит.)*

Эльза. Боже мой! У меня щеки горят так, будто я целовалась с ним. Какой позор! Он почти уговорил меня... Значит, вот я какая!.. Ну и пусть. И очень хорошо. Довольно! Я была самая послушная в городе. Верила всему. И чем это кончилось? Да, меня все уважали, а счастье доставалось другим. Они сидят сейчас дома, выбирают платья понаряднее, гладят оборочки. Завиваются. Собираются идти любоваться на мое несчастье. Ах, я так и вижу, как пудрятся они у зеркала и говорят: «Бедная Эльза, бедная девушка, она была такая хорошая!» Одна я, одна из всего города, стою на площади и мучаюсь. И дурак часовой таращит на меня глаза, думает о том, что сделает сегодня со мной Дракон. И завтра этот солдат будет жив, будет отдыхать после дежурства. Пойдет гулять к водопаду, где река такая веселая, что даже самые печальные люди улыбаются, глядя, как славно она прыгает. Или пойдет он в парк, где садовник вырастил чудесные анютины глазки, которые щурятся, подмигивают и даже умеют читать, если буквы крупные и книжка кончается хорошо. Или поедет он кататься по озеру, которое когда-то вскипятил Дракон и где русалки с тех пор такие смирные. Они не только никого не топят, а даже торгуют, сидя на мелком месте, спасательными поясами. Но они по-прежнему прекрасны, и солдаты любят болтать с ними. И расскажет русалкам этот глупый солдат, как заиграла веселая музыка, как все заплакали, а Дракон повел меня к себе. И русалки примутся ахать: «Ах, бедная Эльза, ах, бедная девушка, сегодня такая хорошая погода, а ее нет на свете». Не хочу! Хочу все видеть, все слышать, все чувствовать. Вот вам! Хочу быть счастливой! Вот вам! Я взяла нож, чтобы убить себя. И не убью. Вот вам!

Ланцелот выходит из ратуши.

Ланцелот. Эльза! Какое счастье, что я вижу вас!

Эльза. Почему?

Ланцелот. Ах, славная моя барышня, у меня такой трудный день,

что душа так и требует отдыха, хоть на минуточку. И вот, как будто нарочно, вдруг вы встречаетесь мне.

Эльза. Вы были на заседании?

Ланцелот. Был.

Эльза. Зачем они звали вас?

Ланцелот. Предлагали деньги, лишь бы я отказался от боя.

Эльза. И что вы им ответили?

Ланцелот. Ответил: ах вы, бедные дураки! Не будем говорить о них. Сегодня, Эльза, вы еще красивее, чем вчера. Это верный признак того, что вы действительно нравитесь мне. Вы верите, что я освобожу вас?

Эльза. Нет.

Ланцелот. А я не обижаюсь. Вот как вы мне нравитесь, оказывается.

Вбегают подруги Эльзы.

1-я подруга. А вот и мы!

2-я подруга. Мы — лучшие подруги Эльзы.

3-я подруга. Мы жили душа в душу столько лет, с самого детства.

1-я подруга. Она у нас была самая умная.

2-я подруга. Она была у нас самая славная.

3-я подруга. И все-таки любила нас больше всех. И зашьет, бывало, что попросишь, и поможет решить задачу, и утешит, когда тебе кажется, что ты самая несчастная.

1-я подруга. Мы не опоздали?

2-я подруга. Вы правда будете драться с ним?

3-я подруга. Господин Ланцелот, вы не можете устроить нас на крышу ратуши? Вам не откажут, если вы попросите. Нам так хочется увидеть бой получше.

1-я подруга. Ну вот, вы и рассердились.

2-я подруга. И не хотите разговаривать с нами.

3-я подруга. А мы вовсе не такие плохие девушки.

1-я подруга. Вы думаете, мы нарочно помешали попрощаться с Эльзой.

2-я подруга. А мы не нарочно.

3-я подруга. Это Генрих приказал нам не оставлять вас наедине с ней, пока господин Дракон не разрешит этого...

1-я подруга. Он приказал нам болтать...

2-я подруга. И вот мы болтаем, как дурочки.

3-я подруга. Потому что иначе мы заплакали бы. А вы, приезжий, и представить себе не можете, какой это стыд — плакать при чужих.

Шарлемань выходит из ратуши.

Шарлемань. Заседание закрылось, господин Ланцелот. Решение об оружии для вас вынесено. Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланцелот.

Гремят трубы. Из ратуши выбегают слуги, которые расстилают ковры и устанавливают кресла. Большое и роскошно украшенное кресло ставят они посредине. Вправо и влево — кресла попроще. Выходит бургомистр, окруженный членами городского самоуправления. Он очень весел. Генрих, в парадной ливрее, с ними.

Бургомистр. Очень смешной анекдот... Как она сказала? Я думала, что все мальчики это умеют? Ха-ха-ха! А этот анекдот вы знаете? Очень смешной. Одному цыгану отрубили голову...

Гремят трубы.

Ах, уже все готово... Ну хорошо, я вам расскажу его после церемонии... Напомните мне. Давайте, давайте, господа. Мы скоренько отделаемся.

Члены городского самоуправления становятся вправо и влево от кресла, стоящего посредине. Генрих становится за спинкой этого кресла.

(Кланяется пустому креслу. Скороговоркой.) Потрясенные и взволнованные доверием, которое вы, ваше превосходительство, оказываете нам, разрешая выносить столь важные решения, просим вас занять место почетного председателя. Просим раз, просим два, просим три. Сокрушаемся, но делать нечего. Начнем сами. Садитесь, господа. Объявляю заседоние...

Пауза.

Воды!

Слуга достает воду из колодца. Бургомистр пьет.

Объявляю заседуние... Воды! *(Пьет. Откашливается, очень тоненьким голосом.)* Объявляю *(глубоким басом)* заседание... Воды! *(Пьет. Тоненько.)* Спасибо, голубчик! *(Басом.)* Пошел вон, негодяй! *(Своим голосом.)* Поздравляю вас, господа, у меня началось раздвоение личности. *(Басом.)* Ты что ж это делаешь, старая дура? *(Тоненько.)* Не видишь, что

ли, председательствую. *(Басом.)* Да разве это женское дело? *(Тоненько.)* Да я и сама не рада, касатик. Не сажайте вы меня, бедную, на кол, а дайте огласить протокол. *(Своим голосом.)* Слушали: О снабжении некоего Ланцелота оружием. Постановили: Снабдить, но скрепя сердца. Эй, вы там! Давайте сюда оружие!

Гремят трубы. Входят слуги. Первый слуга подает Ланцелоту маленький медный тазик, к которому прикреплены узенькие ремешки.

Ланцелот. Это тазик от цирюльника.

Бургомистр. Да, но мы назначили его исполняющим обязанности шлема. Медный подносик назначен щитом. Не беспокойтесь! Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированы. Они будут выполнять свои обязанности вполне добросовестно. Рыцарских лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. *(Протягивает Ланцелоту лист бумаги.)* Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину Дракону, и все кончится отлично. Вот вам и все. *(Басом.)* Закрывай заседание, старая дура! *(Тоненьким голосом.)* Да закрываю, закрываю, будь оно проклято. И чего это народ все сердится, сердится, и сам не знает, чего сердится. *(Поет.)* Раз, два, три, четыре, пять, вышел рыцарь погулять... *(Басом.)* Закрывай, окаянная! *(Тоненьким голосом.)* А я что делаю? *(Поет.)* Вдруг Дракончик вылетает, прямо в рыцаря стреляет... Пиф-паф, ой-ой-ой, объявляю заседаньице закрытым.

Часовой. Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство показались над Серыми горами и со страшной быстротой летят сюда.

Все вскакивают и замирают, подняв головы к небу. Далекий гул, который разрастается с ужасающей быстротой. На сцене темнеет. Полная тьма. Гул обрывается.

Смирно! Его превосходительство, как туча, парит над нами, закрыв солнце. Затаите дыхание!

Вспыхивают два зеленоватых огонька.

Кот *(шепотом)*. Ланцелот, это я, кот.

Ланцелот *(шепотом)*. Я сразу тебя узнал по глазам.

Кот. Я буду дремать на крепостной стене. Выбери время, проберись ко мне, и я промурлыкаю тебе нечто крайне приятное...

Часовой. Смирно! Его превосходительство кинулись вниз головами на площадь.

Оглушительный свист и рев. Вспыхивает свет. В большом кресле сидит с ногами крошечный, мертвенно-бледный, пожилой человечек.

Кот *(с крепостной стены)*. Не пугайся, дорогой Ланцелот. Это его третья башка. Он их меняет, когда пожелает.

Бургомистр. Ваше превосходительство! Во вверенном мне городском самоуправлении никаких происшествий не случилось. В околотке один. Налицо...

Дракон *(надтреснутым тенорком, очень спокойно)*. Пошел вон! Все пошли вон! Кроме приезжего.

Все уходят. На сцене Ланцелот, Дракон и кот, который дремлет на крепостной стене, свернувшись клубком.

Как здоровье?

Ланцелот. Спасибо, отлично.

Дракон. А это что за тазики на полу?

Ланцелот. Оружие.

Дракон. Это мои додумались?

Ланцелот. Они.

Дракон. Вот безобразники. Обидно, небось?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам?

Ланцелот. Нет.

Дракон. Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил.

Ланцелот. И все-таки они люди.

Дракон. Это снаружи.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Если бы ты увидел их души — ох, задрожал бы.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только. Нет, нет,

таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы.

Ланцелот. Это ваше счастье.

Дракон. Как так?

Ланцелот. Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что превратились их души. Они на смерть пошли бы, а не остались покоренным народом. Кто бы тогда кормил вас?

Дракон. Черт его знает, может быть, вы и правы. Ну что ж, начнем?

Ланцелот. Давайте.

Дракон. Попрощайтесь сначала с девушкой, ради которой вы идете на смерть. Эй, мальчик!

Вбегает Генрих.

Эльзу!

Генрих убегает.

Вам нравится девушка, которую я выбрал?

Ланцелот. Очень, очень нравится.

Дракон. Это приятно слышать. Мне она тоже очень, очень нравится. Отличная девушка. Послушная девушка.

Входят Эльза и Генрих.

Поди, поди сюда, моя милая. Посмотри мне в глаза. Вот так. Очень хорошо. Глазки ясные. Можешь поцеловать мне руку. Вот так. Славненько. Губки теплые. Значит, на душе у тебя спокойно. Хочешь попрощаться с господином Ланцелотом?

Эльза. Как прикажете, господин Дракон.

Дракон. А я вот как прикажу. Иди. Поговори с ним ласково. *(Тихо.)* Ласково-ласково поговори с ним. Поцелуй его на прощанье. Ничего, ведь я буду здесь. При мне можно. А потом убей его. Ничего, ничего. Ведь я буду здесь. При мне ты это сделаешь. Ступай. Можешь отойти с ним подальше. Ведь я вижу прекрасно. Я все увижу. Ступай.

Эльза подходит к Ланцелоту.

Эльза. Господин Ланцелот, мне приказано попрощаться с вами.

Ланцелот. Хорошо, Эльза. Давайте попрощаемся, на всякий случай. Бой будет серьезный. Мало ли что может случиться. Я хочу на проща-

ние сказать вам, что я вас люблю, Эльза.

Эльза. Меня!

Ланцелот. Да, Эльза. Еще вчера вы мне так понравились, когда я взглянул в окно и увидел, как вы тихонечко идете с отцом своим домой. Потом вижу, что при каждой встрече вы кажетесь мне все красивее и красивее. Ага, подумал я. Вот оно. Потом, когда вы поцеловали лапу Дракону, я не рассердился на вас, а только ужасно огорчился. Ну и тут уже мне все стало понятно. Я, Эльза, люблю вас. Не сердитесь. Я ужасно хотел, чтобы вы знали это.

Эльза. Я думала, что вы все равно вызвали бы Дракона. Даже если бы другая девушка была на моем месте.

Ланцелот. Конечно, вызвал бы. Я их терпеть не могу, Драконов этих. Но ради вас я готов задушить его голыми руками, хотя это очень противно.

Эльза. Вы, значит, меня любите?

Ланцелот. Очень. Страшно подумать! Если бы вчера, на перекрестке трех дорог, я повернул бы не направо, а налево, то мы так и не познакомились бы никогда. Какой ужас, верно?

Эльза. Да.

Ланцелот. Подумать страшно. Мне кажется теперь, что ближе вас никого у меня на свете нет, и город ваш я считаю своим, потому что вы тут живете. Если меня... ну, словом, если нам больше не удастся поговорить, то вы уж не забывайте меня.

Эльза. Нет.

Ланцелот. Не забывайте. Вот вы сейчас первый раз за сегодняшний день посмотрели мне в глаза. И меня всего так и пронизало теплом, как будто вы приласкали меня. Я странник, легкий человек, но вся жизнь моя проходила в тяжелых боях. Тут Дракон, там людоеды, там великаны. Возишься, возишься... Работа хлопотливая, неблагодарная. Но я все-таки был вечно счастлив. Я не уставал. И часто влюблялся.

Эльза. Часто?

Ланцелот. Конечно. Ходишь-бродишь, дерешься и знакомишься с девушками. Ведь они вечно попадают то в плен к разбойникам, то в мешок к великану, то на кухню к людоеду. А эти злодеи всегда выбирают девушек получше, особенно людоеды. Ну вот и влюбишься, бывало. Но разве так, как теперь? С теми я все шутил. Смешил их. А вас, Эльза, если бы мы

были одни, то все целовал бы. Правда. И увел бы вас отсюда. Мы вдвоем шагали бы по лесам и горам, — это совсем не трудно. Нет, я добыл бы вам коня с таким седлом, что вы бы никогда не уставали. И я шел бы у вашего стремени и любовался на вас. И ни один человек не посмел бы вас обидеть.

Эльза берет Ланцелота за руку.

Дракон. Молодец девушка. Приручает его.

Генрих. Да. Она далеко не глупа, ваше превосходительство.

Ланцелот. Эльза, да ты, кажется, собираешься плакать?

Эльза. Собираюсь.

Ланцелот. Почему?

Эльза. Мне жалко.

Ланцелот. Кого?

Эльза. Себя и вас. Не будет нам с вами счастья, господин Ланцелот. Зачем я родилась на свет при Драконе!

Ланцелот. Эльза, я всегда говорю правду. Мы будем счастливы. Поверь мне.

Эльза. Ой, ой, не надо.

Ланцелот. Мы пойдем с тобою по лесной дорожке, веселые и счастливые. Только ты да я.

Эльза. Нет, нет, не надо.

Ланцелот. И небо над нами будет чистое. Никто не посмеет броситься на нас оттуда.

Эльза. Правда?

Ланцелот. Правда. Ах, разве знают в бедном вашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки, вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться и, просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня — вот как ты меня будешь любить. И себя полюбишь тоже. Ты будешь ходить спокойная и гордая. Ты поймешь, что уж раз я тебя такую целую, значит, ты хороша. И деревья в лесу будут ласково разговаривать с нами, и птицы, и звери, потому что настоящие влюбленные все понимают и заодно со всем миром. И все будут рады нам, потому что настоящие влюбленные приносят счастье.

Дракон. Что он ей там напевает?

Генрих. Проповедует. Ученье — свет, а неученье — тьма. Мойте руки перед едой. И тому подобное. Этот сухарь...

Дракон. Ага, ага. Она положила ему руку на плечо! Молодец.

Эльза. Пусть даже мы не доживем до такого счастья. Все равно, я все равно уже и теперь счастлива. Эти чудовища сторожат нас. А мы ушли от них за тридевять земель. Со мной никогда так не говорили, дорогой мой. Я не знала, что есть на земле такие люди, как ты. Я еще вчера была послушная, как собачка, не смела думать о тебе. И все-таки ночью спустилась тихонько вниз и выпила вино, которое оставалось в твоем стакане. Я только сейчас поняла, что это я по-своему, тайно-тайно, поцеловала тебя ночью за то, что ты вступился за меня. Ты не поймешь, как перепутаны все чувства у нас, бедных, забитых девушек. Еще недавно мне казалось, что я тебя ненавижу. А это я по-своему, тайно-тайно, влюблялась в тебя. Дорогой мой! Я люблю тебя, — какое счастье сказать это прямо. И какое счастье... *(Целует Ланцелота.)*

Дракон *(стучит ножками от нетерпения)*. Сейчас сделает, сейчас сделает, сейчас сделает!

Эльза. А теперь пусти меня, милый. *(Освобождается из объятий Ланцелота. Выхватывает нож из ножен.)* Видишь этот нож? Дракон приказал, чтобы я убила тебя этим ножом. Смотри!

Дракон. Ну! Ну! Ну!

Генрих. Делай, делай!

Эльза швыряет нож в колодец.

Презренная девчонка!

Дракон *(гремит)*. Да как ты посмела!..

Эльза. Ни слова больше! Неужели ты думаешь, что я позволю тебе ругаться теперь, после того как он поцеловал меня? Я люблю его. И он убьет тебя.

Ланцелот. Это чистая правда, господин Дракон.

Дракон. Ну-ну. Что ж. Придется подраться. *(Зевает.)* Да откровенно говоря, я не жалею об этом, я тут не так давно разработал очень любопытный удар лапой эн в икс направлении. Сейчас попробуем его на теле. Денщик, позови-ка стражу.

Генрих убегает.

Ступай домой, дурочка, а после боя мы поговорим с тобою обо всем задушевно.

Входит Генрих со стражей.

Слушай, стража, что-то я хотел тебе сказать... Ах, да... Проводи-ка домой эту барышню и посторожи ее там.

Ланцелот делает шаг вперед.

Эльза. Не надо. Береги силы. Когда ты его убьешь, приходи за мной. Я буду ждать тебя и перебирать каждое слово, которое ты сказал мне сегодня. Я верю тебе.

Ланцелот. Я приду за тобой.

Дракон. Ну вот и хорошо. Ступайте.

Стража уводит Эльзу.

Мальчик, сними часового с башни и отправь его в тюрьму. Ночью надо будет отрубить ему голову. Он слышал, как девчонка кричала на меня, и может проболтаться об этом в казарме. Распорядись. Потом придешь смазать мне когти ядом.

Генрих убегает.

(Ланцелоту.) А ты стой здесь, слышишь? И жди. Когда я начну — не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Понял?

Слезает с кресла и уходит во дворец. Ланцелот подходит к коту.

Ланцелот. Ну, кот, что приятное собирался ты промурлыкать мне?

Кот. Взгляни направо, дорогой Ланцелот. В облаке пыли стоит ослик. Брыкается. Пять человек уговаривают упрямца. Сейчас я им спою песенку. *(Мяукает.)* Видишь, как запрыгал упрямец прямо к нам. Но у стены он заупрямится вновь, а ты поговори с погонщиками его. Вот и они.

За стеной — голова осла, который останавливается в облаке пыли. Пять погонщиков кричат на него. Генрих бежит через площадь.

Генрих *(погонщикам)*. Что вы здесь делаете?

Двое погонщиков *(хором)*. Везем товар на рынок, ваша честь.

Генрих. Какой?

Двое погонщиков. Ковры, ваша честь.

Генрих. Проезжайте, проезжайте. У дворца нельзя задерживаться!

Двое погонщиков. Осел заупрямился, ваша честь.

Голос Дракона. Мальчик!

Генрих. Проезжайте, проезжайте! *(Бежит бегом во дворец.)*

Двое погонщиков *(хором)*. Здравствуйте, господин Ланцелот. Мы — друзья ваши, господин Ланцелот. *(Откашливаются разом.)* Кха-кха. Вы не обижайтесь, что мы говорим разом, — мы с малых лет работаем

вместе и так сработались, что и думаем, и говорим, как один человек. Мы даже влюбились в один день и один миг и женились на родных сестрах-близнецах. Мы соткали множество ковров, но самый лучший приготовили мы за нынешнюю ночь, для вас. *(Снимают со спины осла ковер и расстилают его на земле.)*

Ланцелот. Какой красивый ковер!

Двое погонщиков. Да. Ковер лучшего сорта, двойной, шерсть с шелком, краски приготовлены по особому нашему секретному способу. Но секрет ковра не в шерсти, не в шелке, не в красках. *(Негромко.)* Это — ковер-самолет.

Ланцелот. Прелестно! Говорите скорее, как им управлять.

Двое погонщиков. Очень просто, господин Ланцелот. Это — угол высоты, на нем вытканo солнце. Это — угол глубины, на нем выткана земля. Это — угол узорных полетов, на нем вытканы ласточки. А это — Драконов угол. Подымешь его — и летишь круто вниз, прямо врагу на башку. Здесь вытканo кубок с вином и чудесная закуска. Побеждай и пируй. Нет, нет. Не говори нам спасибо. Наши прадеды все поглядывали на дорогу, ждали тебя. Наши деды ждали. А мы вот — дождались.

Уходят быстро, и тотчас же к Ланцелоту подбегает третий погонщик с картонным футляром в руках.

3-й погонщик. Здравствуйте, сударь! Простите. Поверните голову так. А теперь этак. Отлично. Сударь, я шапочных и шляпочных дел мастер. Я делаю лучшие шляпы и шапки в мире. Я очень знаменит в этом городе. Меня тут каждая собака знает.

Кот. И кошка тоже.

3-й погонщик. Вот видите! Без всякой примерки, бросив один взгляд на заказчика, я делаю вещи, которые удивительно украшают людей, и в этом моя радость. Одну даму, например, муж любит, только пока она в шляпе моей работы. Она даже спит в шляпе и признается всюду, что мне она обязана счастьем всей своей жизни. Сегодня я всю ночь работал на вас, сударь, и плакал, как ребенок, с горя.

Ланцелот. Почему?

3-й погонщик. Это такой трагический, особенный фасон. Это шапка-невидимка.

Ланцелот. Прелестно!

3-й погонщик. Как только вы ее наденете, так и исчезнете, и бед-

ный мастер вовеки не узнает, идет она вам или нет. Берите, только не примеряйте при мне. Я этого не перенесу! Нет, не перенесу.

Убегает. Тотчас же к Ланцелоту подходит четвертый погонщик — бородатый, угрюмый человек со свертком на плече. Развертывает сверток. Там меч и копье.

4-й погонщик. На. Всю ночь ковали. Ни пуха тебе, ни пера.

Уходит. К Ланцелоту подбегает пятый погонщик — маленький седой человечек со струнным музыкальным инструментом в руках.

5-й погонщик. Я — музыкальных дел мастер, господин Ланцелот. Еще мой прапрапрадед начал строить этот маленький инструмент. Из поколения в поколение работали мы над ним, и в человеческих руках он стал совсем человеком. Он будет вашим верным спутником в бою. Руки ваши будут заняты копьем и мечом, но он сам позаботится о себе. Он сам даст ля — и настроится. Сам переменит лопнувшую струну, сам заиграет. Когда следует, он будет бисировать, а когда нужно, — молчать. Верно я говорю?

Музыкальный инструмент отвечает музыкальной фразой.

Видите? Мы слышали, мы все слышали, как вы, одинокий, бродили по городу, и спешили, спешили вооружить вас с головы до ног. Мы ждали, сотни лет ждали, Дракон сделал нас тихими, и мы ждали тихо-тихо. И вот дождались. Убейте его и отпустите нас на свободу. Верно я говорю?

Музыкальный инструмент отвечает музыкальной фразой. Пятый погонщик уходит с поклонами.

Кот. Когда начнется бой, мы — я и ослик — укроемся в амбаре позади дворца, чтобы пламя случайно не опалило мою шкурку. Если понадобится, кликни нас. Здесь в поклаже на спине ослика укрепляющие напитки, пирожки с вишнями, точило для меча, запасные наконечники для копья, иголки и нитки.

Ланцелот. Спасибо. *(Становится на ковер. Берет оружие, кладет у ног музыкальный инструмент. Достает шапку-невидимку, надевает ее и исчезает.)*

Кот. Аккуратная работа. Прекрасные мастера. Ты еще тут, дорогой Ланцелот?

Голос Ланцелота. Нет. Я подымаюсь потихоньку. До свиданья, друзья.

Кот. До свиданья, дорогой мой. Ах, сколько треволнений, сколько забот. Нет, быть в отчаянии — это гораздо приятнее. Дремлешь и ничего не ждешь. Верно я говорю, ослик?

Осел шевелит ушами.

Ушами я разговаривать не умею. Давай поговорим, ослик, словами. Мы знакомы мало, но раз уж работаем вместе, то можно и помяукать дружески. Мучение — ждать молча. Помяукаем.

Осел. Мяукать не согласен.

Кот. Ну тогда хоть поговорим. Дракон думает, что Ланцелот здесь, а его и след простыл. Смешно, верно?

Осел *(мрачно)*. Потеха!

Кот. Отчего же ты не смеешься?

Осел. Побьют. Как только я засмеюсь громко, люди говорят: опять этот проклятый осел кричит. И дерутся.

Кот. Ах вот как! Это, значит, у тебя смех такой пронзительный?

Осел. Ага.

Кот. А над чем ты смеешься?

Осел. Как когда... Думаю, думаю, да и вспомню смешное. Лошади меня смешат.

Кот. Чем?

Осел. Так... Дуры.

Кот. Прости, пожалуйста, за нескромность. Я тебя давно вот о чем хотел спросить...

Осел. Ну?

Кот. Как можешь ты есть колючки?

Осел. А что?

Кот. В траве попадаются, правда, съедобные стебельки. А колючки... сухие такие!

Осел. Ничего. Люблю острое.

Кот. А мясо?

Осел. Что мясо?

Кот. Не пробовал есть?

Осел. Мясо — это не еда. Мясо — это поклажа. Его в тележку кладут, дурачок.

Кот. А молоко?

Осел. Вот это в детстве я пил.

Кот. Ну, слава богу, можно будет поболтать о приятных, утешительных предметах.

Осел. Верно. Это приятно вспомнить. Утешительно. Мать добрая. Молоко теплое. Сосешь, сосешь. Рай! Вкусно.

Кот. Молоко и лакать приятно.

Осел. Лакать не согласен.

Кот *(вскакивает)*. Слышишь?

Осел. Стучит копытами, гад.

Тройной вопль Дракона.

Дракон. Ланцелот!

Пауза.

Ланцелот!

Осел. Ку-ку. *(Разражается ослиным хохотом.)* И-а! И-а! И-а!

Дворцовые двери распахиваются. В дыму и пламени смутно виднеются то три гигантские башки, то огромные лапы, то сверкающие глаза.

Дракон. Ланцелот! Полюбуйся на меня перед боем. Где же ты?

Генрих выбегает на площадь. Мечется, ищет Ланцелота, заглядывает в колодец.

Где же он?

Генрих. Он спрятался, ваше превосходительство.

Дракон. Эй, Ланцелот! Где ты?

Звон меча.

Кто посмел ударить меня?!

Голос Ланцелота. Я, Ланцелот!

Полная тьма. Угрожающий рев. Вспыхивает свет. Генрих мчится в ратушу. Шум боя.

Кот. Бежим в укрытие.

Осел. Пора.

Убегают. Площадь наполняется народом. Народ необычайно тих. Все перешептываются, глядя на небо.

1-й горожанин. Как мучительно затягивается бой.

2-й горожанин. Да! Уже две минуты — и никаких результатов.

1-й горожанин. Я надеюсь, что сразу все будет кончено.

2-й горожанин. Ах, мы жили так спокойно... А сейчас время завтракать — и не хочется есть. Ужас! Здравствуйте, господин садовник. Почему вы так грустны?

Садовник. У меня сегодня распустились чайные розы, хлебные розы и винные розы. Посмотришь на них — и ты сыт и пьян. Господин Дракон обещал зайти взглянуть и дать денег на дальнейшие опыты. А теперь он воюет. Из-за этого ужаса могут погибнуть плоды многолетних трудов.

Разносчик *(бойким шепотом)*. А вот кому закопченные стекла? Посмотришь — и увидишь господина Дракона копченым.

Все тихо смеются.

1-й горожанин. Какое безобразие. Ха-ха-ха!

2-й горожанин. Увидишь его копченым, как же!

Покупают стекла.

Мальчик. Мама, от кого Дракон удирает по всему небу?

Все. Тссс!

1-й горожанин. Он не удирает, мальчик, он маневрирует.

Мальчик. А почему он поджал хвост?

Все. Тссс!

1-й горожанин. Хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик.

1-я горожанка. Подумать только! Война идет уже целых шесть минут, а конца ей еще не видно. Все так взволнованы, даже простые торговки подняли цены на молоко втрое.

2-я горожанка. Ах, что там торговки. По дороге сюда мы увидели зрелище, леденящее душу. Сахар и сливочное масло, бледные как смерть, неслись из магазинов на склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат шум боя — так и прячутся.

Крики ужаса. Толпа шарахается в сторону.
Появляется Шарлемань.

Шарлемань. Здравствуйте, господа!

Молчание.

Вы не узнаете меня?

1-й горожанин. Конечно, нет. Со вчерашнего вечера вы стали совершенно неузнаваемым.

Шарлемань. Почему?

Садовник. Ужасные люди. Принимают чужих. Портят настроение Дракону. Это хуже, чем по газону ходить. Да еще спрашивает — почему.

2-й горожанин. Я лично совершенно не узнаю вас после того, как ваш дом окружила стража.

Шарлемань. Да, это ужасно. Не правда ли? Эта глупая стража не пускает меня к родной моей дочери. Говорит, что Дракон никого не велел пускать к Эльзе.

1-й горожанин. Ну что ж. Со своей точки зрения они совершенно правы.

Шарлемань. Эльза там одна. Правда, она очень весело кивала мне в окно, но это, наверное, только для того, чтобы успокоить меня. Ах, я не нахожу себе места!

2-й горожанин. Как, не находите места? Значит, вас уволили с должности архивариуса?

Шарлемань. Нет.

2-й горожанин. Тогда о каком месте вы говорите?

Шарлемань. Неужели вы не понимаете меня?

1-й горожанин. Нет. После того как вы подружились с этим чужаком, мы с вами говорим на разных языках.

Шум боя, удары меча.

Мальчик *(указывает на небо)*. Мама, мама! Он перевернулся вверх ногами. Кто-то бьет его так, что искры летят!

Все. Тссс!

Гремят трубы. Выходят Генрих и бургомистр.

Бургомистр. Слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина Дракона.

1-й горожанин. Вот это правильно.

2-й горожанин. Давно пора.

Мальчик. Мама, а почему вредно смотреть, как его бьют?

Все. Тссс!

Появляются подруги Эльзы.

1-я подруга. Десять минут идет война! Зачем этот Ланцелот не сдается?

2-я подруга. Знает ведь, что Дракона победить нельзя.

3-я подруга. Он просто нарочно мучает нас.

1-я подруга. Я забыла у Эльзы свои перчатки. Но мне все равно теперь. Я так устала от этой войны, что мне ничего не жалко.

2-я подруга. Я тоже стала совершенно бесчувственная. Эльза хотела подарить мне на память свои новые туфли, но я и не вспоминаю о них.

3-я подруга. Подумать только! Если бы не этот приезжий, Дракон давно бы уже увел Эльзу к себе. И мы сидели бы спокойно дома и плакали бы.

Разносчик *(бойко, шепотом)*. А вот кому интересный научный инструмент, так называемое зеркальце, — смотришь вниз, а видишь небо? Каждый за недорогую цену может увидеть Дракона у своих ног.

Все тихо смеются.

1-й горожанин. Какое безобразие! Ха-ха-ха!

2-й горожанин. Увидишь его у своих ног! Дожидайся!

Зеркала раскупают. Все смотрят в них, разбившись на группы. Шум боя все ожесточеннее.

1-я горожанка. Но это ужасно!

2-я горожанка. Бедный Дракон!

1-я горожанка. Он перестал выдыхать пламя.

2-я горожанка. Он только дымится.

1-й горожанин. Какие сложные маневры.

2-й горожанин. По-моему... Нет, я ничего не скажу!

1-й горожанин. Ничего не понимаю...

Генрих. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч. Копье его сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник, не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин Дракон не уничтожает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости.

1-й горожанин. Вот теперь я все понимаю.

Мальчик. Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово, его кто-то лупит по шее.

1-й горожанин. У него три шеи, мальчик.

Мальчик. Ну вот, видите, а теперь его гонят в три шеи.

1-й горожанин. Это обман зрения, мальчик!

Мальчик. Вот я и говорю, что обман. Я сам часто дерусь и понимаю, кого бьют. Ой! Что это?!

1-й горожанин. Уберите ребенка.

2-й горожанин. Я не верю, не верю глазам своим! Врача, глазного врача мне!

1-й горожанин. Она падает сюда. Я этого не перенесу! Не заслоняйте! Дайте взглянуть!..

Голова Дракона с грохотом валится на площадь.

Бургомистр. Коммюнике! Полжизни за коммюнике!

Генрих. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланцелот потерял все и частично захвачен в плен.

Мальчик. Как частично?

Генрих. А так. Это — военная тайна. Остальные его части беспорядочно сопротивляются. Между прочим, господин Дракон освободил от военной службы по болезни одну свою голову, с зачислением ее в резерв первой очереди.

Мальчик. А все-таки я не понимаю...

1-й горожанин. Ну чего тут не понимать? Зубы у тебя падали?

Мальчик. Падали.

1-й горожанин. Ну вот. А ты живешь себе.

Мальчик. Но голова у меня никогда не падала.

1-й горожанин. Мало ли что!

Генрих. Слушайте обзор происходящих событий. Заглавие: почему два, в сущности, больше, чем три? Две головы сидят на двух шеях. Получается четыре. Так. А кроме того, сидят они несокрушимо.

Вторая голова Дракона с грохотом валится на площадь.

Обзор откладывается по техническим причинам. Слушайте коммюнике. Боевые действия развиваются согласно планам, составленным господином Драконом.

Мальчик. И все?

Генрих. Пока все.

1-й горожанин. Я потерял уважение к Дракону на две трети. Господин Шарлемань! Дорогой друг! Почему вы там стоите в одиночестве?

2-й горожанин. Идите к нам, к нам.

1-й горожанин. Неужели стража не впускает вас к единственной дочери? Какое безобразие!

2-й горожанин. Почему вы молчите?

1-й горожанин. Неужели вы обиделись на нас?

Шарлемань. Нет, но я растерялся. Сначала вы не узнавали меня без всякого притворства. Я знаю вас. А теперь так же непритворно вы радуетесь мне.

Садовник. Ах, господин Шарлемань. Не надо размышлять. Это слишком страшно. Страшно подумать, сколько времени я потерял, бегая лизать лапу этому одноголовому чудовищу. Сколько цветов мог вырастить!

Генрих. Прослушайте обзор событий!

Садовник. Отстаньте! Надоели!

Генрих. Мало ли что! Время военное. Надо терпеть. Итак, я начинаю. Един бог, едино солнце, едина луна, едина голова на плечах у нашего повелителя. Иметь всего одну голову — это человечно, это гуманно в высшем смысле этого слова. Кроме того, это крайне удобно и в чисто военном отношении. Это сильно сокращает фронт. Оборонять одну голову втрое легче, чем три.

Третья голова Дракона с грохотом валится на площадь.
Взрыв криков. Теперь все говорят очень громко.

1-й горожанин. Долой Дракона!

2-й горожанин. Нас обманывали с детства!

1-я горожанка. Как хорошо! Некого слушаться?!

2-я горожанка. Я как пьяная! Честное слово.

Мальчик. Мама, теперь, наверное, не будет занятий в школе! Ура!

Разносчик. А вот кому игрушка? Дракошка-картошка! Раз — и нет головы!

Все хохочут во всю глотку.

Садовник. Очень остроумно. Как? Дракон-корнеплод? Сидеть в парке! Всю жизнь! Безвыходно! Ура!

Все. Ура! Долой его! Дракошка-картошка! Бей кого попало!

Генрих. Прослушайте коммюнике!

Все. Не прослушаем! Как хотим, так и кричим! Как желаем, так и лаем! Какое счастье! Бей!

Бургомистр. Эй, стража!

Стража выбегает на площадь.

(Генриху) Говори. Начни помягче, а потом стукни. Смирно!

Все затихают.

Генрих *(очень мягко)*. Прослушайте, пожалуйста, коммюнике. На фронтах ну буквально, буквально-таки ничего интересного не произошло. Все обстоит вполне благополучненько. Объявляется осадное положеньице. За распространение слушков *(грозно)* рубить головы без замены штрафом. Поняли? Все по домам! Стража, очистить площадь!

Площадь пустеет.

Ну? Как тебе понравилось это зрелище?

Бургомистр. Помолчи, сынок.

Генрих. Почему ты улыбаешься?

Бургомистр. Помолчи, сынок.

Глухой, тяжелый удар, от которого содрогается земля. Это тело Дракона рухнуло на землю за мельницей.

1-я голова Дракона. Мальчик!

Генрих. Почему ты потираешь руки, папа?

Бургомистр. Ах, сынок! В руки мне сама собою свалилась власть.

2-я голова. Бургомистр, подойди ко мне! Дай воды! Бургомистр!

Бургомистр. Все идет великолепно, Генрих. Покойник воспитал их так, что они повезут любого, кто возьмет вожжи.

Генрих. Однако сейчас на площади...

Бургомистр. Ах, это пустяки. Каждая собака прыгает, как безумная, когда ее спустишь с цепи, а потом сама бежит в конуру.

3-я голова. Мальчик! Подойди-ка ко мне! Я умираю.

Генрих. А Ланцелота ты не боишься, папа?

Бургомистр. Нет, сынок. Неужели ты думаешь, что Дракона было так легко убить? Вернее всего, господин Ланцелот лежит обессиленный на ковре-самолете и ветер уносит его прочь от нашего города.

Генрих. А если вдруг он спустится...

Бургомистр. То мы с ним легко справимся. Он обессилен, уверяю тебя. Наш дорогой покойник все-таки умел драться. Идем. Напишем первые приказы. Главное — держаться как ни в чем не бывало.

1-я голова. Мальчик! Бургомистр!

Бургомистр. Идем, идем, некогда!

Уходят.

1-я голова. Зачем, зачем я ударил его второй левой лапой? Второй правой надо было.

2-я голова. Эй, кто-нибудь! Ты, Миллер! Ты мне хвост целовал при встрече. Эй, Фридрихсен! Ты подарил мне трубку с тремя мундштуками и надписью: «Твой навеки». Где ты, Анна-Мария-Фредерика Вебер? Ты говорила, что влюблена в меня, и носила на груди кусочки моего когтя в бархатном мешочке. Мы издревле научились понимать друг друга. Где же вы все? Дайте воды. Ведь вот он, колодец, рядом. Глоток! Полглотка! Ну хоть губы смочить.

1-я голова. Дайте, дайте мне начать сначала! Я вас всех передавлю!

2-я голова. Одну капельку, кто-нибудь.

3-я голова. Надо было скроить хоть одну верную душу. Не поддавался материал.

2-я голова. Тише! Я чую, радом кто-то живой. Подойди, дай воды.

Голос Ланцелота. Не могу!

И на площади появляется Ланцелот. Он стоит на ковре-самолете, опираясь на погнутый меч. В руках его шапка-невидимка. У ног музыкальный инструмент.

1-я голова. Ты победил случайно! Если бы я ударил второй правой...

2-я голова. А впрочем, прощай!

3-я голова. Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души... А впрочем, прощай!

2-я голова. Один человек возле, тот, кто убил меня! Вот как кончилась жизнь!

Все три головы *(хором)*. Кончилась жизнь. Прощай! *(Умирают.)*

Ланцелот. Они-то умерли, но и мне что-то нехорошо. Не слушаются руки. Вижу плохо. И слышу все время, как зовет меня кто-то по имени: «Ланцелот, Ланцелот». Знакомый голос. Унылый голос. Не хочется идти. Но, кажется, придется на этот раз. Как ты думаешь — я умираю?

Музыкальный инструмент отвечает.

Да, как тебя послушаешь, это выходит и возвышенно, и благородно. Но мне ужасно нездоровится. Я смертельно ранен. Погоди-ка, погоди... Но Дракон-то убит, вот и легче мне стало дышать. Эльза! Я его победил! Прав-

да, никогда больше не увидеть мне тебя, Эльза! Не улыбнешься ты мне, не поцелуешь, не спросишь: «Ланцелот, что с тобой? Почему ты такой невеселый? Почему у тебя так кружится голова? Почему болят плечи? Кто зовет тебя так упрямо — Ланцелот, Ланцелот?» Это смерть меня зовет, Эльза. Я умираю. Это очень грустно, верно?

Музыкальный инструмент отвечает.

Это очень обидно. Все они спрятались. Как будто победа — это несчастье какое-нибудь. Да погоди же ты, смерть. Ты меня знаешь. Я не раз смотрел тебе в глаза и никогда не прятался. Не уйду! Слышу. Дай мне подумать еще минуту. Все они спрятались. Так. Но сейчас дома они потихоньку-потихоньку приходят в себя. Души у них распрямляются. Зачем, шепчут они, зачем кормили и холили мы это чудовище? Из-за нас умирает теперь на площади человек, один-одинешенек. Ну, уж теперь мы будем умнее! Вон какой бой разыгрался в небе из-за нас. Вон как больно дышать бедному Ланцелоту. Нет уж, довольно, довольно! Из-за слабости нашей гибли самые сильные, самые добрые, самые нетерпеливые. Камни и те поумнели бы. А мы все-таки люди. Вот что шепчут сейчас в каждом доме, в каждой комнатке. Слышишь?

Музыкальный инструмент отвечает.

Да, да, именно так. Значит, я умираю не даром. Прощай, Эльза. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь... Только не верил, что кончится жизнь так скоро. Прощай, город, прощай, утро, день, вечер. Вот и ночь пришла! Эй, вы! Смерть зовет, торопит... Мысли мешаются... Что-то... что-то я не договорил... Эй, вы! Не бойтесь. Это можно — не обижать вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь! Жалейте друг друга. Жалейте — и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чистая правда, самая чистая правда, какая есть на земле. Вот и все. А я ухожу. Прощайте.

Музыкальный инструмент отвечает.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Роскошно обставленный зал во дворце бургомистра. На заднем плане, по обе стороны двери, полукруглые столы, накрытые к ужину. Перед ними, в центре, небольшой стол, на котором лежит толстая книга в золотом переплете. При поднятии занавеса гремит оркестр. Группа горожан кричит, глядя на дверь.

Горожане *(тихо)*. Раз, два, три. *(Громко.)* Да здравствует победитель Дракона! *(Тихо.)* Раз, два, три. *(Громко.)* Да здравствует наш повелитель! *(Тихо.)* Раз, два, три. *(Громко.)* До чего же мы довольны — это уму непостижимо! *(Тихо.)* Раз, два, три. *(Громко.)* Мы слышим его шаги!

Входит Генрих.

(Громко, но стройно.) Ура! Ура! Ура!

1-й горожанин. О славный наш освободитель! Ровно год назад окаянный, антипатичный, нечуткий, противный сукин сын Дракон был уничтожен вами.

Горожане. Ура, ура, ура!

1-й горожанин. С тех пор мы живем очень хорошо. Мы...

Генрих. Стойте, стойте, любезные. Сделайте ударение на очень.

1-й горожанин. Слушаю-с. С тех пор мы живем о-очень хорошо.

Генрих. Нет, нет, любезный. Не так. Не надо нажимать на «о». Получается какой-то двусмысленный завыв: «Оучень». Поднаприте-ка на «ч».

1-й горожанин. С тех пор мы живем очччень хорошо.

Генрих. Во-во! Утверждаю этот вариант. Ведь вы знаете победителя Дракона. Это простой до наивности человек. Он любит искренность, задушевность. Дальше.

1-й горожанин. Мы просто не знаем, куда деваться от счастья.

Генрих. Отлично! Стойте. Вставим здесь что-нибудь этакое — гуманное, добродетельное... Победитель Дракона это любит. *(Щелкает пальцами.)* Стойте, стойте, стойте! Сейчас, сейчас, сейчас! Вот! Нашел! Даже

пташки чирикают весело. Зло ушло — добро пришло! Чик-чирик! Чирик-ура! Повторим.

1-й горожанин. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло — добро пришло, чик-чирик, чирик-ура!

Генрих. Уныло чирикаете, любезный! Смотрите, как бы вам самому не было за это чирик-чирик.

1-й горожанин *(весело)*. Чик-чирик! Чирик-ура!

Генрих. Так-то лучше. Ну-с, хорошо. Остальные куски мы репетировали уже?

Горожане. Так точно, господин бургомистр.

Генрих. Ладно. Сейчас победитель Дракона, президент вольного города выйдет к вам. Запомните — говорить надо стройно и вместе с тем задушевно, гуманно, демократично. Это Дракон разводил церемонии, а мы...

Часовой *(из средней двери)*. Сми-ирно! Равнение на двери! Его превосходительство господин президент вольного города идут по коридору. *(Деревянно. Басом.)* Ах ты душечка! Ах ты благодетель! Дракона убил! Вы подумайте!

Гремит музыка. Входит бургомистр.

Генрих. Ваше превосходительство господин президент вольного города! За время моего дежурства никаких происшествий не случилось! Налицо десять человек. Из них безумно счастливы все... В околотке...

Бургомистр. Вольно, вольно, господа. Здравствуйте, бургомистр. *(Пожимает руку Генриху.)* О! А это кто? А, бургомистр?

Генрих. Сограждане наши помнят, что ровно год назад вы убили Дракона. Прибежали поздравить.

Бургомистр. Да что ты? Вот приятный сюрприз! Ну-ну валяйте.

Горожане *(тихо)*. Раз, два, три. *(Громко.)* Да здравствует победитель Дракона! *(Тихо.)* Раз, два, три. *(Громко.)* Да здравствует наш повелитель...

Входит тюремщик.

Бургомистр. Стойте, стойте! Здравствуй, тюремщик.

Тюремщик. Здравствуйте, ваше превосходительство.

Бургомистр *(горожанам)*. Спасибо, господа. Я и так знаю все, что вы хотите сказать. Черт, непрошеная слеза. *(Смахивает слезу.)* Но тут, понимаете, у нас в доме свадьба, а у меня остались еще кое-какие делишки. Ступайте, а потом приходите на свадьбу. Повеселимся. Кошмар

окончился, и мы теперь живем! Верно?

Горожане. Ура! Ура! Ура.

Бургомистр. Во-во, именно. Рабство отошло в область преданий, и мы переродились. Вспомните, кем я был при проклятом Драконе? Больным, сумасшедшим. А теперь? Здоров как огурчик. О вас я уж и не говорю. Вы у меня всегда веселы и счастливы, как пташки. Ну и летите себе. Живо! Генрих, проводи!

Горожане уходят.

Бургомистр. Ну что там у тебя в тюрьме?

Тюремщик. Сидят.

Бургомистр. Ну а мой бывший помощник как?

Тюремщик. Мучается.

Бургомистр. Ха-ха! Врешь, небось?

Тюремщик. Ей-право, мучается.

Бургомистр. Ну а как все-таки?

Тюремщик. На стену лезет.

Бургомистр. Ха-ха! Так ему и надо! Отвратительная личность. Бывало, рассказываешь анекдот, все смеются, а он бороду показывает. Это, мол, анекдот старый, с бородой. Ну вот и сиди теперь. Мой портрет ему показывал?

Тюремщик. А как же!

Бургомистр. Какой? На котором я радостно улыбаюсь?

Тюремщик. Этот самый.

Бургомистр. Ну и что он?

Тюремщик. Плачет.

Бургомистр. Врешь, небось?

Тюремщик. Ей-право, плачет.

Бургомистр. Ха-ха! Приятно. Ну а ткачи, снабдившие этого... ковром-самолетом?

Тюремщик. Надоели, проклятые. Сидят в разных этажах, а держатся как один. Что один скажет, то и другой.

Бургомистр. Но, однако же, они похудели?

Тюремщик. У меня похудеешь!

Бургомистр. А кузнец?

Тюремщик. Опять решетку перепилил. Пришлось вставить в окно его камеры алмазную.

Бургомистр. Хорошо, хорошо, не жалей расходов. Ну и что он?

Тюремщик. Озадачен.

Бургомистр. Ха-ха! Приятно!

Тюремщик. Шапочник сшил такие шапочки мышам, что коты их не трогают.

Бургомистр. Ну да? Почему?

Тюремщик. Любуются. А музыкант поет, тоску наводит. Я, как захожу к нему, затыкаю уши воском.

Бургомистр. Ладно. Что в городе?

Тюремщик. Тихо. Однако пишут.

Бургомистр. Что?

Тюремщик. Буквы «Л» на стенах. Это значит — Ланцелот.

Бургомистр. Ерунда. Буква «Л» обозначает — любим президента.

Тюремщик. Ага. Значит, не сажать, которые пишут?

Бургомистр. Нет, отчего же. Сажай. Еще чего пишут?

Тюремщик. Стыдно сказать. Президент — скотина. Его сын — мошенник... Президент *(хихикает басом)*... не смею повторить, как они выражаются. Однако больше всего пишут букву «Л».

Бургомистр. Вот чудаки. Дался им этот Ланцелот. А о нем так и нет сведений?

Тюремщик. Пропал.

Бургомистр. Птиц допрашивал?

Тюремщик. Ага.

Бургомистр. Всех?

Тюремщик. Ага. Вот орел мне какую отметину поставил. Клюнул в ухо.

Бургомистр. Ну и что они говорят?

Тюремщик. Говорят, не видали Ланцелота. Один попугай соглашается. Ты ему: видал? И он тебе: видал. Ты ему: Ланцелота? И он тебе: Ланцелота. Ну попугай известно что за птица.

Бургомистр. А змеи?

Тюремщик. Эти сами бы приползли, если бы что узнали. Это свои. Да еще родственники покойнику. Однако не ползут.

Бургомистр. А рыбы?

Тюремщик. Молчат.

Бургомистр. Может, знают что-нибудь?

Т ю р е м щ и к. Нет. Ученые рыбоводы смотрели им в глаза — подтверждают: ничего, мол, им не известно. Одним словом, Л а н ц е л о т, он же Георгий, он же Персей-проходимец, в каждой стране именуемый по-своему, до сих пор не обнаружен.

Б у р г о м и с т р. Ну и шут с ним.

Входит Г е н р и х.

Г е н р и х. Пришел отец счастливой невесты, господин архивариус Шарлемань.

Б у р г о м и с т р. Ага! Ага! Его-то мне и надо. Проси.

Входит Ш а р л е м а н ь.

Ну, ступайте, тюремщик. Продолжайте работать. Я вами доволен.

Т ю р е м щ и к. Мы стараемся.

Б у р г о м и с т р. Старайтесь. Шарлемань, вы знакомы с тюремщиком?

Ш а р л е м а н ь. Очень мало, господин президент.

Б у р г о м и с т р. Ну-ну. Ничего. Может быть, еще познакомитесь поближе.

Т ю р е м щ и к. Взять?

Б у р г о м и с т р. Ну вот, уже сразу и взять. Иди, иди пока. До свиданья.

Тюремщик уходит.

Ну-с, Шарлемань, вы догадываетесь, конечно, зачем мы вас позвали? Всякие государственные заботы, хлопоты, то-се помешали мне забежать к вам лично. Но вы и Эльза знаете из приказов, расклеенных по городу, что сегодня ее свадьба.

Ш а р л е м а н ь. Да, мы это знаем, господин президент.

Б у р г о м и с т р. Нам, государственным людям, некогда делать предложения с цветами, вздохами и так далее. Мы не предлагаем, а приказываем как ни в чем не бывало. Ха-ха! Это крайне удобно. Эльза счастлива?

Ш а р л е м а н ь. Нет.

Б у р г о м и с т р. Ну вот еще... Конечно, счастлива. А вы?

Ш а р л е м а н ь. Я в отчаянии, господин президент...

Б у р г о м и с т р. Какая неблагодарность! Я убил Дракона...

Ш а р л е м а н ь. Простите меня, господин президент, но я не могу в это поверить.

Б у р г о м и с т р. Можете!

Шарлемань. Честное слово, не могу.

Бургомистр. Можете, можете. Если даже я верю в это, то вы и подавно можете.

Шарлемань. Нет.

Генрих. Он просто не хочет.

Бургомистр. Но почему?

Генрих. Набивает цену.

Бургомистр. Ладно. Предлагаю вам должность первого моего помощника.

Шарлемань. Я не хочу.

Бургомистр. Глупости. Хотите.

Шарлемань. Нет.

Бургомистр. Не торгуйтесь, нам некогда. Казенная квартира возле парка, недалеко от рынка, в сто пятьдесят три комнаты, причем все окна выходят на юг. Сказочное жалованье. И кроме того, каждый раз, как вы идете на службу, вам выдаются подъемные, а когда идете домой, — отпускные. Соберетесь в гости — вам даются командировочные, а сидите дома — вам платятся квартирные. Вы будете почти так же богаты, как я. Все. Вы согласны.

Шарлемань. Нет.

Бургомистр. Чего же вы хотите?

Шарлемань. Мы одного хотим — не трогайте нас, господин президент.

Бургомистр. Вот славно — не трогайте! А раз мне хочется? И кроме того, с государственной точки зрения — это очень солидно. Победитель Дракона женится на спасенной им девушке. Это так убедительно. Как вы не хотите понять?

Шарлемань. Зачем вы мучаете нас? Я научился думать, господин президент, это само по себе мучительно, а тут еще эта свадьба. Так ведь можно и с ума сойти.

Бургомистр. Нельзя, нельзя! Все эти психические заболевания — ерунда. Выдумки.

Шарлемань. Ах, боже мой! Как мы беспомощны! То, что город наш совсем-совсем такой же тихий и послушный, как прежде, — это так страшно.

Бургомистр. Что за бред? Почему это страшно? Вы что — решили бунтовать со своей дочкой?

Шарлемань. Нет. Мы гуляли с ней сегодня в лесу и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только ее не станет, я тоже умру.

Бургомистр. Как это не станет? Что за глупости!

Шарлемань. Неужели вы думаете, что она переживет эту свадьбу?

Бургомистр. Конечно. Это будет славный, веселый праздник. Другой бы радовался, что выдает дочку за богатого.

Генрих. Да и он тоже радуется.

Шарлемань. Нет. Я пожилой, вежливый человек, мне трудно сказать вам это прямо в глаза. Но я все-таки скажу. Эта свадьба — большое несчастье для нас.

Генрих. Какой утомительный способ торговаться.

Бургомистр. Слушайте вы, любезный! Больше, чем предложено, не получите! Вы, очевидно, хотите пай в наших предприятиях? Не выйдет! То, что нагло забирал Дракон, теперь в руках лучших людей города. Проще говоря, в моих, и отчасти — Генриха. Это совершенно законно. Не дам из этих денег ни гроша!

Шарлемань. Разрешите мне уйти, господин президент.

Бургомистр. Можете. Запомните только следующее. Первое: на свадьбе извольте быть веселы, жизнерадостны и остроумны. Второе: никаких смертей! Потрудитесь жить столько, сколько будет угодно. Передайте это вашей дочери. Третье: в дальнейшем называйте меня «ваше превосходительство». Видите этот список? Тут пятьдесят фамилий. Все ваши лучшие друзья. Если вы будете бунтовать, все пятьдесят заложников пропадут без вести. Ступайте. Стойте. Сейчас за вами будет послан экипаж. Вы привезете дочку — и чтобы ни-ни! Поняли? Идите!

Шарлемань уходит.

Ну, все идет как по маслу.

Генрих. Что докладывал тюремщик?

Бургомистр. На небе ни облачка.

Генрих. А буква «Л»?

Бургомистмр. Ах, мало ли букв писали они на стенках при Драконе? Пусть пишут. Это им все-таки утешительно, а нам не вредит. Посмот-

ри-ка, свободно это кресло?

Генрих. Ах, папа! *(Ощупывает кресло.)* Никого тут нет. Садись.

Бургомистр. Пожалуйста, не улыбайся. В своей шапке-невидимке он может пробраться всюду.

Генрих. Папа, ты не знаешь этого человека. Он до самого темени набит предрассудками. Из рыцарской вежливости, перед тем как войти в дом, он снимет свою шапку — и стража схватит его.

Бургомистр. За год характер у него мог испортиться. *(Садится.)* Ну, сыночек, ну, мой крошечный, а теперь поговорим о наших делишках. За тобой должок, мое солнышко!

Генрих. Какой, папочка?

Бургомистр. Ты подкупил трех моих лакеев, чтобы они следили за мной, читали мои бумаги и так далее. Верно?

Генрих. Ну что ты, папочка!

Бургомистр. Погоди, сынок, не перебивай. Я прибавил им пятьсот талеров из личных своих средств, чтобы они передавали тебе только то, что я разрешу. Следовательно, ты должен мне пятьсот талеров, мальчугашка.

Генрих. Нет, папа. Узнав об этом, я прибавил им шестьсот.

Бургомистр. А я, догадавшись, тысячу, поросеночек! Следовательно, сальдо получается в мою пользу. И не прибавляй им, голубчик, больше. Они на таких окладах разъелись, развратились, одичали. Того и гляди, начнут на своих бросаться. Дальше. Необходимо будет распутать личного моего секретаря. Беднягу пришлось отправить в психиатрическую лечебницу.

Генрих. Неужели? Почему?

Бургомистр. Да мы с тобой подкупали и перекупали его столько раз в день, что он теперь никак не может сообразить, кому служит. Доносит мне на меня же. Интригует сам против себя, чтобы захватить собственное свое место. Парень честный, старательный, жалко смотреть, как он мучается. Зайдем к нему завтра в лечебницу и установим, на кого он работает, в конце концов. Ах ты мой сыночек! Ах ты мой славненький! На папино место ему захотелось.

Генрих. Ну что ты, папа!

Бургомистр. Ничего, мой малюсенький! Ничего. Дело житейское.

Знаешь, что я хочу тебе предложить? Давай следить друг за другом попросту, по-родственному, как отец с сыном, безо всяких там посторонних. Денег сбережем сколько!

Генрих. Ах, папа, ну что такое деньги!

Бургомистр. И в самом деле. Умрешь, с собой не возьмешь...

Стук копыт и звон колокольчиков.

(Бросается к окну.) Приехала! Приехала наша красавица! Карета какая! Чудо! Украшена Драконовой чешуей! А сама Эльза! Чудо из чудес. Вся в бархате. Нет, все-таки власть — вещь ничего себе... *(Шепотом.)* Допроси ее!

Генрих. Кого?

Бургомистр. Эльзу. Она так молчалива в последние дни. Не знает ли она, где этот... *(оглядывается)* Ланцелот. Допроси осторожно. А я послушаю тут за портьерой. *(Скрывается.)*

Входят Эльза и Шарлемань.

Генрих. Эльза, приветствую тебя. Ты хорошеешь с каждым днем, это очень мило с твоей стороны. Президент переодевается. Он попросил принести свои извинения. Садись в это кресло, Эльза. *(Усаживает ее спиной к портьере, за которой скрывается бургомистр.)* А вы подождите в прихожей, Шарлемань.

Шарлемань уходит с поклоном.

Эльза, я рад, что президент натягивает на себя свои парадные украшения. Мне давно хочется поговорить с тобою наедине, по-дружески, с открытой душой. Почему ты все молчишь? А? Ты не хочешь отвечать? Я ведь по-своему привязан к тебе. Поговори со мной.

Эльза. О чем?

Генрих. О чем хочешь.

Эльза. Я не знаю... Я ничего не хочу.

Генрих. Не может быть. Ведь сегодня твоя свадьба... Ах, опять мне приходится уступать тебя. Но победитель Дракона есть победитель. Я циник, я насмешник, но перед ним и я преклоняюсь. Ты не слушаешь меня?

Эльза. Нет.

Генрих. Ах, Эльза... Неужели я стал совсем чужим тебе? А ведь мы так дружили в детстве. Помнишь, как ты болела корью, а я бегал к тебе

под окна, пока не заболел сам. И ты навещала меня и плакала, что я такой тихий и кроткий. Помнишь?

Эльза. Да.

Генрих. Неужели дети, которые так дружили, вдруг умерли? Неужели в тебе и во мне ничего от них не осталось? Давай поговорим, как в былые времена, как брат с сестрой.

Эльза. Ну хорошо, давай поговорим.

Бургомистр выглядывает из-за портьеры и бесшумно аплодирует Генриху.

Ты хочешь знать, почему я все время молчу?

Бургомистр кивает головой.

Потому что я боюсь.

Генрих. Кого?

Эльза. Людей.

Генрих. Вот как? Укажи, каких именно людей ты боишься. Мы их заточим в темницу, и тебе сразу станет легче.

Бургомистр достает записную книжку.

Ну, называй имена.

Эльза. Нет, Генрих, это не поможет.

Генрих. Поможет, уверяю тебя. Я это испытал на опыте. И сон делается лучше, и аппетит, и настроение.

Эльза. Видишь ли... Я не знаю, как тебе объяснить... Я боюсь всех людей.

Генрих. Ах, вот что... Понимаю. Очень хорошо понимаю. Все люди, и я в том числе, кажутся тебе жестокими. Верно? Ты, может быть, не поверишь мне, но... но я сам их боюсь. Я боюсь отца.

Бургомистр недоумевающе разводит руками,

Боюсь верных наших слуг. И я притворяюсь жестоким, чтобы они боялись меня. Ах, все мы запутались в своей собственной паутине. Говори, говори еще, я слушаю.

Бургомистр понимающе кивает.

Эльза. Ну что же я еще могу сказать тебе... Сначала я сердилась, потом горевала, потом все мне стало безразлично. Я теперь так послушна, как никогда не была. Со мною можно делать все что угодно.

Бургомистр хихикает громко. Испуганно прячется за портьеру. Эльза оглядывается.

Кто это?

Генрих. Не обращай внимания. Там готовятся к свадебному пиршеству. Бедная моя, дорогая сестренка. Как жалко, что исчез, бесследно исчез Ланцелот. Я только теперь понял его. Это удивительный человек. Мы все виноваты перед ним. Неужели нет надежды, что он вернется?

Бургомистр опять вылез из-за портьеры. Он — весь внимание.

Эльза. Он... Он не вернется.

Генрих. Не надо так думать. Мне почему-то кажется, что мы еще увидим его.

Эльза. Нет.

Генрих. Поверь мне!

Эльза. Мне приятно, когда ты говоришь это, но... Нас никто не слышит?

Генрих. Конечно, никто, дорогая. Сегодня праздник. Все шпионы отдыхают.

Бургомистр приседает за спинкой кресла.

Эльза. Видишь ли... Я знаю, что с Ланцелотом.

Генрих. Не надо, не говори, если тебе это мучительно.

Бургомистр грозит ему кулаком.

Эльза. Нет, я так долго молчала, что сейчас мне хочется рассказать тебе все. Мне казалось, что никто, кроме меня, не поймет, как это грустно, — уж в таком городе я родилась. Но ты так внимательно слушаешь меня сегодня... Словом... Ровно год, назад, когда кончался бой, кот побежал на дворцовую площадь. И он увидел: белый-белый как смерть Ланцелот стоит возле мертвых голов Дракона. Он опирался на меч и улыбался, чтобы не огорчить кота. Кот бросился ко мне позвать меня на помощь. Но стража так старательно охраняла меня, что муха не могла пролететь в дом. Они прогнали кота.

Генрих. Грубые солдаты!

Эльза. Тогда он позвал знакомого своего осла. Уложив раненого ему на спину, он вывел осла глухими закоулками прочь из нашего города.

Генрих. Но почему?

Эльза. Ах, Ланцелот был так слаб, что люди могли бы убить его. И вот они отправились по тропинке в горы. Кот сидел возле раненого и слушал, бьется ли его сердце.

Генрих. Оно билось, надеюсь?

Эльза. Да, но только все глуше и глуше. И вот кот крикнул: «Стой!» И осел остановился. Уже наступила ночь. Они взобрались высоко-высоко в горы, и вокруг было так тихо, так холодно. «Поворачивай домой! — сказал кот. — Теперь люди уже не обидят его. Пусть Эльза простится с ним, а потом мы его похороним».

Генрих. Он умер, бедный!

Эльза. Умер, Генрих. Упрямый ослик сказал: поворачивать не согласен. И пошел дальше. А кот вернулся — ведь он так привязан к дому. Он вернулся, рассказал мне все, и теперь я никого не жду. Все кончено.

Бургомистр. Ура! Все кончено! *(Пляшет, носится по комнате.)* Все кончено! Я — полный владыка над всеми! Теперь уж совсем некого бояться. Спасибо. Эльза! Вот это праздник! Кто осмелится сказать теперь, что это не я убил Дракона? Ну, кто?

Эльза. Он подслушивал?

Генрих. Конечно.

Эльза. И ты знал это?

Генрих. Ах, Эльза, не изображай наивную девочку. Ты сегодня, слава богу, замуж выходишь!

Эльза. Папа! Папа!

Вбегает Шарлемань.

Шарлемань. Что с тобою, моя маленькая? *(Хочет обнять ее.)*

Бургомистр. Руки по швам! Стойте навытяжку перед моей невестой!

Шарлемань *(вытянувшись)*. Не надо, успокойся. Не плачь. Что ж поделаешь? Тут уж ничего не поделаешь. Что ж тут поделаешь?

Гремит музыка.

Бургомистр *(подбегает к окну)*. Как славно! Как уютно! Гости приехали на свадьбу. Лошади в лентах! На оглоблях фонарики! Как прекрасно жить на свете и знать, что никакой дурак не может помешать этому. Улыбайся же, Эльза. Секунда в секунду, в назначенный срок, сам президент вольного города заключит тебя в свои объятия.

Двери широко распахиваются.

Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогие гости.

Входят гости. Проходят парами мимо Эльзы и бургомистра. Говорят чинно, почти шепотом.

1-й горожанин. Поздравляем жениха и невесту. Все так радуются.

2-й горожанин. Дома украшены фонариками.

1-й горожанин. На улице светло как днем!

2-й горожанин. Все винные погреба полны народу.

Мальчик. Все дерутся и ругаются.

Гости. Тссс!

Садовник. Позвольте поднести вам колокольчики. Правда, звенят немного печально, но это ничего. Утром они завянут и успокоятся.

1-я подруга Эльзы. Эльза, милая, постарайся быть веселой. А то я заплачу и испорчу ресницы, которые так удались мне сегодня.

2-я подруга. Ведь он все-таки лучше, чем Дракон... У него есть руки, ноги, а чешуи нету. Ведь все-таки он хоть и президент, а человек. Завтра ты нам все расскажешь. Это будет так интересно!

3-я подруга. Ты сможешь делать людям так много добра! Вот, например, ты можешь попросить жениха, чтобы он уволил начальника моего папы. Тогда папа займет его место, будет получать вдвое больше жалованья, и мы будем так счастливы.

Бургомистр *(считает вполголоса гостей)*. Раз, два, три, четыре. *(Потом приборы.)* Раз, два, три... Так... Один гость как будто лишний... Ах, да это мальчик... Ну-ну, не реви. Ты будешь есть из одной тарелки с мамой. Все в сборе. Господа, прошу за стол. Мы быстро и скромно совершим обряд бракосочетания, а потом приступим к свадебному пиру. Я достал рыбу, которая создана для того, чтобы ее ели. Она смеется от радости, когда ее варят, и сама сообщает повару, когда готова. А вот индюшка, начиненная собственными индюшатами. Это так уютно, так семейственно. А вот поросята, которые не только откармливались, но и воспитывались специально для нашего стола. Они умеют служить и подавать лапку, несмотря на то что они зажарены. Не визжи, мальчик, это совсем не страшно, а потешно. А вот вина, такие старые, что впали в детство и прыгают, как маленькие, в своих бутылках. А вот водка, очищенная до того, что графин кажется пустым. Позвольте, да он и в самом деле пустой. Это под-

лецы лакеи очистили его. Но это ничего, в буфете еще много графинов. Как приятно быть богатым, господа! Все уселись? Отлично. Постойте-постойте, не надо есть, сейчас мы обвенчаемся. Одну минутку! Эльза! Дай лапку!

Эльза протягивает руку бургомистру.

Плутовка! Шалунья! Какая теплая лапка! Мордочку выше! Улыбайся! Все готово, Генрих?

Генрих. Так точно, господин президент.

Бургомистр. Делай.

Генрих. Я плохой оратор, господа, и боюсь, что буду говорить несколько сумбурно. Год назад самоуверенный проходимец вызвал на бой проклятого Дракона. Специальная комиссия, созданная городским самоуправлением, установила следующее: покойный наглец только раздразнил покойное чудовище, неопасно ранив его. Тогда бывший наш бургомистр, а ныне президент вольного города, героически бросился на Дракона и убил его, уже окончательно, совершив различные чудеса храбрости.

Аплодисменты.

Чертополох гнусного рабства был с корнем вырван из почвы нашей общественной нивы.

Аплодисменты.

Благодарный город постановил следующее: если мы проклятому чудовищу отдавали лучших наших девушек, то неужели мы откажем в этом простом и естественном праве нашему дорогому избавителю!

Аплодисменты.

Итак, чтобы подчеркнуть величие президента, с одной стороны, и послушание и преданность города, с другой стороны, я, бургомистр, совершу сейчас обряд бракосочетания. Орган, свадебный гимн!

Гремит орган.

Писцы! Откройте книгу записей счастливых событий.

Входят писцы с огромными автоматическими перьями в руках.

Четыреста лет в эту книгу записывали имена бедных девушек, обреченных Дракону. Четыреста страниц заполнены. И впервые на четыреста первой мы впишем имя счастливицы, которую возьмет в жены храбрец, унич-

тоживший чудовище.

Аплодисменты.

Жених, отвечай мне по чистой совести. Согласен ли ты взять в жены эту девушку?

Бургомистр. Для блага родного города я способен на все.

Аплодисменты.

Генрих. Записывайте, писцы! Осторожнее! Поставишь кляксу — заставлю слизать языком! Так! Ну вот и все. Ах, виноват! Осталась еще одна пустая формальность. Невеста! Ты, конечно, согласна стать женою господина президента вольного города?

Пауза.

Ну, отвечай-ка, девушка, согласна ли ты...

Эльза. Нет.

Генрих. Ну вот и хорошо. Пишите, писцы, — она согласна.

Эльза. Не смейте писать!

Писцы отшатываются.

Генрих. Эльза, не мешай нам работать.

Бургомистр. Но, дорогой мой, она вовсе и не мешает. Если девушка говорит «нет», это значит «да». Пишите, писцы!

Эльза. Нет! Я вырву этот лист из книги и растопчу его!

Бургомистр. Прелестные девичьи колебания, слезы, грезы, то-се. Каждая девушка плачет на свой лад перед свадьбой, а потом бывает вполне удовлетворена. Мы сейчас подержим ее за ручки и сделаем все, что надо. Писцы...

Эльза. Дайте мне сказать хоть одно слово! Пожалуйста!

Генрих. Эльза!

Бургомистр. Не кричи, сынок. Все идет как полагается. Невеста просит слова. Дадим ей слово и на этом закончим официальную часть. Ничего, ничего, пусть здесь все свои.

Эльза. Друзья мои, друзья! Зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Когда разбойник занес над тобою нож, ты еще можешь спастись. Разбойника убьют, или ты ускользнешь от него... Ну а если нож разбойника вдруг сам бросится на тебя? И веревка его поползет к тебе, как змея, чтобы связать по рукам и по ногам? Если даже занавеска с окна его,

тихая занавесочка, вдруг тоже бросится на тебя, чтобы заткнуть тебе рот? Что вы все скажете тогда? Я думала, что все вы только послушны Дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники! Я не виню вас, вы сами этого не замечаете, но я умоляю вас — опомнитесь! Неужели Дракон не умер, а, как это бывало с ним часто, обратился в человека? Только превратился он на этот раз во множество людей, и вот они убивают меня. Не убивайте меня! Очнитесь! Боже мой, какая тоска... Разорвите паутину, в которой вы все запутались. Неужели никто не вступится за меня?

Мальчик. Я бы вступился, но мама держит меня за руки.

Бургомистр. Ну вот и все. Невеста закончила свое выступление. Жизнь идет по-прежнему, как ни в чем не бывало.

Мальчик. Мама!

Бургомистр. Молчи, мой маленький. Будем веселиться как ни в чем не бывало. Довольно этой канцелярщины, Генрих. Напишите там: «Брак считается совершившимся» — и давайте кушать. Ужасно кушать хочется.

Генрих. Пишите писцы: брак считается совершившимся. Ну, живее! Задумались?

Писцы берутся за перья. Громкий стук в дверь. Писцы отшатываются.

Бургомистр. Кто там?

Молчание.

Эй, вы там! Кто бы вы ни были, завтра, завтра, в приемные часы, через секретаря. Мне некогда! Я тут женюсь!

Снова стук.

Не открывать дверей! Пишите, писцы!

Дверь распахивается сама собой. За дверью — никого.

Генрих, ко мне! Что это значит?

Генрих. Ах, папа, обычная история. Невинные жалобы нашей девицы растревожили всех этих наивных обитателей рек, и, озер. Домовой прибежал с чердака, водяной вылез из колодца... Ну и пусть себе... Что они нам могут сделать. Они так невидимы и бессильны, как так называемая совесть и тому подобное. Ну приснится нам два-три страшных сна — и все тут.

Бургомистр. Нет, это он!

Генрих. Кто?

Бургомистр. Ланцелот. Он в шапке-невидимке. Он стоит возле. Он слушает, что мы говорим. И его меч висит над моей головой.

Генрих. Дорогой папаша! Если вы не придете в себя, то я возьму власть в свои руки.

Бургомистр. Музыка! Играй! Дорогие гости! Простите эту невольную заминку, но я так боюсь сквозняков. Сквозняк открыл двери — и все тут. Эльза, успокойся, крошка! Я объявляю брак состоявшимся с последующим утверждением. Что это? Кто там бежит?

Вбегает перепуганный лакей.

Лакей. Берите обратно! Берите обратно!

Бургомистр. Что брать обратно?

Лакей. Берите обратно ваши проклятые деньги! Я больше не служу у вас!

Бургомистр. Почему?

Лакей. Он убьет меня за все мои подлости. *(Убегает.)*

Бургомистр. Кто убьет его? А? Генрих?

Вбегает второй лакей.

2-й лакей. Он уже идет по коридору! Я поклонился ему в пояс, а он мне не ответил! Он теперь и не глядит на людей. Ох, будет нам за все! Ох, будет! *(Убегает.)*

Бургомистр. Генрих!

Генрих. Держитесь как ни в чем не бывало. Что бы ни случилось. Это спасет нас.

Появляется третий лакей, пятясь задом. Кричит в пространство.

3-й лакей. Я докажу! Моя жена может подтвердить! Я всегда осуждал ихнее поведение! Я брал с них деньги только на нервной почве. Я свидетельство принесу! *(Исчезает.)*

Бургомистр. Смотри! Генрих. Как ни в чем не бывало! Ради бога, как ни в чем не бывало!

Входит Ланцелот.

Бургомистр. А, здравствуйте, вот кого не ждали. Но тем не менее — добро пожаловать. Приборов не хватает... но ничего. Вы будете есть из

глубокой тарелки, а я из мелкой. Я бы приказал принести, но лакеи, дурачки, разбежались... А мы тут венчаемся, так сказать, хе-хе-хе, дело, так сказать, наше личное, интимное. Так уютно... Знакомьтесь, пожалуйста. Где же гости? Ах, они уронили что-то и ищут это под столом. Вот сын мой, Генрих. Вы, кажется, встречались. Он такой молодой, а уже бургомистр. Сильно выдвинулся после того, как я... после того, как мы... Ну, словом, после того, как Дракон был убит. Что же вы? Входите, пожалуйста.

Генрих. Почему вы молчите?

Бургомистр. И в самом деле, что же вы? Как доехали? Что слышно? Не хотите ли отдохнуть с дороги? Стража вас проводит.

Ланцелот. Здравствуй, Эльза!

Эльза. Ланцелот! *(Подбегает к нему.)* Сядь, пожалуйста, сядь. Войди. Это в самом деле ты?

Ланцелот. Да, Эльза.

Эльза. И руки у тебя теплы. И волосы чуть подросли, пока мы не виделись. Или мне это кажется? А плащ все тот же. Ланцелот! *(Усаживает его за маленький стол, стоящий в центре.)* Выпей вина. Или нет, ничего не бери у них. Ты отдохни, и мы уйдем. Папа! Он пришел, папа! Совсем как в тот вечер. Как раз тогда, когда мы с тобой опять думали, что нам только одно и осталось — взять да умереть тихонько. Ланцелот!

Ланцелот. Значит, ты меня любишь по-прежнему?

Эльза. Папа, слышишь? Мы столько раз мечтали, что он войдет и спросит: Эльза, ты меня любишь по-прежнему? А я отвечу: да, Ланцелот! А потом спрошу: где ты был так долго?

Ланцелот. Далеко-далеко, в Черных горах.

Эльза. Ты сильно болел?

Ланцелот. Да, Эльза. Ведь быть смертельно раненным — это очень, очень опасно.

Эльза. Кто ухаживал за тобой?

Ланцелот. Жена одного дровосека. Добрая, милая женщина. Только она обижалась, что я в бреду все время называл ее — Эльза.

Эльза. Значит, и ты без меня тосковал?

Ланцелот. Тосковал.

Эльза. А я как убивалась! Меня мучили тут.

Бургомистр. Кто? Не может быть! Почему же вы не пожаловались нам!

Мы приняли бы меры!

Ланцелот. Я знаю все, Эльза.

Эльза. Знаешь?

Ланцелот. Да.

Эльза. Откуда?

Ланцелот. В Черных горах, недалеко от хижины дровосека, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, жалобная книга, исписанная почти до конца. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным прежним, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Записаны, записаны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно.

Генрих и бургомистр на цыпочках направляются к двери.

Эльза. И ты прочел там о нас?

Ланцелот. Да, Эльза. Эй, вы там! Убийцы! Ни с места!

Бургомистр. Ну почему же так резко?

Ланцелот. Потому что я не тот, что год назад. Я освободил вас, а вы что сделали?

Бургомистр. Ах, боже мой! Если мною недовольны, я уйду в отставку.

Ланцелот. Никуда вы не уйдете!

Генрих. Совершенно правильно. Как он тут без вас вел себя — это уму непостижимо. Я могу вам представить полный список его преступлений, которые еще не попали в жалобную книгу, а только намечены к исполнению.

Ланцелот. Замолчи!

Генрих. Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.

Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Генрих. Уйдем, папа. Он ругается.

Ланцелот. Нет, ты не уйдешь. Я уже месяц как вернулся Эльза.

Эльза. И не зашел ко мне!

Ланцелот. Зашел, но в шапке-невидимке, рано утром. Я тихо поцеловал тебя, так, чтобы ты не проснулась. И пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Читать было тяжело, а своими глазами увидеть

— еще хуже. Эй вы, Миллер!

Первый горожанин поднимается из-под стола.

Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали бургомистру: «Слава тебе, победитель Дракона!»

1-й горожанин. Это верно. Плакал. Но я не притворялся, господин Ланцелот.

Ланцелот. Но ведь вы знали, что Дракона убил не он.

1-й горожанин. Дома знал... а на параде... *(Разводит руками.)*

Ланцелот. Садовник!

Садовник поднимается из-под стола.

Вы учили львиный зев кричать: «Ура президенту!»?

Садовник. Учил.

Ланцелот. И научили?

Садовник. Да. Только, покричав, львиный зев каждый раз показывал мне язык. Я думал, что добуду деньги на новые опыты... но...

Ланцелот. Фридрихсен!

Второй горожанин вылезает из-под стола.

Бургомистр, рассердившись на вас, посадил вашего единственного сына в подземелье?

2-й горожанин. Да. Мальчик и так все кашляет, а в подземелье сырость!

Ланцелот. И вы подарили после того бургомистру трубку надписью: «Твой навеки»?

2-й горожанин. А как еще я мог смягчить его сердце?

Ланцелот. Что мне делать с вами?

Бургомистр. Плюнуть на них. Эта работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно управимся с ними. Это будет лучшее наказание для этих людишек. Берите под руку Эльзу и оставьте нас жить по-своему. Это будет так гуманно, так демократично.

Ланцелот. Не могу. Войдите, друзья!

Входят ткачи, кузнец, шляпочных и шапочных дел мастер, музыкальных дел мастер.

И вы меня очень огорчили. Я думал, что вы справитесь с ними без меня.

Почему вы послушались и пошли в тюрьму? Ведь вас так много!

Ткачи. Они не дали нам опомниться.

Ланцелот. Возьмите этих людей. Бургомистра и президента.

Ткачи *(берут бургомистра и президента.)* Идем!

Кузнец. Я сам проверил решетки. Крепкие. Идем!

Шапочных дел мастер. Вот вам дурацкие колпаки! Я делал прекрасные шляпы, но вы в тюрьме ожесточили меня. Идем!

Музыкальных дел мастер. Я в своей камере вылепил скрипку из черного хлеба и сплел из паутины струны. Невесело играет моя скрипка и тихо, но вы сами в этом виноваты. Идите под нашу музыку туда, откуда нет возврата.

Генрих. Но это ерунда, это неправильно, так не бывает. Бродяга, нищий, непрактичный человек — и вдруг...

Ткачи. Идем!

Бургомистр. Я протестую, это негуманно!

Ткачи. Идем!

Мрачная, простая, едва слышная музыка. Генриха и бургомистра уводят.

Ланцелот. Эльза, я не тот, что был прежде. Видишь?

Эльза. Да. Но я люблю тебя еще больше.

Ланцелот. Нам нельзя будет уйти...

Эльза. Ничего. Ведь и дома бывает очень весело.

Ланцелот. Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить Дракона.

Мальчик. А нам будет больно?

Ланцелот. Тебе нет.

1-й горожанин. А нам?

Ланцелот. С вами придется повозиться.

Садовник. Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас — будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры — тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода.

1-я подруга. И пусть сегодня свадьба все-таки состоится.

2-я подруга. Потому что от радости люди тоже хорошеют.

Ланцелот. Верно! Эй, музыка!

Гремит музыка.

Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!

Занавес

1943

ЗОЛУШКА

Киносценарий

Скромный ситцевый занавес. Тихая, скромная музыка. На занавеси появляется надпись:

ЗОЛУШКА.
СТАРИННАЯ СКАЗКА.
КОТОРАЯ РОДИЛАСЬ
МНОГО, МНОГО ВЕКОВ НАЗАД,
И С ТЕХ ПОР ВСЕ ЖИВЕТ ДА ЖИВЕТ,
И КАЖДЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ НА СВОЙ ЛАД

Пока эти слова пробегают по скромному ситцевому занавесу, он постепенно преображается. Цветы на нем оживают. Ткань тяжелеет. Вот занавес уже бархатный, а не ситцевый. А надписи сообщают:

МЫ СДЕЛАЛИ
ИЗ ЭТОЙ СКАЗКИ
МУЗЫКАЛЬНУЮ КОМЕДИЮ,
ПОНЯТНУЮ ДАЖЕ САМОМУ ВЗРОСЛОМУ ЗРИТЕЛЮ

Теперь и музыка изменилась — она стала танцевальной, праздничной, и пока проходят остальные полагающиеся в начале картины надписи, занавес покрывается золотыми узорами. Он светится теперь. Он весь приходит в движение, как будто он в нетерпении, как будто ему хочется скорее, скорее открыться.

И вот, едва последняя надпись успевает исчезнуть, как занавес с мелодичным звоном раздвигается. За занавесом ворота, на которых написано:

ВХОД В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ

Два бородатых привратника чистят не спеша бронзовые буквы надписи. Раздается торжественный марш. Вбегают, строго сохраняя строй, пышно одетые музыканты.

За ними галопом влетает король. Вид у него крайне озабоченный, как у хорошей хозяйки во время большой уборки. Полы его мантии

подколоты булавками, под мышкой метелка для обметания пыли, корона сдвинута набекрень.

За королем бежит почетный караул — латники в шлемах с копьями. Король останавливается у ворот, и музыканты разом обрывают музыку.

Король. Здорово, привратники сказочного королевства!

Привратники. Здравия желаем, ваше королевское величество!

Король. Вы что, с ума сошли?!

Привратники. Никак нет, ваше величество, ничего подобного!

Король *(все более и более раздражаясь)*. Спорить с королем! Какое сказочное свинство! Раз я говорю: сошли, — значит, сошли! Во дворце сегодня праздник. Вы понимаете, какое великое дело — праздник! Порадовать людей, повеселить, приятно удивить — что может быть величественнее? Я с ног сбился, а вы? Почему ворота еще не отперты, а? *(Швыряет корону на землю.)* Ухожу, к черту, к дьяволу, в монастырь! Живите сами как знаете. Не желаю я быть королем, если мои привратники работают еле-еле, да еще с постными лицами.

1-й привратник. Ваше величество, у нас лица не постные!

Король. А какие же?

1-й привратник. Мечтательные.

Король. Врешь!

1-й привратник. Ей-богу, правда!

Король. О чем же вы мечтаете?

2-й привратник. О предстоящих удивительных событиях. Ведь будут чудеса нынче вечером во дворце на балу.

1-й привратник. Вот видите, ваше величество, о чем мы размышляем.

2-й привратник. А вы нас браните понапрасну.

Король. Ну ладно, ладно. Если бы ты был королем, может, еще хуже ворчал бы. Подай мне корону. Ладно! Так и быть, остаюсь на престоле. Значит, говоришь, будут чудеса?

1-й привратник. А как же! Вы — король сказочный? Сказочный! Живем мы в сказочном королевстве? В сказочном!

2-й привратник. Правое ухо у меня с утра чесалось? Чесалось! А это уже всегда к чему-нибудь трогательному, деликатному, завлекательному и благородному.

Король. Ха-ха! Это приятно. Ну, открывай ворота! Довольно чистить. И так красиво.

Привратники поднимают с травы огромный блестящий ключ, вкладывают в замочную скважину и поворачивают его в замке. И ворота, повторяя ту же мелодию, с которой раздвигался занавес, широко распахиваются.

Перед нами — сказочная страна.

Это страна прежде всего необыкновенно уютная. Так уютны бывают только игрушки, изображающие деревню, стадо на лугу, озера с лебедями и тому подобные мирные, радующие явления.

Дорога вьется между холмами. Она вымощена узорным паркетом и так и сияет на солнце, до того она чистая. Под тенистыми деревьями поблескивают удобные диванчики для путников.

Король и привратники любуются несколько мгновений своей уютной страной.

Король. Все как будто в порядке? А, привратники? Не стыдно гостям показать? Верно я говорю?

Привратники соглашаются.

Король. До свидания, привратники. Будьте вежливы! Всем говорите: добро пожаловать! И смотрите у меня, не напейтесь!

Привратники. Нет, ваше величество, мы — люди разумные, мы пьем только в будни, когда не ждешь ничего интересного. А сегодня что-то будет, что-то будет! До свидания, ваше величество! Бегите, ваше величество! Будьте покойны, ваше величество!

Король подает знак музыкантам, гремит марш. Король устремляется вперед по дороге.

Уютная усадьба, вся в зелени и цветах. За зеленой изгородью стоит очень рослый и очень смирный человек. Он низко кланяется королю, вздрагивает и оглядывается.

Король. Здравствуйте, господин лесничий!

Лесничий. Здравствуйте, ваше королевское величество!

Король. Слушайте, лесничий, я давно вас хотел спросить: отчего вы в последнее время все вздрагиваете и оглядываетесь? Не завелось ли в лесу чудовище, угрожающее вам смертью?

Л е с н и ч и й. Нет, ваше величество, чудовище я сразу заколол бы!

К о р о л ь. А может быть, у нас в лесах появились разбойники?

Л е с н и ч и й. Что вы, государь, я бы их сразу выгнал вон!

К о р о л ь. Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас?

Л е с н и ч и й. Нет, ваше величество, я с ним давно расправился бы!

К о р о л ь. Что же довело вас до такого состояния?

Л е с н и ч и й. Моя жена, ваше величество! Я человек отчаянный и храбрый, но только в лесу. А дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр.

К о р о л ь. Ну да?!

Л е с н и ч и й. Клянусь вам! Я женился на женщине прехорошенькой, но суровой, и они вьют из меня веревки. Они, государь, — моя супруга и две ее дочери от первого брака. Они вот уже три дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, государь, — это я и моя бедная крошечная родная дочка, ставшая столь внезапно, по вине моей влюбчивости, падчерицей.

К о р о л ь *(срывает с себя корону и бросает на землю)*. Ухожу, к черту, к дьяволу, в монастырь, если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами как знаете! Стыдно, стыдно, лесничий!

Л е с н и ч и й. Ах, государь, не спешите осуждать меня. Жена моя — женщина особенная. Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. А вы сердитесь!

К о р о л ь. Ну хорошо, хорошо! Эй! вы там! Подайте мне корону. Так уж и быть, остаюсь на престоле. Забудьте все, лесничий, и приходите на бал. И родную свою дочку тоже захватите с собой.

При этих словах короля плющ, закрывающий своими побегами окна нижнего этажа, раздвигается. Очень молоденькая и очень милая, растрепанная и бедно одетая девушка выглядывает оттуда. Она, очевидно, услышала последние слова короля. Она так и впилась глазами в лесничего, ожидая его ответа.

— Золушку? Нет, что вы, государь, она совсем еще крошка!

Девушка вздыхает и опускает голову.

— Ну, как хотите, но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Прощайте!

И король со свитой уносится прочь по королевской дороге.

А девушка в окне вздыхает печально. И листья плюща отвечают ей сочувственным вздохом, шелестом, шорохом.

Девушка вздыхает еще печальнее, и листья плюща вздыхают с нею еще громче.

Девушка начинает петь тихонько. Стена и плющ исчезают. Мы видим просторную кухню со сводчатым потолком, огромным очагом, полками с посудой. Девушка поет:

Дразнят Золушкой меня,
Оттого что у огня,
Силы не жалея,
В кухне я тружусь, тружусь,
С печкой я вожусь, вожусь,
И всегда в золе я.

Оттого что я добра,
Надрываюсь я с утра
До глубокой ночи.
Всякий может приказать,
А спасибо мне сказать
Ни один не хочет.

Оттого что я кротка,
Я чернее уголька.
Я не виновата.
Ах, я беленькой была!
Ах, я миленькой слыла,
Но давно когда-то!

Прячу я печаль мою.
Я не плачу, а пою,
Улыбаюсь даже.
Но неужто никогда

Не уйти мне никуда
От золы и сажи!

— Тут все свои, — говорит Золушка, кончив песню и принимаясь за уборку,— огонь, очаг, кастрюли, сковородки, метелка, кочерга. Давайте, друзья, поговорим по душам.

В ответ на это предложение огонь в очаге вспыхивает ярче, сковородки, начищенные до полного блеска, подпрыгивают и звенят, кочерга и метелка шевелятся, как живые, в углу, устраиваются поудобней.

— Знаете, о чем я думаю? Я думаю вот о чем: мачеху и сестриц позвали на бал, а меня — нет. С ними будет танцевать принц, а обо мне он даже и не знает. Они там будут есть мороженое, а я не буду, хотя никто в мире не любит его так, как я! Это несправедливо, верно?

Друзья подтверждают правоту Золушки сочувственным звоном, шорохом и шумом.

— Натирая пол, я очень хорошо научилась танцевать. За шитьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. За прялкой я их научилась петь. Выхаживая цыплят, я стала доброй и нежной. И ни один человек об этом не знает. Обидно! Правда?

Друзья Золушки подтверждают и это.

— Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо, но только непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что я ужасно гордая, понимаете?

Звон, шорох, шум.

— Неужели этого никогда не будет? Неужели не дождаться мне веселья и радости? Ведь так и заболеть можно. Ведь это очень вредно не ехать на бал, когда ты этого заслуживаешь! Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне! Мне так надоело самой себе дарить подарки в день рождения и на праздники! Добрые люди, где же вы? Добрые люди, а добрые люди!

Золушка прислушивается несколько мгновений, но ответа ей нет.

— Ну что же, — вздыхает девочка, — я тогда вот чем утешусь: когда все уйдут, я побегу в дворцовый парк, стану под дворцовыми окнами и хоть издали полюбуюсь на праздник.

Едва Золушка успевает произнести эти слова, как дверь кухни с шумом распахивается. На пороге — мачеха Золушки. Это рослая, суровая, хмурая женщина, но голос ее мягок и нежен. Кисти рук она держит на весу.

З о л у ш к а. Ах, матушка, как вы меня напугали!

М а ч е х а. Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка! Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами, тогда как тебя, моя крошечка, я воспитываю с утра до вечера. Зачем же ты, солнышко мое, платишь мне за это черной неблагодарностью? Ты хочешь сегодня убежать в дворцовый парк?

З о л у ш к а. Только когда все уйдут, матушка. Ведь я тогда никому не буду нужна!

М а ч е х а. Следуй за мной!

Мачеха поднимается по лестнице. Золушка — следом. Они входят в гостиную. В креслах сидят сводные сестры Золушки — Анна и Марианна. Они держат кисти рук на весу так же, как мать. У окна стоит лесничий с рогатиной в руках. Мачеха усаживается, смотрит на лесничего и на Золушку и вздыхает.

М а ч е х а. Мы тут сидим в совершенно беспомощном состоянии, ожидая, пока высохнет волшебная жидкость, превращающая ногти в лепестки роз, а вы, мои родные, а? Вы развлекаетесь и веселитесь. Золушка разговаривает сама с собой, а ее папаша взял рогатину и пытался бежать в лес. Зачем?

Л е с н и ч и й. Я хотел сразиться с бешеным медведем.

М а ч е х а. Зачем?

Л е с н и ч и й. Отдохнуть от домашних дел, дорогая.

М а ч е х а. Я работаю как лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю, ходатайствую, требую, настаиваю. Благодаря мне в церкви мы сидим на придворных скамейках, а в театре — на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь! Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора! Кто превратил наши ногти в лепестки роз? Добрая волшебница, у дверей которой титулованные дамы ждут неделями. А к нам волшебница пришла на дом. Главный королевский повар вчера прислал мне в подарок дичи.

Лесничий. Я ее сколько угодно приношу из лесу.

Мачеха. Ах, кому нужна дичь, добытая так просто! Одним словом, у меня столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их. А где благодарность? Вот, например, у меня чешется нос, а почесать нельзя. Нет, нет, отойди, Золушка, не надо, а то я тебя укушу.

Золушка. За что же, матушка?

Мачеха. За то, что ты сама не догадалась помочь бедной, беспомощной женщине.

Золушка. Но ведь я не знала, матушка!

Анна. Сестренка, ты так некрасива, что должна искупать это чуткостью.

Марианна. И так неуклюжа, что должна искупать это услужливостью!

Анна. Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом.

Золушка. Хорошо, сестрицы, я постараюсь быть веселой.

Мачеха. Посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за семь ночей?

Золушка. Да, матушка!

Она отодвигает ширмы, стоящие у стены. За ширмами на трех ивовых манекенах — три бальных платья. Золушка, сияя, глядит на них. Видимо, она вполне удовлетворена своей работой, гордится ею. Но вот девочка взглядывает на мачеху и сестер, и у нее опускаются руки. Мачеха и сестры смотрят на свои роскошные наряды недоверчиво, строго, холодно, мрачно.

В напряженном молчании проходит несколько мгновений.

— Сестрицы! Матушка! — восклицает Золушка, не выдержав. — Зачем вы смотрите так сурово, как будто я сшила вам саваны? Это нарядные, веселые бальные платья. Честное слово, правда!

— Молчи! — гудит мачеха. — Мы обдумали то, что ты натворила, а теперь обсудим это!

Мачеха и сестры перешептываются таинственно и зловеще. И вот мачеха изрекает наконец:

— У нас нет оснований отвергать твою работу. Помоги одеться.

К усадьбе лесничего подкатывает коляска. Толстый усатый кучер в ливрее с королевскими гербами осаживает сытых коней, затем он

надевает очки, достает из бокового кармана записку и начинает по записке хриплым басом петь:

Уже вечерняя роса
Цветочки оросила.
Луга и тихие леса
К покою пригласила.

(Лошадям.) Тпру! Проклятые!

А я, король, наоборот,
Покою не желаю.
К себе любезный мой народ
На бал я приглашаю.

(Лошадям.) Вы у меня побалуете, окаянные!

А чтоб вернее показать
Свою любовь и ласку,
Я некоторым велел послать
Свою личную, любимую,
Ах-ах, любимую,
Да-да, любимую,
Любимую, любимую
Коляску.

Двери дома распахиваются. На крыльцо выходят мачеха, Анна, Марианна в новых и роскошних нарядах. Лесничий робко идет позади. Золушка провожает старших. Кучер снимает шляпу, лошади кланяются дамам.

Перед тем как сесть в коляску, мачеха останавливается и говорит ласково:

— Ах да, Золушка, моя звездочка! Ты хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами.

— Можно? — спрашивает девочка радостно.

— Конечно, дорогая, но прежде прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое себя и намели кофе на семь недель.

— Но ведь я и в месяц со всем этим не управлюсь, матушка!

— А ты поторопись!

Дамы усаживаются в коляску и так заполняют ее своими пышными платьями, что лесничему не остается места. Кучер протягивает ему руку, помогает взобраться на козлы, взмахивает бичом, и коляска с громом уносится прочь.

Золушка медленно идет в дом. Она садится в кухне у окна. Мелет кофе рассеянно и вздыхает.

И вдруг раздается музыка легкая-легкая, едва слышная, но такая радостная, что Золушка вскрикивает тихонько и весело, будто вспомнила что-то очень приятное. Музыка звучит все громче и громче, а за окном становится все светлее и светлее. Вечерние сумерки растаяли.

Золушка открывает окно и прыгает в сад. И она видит: невысоко, над деревьями сада, по воздуху шагает не спеша богато и вместе с тем солидно, соответственно возрасту одетая пожилая дама. Ее сопровождает мальчик-паж. Мальчик несет в руках футляр, похожий на футляр для флейты.

Увидев Золушку, солидная дама так и расцветает в улыбке, отчего в саду делается совсем светло, как в полдень.

Дама останавливается над лужайкой в воздухе так просто и естественно, как на балконе, и, опершись на невидимые балконные перила, говорит:

— Здравствуй, крестница!

— Крестная! Дорогая крестная! Ты всегда появляешься так неожиданно! — радуется Золушка.

— Да, это я люблю! — соглашается крестная.

— В прошлый раз ты появилась из темного угла за очагом, а сегодня пришла по воздуху...

— Да, я такая выдумщица! — соглашается крестная.

И, подобрав платье, она неторопливо, как бы по невидимой воздушной лестнице, спускается на землю. Мальчик-паж — за нею. Подойдя к Золушке, крестная улыбается еще радостнее. И совершается чудо.

Она молодеет.

Перед Золушкой стоит теперь стройная, легкая, высокая, золотоволосая молодая женщина. Платье ее горит и сверкает, как солнце.

— Ты все еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь? — спрашивает крестная.

З о л у ш к а. Я восхищаюсь, я так люблю чудеса!

К р е с т н а я. Это показывает, что у тебя хороший вкус, девочка! Но никаких чудес еще не было. Просто мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе — старит нас, а радость — молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобой. Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь... Тебя обидели сегодня...

Фея взглядывает на пажа.

П а ж. Двадцать четыре раза.

Ф е я. Из них напрасно...

П а ж. Двадцать четыре раза.

Ф е я. Ты заслужила сегодня похвалы...

П а ж. Триста тридцать три раза!

Ф е я. А они тебя?

П а ж. Не похвалили ни разу.

Ф е я. Ненавижу старуху лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи! Они никого не любят, ни о чем не думают, ничего не умеют, ничего не делают, а ухитряются жить лучше даже, чем некоторые настоящие феи. Впрочем, довольно о них. Боюсь постареть. Хочешь поехать на бал?

З о л у ш к а. Да, крестная, но...

Ф е я. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Очень вредно не ездить на балы, когда ты заслужил это.

З о л у ш к а. Но у меня столько работы, крестная!

Ф е я. Полы натрут медведи — у них есть воск, который они наворовали в ульях. Окна вымоет роса. Стены выбелят белки своими хвостами. Розы вырастут сами. Грядки выполют зайцы. Кофе намелют кошки. А самое себя ты познаешь на балу.

З о л у ш к а. Спасибо, крестная, но я так одета, что...

Ф е я. И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, на шестерке коней, в отличном бальном платье. Мальчик!

Паж открывает футляр.

Ф е я. Видишь, вот моя волшебная палочка. Очень скромная, без всяких украшений, просто алмазная с золотой ручкой.

Фея берет волшебную палочку. Раздается музыка, таинственная и негромкая.

Ф е я. Сейчас, сейчас буду делать чудеса! Обожаю эту работу. Мальчик!

Паж становится перед феей на одно колено, и фея, легко прикасаясь к нему палочкой, превращает мальчика в цветок, потом в кролика, потом в фонтан и наконец снова в пажа.

— Отлично, — радуется фея, — инструмент в порядке, и я в ударе. Теперь приступим к настоящей работе. В сущности, все это нетрудно, дорогая моя. Волшебная палочка подобна дирижерской. Дирижерской — повинуются музыканты, а волшебной — все живое на свете. Прежде всего прикатим сюда тыкву.

Фея делает палочкой вращательные движения. Раздается веселый звон. Слышен голос, который поет без слов, гулко, как в бочке. Звон и голос приближаются, и вот к ногам феи подкатывается огромная тыква. Повинуясь движениям палочки, вращаясь на месте, тыква начинает расти, расти... Очертания ее расплываются, исчезают в тумане, а песня без слов переходит в нижеследующую песню:

Я тыква, я дородная
Царица огородная,
Лежала на боку,
Но, палочке покорная,
Срываюсь вдруг проворно я
И мчусь, мерси боку!
Под музыку старинную
Верчусь я балериною,
И вдруг, фа, соль, ля, си,
Не тыквой огородною —
Каретой благородною
Я делаюсь, мерси!

С последними словами песни туман рассеивается, и Золушка видит, что тыква действительно превратилась в великолепную золотую карету.

— Какая красивая карета! — восклицает Золушка.

— Мерси, фа, соль, ля, си! — гудит откуда-то из глубины экипажа голос.

Волшебная палочка снова приходит в движение. Раздается писк, визг, шум, и шесть крупных мышей врываются на лужайку. Они вьются в бешеном танце. Поднимается облако пыли и скрывает мышей.

Из облака слышится пение: первые слова песни поют слабые высочайшие сопрано, а последние слова — сильные глубокие басы. Переход этот совершается со строгой постепенностью.

Дорогие дети,
Знайте, что для всех
Много есть на свете
Счастья и утех:
Но мы счастья выше
В мире не найдем,
Чем из старой мыши
Юным стать конем!

Пыль рассеивается — на лужайке шестерка прекрасных коней, в полной упряжке. Они очень веселы, бьют копытами, ржут.

— Тпру! — кричит фея.— Назад! Куда ты, демон! Балуй!

Лошади успокаиваются. Снова приходит в движение волшебная палочка. Не спеша входит старая, солидная крыса. Отдуваясь, тяжело дыша, нехотя она встает на задние лапки и, не погружаясь в туман, не поднимая пыли, начинает расти. Ставши крысой в человеческий рост, она подпрыгивает и превращается в кучера — солидного и пышно одетого. Кучер тотчас же идет к лошадям, напевая без всякого аккомпанемента:

Овес вздорожал,
Овес вздорожал,
Он так вздорожал,
Что даже кучер заржал.

— Через пять минут подашь карету к крыльцу, — приказывает фея.

Кучер молча кивает головой.

— Золушка, идем в гостиную, к большому зеркалу, и там я одену тебя.

Фея, Золушка и паж — в гостиной. Фея взмахивает палочкой, и раздается бальная музыка, мягкая, таинственная, негромкая и ласковая.

Из-под земли вырастает манекен, на который надето платье удивительной красоты.

Фея. Когда в нашей волшебной мастерской мы положили последний стежок на это платье, самая главная мастерица заплакала от умиления. Работа остановилась. День объявили праздничным. Такие удачи бывают раз в сто лет. Счастливое платье, благословенное платье, утешительное платье, вечернее платье.

Фея взмахивает палочкой, гостиная на миг заполняется туманом, и вот Золушка, ослепительно прекрасная, в новом платье стоит перед зеркалом. Фея протягивает руку. Паж подает ей лорнет.

— Удивительный случай, — говорит фея, разглядывая Золушку, — мне нечего сказать! Нигде не морщит, нигде не собирается в складки, линия есть, удивительный случай! Нравится тебе твое новое платье?

Золушка молча целует фею.

— Ну вот и хорошо, — говорит фея, — идем. Впрочем, постой. Еще одна маленькая проверка. Мальчик, что ты скажешь о моей крестнице?

И маленький паж отвечает тихо, с глубоким чувством:

— Вслух я не посмею сказать ни одного слова. Но отныне — днем я буду молча тосковать о ней, а ночью во сне рассказывать об этом так печально, что даже домовой на крыше заплачет горькими слезами.

— Отлично, — радуется фея. — Мальчик влюбился. Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю. Идем!

Они делают несколько шагов.

— Стойте, — говорит вдруг маленький паж повелительно.

Фея удивленно взглядывает на него через лорнет.

— Я не волшебник, я еще только учусь, — говорит мальчик тихо, опустив глаза, — но любовь помогает нам делать настоящие чудеса.

Он взглядывает на Золушку. Голос его звучит теперь необыкновенно нежно и ласково:

— Простите меня, дерзкого, но я осмелился чудом, добыть для вас это сокровище.

Мальчик протягивает руки, и прозрачные туфельки, светясь в полумраке гостиной, спускаются к нему на ладони.

— Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы, — говорит мальчик, — и они принесут вам счастье потому, что я всем сердцем жажду этого! Возьмите их!

Золушка робко берет туфельки.

— Ну, что скажешь? — спрашивает фея, еще более молодея и сияя, — Что я тебе говорила? Какой трогательный, благородный поступок. Вот это мы и называем в нашем волшебном мире — стихами. Обуйся и поблагодари.

— Спасибо, мальчик, — говорит Золушка, надевши туфельки. — Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне.

Золотая карета, сверкая, стоит у калитки. На небе полная луна. Кучер с трудом удерживает шестерку великолепных коней. Мальчик-паж, распахивая дверцу кареты, осторожно и почтительно помогает девочке войти.

Сияющее лицо Золушки выглядывает из окошечка, И фея говорит ей:

— А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к двенадцати часам. В полночь новое платье твое превратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами...

Лошади бьют копытами.

— Кучер — крысой.

— Эх, черт, — ворчит кучер.

— А карета — тыквой!

— Мерси сан суси! — восклицает карета.

— Спасибо вам, крестная, — отвечает Золушка, — я твердо запомню это.

И фея с маленьким пажом растворяются в воздухе

Золотая карета мчится по дороге к королевскому замку.

Чем ближе карета к замку, тем торжественнее и праздничнее все вокруг. Вот подстриженное деревцо, сплошь украшенное атласными ленточками, похожее на маленькую девочку. Вот деревцо, увешанное колокольчиками, которые звенят на ветру.

Появляются освещенные фонариками указатели с надписями:

ОТКАШЛЯЙСЯ,
СКОРО САМ КОРОЛЬ БУДЕТ ГОВОРИТЬ С ТОБОЙ
УЛЫБАЙСЯ,
ЗА ПОВОРОТОМ ТЫ УВИДИШЬ КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК

И действительно, за поворотом Золушка видит чудо. Огромный, многобашенный и вместе с тем легкий, праздничный, приветливый дворец сказочного короля весь светится от факелов, фонариков, пылающих бочек. Над дворцом в небе висят огромные грозди воздушных разноцветных шариков. Они привязаны ниточками к дворцовым башням.

Увидя все это сказочное великолепие, Золушка хлопает в ладоши и кричит:

— Нет, что-то будет, что-то будет, будет что-то очень хорошее!

Карета со звоном влетает на мост, ведущий к воротам королевского замка. Это необыкновенный мост. Он построен так, что когда гости приезжают, доски его играют веселую, приветливую песню, а когда гости уезжают, то они играют печальную, прощальную.

Весь огромный плац перед парадным входом в замок занят пышными экипажами гостей.

Кучера в богатых ливреях стоят покуривают у крыльца.

Увидя карету Золушки, кучера перестают курить, глядят пристально. И Золушкин кучер на глазах у строгих ценителей осаживает коней на всем скаку перед самой входной дверью. Кучера одобрительно гудят:

— Ничего кучер! Хороший кучер! Вот так кучер!

Парадная дверь королевского дворца распахивается, два лакея выбегают и помогают Золушке выйти из кареты.

Золушка входит в королевский замок. Перед нею высокая и широкая мраморная лестница.

Едва Золушка успевает взойти на первую ступень, как навстречу ей с верхней площадки устремляется ко роль. Он бежит так быстро, что великолепная мантия развевается за королевскими плечами.

К о р о л ь. Здравствуйте, неизвестная, прекрасная, таинственная гостья! Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках. Это так опасно. Не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте! Я ужасно рад, что вы приехали!

З о л у ш к а. Здравствуйте, ваше величество! Я тоже рада, что приехала. Мне очень нравится у вас.

К о р о л ь. Ха-ха-ха! Вот радость-то! Она говорит искренне!

З о л у ш к а. Конечно, ваше величество.

К о р о л ь. Идемте, идемте.

Он подает руку Золушке и торжественно ведет ей вверх по лестнице.

К о р о л ь. Старые друзья — это, конечно, штука хорошая, но их уж ничем не удивишь! Вот, например, Кот в сапогах. Славный парень, умница, но, как приедет, сейчас же снимет сапоги, ляжет на пол возле камина и дремлет. Или Мальчик-с-пальчик. Милый, остроумный человек, но отчаянный игрок. Все время играет в прятки на деньги. А попробуй найди его. А главное, у них все в прошлом. Их сказки уже сыграны и всем известны.

А вы... Как король сказочного королевства, я чувствуют что вы стоите на пороге удивительных сказочных событий.

З о л у ш к а. Правда?

К о р о л ь. Честное королевское!

Они поднимаются на верхнюю площадку лестницы, и тут навстречу им выходит принц. Это очень красивы и очень юный человек.

Увидев Золушку, он останавливается как вкопанный. А Золушка краснеет и опускает глаза.

— Принц, а принц! Сынок! — кричит король. — Смотри, кто к нам приехал! Узнаешь?

Принц молча кивает головой.

К о р о л ь. Кто это?

П р и н ц. Таинственная и прекрасная незнакомка!

К о р о л ь. Совершенно верно! Нет, вы только подумайте, какой умный мальчик! Ты выпил молоко? Ты скушал булочку? Ты на сквозняке не стоял? Отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь?

П р и н ц. Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить.

К о р о л ь. Неправда, не верьте ему! Несмотря на свои годы, он все, все говорит: речи, комплименты, стихи! Сынок, скажи нам стишок, сынок, не стесняйся!

П р и н ц. Хорошо, государь! Не сердитесь на меня, прекрасная барышня, но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его.

Принц поет:

Ах, папа, я в бою бывал,
Под грохот барабана
Одним ударом наповал
Сразил я великана.

Ах, папа, сам единорог
На строгом поле чести
Со мною справиться не мог
И пал со свитой вместе.

Ах, папа, вырос я большой,
А ты и не заметил.
И вот стою я сам не свой —
Судьбу мою я встретил!

Король. Очень славная песня. Это откуда? Нравится она вам, прекрасная барышня?

— Да, мне все здесь так нравится, — отвечает Золушка.

— Ха-ха-ха! — ликует король. — Искренне! Ты заметь, сынок, она говорит искренне!

И король устремляется вперед по прекрасной галерее, украшенной картинами и скульптурами на исторические сюжеты: «Волк и Красная шапочка», «Семь жен Синей бороды», «Голый король», «Принцесса на горошине» и т. п.

Золушка и принц идут следом за королем.

Принц. *(робко)*. Сегодня прекрасная погода, не правда ли?

Золушка. Да, принц, погода сегодня прекрасная.

Принц. Я надеюсь, вы не устали в дороге?

Золушка. Нет, принц, я в дороге отдохнула, благодарю вас!

Навстречу королю бежит пожилой, необыкновенно подвижный и ловкий человек. Собственно говоря, нельзя сказать, что он бежит. Он танцует, мчась по галерее, танцует с упоением, с наслаждением, с восторгом. Он делает несколько реверансов королю, прыгая почти на высоту человеческого роста.

— Позвольте мне представить моего министра бальных танцев господина маркиза Падетруа, — говорит король. — В далеком, далеком поошлом маркиз был главным танцмейстером в замке Спящей красавицы. Сто лет он проспал вместе со всем штатом королевского замка. Вы представляете, как он выспался! Он теперь совсем не спит. Вы представляете, как он стосковался по танцам! Он теперь танцует непрерывно. И как он проголодался за сто лет! У маркиза теперь прекрасный аппетит.

Маркиз низко кланяется Золушке и начинает исполнять перед нею сложный и изящный танец.

— Вы понимаете балетный язык? — спрашивает, король.

— Не совсем, — отвечает Золушка.

— В торжественных случаях маркиз объясняется только средствами своего искусства. Я переведу вам его приветственную речь.

И, внимательно глядя на танец маркиза, король переводит:

— Человек сам не знает, где найдет, где потеряет. Рано утром, глядя, как пастушок шагал во главе стада коров...

Маркиз вдруг останавливается, укоризненно взглядывает на короля и повторяет последние па.

— Виноват, — поправляется король, — глядя на пастушка, окруженного резвыми козочками, маркиз подумал: ах, жизнь пастушка счастливее, чем жизнь министра, отягощенного рядом государственных забот и треволнений. Но вот пришел вечер, и маркиз выиграл крупную сумму в карты...

Маркиз останавливается и повторяет последние па, укоризненно глядя на своего государя.

— Виноват, — поправляется король, — но вот пришел вечер, и судьба послала маркизу неожиданное счастье. Даже дряхлая, но бойкая старушка...

Маркиз снова повторяет па.

— Виноват, — поправляется король, — даже сама муза Терпсихора менее грациозна и изящна, чем наша грациознейшая гостья. Как он рад, как он рад, как он рад, ах-ах-ах!

Закончив танец, министр кланяется Золушке и говорит:

— Черт, дьявол, демон, мусор! Простите, о прелестная незнакомка, но искусство мое так изящно и чисто, что организм иногда просто требует грубости! Скоты, животные, интриганы! Это я говорю обо всех остальных мастерах моего искусства! Медведи, жабы, змеи! Разрешите пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала, о прелестная барышня!

— Простите, — вмешивается принц решительно, — но гостья наша приглашена мною!

Бальный зал — роскошный и вместе с тем уютный. Гости беседуют, разбившись на группы.

Мачеха Золушки шепчется с Анной и Марианной, склонившись над большой записной книжкой, очень похожей на счетную.

Лесничий дремлет возле.

А н н а. Запиши, мамочка, принц взглянул в мою сторону три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один, итого — пять.

М а р и а н н а. А мне король сказал: «очень рад вас видеть» — один раз, «ха-ха-ха» — один раз и «проходите, проходите, здесь дует» — один раз. Итого — три раза.

Л е с н и ч и й. Зачем вам нужны все эти записи?

М а ч е х а. Ах, муженек дорогой, не мешай нам веселиться!

А н н а. Папа всегда ворчит.

М а р и а н н а. Такой бал! Девять знаков внимания со стороны высочайших особ!

М а ч е х а. Уж будьте покойны, теперь я вырву приказ о зачислении моих дочек в бархатную книгу первых красавиц двора.

Гремят трубы. Гости выстраиваются двумя рядами.

Входят король, Золушка, принц и министр бальных танцев.

Гости низко кланяются королю.

К о р о л ь. Господа! Позвольте вам представить девушку, которая еще ни разу не была у нас, волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно скромную.

Гости низко кланяются. Золушка приседает. И вдруг мачеха Золушки выступает из рядов.

М а ч е х а. Ах, ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Клянусь, что знаю.

Король. Закон, изданный моим прадедом, запрещает нам называть имя гостьи, пожелавшей остаться неизвестной.

Золушка. Ах, ваше величество, я вовсе не стыжусь своего имени. — Говорите, сударыня, прошу вас!

Мачеха. Ах, слушайте, сейчас вы все будете потрясены. Эта девушка...

Мачеха выдерживает большую паузу.

— ...эта девушка — богиня красоты. Вот кто она такая...

Король. Ха-ха-ха! Довольно эффектный комплимент. Мерси.

Мачеха. Многоуважаемая богиня...

Золушка. Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. .. Меня зовут гораздо проще, и вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется.

Мачеха. Нет, нет, богиня! А вот, богиня, мои дочери. Эту зовут...

Золушка. Анна!

Мачеха. Ах! А эту. ..

Золушка. Марианна!

Мачеха. Ах!

Золушка. Анна очень любит землянику, а Марианна — каштаны. И живете вы в уютной усадьбе, возле королевской дороги, недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех, вот до чего я счастлива сегодня.

Золушка подходит к лесничему.

— А вы меня не узнаете? — спрашивает она его ласково.

— Я не смею,—отвечает ей лесничий робко.

Золушка нежно целует отца в лоб и проходит с королем дальше, мимо низко кланяющихся гостей.

Раздаются звуки музыки. Гости выстраиваются парами. Бал открылся.

В первой паре — принц и Золушка.

Принц. Я знаю, что вы думаете обо мне.

Золушка. Нет, принц, нет, я надеюсь, что вы не знаете этого!

Принц. Я знаю, к сожалению. Вы думаете: какой он глупый и неповоротливый мальчик.

Золушка. Слава тебе господи, вы не угадали, принц!

Танцами дирижирует маркиз Падетруа. Он успевает и танцевать и следить за всеми. Он птицей вьется по всему залу и улыбается блаженно.

З о л у ш к а. А скажите, пожалуйста, принц, кто этот высокий человек в латах, который танцует одно, а думает о другом?

П р и н ц. Это младший сын соседнего короля. Два его брата уехали искать приключений и не вернулись. Отец захворал с горя. Тогда младший отправился на поиски старших и по дороге остановился у нас отдохнуть...

З о л у ш к а. А кто этот милый старик, который все время путает фигуры?

П р и н ц. О, это самый добрый волшебник на свете. Он по доброте своей никому не может отказать, о чем бы его ни попросили. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском. И вот теперь он не слышит ничьих просьб, но и музыки тоже. От этого он и путает фигуры.

З о л у ш к а. А почему эта дама танцует одна?

П р и н ц. Она танцует не одна. Мальчик-с-пальчик танцует с ней. Видите?

И действительно, на плече у дамы старательно пляшет на месте веселый, отчаянный мальчуган, с палец ростом, в коротеньких штанишках. Он держит свою даму не за руку, а за бриллиантовую сережку и кричит ей в самое ухо что-то, должно быть, очень веселое, потому что дама хохочет во весь голос.

Вот танец окончен.

— Играть, давайте играть, — кричит король.

— В кошки-мышки, — кричит Кот в сапогах, выскакивая из-под камина.

— В прятки! — просит Мальчик-с-пальчик.

— В фанты, — приказывает король. — В королевские фанты. Никаких фантов никто не отбирает, никто ничего не назначает, а что, ха-ха, король прикажет — то все, ха-ха, и делают.

Он знаками подзывает доброго волшебника. Тот вынимает воск из ушей и идет к королю.

Сразу к доброму волшебнику бросаются просители с мачехой Золушки во главе. Но стража окружает волшебника и оттесняет просителей.

Подойдя к королю, добрый волшебник чихает.

— Будьте здоровы! — говорит король.

— Не могу отказать вам в вашей просьбе, — отвечает добрый волшебник старческим, дребезжащим голосом — и необычайно здоровеет. Плечи его раздвигаются. Он становится много выше ростом. Через миг перед королем стоит богатырь.

— Спасибо, дорогой волшебник, — говорит король, — хотя, откровенно говоря, просьбу свою я высказал нечаянно.

— Ничего, ваше величество, — отвечает добрый волшебник великолепным баритоном, — я только выиграл на этом!

— Мы сейчас будем играть в королевские фанты, — объясняет король.

— Ха-ха-ха! Прелестно! — радуется волшебник.

— Первый фант — ваш! Сделайте нам что-нибудь этакое... — король шевелит пальцами, — доброе, волшебное, чудесное и приятное всем без исключения.

— Это очень просто, ваше величество, — отвечает волшебник весело. Он вынимает из кармана маленькую трубочку и кисет. Тщательно набивает трубочку табаком. Раскуривает трубку, затягивается табачным дымом во всю свою богатырскую грудь и затем принимается дуть, дуть, дуть.

Дым заполняет весь бальный зал. Раздается нежная, негромкая музыка.

Дым рассеивается.

Принц и Золушка плывут по озеру, освещенному луной. Легкая лодка скользит по спокойной воде не спеша, двигается сама собой, слегка покачиваясь под музыку.

— Не пугайтесь, — просит принц ласково.

— Я нисколько не испугалась, — отвечает Золушка, — я от сегодняшнего вечера ждала чудес — и вот они пришли. Но все-таки где мы?

— Король попросил доброго волшебника сделать что-нибудь доброе, волшебное, приятное всем. И вот мы с вами перенеслись в волшебную страну.

— А где же остальные?

— Каждый там, где ему приятно. Волшебная страна велика. Но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего на девять минут, девять секунд и ни на один миг больше.

— Как жалко! Правда? — спрашивает Золушка.

— Да, — отвечает принц и вздыхает.

— Вам грустно?

— Я не знаю, — отвечает принц.— Можно задать вам один вопрос?

— Конечно, прошу вас!

— Один мой друг, — начинает принц после паузы, запинаясь, — тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так понравилась ему, что он совершенно растерялся. Что бы вы ему посоветовали сделать?

Пауза.

— А может быть, — спрашивает Золушка робко, — может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так нравится?

— Нет, — отвечает принц, — он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и больше никогда не будет. Не сердитесь.

— Нет, что вы! — отвечает Золушка. — Знаете, мне грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ничего, что я так говорю? А сейчас я очень счастлива! Ничего, что я так говорю?

В ответ Золушке принц поет:

Перед вашей красотою
Словно мальчик я дрожу.
Нет, я сердца не открою,
Ничего я не скажу.
Вы как сон или виденье.
Вдруг нечаянно коснусь,
Вдруг забудусь на мгновенье
И в отчаяньи проснусь...

И тут музыка затихает, принц умолкает, а чьи-то нежные голоса объявляют ласково и чуть печально:

— Ваше время истекло, ваше время истекло, кончайте разговор, кончайте разговор!

Исчезает озеро, лодка и луна.

Перед нами снова бальный зал.

— Благодарю, — говорит король, пожимая руку доброму вол-

шебнику. — вино, которое мы пили с вами из волшебных бокалов в волшебном кабачке, было сказочно прекрасным!

— Какие там магазины! — восхищается мачеха Золушки.

— Какие духи! — стонет Анна.

— Какие парикмахерские! — кричит Марианна.

— Как там тихо и мирно! — шепчет лесничий.

— Какой успех я там имел! — ликует маркиз Падетруа.

Он делает знак музыкантам, и они начинают играть ту же самую музыку, которую мы слышали в волшебной стране.

Все танцуют.

Принц и Золушка в первой паре.

— Мы вернулись из волшебной страны? — спрашивает принц.

— Не знаю, — отвечает Золушка, — по-моему, нет еще. А как вы думаете?

— Я тоже так думаю, — говорит принц.

— Знаете что, — говорит Золушка, — у меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать! А теперь мне так весело, что я танцую, а мне хочется танцевать все больше и больше!

— Слушаюсь, — шепчет маркиз Падетруа, услышавший последние слова Золушки.

Он дает знак оркестру. Музыка меняется. Медленный и чинный бальный танец переходит в веселый, нарядный, живой, быстрый, отчаянный.

Золушка и принц пляшут вдохновенно.

Музыканты опускаются на пол в изнеможении.

Танец окончен.

Принц и Золушка на балконе.

— Принц, а принц! — весело говорит Золушка, обмахиваясь веером. — Теперь мы знакомы с вами гораздо лучше! Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь.

Принц внимательно и ласково смотрит Золушке в глаза.

— Понимаю! — восклицает он. — Вы думаете: как хорошо было бы сейчас поесть мороженого.

— Мне очень стыдно, принц, но вы угадали, — признается Золушка.

Принц убегает.

Внизу — дворцовый парк, освещенный луной.

— Ну вот, счастье, ты и пришло ко мне, — говорит Золушка тихо, — пришло неожиданно, как моя крестная! Глаза у тебя, счастье мое, ясные, голос нежный. А сколько заботливости! Обо мне до сих пор никто никогда не заботился. И мне кажется, счастье мое, что ты меня даже побаиваешься. Вот приятно-то! Как будто я и в самом деле взрослая барышня.

Золушка подходит к перилам балкона и видит справа от себя на башне большие, освещенные факелами часы.

На часах без двадцати одиннадцать.

— Еще целый час! Целый час и пять минут времени у меня, — говорит Золушка, — за пятнадцать минут я, конечно, успею доехать до дому. Через час и пять минут я убегу. Конечно, может быть, счастье мое, ты не оставишь меня, даже когда увидишь, какая я бедная девушка! Ну, а если вдруг все-таки оставишь? Нет, нет... И пробовать не буду... Это слишком страшно... А кроме того, я обещала крестной уйти вовремя. Ничего. Час! Целый час, да еще пять минут впереди. Это ведь не так уж мало!

Но тут перед Золушкой вырастает паж ее крестной.

— Дорогая Золушка! — говорит мальчик печально и нежно. — Я должен передать вам очень грустное известие. Не огорчайтесь, но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше.

Золушка ахает:

— Значит, у меня почти совсем не осталось времени?!

— Почти совсем, — отвечает паж. — Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь, но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо.

Паж исчезает.

— Ну, вот и все, — говорит девочка печально. Вбегает принц, веселый и радостный. За ним — три лакея. Один лакей несет поднос, на котором сорок сортов мороженого, другой несет легкий столик, третий — два кресла.

Лакеи накрывают на стол и убегают с поклонами.

— Это лучшее мороженое на всем белом свете, — говорит принц, — я сам выбирал его. Что с вами?

З о л у ш к а. Спасибо вам, принц, спасибо вам, дорогой принц, за все. За то, что вы такой вежливый. За то, что вы такой ласковый. И заботливый, и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете!

П р и н ц. Почему вы говорите со мной так печально?

З о л у ш к а. Потому что мне пора уходить.

П р и н ц. Нет, я не могу вас отпустить! Честное слово, не могу! Я... я все обдумал... После мороженого я сказал бы вам прямо, что люблю вас... Боже мой, что я говорю. Не уходите!

З о л у ш к а. Нельзя!

П р и н ц. Подождите! Ах, я вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо! Простите меня. Останьтесь! Я люблю вас!

Золушка протягивает принцу руки, но вдруг раздается торжественный и печальный звон колоколов. Куранты башенных часов отбивают три четверти!

И, закрыв лицо руками, Золушка бросается бежать.

Прияц несколько мгновений стоит неподвижно. И вдруг решительно устремляется в погоню.

В большом зале веселье в полном разгаре. Идет игра в кошки-мышки. Принц видит — платье Золушки мелькнуло у выхода в картинную галерею. Он бежит туда, но хоровод играющих преграждает ему путь.

Бледный, сосредоточенный, мечется принц перед веселым, пляшущим препятствием, и никто не замечает, что принцу не до игры.

Король стоит у колонны с бокалом вина в руках.

— Ха-ха-ха! — радуется он.— Мальчик-то как развеселился. Счастливый возраст!

Принцу удалось наконец вырваться. Он выбегает в галерею, а Золушка исчезает в противоположном ее конце.

Принц выбегает на верхнюю площадку лестницы.

Золушка спешит вниз по широким мраморным ступеням.

Она оглядывается.

Принц видит на миг ее печальное, бледное лицо. Золушка, узнав принца, еще быстрее мчится вниз.

И хрустальная туфелька соскальзывает с правой ее ноги. У нее нет времени поднять туфельку. На бегу снимает она левую и в одних чулочках выскальзывает на крыльцо.

Карета ее уже стоит у дверей.

Мальчик-паж печально улыбается Золушке. Он помогает ей войти в карету. Входит вслед за ней и кричит кучеру:

— Вперед!

И когда принц выбегает на крыльцо, он слышит, как доски моста играют печальную прощальную песенку.

Принц стоит на крыльце, опустив голову. В руках его сияет хрустальная туфелька.

А Золушка, сидя в карете, глядит на туфельку, оставшуюся у нее, и плачет.

И мальчик-паж, сидя на скамеечке напротив, негромко всхлипывает из сочувствия.

— Дорогая Золушка, — говорит он сквозь слезы, — я, чтобы хоть немножко развеселить вас, захватил один рубиновый стаканчик со сливочным мороженым. Попробуйте, утешьте меня, а стаканчик я потом верну во дворец.

— Спасибо, мальчик, — говорит Золушка.

И она ест мороженое, продолжая тихонько плакать.

Карета бежит все быстрее и быстрее.

— Ох, натерпелся я страху! — бормочет кучер. — Обратиться в крысу при лучших кучерах королевства! Нет, уж лучше в крысоловке погибнуть.

— Да, уж за это мерси, фа, соль, ля, си! — бормочет карета.

Кучер лихо осаживает коней у самой калитки усадьбы лесничего. И в тот же миг раздается отдаленный звон часов, бьющих двенадцать.

Все исчезает в вихре тумана.

Тоненькие голоса кричат издали:

— Прощай, хозяйка! Прощай, хозяйка!

Голос гулкий, как из бочки, бормочет, замирая:

— Адье, адье, адье, ма пти, тюр-лю-тю-тю! ...

И когда затихает вихрь и рассеивается туман, мы видим прежнюю Золушку, растрепанную, в стареньком платьице, но в руках ее сияет драгоценная хрустальная туфелька.

Бальный зал королевского дворца.

Король, веселый, сдвинув корону на затылок, стоит посреди зала и кричит во весь голос:

— Ужинать, ужинать, господа, ужинать! Таинственная гостья, где вы?

Старик лакей наклоняется к уху короля и шепчет:

— Они изволили отбыть в три четверти одиннадцатого по дворцовому времени.

— Какой ужас! — пугается король. — Без ужина?! Ты слышишь, сынок? Принц, где ты?

— Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с одиннадцати часов по дворцовому времени, ваше величество!

— Садитесь за стол без меня, господа, — кричит король, — я сейчас: тут меня вызывают на минутку.

Принц стоит у перил балкона, задумчивый и печальный. В руках у него хрустальная туфелька.

Вихрем врывается король.

К о р о л ь. Мальчик, что случилось? Ты заболел? Так я и знал!

П р и н ц. Нет, государь, я совершенно здоров!

К о р о л ь. Ай-яй-яй! Как нехорошо обманывать старших! Сорок порций мороженого! Ты объелся! Фу, стыд какой! Сорок порций! С шести лет ты не позволял себе подобных излишеств. Конечно, конечно — ты отморозил себе живот!

П р и н ц. Я не трогал мороженого, папа!

К о р о л ь. Как не трогал? Правда, не трогал! Что же тогда с тобой?

П р и н ц. Я влюбился, папа.

Король с размаху падает в кресло.

П р и н ц. Да, папа, я влюбился в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках лестницы.

К о р о л ь. Влюбился? Так я и знал... Впрочем, нет, я ничего не знал. *(Срывает корону и швыряет ее на пол.)* Ухожу, к черту, к

дьяволу, в монастырь, живите сами как знаете! Почему мне не доложили, что ты уже вырос?

Принц. Ах, папа, я еще сегодня спел тебе об этом целую песню.

Король. Разве? Ну ладно, так и быть, остаюсь. Ха-ха! Мальчик влюбился. Вот счастье-то!

Принц. Нет папа это несчатье!

Король. Ерунда!

Принц. Она не любит меня.

Король. Глупости! Любит, иначе не отказалась бы от ужина. Идем искать ее!

Принц. Нет, папа, я обиделся!

Король. Хорошо, я сам ее разыщу!

Он складывает ладони рупором и кричит:

— Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?

Издали-издали доносится ответ:

— Мы слушаем, ваше величество!

Король. Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке?

Голос издали. Сколько туфелек было, говорите, на ней?

Король. Одна, одна!

Голос издали. Блондинка? Брюнетка?

Король. Блондинка! Блондинка!

Голос издали. А лет ей сколько?

Король. Примерно шестнадцать.

Голос издали. Хорошенькая?

Король. Очень!

Голос издали. Ага, понимаем. Нет, ваше величество, не выезжала. И никто не выезжал! Ни один человек! Муха и та не пролетала, ваше величество!

Король. Так чего же вы меня так подробно расспрашивали, болваны?

Голос издали. Из интереса, ваше величество!

Король. Ха-ха-ха! Дураки! Никого не выпускать! Поняли? Запереть ворота! Поняли? Сынок, все идет отлично! Она у нас в

королевстве, и мы ее найдем! Ты знаешь мою распорядительность. Дай сюда эту туфельку!

Король вихрем уносится прочь. Он подбегает к столу, за которым ужинают гости, и кричит:

— Господа, радуйтесь! Принц женится! Свадьба завтра вечером. Кто невеста? Ха-ха-ха! Завтра узнаете! Маркиз Падетруа, за мной!

И король бежит из зала, сопровождаемый министром бальных танцев.

Раннее утро.

На лужайке позади двора выстроился отряд королевской стражи. Выбегает король, сопровождаемый министром бальных танцев. Король останавливается перед стражей в позе величественной и таинственной.

К о р о л ь. Солдаты! Знаете ли вы, что такое любовь?

Солдаты вздыхают.

К о р о л ь. Мой единственный сын и наследник влюбился, и влюбился серьезно.

Солдаты вздыхают.

К о р о л ь. И вот какая, вы понимаете, штука получилась. Только он заговорил с девушкой серьезно, как она сбежала!

С о л д а т ы. Это бывает!

К о р о л ь. Не перебивайте! Что тут делать? Искать надо! Я и министр знаем девушку в лицо. Мы будем ездить взад и вперед, глядеть в подзорные трубы. А вы будете ловить невесту при помощи этой хрустальной туфельки. Я знаю, что все вы отлично умеете бегать за девушками.

С о л д а т ы. Что вы, ваше величество!

К о р о л ь. Не перебивайте! Я приказываю вам следующее: ловите всех девушек, каких увидите, и примеряйте им туфельку. Та девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз по ноге, и есть невеста принца. Поняли?

С о л д а т ы. Еще бы, ваше величество!

К о р о л ь. А теперь отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут по паре семимильных сапог. Для скорости. Берите туфельку и бегите. Шагом-марш!

Солдаты удаляются.

Король бежит к королевским конюшням. Министр — за ним.

Коляску уже выкатили из конюшни, но коней еще не запрягли.

Король и министр усаживаются в коляску. Король прыгает на месте от нетерпения.

— Кучер! — кричит король. — Да что же это такое, кучер!

Королевский кучер выходит из конюшни.

К о р о л ь. Где кони?

К у ч е р. Завтракают, ваше величество!

К о р о л ь. Что такое?

К у ч е р. Овес доедают, ваше величество. Не позавтракавши разве можно? Кони королевские, нежные!

К о р о л ь. А сын у меня не королевский? А сын у меня не нежный? Веди коней!

К у ч е р. Ладно! Пойду потороплю!

Кучер уходит не спеша. Король так и вьется на месте.

— Не могу! — вскрикивает он наконец. — Да что же это такое? Я сказочный король или нет? А раз я сказочный — так к черту коней! Коляска — вперед!

И коляска, повинуясь сказочному королю, срывается с места, подняв оглобли, и вот уже несется по королевской дороге.

Семь розовых кустов, выросших под окнами Золушкиного дома.

Золушка выходит из дверей.

— Здравствуйте, дорогие мои, — говорит она приветливо цветам.

И розы кивают ей.

— Знаете, о чем я думаю? — спрашивает девушка.

Розы качают головами отрицательно.

— Я скажу вам, но только шепотам. Он мне так понравился, что просто ужас! Понимаете?

Розы дружно кивают в ответ.

— Только, смотрите, никому ни слова, — просит Золушка.

Розы изо всех сил подтверждают, что они не проболтаются.

— Дорогие мои, — шепчет Золушка, — я пойду в лес и помечтаю о том, что все, может быть, кончится хорошо.

Золушка идет по лесу по тропинке и поет. И вдруг останавливается. Лицо ее выражает ужас. Ояа опускает голову, и длинные ее волосы, распустившись, закрывают лицо.

Из лесной чащи навстречу Золушке выходит принц.

Он бледен.

П р и н ц. Я испугал вас, дитя мое? Не бойтесь! Я не разбойник, не злой человек, я просто несчастный принц! С самого рассвета я брожу по лесу и не могу найти места с горя. Помогите мне.

Золушка отворачивается.

П р и н ц. Скажите мне: кто пел сейчас здесь в лесу, где-то недалеко? Вы никого не встретили?

Золушка отрицательно качает головой.

П р и н ц. Вы говорите мне правду? Вы в самом деле не знаете, кто пел?

Золушка отрицательно качает головой.

П р и н ц. Я не вижу вашего лица, но мне думается почему-то, что вы девушка добрая. Будьте добры! Помогите мне. Мне так грустно, как никогда в жизни! Мне нужно, непременно нужно найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела меня. Нет, нет, не уходите, стойте! Покажите мне ваше лицо!

Золушка отрицательно качает головой.

П р и н ц. Ну пожалуйста! Не знаю, может быть, я сошел с ума, но окажите, это не вы пели здесь сейчас?

Золушка отрицательно качает головой.

П р и н ц. Что-то очень знакомое есть в ваших руках, в том, как вы опустили голову... И эти золотые волосы. .. Вы не были вчера на балу? Если это вы, то не оставляйте больше меня. Если злой волшебник околдовал вас, я его убью! Если вы бедная, незнатная девушка, то я только обрадуюсь этому. Если вы не любите меня, то я совершу множество подвигов и понравлюсь вам наконец! .. Скажите мне хоть слово! Нет, нет — это вы! Я чувствую, что это вы!

Принц делает шаг вперед, но Золушка прыгает от него легко, как котенок, и исчезает в чаще.

Она мчится без оглядки между кустами и деревьями и у калитки своего дома оглядывается. Никто не преследует ее. Золушка подбегает к розовым кустам и шепчет им:

— Я встретила принца!

Розы дрожат, пораженные.

— Что со мной сталось! — шепчет Золушка. — Я такая правдивая, а ему не сказала правды! Я такая послушная, а его не послушалась! Я так хотела его видеть — и задрожала, когда встретила, будто волк попался мне навстречу. Ах, как просто все было вчера и как странно сегодня.

Золушка входит в дом.

Вся семья сидит в столовой и пьет кофе.

Мачеха. Где ты пропадала, нехорошая девочка? Бери пример с моих дочек. Они сидят дома, и судьба награждает их за это. Они пользовались вчера на балу таким успехом! И я нисколько не удивлюсь, если принц женится на одной из присутствующих здесь девушек.

Золушка. Ах, что вы, матушка!

Мачеха. Как ты смеешь сомневаться, негодная!

Золушка. Простите, матушка, я думала, что вы говорите обо мне.

Мачеха и дочки переглядываются и разражаются хохотом.

— Прощаю тебя, самодовольная девочка, потому что я в духе. Идемте, постоим у изгороди, дочки. Может, проедет какая-нибудь важная особа и мы крикнем ей «здравствуйте». Иди за нами, Золушка, я подумаю, что тебе приказать.

Мачеха и сестры выходят из дому и замирают на месте в крайнем удивлении: мимо дома по королевской дороге проносится отряд солдат в семимильных сапогах.

Их едва можно разглядеть, с такой быстротой они мчатся. Вот они уже превратились в едва заметные точки на горизонте. Но сейчас же точки эти начинают расти, расти. Солдаты летят обратно.

Поравнявшись с домом лесничего, солдаты разом, не нарушая строя, валятся на спину, снимают с себя семимильные сапоги.

Вскакивают.

Капрал отдает честь дамам и говорит:

— Здравия желаем, сударыня. Простите, известно, что снимать сапоги при дамах .некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные.

Мачеха. Да я это заметила, капрал. А зачем их надели,капрал?

Капрал. Чтобы поймать невесту принца, сударыня.

Дамы ахают.

К а п р а л. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они, черти, проносят нас бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона, а еще большее количество напугали до полусмерти. Однако приказ есть приказ, сударыня. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку.

М а ч е х а. Какой номер?

К а п р а л. Не могу знать, сударыня, но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца.

Дамы ахают.

М а ч е х а. Капрал! Зовите короля! Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.

К а п р а л. Но, сударыня...

М а ч е х а. Зовите короля! *(Многозначительно.)* Я вам буду очень благодарна. Вы понимаете меня? Очень! *(Тихо.)* Озолочу!

К а п р а л. За это спасибо, но как же без примерки?

М а ч е х а *(тихо)*. Водка есть. Два бочонка. Слышите?

К а п р а л. Еще бы! Однако не могу. Приказ есть приказ!

М а ч е х а. Дайте туфлю.

Она примеряет туфельку Анне. Анна стонет.

Примеряет Марианне — та кряхтит.

М а ч е х а. Других размеров нету?

К а п р а л. Никак нет, сударыня.

Мачеха еще раз пробует надеть своим дочерям хрустальную туфельку, но ничего у нее не получается. Она думает напряженно несколько мгновений, потом говорит нежно и мягко:

— Золушка!

З о л у ш к а. Да, матушка!

М а ч е х а. Мы иногда ссорились с тобою, но ты не должна на меня сердиться, девочка. Я всегда хотела тебе добра. Отплати и ты мне добром. Ты все можешь — у тебя золотые руки. Надень эту туфельку Анне.

З о л у ш к а. Матушка, я...

М а ч е х а. Я очень тебя прошу, крошка моя, голубушка, дочка моя любимая.

Золушка не может противиться ласковым речам. Она подходит к Анне. Осторожно и ловко действуя, она каким-то чудом ухитряется надеть сестре туфлю.

М а ч е х а. Готово! Кончено! Поздравляю тебя, Анна, ваше королевское высочество! Готово! Все! Ну, теперь они у меня попляшут во дворце! Я у них заведу свои порядки! Марианна, не горюй! Король — вдовец! Я и тебя пристрою. Жить будем! Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде! Ну ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею. Солдаты! Чего вы стоите, рот раскрыли?! Кричите «ура» королевским невестам!

Солдаты повинуются.

М а ч е х а. Зовите короля!

Капрал трубит в трубу.

Раздается шум колес.

К калитке подкатывает королевская коляска без коней. Король, сияющий, прыгает из коляски, как мальчик. За ним, танцуя и кружась, вылетает маркиз Падетруа.

Король мечется по лужайке и вопит:

— Где она, дорогая! Где она, моя дочка?

Золушка робко выглядывает из-за розовых кустов.

М а ч е х а. Вот она, ваше величество, дорогой зятек.

И она, торжествуя, указывает на Анну.

К о р о л ь. Ну вот еще, глупости какие!

М а ч е х а. Взгляните на ее ножки, государь!

К о р о л ь. Чего мне смотреть на ножки?! Я по лицу вижу, что это не она.

М а ч е х а. Но хрустальный башмачок пришелся ей впору, государь!

К о р о л ь. И пусть! Все равно это не она!

М а ч е х а. Государь! Слово короля — золотое слово. Хрустальная туфелька ей впору?! Впору. Следовательно, она и есть невеста. Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты? Ага, молчат! Нет, нет, зятек, дельце обделано. Муж!

Вбегает лесничий.

М а ч е х а. Твоя дочка выходит за принца!

Л е с н и ч и й. Золушка?

М а ч е х а. При чем тут Золушка? Вот эта дочь! Чего ты стоишь как пень? Кричи «ура»!

К о р о л ь. Ах, черт побери, какая получается неприятность! Что делать, маркиз?

М а р к и з. Танцевать, конечно.

Он протягивает Анне руку и ведет ее в танце.

М а р к и з. Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица? Эге! Да туфелька убежала от вас, красавица!

И он поднимает с травы хрустальную туфельку.

Пробует надеть ее Анне.

— Но она вам невозможно мала! Какой чудодей ухитрился обуть вас?

Маркиз пробует надеть туфельку Марианне.

— Увы, и вам она мала, барышня!

— Это ничего не значит! — кричит мачеха. — Неизвестная красавица тоже потеряла эту туфельку во дворце.

М а р к и з. Неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата.

К о р о л ь. Ну, ничего, ничего, это бывает, не расстраивайтесь, сударыня. Больше здесь нет девушек?

Л е с н и ч и й. Есть, государь, моя дочка Золушка.

К о р о л ь. Но ведь вы говорили, лесничий, что она еще совсем крошка?

Л е с н и ч и й. Так мне казалось вчера, государь.

И он выводит из-за розовых кустов упирающуюся Золушку. Мачеха и сестры хохочут.

К о р о л ь. Приказываю не хихикать! Не смущайтесь, бедная девочка. Посмотрите мне в глаза. Ах! Что такое?! Какой знакомый взгляд. Примерить ей немедленно туфельку.

Маркиз повинуется.

— Государь, — кричит он, — это она! А это что? Смотрите, государь!

Он достает из кармана Золушкиного фартука вторую туфельку.

Король подпрыгивает, как мячик. Целует Золушку, кричит:

— Где принц? Принца сюда! Скорее! Скорее! Топот копыт. Верхом на коне влетает галопом старый лакей.

— Где принц? — спрашивает король.

Старый лакей соскакивает с седла и говорит негромко:

— Его высочество, чтобы рассеять грусть-тоску, изволили бежать за тридевять земель в одиннадцать часов дня по дворцовому времени.

Король плачет, как ребенок.

Дамы торжествующе улыбаются.

— Боже мой! Это я виновата, — убивается Золушка, — почему я не заговорила с ним в лесу? Он погибнет теперь из-за моей застенчивости. Принц! Милый принц! Где ты?

И нежный детский голосок отвечает Золушке:

— Он здесь!

И из дома выходит мальчик-паж. Он ведет за руку улыбающегося принца. Король хохочет, как ребенок.

— Я не волшебник. Я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса, — говорит мальчик.

Музыка.

Фея появляется среди присутствующих. Она взмахивает волшебной палочкой — и вот Золушка одета так же блистательно, как была вчера.

Новый взмах палочкой — и знакомая золотая карета со знакомым кучером и знакомыми конями лихо подкатывает к калитке.

— Ну, что скажешь, старуха лесничиха? — спрашивает фея.

Мачеха молчит.

— Венчаться! — кричит король. — Скорее, скорее во дворец венчаться!

— Но, — говорит принц тихо, — но Золушка так и не сказала, любит ли она меня.

И Золушка подходит к принцу.

Она робко улыбается ему.

Он наклоняется к ней, и тут король хлопотливо и озабоченно задергивает тот самый занавес, который мы видели в начале сказки.

К о р о л ь. Не люблю, признаться, когда людям мешают выяснять отношения. Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спро-

сят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым. И, знаете, друзья мои, мальчик-паж тоже в конце концов доберется до полного счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка. И мальчик в свое время влюбится в нее. И я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю прекрасные свойства его души: верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет...

И король указывает на бархатный занавес, на котором загорается слово:

Конец

1946

ДВА БРАТА

Сказка

Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, как вкопанные, но все-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.

Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.

И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему — семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил, — братья ссорились каждый день, как чужие.

И вот однажды — было это двадцать восьмого декабря утром — позвал лесничий сыновей и сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать в город. Маму послать — ее по дороге волки съедят. Самому ехать — он не умеет по магазинам ходить. А вдвоем ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.

Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома все будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города.

— Ты даешь мне слово? — спросил отец.

— Даю честное слово, — ответил Старший.

— Хорошо, — сказал отец. — Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное — за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принес дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали.

Первый день прошел хорошо. Второй — еще лучше. И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку “Приключения Синдбада-Морехода”. И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, огромная, как туча, и несет она в когтях ка́мень величиною с дом.

Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата:

— Поиграй со мной, пожалуйста.

Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: “Оставь меня в покое!”

И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил младшего за шиворот, крикнул: “Оставь меня в покое!” — вытолкнул его во двор и запер дверь.

А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал:

— Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!

У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал:

“Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обра́тно. За это время ничего с ним не случится”.

И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь.

Старший вскочил и закричал:

— Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, неодетый!

И он бросился во двор.

Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг.

Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.

Тогда Старший зажег фонарь и с фонарем обыскал все закоулки во дворе.

Брат пропал бесследно.

Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рок.

Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья.

Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.

Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко зазвенели бубенчики.

“Наши возвращаются, — подумал с тоскою Старший. — Ах, если бы все передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались”.

А бубенчики звенели все ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его черная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая.

Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы,— они не знали, что дома случилось такое несчастье.

— Зачем ты выбежал во двор без пальто? — спросила мать.

— А где Младший? — спросил отец. Старший не ответил ни слова.

— Где твой младший брат? — спросил отец еще раз. И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший все рассказал родителям.

Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел.

— Одевайся, — сказал отец тихо. — Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.

— Что же, мы теперь совсем без детей останемся? — спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил.

И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.

Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте, как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шел по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него

прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.

Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал все быстрее и быстрее.

Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами. Старший остановился.

Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь?

И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко легкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости, — не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашелся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой?

Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно.

— Пойду и узнаю, что там за звон,— сказал Старший.

Он шел час, и два, и три. Звон становился все громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев, — высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стекла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели.

Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачные клены. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и

звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.

Мальчик подошел к березе и отломил веточку. И, пока он ее разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.

И Старший понял: лес, промерзший насквозь, превратившийся в лед, стоит вокруг. И растет этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные.

— Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно? — спросил Старший.

— Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, — ответил кто-то тоненьким звонким голосом.

Мальчик оглянулся.

Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце.

А старик, помолчав, повторил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал:

— Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил. Тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?

— Вы как будто Дедушка Мороз? — спросил мальчик.

— Отнюдь нет! — ответил старик холодно. — Дедушка Мороз — мой сын. Я проклял его, — этот здоровяк слишком добродушен. Я — Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.

И старик пошел вперед, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.

Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щелкнул замок, и тяжелые ледяные ворота открылись в холме.

— Следуй за мной,— повторил старик.

— Но ведь мне нужно искать брата! — воскликнул мальчик.

— Твой брат здесь,— сказал Прадедушка Мороз спокойно.— Следуй за мной.

И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра "2".

— В моем дворце сорок девять таких зал. Следуй за мной, — приказал Прадедушка Мороз.

Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперед и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца.

Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться.

Но в печке этой ледяные поленья горели черным пламенем. Черные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом.

И Прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.

— Садись рядом, померзнем, — предложил он мальчику.

Мальчик ничего не ответил.

А старик уселся поудобнее и мерз, мерз, мерз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.

Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжег их ледяными спичками.

— Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, — сказал он мальчику. — Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял?

Мальчик кивнул головой.

И Прадедушка Мороз продолжал отчетливо и гладко:

— Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?

— Но ведь нас дома ждут! — воскликнул Старший жалобно.

— Ты. Останешься. Здесь. Навеки, — повторил Прадедушка Мороз.

Он подошел к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы.

Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.

— Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, — сказал старик.

— Они мертвые? — спросил мальчик.

— Я успокоил их, но не совсем, — ответил Прадедушка Мороз. — Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом.

— Я убегу! — крикнул мальчик.

— Ты никуда не убежишь! — ответил Прадедушка Мороз твердо. — Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что — он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.

И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица еще дышит. Но старик не мигая смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени.

И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег. Потом вся она стала твердой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал:

— Готово! Принимайся за следующую.

До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика:

— Руки у тебя не замерзли?

— Нет, — ответил он.

— Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, — сказал старик.— Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.

И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушел в глубину дворца, и мальчик остался один.

Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам.

И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.

— Пришло время удалиться ко сну,— сказал Прадедушка Мороз. И

он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала.

Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз.

Утром старик разбудил его.

— Отправляйся в кладовую,— сказал он.— Двери в нее находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.

И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принес на ледяном блюде завтрак номер один.

И котлеты, и чай, и хлеб — все было ледяное, и все это надо было грызть или сосать, как леденцы.

— Я удалюсь на промысел,— сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак. — Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца. До свиданья, мой юный ученик.

И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался, наконец, до сорок девятого зала и остановился, как вкопанный.

Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра “49”. Последний зал был заперт наглухо.

— Младший! — крикнул старший брат. — Я пришел за тобой. Ты здесь?

— Ты здесь? — повторило эхо.

Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба.

И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел Прадедушка Мороз.

И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев.

Так и пошли дни за днями.

И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашел его, наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня.

И Старший думал, думал и наяву и во сне, все об одном, все об одном.

А старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил:

— Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. "Оставь меня в покое!" — какие великие слова. С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. "Оставь меня в покое!" Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле.

И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы.

Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.

— Ах, как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете! — рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько. — Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья — спокойные, солидные, гигантские мамонты! Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Нам. Некуда. Было. Спешить.

И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный.

— Что значит твое нелепое поведение? — спросил старик сухо.

Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости.

Когда думаешь все об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать.

Спички!

Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город.

И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и веревку и выбежал из дворца.

Старик пошел налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров.

У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся.

Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть, но вот, наконец, вся она покрылась мелкими водя-ными капельками. И когда костер погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла.

— Ага! — сказал он и ударил по двери топором. Но ледяной дуб попрежнему был тверд, как камень.

— Ладно! — сказал мальчик. — Завтра начнем сначала. Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костер разгорелся, мальчик протянул птицу к огню.

Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.

— Здравствуй! — сказал ей мальчик, чуть не плача от радости.— Погоди, Прадедушка Мороз! Мы еще поживем!

И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мхом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом, у костра, и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра.

Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своем брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его.

И вот однажды мальчик, как всегда, принес вязанку дров, развел костер и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков. Мальчик хотел спросить: “Где же вы?” — но тяжелая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня.

Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками.

Он дунул на костер, и поленья стали прозрачными, а пламя черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад.

— Еще. Раз. Попадешься. Заморожу! — сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы.

Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке.

Мальчик открыл глаза.

Заяц стоял возле.

И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу.

Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.

— Оставьте меня в покое,— пробормотал во сне старик.

И белки спрыгнули на пол и подбежали к мальчику.

И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей.

И мальчик все понял.

С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.

Вот и дубовая дверь.

Мальчик нашел ключ с цифрой “49”. Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал, но напрасно.

Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он

нашел что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.

И дятлы терпеливо застучали своими твердыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырехугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась. А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину.

И он вставил ключ и повернул его, и замок щелкнул, и упрямая дверь открылась, наконец, со звоном.

И мальчик, дрожа, вошел в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.

А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках — все было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:

— Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждет! Скорее бежим домой!

Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.

Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.

Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.

Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:

— Мальчик! Мальчик! Мальчик!

Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.

— Остановись! — приказал старик.

Старший остановился.

И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой теплой шубой. И Старший ожил и побежал вперед, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.

Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее, — ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, — зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы еще раз и еще раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости.

И когда он заплакал, сразу стало теплее.

И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.

— Смотри — подснежник! — крикнул Старший радостно. Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен как кукла, и печально глядел прямо перед собой.

— Ничего. Отец все умеет делать! — сказал Старший Младшему.— Он оживит тебя. Наверное оживит!

И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался, как вихрь, от радости. Ведь все-таки брата он нашел.

Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно, — ведь листья распустились, весна пришла.

И вдруг старший брат поскользнулся.

На дне ямки, под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший темный снег.

И Старший упал.

И бедный Младший ударился о корень дерева.

И с жалобным звоном он разбился на мелкие кусочки.

Сразу тихо-тихо стало в лесу.

И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос:

— Конечно! От меня. Так. Легко. Не уйдешь!

И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал еще ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться, не на чем было успокоиться.

Он плакал и плакал, пока не уснул с горя как убитый.

А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили березовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой теплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они отлетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали теплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали черными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз, и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне.

И когда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах.

Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку.

А тот открыл глаза и спросил как ни в чем не бывало:

— А, это ты? Который час?

И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой.

Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата.

— Как птицы громко кричат сегодня,— сказала мать.

— Обрадовались теплу,— ответил отец.

— Белки прыгают с ветки на ветку,— сказала мать.

— И они тоже рады весне,— ответил отец.

— Слышишь?! — вдруг крикнула мать.

— Нет, — ответил отец.— А что случилось?

— Кто-то бежит сюда!

— Нет! — повторил отец печально.— Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под ногами. Никто к нам не прибежит. Но мать была уже во дворе и звала:

— Дети, дети!

И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки.

Родители бросились к ним навстречу.

И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления.

Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем черной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять.

С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но все-таки бывает.

И с тех пор они жили счастливо.

Правда, Старший говорил изредка брату:

— Оставь меня в покое. Но сейчас же добавлял:

— Ненадолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя.

И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.

1942

РАССЕЯНЫЙ ВОЛШЕБНИК

Сказка

Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник, по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы, и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для дома своего чудесные машины, легкие как перышки. И эти самые машинки у него и пол мели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величиной с кошку, бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает, и обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним да еще споет ему песенку, как настоящая птичка. А плохого прогонит да еще залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала:

— Хозяин, а хозяин! Вставать пора!

Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала: когда нужно — напомнит, когда нужно — поправит.

Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как велосипед. Веселится. А Иван Иванович просит ее:

— Тише, тише, не мешай мне размышлять.

И вдруг услышали они: копыта стучат, колеса скрипят.

И увидели: выезжает им навстречу мальчик, везет зерно на мельницу.

Поздоровались они.

Мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Ивана Ивановича, что это за машинка да как она сделана.

Иван Иванович стал объяснять.

А машинка убежала в лес гонять белок, заливается, как колокольчик. Мальчик выслушал Ивана Ивановича, засмеялся и говорит:

— Нет, вы прямо настоящий волшебник.

— Да вроде этого, — отвечает Иван Иванович.

— Вы, наверное, все можете сделать?

— Да, — отвечает Иван Иванович.

— Ну, а можете вы, например, мою лошадь превратить в кошку?

— Отчего же! — отвечает Иван Иванович.

Вынул он из жилетного кармана маленький прибор.

— Это, — говорит, — зоологическое волшебное стекло. Раз, два, три!.

И направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь.

И вдруг — вот чудеса-то! — дуга стала крошечной, оглобли тоненькими, сбруя легонькой, вожжи повисли тесемочками. И увидел мальчик: вместо коня запряжена в его телегу кошка. Стоит кошка важно, как конь, и роет землю передней лапкой, словно копытом. Потрогал ее мальчик — шерстка мягкая. Погладил — замурлыкала. Настоящая кошка, только в упряжке.

Посмеялись они.

Тут из лесу выбежала чудесная машинка. И вдруг остановилась как вкопанная. И стала она давать тревожные звонки, и красные лампочки зажглись у нее на спине.

— Что такое? — испугался Иван Иванович.

— Как что? — закричала машинка. — Вы по рассеянности забыли, что наше увеличительное зоологическое волшебное стекло лежит в ремонте на стекольном заводе! Как же вы теперь превратите кошку опять в лошадь?

Что тут делать?

Мальчик плачет, кошка мяучит, машинка звонит, а Иван Иванович просит:

— Пожалуйста, прошу вас, потише, не мешайте мне размышлять.

Подумал он, подумал и говорит:

— Нечего, друзья, плакать, нечего мяукать, нечего звонить. Лошадь, конечно, превратилась в кошку, но сила в ней осталась прежняя, лошадиная. Поезжай, мальчик, спокойно на этой кошке в одну лошадиную силу. А ровно через месяц я, не выходя из дому, направлю на кошку волшебное увеличительное стекло, и она снова станет лошадью.

Успокоился мальчик.

Дал свой адрес Ивану Ивановичу, дернул вожжи, сказал: “Но!” И повезла кошка телегу.

Когда вернулись они с мельницы в село Мурино, сбежались все, от мала до велика, удивляться на чудесную кошку.

Распряг мальчик кошку.

Собаки было бросились на нее, а она как ударит их лапой во всю свою лошадиную силу. И тут собаки сразу поняли, что с такой кошкой лучше не связываться.

Привели кошку в дом. Стала она жить-поживать. Кошка как кошка. Мышей ловит, молоко лакает, на печке дремлет. А утром запрягут ее в телегу, и работает кошка, как лошадь.

Все ее очень полюбили и забыли даже, что была она когда-то лошадью.

Так прошло двадцать пять дней.

Ночью дремлет кошка на печи.

Вдруг — бах! бум! трах-тах-тах!

Все вскочили.

Зажгли свет.

И видят: печь развалилась по кирпичикам. А на кирпичах лежит лошадь и глядит, подняв уши, ничего со сна понять не может.

Что же, оказывается, произошло?

В эту самую ночь принесли Ивану Ивановичу из ремонта увеличительное зоологическое волшебное стекло. Машинка на ночь уже разобралась. А сам Иван Иванович не догадался сказать по телефону в село Мурино, чтобы вывели кошку во двор из комнаты, потому что он сейчас будет превращать ее в лошадь. Никого не предупредив, направил он волшебный прибор по указанному адресу: раз, два, три — и очутилась на печке вместо кошки целая лошадь. Конечно, печка под такой тяжестью развалилась на мелкие кирпичики.

Но все кончилось хорошо.

Иван Иванович на другой же день построил им печку еще лучше прежней. А лошадь так и осталась лошадью. Но правда, завелись у нее кошачьи повадки.

Пашет она землю, тянет плуг, старается — и вдруг увидит полевую мышь. И сейчас же все забудет, стрелой бросается на добычу.

И ржать разучилась. Мяукала басом.

И нрав у нее остался кошачий, вольнолюбивый. На ночь конюшню перестали запирать. Если запрешь — кричит лошадь на все село:

— Мяу! Мяу!

По ночам открывала она ворота конюшни копытом и неслышно выходила во двор. Мышей подкарауливала, крыс подстерегала. Или легко, как кошка, взлетала лошадь на крышу и бродила там до рассвета. Другие кошки ее любили. Дружили с ней. Играли. Ходили к ней в гости в конюшню, рассказывали ей обо всех своих кошачьих делах, а она им — о лошадиных.

И они понимали друг друга, как самые лучшие друзья.

1944

СТИХИ И ПИСЬМА



* * *

Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей,
Зажмурившись, поет в глуши своей.

[1946—1947]

ЮРИЮ ГЕРМАНУ

Ты десять лет назад шутил, что я старик.
О, младший брат, теперь ты мой ровесник.
Мы слышали друзей предсмертный крик,
И к нам в дома влетал войны проклятый вестник.

И нет домов. Там призраки сидят,
Где мы, старик, с тобой сидели,
И укоризненно на нас они глядят,
За то, что мы с тобою уцелели.

За унижения корит пустой их взор,
За то, что так стараемся мы оба
Забыть постылых похорон позор
Без провожатых и без гроба.

Да, да, старик. Запрещено шутить,
Затем, что ныне все пророки.
Все смерть слыхали. И боясь забыть,
Твердят сквозь смех ее уроки.

июль 1945

В ТРАМВАЕ

Глядят не злобно и не кротко,
Заняв трамвайные места,
Старуха — круглая сиротка,
Худая баба — сирота.

Старик, окостеневший мальчик,
Все потерявший с той поры,
Когда играл он в твердый мячик
Средь мертвой ныне детворы.

Грудной ребенок, пьяный в доску,
О крови, о боях ревет,
Протезом черным ищет соску
Да мать зовет, все мать зовет.

Не слышит мать. Кругом косится,
Молчит кругом народ чужой.
Все думают, что он бранится.
Да нет! Он просится! Домой!

Увы! Позаросла дорога,
И к маме не найти пути.
Кондуктор объявляет строго,
Что Парки только впереди.

А рельсы, добрые созданья,
На закруглениях визжат:
— Зачем не видимы страданья?
Зачем на рельсах не лежат?

Тогда бы целые бригады
Явились чистить, убирать,
И нам, железным, от надсады
Не надо было бы орать.

29 июля 1945

БЕССОННИЦА

Томит меня ночная тень,
Сверлит меня и точит.
Кончается вчерашний день,
А умереть не хочет.

В чаду бессонницы моей
Я вижу — длинным, длинным
Вы, позвонки прошедших дней,
Хвостом легли змеиным.

И через тлен, и через прах
Путем своим всегдашним
Вы тянетесь, как звон в ушах,
За днем живым, вчерашним.

И ляжет он под тихий звон
К друзьям окостенелым,
Крестом простым не отличен,
Ни злым, ни добрым делом.

Ложись к умершим близнецам,
Отпетым и забытым.
Ложись, ложись к убитым дням,
Моей рукой убитым.

Томит меня ночная тень,
Сверлит меня и гложет.
Не в силах жить вчерашний день,
И умереть не может.

10 апреля 1946

ФОТОГРАФИЯ К. БУЛЛА

Сквозь первый вой трамваев и гудков,
Сквозь полубред ленивый
Вдруг чувствую тоску барашковых воротников
Из фотографий старой “Нивы”.

Я вижу — вон бородачи среди двора
Покорно встали.
На полах выписаны тушью номера,
Чтоб имена их знали.

Купцы, подрядчики, заказчики стоят:
«Закладка зданья».
Но чудится — поставили их в ряд,
Как жертвы на закланье.

Барашковые жертвы. Жили вы.
Почтительно снимал вас Булла —
И не сносили бородатой головы,
Вас будто языком слизнуло.

Вас пламя языком слизнуло с алтаря.
Все. Жертва принята бесстрасто.
И вас не назовут, о прошлом говоря,
На полах номера — напрасны.

Истлело все. Отчаянье. Укор.
Ложь на допросах. Покаянье. Злоба.
И безымянных похорон позор
Без покаянья и без гроба.

13 ноября 1946

* * *

Exegu monumentum

Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша,
И вот — позорно моложава
Моя лукавая душа.

Ровесники окаменели,
Окаменеешь тут, когда
Живого места нет на теле,
От бед, грехов, страстей, труда.

А я всё боли убегаю,
Да лгу себе, что я в раю.
Я все на дудочке играю,
Да близким песенки пою.

Упрекам внемлю и не внемлю.
Все так. Но твердо знаю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя.

24 июля 1945

* * *

Бессмысленная радость бытия.
Иду по улице с поднятой головою.
И, щурясь, вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травою.

Я вынужден поверить, что умру.
И я спокойно и достойно представляю,
Как нагло входит смерть в мою нору,
Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.

И через мир чужой врываюсь я
В знакомый лес с березами, дубами,
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.

[2-я половина 40-х годов]

1

Н. П. АКИМОВУ (Москва)

(Луга), 2 июля 1938.

Дорогой Николай Павлович!

С огромным трудом отрываюсь от пьесы, чтобы ответить на Ваше письмо.

По этому вступлению Вы можете понять, как идет работа. Просто замечательно она идет. Я сам себе удивляюсь и только одного боюсь, как бы не испортить то, что как будто несомненно получилось в первом акте[1].

Никому не говорите — но первый акт мне нравится. Он не имеет ничего общего с первым вариантом и много лучше того, что я Вам рассказывал.

Окончен первый акт — тридцатого июня. Это будет самый длинный акт в пьесе. В нем шестьдесят моих рукописных страниц. Пусть это Вас не пугает — кое-что там несомненно можно будет сократить.

Конечно, можно было бы отдать первый акт в перепечатку и послать Вам, но я этого не сделаю вот почему:

1. Из суеверия.

2. Я буду беспокоиться, думать о том, какое впечатление первый акт произведет в Москве, что вредно отзовется на работе над вторым.

3. Работая над вторым актом, я от времени до времени заглядываю в первый, кое-что там подчищаю, кое-что меняю, отчего он, первый, улучшается.

4. Больше причин нет.

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы приехали в Ленинград, как обещали, числа 15—16. Я бы Вам почитал все, что к тому времени будет готово. Должен Вам признаться, что у меня есть дерзкая мечта — кончить к тому времени всю пьесу. Но боюсь, что это не удастся. Но все-таки мечтаю. Но ничего из этого не выйдет.

Окончив пьесу, я Вам ее перепишу еще раз с начала до конца. Я желаю следующего: если пьеса не пойдет, так пусть это будет не по моей вине. Пусть с моей стороны будет сделано все, что можно. Мне страшно надоело писать пьесы, которые не идут[2].

Единство места будет сохранено.

Спасибо Вам за письма. И письмо ко мне, и письмо к Екатерине Ивановне имели на нашей даче большой успех. Особенно понравился Ваш научный домысел о Гете и Эккермане[3].

Что меня опять хвалили в Москве, Вы придумали, чтобы я стал бодр, энергичен и самоуверен. Тем не менее прочесть это было приятно. Вам нужно написать пьесу. Вы психолог. Много думаю о Вашем проекте пьесы с постоянными героями. Кое-что намечается, как будто[4]. Приедете — расскажу.

Екатерина Ивановна кланяется Вам и Елене Владимировне[5], и месткому, который включился. Я тоже. Жду Вас!

Ваш *Е. Шварц.*

1. Речь идет о пьесе "Наше гостеприимство".

2. Перед тем Шварц "положил в стол" "Принцессу и свинопаса", "Приключения Гогенштауфена", "Телефонную трубку".

3. В письме от 29. 6 Акимов писал Екатерине Ивановне: "Хорошо зная, как велико то благотворное влияние, которое Вы оказываете на подведомственного Вам драматурга — Шварца, прошу Вас очень в течение ближайших полутора месяцев увеличить выдачу бодрой зарядки, а также проследить за трудовыми процессами Евгения Львовича. История знает много примеров отрицательного влияния со стороны близких людей. Софья Андреевна Толстая тормозила, как известно, работу великого прозаика, Эккерман мешал Гете разговорами и т. д. и т. д. И м. б. впервые Вам суждено сломать эту вредную традицию, создав в этой области новый образ положительной героини".

4. С постоянным героем — Леночкой у Шварца намечался цикл фильмов, сценарий для которых он писал с Н. С. Олейниковым. "Разбудите Леночку" и "Леночка и виноград" были экранизированы, остальные остались в стадии заявок. Пьес с постоянными героями у Шварца нет.

5. Юнгер Елена Владимировна, жена Акимова, актриса,

2

(Гагра, 6 октября 1938)

Дорогой Николай Павлович!

Отдохнувши и подкрепивши себя морскими купаниями, а также

солнечными ваннами, я с глубочайшим удивлением убедился в том, что пьеса "Наше гостеприимство" далеко не так плоха, как Вам казалось в день моего отъезда на юг. Более того — она такова, как была в день 7 сентября, в день ее читки на труппе. В этом я убедился сегодня 6 сентября[1], когда перечитал ее внимательно от начала до конца. Прочтя это, Вы подумаете: "Этот сукин сын не собирается переделывать или, как говорится, дорабатывать, пьесу. Вот сволочь! Но впрочем это хорошо. Значит ее можно будет не ставить".

На эти Ваши мысли я отвечаю следующее. Пьесу я дорабатываю, переворачиваю, дописываю и улучшаю. Но мне грустно, что я в нее верю, а Вы не очень.

И виною этому — я сам. Я сам заразил Вас в Москве упадническими настроениями, в чем раскаиваюсь. Этому помог и художник Мышкин[2], о разговоре с которым я вспоминаю, как о не слишком хорошем сне.

Теперь о детских пьесах.

Это не от привычки к детским пьесам я заставляю героев говорить несколько наивно. Это — результат уверенности моей в том, что люди так и говорят. Это первое. Второе — это страх перед литературой. Как говорят Ваши лягушатки[3], де ля мюзик аван ту шоз[4], а все остальное литература.

Некоторая поэтичность, отмеченная Фальковским[5], и "моцартианская легкость", замеченная Бурлаченкой[5], — все это от того, что литература была вытравлена в лучших местах пьесы. Так что, поверьте мне, дело тут не в детских пьесах и не в наивности. Вся беда в том, что кое-что имеющееся уже в пьесе, недостаточно было очищено от литературы. Вот когда все будет чисто, наивно и ясно — тогда пьеса будет готова.

Есть ошибки и в постройке пьесы, кое-что не готово, переделывать ее следует, кое-что из указаний Фальковского безусловно верно. Но, дорогой Николай Павлович, обточена и отделана в духе Млечина[5] она не будет. Это будет наивная пьеса. Таковы свойства моего организма, и к ним придется приучить критиков.

Между тем ситуация пьесы, если говорить совершенно серьезно, совершенно реалистична. Если даже подходить к ней с суровой и аскетичной оценкой художника Мышкина — то сегодняшняя жизнь именно

такова. Вот гуляли, болтали и вдруг... Драматургия, как всегда, отстает от жизни. Драматурги пишут сугубо условные, комнатные пьесы. А правда, истинный реализм за пределами комнаты. (Даже если герои сидят в комнате, как в "Опасном "повороте") [6].

Вот такие дела, дорогой Николай Павлович!

Не скрою от Вас, что по дороге сюда я думал, что пьесы для взрослых я писать не буду, что я займусь сборником сказок и так далее и тому подобное. Думал о Зоне[7].

Сборником сказок я, конечно, займусь. Но предварительно закончу (*неразборчиво*). И думаю я сейчас о Вас.

Я очень рад был бы, Николай Павлович, получить от Вас длинное и подробное письмо. Что нового в Театре? (как видите, я его пишу с большой буквы)[8]. (...)

Передайте Якову Александровичу[9], о котором я сохранил наилучшие воспоминания что пьеса будет. А если не будет, то новая будет.

Екатерина Ивановна шлет привет Вам и Елене Владимировне. Мой адрес: Гагра, до востребования.

Ваш *Е. Шварц.*

1. Описка — 6 октября.

2. Личность не установлена.

3. "Лягушатками" в шутку Акимов и Шварц называли французов.

4. Русская транскрипция французских слов: "музыка прежде всего" — строка из стихотворения П. Верлена "Искусство поэзии", ставшего манифестом поэтов-символистов.

5. Фальковский, Бурлаченко, Млечин — чиновники Управления культуры Ленгорисполкома.

6. Пьеса Д.-Б. Пристли, в 1938 году репетировавшаяся в Театре Комедии.

7. Зон Борис Вульфович (1898—1966), актер и режиссер ЛенТЮЗа, основатель и художественный руководитель Нового ТЮЗа.

8. Акимов писал "Театр" с заглавной буквы.

9. Курганов Я. А., тогдашний директор Театра Комедии.

3

Сухуми, 3 октября (1939)

Дорогой Николай Павлович!

Загипнотизированный, как всегда, Вами, я согласился, уезжая, написать второй акт в три-четыре дня[1]. Приехав сюда девятого вечером, я написал числу к 15-му довольно чудовищное произведение. Пока я писал, меня преследовали две в высшей степени вдохновляющие мысли:

1. Скорее, скорее!

2. Что ты спешишь, дурак, ты все портишь.

За тот же промежуток времени, 9—15 сентября, я получил телеграммы. 1) от Оттена (завлита Камерного театра)[2], 2) от самого Таирова[3] из Кисловодска и 3) от самого Маркова (завлита МХАТа)[4]. Во всех этих депешах меня просили поскорее выслать для ознакомления "Тень" и заранее делали пьесе комплименты[5]. А у меня было такое чувство, что я ловкий обманщик.

Наконец 15-го я решил твердо забыть обо всем и писать второй акт сначала. Написал, переписал и послал вчера, 2-го.

Переписал от руки и, переписывая, внес много нового, так что тот экземпляр, который Вы получите, — единственный, отчего и послан ценным письмом. Не потеряется.

Двери, о которых Вы просили, — не влезли.

Попробую вставить их в третий акт. Зато, как Вы уже убедились, вероятно, во втором акте есть ряд других, говоря скромно, гениальных мест.

Я надеюсь, что мое невольное промедление не помешало Вашим планам. В одном я совершенно убежден, если бы внушенные Вами сроки были соблюдены, — то это уж наверняка погубило бы пьесу и тем самым наши планы. Все это я пишу любя. Я не попрекаю, а объясняюсь.

Вашу идею о сцене перед дворцом я принял полностью. Третий акт начинается именно с такой сцены, причем в ней происходит одно событие, крайне важное с сюжетной стороны.

Когда я получил перепечатанный экземпляр "Тени", то я с горечью убедился, что третий акт носит на себе явные следы спешной работы.

Сейчас я их не спеша, но и не медля, удаляю. Мне очень жалко, что я читал труппе такой совершенно явный черновик, как II или III акты.

Впрочем, я надеюсь, что все образуется.

Неужели Вы за это время охладели к пьесе? Я лично только-только вошел во вкус.

Здесь очень хорошо, уезжать мне не хочется, но придется. (...)

Приехав, немедленно позвоню Вам и надеюсь, что Вы будете разговаривать со мной дружески.

Привет от Екатерины Ивановны. Поцелуйте Елену Владимировну и дочку.

Ваш *Е. Шварц.*

1. В этом письме речь идет о пьесе "Тень". Премьера "Тени" в Театре Комедии состоялась II апреля 1940 года.

2. Оттен (Поташинский) Николай Давыдович (1907—1983), прозаик, драматург, с 1937 по 1941 г. завлит московского Камерного театра.

3. Таиров Александр Яковлевич (1885—1950), создатель и художественный руководитель Камерного театра. Незаконно репрессирован.

4. Марков Павел Александрович (1897—1980), театровед, доктор искусствоведения.

5. Ни МХАТ, ни Камерный театр "Тень" не поставили.

4

С. Я. МАРШАКУ[1] (Москва)

(Киров, обл.) 11 апреля (1942)

Дорогой Самуил Яковлевич!

Вот уже скоро три месяца, как я собираюсь тебе писать. Перед самым отъездом из Ленинграда пришла твоя телеграмма из Алма-Аты. Я думал ответить на телеграмму эту подробным письмом из Кирова, но все ждал пока отойду и отдышусь. А потом я взялся за пьесу и только пьесой и мог заниматься.

Ужасно хотелось бы повидать тебя! Я теперь худой и легкий, как в былые дни. Сарра Лебедева[2] говорит, что я совсем похож на себя в 25—26 году. Но когда я по утрам бреюсь, то вижу, к сожалению, по морщинам, что год-то у нас уже 42-й.

Что Тамара Григорьевна?[3] Видел я ее в последний раз после телефонного разговора с тобою. Потом жизнь усложнилась настолько, что я так и не попал к ним ни разу. Уехал я 11 декабря, ничего не знаю ни об Алексее Ивановиче[4], ни о Шурочке Любарской [5], ни о Тамаре Григорьевне. Напиши — где они и что с ними?

Сарра Лебедева рассказывает, что тебе показалось, будто я говорил с тобою по телефону односложно, неохотно и мрачно. Когда при встрече я расскажу тебе подробно обо всех обстоятельствах, при которых шел этот разговор, то ты меня поймешь. Вообще, очень, очень много расскажу я тебе при встрече. У нас, ленинградцев, накопился такой опыт, что на всю жизнь хватит. Здесь я живу тихо. Все пишу да пишу. Часть своего ленинградского опыта попробовал использовать в пьесе “Одна ночь”. Действие там происходит в конторе домохозяйства в декабре, в осажденном городе и, действительно, в течение одной ночи. Послал я эту пьесу Солодовникову[6] в Комитет по Делам Искусств, в качестве пьесы по Госзаказу. Ответа от него не имею. Сейчас кончаю, вернее продолжаю “Дракона”, первый акт которого, если ты помнишь, читал когда-то тебе и Тамаре Григорьевне в Ленинграде.

А что ты делаешь? Твои подписи к рисункам Кукрыниксов очень хороши. Вообще ты, судя по всему, по-прежнему в полной силе, чему я очень рад.

Я знаю, что ты занят сейчас, как всегда, но выбери, пожалуйста, время и пришли мне письмо, по возможности длинное. Я здесь с женою. Дочка живет в одном доме со мной[7]. Здесь Лебедев, Сарра Дмитриевна. Я пишу и все-таки иногда чувствую себя бездомным, как еврей после разрушения Иерусалима. И разбросало сейчас ленинградцев, как евреев. Каждое письмо здесь большая радость, а письмо от тебя будет радостью вдвойне.

Кстати, о бездомности — в феврале квартиру мою разрушило снарядом[8].

Целую тебя. Привет Софье Михайловне[9], детям и внуку.

Твой *Е. Шварц.*

1. Из личного архива С. Маршака.

2. Лебедева Сарра Дмитриевна (1892—1967), скульптор, жена В. Лебедева.

3. Габбе Тамара Григорьевна (1903—1960), детская писательница и драматург.

4. Писатель Л. Пантелеев.

5. Любарская Александра Исааковна (р. 1908), прозаик, переводчик, редактор Детского отдела ГИЗа.

6. Солодовников А. В. — заместитель председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР.

7. Наташа была в Кирове вместе с матерью, Холодовой Гаянэ Николаевной, тогда актрисой БДТ, эвакуированного в Киров.

8. В феврале 1942 г. квартиру Шварцев разбило снарядом, впоследствии квартира была восстановлена и Шварц вернулся в нее 17 июля 1945 г.

9. Софья Михайловна Маршак, жена С. Я. Маршака.

5

М. Л. СЛОНИМСКОМУ (Молотов)

18 июля (1942)

Дорогие Слонимские!

Что-то вы не интересуетесь нашей жизнью? А мы вас часто вспоминаем и удивляемся — почему так редко виделись мы, когда жили в Ленинграде. С ума мы сошли, что ли?

Здесь я более или менее обжился, но чувствую себя все-таки в основном несколько одиноко. Зимовать в Кирове, по всей вероятности, не останусь. Поеду или на юг, или на север. Или в театр Комедии, который сейчас в Сочи, а потом едет в Ереван, или к Зону в Новый ТЮЗ, который в июле переезжает на постоянную работу в Новосибирск. Акимов зовет к себе очень энергично, все присылает телеграммы, а Зон

звал, звал, а теперь молчит. Не верит, что я сдвинусь с места.

Вы, вероятно, слышали уже, что я заразился у гостившего у нас Никиты Заболоцкого скарлатиной и, как детский писатель, был увезен в детскую инфекционную больницу? Там я лежал в отдельной комнате, поправился, помолодел и даже на зависть тебе, Миша, похорошел. Теперь опять начинаю входить в норму. Дурнею помаленьку.

Скарлатина оставила какие-то следы у меня в сердце. Правда, сам я их не замечаю. И врачи говорят, что через несколько недель эти следы рассеянной бури исчезнут.

Написал я тут пьесу, но Храпченко она не понравилась[1]. Тем не менее Зон и Большой Драматический собираются ее ставить. Даже репетируют. До чего же отчаянные люди бывают на свете![2]

(...) Переписываюсь я с Воеводиным (который едва не погиб после операции флегмоны, в Ярославле)[3], с Рахмановым (он в Котельниче)[4], с Германом (он в Архангельске)[5], с Гринбергом (он в Пятигорске)[6]. Получил письмо от Кетлинской, которая собиралась к вам. (Приехала ли она?)[7]. Письма здесь, Миша, большая радость. Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно. Но ты пересиль себя, и когда-нибудь тебе это отплатится.

Передай привет Кавериным и Юрию Николаевичу[8]. Целуем вас.

Е. Шварц.

1. Храпченко Михаил Борисович (1904—1986), в войну — председатель Комитета по делам искусств СССР.

2. "Одна ночь" — пьеса, действие которой укладывается в одну ночь Ленинградской блокады, впервые была напечатана в сборнике пьес Е. Шварца "Тень" и другие пьесы" (Л., 1956), а поставлена еще позже — в Театре Комедии в 1979 г.

3. Воеводин Всеволод Петрович (1907—1973), писатель.

4. Рахманов Леонид Николаевич (1908—1988), писатель.

5. Герман Юрий Павлович (1910—1967), писатель.

6. Гринберг Иосиф Львович (1906—1980), литературовед.

7. Кетлинская Вера Казимировна (1906—1976), в блокаду не выезжала из Ленинграда.

8. Тынянову.

6

Л. А. МАЛЮГИНУ[1] (Ленинград)

2 марта (1943)

Дорогой Леонид Антонович! Получил сразу два Ваших письма из Ленинграда от 12 и 16-го. И письма с дороги, и эти последние послания нас очень тронули. Нам показалось, что мы не так уж одиноки в нашем многолюдном общежитии. Не забывайте нас и дальше. Держите в курсе всех ленинградских дел. Умоляю!

Здесь все как было. Очень хочется уехать. Весь январь дули невероятные метели. Киров засыпало снегом, деньги из Москвы не приходили, работа не клеилась. Сейчас стало полегче, 27-го февраля Большинцов телеграфировал из Москвы[2], что деньги переведены еще 27-го января. Я пошел на почту. Оказалось, что причитающиеся мне суммы лежат там с первого февраля. Почему же меня не известили об этом? Почему целый месяц мы голодали почти, будучи людьми богатыми? Ответа я не получил. Но деньги выдали. И на этом спасибо. Они теперь тают. Это пока единственный признак весны у нас.

Поступил я завлитом в Кировский Облдрамтеатр, который, очевидно, в результате этого, делает полные сборы. Других причин я не могу найти. Работать там оказалось приятнее, чем я предполагал. Приехал новый худрук, Манский. Он много лет был худруком в Ярославле, потом ушел на войну, был ранен, демобилизован и направлен сюда. Он оказался человеком хорошим. Да и вся труппа — в общем ничего себе.

Пока что я не жалею, что работаю у них. И когда артистка Снежная[3], поссорившись с кем-то из иждивенцев, кричит в коридоре общежития: "Кончилось ваше царствие" — я не расстраиваюсь.

Меня это не касается.

Зарплаты мне положили шестьсот рублей.

Собираюсь съездить в Молотов, повидать людей, посмотреть на культурную жизнь. Я, как видите, завлит Вашей школы.

И все же — несмотря ни на что — я больше и больше склоняюсь к мысли о Ленинграде. Я не укладываюсь, но с нежностью поглядываю на чемоданы. Я ужасно боюсь, что когда нужно будет ехать — сил-то

вдруг не хватит. Впрочем, это мысли нервного происхождения.

Работа над "Голым королем" приостановилась. Почему — не знаю. В общем — все идет понемножку. Конечно мы будем ждать, далеко забираться мы не собираемся, но провести еще одну зиму в Кирове — невозможно.

Удалось ли перепечатать "Одну ночь" и передать ее в Союз?

Передайте поклон Руднику[4] и всем друзьям.

Мы вспоминаем Вас с нежностью. Только — пишите, пишите почаще!

Ваш *Е. Шварц.*

1. Малюгин Леонид Антонович (1909—1968), драматург, театральный деятель, в годы войны зав. литературной частью БДТ.

2. Большинцов Мануэль Владимирович (1902—1980) — сценарист и режиссер, в то время — председатель Комитета по делам кинематографии.

3. О Майском и Снежной никакими сведениями не располагаем.

4. Рудник Лев Сергеевич (1906—1987), в войну — худрук ленинградского Большого драматического театра.

7

10 марта (1943)

Дорогой Леонид Антонович! Получили сегодня Вашу открытку от 23-го февраля, полную незаслуженных упреков и хвастовства (купил книги в "Книжной лавке писателей"). Мало ли кто чего покупает. Я, например, купил сегодня на рынке картошки, но не хвастаю этим, чтобы не сделать Вам больно. Тем не менее мы решили послать Вам завтра телеграмму, потому что любим Вас, несмотря на Ваши недостатки[1]. И скучаем без Вас.

Новостей нет. (...)

Сборы в театре стали падать. Все вспоминают БДТ. Разлука усиливает подлинную любовь. (...)

Леонид Антонович, а что если мы все-таки приедем в ближайшем будущем? Неужели мы менее выносливы, чем все остальные? Как "Одна

ночь"? Был ли о ней разговор, когда Вы были на приеме у Александра Ивановича?[2] Или сейчас театру не до новых постановок? А если так — то тем более — почему бы нам не приехать? Не могу я тут больше писать. Хочу писать в боевой обстановке.

Видели Вы Леву Левина?[3]

Пишите, пожалуйста, длинно, подробно. Каждое письмо у нас тут событие.

Я тут сделал следующее открытие: мелкие периферийные неприятности хуже артобстрела. Они бьют без промаха. Если не верите — приезжайте к нам и поживите зиму-другую.

Чарушин[4], не без моего участия, согласился дать декорации к пьесе Симонова "Жди меня".

Ждем писем. Это и нам радостно, и Вам полезно, потому что пишете Вы художественно.

Передайте Руднику, что я ему кланяюсь и собираюсь работать над пьесой "Вызови меня"[5].

Целуем Вас и ждем.

Ваш *Е. Шварц.*

1. В телеграмме, отправленной 12 марта, говорится: "Послал три письма. Мечтаем приехать. Пишите. Целуем. Шварцы".

2. Личность не установлена.

3. Левин Лев Ильич (р. 1911), литературовед, критик.

4. Чарушин Евгений Иванович (1901—1965) — художник и детский писатель. В Кирове Чарушин написал портрет Шварца.

5. Этим каламбуром Е. Шварц хочет сказать, что для успешной работы ему необходим вызов в Ленинград.

8

13 мая (1943)

Дорогой Леонид Антонович! Очень долго не писал Вам по той причине, что не знал, уеду в Сталинабад или не уеду. Был момент, когда заготовлена уже была телеграмма: "25 выехали Акимову". И не

только телеграмма заготовлена, но и карточки отоварены, командировки написаны, чемодан куплен и уложен, броня на билеты получена. Словом, приготовления к отъезду зашли так далеко и были известны так широко, что, решив остаться, я выдумал, что Акимов прислал мне телеграмму, в ней просит мой отъезд отложить до 15—20 мая. Очень уж трудно было объяснять всем и каждому настоящую причину отмены нашего путешествия. А отменили мы отъезд свой вот почему.

Я сам не знал, как ослабел за зиму. Узнал я это, когда сбегал дважды на вокзал и похлопотал по всяким делам, связанным с отъездом. Я обнаружил вдруг, что мне, пожалуй, не доехать, а если и доехать, то на новом месте я буду очень плохим работником. И я струсил и отступил.

Сейчас я чувствую себя лучше и терзаюсь мыслями о том, как хорошо в Сталинабаде. Получил я вызов от Солодовникова на совещание драматургов[1], о чем немедленно телеграфировал Вам. Мечтаю увидеть Вас в Москве и обсудить совместно: что же делать?

Может быть, в самом, деле стоит задержаться в Москве?

Здесь все идет по-прежнему. От массы иждивенцев исходят самые разнообразные слухи о Облдрамтеатре. Но я думаю, что ни мы, ни Вы не знаем, что будет. В Союзе тихо.

Собираясь уехать, я в припадке крайнего отчаяния, попросил аудиенции у тов. Лукьянова[2] и был принят им. Рассказал ему о положении писателей. Он попросил изложить все сказанное в письменной форме. Я изложил. В результате мне, Чарушину, Вячеславову[3] и двум латышам будет ежемесячно выдаваться сухой паек (равный рабочей карточке 1 категории). Меня, кроме того, как будто прикрепят завтра к столовой Горисполкома. (...)

Вот Вам и все новости. Написал я тут пьесу для кукольного театра под названием “Новая сказка”. Вообще же работа не идет.

Вы представить себе не можете, как радуют нас Ваши письма. Я даже почерк Ваш полюбил, а это не так просто, как Вы думаете. И посылки Ваши нас трогают ужасно. Вспоминаем Вас каждый день и хвалим так, что я даже боюсь, как бы мы не сглазили. А мы ведь люди довольно строгие, особенно Екатерина Ивановна.

По Вашим письмам я понял окончательно, что Вы не пишете

рассказы, пьесы и повести по той причине, что самолюбие у Вас чувствительное, как мимоза. Других причин нет.

Целуем Вас. Мечтаем увидеться.

Известный путешественник *Е. Шварц*.

1. Телеграмма Комитета по делам искусств: "Двадцать четвертого мая состоится совещание драматургов. Выезжайте Москву. Зампред всесоюзного Комитета искусств Солодовников".

2. Лукьянов, тогдашний секретарь Кировского обкома партии.

3. Вячеславов П. — поэт и литературовед.

9

(Сталинабад) 20 января (1944)

Дорогой Леонид Антонович! Сухаревская[1] сообщила мне, что Вы меня ругаете нехорошими словами. В свое оправдание могу сказать одно: Вы совершенно правы, ругаясь. Сознание преступления снимает половину вины. Вторая половина — тоже имеет объяснение. С тех пор, как мы приехали сюда, мы все ждем решения судьбы театра. Куда-то мы должны уехать. Но куда? Это до сих пор неясно. А пока ничего неизвестно — откладываешь, не пишешь.

Словом — любим мы Вас по-прежнему, с нежностью. Если Вы не забыли Киров, научную столовую, все наши грустные разговоры, то простите мое нелепое молчание.

Перед отъездом из Кирова я с помощью Рябинкиной[2] послал Вам с каким-то командировочным военным письмо. Там я объяснял, почему не остался в Москве[3]. Письмо было адресовано на Асторию. Военный клялся, что опустит его в почтовый ящик. Судя по всему, клятвы он не выполнил. Кратко объяснюсь: в Москве надо было на полгода, по крайней мере, спрятать самолюбие в карман, забыть работу, стать в позу просителя и выпрашивать в Союзе писателей и Литфонде комнату, паек, уважение и почет. А я человек тихий, но самолюбивый. И даже иногда работящий. И легкоуязвимый. Выносить грубости сердитых и подозрительных барышень, работающих в вышеуказанных учреждениях,

для меня хуже любого климата. И вот мы уехали в Сталинабад.

Здесь много любопытного. Театр — интересен по-прежнему. Акимов умен и блестящ больше прежнего. Только благодаря ему я дописал здесь “Дракона”. Сейчас Акимов с пьесой в Москве, и я жду вестей. Пока что я не жалею, что повидал настоящую Азию. А это, честное слово, извините за прописную истину, но все-таки самое главное.

В настоящее время я занят пьесой под названием “Мушфики молчит”. Мушфики — это таджикский Насср-Эддин[4].

Но довольно о себе. Поговорим о Вас.

Первый спектакль, который я здесь увидел, был “Дорога в Нью-Йорк”[5]. Спектакль — прелестный. Начинается с кинофильма, где показаны главные действующие лица. Потом очень легко и весело идет остальное. (...) Спектакль удался, имеет огромный успех, идет часто, все время делают сборы, с чем я Вас и поздравляю.

Ну, Леонид Антонович, давайте возобновлять переписку. Здесь нет кировского одиночества, но я много дал бы за то, чтобы Вас повидать. Мы к Вам привыкли и не отвыкаем. Вы у нас свой. Целуем Вас вместе с Екатериной Ивановной и ждем добрых писем.

Когда мы увидимся? Вести с фронтов подают надежды, что скоро. Я прочно связался с театром Комедии. Куда они, туда и я. Но тем не менее — верю, что мы увидимся скоро. Привет чудотворцу Руднику, Ирине[6], Мариенгофу и Никитиной, Казико[7], всем.

Ваш *Е. Шварц.*

1. Сухаревская Лидия Павловна (р. 1909), актриса театра Комедии.

2. Секретарь литчасти Кировского Драматического театра.

3. Е. Шварц был в Москве на совещании драматургов. См. пред. письмо.

4. По-видимому, Е. Шварц только собирал материалы о Мушфики, так как нет даже набросков к пьесе.

5. Пьеса Л. Малюгина.

6. Ирина Николаевна Кичанова, художник и драматург.

7. Казико Ольга Георгиевна, актриса БДТ.

10

Н. П. АКИМОВУ (Сталинабад)

(Февраль 1943)

Дорогой Николай Павлович!

Спасибо за вызов. Он дошел даже в 2-х экземплярах. Если бы Вы могли представить себе, какая тут смертельная тоска, Вы поняли бы, как обрадовали нас Ваши телеграммы.

Задерживают отъезд наш две причины:

1. Денег, причитающихся мне за сценарий, я так и не получил. (...)

2. Холодова уехала в Архангельск устраиваться в театр Ленинского Комсомола. Устроившись, вернется за дочерью. Вернуться она думает в конце февраля. Я не надеюсь, что она отпустит Наташу со мной. Если не отпустит, то так тому и быть. Поедем вдвоем с Екатериной Ивановной. Боюсь, что, продолжая оставаться на месте, я приду в состояние бесполезное, отчего всем родным и близким будет худо.

Временами меня одолевает мистический ужас перед Вяткой. Мне начинает казаться, что из этого города выехать невозможно, что я обречен тут торчать до старости и так далее и тому подобное. Но тогда я беру телеграммы с вызовами и утешаюсь. Пишу много. “Принцесса и Свинопас”, как это ни странно, будут закончены и привезены к Вам.

Приеду с товаром.

Есть ряд идей, более или менее гениальных, которые мечтаю осуществить совместно. Вы на меня, очевидно, сердитесь, потому что на письмо мое не ответили. Напрасно. Если бы я имел талант подробно описывать свои дела, со всеми сложностями и то великолепное состояние духа, когда всякое действие кажется невозможным, как подвиг, — вы бы не обижались на меня.

Напишите, как дела, как мне ехать, что Вы советуете взять с собой. Почему Жуковский[1], который обещал подробно написать о своем путешествии к Вам, — не делится со мной и молчит? Это Ваше зловредное влияние?

Боюсь, что, прочитав мое грустное письмо, Вы подумаете с ужасом, что на Вашу голову свалится инвалид с семьей. На самом же деле приедет к Вам человек, полный сил и планов, правда, худой и нервный,

но зато легкий и уживчивый.

Я выеду, очевидно, в марте. Напишите. Комнату Вы дадите мне? Ждете Вы меня или не верите, что я стронусь с места. Верьте мне, пожалуйста, я только этой верой и утешаюсь. Даже все трудности посадки на поезд не пугают меня.

Екатерина Ивановна целует Вас и всю семью. Я тоже.

Ваш *Евг. Шварц.*

Болдрам им. Горького выехал в Ленинград 1-го февраля. Телеграммы о прибытии пока нет.

1. Жуковский Александр Александрович, завпост Театра Комедии.

11

(Начало января 1944. Сталинабад)

Дорогой Николай Павлович!

Из наших телеграмм Вы знаете уже, что все награждения и почетные звания получены[1]. По непонятным причинам в газетах опубликованы только грамоты. Звания обещают обнародовать дня через два-три. Но подписанный Указ о званиях передан в театр. В афишах Вы и все награжденные именуются уже по-новому[2]. Карточки всем обменены.

Так что Указ вошел в силу, примите поздравления. На днях в театре состоится общее собрание, на котором будет присутствовать Гафуров[3] (сейчас он в командировке). С неделю назад в театре был митинг по поводу награждения ряда работников ЦК и Совнаркома орденами.

Я сочинил два письма. Одно Протопопову и Курбанову[4], другое Гафурову, где работники театра поздравляли их с орденом Ленина. (...)

Гафуров сказал: “Говорят, у Вас в театре есть обиженные. Ничего. Я буду у Вас на общем собрании и все объясню. Эти звания и грамоты — еще не последние. Будет добавка”.

Вот видите — театру предстоят еще радости[5].

19 января назначена премьера “Кота”[6]. Я смотрел прогон. Буду

смотреть еще. Как будто все будет благополучно. Касаткин[7] работает прелест-но. Все оформление сделается вовремя, почти без скандалов.

Костюмы "Подсвечника"[8] тоже шьются тихо, без истерик, и скоро будут готовы.

Вчера я смотрел репетицию "Подсвечника". Это, Николай Павлович, будет замечательный спектакль. Вот увидите. Не знаю, может быть, он испортится, когда перейдет на сцену, но в комнате я глядел и наслаждался. (...) Пьеса кажется поэтической, благородной, романтической — что и требуется. Весь адюльтер отступает куда-то далеко. Что тоже требуется. Словом — я почти уверен, что это спектакль для Москвы. Правда, мне показали только два акта с пропусками, но тем не менее все уже достаточно ясно.

"Нахлебника" и Уайльда[9] еще не видел. Но судя по тому, что оба режиссера требуют комнат для разводок — все движется у них нормально. (...) комнат, как Вам известно, нет. Но есть надежды. Упорно говорят, что дорогие соседи наши — Театр Оперы и Балета — с 25—26 января перестанут играть и уедут в Москву на декаду таджикской литературы[10]. Тогда мы репетируем, где угодно и играем каждый день. (...)

Со сборами пока что благополучно. "Неравный брак"[11], например, в воскресенье утром и вечером, и в понедельник сделал три аншлага. Но когда идут сильные дожди, сборы соответственно падают.

С Домом Красной Армии помирились и дали там три спектакля. (...)

Как Вам нравится история с Николаем Волковым[12]. Он возил театральных детей на елку к летчикам и вернулся пьяным. Играл он благополучно, но настроен был агрессивно. На легкое замечание Колесова[13] обиделся. Назвал его пьяницей. Шумел. Словом — мы, собственно говоря, обязаны были по решению, вынесенному известным Вам общим собранием, уволить его из театра. Но — следствие показало, что в публике ничего не заметили. Затем — напился он впервые в жизни.

Заседали мы часа два. Осипов[14] настаивал на исключении. Но мы вынесли ему: 1. Строгий выговор с предупреждением. 2. Постановили известить Вас. 3. Окончательное решение отложили до Вашего ответа[15].

Волков был испуган, расстроен, извинялся, объяснялся. Словом, я

надеюсь, что Вы подтвердите строгий выговор с предупреждением.

Радость наших пьяниц была безгранична. Совсем безгранично обрадовались бы они, если бы напился Алексей Волков[16]. Но и Николай доставил им много счастливых минут.

Как видите, замещать Вас летом было проще. Такие столпы шатаются! Настоящие же алкоголики пока что ведут себя осторожно.

Вот как будто и все театральные, новости. Дома у Вас все благополучно, все здоровы. (...)

С Бонди[17] мы обсуждаем пьесу при каждой встрече, но писать еще не начали. Начал писать я. Мучительно. Но недавно. С Бонди начнем на днях[18]. (...)

Я телеграфировал Вам, что есть сведения об интересной комедии. Сведения эти я взял из телеграммы, адресованной Вам и подписанной “Герман”. Если это Юрий Герман, то кланяйтесь ему и дайте ему мой адрес.

Вот и все новости.

Живем ожиданиями.

Целую Вас

и. о. худрука, завлит *Е. Шварц.* (...)

1. Указом Президиума Верховного Совета ТаджССР от 2. 1. 44 значительная группа актеров Театра Комедии была награждена грамотами, премиями и удостоена почетных званий.

2. Н. Акимов был удостоен звания народного артиста Тадж. ССР.

3. Гафуров Furободжан Гафурович (1908—1977), советский партийный деятель, в 1941—44 гг. секретарь ЦК КП(б) Таджикистана.

4. Протопопов и Курбанов — работники секретариата ЦК КП(б) Таджикистана.

5. “Добавок” больше не было.

6. Имеется в виду “Не все коту масленица” А. Островского. (Постановка П. Суханова, художник Н. Акимов.)

7. Заведующий монтировочной частью театра.

8. “Подсвечник” А. де Мюссе. (Постановка Б. Филиппова, художник Н. Акимов.)

9. Премьеры "Нахлебника" И. Тургенева и "Как важно быть серьезным" О. Уайльда не состоялись.

10. Театр Комедии "поселился" в помещении Театра оперы и балета, где труппы играли в очередь.

11. Пьеса бр. Тур. (Пост. П. Суханова.)

12. Актер Театра Комедии.

13. Колосов Лев Константинович (1910—1974), актер Театра Комедии, исполнитель Дракона в спектаклях 1944 и 1962 гг.

14. Актер Театра Комедии, председатель профкома.

15. Е. Шварц и С. Эльзон телеграфировали Н. Акимову в Москву: "Волков Николай спектакле Пигмалион нарушил Ваш приказ последнем собрании, спектакль прошел благополучно. Издан приказ, строгий выговор предупреждением сообщением вам окончательного решения. Телеграфьте ваше решение".

16. Волков А. А., артист, брат Н. Волкова.

17. Бонди Алексей Михайлович (1891—1952), драматург и актер, брат известного литературоведа С. М. Бонди.

18. Замысел осуществлен не был.

12

19 марта (1944)

Дорогой Николай Павлович!

Я боюсь, что основной мой порок, желание, чтобы все было тихо, мирно и уютно, может помешать работе Вашей над постановкой "Дракона"[1]. Возможно, что, стараясь избавить себя от беспокойства, я буду приятно улыбаться тогда, когда следовало бы хмуриться, и вежливо молчать, когда надо было бы ворчать. По непростительной деликатности характера я могу лишить Вас такой прелестной вещи, как столкновение противоположных мнений, из которых, как известно, часто возникает истина. Исходя из всех вышеизложенных опасений, я твердо решил преодолеть порочную свою натуру. С этой целью я от времени до времени буду писать Вам, Николай Павлович. Письма — это все-таки литература, и в этой области лучшие стороны моего характера проявились до сих пор более легко и отчетливо, чем в

личных беседах. В литературе я человек наглый, с чего и позвольте начать мое послание к Вам. Дальнейшие будут написаны и вручены Вам по мере накопления соответствующего материала[2].

Должен признаться, что настоящих оснований для столкновения противоположных мнений, для споров и плодотворной полемики у меня еще маловато. Чтобы изложить с достаточной убедительностью 1-й пункт настоящего послания, я должен предвидеть некоторые опасности. Вообразить их. Темпы работы над “Драконом” таковы, что лучше заранее, еще до появления опасности, принять против нее какие-то меры, что сэкономит время.

Итак, 1-я опасность — это иногда невольно возникающее у постановщика чувство раздражения против трудностей пьесы.

Будьте внимательны, Николай Павлович, ибо я сейчас буду писать о вещах сложных, трудноопределяемых и тем более опасных. Но уверяю Вас — они не выдуманы. То, что я пытаюсь определить и выразить, — результат моего опыта.

Трудности пьесы могут вдохновлять, а могут и раздражать, особенно человека столь страстного, нетерпеливого, как Вы. Как только появляется чувство раздражения — так возникает желание не преодолеть трудности, а либо обойти, либо уничтожить их.

В преодолении трудностей — секрет успеха. В обходе и уничтожении можно проявить много настоящего творческого воображения, выдумки, ума — но и спектакль и пьеса, как правило, на этом проигрывают. Представьте себе альпиниста, который сообщает, что он при помощи изобретенного им сверхмощного монилита[3] взорвал такой-то пик, считавшийся до сих пор недоступным. Этот альпинист, конечно, молодец, но не альпинист. Он кто угодно: великий сапер, великий ученый, гений изобретательности, но не альпинист. И еще менее альпинист человек, который с искренним и совершенно разумным раздражением обругает труднодоступный перевал “дураком” и обойдет его. Он действительно, может быть, и “дурак”, этот перевал, но он существует, и с этим приходится считаться.

Тут Вы меня с полным правом можете спросить, ехидно улыбаясь: вы что же это, батюшка, считаете свою пьесу явлением природы? Стихийным бедствием, так сказать?

Да, должен признаться, что считаю, со всеми необходимыми оговорками, но считаю. И не только свою, а каждую пьесу, законченную и принятую к постановке. Пока не готова и не принята — это материал пластический, поддающийся обработке. Это мир во второй-третий день творенья, и все участвуют в его создании со стороны, с неба. Но вот он пошел, завертелся, и тут уж вы обязаны считаться с его законами, и с неба приходится опускаться на вновь созданную землю. Она до сих пор слушалась и поддавалась, но теперь власть наша ограничена. Довольно велика, но ограничена. Можно, конечно, взрывать, приказывать и переделывать на ходу. Но тут есть две опасности: взорвешь один кирпичик — а выпадет целая стена. Или — построишь что-нибудь, а постройка рухнет, ибо мы не соблюдали физических законов вновь созданного, совершенно реального мира. Нет, нет, нужно, нужно считаться со всеми особенностями, трудностями, странностями каждой пьесы. Тем более, что власть Ваша, власть постановщика, все-таки велика и почти божественна, хоть и ограничена. На этом месте моего послания я должен повторить, что у меня еще нет уверенности, что такое раздражение против трудностей “Дракона” у Вас, дорогой Николай Павлович, есть. Ну, а если будет? Мне, должен признаться, почудилась даже не тень, а тень тени такой опасности, и как раз в тот момент, когда Вы говорили о том же самом, в сущности, о чем я писал выше. А именно о быте и особенностях той сказочной страны, в которой развивается действие пьесы.

Вы рассказали нам о чудесах этой страны. Чудеса придуманы прекрасно. Но в самом их обилии есть оттенок недоверия к пьесе. Подобие раздражения. Если чудо вытекает из того, что сказано в пьесе, — это работает на пьесу. Если же чудо хоть на миг вызовет недоумение, потребует дополнительного объяснения, — зритель будет отвлечен от весьма важных событий. Развлечен, но отвлечен.

Образцовое чудо, прелестное чудо — это цветы, распускающиеся в финале пьесы. Здесь все понятно. Ничто не требует дополнительных объяснений. Зритель подготовлен к тому, что цветы в этой стране обладают особыми свойствами (анютины глазки, которые щурятся, хлебные, винные и чайные розы, львиный зев, показывающий язык, колокольчики, которые звенят). Поэтому цветы, распускающиеся от

радости, от того, что все кончается так хорошо, не отвлекают, а легко и просто собирают внимание зрителя на тот момент, который нам нужен.

Чудо с пощечиной — тоже хорошее чудо. Ланцелот так страстно хочет наказать подлеца, необходимость наказания так давно назрела, что зритель легко примет пощечину, переданную по воздуху. Но допускать, что в этой стране сильные желания вообще исполняются, — опасно. Не соответствует духу, рабскому духу этого города. В этом городе желания-то как раз ослаблены. Один Ланцелот здесь желает сильно. Если его желания сбудутся раз-другой — пожалуйста. Если этим мы покажем, насколько сильнее он умеет желать, чем коренные жители, — очень хорошо. Но здесь есть что-то отвлекающее. Требующее объяснений. Граф В. А. Соллогуб рассказывает, что Одоевский, автор фантастических сказок, сказал Пушкину, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. «...Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся... и сказал: "Да, если оно так трудно, зачем же он их пишет?.. Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно"»[4].

Здесь Пушкин хотел сказать, что фантастические вещи должны быть легки. Легко придумываться и тем самым усваиваться.

Все Ваши чудеса придумываются легко. Но если они для усвоения потребуют объяснения — сразу исчезнет необходимое свойство чуда: легкая усвояемость. Зачем оно тогда нужно?

Вот Вам мои возражения против еще не существующей опасности. Чудо, которое сосредоточивает внимание, — чудесно. Чудо, которое отвлекает, — вредно. Позвольте в заключение привести несколько соображений, лишенных даже тени полемической. Чистые соображения. Результат наблюдений над жителями того города, где живет и царствует "Дракон".

Чудеса чудесами. В большем или меньшем количестве, они, конечно, должны быть и будут. Помимо же чудес — быт этого города в высшей степени устоявшийся, быт, подобный дворцовому, китайскому, индусскому.

В пределах этого быта, в рамках привычных — жители города уверены, изящны, аристократичны, как придворные или китайцы, как индусы. Выходя из привычных рамок, они беспомощны, как дети.

Жалобно просятся обратно. Делают вид, что они, в сущности, и не вышли из них. Так, Шарлемань пробует убедить себя и других, что он вовсе и не вышел из рамок. ("Любовь к ребенку это же можно! Гостеприимство это тоже вполне можно".) Эльза, образцовая, добродетельная гражданка этой страны, говорит Ланцелоту: "Все было так ясно и достойно".

Они уверены в своей нормальности, гордятся, что держатся достойно.

Увереннее, аристократичнее, изящнее всех Генрих, потому что он ни разу не выходит из привычных рамок, никогда не выйдет и не почувствует в этом необходимости.

И он всегда правдив. Искренне уговаривает Эльзу, простосердечно уговаривает отца сказать ему правду, ибо он не знает, что врет. Он органически, всем существом своим верует, что он прав, что делает, как надо, поступает добродетельно, как должно.

Так же искренне, легко, органично врет и притворяется его отец. Настолько искренне врет, что вопрос о том, притворяется он сумасшедшим или в самом деле сумасшедший, — отпадает. Во всяком случае в безумии его нет и тени психопатологии. Вот и все пока, милый Николай Павлович. Уже поздно, я устал писать. Если что в последних строках моего письма ввиду этого недостаточно ясно, то я могу и устно объясниться. На этом разрешите закончить первое мое письмо. Остаюсь полный лучшими чувствами.

Бывший худрук, настоящий завлит *Е. Шварц.*

1. Работа над спектаклем началась весной 1944 года.

2. Продолжения не последовало.

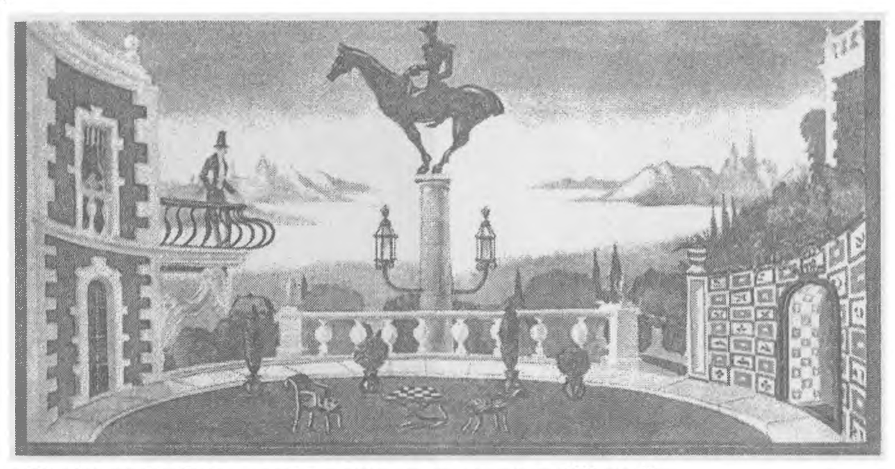
3. Монилит — взрывчатое вещество.

4. Владимир Федорович Одоевский (1803—1869), прозаик и сказочник, композитор и музыковед, фольклорист и лингвист, химик и математик; Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882), прозаик и комедиограф, оставил воспоминания об Одоевском, напечатанные впервые в сборнике "В память о князе В. Ф. Одоевском" (М., 1969).

Е. Шварц . 40-е годы



Портрет Е. Шварца
работы Н.Акимова



Н. Акимов. Эскиз декорации к спектаклю “Тень”

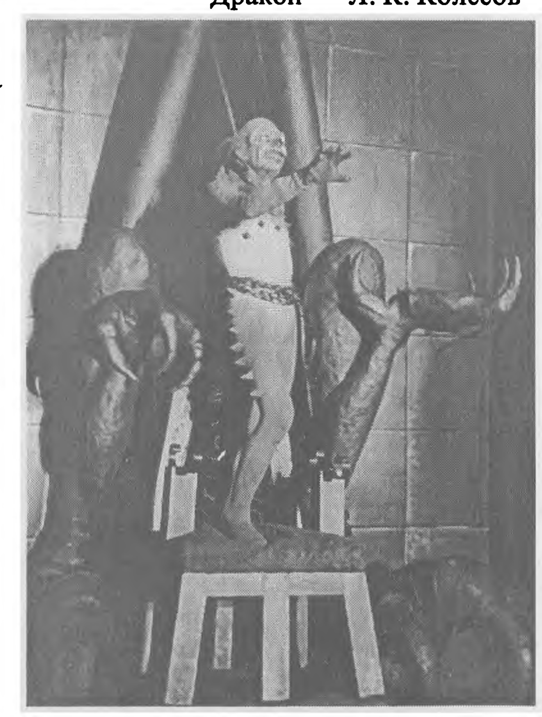


Е. Шварц
на репетиции “Тени”



Колесов Л. К.

Дракон — Л. К. Колесов



Н. Акимов — эскиз котюма
к пьесе “Дракон”

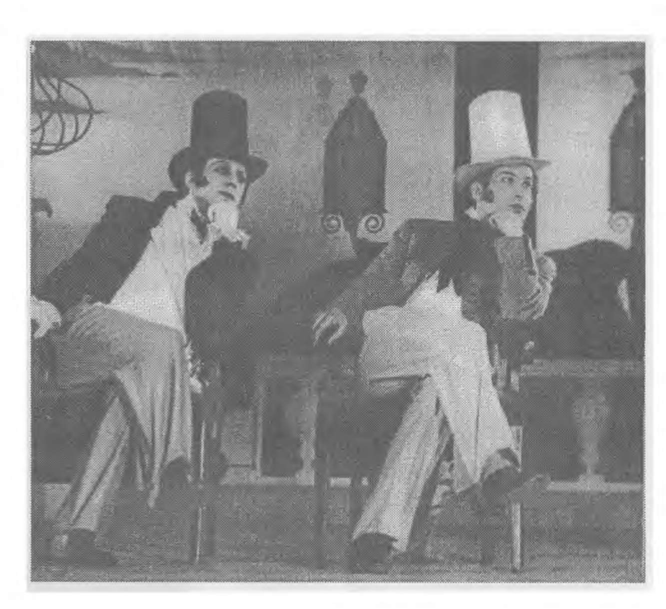




Н. Н. Кошеверова

Кадр из фильма “Золушка”

Тень и Ученый



Н. Акимов. Эскиз декорации к спектаклю “Дракон”



Семья Заболоцких

Е. Шварц с детьми эвакуированными из Ленинграда. 1942 г.
Оричи

стр. 10

... *мучеником был Олейников ...* — Олейников Николай Макарович (1898 — 1942) — поэт, писатель, редактор детских журналов “Еж” и “Чиж”. Пантееев Л. (наст. имя и фам. Алексей Иванович Еремеев) (1908 — 1987), писатель, автор книги “Республика Шкид”. В 20-е годы Е. Шварц, Олейников и Пантелеев работали в отделе детской литературы Госиздата. С. Я. Маршак считался главой “ленинградской школы” детской литературы. См. Дневники в книге Е. Шварц.: Предчувствие счастья. — М.: 1999.

стр. 12

Пока мы жили в Гаграх, написал я пьесу ... — в 1938 году Е. Шварц отдыхал в Гаграх и написал там пьесу “Кукольный город”, “Снежная королева” была написана в 1938 году и тогда же вышла в издательстве “Искусство”. Впервые поставлена в Ленинграде в Новом ТЮЗе в марте 1939 года режиссером Б. В. Зоном.

... *Я боюсь, что отцу станет худо ...* — родители Е. Шварца: Лев Борисович Шварц (1874 — 1940), врач, и Мария Федоровна Шварц (урожд.Шелкова) (1875 — 1942), акушерка, массажистка. В середине 30-х годов переехали в Ленинград. Там же жил и брат Е. Шварца Валентин Львович Шварц (1902 — 1988). О непростых отношениях в семье, о родителях и о детстве писателя см. Дневники в книге: Е. Шварц. ...я буду писателем. — М.: 1999.

стр. 13

...*на даче, через пустырь от нас, живет Наташа* — Наталья Евгеньевна Шварц (1929 — 1996), дочь Е. Шварца от первого брака.

... *сняли мы дачу для Сашеньки Олейникова ...* — Александр Николаевич Олейников (р. 1936), сын Н. М. Олейникова и Л. А. Олейниковой. Лариса Александровна Олейникова была выслана из Ленинграда после ареста мужа. Н. М. Олейников был незаконно репрессирован и расстрелян в 1937 г.

стр. 14

... *Катя ему вспрыскивала камфору* ... — Катя, Катюша, Катерина (Екатерина) Ивановна Шварц (1903 — 1963), вторая жена Е. Шварца.

стр. 15

... *жили в Луге Чуковские, Каверины, Тыняновы и Степановы* ... — Коля и Марина — Николай Корнеевич Чуковский (1904 — 1965), писатель; его жена Марина Николаевна (1905 — 1993), переводчик. Тынянов Юрий Николаевич (1984 — 1943), писатель, литературовед. Каверин Вени-

амин Александрович (1902 — 1989), писатель; его жена Лидия Николаевна Каверина (рожд.Тынянова). Степанов Николай Леонидович (1902 — 1972), литературовед. См.: Е. Шварц. Предчувствие счастья. — М.:1999.

... известие о заключении пакта с Германией ... — в августе 1939 года был заключен так называемый пакт Молотова — Риббентропа о разделе сфер влияния между гитлеровской Германией и Советским Союзом, что означало фактически начало второй мировой войны. Советские и германские войска вошли в Польшу, заняв территории согласно пакту.

стр. 17

... когда ко мне привыкли в "Кочегарке" ... — в 1923 году Е. Шварц работал в газете "Всероссийская кочегарка" в г.Бахмуте на Донбассе. См. Е. Шварц. Предчувствие счастья. — М.: 1999.

стр. 18.

... встретил я вдруг Николая Никитина ... — Никитин Николай Николаевич (1895 — 1963), писатель, начинал литературную деятельность в 20-е годы в составе литературной группы "Серапионовы братья", с которой был близок Е. Шварц.

Пильняк Борис Андреевич (наст. фам. Ворау) (1894 — 1941), писатель.

стр. 20

Мы уговорились с Акимовым ... — Акимов Николай Павлович (1901 — 1968), режиссер, художник. С 1935 по 1949 и с 1955 г. до конца жизни — главный режиссер ленинградского Театра Комедии. Постановщик и оформитель всех спектаклей по пьесам Е. Шварца в Театре Комедии, художник фильма "Золушка" по сценарию Е. Шварца.

стр. 22

... началось наступление на Варшаву ... — см. прим. к стр. 15.

стр. 23

... ездил я на машине с Катюшей и Роу в Токсово... — Роу Александр Артурович (1906 — 1973), кинорежиссер, постановщик фильма-сказки "Марья-искусница" по сценарию Е.Шварца.

стр. 24

...чувство лодки, испытанное впревые в Жиздре... — в Жиздре под Рязанью Е.Шварц в раннем детстве гостил у родственников матери. См. Е. Шварц ... я буду писателем. — М.: 1999.

стр. 25

Я послал телеграмму Симону Чиковани... — Чиковани Симон Иванович (1903 — 1966), грузинский поэт.

стр. 26

... встретился нам Каплер... — Каплер Алексей Яковлевич (1904 — 1979), кинодраматург.

стр. 27

мне все было это знакомо по лету 1935 года...— в 1935 году Е. Шварц в составе делегации ленинградских писателей совершил поездку по Грузии. См. Е. Шварц. Предчувствие счастья. — М.: 1999.

стр. 28

Со мной был третий том Пруста... — Шварц читал 3-й том Собрания сочинений М. Пруста “В поисках утраченного времени. Германт”. Перевод А. А. Франковского (М., 1936)

стр. 29

Олег и Лида Эрберги встретили нас на вокзале ...— Лидия Львовна Эрберг (урожд. Фельдман), вместе с Е. Шварцем играла в театральной мастерской в Ростове. О. Эрберг, писатель, ее муж.

стр. 30

А события все развивались... — речь идет о присоединении прибалтийских республик и Западной Украины к СССР и начале финско-советского конфликта.

Я был у Германа, когда приехал туда Вирта ... — Герман Юрий Павлович (1910 — 1967), писатель.

Вирта Николай Евгеньевич (1900 — 1976), писатель.

стр. 32

... взяв за волосы Сергея Радлова, пригибал его к столу ... — Радлов Сергей Эрнестович (1892 — 1958) — режиссер.

... а за мною... Катюша и Анечка Лепорская... — Лепорская Анна Александровна (1900 — 1982), художник-прикладник, близкая знакомая Екатерины Ивановны и Евгения Львовича Шварц.

стр. 34

Вернули Катерину Васильевну ... — Шварц имеет ввиду разрешение Е. В. Заболоцкой вернуться в Ленинград после высылки ее в связи с арестом мужа. Поэт Николай Алексеевич Заболоцкий (1903 — 1958) был незаконно репрессирован 19 марта 1938 г. Срок заключения отбывал в исправительно-трудовых лагерях на Дальнем Востоке, затем был сослан в Алтайский край (село Михайловское, близ Кулунды). 18 августа 1944 г. был освобожден, затем в 1946 г. восстановлен в Союзе писателей и получил право жить в Москве. Заболоцкая Екатерина Васильевна (р.1906) — жена Н. А. Заболоцкого.

стр. 35

... *Соллертинский в антракте ... что-то с жаром доказывает Эйхенбаумам...* — Соллертинский Иван Иванович (1902 — 1904), музыковед, литературовед, театровед. Эйхенбаум Борис Михайлович (1886 — 1959), литературовед, Эйхенбаум Рая Борисовна, его жена.

стр. 36

... *играли отрывок из "Клада"...* — пьеса Е. Шварца, написанная в 1933 году. Впервые поставлена в Ленинградском ТЮЗе и Центральном Детском театре. Тюзовский спектакль режиссировал Б. Зон. Пьеса вошла в книгу: Е. Шварц. Предчувствие счастья. — М.: 1999.

...со всей шелковской, российской сумеречностью... — Шварц говорит о фамильных чертах матери, в девичестве Шелковой.

стр. 38

... *приехала Валечка Шварц навестить папу...* — Шварц Валентина Исаковна (1901 — 1990) двоюродная сестра Е. Шварца

...это отец однокурсника Тани Герман... — Герман (урожд. Риттенберг) Татьяна Александровна (1904 — 1995), жена Ю. П. Германа

стр. 42

"Приключения Гогенштауфена" — пьеса Е. Шварца 1934 г. — см. в книге Е. Шварц.: Предчувствие счастья. — М.: 1999.

"Принцесса и свинопас" — первый вариант пьесы "Голый король".

"Наше гостеприимство" — В газете "Советское искусство" (1938, 16 сентября) была напечатана заметка о том, что к 20-летию ВЛКСМ театр готовит пьесу Е. Л. Шварца "Наше гостеприимство" в постановке и художественном оформлении Н. П. Акимова.

стр. 45

... *поехали мы вскоре в Москву ...* — С 9 по 26 мая 1940 г. проходил показ ленинградского искусства в Москве. Два театра включили в московский репертуар спектакли по пьесам Шварца "Тень" (Театр Комедии) и "Снежная королева" (Новый ТЮЗ). Накануне показа в газетах появились статьи Н. П. Акимова: "Учимся у классиков" (Правда, 1940, 6 мая); "Театр комедии" (Ленинградская правда, 1940, 9 мая); "Почетная задача" (Вечерняя Москва, 1940, 19 мая) и статьи Б. В. Зона: "Содружество театра и драматургов" (Правда, 1940, 6 мая), "Путь нашего театра" (Ленинградская правда, 1940, 8 мая), "Три поколения" (Ленинские искры, 1940, 11 мая), "Новый ТЮЗ" (Московский большевик, 1940, 18 мая).

вот проплывает Зарубина ... — Зарубина Ирина Петровна (1907 — 1976), актриса Ленинградского Театра Комедии, в труппе с 1935 г. Далее упоминаются артисты Театра Комедии, работавшие в нем в 30 — 40-е годы: Гошева И. П., Тенин Б. М., Сухаревская Л. П., Лецкий И. Н., Суханов П. Н.

стр. 47

Тень впервые играет Гарин ... — Гарин Эраст Павлович (1902 — 1980), артист, режиссер, постановщик спектаклей по пьесам Шварца и исполнитель ролей в них. Исполнял также роль Короля в фильме "Золушка" по сценарию Шварца.

стр. 48

Храпченко, крупный, круглоголовый ... — в то время Храпченко М. В., был председателем Комитета по делам искусств СССР.

стр. 51

пришел... Квитко — Квитко Лев Моисеевич (1890 — 1952) — еврейский поэт. Незаконно репрессирован, погиб в заключении.

Оня Прут — Прут Иосиф Леонидович (р. 1900) — драматург.

Подбежала Леля Григорьева ... — дочь Н. В. Григорьевой (Соловьевой), подруги детства Е. Шварца

... под руку с Ваней Халтуриным ... — Халтурин Иван Игнатьевич (1902 — 1969) — прозаик, очеркист, критик, один из зачинателей литературы для детей.

стр. 52

Образцов в "Правде" похвалил меня — статья С. В. Образцова "О добрых чувствах", Правда, 1940, 28 мая.

стр. 53

Нас обогнал Черкасов ... — Черкасов Николай Константинович (1903 — 1966), артист, общественный деятель. Участник спектакля "Ундервуд" по пьесе Шварца в ЛенТЮЗе, исполнитель роли Дон Кихота в одноименном фильме по сценарию Шварца.

стр. 61

... таким же был Василий Федорович Соловьев ... — врач, друг отца Е. Шварца. В детстве Е. Шварц много времени проводил в семье Соловьевых и сохранил дружеские отношения с этой семьей до конца жизни. См. Е. Шварц. ... я буду писателем. — М.: 1999.

недалеко от нас живут Сима Рысс и Вера Ивановна ... — Рысс Симон Михайлович (1896 — 1968), врач-терапевт, профессор. Вера Иванова, его жена, также врач-терапевт.

стр. 62

Оллило — ныне поселок Солнечное.

стр. 64

Келломяки, Териоки — финские названия поселка Комарово и города Зеленогорск.

стр. 66

Тогда я звоню Козинцеву ... — Козинцев Григорий Михайлович (1905 — 1973), кинорежиссер, сценарист. По сценарию Шварца поставил фильм "Дон Кихот" (1957).

Магарилл Софья Зиновьевна (1900 — 1943), киноактриса.

Трауберг Леонид Захарович (1902 — 1990), кинорежиссер.

Мы вместе с Любашевским в ... кабинете Храпченко ... — Любашевский Леонид Соломонович (1892 — 1975), артист, драматург. Литературный псевдоним Д. Дэль. Был занят в спектаклях ЛенТЮЗа и Нового ТЮЗа по пьесам Шварца.

стр. 70

У Тони с отцом его и близкими отношения были куда более простые и здоровые ... — Шварц Антон Исакович (Тоня) (1896 — 1954), двоюродный брат Е. Шварца, известный чтец. О нем см. Е. Шварц. ...я буду писателем. — М.: 1999 и Е. Шварц. Предчувствие счастья — М.: 1999.

стр. 82

В восторге ... находилась и Зоя — Никитина Зоя Александровна (1902 — 1973) — редакционно-издательский работник, в первом браке замужем за Н. Н. Никитиным, во втором — за М. Э. Козаковым, мать артиста М. М. Козакова.

стр. 84

Записался и я в Союзе писателей у Кесаря Ванина — Ванин Кесарь Тихонович (1905 — 1982) — писатель, член партбюро и секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР.

стр. 85

...началась работа над пьесой "Под липами Берлина" — пьеса была написана Шварцем совместно с М. М. Зощенко и поставлена в Театре комедии (премьера 12 августа 1941 г.). Постановка и оформление Н. П. Акимова.

...погиб возле Елены Александровны Чижовой ее единственный сын — Чижова Елена Александровна — управляющая делами Ленинградского театра комедии, в годы войны — медсестра на фронте, после войны — заведующая отделом кадров того же театра.

стр. 86

...еще до взятия Мги. — Немецкие войска захватили поселок Мгу, расположенный в 50 км юго-восточнее Ленинграда 31 августа 1941 г. и тем самым перерезали последнюю железнодорожную линию, связывавшую Ленинград с тылом страны.

стр. 90

Жак Израилевич пришел первым... — Израилевич Яков Львович

(Жак), коллекционер. См. о нем в книге: Е. Шварц. Предчувствие счастья. — М.: 1999.

стр. 91

... *помещалась Груздиха* — Шварц имеет в виду жену критика Груздева, соседку по дому.

стр. 94

Переехали к нам летом Данько и Ахматова. — Данько Елена Яковлевна (1898 — 1942), писательница, артистка театра кукол, живописец на фарфоровом заводе.

стр. 96

... *и с ней отправилась в путь Никитич.* — Никитич Наталья Афанасьевна (1901— 1974) — писательница.

... *когда Альтус уехал к семейству...* — Альтус Ефим Григорьевич (1901 — 1949) — артист, режиссер. Второй муж Г.Н. Холодовой. См. примечания к стр.119.

... *появился жилец — Женя Рысс* ... — Рысс Евгений Самойлович (1908 — 1973) — прозаик, драматург.

стр. 97

Рахманов Леонид Николаевич (1908 — 1988) — писатель, драматург, друг Шварца.,

... *мы с Груздевым пошли к одному из заместителей предисполкома горсовета...* — Груздев И. А., писатель, в 20-е годы входил в литературную группу "Серапионовы братья".

стр. 98

... *ко мне подошел Голлербах* ... — Голлербах Эрих Федорович (1895 — 1942), литературовед, специалист по творчеству религионого философа В. В. Розанова.

стр. 100

... *о которых должна знать Габбе* ... — Габбе Тамара Григорьевна (1903 — 1960), писательница, критик, автор книг и пьес для детей.

стр. 101

... *упала на угол крыши над квартирой Брауна или Томашевского* ... — Браун Н. Л. поэт, переводчик. Томашевский Б. В. литературовед. Соседи Е. Шварца по дому.

стр. 103

... *ко мне зашли Тырса, Володя Гринберг и Кукс* ... — художники Тырса Н.А., Гринберг В.А., Кукс М.И.

Пришел маленький Бабушкин ... — Бабушкин Яков Зиновьевич — редактор Ленинградского радио, художественный руководитель Радиокомитета во время блокады.

стр. 104

Пришли Ольга Берггольц, Жак Израилевич, Глинка ... — Глинка Владислав Михайлович (1903 — 1983), искусствовед, писатель.

стр. 115

Я упомянул Владимира Васильевича Лебедева — Лебедев Владимир Васильевич (1891 — 1966) — художник-график, один из создателей искусства советской иллюстрации к детской книге.

стр. 116

Всю жизнь буду благодарен артисту Комиссарову... — Комиссаров Николай Валерианович (1890 — 1957) — артист, в 1925 — 1927 гг. играл в Ленинградском Театре Комедии, затем в периферийных театрах, с 1946 г. — в труппе Малого театра.

Холодова (наст. фам. Халайджиева) Гаянэ Николаевна (1899 — 1983) — артистка. Первая жена Шварца.

стр. 120

... где и жил губернатор Тюфякин и бывал или даже служил Герцен... — О своей жизни в годы ссылки и службе в канцелярии вятского губернатора А. И. Герцен рассказал в гл. XIV — XVII "Былого и дум" (см. Собр. соч. в 30-ти тт. Т. 8. М., 1956. С. 234 — 300).

Александру Лаврентьевичу Витбергу посвящена XVI гл. "Былого и дум" (Там же. С. 277 — 290). По проекту А. Л. Витберга в Вятке был построен Александро-Невский собор (1839 — 1864).

стр. 121

...на лестнице встретил Малюгина ... — Малюгин Леонид Антонович (1909 — 1968) — писатель, драматург, в годы войны — заведующий литературной частью БДТ. Рудник Лев Сергеевич (1906 — 1987) — режиссер. В 1940 — 1944 гг. — директор и художественный руководитель БДТ им. М. Горького.

... познакомился с драматургом Осафом Литовским... — Сын О. С. Литовского Валентин сыграл роль Пушкина в фильме "Юность поэта" (1937).

стр. 125

... в первой комнате от начала Мариенгоф и Никритина ... — Мариенгоф Анатолий Борисович (1897 — 1962) — поэт, драматург; Никритина Анна Борисовна (1900 — 1982) — его жена, актриса БДТ.

... встретил я Сарру Лебедеву... — Лебедева Сарра Дмитриевна (1892 — 1967) — скульптор.

... болела она душой за Радловых... — Радлова Анна Дмитриевна (1891 — 1949) — поэтесса, переводчица, сестра Сарры Лебедевой. Радлов С. Э. см. прим. на стр. 32

стр. 124

Вейсбрем Павел Карлович (1899 — 1963) — режиссер, руководитель Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, затем в Петрограде, где в качестве актеров работали Е. Л. и А. И. Шварцы. В 1920-х — 1960-х был режиссером в ленинградских театрах — БДТ, Театре им. Ленсовета, ЛенТЮЗЕ.

стр. 131

Цензор написал на полях... — В годы Великой Отечественной войны вся частная переписка просматривалась военной цензурой.

стр. 132

Стал Малюгин писать пьесу... — Л. А. Малюгин писал пьесу "Старые друзья". Она была поставлена А. М. Лобановым в Театре им. М. Н. Ермоловой. (Премьера — 8 января 1946 г.)

стр. 133

...черные, роковые дни драматургического пленума ... — Говорится о XII пленуме Правления Союза советских писателей СССР, проходившем с 15 по 20 декабря 1948 г. Пленум был посвящен состоянию литературы народов СССР и вопросам драматургии. Чрезвычайно резкой, несправедливой критике подверглось творчество ряда крупных драматургов. Л. А. Малюгин выступал на вечернем заседании 18 декабря.

...Малюгин написал пьесу о Чернышевском... — Пьеса А. Л. Малюгина "Молодая Россия" была поставлена в 1954 г. Московским театром им. Н. В. Гоголя.

стр. 134

... он написал роман о студентах... — Говорится о романе Л. А. Малюгина "Дальняя дорога".

... пошла на периферии его новая пьеса ... — Имеется в виду пьеса "Родные места", поставленная в Городском драматическом театре в Ногинске в январе 1951 г.

... а потом ее поставил и Охлопков ... — В Театре им. Вл. Маяковского премьера состоялась во время гастролей в 1952 г. Постановщик Д. А. Вурос.

стр. 135

... Никитин и встревоженная Ренэ ... — Ренэ Ароновна Никитина — вторая жена писателя Н. Н. Никитина.

стр. 136

Сестра Катерины Васильевны... — Шварц говорит о сестре К. В. Заболоцкой Лидии Васильевне Клыковой и о детях Заболоцких — Никите

Николаевиче (р.1932) и Наталье Николаевне (р.1937)

стр. 137

Хармс Даниил Иванович (1905 — 1942) — поэт. Незаконно репрессирован, погиб в заключении.

стр. 138

Введенский Александр Иванович (1904 — 1941) — поэт. С 1928 г. выступал как детский писатель, сотрудничал в журналах "Еж", "Чиж", "Сверчок". Незаконно репрессирован, погиб в заключении.

стр. 146

Зон провел трехлетнюю Наташу ... — Зон Борис Вульфович (1898 — 1966) — режиссер, один из основных деятелей тюзовского движения. Ставил спектакли по пьесам Шварца. Автор воспоминаний о нем.

стр. 152

...как говорит Илико... — Пантелеева Элико Семеновна (Симоновна), жена писателя Л. Пантелеева.

стр. 155

... ответили телеграммой... — Шварц получил ответ из Комитета по делам искусств за подписью заместителя председателя А. В. Солодовникова.

стр. 159

Чарушин угостил меня какой-то смесью... — Чарушин Евгений Иванович (1901 — 1965), писатель, художник.

стр.164

... театральный наш администратор, исхудалый и смертельно бледный от избытка энергии ... — Е. Шварц говорит о Бергере Я. Г.

Карская Т. Я. — театровед, работник Управления по делам искусств.

стр. 168

Ехал я на этот раз с Письменским и Никитиным Николаем Николаевичем... — Письменский Андрей Аверьянович, в Ленинграде — директор Института усовершенствования учителей. Никитин — см. стр. 18

стр. 171

Жил Пантелеев в номере Коли Жданова ... — Жданов Николай Гаврилович (1909 — 1986), писатель.

стр. 173

Появился... художник Вильямс с Анусей... — Вильямс Анна Семеновна — исполнительница роли Варвары в фильме "Доктор Айболит" по сценарию Шварца (1939).

стр.180

Андрей Николаевич Москвин — (1901 — 1961), кинооператор, один из основоположников советской операторской школы, снимал фильм “Дон Кихот” по сценарию Шварца.

стр. 181

Акимов и Юнгер жили ... в кабинете замдиректора ... — Юнгер Елена Владимировна (1910 — 1999), актриса Театра Комедии, исполняла роль Принцессы в спектакле “Тень” и роли Анны в фильме “Золушка”.

стр. 189

Зимин, энтомолог ... — Зимин Леонид Сергеевич (1902 — 1970), энтомолог.

стр. 191

Едва я встречал Бонди ... — Бонди Алексей Михайлович(1892 — 1952), артист, драматург, музыкант, художник.

стр. 194

Флоринские подружились с биологами ... — Флоринский Глеб Андреевич, артист Театра Комедии, драматург, режиссер.

стр. 196

Борис Смирнов ... Таня Чокой ... — Смирнов Борис Александрович (1908 — 1982), артист, в труппе Театра Комедии с 1943 по 1950 г.

Чокой Татьяна Ивановна (1909 — 1995), артистка Театра Комедии, исполнительница ролей в спектаклях по пьесам Шварца.

стр. 198

... *дочь каких-то друзей Бонди и Нурм*... — Нурм Надежда Адамовна (р.1901), артистка Театра Комедии с 1944 по 1949 год, жена А. М. Бонди.

стр. 204

...*собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой* ... — (1902 — 1990), кинорежиссер, постановщик фильмов по сценариям Шварца.

стр. 205

...*вышла она за Москвина*... — см. прим. к стр. 180

стр. 215

Леночка была не в духе... — Юнгер Е.В.

... *прибегала Тамара* ... — Сезеневская Тамара Вячеславовна (1915 — 1987), артистка Театра Комедии, исполнительница ролей в спектаклях по пьесам Шварца и в фильме “Золушка”. Ниже Шварц упоминает Нину Сезеневскую, сестру Т.В. Сезеневской.

...*Нинка Барченко в одном доме с нами* ... — Барченко Нина Платоновна

(р.1905), артистка Театра Комедии.

стр. 219

...показывается тут Савостьянов... Савостьянов Алексей Владимирович (1909 — 1993), артист Театра Комедии, исполнитель ролей в спектаклях по пьесам Шварца.

...бывает здесь Суханов... — Суханов Павел Михайлович (1911 — 1973) — артист, режиссер.

стр. 220

... здесь и Люлько ... (1923 — 1967), артистка Театра Комедии, исполнительница ролей в спектаклях по пьесам Шварца.

... *появлялся на берегу Левушка или нет...* — Колесов Лев Константинович (1910 — 1974),артист ЛенТЮЗа, Нового ТЮЗа, затем Театра Комедии, исполнитель ролей в спектаклях по пьесам Шварца.

стр. 224

... *Ягдфельд был влюблен в Тамару* ... — Ягдфельд Григорий Борисович (р.1908), драматург.

стр. 230

...звоню Фрэзу ... — Фрэз Илья Абрамович (1909 — 1994), кинорежиссер.

стр.235

Снежная королева. Пьеса впервые вышла отдельным изданием в издательстве “Искусство” в 1938 г. Впервые поставлена в Новом ТЮЗе в марте 1939 г. Б. Зоном (худ. Е. Якунина, муз. В. Дешевова). В спектакле были заняты П. Кадочников, А. Красильникова, Е. Деливрон, Н. Титова, О. Беюл, Е. Уварова и др.

стр.299

Кукольный город. Впервые пьеса была опубликована в сборнике под тем же названием издательством “Искусство” 1939 г. На сцене московского Центрального детского театра кукол пьеса шла под названием “Лесная тайна”. Постановка С.Образцова, худ. А. Ревазова, куклы Н. Солнцева и Е. Гвоздевой, музыка Н. Александровой. Премьера в октябре 1939 г. Впервые пьеса была поставлена в ленинградском Кукольном театре в июне 1939 г. М. Дрозжиным под руководством Е. Деммени, куклы М. Артюховой.

стр.341

Тень. Вперые пьеса опубликована в альманахе “Литературный современник” (1940, № 3). Премьера спектакля “Тень” состоялась в Театре комедии 11 апреля 1940 г. Постановщик и художник Н. П. Акимов, режиссер Г. А. Флоринский, композитор А. С. Животов. Роли исполняли: Ученый — П. М. Суханов, Его тень — И. Н. Лецкий, Пьетро — Б. М. Тенин, Аннунциата —

И. П. Гошева, Юлия Джули — Л. П. Сухаревская, Принцесса — Е. В. Юнгер, Первый министр — В. Г. Киселев, Министр финансов — А. Д. Бениаминов, Цезарь Борджиа — Г. А. Флоринский, Тайный советник — А. А. Волков, Доктор — И. А. Ханзель, Палач — Н. А. Волков, Придворная дама — Т. В. Сезеневская.

В 1947 году "Тень" была поставлена на Камерной сцене Немецкого театра М. Рейнгардта. В 1958 г. была поставлена в московском театре Сатиры Э.Гариным и Х. Локшиной.

стр. 411

Дракон. Впервые пьеса опубликована ВУАОПом в 1944 г. Постановка спектакля была осуществлена в 1944 г. Н. П. Акимовым в ленинградском Театре Комедии. Широкой публике спектакль был показан один раз, творческая общественность Москвы увидела его трижды во время гастролей Театра по пути из Сталинабада в Ленинград. В спектакле были заняты актеры Л. Колесов, Б. Смирнов, И. Ханзель, П. Суханов, Г. Флоринский, А. Сергеева, А. Савостьянов и др. В 1962 г. Акимов возобновил спектакль. В нем играли Л. Колесов, Г. Воропаев, Г. Флоринский, Н. Коренева, П. Суханов, И. Ханзель и др.

Выдающийся спектакль по пьесе Шварца поставил Бенно Бессон в 1965 г. на сцене Немецкого театра в Берлине.

стр.479

Золушка. Впервые сценарий опубликован в книге Е. Шварц. Тень и лругие пьесы. — Л.: 1956. Фильм, поставленный на "Ленфильме" режиссерами Н. Кошеверовой и М. Шапиро (оператор Е. Шапиро, худ. Н. Акимов и И. Махлис, композитор А.Спадавеккиа), вышел на экраны в мае 1947 г. В фильме снимались актеры Я. Жеймо, А. Консовский, Э. Гарин, В. Меркурьев, Ф. Раневская, Е. Юнгер, Т. Сезеневская, В. Мясникова, С. Филиппов, К. Адашевский, Н. Мичурин и др. Первая постановка "Золушки" на сцене осуществлена в феврале 1966 г. в академическом театре им. Е. Вахтангова. Руководителем спектакля был Р. Симонов, режиссер С. Джимбинова, художник С. Ахвлендиани, композитор Н. Богословский. В спектакле играли Е. Райкина, Г. Дунц, В. Вагрина, М. Вертинская, В. Васильева, Ю. Волынцев, А. Граве, Э. Зорин, В. Лановой и др.

стр.519

Два брата. Сказка впервые опубликована в журнале "Костер", № 3, 1941 г.

стр.535

Рассеянный волшебник. Первая публикация сказки в журнале "Мурзилка", № 2—3, 1945 г.

Оглавление:

Шварц Е. Л.
84. Р7Ш 33 Бессмысленная радость бытия / Сост. Крыжановская М. О., Шершнева И. Л.; Худ. Войцеховская. Е. В. — М.: "Корона-принт", 1999. — 592 с., ил., фот.

ISBN 5 — 85030 — 059 — 7

5 — 85030 — 060 — 0

5 — 85030 — 061 — 9

5 — 85030 — 062 — 7

Литературно-художественное издание

Евгений Львович Шварц

Бессмысленная радость бытия

Редактор: Л. Дмитриева
Дизайн и верстка: К. Шершнев.
Верстка: Т. Муравьева.
Корректор: Л. Титова.

Издательская лицензия ЛР № 060019 от 15.11.96.
Формат 60×84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,5. Тираж 5 000 экз. Зак. № 5462.
Издательство ТОО «Корона-принт».
Отпечатано в ППО «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.





